Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР

Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ

Под редакцией А. Р. ЛУРИЯ, М. Г. ЯРОШЕВСКОГО

МОСКВА
'ПЕДАГОГИКА'
1982

Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА
'ПЕДАГОГИКА'
1982

ББК 88
В92

Печатается по решению Президиума Академии педагогических наук СССР

Рецензент:
член-кор. АПН СССР, доктор психологических наук, профессор *В. П. Зинченко*

Автор вступительной статьи доктор психологических наук, профессор *А. Н. Леонтьев*

Составитель доктор психологических наук, профессор *М. Г. Ярошевский*

Авторы послесловия и комментариев *М. Г. Ярошевский, Г. С. Гургенидзе*

Выготский Л. С.

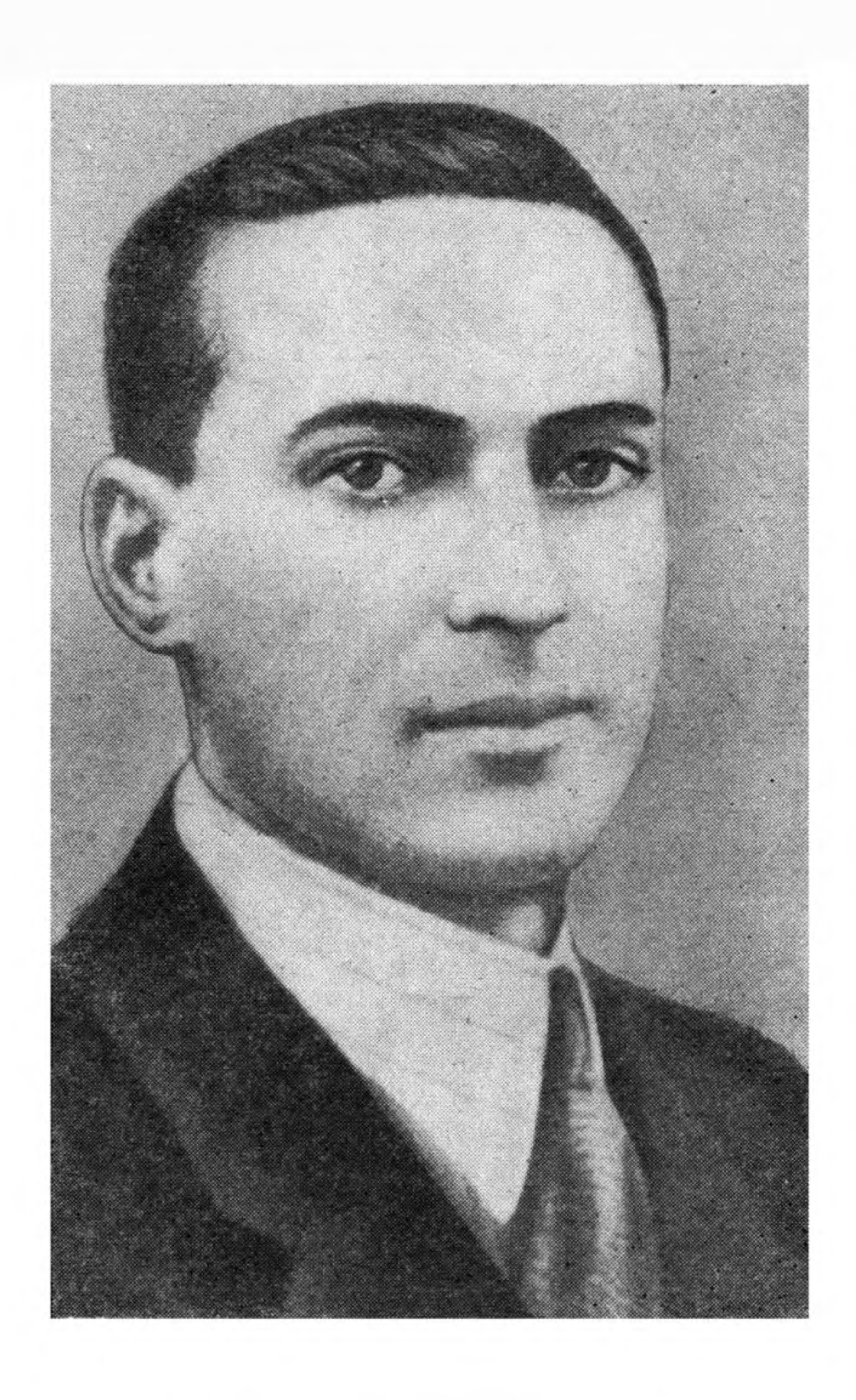
В92 Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии/Под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского.— М.: Педагогика, 1982.— 488 с., ил. (Акад. пед. наук СССР).

Пер. 1 р. 70 к.

Первый том включает ряд работ выдающегося советского психолога Л. С. Выготского, посвященных методологическим основам научной психологии и анализирующих историю развития психологической мысли у нас в стране и за рубежом. Сюда входит и публикуемый впервые труд «Исторический смысл психологического кризиса», представляющий как бы синтез идей Выготского, касающихся специальной методологии психологического познания.

Книга адресована психологам, педагогам, философам.

В $\frac{4303000000-003}{005(01)-82}$ подписное **ББК 88 15**



ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Настоящий том открывает шеститомное Собрание сочинений Льва Семеновича Выготского — первое систематическое изложение его основных идей.

Несмотря на бесспорную актуальность основных трудов этого выдающегося ученого, все растущий интерес к ним в нашей стране и за рубежом, от последнего издания его работ («Психология искусства») нас отделяет почти 15 лет. Это связано с рядом обстоятельств. Издание произведений Л. С. Выготского — чрезвычайно трудоемкое и сложное дело. Сложность вызвана прежде всего некоторыми особенностями творчества Выготского и состоянием его личного архива.

В начале работы, естественно, встал вопрос об отборе произведений для данного собрания и о принципах комплектования томов. Сразу возникло несколько проблем. Первая касалась идентификации произведений Л. С. Выготского, часть из которых существовала лишь в рукописях. Проблема решалась специально созданной при редакционной коллегии данного издания экспертной комиссией под председательством ученика и соратника Л. С. Выготского члена-корреспондента АПН СССР, проф. Д. Б. Эльконина. Комиссия изучила все рукописное наследие Выготского, идентифицировала его произведения, зафиксировала окончательный текст тех рукописей, которые были признаны принадлежащими перу Л. С. Выготского. Далее, когда границы научного наследия автора удалось четко очертить (что положило конец многочисленным домыслам, ходившим вокруг творчества Выготского, искажению и небрежному использованию его рукописных материалов), можно было приступать к отбору произведений для настоящего издания и комплектованию томов.

Решение этой проблемы оказалось непростым. Во-первых, в работах Выготского много повторов, почти буквальных, и все-таки сокращать и вообще редактировать его труды мы сочли нецелесообразным. Во-вторых, в творчестве Выготского посвященном научной психологии и обнимающем период около 10 лет (1924—1934), достаточно трудно выделить какие-либо законченные хронологические периоды. С учетом этих обстоятельств и комплектовались тома. Материал для томов подобран так, чтобы дать по возможности полное представление о творчестве Выготского, хотя и не включает всех его работ. Тома организованы по содержательно-хронологическому принципу: в творчестве Выготского мы взяли за исходный не хронологический принцип (выделение законченных временных периодов), а содержательный (выделение определенных смысловых линий). Каждый том имеет соответствующую смысловую линию, но при этом материал внутри тома, как правило, организован по хронологическому принципу.

В первый том вошли методологические, науковедческие и историко-психологические труды Выготского. Во втором томе — его теоретические работы в области психологии. Третий том дает представление о творчестве Выготского в области теории детской психологии. В четвертом томе также собраны работы по детской психологии, но имеющие более конкретный и экспериментальный характер. В пятый том помещены труды по дефектологии. Наконец, шестой том знакомит читателей с важнейшими материалами из научного архива Выготского.

Труды Л. С. Выготского (как напечатанные ранее, так и печатаемые впервые), входящие в настоящее Собрание сочинений, публикуются по тексту оригинала без изменений. Все тома снабжены научным аппаратом: послесловием редактора, в котором приводятся библиографические справки относительно соответствующих произведений, а также краткий критико-исторический очерк той роли, которую

публикуемые произведения Выготского сыграли в последующем развитии психологической науки; комментариями с соответствующими справками; именным и предметным указателями; списком цитируемой литературы. О последнем пункте следует сказать особо. Выготский цитировал весьма своеобразно. Почти все цитаты давались им по памяти, многие при этом искажались. Источники, как правило, или вовсе не названы («один психолог сказал»), или указаны неточно. Это привело к необходимости проведения сложной библиографической работы по розыску подлинных источников литературы, упоминаемой Выготским. В ряде случаев, когда соответствующие источники не удалось обнаружить, редколлегия сочла возможным дать цитаты без кавычек. В последнем томе Собрания сочинений приводится наиболее полный список работ Выготского, иностранных изданий его трудов, а также отечественной и зарубежной литературы о нем. Кроме того, последний том снабжен алфавитным указателем работ, публикуемых в настоящем издании по томам.

Редакционная коллегия благодарна родственникам Л. С. Выготского — его, ныне уже покойной, жене Р. Н. Выгодской и дочери Г. Л. Выгодской, предоставившим из своего архива имеющиеся у них рукописные материалы Л. С. Выготского.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ Л. С. ВЫГОТСКОГО

В настоящем Собрании сочинений впервые с достаточной полнотой представлены основные труды выдающегося советского психолога Льва Семеновича Выготского (1896—1934). Продуктивность Л. С. Выготского была исключительно велика: за неполных 10 лет деятельности в качестве профессионального психолога он написал около 180 работ. Из них издано 135 работ, еще 45 произведений ждут публикации. Многие издания Л. С. Выготского стали библиографической редкостью.

Необходимость нового издания трудов Выготского отмечают не только психологи, но и представители целого комплекса гуманитарных наук — философы, лингвисты и т. д. Для всех этих ученых его труды — не история. Они обращаются к работам Выготского и сегодня, более того, сегодня чаще, чем когда-либо. Его идеи так прочно вошли в обиход научной психологии, что упоминаются как общеизвестные, без ссылок на соответствующие работы или вовсе без упоминания имени Выготского.

Таково положение не только в советской, но и в мировой психологии. За последние годы ряд работ Выготского переведен на английский, французский, немецкий, итальянский, японский и другие языки. И за рубежом он также выступает не как историческая фигура, но как живой, современный исследователь.

Можно констатировать, что научная судьба Выготского сложилась счастливо и необычно для XX в., которому свойственны бурные темпы развития науки, когда многие идеи устаревают на другой день после того, как они были высказаны. Не составляет здесь, конечно, исключения и психология — едва ли в мировой психологии XX в. можно найти конкретные исследования, которые сохранили бы свою актуальность через 45—50 лет после того, как они были впервые опубликованы.

Чтобы понять «феномен Выготского», исключительность его научной судьбы, необходимо в его творчестве выделить два аспекта. С одной стороны, есть конкретные факты, конкретные методики и гипотезы Выготского и его сотрудников. Многие из этих методик и гипотез блестяще подтвердились и получили дальнейшее развитие в работах современных психологов. Методики, разработанные Выготским, факты, найденные им, считаются классическими. Они вошли как важнейшие составные части в фундамент психологической науки. И здесь современная психология, подтвердив мысли Выготского и опираясь на них, пошла вперед в плане фактов, методик,

гипотез и т. д. Но, с другой стороны, в творчестве Выготского есть еще один важнейший аспект — теоретико-методологический. Как один из крупнейших психологов-теоретиков XX в., он поистине опередил свое время на десятилетия. Именно в теоретико-методологическом плане сегодняшняя актуальность работ Выготского. Поэтому о его концепциях не приходится говорить как о чем-то законченном. Его конкретные исследования были только первым этапом реализации его же теоретико-методологической программы.

I

Творчество Л. С. Выготского определялось в первую очередь временем, в которое он жил и работал, эпохой Великой Октябрьской социалистической революции.

Глубокий, решающий переворот, внесенный революцией в психологическую науку, произошел не сразу. Как известно, несмотря на мощные материалистические и революционно-демократические тенденции, существовавшие в русской философии и психологии, официальная психологическая наука, культивировавшаяся в дореволюционных университетах и гимназиях, была проникнута духом идеализма. При этом в научном отношении она значительно отставала от уровня психологической науки передовых европейских стран (Германия, Франция) и США. Правда, в конце XIX — начале XX в. в России возникло несколько экспериментальных лабораторий, а в 1912 г. в Москве по инициативе Г. И. Челпанова создан первый в стране Психологический институт при Московском университете. Но научная продукция этих центров была незначительной по объему и во многих случаях малооригинальной по содержанию.

В самом деле, в начале XX в. в Европе зарождаются такие новые психологические школы, как фрейдизм, гештальтпсихология, вюрцбургская школа и т. д. Традиционная субъективно-эмпирическая психология сознания явным образом сходит на нет. В США возникает радикальное по тем временам направление в психологии — бихевиоризм. Мировую психологическую науку лихорадит, она переживает мучительный и напряженный период. В те же самые годы Челпанов и его сотрудники заняты повторением экспериментов, проводимых в вундтовской школе, для них последней новостью являются еще работы У. Джемса. Словом, они находились на периферии мировой психологии, не чувствовали всей остроты охватившего ее кризиса, они отстали от важнейших проблем психологической теории. Психология в России существовала как узкоакадемическая, университетская наука, о практических приложениях которой говорить было немыслимо. И это в то время, когда в Европе и США бурно развивалась прикладная психология — психотехника, первые шаги делала медицинская психология и т. д.

Революция несла с собой радикальные перемены для психологической науки. Психологии необходимо было полностью переродиться во всех отношениях, в сущности, на месте старой психологии в кратчайший срок должна была развиться новая наука.

Первое требование, которое сама жизнь страны, разрушенной и разоренной войной, поставила перед психологической наукой, было требование перейти к анализу практических прикладных проблем. Сразу после революции в России начинает развиваться новая область психологии — психология труда, психотехника. Это требование жизни было настолько бесспорным, что даже в цитадели академически-интроспективной психологии — Психологическом институте, руководимом Челпановым, возник новый отдел — отдел прикладных проблем.

Но главная задача тех лет для психологов состояла в выработке новой теории вместо культивировавшейся в дореволюционный период интроспективной психологии индивидуального сознания, опиравшейся на философский идеализм. Новая психология должна была исходить из философии диалектического и исторического материализма — ей предстояло стать марксистской психологией.

Необходимость подобной перестройки не сразу осозналась психологами, многие из которых были учениками Челпанова. Однако уже в 1920 г., а еще более определенно в 1921 г. эту проблему начал ставить П. П. Блонский (в книгах «Реформа науки» и «Очерк научной психологии»). Но решающим событием тех лет, когда вполне ясно была сформулирована линия на построение марксистской психологии, послужил известный доклад К. Н. Корнилова «Психология и марксизм» на I Всероссийском съезде по психоневрологии, проходившем в Москве в январе 1923 г. В этом докладе были изложены некоторые принципиальные положения марксизма, имеющие прямое отношение к психологии (о первичности материи по отношению к сознанию, о психике как свойстве высокоорганизованной материи, об общественном характере психики человека и т. д.). В то время для многих психологов, воспитанных в идеалистическом духе, эти положения не только не были самоочевидными, но были просто парадоксальными.

После съезда со всей страстью, отличавшей революционные двадцатые годы, вспыхнула полемика, а вернее — подлинная борьба между психологами-материалистами во главе с Корниловым и психологами-идеалистами во главе с Челпановым. Подавляющее большинство ученых вскоре признали правоту Корнилова в его борьбе за построение марксистской психологии. Внешним выражением победы материалистического направления стало решение, принятое в ноябре 1923 г. Государственным ученым советом, о снятии Челпанова с должности директора Психологического института и о назначении на эту должность Корнилова.

С начала 1924 г. в полную силу развернулась реорганизация ин-

ститута, там появились новые сотрудники. Некоторые из сторонников Челпанова ушли из института. Создавались новые отделы и т. д. В короткий срок Психологический институт существенно изменился. Он представлял очень пеструю картину. Сам Корнилов и его ближайшие сотрудники разрабатывали реактологическую теорию, которая не стала общепризнанным направлением, доминировавшим среди советских психологов тех лет. Многие психологи лишь внешне использовали реактологическую терминологию, облекая в нее результаты своих поисков, весьма далеких от идей Корнилова. Эти поиски шли в самых разных направлениях и не сводились к исследованию скорости, формы и силы реакции, чем интересовался сам Корнилов. Так, Н. А. Бернштейн, в те годы работавший в институте, начинал классические исследования «построения движений». В области психологии труда (психотехники) начали работать С. Г. Геллерштейн и И. Н. Шпильрейн с сотрудниками. Совсем молодые ученые института А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев вели исследования по сопряженной моторной методике. Зоопсихологическими работами занимался В. М. Боровский, стоявший в те годы на позициях бихевиоризма. Психоанализ пытался развивать Б. Д. Фридман, а работавший в области социальной психологии М. А. Рейснер в своих построениях причудливо соединял рефлексологию, фрейдизм и марксизм.

При всем том многие психологи, работавшие в разных областях и стоявшие на разных позициях, сходились в главном — в стремлении к построению марксистской психологии, в признании, что это главная задача психологической науки. Но конкретные пути построения марксистской психологии были в тот период еще не ясны. Эта совершенно новая задача не имела аналогов в истории мировой психологии. При этом большинство советских психологов тех лет не были образованными марксистами — они одновременно учились азбуке марксизма и пытались приложить ее к психологической науке. Не удивительно, что в итоге дело порой сводилось у них к иллюстрациям законов диалектики на психологическом материале.

Вставало множество сложных вопросов: в каком отношении к будущей марксистской психологии находятся те или иные конкретные психологические направления, существовавшие в 20-е гг. (рефлексология, реактология, фрейдизм, бихевиоризм и т. д.)? Должна ли марксистская психология изучать проблему сознания? Может ли марксистская психология использовать методы самонаблюдения? Действительно ли марксистская психология должна возникнуть как синтез эмпирически-субъективной психологии («тезис») и психологии поведения, объективной психологии («антитезис»)? Как решать вопрос о социальной обусловленности психики человека и какое место должно принадлежать социальной психологии в системе марксистской психологии?

Возникал ряд других, не менее важных и принципиальных во-

просов, без разрешения которых было невозможно движение вперед. Положение осложнялось необходимостью борьбы на два фронта: с идеализмом (в частности, с идеей марксистской психологии продолжал бороться Челпанов) и с вульгарным материализмом (механицизм и энергетизм Бехтерева, физиологический редукционизм и биологизаторство психики и т. д.).

И все же главный, решающий шаг был сделан именно тогда: советские психологи сознательно, первыми в мире приступили к строительству новой, марксистской психологии. Именно тогда, в 1924 г., пришел в психологическую науку Лев Семенович Выготский.

II

В январе 1924 г. Л. С. Выготский участвовал во II Всероссийском психоневрологическом съезде, проходившем в Ленинграде. Он выступил с несколькими сообщениями. Его доклад «Методика рефлексологического и психологического исследования» (позже им была написана одноименная статья) произвел сильное впечатление на К. Н. Корнилова, который пригласил Выготского работать в Психологический институт. Приглашение было принято, и в 1924 г. Лев Семенович переехал из Гомеля, где он тогда жил, в Москву и начал работать в Психологическом институте. С этого момента и ведется отсчет собственно психологического творчества Выготского (1924—1934).

Но если в 1924 г. 28-летний Выготский был психологом лишь начинающим, то он уже сложился как мыслитель, прошедший долгий путь духовного развития, логически приведший его к необходимости работать именно в области научной психологии. Это обстоятельство имело первостепенное значение для успеха психологических исследований Выготского.

Научную деятельность он начал, еще будучи студентом юридического факультета Московского университета (одновременно он учился на историко-филологическом факультете университета А. Л. Шанявского). В этот период (1913—1917) его интересы имели ярко выраженный гуманитарный характер. Благодаря исключительным способностям и серьезному образованию Выготский мог с равным успехом работать в нескольких направлениях одновременно: в области театроведения (он писал блестящие театральные рецензии), истории (он вел в родном Гомеле кружок по истории для учениц старших классов гимназии), в области политэкономии (он великолепно выступал на семинарах по политэкономии в Московском университете) и т. д. Особое значение для всего его творчества имели начавшиеся тогда же углубленные занятия философией. Выготский на профессиональном уровне изучил классическую немецкую философию. В студенческие годы началось его знакомство с фило-

софией марксизма, которую он изучал главным образом по нелегальным изданиям. В это же время зародился интерес Льва Семеновича к философии Спинозы, который на всю жизнь оставался его любимым мыслителем.

При всем разнообразии гуманитарных интересов молодого Выготского главное место для него в тот период занимало литературоведение (окончательно это определилось к 1915 г.). Он с детства страстно любил литературу и очень рано начал относиться к ней профессионально. Первые его литературоведческие работы (к сожалению, рукописи их потеряны) — разбор «Анны Карениной», анализ творчества Достоевского и пр.— прямо вырастали из его читательских интересов. Поэтому, кстати, Выготский и называл свои работы «читательской критикой». Венцом этой линии его творчества стал знаменитый анализ «Гамлета» (существуют два варианта этой работы, написанные соответственно в 1915 и в 1916 г.; второй вариант опубликован в книге Выготского «Психология искусства» в 1968 г.).

Для всех этих работ характерна психологическая направленность. К произведению искусства можно подходить с разных сторон. Можно выяснять вопрос о личности автора, пытаться понять его замысел, изучать объективную направленность произведения (например, его нравственный или социально-политический смысл) и т. д. Выготского интересовало другое: как воспринимает художественное произведение читатель, что в тексте произведения вызывает у читателя те или иные эмоции, т. е. проблема анализа психологии читателя, проблема психологического воздействия искусства. Выготский пытался к этой сложной психологической проблеме с самого начала подойти объективно, предложить некоторые методы анализа объективного факта — текста художественного произведения и вслед за тем идти к его восприятию зрителем.

Данный период творчества Льва Семеновича получил завершение в его большой работе, законченной и защищенной в Москве в 1925 г. как диссертация на тему «Психология искусства». Идеи, которые в 1916 г. при анализе «Гамлета» были высказаны еще «вполголоса», теперь выступали как заявка на построение материалистической психологии искусства.

Л. С. Выготский решал две задачи — дать объективный анализ текста художественного произведения и объективно-материалистический анализ человеческих эмоций, возникающих при чтении этого произведения. Как центральный момент самого произведения он правомерно выделяет внутреннее противоречие, лежащее в его структуре. Но попытка объективного анализа эмоций, вызываемых подобным противоречием, успехом не увенчалась (и не могла увенчаться при том уровне развития психологической науки). Это предопределило некоторую незаконченность и односторонность «Психологии искусства» (по-видимому, ее чувствовал и сам Выготский,

который, имея возможность ее опубликовать при жизни, однако, не сделал этого).

Проблемы, открывшиеся при работе в области психологии искусства, и невозможность их решения на уровне психологической науки 20-х гг. делали неизбежным переход Выготского к занятию собственно научной психологией. Переход совершился постепенно в течение 1922—1924 гг. К концу указанного периода Выготский, продолжая в Гомеле работу над «Психологией искусства», уже начал исследования в области научной психологии. Как уже говорилось, этот переход завершился с его переездом в Москву в 1924 г.

III

Придя в психологию, Л. С. Выготский сразу оказался в особом положении по сравнению с большинством советских психологов. С одной стороны, он ясно понимал необходимость построения новой, объективной психологии, так как самостоятельно пришел к этим мыслям, работая над психологией искусства. С другой стороны, именно для Выготского с его изначальным интересом к высшим человеческим эмоциям, вызываемым восприятием произведений искусства, особенно нетерпимы были недостатки реально существовавших объективных направлений в мировой и советской психологии 20-х гг. (бихевиоризм, реактология, рефлексология). Главный их недостаток состоял в упрощенчестве психических явлений, в тенденции к физиологическому редукционизму, неспособности адекватно описывать высшее проявление психики — сознание человека.

Л. С. Выготскому нужно было четко выявить симптомы болезни, которой страдали объективные направления в психологии, а затем искать пути ее лечения. Этим задачам посвящены ранние теоретические работы Выготского: доклад «Методика рефлексологического и психологического исследования», с которым он выступал на II психоневрологическом съезде (1924), статья «Сознание как проблема психологии поведения» (1925) и большая историко-теоретическая работа «Исторический смысл психологического кризиса» (1926—1927), впервые публикуемая в 1-м томе настоящего издания. Отдельные идеи, созвучные этим работам, встречаются и в других его трудах, в том числе и в позднейших. Многие мысли Выготского, являющиеся ключевыми как для его творчества, так во многом и для всей советской психологии, содержатся в его работах имплицитно или высказывались им устно.

Недостаток объективных направлений в психологии — их неспособность адекватно изучать явления сознания — видели многие психологи. Выготский выступал лишь как один из активных, но далеко не единственный участник борьбы за новое понимание сознания в советской психологии 20-х гг.

Необходимо отметить своеобразие позиции Выготского. Он был первым, кто уже в 1925 г. в статье «Сознание как проблема психологии поведения» поставил вопрос о необходимости конкретно-психологического изучения сознания как конкретной психологической реальности. Он сделал смелое для того времени заявление, что не только «новая» психология — бихевиоризм, игнорировавший проблему сознания, но и «старая», субъективно-эмпирическая психология, объявлявшая себя наукой о сознании, по-настоящему его не изучала. Эта постановка вопроса казалась парадоксальной. Например, для К. Н. Корнилова изучение сознания означало возврат в какой-то смягченной форме к субъективно-эмпирической психологии. Дальше он уже видел конкретную задачу — как соединить интроспективные методы «старой» психологии с объективными методами «новой» психологии. Это он и называл словом «синтез».

«Новая» психология содержательно ничего, по сути дела, не могла добавить к анализу сознания в «старой» психологии. Разница была чисто оценочная. «Старая» психология видела важнейшую задачу в изучении сознания, и ей казалось, что она действительно изучает его. «Новая» психология, не видя никаких новых методов изучения сознания, отдавала эту проблему на откуп «старой» психологии. Представители «новой» психологии могли оценивать проблему сознания как несущественную и игнорировать ее или оценивать ее как важную, но идти на компромисс со «старой» психологией при ее решении (позиция Корнилова).

Для Выготского проблема оборачивалась совершенно по-другому. Ни о каком возвращении к «старой» психологии не могло быть и речи. Изучать сознание надо по-другому, чем это делали (вернее — не делали, а декларировали) представители психологии сознания. Сознание надо рассматривать не как «сцену», на которой выступают психические функции, не как «общего хозяина психических функций» (точка зрения традиционной психологии), но как психологическую реальность, имеющую огромное значение во всей жизнедеятельности человека, которую надо конкретно изучать и анализировать. В отличие от других психологов 20-х гг. Выготский сумел увидеть в проблеме сознания не только вопрос конкретных методик, но прежде всего *философско-методологическую проблему* колоссального значения, краеугольный камень будущего здания психологической науки.

Та объективная психология, перед которой выступят сложнейшие феномены психической жизни человека, включая сознание, могла возникнуть только на основе марксизма. При таком подходе открывалась перспектива материалистической трактовки сознания и намечались конкретные, а не декларативные задачи марксистской психологии.

Говоря о построении марксистской психологии, Выготский сумел увидеть главную ошибку большинства психологов 20-х гг., ставив-

ших перед собой ту же задачу. Дело в том, что к этой задаче они подходили лишь как к методической, причем шли от какой-либо конкретной психологической теории, стремясь присоединить к ней с помощью союза «и» основные положения диалектического материализма. О принципиальной неверности такого подхода Выготский прямо писал в работе «Исторический смысл психологического кризиса». Психология, указывал он, конечно, конкретная наука. Каждая психологическая теория имеет философскую основу, иногда явную, иногда скрытую. И в любом случае эта теория определяется своим философским фундаментом. Поэтому, не перестроив фундамент психологии, нельзя брать в готовом виде ее результаты и соединять с положениями диалектического материализма. Марксистскую психологию надо именно *строить*, т. е. начинать с ее философского фундамента.

Как же конкретно строить марксистскую психологию, исходя из общих положений диалектического материализма? Для ответа на этот вопрос Выготский предлагает обратиться к классическому примеру — марксистской политической экономии, изложенной в «Капитале», где дан образец того, как на основе общих положений диалектического материализма может быть разработана методология конкретной науки. Лишь после того как разработана методологическая основа науки, можно рассматривать конкретные факты, полученные исследователями, стоящими на разных теоретических позициях. Теперь есть возможность органически ассимилировать эти факты, а не плестись в их хвосте, не попасть в их плен, не превратить теорию в эклектический конгломерат различных методик, фактов и гипотез.

Итак, Выготский первым среди советских психологов выделил такой важный этап создания марксистской психологии, как разработка ее философско-методологической теории «среднего уровня».

В тех же работах 1925—1927 гг. Выготский сделал попытку определить конкретный путь построения теоретико-методологической базы марксистской психологии. Так, эпиграфом к работе «Исторический смысл психологического кризиса» он берет известные слова из Евангелия: «Камень, который презрели строители, стал во главу угла» *. Далее он поясняет, что речь идет о строителях психологической науки. «Камень» же этот двояк: с одной стороны, речь идет о философско-методологической теории «среднего уровня», а с другой — о практической деятельности человека.

Положение о чрезвычайном значении для психологии практической деятельности человека парадоксально для мировой и советской психологии 20-х гг. Тогда доминирующим направлением было изучение внешней двигательной активности человека путем раздроб-

* Л. С. Выготский цитирует неточно. В тексте Евангелия: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла...» (Евангелие от Матфея, гл. 21, строфа 42).— *Примеч. ред.*

ления ее на отдельные элементарные поведенческие акты (бихевиоризм), двигательные реакции (реактология) или рефлексы (рефлексология) и т. д. Анализом практической деятельности во всей ее сложности не занимался никто, если не считать специалистов по психологии труда. Но они сами и другие психологи трактовали эту область как чисто прикладную и полагали, что фундаментальные закономерности психической жизни человека при анализе его практической, трудовой деятельности выявлены быть не могут.

Л. С. Выготский придерживался диаметрально противоположного мнения. Он подчеркивал, что ведущая роль в развитии психологической науки принадлежит именно психологии труда, психотехнике *. Правда, он добавлял, что дело тут не в самой психотехнике с ее частными методиками, результатами и конкретными задачами, а в ее общей проблематике, в том, что она первой вышла на психологический анализ практической, трудовой деятельности человека, хотя и не понимая еще всего значения этих проблем для психологической науки.

Мысль Выготского ясна — разработка теоретико-методологических основ марксистской психологии должна начинаться с психологического анализа практической, трудовой деятельности человека на основе марксистских позиций. Именно в этой сфере скрыты главные закономерности и исходные единицы психической жизни человека.

IV

Реализация мыслей, которые в общей форме возникли у Л. С. Выготского, была, конечно, делом исключительно трудным. Но этот замысел перестройки психологии был глубоко созвучен революционной эпохе 20-х гг. Подобные идеи не могли не привлечь к Льву Семеновичу талантливую молодежь. Именно в те годы складывается психологическая школа Выготского, сыгравшая большую роль в истории советской психологии. В 1924 г. первыми его сотрудниками стали А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия. Несколько позднее к ним присоединились Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Р. Е. Левина, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина. В те же годы активное участие в исследованиях, проводимых под руководством Л. С. Выготского,

* Необходимо отметить, что уже в 1920 г. в книге «Реформа науки» П. П. Блонский высказал мысль о значении трудовой деятельности для анализа психологии человека. Несколько позднее Выготского глубокие мысли о значении для психологии внешней и трудовой деятельности высказывал М. Я. Басов в «Общих основах педологии» (1927). Однако конкретный анализ деятельности у Выготского и Басова шел по разным линиям. Важно отметить, что оба они прямо связывали значение исследований практической, трудовой деятельности человека с задачами построения марксистской психологии.

Из зарубежных психологов интересные для психологии мысли о значении труда и трудовой деятельности высказывал в 20-е гг. крупнейший французский ученый П. Жанэ.

принимали Л. В. Занков, Ю. В. Котелова, Е. И. Пашковская, Л. С. Сахаров, И. М. Соловьев и другие. Затем с Львом Семеновичем начали работать его ленинградские ученики — Д. Б. Эльконин, Ж. И. Шиф и другие.

Базами для работ Выготского и его сотрудников служили в первую очередь Психологический институт при Московском университете и Академия коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, а также основанный Выготским Экспериментальный дефектологический институт. Большое значение для Льва Семеновича имели научные контакты с клиникой нервных болезней 1-го Московского медицинского института (официально он начал работать там с 1929 г.).

Период научной деятельности Выготского и его сотрудников в 1927—1931 гг. исключительный по насыщенности и значению для последующей истории советской психологии. Именно тогда были разработаны основы культурно-исторической теории развития психики. Ее основные положения изложены в работах Выготского: «Инструментальный метод в педологии» (1928), «Проблема культурного развития ребенка» (1928), «Генетические корни мышления и речи» (1929), «Очерк культурного развития нормального ребенка» (1929, рукопись), «Инструментальный метод в психологии» (1930), «Орудие и знак в развитии ребенка» (1930, впервые публикуется в настоящем издании), «Этюды по истории поведения» (1930, совместно с А. Р. Лурия), «История развития высших психических функций» (1930—1931, I часть опубликована в 1960 г. в одноименной книге, II часть публикуется впервые в настоящем издании) и в некоторых других. Многие ключевые идеи культурно-исторической теории изложены в наиболее известной книге Выготского «Мышление и речь» (1933—1934). Кроме того, для понимания культурно-исторической теории важны работы сотрудников Выготского: «О методах исследования понятий» Л. С. Сахарова (1927), «Развитие памяти» А. Н. Леонтьева (1931), «Развитие житейских и научных понятий» Ж. И. Шиф (1931) и др.

В соответствии со своими принципиальными взглядами Выготский обратился не к рассмотрению самих по себе психических явлений, а к анализу трудовой деятельности. Как известно, классики марксизма в этой деятельности выделяли прежде всего ее орудийный характер, опосредованность процесса труда орудиями. Выготский анализ психических процессов решил начать с аналогии. У него возникла гипотеза: нельзя ли найти в психических процессах человека элемент опосредованности своеобразными психическими орудиями? Косвенное подтверждение этой гипотезе он находил в известных словах Ф. Бэкона, которые затем неоднократно цитировал: «Ни голая рука, ни предоставленный сам себе разум не имеют большой силы. Дело совершается орудиями и вспомогательными средствами» (Соч., 1978, т. 2, с. 12). Конечно, мысль Ф. Бэкона далеко

не однозначна, ее можно трактовать по-разному. Но для Выготского она была важна лишь как одно из подтверждений его собственной гипотезы, опирающейся на теорию К. Маркса о трудовой деятельности.

Согласно мысли Льва Семеновича, в психических процессах человека следует различать два уровня: первый — это разум, предоставленный самому себе; второй — это разум (психический процесс), вооруженный орудиями и вспомогательными средствами. Точно так же следует различать два уровня практической деятельности: первый — это «голая рука», второй — рука, вооруженная орудиями и вспомогательными средствами. При этом как в практической, так и в психической сфере человека решающее значение имеет именно второй, орудийный, уровень. В области психических явлений первый уровень Выготский назвал уровнем «натуральных», а второй уровень — уровнем «культурных» психических процессов. «Культурный» процесс — это «натуральный» процесс, опосредованный своеобразными психическими орудиями и вспомогательными средствами.

Нетрудно заметить, что проводимая Выготским аналогия процессов труда и психики была достаточно приблизительной. Как показали классики марксизма, человеческая рука есть и орган, и продукт труда. Следовательно, противопоставление «голой руки» и руки, вооруженной орудиями, в столь резкой форме не оправданно. Неправомерно также резкое противопоставление «натуральных» и «культурных» психических процессов. Терминология, выбранная Выготским, приводила к недоразумениям, так как возникал справедливый вопрос: разве не все психические процессы современного человека являются процессами культурными? Эти слабости идей Выготского вызывали оправданную критику как при жизни Льва Семеновича, так и после его смерти.

Вместе с тем необходимо отметить, что подобное противопоставление двух уровней нужно было Выготскому на первом этапе работы для того, чтобы оттенить основное положение своей теории, касающееся решающего значения психологических орудий в протекании психических процессов.

Правда, в 20-е гг. к вопросу о роли орудий в психической жизни совсем с другой стороны подошел В. Келер. В это время были опубликованы результаты его опытов над человекообразными обезьянами. Здесь было, в частности, показано, что внешние материальные объекты — палки, ящики и т. д.— могут играть не пассивно-исполнительную роль в решении задач обезьянами, а активно включаться в структуру их психических процессов (введение в ситуацию палок приводило к переструктурированию оптического поля животного, а для гештальтиста Келера это и значило менять структуру психического процесса).

Опыты Келера произвели сильное впечатление на психологов, и

в 20-е гг. некоторые ученые пытались перенести их в детскую психологию. Эти опыты оказались созвучными мыслям Выготского. Он был инициатором перевода на русский язык монографии Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» и написал к ней предисловие. Затем Лев Семенович часто («Мышление и речь», «История развития высших психических функций» и т. д.) ссылался на результаты исследования Келера и тех ученых, которые пытались проводить соответствующие опыты в области детской психологии (К. Бюлер, К. Коффка и др.). Выготский, ориентированный на изучение практической, предметной деятельности, видел в опытах Келера (показавшего активную роль внешних орудий в переструктурировании психических функций) подход к изучению одной из проекций этой деятельности.

В. Келер вышел на эту проблематику лишь на экспериментально-методическом уровне. Его исходные теоретико-методологические позиции как крупного гештальтиста были противоположны позициям Выготского. Далекий от понимания важнейшей роли трудовой деятельности, Келер не мог, конечно, выделить *орудие* как центральный момент опосредования психических функций. Парадоксально, но Келер, впервые описавший переструктурирование психического процесса внешним орудием, не увидел специфики орудия и рассматривал его всего лишь как один из элементов оптического поля. Центральная для Выготского проблема деятельности тем самым была для Келера закрыта. Сам же Лев Семенович подчеркивал именно специфику орудийного уровня опосредования психических процессов, особенно при его социально-исторической детерминации у человека.

Оценивая смысл предложенной Выготским аналогии труда и психических процессов и противопоставления им двух уровней психических процессов, эти его воззрения необходимо сейчас рассматривать не сами по себе, а в контексте предпосылок и дальнейшего развития всей его теории, в зависимости от того, к каким последствиям они приводили.

Что же конкретно давала гипотеза «психологических орудий» и двух уровней психических функций? Этот вопрос, на котором в значительной мере проверялась правомерность гипотезы, заключался в том, каковы реальные аналоги «натуральных» и «культурных» психических процессов. Именно ответ на этот вопрос показал, насколько гипотеза Выготского правомерна и плодотворна для психологической науки. Как известно, исходя из совершенно других параметров (осмысленность, произвольность и т. д.), психологи разделяли все психические функции на высшие (понятийное мышление, логическая память, произвольное внимание и т. д.) и низшие (образное мышление, механическая память, непроизвольное внимание и т. д.). Сам факт такого деления был важным достижением психологической науки. Однако затем возникал ряд вопросов о том,

в каком отношении находятся между собой высшие и низшие функции, что обеспечивает наличие таких специфических качеств высших психических функций, как их произвольность, осознанность и т. д.

Ответ на эти вопросы в той или иной форме вынуждена была давать каждая крупная теория. Но одни направления (ассоциативная теория, бихевиоризм) фактически теряли качественное различие между высшими и элементарными функциями при попытках перевести их на свой язык, т. е. разложить те и другие на некоторые элементарные составляющие (такой подход Выготский называл атомарным) *. Между тем очевидность качественного различия между низшими и высшими психическими функциями делала очевидной слабость подобных подходов.

Противоположные направления («понимающая психология»), наоборот, рассматривали качественное различие высших и элементарных функций как основополагающий факт. На первое место они выдвигали целостность структуры и целесообразный характер психических процессов. Эти направления категорически выступали против «атомарного подхода». Но у них «вместе с водой выплескивался ребенок» — психологи этой ориентации, стоявшие в философском плане на идеалистических позициях, вообще отрицали возможность причинного объяснения психических явлений, отрицали естественнонаучные методы в психологии. Для них пределом, к которому может стремиться психология, было понимание связей, существующих между психическими явлениями, без попыток включить их в сеть причинно-следственных отношений, покрывающую события реального физического мира. В результате психологи этой ориентации не могли найти связи между высшими и низшими психическими функциями.

Гипотеза, выдвигаемая Выготским, предлагала новое решение проблемы отношения высших и элементарных психических функций. Низшие, элементарные, психические функции он связывал с фазой натуральных, а высшие — с фазой опосредованных, «культурных», психических процессов. Такой подход по-новому объяснял как качественное различие высших и элементарных психических функций (оно состояло в опосредованности высших функций «орудиями»), так и связь между ними (высшие функции возникают на основе низших). Наконец, особенности высших психических функций (например, их произвольность) были объяснимы наличием «психологических орудий».

* Л. С. Выготский неоднократно писал о двух методах анализа — по элементам (атомарный анализ) и по единицам. Анализ по элементам — разложение на простейшие составные части, из которых построено целое, но которые сами теряют свойства целого (например, разложение воды на атомы водорода и кислорода). Анализ по единицам — разложение на минимальные составные части, несущие в себе свойства целого (например, разложение воды на молекулы). Применительно к психологии к анализу по элементам Выготский относил разложение психических процессов на рефлексы, а также двучленную систему бихевиористов (*S — R*).

Через гипотезу опосредованности психических процессов своеобразными «орудиями» Выготский стремился не декларативно, а конкретно-методически ввести в психологическую науку установки марксистской диалектической методологии. Это составляло главную особенность всего творчества Л. С. Выготского, именно этому он обязан своим успехом.

V

Вопрос о методологии — едва ли не главный вопрос, когда речь идет о творчестве Л. С. Выготского. В сущности, внутренняя диалектика всегда составляла характерную черту его мышления. Достаточно вспомнить его ранние работы (например, «Психологию искусства»). Так, Лев Семенович не боится выделить как главную черту, определяющую наше восприятие произведений искусства, именно противоречие, внутренне присущее самому произведению. Та же позиция обнаруживалась в его склонности, анализируя явление, выделять в нем две полярные, борющиеся между собой стороны и в этой борьбе видеть движущую силу развития.

Мышлению Выготского присущ историзм в рассмотрении явления (в связи с этим важно помнить о гуманитарных корнях его творчества, в частности о большом влиянии на него школы А. А. Потебни с развивавшимся им историческим методом в литературоведении). Все эти предпосылки облегчали Выготскому постижение марксистской диалектики, овладение марксистским историческим методом. Постижение основ марксистской диалектики подняло мышление Л. С. Выготского на качественно новую ступень.

В гипотезе об опосредованности психических функций имплицитно содержались элементы *целостно-исторического* подхода. Они были четко выражены и доведены до логического конца самим Выготским в таких работах, как «История развития высших психических функций», «Мышление и речь».

Основополагающая идея Выготского о том, что психические функции опосредуются своеобразными «психологическими орудиями», имела смысл лишь постольку, поскольку сами психические функции рассматривались как целостные образования со сложной внутренней структурой. Такой подход сразу отметал «атомарный анализ», составлявший для Выготского особенно нетерпимый недостаток материалистических направлений в психологии 20-х гг. (бихевиоризм, рефлексология и т. д.). Вместе с тем здесь открывалась перспектива *целостно-материалистического* и *объективного* подхода к анализу психического, которое понималось как сложно структурированная незамкнутая система, открытая во внешний мир (в замкнутости психического заключался для Выготского главный недостаток целостно-идеалистических взглядов, развивавшихся, например, в «понимающей психологии»).

Конечно, в 20—30-е гг. не только Выготский пытался рассматривать психические функции как сложно структурированные образования, открытые внешнему миру. Подобные взгляды проводили и гештальтисты. Их работы, в частности эксперименты В. Келера по исследованию интеллекта человекоподобных обезьян, произвели сильное впечатление на Выготского (см. об этом выше). Но чтобы выявить внутреннее отличие его методологии от позиций гештальтпсихологов, важно иметь в виду другой момент развиваемой им теории целостности — ее историзм.

Идея историзма в общем была чужда гештальтпсихологам, стремившимся изучать ситуацию «здесь и теперь». Для Выготского уже в самой его исходной идее об опосредованности натуральных психических функций своеобразными «психологическими орудиями» была заключена необходимость подхода к культурным, высшим, психическим функциям как к историческим образованиям, а значит, необходимость исторического метода их изучения. Выготский видел в принципе три возможных пути исторического исследования формирования высших психических функций: филогенетический, онтогенетический и в патологии (прослеживание на больных процесса распада этих функций). Главное место в его творчестве заняли онтогенетические исследования («История развития высших психических функций», «Мышление и речь»).

Важно отметить, что целостность и историзм у Выготского в принципе неразделимы. Это две проекции одной идеи — идеи опосредованности психических процессов, *понятой с диалектических позиций*.

Говоря об историзме Выготского, необходимо отличать его от исторических подходов, имевших место в 20—30-е гг. у других психологов. Известно, что одной из отличительных черт психологии в XX в. стало осознание себя как науки исторической, как науки о развитии. Многие психологические школы того времени, стремившиеся охватить всю совокупность психических явлений (глубинная психология, французская школа и т. д.), описывали психику как организованную по системно-уровневому принципу. Но вопрос заключался в том: что же выступало в разных теориях как детерминанты фило- и онтогенетического развития психики?

Идея развития (в онтогенетическом плане) была центральной для детской психологии, сформировавшейся к концу XIX в. (Ч. Дарвин, В. Прейер и др.). С самого начала она формировалась под определяющим влиянием эволюционной теории, и развитие психики ребенка рассматривалось с точки зрения ее приспособительного значения (в этом же плане проводилось сравнение онто- и филогенетического развития — см. закон рекапитуляции С. Холла, в сущности очень близкий к биогенетическому закону). Идеи развития, также понимаемого в биологически-эволюционном плане, были стержневыми и для сложившейся в тот же период зоопсихологии.

Принцип историзма в психологию пытались внести основатель описательной психологии В. Дильтей и его последователи. При этом Дильтей, как известно, стоял на идеалистических позициях и трактовал психическую жизнь как чисто духовную. Говоря же об истории, он, в сущности, имел в виду историю культуры, рассматриваемую также с идеалистических позиций, т. е. только как проявление духовной активности человека. Поэтому, критикуя в своей «Истории развития высших психических функций» последователя Дильтея — Э. Шпрангера, Выготский писал о том, что, сближая историю и психологию, он, в сущности, сближает духовное с духовным (это вполне применимо и к самому Дильтею).

По-своему трактовали принцип историзма французские психологи, тесно увязывавшие его с проблемой социальной обусловленности психики. Так, Э. Дюркгейм, один из основоположников французской школы, рассматривал общество как совокупность коллективных представлений. Л. Леви-Брюль в известных работах по психологии первобытных народов высказал мысль, что не только содержание, но и сами способы человеческого мышления (человеческая логика, точнее — соотношение логических и пралогических моментов в мышлении человека) есть понятие историческое, развивающееся.

К 20-м гг. лидирующее положение во французской школе занял такой крупнейший ученый, как П. Жанэ, пытавшийся сочетать историзм и деятельностный подход. Это позволило Жанэ прийти к ряду глубоких мыслей о природе и развитии психики, оказавших большое влияние на последующее развитие психологической науки. В частности, он выдвинул гипотезу о том, что ребенок в процессе развития интериоризует социальные формы поведения, первоначально применявшиеся к нему взрослыми. Исследователь пытался детально проследить процесс интериоризации на примере памяти и мышления. Но при этом Жанэ, как и вся французская школа, исходил из того, что человек изначально асоциален, что социализация прививается ему извне. При анализе человеческой деятельности и социальной жизни Жанэ был далек от марксизма. Основным социальным отношением он считал отношение сотрудничества, что и естественно для ученого, который видит внешнюю картину социальных связей, но не придает первостепенного значения лежащим в их основе экономическим отношениям.

Историзм Выготского имеет принципиально иной характер по сравнению с рассмотренными выше подходами. Его историзм — это попытка применения в психологии марксова исторического метода. Так, для Выготского детерминантами психического развития человека выступают не биологическое созревание в онтогенезе и биологическое приспособление в ходе борьбы за существование в филогенезе (детская психология и зоопсихология эволюционного направления), не усвоение человеком идей мирового духа, воплощенных в

творениях культуры («понимающая психология» В. Дильтея), и не отношения социального сотрудничества (теория П. Жанэ), но *трудовая, орудийная деятельность* человека. Именно такой подход был органически связан с гипотезой опосредования психических процессов орудиями.

Сам метод онтогенетического исследования психики до Выготского можно назвать методом поперечных срезов — в разном возрасте проводился замер уровня развития и поведения ребенка, состояния отдельных психических функций, а затем по результатам отдельных замеров, дающих дискретные точки на возрастной оси, пытались восстановить общую картину развития.

Недостатки такого метода для Выготского очевидны. Он считал, что гипотеза опосредования намечает путь к другому методу исследования психического развития в онтогенезе, когда появится возможность смоделировать (выражаясь в терминах 60-х гг.) этот процесс. И действительно, историко-генетический метод Выготского в ряде случаев дал результаты, принципиально недостижимые для метода поперечных срезов.

Изучение истории формирования высших психических функций в онтогенезе и филогенезе как образований, складывающихся на основе элементарных психических функций, опосредуемых психологическими орудиями, стало главной темой исследований Выготского и его сотрудников.

VI

При такой постановке задачи центральным становился вопрос о психологических орудиях: что они из себя представляют и каков механизм опосредования?

Вначале, при зарождении идеи опосредованности, Л. С. Выготский иллюстрировал ее на примере больного-паркинсоника, лежавшего в клинике Г. И. Россолимо. Когда к больному обращались с требованием идти, он мог ответить только усилением тремора и идти не мог. После этого перед ним на полу раскладывались белые бумажки и повторялось требование. Теперь тремор у больного уменьшался, и он действительно начинал идти, последовательно наступая на бумажки.

Л. С. Выготский, объясняя эти опыты, говорил, что перед больным находятся два ряда стимулов. Первый ряд — словесные приказы, которые не способны вызвать адекватное поведение больного. Тогда на помощь ему приходит второй ряд стимулов — куски белой бумаги. Первоначальная реакция больного опосредуется этим рядом. Именно второй ряд стимулов выступает как средство управления поведением — поэтому Выготский называл их стимулами-

средствами *. В этом описании мысль Выготского как будто близка к позициям поведенческой психологии, но скоро выясняется, что эта близость чисто терминологическая. Для бихевиориста исследованием поведения дело и ограничивается, а для Выготского это только пример, главное значение в котором приобрело изучение процесса опосредования стимулами-средствами психических функций, а вовсе не поведенческих реакций. Круг стимулов-средств при этом неизмеримо расширялся. Так, в тезисах доклада «Инструментальный метод в психологии» (1930) Выготский в качестве примеров стимулов-средств (психологических орудий) называет язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическую символику, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т. д. Здесь надо снова отдать должное научной смелости Выготского, решившегося соединить в один ряд внешне будто бы несопоставимые объекты. Общепризнанная точка зрения была тогда такова: с одной стороны, психолог рассматривал второстепенные приспособления, играющие исполнительную роль («завязывание узелка на память» и т. д.), с другой — фундаментальные психологические образования (например, речь).

Что же общего у всех этих разнородных объектов — от слова до «узелка на память»? Прежде всего то, что все они созданы человечеством искусственно и представляют элементы культуры (отсюда название теории Выготского — «культурно-историческая»). К тому же все эти стимулы-средства, или психологические орудия, были первоначально повернуты вовне, к партнеру. Лишь затем психологические орудия оборачиваются на себя, т. е. становятся у человека средством управления собственными психическими процессами. Далее происходит вращивание стимула-средства внутрь. Психическая функция опосредуется изнутри, и отпадает необходимость во внешнем (по отношению к данному человеку) стимуле-средстве. Весь этот процесс от начала до конца Выготский называл «полным кругом культурно-исторического развития психической функции».

В статье «Проблема культурного развития ребенка» (1928) он подробно описал этот процесс на примере опытов по запоминанию слов, которые он и его сотрудники проводили с детьми. В качестве стимулов-средств в этих опытах выступали картинки. Если на первом этапе экспериментатор должен был предъявлять картинки ребенку, то на втором этапе ребенок уже сам выбирал соответствую-

* Следует понимать необычность подобного употребления слова «стимул» — достаточно сравнить его с трактовкой стимула бихевиористами, рефлексологами и т. д. Подобная терминологическая «небрежность» Выготского, составляющая одну из трудностей для правильного понимания работ, объясняется в первую очередь незаконченностью его концепции. Он очень спешил — спешил реализовать свои замыслы, завершить (хотя бы в общих чертах) свою теорию. Терминологическая точность казалась при этом делом второстепенным.

щие картинки (поворот орудия на себя), а на третьем происходило вращивание внутрь, т. е. необходимость в картинке отпадала. Выготский наметил в этой статье несколько возможных типов вращивания внутрь: по типу простой замены внешних стимулов внутренними, по типу шва, соединяющего прежде относительно самостоятельные части процесса в единый акт, по типу усвоения самой структуры (принципа) опосредования (это наиболее совершенный тип вращивания).

Таким образом, внутренняя логика развития теории Выготского вплотную подвела его к проблемам интериоризации, подробно разрабатывавшимся в те же годы французской психологической школой. Но существовала принципиальная разница понимания интериоризации этой школой и Л. С. Выготским. Первая понимала интериоризацию таким образом, что к *изначально существующему и изначально асоциальному индивидуальному сознанию* извне прививаются некоторые формы общественного сознания (Э. Дюркгейм) или в него вносятся элементы внешней социальной деятельности, социального сотрудничества (П. Жанэ). Для Выготского же сознание только и складывается в процессе интериоризации — никакого изначально асоциального сознания ни филогенетически, ни онтогенетически нет.

В этих опытах нашла экспериментальное подтверждение основная гипотеза Льва Семеновича. Благодаря опосредованию психологическими орудиями менялся сам психический процесс, его структура перестраивалась (например, на основе сенсорной памяти формировалась логическая память). Здесь выступала в зародыше и еще одна мысль Выготского о том, что в процессе опосредования к памяти неизбежно подключается мышление, играющее огромную роль в логической памяти. Это стало впоследствии исходным моментом для развитого им представления о психологических системах (см. ниже).

Принципиальное значение в исследованиях процесса опосредования имел историко-генетический метод Выготского. Здесь на конкретном материале раскрылась большая эвристическая сила этого метода. Факты, обнаруженные Выготским, были частично и раньше известны психологической науке. Сам он в статье «Проблема культурного развития ребенка» упоминает, например, об экспериментах А. Бине по запоминанию, в которых выяснилось, что испытуемый применяет определенные приемы, чтобы увеличить количество запоминаемых цифр. Однако ни Бине, ни другие психологи, прекрасно знавшие подобные факты (существовал хорошо известный термин «мнемотехника»), не могли должным образом их проинтерпретировать. В них видели всего лишь удобный технический прием при запоминании, имеющий в лучшем случае прикладное значение, а то и просто курьез, фокус (Бине писал о симуляции памяти с помощью мнемотехники).

Никто не смог увидеть здесь ключ к раскрытию фундаменталь-

ных закономерностей психической жизни. При этом надо учесть, что исследования проводились на взрослых людях и экспериментаторы, изучая, например, объем внимания, не задавались вопросом об онто- и филогенетическом развитии соответствующей психической функции. Раскрыть фундаментальный смысл соответствующих фактов можно было лишь выйдя, подобно Выготскому, на путь историко-генетического исследования (именно историко-генетического исследования, позволяющего проводить формирование той или иной функции, а не просто исследования путем поперечных срезов).

Гипотеза опосредования психических функций в сочетании с историко-генетическим методом открывала перед Выготским новые перспективы исследований. Этот подход позволял ему выделить основную единицу психической жизни. Так, в статьях «Инструментальный метод в психологии» и «Проблема культурного развития ребенка» он рассматривает ее на примере процессов запоминания. В первой статье он пишет: «При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная (условнорефлекторная) связь *А* — *В* между стимулами *А* и *В*; при искусственном мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия *X* (узелок на платке, мнемическая схема) вместо этой прямой связи *А* — *В* устанавливаются две новые *А* — *X* и *X* — *В*; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным процессом... как и связь *А* — *В*; новым, искусственным, инструментальным является факт замещения одной связи *А* — *В* двумя: *А* — *X* и *X* — *В*, ведущими к тому же результату, но другим путем» (см. схему на с. 104 настоящего тома).

Чтобы правильно понять эту мысль Льва Семеновича, надо иметь в виду следующее. Процессы запоминания для него выступали только в качестве модели. Процессы же опосредования имеют, по его гипотезе, первостепенное значение для любой психической функции. Поэтому предлагаемая схема имеет универсальный смысл. Речь идет здесь о замене двучленной схемы анализа, общепринятой в психологии 20-х гг., новой, трехчленной схемой, где между стимулом и реакцией вставляется третий, промежуточный, опосредующий член — стимул-средство, или психологическое орудие. Пафос идеи Выготского в том, что только далее неразложимая трехчленная схема является той минимальной единицей анализа, которая сохраняет в себе основные свойства психических функций.

Итак, возникал решающий вопрос: действительно ли гипотеза опосредования, предложенная Выготским, позволяет выделить новую и адекватную универсальную единицу строения психических функций? Если это так, то Выготский мог бы приступить с позиций историко-генетического метода к решению проблемы сознания. Но прежде следовало проверить эту общую гипотезу. Моделями такой проверки стали сначала память, а затем внимание («Развитие высших форм внимания в детском возрасте», 1925). В ходе эксперимен-

тов по вниманию гипотеза опосредования получила еще одно подтверждение — структура процессов внимания также перестраивалась благодаря психологическим орудиям.

Дальнейшая программа исследований Выготского и его сотрудников касалась проверки гипотезы опосредования уже на примере такой фундаментальной психической функции, как мышление. Эти исследования, однако, быстро привели к новым и неожиданным результатам.

VII

Известно, что мышление тесно переплетается с речью. Некоторые психологи (например, Дж. Уотсон) делали вывод, что мышление просто сводится к внутренней речи. При этом онтогенез мышления представлялся Уотсону по линии: громкая речь — шепот — внутренняя речь. Однако исследования вюрцбургской школы в начале века показали, что мышление и речь далеко не совпадают.

Таким образом, в этой области существовали две точки зрения: утверждение полного совпадения или столь же полного различия мышления и речи. Односторонность этих позиций приводила к возникновению многочисленных компромиссных и промежуточных теорий. Л. С. Выготский с самого начала был не согласен с методом их построения. Он состоял в том, что процессы речевого мышления рассматривались у взрослого культурного человека и психологи раскладывали их на составные части. Мысль бралась независимо от речи, а речь — независимо от мышления. Затем психологи пытались, по словам Выготского, представить себе связь между тем и другим как чисто внешнюю механическую зависимость между двумя различными процессами («Мышление и речь», глава первая). Здесь в самом ярком виде находил он оба главных недостатка психологии: анализ по элементам и антиисторизм.

Подлинный ответ на вопрос об отношении мышления и речи возможен был, следовательно, только на пути историко-генетического исследования. Для такого подхода психология уже накопила известный фактический материал. Так, в 20-е гг. новый свет на эти вопросы пролили исследования В. Келера. С одной стороны, он обнаружил у обезьян то, что он называл инструментальным интеллектом. Связь этого инструментального интеллекта с человеческим (в частности, с вербальным) мышлением представлялась вероятной. Его можно было рассматривать как одну из ступеней, филогенетически предшествующих человеческому мышлению. С другой стороны, у шимпанзе были выявлены некоторые аналоги человекоподобной речи. Но самое интересное заключалось в том, что сам Келер и другие исследователи, проверившие его опыт, сходились в мнении об отсутствии связи инструментального интеллекта и зачатков речи у обезьян. Получалось, следовательно, что генетические корни че-

ловеческого мышления и человеческой речи были различны и только на каком-то этапе они пересекались.

В свете этих фактов в соответствии с общей логикой своей концепции Выготский пришел к выводу, что речь является психологическим орудием, опосредующим мышление на его ранней стадии (под ранней стадией мышления он имел в виду практическую деятельность). В результате подобного опосредования образуется вербальное мышление. В афористической манере Лев Семенович выражал эту идею, перефразируя крылатое выражение из «Фауста». Вместо библейского «Вначале было слово» Гёте пишет: «Вначале было дело». Для Выготского в проблеме генеза мышления логическое ударение смещается на слово «вначале». Итак, *вначале* было дело (практическая деятельность), которое опосредовалось словом. Так обстояла, по предположению Выготского, суть проблемы в филогенетическом плане.

В принципе нечто сходное должно иметь место и в онтогенезе. Онтогенетическое исследование мышления и речи провел в 20-е гг. Ж. Пиаже. Оно произвело сильное впечатление на Льва Семеновича. Собственно, книга «Мышление и речь» во многом построена как полемика с Пиаже, хотя, конечно, это не составляет главного содержания его труда. (Интересно, что сам Пиаже прочитал «Мышление и речь» только в конце 50-х гг. и согласился со многими критическими замечаниями Выготского.) Пиаже сумел выделить и описать феномен эгоцентрической речи, которую он истолковывал как проявление якобы изначально присущей ребенку асоциальности. В дальнейшем, по мере социализации ребенка, эгоцентрическая речь постепенно отмирает.

В ходе экспериментов Выготский убедительно показал, что дело обстоит как раз наоборот. Эгоцентрическая речь изначально социальна. Она не отмирает, а становится *внутренней* речью, интериоризуется. При этом она является важнейшим средством мышления, рождающимся во внешней, предметной деятельности ребенка. Вербальное мышление складывается по мере интериоризации деятельности. Здесь была вновь подтверждена гипотеза Выготского: мышление, возникающее из практической деятельности, *опосредуется* речью, словом.

Но еще более важную проверку эта гипотеза прошла на материале исследований по формированию у детей такого продукта речевого мышления, как обобщение. Задача состояла в том, чтобы проверить, действительно ли слово является тем средством, психологическим орудием, которое опосредует процесс обобщения и образования понятия у детей.

Исследования, о которых идет речь, были начаты в 1927 г. Выготским вместе с его сотрудником Л. С. Сахаровым, а после смерти последнего (1928) продолжены Выготским в 1928—1930 гг. совместно с Ю. В. Котеловой и Е. И. Пашковской (наиболее подробное из-

ложение методов и результатов этих исследований дано в работе Выготского «Мышление и речь» и в статье Л. С. Сахарова «О методах исследования понятий»).

Для исследования процессов обобщения Выготским и Сахаровым была разработана новая разновидность методики двойной стимуляции, представлявшая собой известное видоизменение методики искусственных слов, предложенной в начале века Н. Ахом для изучения понятий. Исследование строилось по той же принципиальной схеме, что и исследования других психических функций. Перед испытуемым стояла задача произвести обобщение по группам признаков ряда трехмерных геометрических фигур, отличающихся друг от друга по величине, форме и цвету. Роль второго ряда стимулов — стимулов-средств должны были выполнять вводившиеся в эксперимент бессмысленные искусственные слова.

В ходе опытов выяснился непредусмотренный результат, повернувший исследование в другую сторону. Оказалось, что для испытуемого задача обобщения фигур с помощью стимулов-средств превращается в другую задачу — открыть значения этих стимулов-средств путем выбора самих геометрических фигур. Таким образом, психологические орудия, стимулы-средства, выступили с новой стороны — они превратились в носителей определенных значений. Эти данные позволили изменить терминологию исследования — психологические орудия, или стимулы-средства, начали называться *знаками*. Слово *знак* Выготский начал употреблять в смысле «имеющий значение».

Надо сказать, что вопросом о роли знаков в психической жизни человека Лев Семенович интересовался еще до того, как занялся научной психологией. Впервые этот вопрос встал перед ним еще в годы работы в области психологии искусства. Уже в книге «Психология искусства» он писал, что человеческие эмоции вызываются определенными знаками и что его задача — на основании анализа этих знаков перейти к анализу эмоций. Здесь под знаком также понимается символ, имеющий определенное значение.

Подобная точка зрения, традиционная для литературоведения и искусствознания, была неожиданна для психологии или физиологии (рефлексолог также мог сказать, что знак вызывает эмоцию, только он имел бы в виду, что знак — это условный раздражитель в системе условного рефлекса). Именно гуманитарная (в частности, семантическая и семиотическая) культура, усвоенная Выготским в годы работы над «Психологией искусства», помогла ему не поддаться рефлексологическим схемам в трактовке своих экспериментов на обобщение, а увидеть в них выход к проблеме значения.

В этой связи интересно отметить, что уже в конце 20-х — начале 30-х гг. Лев Семенович возобновил исследование роли знаков в психологии искусства, т. е., говоря современным языком, семиотические исследования (семиотика как наука тогда еще не существовала).

Им были начаты совместно с С. М. Эйзенштейном работы по теории киноязыка (они прервались из-за смерти Выготского; некоторые материалы их хранятся в архиве Эйзенштейна).

VIII

Таким образом, для Л. С. Выготского изучение проблемы обобщений, развития понятий, проблемы значения слова выступало как путь исследования онтогенеза мышления, что стало нервным узлом всей его теории.

Опыты, проводившиеся по методике двойной стимуляции, показали, что понятия (вместе с ними и значения слов) проходят в своем развитии несколько этапов.

Первый этап (младший дошкольный возраст) — этап синкретов. На этом этапе слово не имеет для ребенка существенного значения. Фигуры объединялись ребенком по случайному признаку (например, по их пространственной близости или по какому-то внешне яркому признаку и т. п.). Такое объединение, основанное на случайном впечатлении, было, естественно, не стабильным.

Второй этап — комплексы. Обобщение-комплекс имеет несколько различных форм. Сходным для них является то, что ребенок объединяет предметы хотя и на основе непосредственного чувственного опыта, но сообразно *фактическим* связям. При этом любая связь может служить основанием для включения предмета в комплекс, лишь бы она была наличной. В процессе возникновения комплекса эти связи как основания группировки постоянно меняются, как бы скользят, теряют свои очертания, сохраняя между собой общее лишь в том, что раскрываются через какую-либо единую практическую операцию. На этой ступени дети еще не могут рассматривать какой-либо признак или зависимость предметов вне конкретной, наличной, зримой ситуации, в которой эти предметы обнаруживают обилие взаимопересекающихся признаков, поэтому дети и соскальзывают с одной особенности на другую, третью и т. д.

Все признаки равны в функциональном значении, среди них нет иерархии. Конкретный предмет входит в комплекс как реальная наглядная единица со всеми своими неотъемлемыми фактическими признаками. В образовании такого обобщения первостепенную роль играет словесный знак. Он выступает как *фамильное* обозначение предметов, объединенных по какому-либо фактическому признаку.

Особое место среди комплексов занимает одна из их форм — псевдопонятие, составляющее, по словам Выготского, «наиболее распространенную, превалирующую над всеми остальными и часто почти исключительную форму комплексного мышления ребенка в дошкольном возрасте» («Избранные психологические исследования», 1956, с. 177). По внешним особенностям производимого ребенком обоб-

щения — это понятие, но по типу процесса, приводящего к обобщению,— это комплекс. Так, ребенок может свободно отобрать и объединить в группу все треугольники независимо от их цвета, размера и т. п. Однако специальный анализ показывает, что это объединение было произведено ребенком на основе зрительного схватывания характерного наглядного признака «треугольности» (замкнутость, характерное пересечение линий и т. п.) без какого-либо выделения существенных свойств этой фигуры как геометрической, т. е. без идеи треугольника. Поскольку подобная группировка может быть создана человеком, уже владеющим этой идеей, то получается, что по продукту псевдопонятие и понятие совпадают, но за ними лежат разные способы работы, разные интеллектуальные операции.

Третий этап — собственно понятие. Оно образуется на основе отбора группы предметов, объединенных по одному признаку, путем его абстрагирования. Когда выделены абстрактные признаки и отдельные элементы абстрагированы от наглядной ситуации, в которой они даны в опыте,— это первая стадия образования понятия. Само же понятие возникает тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется. Решающую роль в образовании понятий играет слово как средство направления внимания на соответствующий признак, как средство абстрагирования. Здесь роль слова (значение словесного знака) совсем другая, чем на уровне комплексов.

Это исследование дало ряд важных результатов и поставило ряд проблем. В контексте общей теории Выготского очень важно открытие того факта, что значение слов-знаков меняется в онтогенезе, меняется их функция от фамильного обозначения до средств абстрагирования. Важно и то, что методика двойной стимуляции вновь оправдала себя, показала, что знак и в процессах обобщения выступает как способ опосредования (его роль на разных этапах меняется).

Однако применительно к самой проблеме образования понятий и к проблеме обобщения исследование Выготского поставило больше новых вопросов, чем дало ответы на старые. Важнейшим его достижением здесь стало открытие уровня комплексов и особенно псевдопонятий. Тут естественно возникает вопрос: почему же традиционная психология до Выготского обходила стороной, не выделяла псевдопонятий? Дело в том, что традиционной психологией псевдопонятие принималось за понятие и не имелось способа развести их. Единственным признаком понятия традиционная психология считала обобщение, выделение некоторой общности. При таком подходе к проблеме псевдопонятия и подлинные понятия действительно были неразличимы.

Важно иметь в виду, что подобная характеристика понятия была не психологической, а формально-логической. Некритическое ее перенесение из формальной логики, где оно действительно работа-

ло, в психологию, где оно было бессодержательно, наносило психологии вред, не осознаваемый самими психологами. Первый удар по такой трактовке понятия был нанесен в 20-е гг. исследованием Э. Иенша, а работа Выготского подвела под ней черту. Глубоко психологический историко-генетический метод исследований Выготского вскрыл психологическую бессодержательность формально-логического определения понятия, которое объединяло психологически разнородные явления — подлинное понятие и псевдопонятие.

Но парадокс открытия Выготского состоял в том, что сам он в работе над понятиями шел по линии развития обобщений, исходящих из наглядной ситуации, а в итоге исследования благодаря историко-генетическому методу показал психологическую неадекватность такого пути. Конечно, предметная отнесенность остается бесспорным моментом материалистического объяснения понятия, но ее не следует смешивать с ситуативной наглядностью. Даже высшая ступень обобщений наглядной ситуации все-таки не является, как это чувствовал Выготский, высшей ступенью развития самого понятия. Выявленное таким образом понятие при всей его отвлеченности и абстрактности было родственно псевдопонятию и комплексу, образовывало с ними континуум, их роднило содержание лежащего за ними обобщения. Для того чтобы пробиться к высшей ступени понятия, надо было исходить из другого принципа обобщения, подходить к понятию с иной стороны.

В этом направлении и шли дальнейшие поиски Выготского. Многое здесь ему не удалось завершить, но и то, что сделано им (под его руководством по этой проблеме в 1930—1931 гг. работала Ж. И. Шиф), оставило существенный след в психологии и получило в дальнейшем широкое практическое применение.

Л. С. Выготский разводил два вида понятий: житейские и научные. Житейские понятия — это и есть понятия, выявленные в описанных выше экспериментах. Это высшая ступень, до которой может подняться обобщение, идущее от наглядной ситуации, абстрагирование по известному наглядному признаку. Эти понятия — суть общие представления, идущие от конкретного к абстрактному. Это спонтанные понятия. Как образно говорил в работе «Мышление и речь» сам Лев Семенович, это «обобщения вещей».

Научные понятия, как установлено в исследовании Шиф, формируются у ребенка по-другому. Это «обобщения мысли». Здесь устанавливаются зависимости между понятиями, совершается образование их *системы*. Далее происходит осознание ребенком собственной мыслительной деятельности. Благодаря этому у ребенка формируется особое отношение к объекту, позволяющее отражать в нем то, что недоступно эмпирическим понятиям (проникновение в *сущность* объекта). Путь образования научного понятия, как показал Выготский, противоположен пути образования житейского, спонтанного, понятия. Это путь от абстрактного к конкретному, когда

2*

ребенок с самого начала лучше осознает само понятие, чем его предмет.

Исследовать этот процесс до конца Выготский в то время не мог, но крупнейшим его научным достижением был экспериментальный показ психологического различия процессов образования житейских и научных понятий.

Как же согласовать развитие у ребенка житейских и научных понятий? Выготский связывал эту проблему с более широкой проблемой обучения и развития. В ходе исследования он столкнулся с фактом, что развитие научных понятий происходит быстрее развития спонтанных (Мышление и речь, глава шестая). Анализ этого факта привел его к выводу, что степень овладения житейскими понятиями показывает уровень актуального развития ребенка, а степень овладения научными понятиями — зону ближайшего развития ребенка. Введение понятия «зона ближайшего развития» составляет крупную заслугу Льва Семеновича перед психологией и педагогикой.

Житейские понятия действительно развиваются спонтанно. Научные понятия привносятся в сознание ребенка в ходе обучения. «Но если научные понятия... развивают какой-то не пройденный ребенком участок развития... тогда мы начинаем понимать, что обучение... может действительно сыграть огромную и решающую роль в умственном развитии ребенка» (там же.) «Обучение тогда только хорошо, когда оно идет впереди развития». Тогда обучение «вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития» (там же).

Таким образом, зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что ребенок способен самостоятельно, и тем, на что он становится способен с помощью учителя.

Подобный взгляд был для своего времени революционным. Известно, что тогда господствовали воззрения, согласно которым обучение должно идти вслед за развитием и закреплять достигнутое им. Казалось невозможным, чтобы обучение забегало вперед развития ребенка,— нельзя научить тому, для чего еще не созрела основа в самом ребенке. Уровень развития ребенка казалось естественным определять именно тем, что он может сделать самостоятельно. Анализ развития ребенка, проводимый методом поперечных срезов, в принципе мог дать лишь такое заключение. Но дело коренным образом изменилось после применения историко-генетического метода Л. С. Выготского, позволяющего выявить потенциальный уровень умственного развития ребенка — зону его ближайшего развития.

Применение этого понятия имело прямое практическое приложение к решению задач диагностики умственного развития детей, которую теперь можно было проводить как по актуальному, так и по потенциальному уровню.

После того как гипотеза опосредования психических процессов

была проверена при формировании различных психических функций (мышление, память, внимание и т. д.), как были созданы соответствующие новые методы психологического исследования, Выготский вернулся к исходной, капитальной проблеме, подступом к которой и стала культурно-историческая теория,— к проблеме сознания. Пришло время, когда можно уже было дать первые ответы на вопросы, поставленные вначале, и наметить пути решения новых проблем. Эту работу Лев Семенович не завершил — ее оборвала смерть. Поэтому его психологическую теорию нельзя считать законченной. Но все-таки некоторые общие контуры теории сознания были им намечены и представляют большой интерес. Для понимания его подхода к проблеме особенно важны такие работы, как «Мышление и речь» (особенно последняя глава), доклад «Проблема развития и распада высших психических функций» (1934), лекция «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка» (1933), оставшаяся неоконченной рукопись «Учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии» (1934), тезисы «Психология и учение о локализации психических функций» (1934). Многие мысли, относящиеся к этой проблеме, содержатся и в более ранних трудах Выготского, особенно в работе «История развития высших психических функций» и в докладе «О психологических системах» (1930).

К каким же главным выводам пришел Выготский? Психические функции развиваются в ходе исторического развития человечества. Определяющим моментом этого развития являются знаки. «В высшей структуре,— писал Лев Семенович,— функциональным определяющим целым, или фокусом всего процесса, является знак и способ его употребления». Знак — это любой условный символ, имеющий определенное значение. Универсальным знаком является слово. Высшая психическая функция складывается на основе элементарной, опосредуемой знаками в процессе интериоризации. Интериоризация — фундаментальный закон развития высших психических функций в онто- и филогенезе: «Всякая функция в культурном развитии... появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем... как категория интрапсихическая» (История развития высших психических функций, 1960, с. 197—198). В процессе интериоризации формируется человеческое сознание.

В понимании Выготским процесса интериоризации к началу 30-х гг. произошла глубокая перемена. Сам он говорил об этом так: «В процессе развития... изменяются не столько функции, как мы это раньше изучали (это была наша ошибка), не столько их структура... сколько изменяются и модифицируются *отношения, связи функций между собой*, возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени» (О психологических системах,

с. 110). Здесь Лев Семенович, желая заострить внимание слушателей на различии этих двух аспектов проблемы, несправедлив к себе. Не начав с подобной «ошибки» изучения того, как под влиянием опосредования изменяется структура отдельной функции, нельзя было прийти к новому выводу — об изменении в ходе развития связи функций между собой.

Говоря о проблеме межфункциональных связей, Выготский обращался к работам крупного русского эволюциониста и зоопсихолога В. А. Вагнера, у которого он нашел очень важное для себя понятие эволюции по чистым и смешанным линиям. Для животного мира характерна эволюция по чистым линиям, т. е. «появление нового инстинкта, разновидности инстинкта, который оставляет... неизменной всю прежде сложившуюся систему функций» (Проблема развития и распада высших психических функций, 1960, с. 368). Для развития человеческого сознания, наоборот, «на первом плане... развития высших психических функций стоит не столько развитие каждой психической функции... сколько изменение межфункциональной связи» (там же).

В связи с этим поворотом к исследованию межфункциональных отношений Выготский обращается к новому понятию *психологической системы*. В разных расплывчатых значениях оно употреблялось в психологии и до Выготского, но он понимал под этим систему межфункциональных связей, межфункциональную структуру, ответственную за определенный психический процесс (восприятие, память, мышление и т. д.). В «Лекциях по психологии» (1932) он писал: «Центральное значение для всей структуры сознания и для всей деятельности психических функций имеет развитие мышления» (там же, с. 300).

Понятие психологической системы оказалось весьма плодотворным в теории Выготского *. Так, психологам давно было известно, что, например, в процессах логической памяти участвует не только память, но и мышление. Заслуга Льва Семеновича состояла в том, что ему на основе историко-генетического метода удалось показать, как происходит формирование психологических систем в процессе опосредования знаками элементарных психических функций. Этот факт выявился уже в ходе экспериментов по развитию опосредованной памяти («Проблема культурного развития ребенка»). Но тогда он имел значение в контексте гипотезы опосредования. Теперь же при исследовании психологических систем Выготский благодаря этому факту приходит к ряду новых интересных психологических проблем.

* Примерно в те же годы, но другим путем к сходному понятию пришел Н. А. Бернштейн. Это было понятие динамических двигательных систем (одно и то же движение может обеспечиваться различными взаимозаменяемыми физиологическими организациями).

По-новому открылась проблема *локализации* высших психических функций *. Известно, что в XIX в. учение о локализации шло по линии узкого локализационизма — исследователи (например, П. Брока и др.) видели главную задачу в том, чтобы выявить, какой конкретный участок мозга ответствен за протекание того или другого психологического процесса. В XX в. эта идея уже исчерпала себя. Под влиянием новых успехов неврологии и физиологии такая постановка вопроса стала казаться неправомочной. Представления о сложном характере психической деятельности, о невозможности узкой локализации развивали такие ученые, как К. Гольдштейн, Ч. Шеррингтон и другие. Однако положительного выхода они не видели.

Представление о психологических системах позволило Выготскому наметить выход из локализационного кризиса. В проблему локализации вносился новый подход — динамический и историко-генетический, делающий акцент на то, как *складывается* соответствующая психологическая система. Но путь исследования пролегал здесь не по линии онтогенеза и филогенеза, а по линии исследования патологических случаев — распада психологических систем (например, в случае локальных поражений мозга). Здесь Выготскому удалось открыть важнейшую закономерность: поражение определенной зоны коры головного мозга в детстве влияет на развитие высших, надстраивающихся на них зон коры, а поражение в той же области в зрелом возрасте, наоборот, влияет на более низкие зоны головного мозга («Психология и учение о локализации психических функций»). Это положение, а главное, применение историко-генетического метода к материалу локальных поражений мозга стали исходными для развития новой отрасли науки — нейропсихологии.

Благодаря понятию о психологических системах открывался новый взгляд на проблему сознания. Становилось ясно, что при анализе структуры сознания надо идти не от рассмотрения отдельных функций, а от рассмотрения психологических систем. Но развернуть такой анализ Выготский не успел. Есть основание полагать, что по логике своей теории в центр сознания он должен был поставить *значение*, над проблемой которого он усиленно работал в последние годы жизни.

Подход Льва Семеновича к этой проблеме требует особого рассмотрения. Конечно, заключив сознание в мир таких рафинированных продуктов культуры, как знак и значение, он, казалось, отошел от первоначальной психологической программы, направленной на изучение прежде всего практической, предметной, трудовой деятельности человека, на что, в сущности, и были устремлены все усилия Выготского.

* Подробное изложение этого вопроса см.: *Лурия А. Р.* Основы нейропсихологии. М., 1973.

Л. С. Выготский остро чувствовал это при рассмотрении фундаментальной проблемы сознания и деятельности, когда писал, что «за сознанием открывается жизнь». Но как прорваться к этой жизни, иначе говоря, к практической деятельности?

Надо сказать, что уже некоторые психологи 30-х гг. (например, А. А. Таланкин, П. И. Размыслов и др.) улавливали и отмечали эту действительную слабость в понимании связи сознания с реальной жизнью, проступавшую в культурно-исторической теории. Проблема была и остается в психологии очень сложной.

Л. С. Выготский, в 20-е гг. пытавшийся приложить к психологии категории практической деятельности, в 30-е гг. начал второй круг исследований. Теперь главную задачу он видел в анализе эмоционально-мотивационной сферы, полагая, что именно через нее деятельность детерминирует психические процессы, детерминирует сознание. В конце книги «Мышление и речь» он писал: «Мысль — еще не последняя инстанция... Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания... За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления» (1956, с. 379). Начатая им в этом плане работа «Учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии» осталась неоконченной. Выготский успел дать здесь в основном анализ творчества Декарта (эта рукопись впервые публикуется в 6-м томе настоящего издания).

Еще один план стыковки деятельности и сознания был намечен Выготским в последних работах (например, в лекции «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка», прочитанной в 1933 г.). Если раньше он показал, что деятельность ребенка детерминирует формирование его мышления в раннем детстве, то здесь сделана попытка показать, как внешняя деятельность (игра) детерминирует психическое развитие («создает зону ближайшего развития»), является *ведущей* деятельностью. В соответствии с новым аспектом своих интересов Выготский акцентирует внимание на аффективно-эмоциональной стороне игры.

* * *

В одной статье едва ли возможно хотя бы кратко охарактеризовать все проблемы, которыми занимался и которые разработал Л. С. Выготский — один из последних энциклопедистов в психологической науке. Так, вне нашего рассмотрения остались дефектологические, педагогические и другие его труды. Эти вопросы получат свое освещение в соответствующих томах настоящего издания. Нашу задачу мы видели в том, чтобы показать эволюцию общепсихологической теории Выготского, составляющей главное в его разностороннем творчестве. Цель Выготского состояла в построении основ марксистской психологии, конкретно — психологии созна-

ния. Он сумел увидеть, что центральной категорией для марксистской психологии должна стать предметная деятельность человека. И хотя сам термин «предметная деятельность» в его трудах не встречается, но таков объективный смысл его работ, таковы были и его субъективные замыслы. Первой формой выражения этой категории в психологии была культурно-историческая теория Выготского с ее идеей об опосредовании психических процессов психологическими орудиями — по аналогии с тем, как материальные орудия труда опосредуют практическую деятельность человека. Через эту идею Выготский ввел в психологическую науку диалектический метод, в частности разработал свой историко-генетический метод.

Эти идеи Выготского позволили ему прийти к ряду блестящих научных достижений. Вместе с тем в центре внимания Выготского оказалась такая проекция деятельности, как эмоционально-аффективная сфера. Эту новую программу исследований он осуществить не успел.

От идей, высказанных Выготским, нас отделяют 50 лет. Но центральные проблемы, решению которых посвятил жизнь Лев Семенович, остаются центральными и для современной психологии, опирающейся на разработанные им теоретико-методологические принципы. В этом — главный итог и лучшая оценка творчества великого психолога XX в. Льва Семеновича Выготского.

А. Н. Леонтьев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ

МЕТОДИКА РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ [1]

Методика рефлексологического исследования человека подошла сейчас к поворотному пункту своего развития. Необходимость (и неизбежность) поворота в линии развития проистекает из несоответствия между огромнейшими задачами изучения всего поведения человека, которые рефлексология себе ставит, с одной стороны, и теми скромными и скудными средствами для решения их, которые дает классический эксперимент воспитания условного (секреторного или двигательного) рефлекса,— с другой. Несоответствие это обнаруживается все яснее и яснее по мере того, как рефлексология [2] переходит от изучения наиболее элементарных связей человека со средой (соотносительной деятельности в ее примитивнейших формах и явлениях) к исследованию сложнейших и разнообразнейших взаимоотношений, без которых не может быть разгадано поведение человека в его главнейших законах.

Здесь, за сферой элементарного и примитивного, рефлексологии оставалось только общее голое утверждение, равно применимое ко всем формам поведения, что они представляют собой системы условных рефлексов. Но ни специфических особенностей каждой системы, ни законов сочетания условных рефлексов в системы поведения, ни сложнейших взаимодействий и отражений одних систем на другие не улавливало это общее, чересчур общее положение, и даже не открывало дороги к научному решению этих вопросов. Отсюда декларативный, схематический характер рефлексологических работ там, где они ставят и решают проблемы поведения человека в сколько-нибудь сложном виде.

Классическая рефлексология остается при разработке универсального научного принципа, мирового закона дарвиновского значения и все приводит к одному знаменателю. И именно потому что принцип этот слишком всеобъемлющ и универсален, он не дает прямого средства для науки судить о его частных и индивидуальных формах. В конце концов для конкретной науки о человеческом поведении так же невозможно ограничиться им, как конкретной физике нельзя ограничиться одним принципом всемирного тяготения. Нужны весы, нужны свои приборы и методы, чтобы на основе общего принципа признать конкретный, вещественный, ограниченный земной мир. Так же обстоит дело и в рефлексологии. Все толкает

науку о поведении человека выйти за пределы классического эксперимента и искать другие средства познания.

И сейчас уже не только обозначилась ясно тенденция к расширению рефлексологической методики, но и наметилась та линия, по которой это расширение пойдет. Она направлена в сторону все большего сближения и в конечном пункте окончательного слияния с приемами исследования, давно установленными в экспериментальной психологии [3]. Хотя это звучит парадоксально относительно столь враждующих дисциплин, хотя на этот счет в среде самих рефлексологов нет полного единодушия и они совершенно по-разному расценивают экспериментальную психологию, несмотря на все это, об этом слиянии, о создании единой методики исследования поведения человека, а следовательно, и единой научной дисциплины о нем можно говорить как о совершающемся на наших глазах факте.

Краткая история этого сближения такова. Первоначально электрокожное раздражение наносилось на подошву, чем вызывался оборонительный рефлекс стопы или всей ноги. В дальнейшем В. П. Протопопов [4] (1923) в процессе работы ввел очень существенное изменение — заменил ногу кистью руки, полагая, что гораздо выгоднее выбрать в качестве критерия реакции именно руку, как наиболее совершенный ответный аппарат, более тонко приспособленный к ориентировочным реакциям на воздействие среды, чем нога. Он же чрезвычайно убедительно аргументирует важность подходящего выбора ответного аппарата для реакции. В самом деле, очевидно, что если выбрать в качестве ответного аппарата у заики или немого его речевой аппарат, или у собаки ту конечность, соответствующий корковый двигательный центр которой удален, или вообще мало и плохо приспособленный для соответствующего типа реакции аппарат (нога человека для хватательных движений), то во всех этих случаях мы немногого добьемся в изучении быстроты, точности и совершенства ориентировки, хотя анализаторная и сочетательная функции нервной системы сохранены в полной силе. И действительно, опыт показал, говорит Протопопов, что образование условных рефлексов в руках достигается гораздо скорее, дифференцировка получается также скорее и держится более прочно (1923, с. 22). При этом изменении методика рефлексологического эксперимента начинает чрезвычайно походить на психологическую. Рука испытуемого кладется на стол свободно, и пальцы его касаются пластинки, через которую пропускается электрический ток.

Итак, если в изучении рефлексов человека пойти дальше установления всеобщего принципа и задаться целью изучить различного рода реакции, определяющие поведение, окажется решающе важным фактором выбор реагирующего органа. «Человек и животное имеют в своем распоряжении много отвечающих аппаратов, но они, несомненно, отвечают на разнородные раздражители среды теми, которые у них больше развиты и больше приспособлены для данного

случая»,— говорит Протопопов (там же, с. 18). «Человек убегает от опасности ногами, защищается руками и т. д. Конечно, можно развить и в стопе оборонительный сочетательный рефлекс, но если нужно исследовать не только сочетательную функцию больших полушарий самое по себе (= общий принцип.— *Л. В.*), но и устанавливать степень быстроты, точности и совершенства ориентировки, то для этого рода исследований не безразлично окажется, какой ответный аппарат избрать для наблюдения» (там же).

Но, сказав *а*, надо сказать и *бэ*. Протопопову приходится признать, что и здесь реформа остановиться не может. «Человек обладает гораздо более развитым эффекторным аппаратом в той же двигательной сфере (чем рука), с помощью которого он устанавливает несравненно более широкую связь свою с окружающим миром,— я разумею здесь речевой аппарат. Я полагаю вполне уже возможным и целесообразным при рефлексологических исследованиях перейти к пользованию и речью объекта, рассматривая последнюю как частный случай тех условных связей, которые определяют взаимоотношение человека с окружающей средой через двигательную его сферу» (там же, с. 22). Что речь необходимо рассматривать как систему условных рефлексов, об этом говорить долго не приходится — это для рефлексологии почти азбучная истина. Выгоды, которые принесет для рефлексологии пользование речью, в смысле расширения и углубления круга изучаемых явлений, тоже очевидны для всякого.

Итак, в качестве ответного реагирующего аппарата разногласий и расхождений с психологией больше нет. И. П. Павлов [5] указывал на выгодность выбора именно слюнного секреторного рефлекса у собаки, как наименее произвольного, сознательного. Это и было чрезвычайно важно, пока речь шла о разгадке самого принципа условных рефлексов, «психической слюны» при виде пищи. Но новые задачи требуют и новых средств, продвижение вперед заставляет менять путевую карту.

Второе и более важное обстоятельство заключается в том, что сама же методика рефлексологии наткнулась на некоторые факты, которые прекрасно известны всякому ребенку. Процесс дифференцировки рефлекса у человека достигается нескоро. Много времени уходит на то, чтобы выработанный рефлекс из генерализированного стал дифференцированным, т. е. чтобы человек научился реагировать только на основной раздражитель, а на посторонние реакция тормозилась. И вот «*оказалось* (курсив мой.— *Л. В.*), что, воздействуя на объекты соответственно подходящей речью, можно способствовать как торможению, так и возбуждению условных реакций» (там же, с. 16). Если человеку объяснить, что только один определенный звук будет сочетаться с током, а другие — нет, дифференцировка вырабатывается сразу. Речью можно вызвать торможение и условных рефлексов на *основной* раздражитель и даже безусловного

рефлекса на ток — стоит только сказать испытуемому, чтобы он не отдергивал руку.

Итак, в методику опыта вводится «соответственно подходящая речь» для выработки дифференцировки. То же самое средство годится не только для вызывания торможения, но и для возбуждения рефлекторной деятельности. «Если мы на словах предложим объекту отдергивать кисть его руки на какой-либо определенный сигнал», то эффект будет нисколько не хуже, чем при отдергивании руки при пропускании тока через пластинку. Протопопов полагает, что мы всегда возбудим желаемую нам реакцию. Очевидно, что и отдергивание руки по словесному уговору с испытуемым, с точки зрения рефлексологии, есть условный рефлекс. И вся разница между этой условной реакцией и другой, выработанной с рефлекса на ток, исчерпывается тем, что здесь мы имеем *вторичный* условный рефлекс [6], а там — *первичный*. Но и Протопопов признает, что это обстоятельство говорит скорее в пользу именно такой методики. «Несомненно,— говорит он,— рефлексологические исследования на человеке в будущем должны вестись главным образом с помощью вторичных условных рефлексов» (там же, с. 22). И в самом деле, разве не очевидно, что существеннейшим моментом — и количественно, и качественно — в поведении человека при анализе окажутся именно *суперрефлексы* и именно они объяснят поведение в его статике и его динамике? Но при этих двух допущениях: 1) возбуждения и ограничения (дифференцировки) реакции при помощи словесной инструкции, 2) пользования всеми видами реакций, в том числе и словесной, речевой,— мы вступаем всецело в область методики экспериментальной психологии.

В. П. Протопопов дважды в цитированной исторической статье останавливается на этом. Он говорит: «Постановка опытов в данном случае... вполне идентична с той, которая издавна применяется в экспериментальной психологии при исследовании так называемой простой психической реакции». Далее включаются «разнообразнейшие модификации в постановке опытов, например, возможно в рефлексологических целях применить и так называемый ассоциативный эксперимент... [7] и, пользуясь им, учитывать не только настоящее объекта, но и открывать следы прежних раздражений, включая и заторможенные» (там же).

Переходя с такой решительностью от классического эксперимента рефлексологии к богатейшему разнообразию психологической экспериментатики, на которой и до сих пор лежит запрет для физиологов, намечая с большой смелостью новые пути и методы рефлексологии, Протопопов все же при всей высокой оценке психологического эксперимента оставляет недоговоренными *два чрезвычайно существенных* пункта, обоснованию и защите которых посвящена настоящая статья.

Первый касается техники и методики исследования, второй —

принципов и целей двух (?) наук. Оба тесно связаны друг с другом, и с обоими связано одно существенное недоразумение, которое затемняет дело. Признание обоих остающихся еще не выясненными пунктов диктуется как логически неизбежными выводами из уже принятых рефлексологией положений, так и тем ближайшим шагом, который уже предрешен всей линией развития этой методики и будет сделан в самое скорое время.

Что же остается такого, что не дает окончательно и полностью совпасть и слиться методике психологического и рефлексологического экспериментов? При той постановке вопроса, которую принимает Протопопов, только одно: опрос испытуемого, словесный ответ его относительно протекания некоторых сторон процессов и реакций, не улавливаемых иным способом экспериментаторами, высказывание, свидетельство самого же объекта опыта. Здесь как будто и заключена суть расхождения. Это расхождение рефлексологи не прочь сделать принципиальным и решающим.

Этим они связывают его со вторым вопросом — о различных целях обеих наук. Протопопов ни разу не упоминает об опросе испытуемого.

В. М. Бехтерев [8] (1923) много раз говорит о том, что субъективное исследование с точки зрения рефлексологии может быть допускаемо только на себе самом. Между тем *именно с точки зрения полноты рефлексологического исследования* необходимо вести опрос испытуемого. В самом деле, поведение человека и установление у него новых условных реакций определяется не только выявленными (явными), полными, до конца обнаруженными реакциями, но и не выявленными в своей внешней части, полузаторможенными, оборванными рефлексами. Бехтерев вслед за И. М. Сеченовым [9] показывает, что мысль только заторможенный рефлекс, задержанный, оборванный на двух третях рефлекс, в частности, словесное мышление — наиболее частый случай задержанного речевого рефлекса.

Спрашивается: почему допустимо изучать речевые рефлексы полные и даже возлагать на эту область главные надежды, а заторможенные, не выявленные в своей внешней части, тем не менее безусловно объективно существующие *те же* рефлексы учитывать нельзя? Если я произнесу вслух так, чтобы слышал экспериментатор, пришедшее мне по ассоциации слово «вечер», это подлежит учету как словесная реакция — условный рефлекс. А если я слово произнесу неслышно, про себя, *подумаю*,— разве от этого оно перестает быть рефлексом и меняет свою природу? И где *грань* между произнесенным и непроизнесенным словом? Если зашевелились губы, если я издал шепот, но все еще неслышный для экспериментатора,— как тогда? Может он просить меня повторить вслух это слово или это будет субъективный метод, интроспекция и прочие запрещенные вещи? Если может (а с этим, вероятно, согласятся почти все), то почему не может просить сказать вслух *мысленно* произнесенное

слово, т. е. без шевеления губ и шепота,— ведь оно все равно было и остается двигательной реакцией, условным рефлексом, без которого мысли нет? А это и есть уже опрос, высказывание испытуемого, словесное свидетельство и показание его относительно невыявленных, *не уловленных слухом* экспериментатора (вот и вся разница между мыслями и речью, только это!), но, *несомненно*, *объективно бывших* реакций. В том что они были, были действительно со всеми признаками материального бытия, мы можем убедиться многими способами. И, что самое важное, они сами позаботятся о том, чтобы убедить нас в своем существовании. Они *скажутся* с такой силой и яркостью в дальнейшем течении реакции, что *заставят* экспериментатора или учесть их, или отказаться вовсе от изучения такого течения реакций, в которое они врываются. А много ли есть таких процессов реакций, таких протеканий условных рефлексов, в которые не врывались бы задержанные рефлексы (= мысли)?

Итак, или откажемся от изучения поведения человека в его существеннейших формах, или введем в наш опыт обязательный учет этих невыявленных рефлексов. Рефлексология обязана учитывать и мысли, и всю психику, если она хочет понять поведение. Психика — только заторможенное движение, а объективно не только то, что можно пощупать и что видно всякому. То, что видно только в микроскоп, или телескоп, или при рентгеновских лучах,— тоже объективно. Так же объективны и заторможенные рефлексы [10].

Сам Бехтерев указывает на то, что результаты исследований вюрцбургской школы[11] в области «чистого мышления», в верхних сферах психики, в сущности, совпадают с тем, что мы знаем об условных рефлексах. А М. Б. Кроль [12] прямо говорит, что открытые вюрцбургскими исследованиями новые явления в области безобразного и бессловесного мышления суть не что иное, как павловские условные рефлексы. А сколько тончайшей работы по изучению именно отчетов и словесных свидетельств испытуемых потребовалось для того только, чтобы установить, что самый акт мысли неуловим для самонаблюдений, что его находят готовым, что он неподотчетен, т. е. что он чистый рефлекс.

Но само собой разумеется, что роль этих словесных отчетов, опроса и значение их в рефлексологическом, как и в научно-психологическом, исследовании не вполне те, какие подчас придавали им субъективисты-психологи. Как же должны смотреть психологи-объективисты на них и каково их место и значение в системе научно проверенной и строгой экспериментатики?

Рефлексы не существуют раздельно, не действуют врассыпную, а слагаются в комплексы, системы, в сложные группы и образования, определяющие поведение человека. Законы сложения рефлексов в комплексы, типы этих образований, виды и формы взаимодействия внутри них и взаимодействия целых систем — все эти вопросы имеют первостепенное значение самых острых проблем научной пси-

хологии поведения. Учение о рефлексах только складывается, и все эти области остаются еще не исследованными. Но уже сейчас можно говорить как о факте о несомненном взаимодействии отдельных систем рефлексов, об отражении одних систем на других и даже приблизительно выяснить в общих и грубых пока чертах механизм этого отражения. Этот механизм таков. *Какой-либо рефлекс в его ответной части (движение, секреция) сам становится раздражителем нового рефлекса той же самой системы или другой системы.*

Хотя ни у кого из рефлексологов мне не пришлось встретить подобной формулировки, истинность ее столь очевидна, что ее пропускают, видимо, только из-за того, что она молча подразумевается и принимается всеми. Собака на соляную кислоту реагирует выделением слюны (рефлекс), но сама слюна — новый раздражитель для рефлекса глотания или выбрасывания ее наружу. В свободной ассоциации я произношу на слово-раздражитель «роза» — «настурция» — это рефлекс, но он же является раздражителем следующего слова — «лютик». (Это все внутри одной системы или близких, сотрудничающих систем.) Вой волка вызывает как раздражитель во мне соматические и мимические рефлексы страха; измененное дыхание, сердцебиение, дрожь, сухость в горле (рефлексы) заставляют меня сказать: «Я боюсь». Итак, рефлекс может играть роль раздражителя по отношению к другому рефлексу той же или другой системы и провоцировать его так же, как и внешний раздражитель (посторонний). И в этом отношении самая связь рефлексов подчиняется, надо думать, всем законам образования условных рефлексов. Рефлекс связывается с рефлексом по закону условных рефлексов, становясь при известных условиях его условным раздражителем. Вот очевидный и основной, первый закон связывания рефлексов.

Этот механизм и позволяет понять в самых приблизительных и общих чертах то значение (объективное), какое могут иметь для научного исследования словесные отчеты испытуемого. Невыявленные рефлексы (немая речь), внутренние рефлексы, недоступные прямому восприятию наблюдающего, могут быть обнаружены часто косвенно, посредственно, *через* доступные наблюдению рефлексы, по отношению к которым они являются раздражителями. По наличию полного рефлекса (слово) мы судим о наличии соответственного раздражителя, который в настоящем случае играет *двойную* роль: раздражителя по отношению к полному рефлексу и рефлекса по отношению к предыдущему раздражителю. При той гигантской, колоссальной роли, которую в системе поведения играет именно психика, т. е. невыявленная группа рефлексов, было бы самоубийством для науки отказываться от обнаружения ее косвенным путем через отражение ее на других системах рефлексов. (Припомним учение Бехтерева о внутренних, внешневнутренних и т. д. рефлексах. Тем более что мы часто имеем внутренние раздражители, скрытые от нас,

тающиеся в соматических процессах, тем не менее обнаруживаемые через рефлексы, вызываемые ими. Логика здесь та же и тот же ход мысли и доказательства.)

В таком понимании отчет испытуемого ни в какой степени не является актом самонаблюдения, который примешивает якобы свою ложку дегтя в бочку меда научно-объективного исследования. *Никакого самонаблюдения.* Испытуемый не ставится вовсе в положение наблюдателя, не помогает экспериментатору наблюдать скрытые от него рефлексы. Испытуемый *до конца* — и в самом своем отчете — остается *объектом* опыта, но в самый опыт вносятся этим опросом некоторые изменения, трансформация — вводится новый раздражитель (новый опрос) новый рефлекс, позволяющий судить о невыясненных частях предыдущего. Весь опыт при этом как бы пропускается через двойной объектив.

Да и самую сознательность, или сознаваемость нами наших поступков и состояний, следует, видимо, понимать прежде всего как правильно функционирующую в каждый сознательный момент систему передаточных механизмов с одних рефлексов на другие. Чем правильнее всякий внутренний рефлекс в качестве раздражителя вызывает целый ряд других рефлексов из других систем, передается на другие системы, тем более мы способны *отдать отчет* себе и другим в переживаемом, тем оно переживается сознательнее (чувствуется, закрепляется в слове и пр.). Отдать отчет и значит: перевести одни рефлексы в другие. Бессознательное психическое и означает рефлексы, не передающиеся в другие системы. Возможны бесконечно разнообразные степени сознательности, т. е. взаимодействия систем, включенных в механизм действующего рефлекса. Сознание своих переживаний и означает не что иное, как имение их в качестве объекта (раздражителя) для других переживаний; сознание есть переживание переживаний точно таким же образом, как переживания просто — суть переживания предметов. Но именно способность рефлекса (переживания предмета) быть раздражителем (предметом переживания) для нового рефлекса (нового переживания) — этот механизм сознательности и есть механизм передачи рефлексов из одной системы в другую.

Это приблизительно то же, что Бехтерев называет подотчетными и неподотчетными рефлексами. В частности, за такое понимание сознательности говорят результаты исследований вюрцбургской школы, устанавливающие, между прочим, ненаблюдаемость самого мыслительного акта,— «нельзя мыслить мысль»,— который ускользает от восприятия, т. е. не может сам по себе служить объектом восприятия (раздражителем), так как здесь идет речь о явлении другого порядка и другой природы, чем прочие психические процессы, которые могут быть наблюдаемы и воспринимаемы (равно могут служить раздражителями для других систем). И, по нашему мнению, акт мысли, акт сознания не есть рефлекс, т. е. он не может быть

и раздражителем, а есть *передаточный механизм между системами рефлексов*.

При таком понимании, проводящем *принципиальную* и коренную методологическую разницу между словесным отчетом испытуемого и его самонаблюдением, меняется, само собой разумеется, коренным образом и научная природа инструкции и опроса. Инструкция не предлагает испытуемому взять на себя часть наблюдения, раздвоить свое внимание и направить его на свои же переживания. *Отнюдь нет*. Инструкция как система условных раздражителей вызывает предварительно необходимые для опыта рефлексы установки, определяющие собой дальнейшее протекание реакций, и рефлексы установки передаточных механизмов, тех именно, которыми придется воспользоваться в течение опыта. Здесь инструкция относительно вторичных, отраженных рефлексов *ничем* принципиально не отличается от инструкции относительно первичных рефлексов. В первом случае: скажите то слово, которое вы сейчас произнесли про себя. Во втором: отдергивайте руку.

Далее: самый опрос не есть уже более *выспрашивание* испытуемого относительно его переживаний. Дело меняется принципиально и в самом корне. Испытуемый больше не свидетель, дающий показание о преступлении, очевидцем которого он был (его роль прежде), а сам преступник и — что самое важное — в самый момент преступления. Не опрос *после* опыта, когда опыт окончен; опрос как продолжение опыта, его органическая, неотъемлемая часть, сам опыт, *ничем* не отделенный от первой части, но только использование в процессе самого опыта его же собственных данных.

Опрос не надстройка над опытом, а тот же опыт, не законченный еще и длящийся. Поэтому опрос и надо конструировать не как разговор, речь, опрос следователя, а как *систему раздражителей* с точным учетом каждого звука, со строжайшим выбором только тех отраженных систем рефлексов, которые могут в данном опыте иметь безусловно достоверное, научное и объективное значение.

Вот почему вся система модификаций (застижение врасплох, парциальный метод и пр.) опроса имеет свое большое значение. Должна быть создана строго объективная система и методика опроса как часть вводимых в эксперимент раздражителей. И само собой разумеется, что неорганизованное самонаблюдение, как и большинство его показаний, объективного значения иметь не может. Надо знать, о чем можно спрашивать. При расплывчатости слов, определений, терминов и понятий мы не можем объективно достоверным способом связать показание испытуемого о «легком чувстве затруднения» с объективным рефлексом-раздражителем, вызвавшим это показание. Но показание испытуемого: при слове «гром» я подумал «молния» — может иметь совершенно объективное значение для установления косвенным путем того факта, что на слово «гром» испытуемый реагировал невыявленным рефлексом «молния».

Итак, необходима коренная реформа методики опроса, и инструкции, и учета показаний испытуемого. Я утверждаю, что возможно создание в каждом отдельном случае такой объективной методики, которая превратит опрос испытуемого в совершенно точный научный опыт.

Здесь мне хотелось бы отметить два момента: один — ограничивающий сказанное выше, а другой — расширяющий его значение.

Ограничительный смысл этих утверждений ясен сам собой: эта модификация опыта применима к взрослому, нормальному, умеющему понимать и говорить на нашем языке человеку. Ни у новорожденного младенца, ни у душевнобольного, ни у преступника, скрывающего что-либо, мы опроса вести не будем. Не будем именно потому, что переплетенность систем рефлексов (сознание), передача рефлексов на речевую систему у них либо неразвита, либо расстроена болезнью, либо заторможена и подавлена другими, более сильными рефлексами установки. Но у взрослого, нормального, добровольно соглашающегося на опыт человека этот эксперимент незаменим.

В самом деле, у человека легко выделяется одна группа рефлексов, которую правильно было бы назвать системой рефлексов социального контакта (А. Б. Залкинд) [13]. Это рефлексы на те раздражители, которые, в свою очередь, могут быть созданы человеком. Слово услышанное — раздражитель, слово произнесенное — рефлекс, создающий тот же раздражитель. Эти обратимые рефлексы, создающие основу для сознания (переплетенности рефлексов), служат основой и социального общения, и коллективной координации поведения, что, между прочим, указывает на социальное происхождение сознания. Из всей массы раздражителей для меня ясно выделяется одна группа, группа раздражителей социальных, исходящих от людей, выделяется тем, что я сам могу воссоздать эти же раздражители, тем, что очень рано они делаются для меня обратимыми и, следовательно, *иным образом* определяют мое поведение, чем все прочие. Они уподобляют меня, делают тождественным с собой. В широком смысле слова — в речи и лежит источник поведения и сознания. Речь и есть система рефлексов социального контакта, с одной стороны, а с другой — система рефлексов сознания по преимуществу, т. е. для отражения влияния других систем.

Вот почему здесь лежит корень разгадки вопроса о чужом «я», о познании чужой психики. Механизм сознания себя (самосознания) и познания других один и тот же; мы сознаем себя, потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем же самым, чем другие в отношении нас. Мы сознаем себя только постольку, поскольку мы являемся сами для себя *другим*, т. е. поскольку мы собственные рефлексы можем вновь воспринимать как раздражители. Между тем, что я могу повторить вслух сказанное молча слово, и

тем, что я могу повторить сказанное другим слово, нет никакой принципиальной разницы в механизме: и то и другое обратимый рефлекс-раздражитель. Вот почему в социальном контакте экспериментатора с испытуемым там, где этот контакт протекает нормально (взрослый и пр. человек), система речевых рефлексов испытуемого имеет для экспериментатора достоверность научного факта, если соблюдены все условия, отбирающие безусловно верное, безусловно нужное и безусловно приведенное в связь, характер которой нами заранее учтен, с изучаемыми рефлексами.

Второй, расширительный, смысл сказанного выше может быть проще всего выражен так. Опрос испытуемого с целью совершенно объективного изучения и учета необнаруженных рефлексов есть *необходимая составная часть* всякого экспериментального исследования нормального человека в состоянии бодрствования. Здесь имеется в виду не показание самонаблюдения о субъективных переживаниях, которому Бехтерев вправе придавать лишь дополнительное, побочное, подсобное значение, а объективная часть эксперимента, без которой не может обойтись почти *ни один* эксперимент и которая сама служит проверочной инстанцией, дающей санкцию достоверности результатам предыдущей части опыта. В самом деле, психика, вообще в высших организмах и в человеке, играет все большую роль по сравнению с полными рефлексами, и не изучать ее значит отказаться от изучения (именно объективного, а не однобокого, субъективного наизнанку) человеческого поведения. В опыте над разумным человеком *нет такого случая*, чтобы фактор заторможенных рефлексов, психики, не определял так или иначе поведения испытуемого и мог быть совершенно элиминирован из изучаемого явления и не учитываться вовсе. Нет такого акта поведения во время опыта, когда в протекание воспринимаемых рефлексов испытуемого не врывались бы рефлексы, недоступные глазу или уху. Значит, нет и такого случая, когда мы могли бы отказаться от этой хотя бы чисто проверочной части опыта. Да в сущности, он, этот элемент, вводится экспериментаторами, не может не вводиться, но именно как речь, как разговор, не учитываемый научно наравне с другими элементами опыта.

Если ваш испытуемый заявит вам, что он инструкции не понял, разве вы не будете после считаться с этим рефлексом речи как с несомненным свидетельством того, что ваш раздражитель вызвал не те рефлексы установки, которые вам нужны? А если вы спросите испытуемого: «Поняли ли вы инструкцию?» — разве эта естественная предосторожность не будет обращением к полному, отражающему рефлексу слова (да или нет) как к свидетельству о ряде заторможенных рефлексов? А заявление испытуемого после очень затянувшейся реакции: «Я вспомнил о неприятном для меня деле» — разве не учтется экспериментатором? И т. д., и т. д. Можно было бы привести тысячи примеров *ненаучного* использования этого метода, ибо без

него нельзя обойтись. А разве не полезно было бы самому обратиться к испытуемому после неожиданно, не в пример другим сериям опытов, затягивающихся реакций с вопросом: «Не были ли вы заняты во время опыта посторонним?», чтобы получить ответ: «Да, я про себя все время подсчитывал, правильно ли я сегодня везде получил сдачу»? И не только в таких случаях, *несчастных случаях*, полезно и необходимо обращаться к показанию испытуемого. Чтобы определить рефлексы его установок, чтобы учесть необходимые, нами же вызываемые скрытые рефлексы, чтобы проверить, не было ли посторонних рефлексов, да для тысячи еще целей, необходимо вводить научно разработанную методику опроса вместо неизбежно врывающейся в эксперимент беседы, разговора. Но, разумеется, методика эта нуждается в сложнейших модификациях в каждом отдельном случае.

Любопытно отметить, чтобы покончить с этим вопросом и перейти ко второму, тесно с ним связанному, что рефлексологи, пришедшие вполне и всецело к методике экспериментальной психологии, опускают именно этот момент, видимо считая его лишним, принципиально не вяжущимся с объективным методом и т. д. В этом отношении очень интересен сборник «Новые идеи в медицине» (1924, № 4), где в ряде статей намечается линия развития методики в том же направлении, как это было сделано В. П. Протопоповым, и с той же особенностью — исключением опроса. Так же обстоит дело и с практикой. Павловская школа, когда перешла к опытам над людьми, воспроизвела всю методику психологии без опроса. Не этим ли объясняется отчасти та скудость выводов, та бедность результатов исследований, которой мы были свидетелями на съезде при докладах об этих опытах? Что могут они установить, кроме давно и более красноречиво установленного общего принципа и констатирования, что у человека воспитываются рефлексы быстрее, чем у собаки? Это известно и без всяких опытов. Констатирование очевидного и повторение азов неизбежно остается уделом всякого исследователя, не желающего изменить коренным образом методику своего исследования.

Здесь я и ставил себе задачу создать схему построения *единой* научно-объективной методики исследования и эксперимента над человеческим поведением и защитить этот опыт теоретически. Но этот вопрос техники, как я уже говорил, теснейшим образом связан с другим расхождением теоретического характера, на котором настаивают рефлексологи, даже признающие общую с психологами методику исследования. Протопопов высказывается так: «Включение в эту методику [рефлексологии.— *Ред.*] тех приемов исследования, которые давно применяются в экспериментальной психологии... явилось в результате естественного развития самой рефлексологии и нисколько не обозначает собой превращения рефлексологии в психологию. Постепенное совершенствование рефлексологической ме-

тодики *случайно* (подчеркнуто мной.— *Л. В.*) привело ее к таким формам исследований, которые *лишь с внешней стороны похожи* (подчеркнуто мной.— *Л. В.*) на применяющиеся в психологии. Принципиальные же основания, предмет и задачи этих двух дисциплин остаются совершенно различными. В то время как психология изучает психические процессы как душевные переживания с их объективной стороны»... и т. д., и т. д. (1923, с. 25—26) — дальше уже остальное хорошо известно всякому читавшему книжки по рефлексологии.

Мне думается, нетрудно показать, что сближение это *не случайное* и сходство форм исследования *не только внешнее*. Поскольку рефлексология стремится объяснить *все* поведение человека, она неизбежно имеет дело с тем же самым материалом, что и психология. Вопрос стоит так: может ли рефлексология скинуть со счетов и не учитывать вовсе психику как систему задержанных рефлексов и переплетений разных систем? Возможно ли научное объяснение поведения человека без психики? Психология без души, психология без всякой метафизики должна ли быть превращена в психологию без психики — в рефлексологию? Биологически было бы нелепостью предположить, что психика совершенно не нужна в системе поведения. Пришлось бы или мириться с этой явной нелепостью, или отрицать существование психики. Но к этому не склонны самые крайние физиологи — ни Павлов, ни Бехтерев.

И. П. Павлов говорит прямо, что наши субъективные состояния есть для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого общежития. Но одно дело — жить по субъективным состояниям, а другое — истинно научно анализировать их механизм (1951). Итак, есть такая первостепенная действительность, которая направляет нашу ежедневную жизнь,— это самое главное,— и все-таки объективное изучение высшей нервной деятельности (поведения) не может обойтись без учета этой реальности, направляющей поведение, без психики.

В сущности, говорит Павлов, интересует нас в жизни только одно: наше психическое содержание. Занимает человека более всего его сознание, муки его сознания. И сам Павлов признает, что оставить их (психические явления) без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяя целостную работу органа. Можно ли после этого отказаться от изучения психики? И сам Павлов очень верно определяет роль каждой науки, говоря, что рефлексология строит фундамент нервной деятельности, а психология — высшую надстройку. «И так как простое, элементарное понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наше исследование, наш успех нисколько не зависят от их исследований. Мне кажется, что для психологов, наобо-

рот, наши исследования должны иметь большое значение, так как они должны составить впоследствии основной фундамент психологического здания» (там же, с. 105). Под этим подпишется всякий психолог: рефлексология — общий принцип, фундамент. *До сих пор*, пока шла постройка фундамента, общего для животных и человека, пока речь шла о простом и элементарном, надобности в учете психики не было. Но это временное явление: когда двадцатилетний опыт рефлексологии станет тридцатилетним, положение дела переменится. Я с того и начал, что кризис методики начинается у рефлексологов именно тогда, когда они от фундамента, от элементарного и простого, переходят к надстройке, к сложному и тонкому.

В. М. Бехтерев (1923) высказывается еще решительнее, еще прямее, значит, занимает позицию еще более внутренне непоследовательную и противоречивую. Было бы большой ошибкой, считает он, признавать, что субъективные процессы совершенно лишние или побочные явления в природе (эпифеномены), ибо мы знаем, что все лишнее в природе атрофируется и уничтожается, тогда как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности (с. 78).

Можно ли, спрашивается, исключить изучение *тех* явлений, которые достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности, *той* науки, которая предметом своего изучения делает именно эту соотносительную деятельность? Но Бехтерев не исключает субъективную психологию, а отмежевывает ее от рефлексологии. Ведь ясно для каждого, что здесь возможно одно из двух: 1) или полное объяснение соотносительной деятельности без психики — это признает Бехтерев, и тогда психика делается побочным, ненужным явлением — это Бехтерев отрицает; 2) или такое объяснение невозможно, тогда можно ли признавать субъективную психологию, отмежевывать ее от науки о поведении и т. д. Вместо того или другого Бехтерев говорит о взаимоотношении обеих наук, о возможном сближении в будущем, но так как для этого время еще не настало, то пока мы можем стоять на точке зрения тесного взаимоотношения между одной и другой научной дисциплиной, полагает он.

Еще Бехтерев говорит о возможном и даже неизбежном в будущем построении рефлексологии с особенным рассмотрением субъективных явлений. Но если психика неотделима от соотносительной деятельности и высшего развития достигает именно в своих высших формах — как же их можно изучать раздельно? Это возможно только, если признавать обе стороны дела разноприродными, разносущностными, на чем долго настаивала психология. Но Бехтерев отвергает теорию психологического параллелизма и взаимодействия и утверждает именно единство психических и нервных процессов.

Он много раз говорит о соотношении субъективных явлений

(психики) с объективными, неявно все время оставаясь на точке зрения дуализма. И в сущности, *дуализм* и есть настоящее имя этой точке зрения Павлова и Бехтерева. Для Бехтерева экспериментальная психология неприемлема именно потому, что она методом самонаблюдения изучает внутренний мир, психику. Результаты ее работ Бехтерев предлагает рассматривать безотносительно к процессам сознания. А насчет методов он говорит прямо, что рефлексология пользуется особыми, ей принадлежащими строго объективными методами. Насчет методов, впрочем, мы видели, что сама рефлексология признает полное совпадение их с психологическими методами.

Итак, две науки, имеющие *один* и *тот же* предмет исследования — поведение человека, пользующиеся для этого *одними* и *теми же* методами, все-таки, несмотря ни на что, продолжают оставаться разными науками *. Что же мешает им слиться? Субъективные или психические явления — на тысячу ладов повторяют рефлексологи. Что же такое субъективные явления — психика?

Во взглядах на этот вопрос — решающий вопрос — рефлексология стоит на позиции чистейшего идеализма и дуализма, который правильно было бы назвать идеализмом наизнанку. Для Павлова это непространственные и беспричинные явления; для Бехтерева они не имеют *никакого* объективного бытия, так как могут изучаться только на себе самом. Но и Бехтерев и Павлов знают, что эти явления направляют нашу жизнь. Все же они видят в этих явлениях, в психике нечто отличное от рефлексов, что должно изучаться отдельно и безотносительно к чему должны изучаться рефлексы. Это, конечно, материализм чистейшей воды — отказаться от психики, но только материализм в своей области; вне ее это чистейшей воды идеализм — выделять психику и ее изучение из общей системы поведения человека.

Психики без поведения так же не существует, как и поведения без психики, потому хотя бы, что это одно и то же. Субъективные состояния, психические явления существуют, по мнению Бехтерева, при напряжении нервного тока, при *рефлексе* (заметьте это!) сосредоточения, связанном с задержкой нервного тока, при налаживании новых связей. Что же это за загадочные явления? Не ясно ли уже теперь, что и они всецело и без остатка сводятся на реакции организма, но отраженные другими системами рефлексов — речью, чувством (мимико-соматический рефлекс) и пр.? Проблема сознания

* В отчете о съезде, напечатанном в сб.: Новое в рефлексологии (1925, № 1), в примечании сказано о моем докладе по поводу этой мысли, что автор «вновь пытался стереть грань между рефлексологическим и психологическим подходами, вызвав даже некоторые злорадные замечания по адресу рефлексологии, впавшей во внутренние противоречия» (с. 359). Вместо опровержения этой мысли референт ссылается на то, что «докладчик — психолог, пытающийся ассимилировать, кроме того, и рефлексологический подход. Результаты говорят сами за себя».— Очень красноречивое умолчание! Хотя точная формулировка моей ошибки была бы уместнее и нужнее.

должна быть поставлена психологией и решена в том смысле, что оно есть взаимодействие, отражение, взаимовозбуждение различных систем рефлексов. Сознательно то, что передается в качестве раздражителя на другие системы и вызывает в них отклик. Сознание — это ответный аппарат.

Вот почему субъективные явления доступны только мне одному — только я один воспринимаю в качестве раздражителей мои собственные рефлексы. В этом смысле глубоко прав У. Джемс [14], в блестящем анализе показавший, что ничто не заставляет нас принимать факт существования сознания как чего-то отдельного от мира, хотя он не отрицал ни наших переживаний, ни их сознательности. Вся разница между сознанием и миром (между рефлексом на рефлекс и рефлексом на раздражитель) только в контексте явлений. В контексте раздражителей — это мир; в контексте моих рефлексов — это сознание. Это окно — предмет (раздражитель моих рефлексов); оно же с теми же качествами — мое ощущение (рефлекс, переданный в другие системы). Сознание только рефлекс рефлексов.

Утверждая, что и сознание должно быть понято как реакция организма на свои же собственные реакции, приходится быть бо́льшим рефлексологом, чем сам Павлов. Что ж, если хочешь быть последовательным, приходится иной раз возражать против половинчатости и быть бо́льшим папистом, чем папа, бо́льшим роялистом, чем король. Короли не всегда хорошие роялисты.

Если рефлексология исключает как не подлежащие ее ведению психические явления из круга своих исследований, то она поступает так же, как идеалистическая психология, изучавшая психику безотносительно к чему бы то ни было, как замкнутый в себе мир. Впрочем, психология почти никогда принципиально не исключала из своего ведения объективной стороны психических процессов и не замыкалась в круге внутренней жизни, понимаемой как необитаемый остров духа. Субъективных состояний самих по себе — вне пространства и причины — не существует. Не может, значит, существовать и наука, изучающая их. Но изучать поведение человека без психики, как этого хочет рефлексология, так же нельзя, как и изучать психику без поведения. Следовательно, здесь нет места для двух различных наук. И не надо особой проницательности, чтобы заметить, что психика есть та же соотносительная деятельность, что сознание есть соотносительная деятельность внутри самого организма, внутри нервной системы, соотносительная деятельность человеческого тела с самим собой.

Современное состояние обеих отраслей знания настойчиво выдвигает вопрос о необходимости и плодотворности полного слияния обеих наук. Психология переживает серьезнейший кризис на Западе и в СССР. Кучей сырого материала назвал ее Джемс. Состояние современного психолога Н. Н. Ланге [15] сравнивает с состоянием

Приама на развалинах Трои (1914, с. 42). Все рушилось — вот итог не только русского кризиса. Но и рефлексология зашла в тупик, выстроив фундамент. Одной науке без другой не обойтись. Необходимый и насущный вопрос — выработка общей научно-объективной методики, общей постановки главнейших проблем, которые порознь каждой наукой и не могут более уже даже ставиться, не то что решаться. И разве не ясно, что надстройка не может строиться иначе, как с учетом фундамента, но и строители фундамента, закончив его, не могут более положить ни одного камня, не сверившись с принципами и характером возводимого здания.

Надо говорить прямо. Загадки сознания, загадки психики никакими уловками: ни методологическими, ни принципиальными — не обойдешь. Ее на коне не объедешь. Джемс спрашивал, существует ли сознание, и отвечал, что дыхание существует — в этом он уверен, но сознание — в этом он сомневается. Но это постановка вопроса гносеологическая. Психологически же сознание есть несомненный факт, первостепенная действительность, и факт огромнейшего значения, а не побочного или случайного. Об этом никто не спорит. Значит, вопрос надо было и можно было *отложить*, но не *снять* вовсе. До той поры в новой психологии не будут сведены концы с концами, покуда не будет поставлена отчетливо и бесстрашно проблема сознания и психики и покуда она не будет решена экспериментально объективным путем. На какой ступени возникают сознательные признаки рефлексов, каков их нервный механизм, каковы особенности их протекания, каков их биологический смысл — эти вопросы надо ставить, и надо готовиться к работе по их разрешению опытным путем. Дело только в том, чтобы правильно и вовремя поставить проблему, а решение будет добыто — поздно или рано. Бехтерев в «энергетическом» увлечении договаривается до панпсихизма, до одушевления растений и животных; в другом месте он не решается отвергать гипотезу о душе. И в таком первобытном неведении относительно психики и будет рефлексология, пока она будет чураться психики и замыкаться в узком кругу *физиологического материализма*. Быть в физиологии материалистом нетрудно — попробуйте-ка в психологии быть им, и, если вы не сможете, вы останетесь идеалистами.

В самое последнее время вопрос о самонаблюдении и его роли в психологическом исследовании крайне обострился под влиянием двух фактов. С одной стороны, объективная психология, склонная вначале как будто нацело и начисто отметать интроспекцию как субъективный метод, в последнее время начинает делать попытки найти *объективное* значение для того, что называется интроспекцией. Дж. Уотсон [16], А. Вайс [17] и другие заговорили о «вербализованном поведении» и ставят интроспекцию в связь с функционированием этой вербальной стороны нашего поведения; другие говорят об «интроспективном поведении», о «симптоматически-речевом поведении»

и т. д. С другой стороны, новое течение в немецкой психологии, так называемая гештальтпсихология [18] (В. Келер [19], К. Коффка [20], М. Вертгаймер [21] и др.), приобретшее за последние 3—4 года огромное влияние, выступило с резкой критикой на оба фронта, обвиняя и эмпирическую психологию [22] и бихевиоризм [23] в одном и том же грехе — в неспособности *одним* принятым методом (объективным или субъективным) изучить реальное, жизненное поведение человека.

Оба эти факта вносят новые осложнения в вопрос о ценности самонаблюдения и потому заставляют произвести *систематическое* рассмотрение тех различных по существу форм самонаблюдения, которыми оперируют в споре все три стороны. Попытку систематизировать вопрос и представляют дальнейшие строки. Но предварительно сделаем несколько общих замечаний.

Первое, что примечательно в этом новом осложнении вопроса: решение его происходит при все более явном кризисе внутри самой эмпирической психологии. Нет более фальшивой попытки, чем желание изобразить, будто кризис, расколовший русскую науку на два лагеря, есть только местный русский кризис. Кризис происходит сейчас по всей линии в мировой психологической науке. Возникновение психологической школы (гештальттеория), вышедшей из недр эмпирической психологии, наглядно об этом свидетельствует. В чем обвиняют эти психологи интроспекцию? Самое главное, в том, что психические явления неизбежно *становятся* при этом методе их изучения субъективными, потому что интроспекция, требующая аналитического внимания, всегда вырывает предмет наблюдения из той связи, в которой он дан, и переносит его в новую систему — «в систему субъекта», «я» (К. Коффка, 1924). Переживание при этом неизбежно *становится* субъективным. Коффка сравнивает интроспекцию, которая умеет наблюдать только *ясное* переживание, с очками и лупой, к помощи которых мы прибегаем, когда не можем прочитать письмо. Но если увеличительное стекло не меняет самого предмета, а помогает его разглядеть яснее, то интроспекция *изменяет* самый предмет наблюдения. При сравнении тяжестей, говорит Коффка, истинно психологическое описание, согласно этому взгляду, должно быть не: «этот предмет тяжелее того», а: «мое ощущение тяжести усилилось». Так объективное само по себе *превращается* в субъективное при таком методе изучения.

Новые психологи признают и героическое банкротство вюрцбургской школы, и бессилие всей эмпирической (экспериментальной) психологии. Правда, они признают бесплодность и чисто объективного метода. Психологи эти выдвигают функциональную и интегральную точки зрения. Сознательные процессы для них «являются только частичными процессами больших целых»; поэтому, следуя «за сознательной частью большого процесса — целого — за границами его сознания», мы подвергаем функциональной проверке объективными фактами наши положения. Психологи, признавая,

что самонаблюдение не есть основной, главный метод психологии, говорят лишь о реальном, о достоверном самонаблюдении, проверенном функционально выведенными из него следствиями и подтвержденном фактами.

Таким образом, мы видим, что если, с одной стороны, русская рефлексология и американский бихевиоризм пытаются найти «объективное самонаблюдение», то лучшие представители эмпирической психологии ищут тоже «реальное, достоверное самонаблюдение».

Чтобы ответить на вопрос, в чем оно заключается, и надо попытаться систематизировать все формы самонаблюдения и рассмотреть каждую в отдельности.

Мы можем различить 5 основных форм.

1. Инструкция испытуемому. Это, конечно, отчасти интроспекция, ибо предполагает внутри сознательную организацию поведения испытуемого. Тот, кто пытается избежать ее в опытах с человеком, впадает в ошибку, потому что явная и учитываемая инструкция заменяется у него самоинструкцией испытуемого, инструкцией, внушенной обстановкой опыта, и пр. Едва ли кто станет сейчас спорить против необходимости инструкции.

2. Высказывания испытуемого, относящиеся к внешнему объекту. Показывают 2 круга: «этот — синий, этот — белый». Такая интроспекция, особенно проверяемая функциональным изменением ряда раздражителей и ряда высказываний (не синий круг, а ряд постепенно темнеющих и светлеющих синих кругов), тоже может оказаться достоверной.

3. Высказывания испытуемого о собственных внутренних реакциях: «мне больно, сладко» и пр. Менее достоверный вид интроспекции, однако доступный объективной проверке и могущий быть допущен.

4. Обнаружение скрытой реакции. Испытуемый называет задуманное число; рассказывает, как сложен у него во рту язык; повторяет задуманное слово и пр. Это и есть тот вид косвенного обнаруживания реакции, который мы защищали в настоящей статье.

5. Наконец, подробные описания испытуемым своих внутренних состояний (вюрцбургская методика). Самый недостоверный и недоступный проверке вид интроспекции. Здесь испытуемый ставится в положение сонаблюдателя; он — наблюдатель (observer, как говорят английские психологи), субъект, а не объект опыта; экспериментатор же только следователь и протоколист. Здесь вместо фактов даются готовые теории.

Мне думается, что вопрос о научной ценности самонаблюдения решается сходно с практической ценностью в судебном следствии показаний потерпевшего и виновного. Они пристрастны — мы это знаем a priori; поэтому они заключают в себе элементы лжи; может быть, они нацело ложны. Поэтому полагаться на них — безумие. Но значит ли это, что мы должны в процессе не выслушивать их вов-

се, а только допрашивать свидетелей? И это было бы неумно. Мы слушаем подсудимого и потерпевшего, сверяем, сопоставляем, обращаемся к вещественным доказательствам, документам, следам, свидетельским показаниям (и здесь бывают лжесвидетельства) — и так мы устанавливаем факт.

Не следует забывать, что есть целые науки, не могущие непосредственным наблюдением изучать предмет *. Историк и геолог восстанавливают факты, которых уже нет, косвенными методами, и все же они *изучают в конечном счете факты, которые были*, а не следы и документы, которые остались и сохранились. Так и психолог часто бывает в положении историка и геолога. Тогда он действует, как сыщик, обнаруживающий преступление, которого он никогда не видел.

* Ср.: *Ивановский Вл.*[24] Методологическое введение в науку и философию. Минск, 1923, с. 199—200. Автор указывает на то, как некоторые психологи возражали против введения бессознательного в психологию на том основании, что оно не поддается непосредственному наблюдению. Психолог-объективист так же *косвенным методом* изучает явления сознания, как прежние психологи изучали бессознательное — по его следам, по его проявлениям, влияниям и т. п.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. Ф. ЛАЗУРСКОГО «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ» [1]

1

Книга А. Ф. Лазурского [2] выходит новым изданием в то время, когда и русская психологическая наука и преподавание психологических дисциплин в высших учебных заведениях переживают острый кризис. С одной стороны, успехи физиологической мысли, проникшей методами точного естествознания в самые сложные и трудные области высшей нервной деятельности, с другой, всевозрастающая оппозиция внутри самой психологической науки по отношению к традиционным системам эмпирической психологии обусловили и определили собой этот кризис. К этому присоединилось еще совершенно неизбежное и естественное стремление, общее почти для всего нынешнего российского фронта культуры, пересмотреть основы и принципы психологии в свете диалектического материализма, связать научно-исследовательскую, теоретическую разработку и преподавание этой науки с более общими и фундаментальными предпосылками философского характера.

Вся эта сложная обстановка — и теоретическая, и педагогическая,— создавшаяся благодаря кризису и реформе психологии, требует непременно некоторых предварительных пояснений для всякого вновь выходящего сочинения по этим вопросам, особенно для переиздаваемых ныне прежних курсов.

Курс Лазурского составился лет 15 назад из лекций, читанных студентам одной из высших петербургских школ, и предназначался как учебное пособие для этого курса в высшей школе. Своему назначению он отвечал и удовлетворял в полной мере. Написанный с исключительной простотой, ясностью и доступностью изложения, он соединяет в себе необходимые для всякого учебника достоинства: полную научность сообщаемого в нем материала с педагогически целесообразным, кратким и систематическим его распределением. Ныне книга выходит в свет третьим изданием и в первую очередь должна, по нашей мысли, исполнить то же назначение — дать школе руководство к курсу психологии и тем самым помочь и преподавателю, и студенту выйти из кризиса, который школой практически ощущается раньше и острее всего как отсутствие учебника.

Именно это практическое назначение нового издания заставило не просто перепечатать текст книги в том виде, в каком он сложился под рукой самого автора, а подвергнуть курс некоторой критической редакции, которая осуществлена для настоящего издания ассистентами Психологического института при 1-м Московском государственном университете В. А. Артемовым [3], Н. Ф. Добрыниным [4], А. Р. Лурия [5] и пишущим эти страницы. Задача была в высшей степени трудная. Требовалось, с одной стороны, сохранить весь пиетет к научному и педагогическому наследству такого крупного ученого, как почтенный проф. Лазурский, избегнуть всяческого искажения и вульгаризации его мысли, сохранить в меру возможности в нетронутом и точном виде и дух, и даже букву его книги, способ его выражения, как бы интонации и паузы его курса. С другой стороны, необходимо было дать в руки студенту учебник по курсу психологии, который он прослушал в 1925 г., т. е. учесть и внести в книгу все необходимые поправки на время, которые всегда нарастают на учебной литературе за 10—15 лет, но которые возросли особенно ощутительно и явно именно за последнее десятилетие — годы кризиса.

Задача эта, очевидно для всякого, невыполнима в полной мере. Поэтому и на настоящую попытку приходится смотреть как на компромисс, как на некоторое половинчатое решение вопроса, которое может создать временный учебник переходного типа, но никак не разрешить вопрос нацело и окончательно созданием нового учебника того типа, который отвечал бы всем предъявляемым к нему нынешним состоянием науки требованиям. Такой учебник нового типа — дело будущего. Переходным же к нему временным пособием может вполне, по нашему суждению, служить курс Лазурского. За это говорит та, в общем совершенно здоровая научная почва, на которой стоял автор в педагогической и теоретической работе и на которой построен его курс.

«Одной из наиболее характерных черт современной психологии,— начинается этот курс,— можно считать постепенное превращение ее в точную науку — в том смысле слова, в каком мы применяем этот термин по отношению к естествознанию» (1925, с. 27). В этом «постепенном превращении» мы стоим сейчас перед такими радикальными попытками реформы нашей науки, что точка зрения автора курса может легко показаться слишком умеренной и «постепенной». Но он был, несомненно, из тех психологов, которые стояли на пути к превращению психологии в точную науку. Его общебиологическая точка зрения на психику, трактующая все вопросы психологии как проблемы биологического порядка; его исходное утверждение, что все психические функции также имеют свою физиологическую сторону, иначе говоря, что чисто психических процессов в организме нет (процесс творчества, говорит он, между прочим, подобно всем остальным душевным явлениям, есть процесс психофи-

зиологический, т. е. имеющий свой определенный физиологический коррелят); убеждение в совершенной закономерности психической деятельности; наконец, учение о целостном характере личности, утверждающее, что наша психическая организация дана нам как нечто целое, как связанное, организованное единство,— все это настолько совпадает с основными принципами биологической и реалистической психологии, что ставит книгу в гораздо большую близость к современности, чем целый ряд других университетских курсов, созданных даже в совсем недавнее время. К этому надо прибавить сравнительно редкую для русского университетского курса особенность, именно внесение в курс элементов и данных экспериментальной психологии, и общий трезвый и прозрачный дух естествоведа и реалиста, пронизывающий всю книгу.

Вот те неоспоримые достоинства учебника, точки соприкосновения его с вновь возникающей научной психологией, которые необходимо было воздвигнуть на первое время, подчеркнуть и сделать *доминирующими* в книге. Но для того чтобы обеспечить за ними преобладание, пришлось с величайшей осторожностью внести некоторые видоизменения в самый текст. В общем все изменения текста, т. е. техническая сторона проделанной над книгой редакционной работы, сводятся к следующему.

Исключена из книги глава XXI (во втором издании) — «Религиозные чувства». Глава эта, органически не связанная с курсом, не входящая непременной составной частью в систему курса, и в научном отношении не представляет какой-либо серьезной и оригинальной ценности. Это не больше, чем маленькое ответвление в главе о психологии чувства, ничуть не обязательное и внутренне не необходимое. К тому же едва ли в какой другой области положения автора могут оказаться столь спорными, столь научно не установленным самый психологический анализ веры и религиозных представлений, таким предположительным и недостоверным, как именно в этой главе. Поэтому было бы крайне нецелесообразно сохранять в учебной книге спорный и односторонний материал, к тому же потерявший за последние годы, в связи с общим культурным переломом, почти в окончательной мере интерес. В современном университетском курсе такой главы, разумеется, не может быть,— следовательно, не должно ее быть и в учебнике, призванном обслуживать этот курс.

Еще выпущена одна страница из главы I — «Предмет и задачи», где автор вразрез с общей своей точкой зрения защищает право науки на введение гипотез и утверждает, что в этом смысле понятие души как основы наблюдаемых нами психических процессов имеет полное право на существование. Это отбрасывает нас так далеко назад в прошлое даже по сравнению с эмпирической психологией, этой психологией без души, что прозвучало бы несомненным и резким диссонансом в курсе научной психологии.

В остальном текст перепечатан полностью со второго издания с ничтожными пропусками отдельных слов, полуфраз, примечаний и пр. Эти пропуски вызывались большей частью чисто техническими и стилистическими требованиями в зависимости от некоторых дополнений, которые нами введены в текст. Мы считали себя вправе сделать это, так как исходили из убеждения, что учебник не песня, из которой слова не выкинешь, и что пропуск одного слова или замена одного слова другим, более подходящим по требованию контекста, никак нельзя почесть за искажение. Сделано это в крайне редких случаях — там, где было совершенно необходимо и неизбежно и где отказаться от этого значило бы отказаться вовсе от редакции текста.

Сделанные в тексте поправки и внесенные в него дополнения везде заключены в квадратные скобки и тем самым выделены из текста и обозначены как позднейшие добавления. К этому пришлось прибегнуть, потому что самый характер учебника не допускал обширных примечаний, выносок из текста, ссылок на литературу и на других авторов. Учебник должен был остаться учебником, т. е. книгой, связно и систематически излагающей учебный научный курс.

Добавления и поправки везде почти носили характер поправок на время: так, где говорится о задачах, методах и предмете психологии, нами прибавлено всякий раз [эмпирической.— *Ред.*], потому что и теоретически, и исторически утверждения автора сохраняют научную достоверность только при этой поправке; эта поправка сама собой подразумевалась и прежде, но это было излишне специально оговаривать, потому что другой психологии, кроме психологии эмпирической, для наших учебных курсов не существовало. Такой характер, в общем, носят большинство сделанных поправок. Кое-где вставлено слово для усиления мысли, для связи с контекстом, с дополнением, сделанным прежде. Кое-где опущено излишнее и вносящее туман слово; кое-где оно заменено другим, опять-таки для органической связи внесенных дополнений с общим контекстом.

Наконец, сделанные в некоторых главах более крупные дополнения, тоже выделенные скобками, представлялись нам тем минимумом необходимых сведений, которые должны быть внесены в учебник и без которых пользование учебником было бы положительно невозможным, потому что курс, читаемый с кафедры, и курс, читаемый по книге, в этом случае разошлись бы окончательно и непоправимо. При этом дополнения всякий раз приходилось делать не в виде простых оговорок тех или иных положений, ссылок и беглых замечаний, но везде нужно было иметь в виду студента и излагать в двух словах самое существо дела. Дополнения эти всякий раз делались нами с соблюдением известной исторической перспективы. Они сообщаются всегда как более поздняя научная точка зрения. Это оказалось тем уместнее, что сама книга Лазурского не представ-

ляет из себя строго замкнутой, централизованной и оригинальной психологической системы. Оригинальное научное творчество Лазурского проявилось в других отраслях его работы, но не в разработке общей системы, теоретической психологии.

При том отсутствии общепризнанной системы, которое характеризовало последние десятилетия эмпирическую психологию, психологи разных направлений и школ создавали почти всякий раз свою оригинальную систему изложения курса и по-своему толковали основные психологические категории и принципы. При таком положении дела курс Лазурского не может быть охарактеризован иначе, как составной, включающий в себя начатки нескольких систем, объединяющий множество различных пониманий и намечающий некоторую среднюю линию, равнодействующую разных психологических направлений. Личная точка зрения автора, которая, конечно, сказалась в самом выборе материала и объединении его достаточно ясно, скорее всего может быть названа эклектической. Это и позволяет думать, что вновь внесенные положения и сведения не окажутся органически чуждыми в системе книги, а найдут свое место в ряду других перекрещивающихся линий курса.

При этом надо иметь в виду, что учебник вообще не должен строиться догматически; скорее он должен иметь осведомительный и ознакомительный характер. В наше время, как это ни антипедагогично, учебник психологии по необходимости должен в большей или меньшей степени носить критический характер. Еще не создана та новая система научной психологии, которая, ни в чем не опираясь на прежние, сумеет построить свой курс. Еще во многом основные точки зрения в нашей науке определяются чисто отрицательными признаками. Еще очень многое держится в новой науке силой отталкивания и критики. Психология как наука, говоря словами Э. Торндайка [6], ближе к нулю, чем к совершенству. С другой стороны, еще слишком велика необходимость использования прежнего опыта, реализованного в старых терминах; еще во всеобщем употреблении и житейского, и научного языка находятся привычные понятия и категории.

Поэтому с самого начала пришлось отказаться от мысли перевести весь курс на язык новой психологии или хотя бы ввести параллельную терминологию, классификацию и систему. Это значило бы вместо редактирования третьего издания книги Лазурского написать совершенно новую книгу. Поэтому пришлось совершенно сознательно решиться на выпуск книги, излагающей систему эмпирической психологии в терминах эмпирической психологии, в традиционной классификации и пр., и пр. Но все это хотелось несколько освежить новым научным материалом и несколько приблизить к современности. Вторая задача заключалась в сообщении книге некоторого критического принципиального материала, в критической прививке новой точки зрения.

Дело в том, что в общем и целом Лазурский стоит обеими ногами на почве традиционной эмпирической психологии и разделяет с ней все те недостатки и несовершенства, которые заставляют возникающую научную психологию противополагать себя эмпирической психологии и стать к ней в оппозицию. Вскрыть основную линию расхождения достаточно резко и ясно, представить новую точку зрения достаточно подробно и убедительно в дополнениях, делаемых всякий раз попутно, по случайному поводу, отрывочно, никак нельзя было. Поэтому нам представлялось целесообразным в очень кратких словах сделать это в 2-м разделе настоящего предисловия, который мог бы дать всякому пользующемуся книгой некоторое критическое направление мысли, необходимую прививку и поставил бы его в верное отношение к точке зрения, с достаточной полнотой представленной в книге Лазурского. Таким образом, 2-й раздел предназначается для всякого читателя как вступительная или дополнительная глава к книге.

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что этим самым мы в гораздо большей степени, не врываясь совершенно в текст, изменяем основной тон и смысл книги, чем всеми теми незначительными пропусками, заметками и поправками, которые сделаны в тексте и оговорены выше. Но мы и в данном случае полагали, что и для памяти Лазурского будет более лестно, если учебник его, хоть и в критическом восприятии, будет введен вновь в нашу школу, для которой он единственно и создавался, чем если он будет сдан окончательно в архив, тем более что Лазурский не только ученый, но и общественник и педагог, несомненно, и сам бы не повторил дословно сейчас своего вторичного издания. Это можно утверждать с уверенностью, хотя и рискованно гадать о том, какую бы он сейчас занял позицию. И для школы полезнее использовать, хоть и критически, годный материал, чем остаться совершенно без учебника на все переходное время.

2

Было бы глубокой ошибкой считать, что кризис в психологической науке начался в последние годы, с возникновением направлений и школ, ставших в оппозицию к эмпирической психологии, и что до этого в науке все было благополучно. Эмпирическая психология, сменившая рациональную [7] или метафизическую, произвела в предмете своего изучения существенную реформу. Объявив устами Дж. Локка [8] исследование сущности души спекуляцией, она, в согласии с общим научным духом своего времени, эволюционировала все в том же направлении, пока не превратилась в «психологию без души», в опытную науку о душевных явлениях или состояниях сознания, изучаемых путем внутреннего восприятия или самонаблюдения. Однако на таком фундаменте создать общепризнанную и общеобязательную, как другие опытные науки, систему психологии не удалось, и общее состояние этой науки к концу XIX в. мо-

жет быть правильнее всего охарактеризовано как сильнейший разброд научной мысли, расколовшейся на множество отдельных направлений, из которых каждое защищало собственную систему и по-своему толковало и понимало основные и фундаментальные категории и принципы своей науки. Можно сказать, не боясь преувеличений, говорит по этому поводу Н. Н. Ланге, что описание любого психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза [9] или Вундта[10], Штумпфа [11] или Авенариуса [12], Мейнонга [13] или Бине [14], Джемса или Г. Э. Мюллера [15] (1914, с. 43).

Глубокий кризис, расколовший эмпирическую психологию, имел своим неизбежным следствием, с одной стороны, отсутствие единой, всеми признанной научной системы, а с другой — делал неизбежным нарождение новых психологических направлений, пытающихся найти выход из кризиса путем отказа от основных предпосылок эмпирической психологии и перехода к более устойчивым, прочным и научно достоверным основам и источникам познания.

В самом деле, основные положения эмпирической психологии еще настолько сильно пропитаны наследием метафизической психологии, настолько тесно связаны с философским идеализмом, настолько проникнуты субъективизмом, что не представляют из себя хорошей и удобной почвы для создания единой научной системы психологии как естественной науки. Самое понятие «душевные явления» содержит в себе целый ряд элементов, непримиримых с научным естествознанием. Наследие рациональной психологии и недовершенность ее реформы сказываются здесь очень явственно. Признавать душевные явления чем-то совершенно отличным по природе и сущности решительно ото всего остального в мире, что изучается наукой, и приписывать им такие признаки и свойства, которые опять-таки ни в чем другом никогда и нигде в мире не обнаруживаются,— значит этим самым исключать самую возможность превращения психологии в точную естественную науку.

Наконец, материал эмпирической психологии, всегда субъективно окрашенный, всегда добытый из узкого колодца индивидуального сознания, и ее основной метод, признающий принципиальную субъективность познания психических явлений, настолько связывают науку и ограничивают ее возможности, что этим самым навсегда обрекают ее на атомизирование психики, дробление психики на множество отдельных, независимых друг от друга явлений и на неумение собрать их воедино. Эта психология была бессильна ответить на самые основные и первые для всякой науки вопросы; субъективное свидетельство о собственных переживаниях всегда оказывалось несостоятельным перед генетическими и причинными их объяснениями, перед точным и расчлененным анализом их состава, перед совершенно бесспорным и объективно достоверным констатированием их основных признаков.

Всем этим изнутри самой психологии раскрывалась необходимость стать на объективную точку зрения и таким образом определить предмет, метод и принципы своего изучения, чтобы обеспечить возможность построения точной и строгой научной системы. При всей неопределенности и смутности этой будущей системы, при всей несогласованности мысли среди разных направлений объективной психологии, при всей невыясненности зачастую самых основных ее положений и исходных точек все же можно попытаться наметить — в самых сжатых чертах — некоторые общие идеи этой научной психологии, в свете которых приходится психологу наших дней критически воспринимать и перерабатывать материал прежней психологии.

Предметом научной психологии обычно принято называть поведение человека и животных, причем под поведением подразумевать все те движения, которые производятся только живыми существами и отличают их от неживой природы. Всякое такое движение представляет собой всегда реакцию живого организма на какое-либо раздражение, либо падающее на организм из внешней среды, либо возникающее в самом организме. Реакция есть понятие общебиологическое, и мы одинаково можем говорить о реакциях растений, когда стебли растений тянутся к свету, о реакциях животных, когда моль летит на пламя свечи или собака выделяет слюну при показывании ей мяса, о реакциях человека, когда он, слыша звонок у входной двери, открывает ее. Во всех этих случаях мы имеем совершенно явный процесс полной реакции, начинающийся каким-либо раздражением, толчком, стимулом (свет, пламя свечи, вид мяса, звонок), затем переходящий в некоторые внутренние процессы, возникающие в организме благодаря этому толчку (химические процессы под влиянием света в растении и у моли; нервное возбуждение, восприятие, «воспоминание», «мысль» у собаки и человека), наконец, заканчивающийся каким-либо ответным движением, действием, изменением, актом в организме (изгибание стебля, полет моли, отделение слюны, ходьба и открывание двери). Эти три момента — раздражение, переработка его в организме и ответное действие — всегда присущи всякой реакции как в ее самых элементарных и простейших случаях и формах, где все они могут быть легко обнаружены и наглядно показаны, так и в тех случаях, когда из-за крайней сложности процесса, или столкновения многих раздражителей и реакций, или действия невидимого внутреннего раздражителя где-нибудь во внутренних органах (сокращение стенок кишечника, прилив крови к какому-нибудь органу) невозможно наглядно обнаружить все эти три момента. Точный анализ, однако, всякий раз обнаружил бы и в этих случаях наличие всех составных частей реакции.

Часто реакции принимают столь сложные формы, что требуют очень тщательного анализа для раскрытия всех трех моментов. Иног-

да раздражители бывают настолько глубоко скрыты во внутренних органических процессах, или настолько отставлены во времени от момента ответного движения, или вступают в связь с таким сложным соединением других раздражителей, что простым глазом не всегда можно их подметить и установить. Часто ответное движение или действие организма бывает настолько подавленным, сокращенным, необнаруженным и скрытым, что может легко остаться незамеченным и показаться вовсе отсутствующим. Таковы изменения дыхания и кровообращения при некоторых несильных чувствах или безмолвные мысли, сопровождаемые неслышной внутренней речью. Начинаясь с простейших движений одноклеточных животных, выражающихся в отталкиваниях от неблагоприятных раздражителей и притягиваниях к благоприятным, реакции усложняются и принимают все более и более высокие формы, переходя в сложнейшим образом организованное поведение человека.

Такой взгляд на основной механизм поведения вполне согласуется с той основной биологической схемой нашей душевной жизни, которая приводится в настоящем учебнике: восприятие внешних впечатлений, субъективная переработка их и, как результат этой переработки, то или иное воздействие на внешний мир. В полном согласии с таким пониманием находится и другое общее утверждение этого курса: всякое душевное переживание, в чем бы оно ни заключалось: в восприятиях или суждениях, в волевом напряжении или чувствованиях, есть уже процесс или деятельность.

Поведение животных и человека составляет чрезвычайно важную форму биологического приспособления организма к среде. Приспособление, составляющее основной и универсальный закон развития и жизни организмов, имеет две основные формы. Один тип приспособлений составляют изменения строения животных, изменения их органов под влиянием тех или иных воздействий среды. Другой тип приспособлений, имеющий не меньшее значение, чем первый, заключается в изменении поведения животных без изменения строения тела. Всякий знает, какое громадное значение в сохранении индивида и рода имеет инстинкт, он сводится к чрезвычайно сложным приспособительным движениям животного, без которых существование животного и его вида было бы немыслимо. Отсюда становится понятной биологическая полезность психики. Внося чрезвычайно большую сложность в поведение человека, придавая ему бесконечно разнообразные формы, сообщая ему огромную гибкость, психика оказывается драгоценнейшим биологическим приспособлением, равного которому не знает весь органический мир и которому человек обязан своим господством над природой, т. е. высшими формами своего приспособления. Самая психика при этом обнаруживает при научном исследовании свою двигательную природу, свое строение, совершенно совпадающее со структурой реакции, свое значение реального жизненного приспособления организ-

ма, его особой функции, во всем подобной по своей природе другим его приспособительным функциям. Самые тонкие явления психики суть не что иное, как особо организованные и особо сложные формы поведения, и, следовательно, психика выполняет ту же приспособительную функцию, что и все другие формы приспособлений организмов без изменения их организации.

Оба способа приспособления (как изменение строения животных, так и изменение их поведения без изменения строения) могут быть, в свою очередь, подразделены на наследственные и ненаследственные. Первые возникают очень медленным эволюционным путем, развиваются благодаря естественному отбору, закрепляются и передаются по наследству. Вторые представляют собой более быстрые и гибкие формы приспособления и возникают в процессе личного опыта индивида. Если первые позволяют приспособляться к медленным изменениям среды, то вторые отвечают на быстрые и резкие, внезапные изменения. Поэтому они устанавливают гораздо более разнообразные и гибкие формы связи между организмом и средой.

Поведение животных и человека также слагается из реакций наследственных и приобретаемых в личном опыте. Наследственные реакции слагаются из рефлексов, инстинктов, некоторых эмоциональных реакций и представляют общий для всего вида наследственный капитал полезных биологических приспособлений организма. Происхождение их в общем такое же, что и наследственных изменений структуры организма, и вполне объясняется учением об эволюции, гениально разработанным Дарвином [16].

Только в недавнее время благодаря исследованиям Павлова и Бехтерева возникло учение об условных рефлексах, раскрывающее механизм происхождения и выработки приобретаемых реакций. Сущность этого учения сводится к следующему. Если на животное действует раздражитель, вызывающий у него прирожденную реакцию (простой, или безусловный, рефлекс), и одновременно (или несколько раньше) на животное воздействует другой, индифферентный раздражитель, который этой реакции нормально не вызывает, и такое совместное действие обоих раздражителей, совпадающее во времени, повторяется несколько раз, то обычно в результате этого животное начинает реагировать и на один индифферентный прежде раздражитель. Например, собаке дают мясо — и у нее выделяется слюна; это простой, или безусловный, рефлекс, прирожденная реакция. Если одновременно (или несколько ранее) на собаку начинает действовать любой другой раздражитель, например синий свет, стук метронома, почесывание и пр., то после нескольких раз такого совместного действия обоих раздражителей у собаки устанавливается обычно условный рефлекс, т. е. она начинает выделять слюну только при зажигании синего света или стуке метронома. Таким образом, между реакцией собаки (выделение слюны) и средой замкнулась новая связь, которая в наследственной организации

ее поведения не дана и которая выработалась в силу известных условий (совпадение во времени) в процессе личного опыта собаки.

Этот механизм образования условного рефлекса чрезвычайно много уясняет в поведении животного. Это один из замечательнейших приспособительных механизмов, чрезвычайно гибкий, позволяющий устанавливать животному многообразные, сложные и гибкие формы взаимоотношения со средой и придающий поведению животного исключительно биологическое значение. Этот механизм обнаруживает ясно основной закон поведения: приобретаемые реакции (условные рефлексы) возникают на основе наследственных (безусловных) и представляют собой, в сущности, те же наследственные реакции, но в расчлененном, комбинированном виде, и возникают они в совершенно новых связях с элементами среды. При этом они могут стать при известных условиях (достаточной силе раздражения, совпадении во времени с безусловным раздражителем) возбудителями любой реакции, т. е., иными словами, возможны благодаря этому механизму бесконечно разнообразные связи и соотношения организма со средой, благодаря чему поведение во всех (?) высших формах, встречающихся у человека, делается самым совершенным способом приспособления.

При этом обнаруживается, что решающим фактором в деле установления и образования условных рефлексов оказывается среда как система воздействующих на организм раздражений. Именно организация среды определяет и те условия, от которых зависит образование новых связей, составляющих поведение животного. Среда играет в отношении каждого из нас роль лаборатории, в которой у собак воспитываются условные рефлексы и которая, комбинируя известным образом и соединяя раздражители (мясо, свет, хлеб + метроном), всякий раз отличным образом организует поведение животного. В этом смысле механизм условного рефлекса есть мост, перебрасываемый от биологических законов образования наследственных приспособлений, установленных Дарвином, к социологическим законам, установленным К. Марксом. Именно он [механизм условного рефлекса.— *Ред.*] может объяснить и показать, каким образом наследственное поведение человека, составляющее общебиологическое приобретение всего животного рода, переходит в социальное поведение человека, возникающее на основе наследственного, под решающим воздействием социальной среды. Только это учение позволяет подвести прочные биосоциальные основы под учение о поведении человека и изучать его как биосоциальный факт. Глубоко прав Павлов, говоря, что это учение должно составить фундамент психологии: с него должна начинаться психология.

Учение об условных рефлексах еще только приступило к разработке этого громаднейшего и сложнейшего вопроса и еще очень далеко от окончательных выводов во всех почти областях исследования. Тем не менее можно считать установленным на основании

полученных уже результатов, что механизм условных рефлексов позволяет объяснить чрезвычайно сложные и многообразные формы поведения. Так, условные рефлексы могут, видимо, замыкаться и образовываться не только путем сочетания безусловного раздражителя наследственной реакции и индифферентного, но и путем сочетания нового раздражителя с прежде установившимся условным рефлексом. Например, если у собаки уже образован слюнный рефлекс на синий свет, то, соединяя воздействие света с новым раздражителем (звонком, стуком), мы получаем рефлекс после нескольких опытов и на один стук или звонок. Это условный рефлекс второго порядка. Возможны, по всей вероятности, эти суперрефлексы чрезвычайно высокого порядка, т. е. возможны замыкания таких связей между организмом и отдельными элементами среды, которые бесконечно далеко отстоят от первичной, прирожденной реакции.

Далее, установлено, что воздействие всякого постороннего раздражителя достаточной силы во время протекания реакции тормозит последнюю и останавливает ее. Новое раздражение, приложенное теперь к первым двум, оказывает уже задерживающее, тормозящее влияние на самый тормоз, тормозит тормоз или растормаживает реакцию. Возможны очень сложные случаи различного сочетания нескольких раздражителей, вызывающих чрезвычайно разнообразные и сложные реакции. Тем же экспериментальным путем установлено, что возможно при известных условиях воспитать у животного так называемые следовые рефлексы, при которых ответная реакция последует лишь тогда, когда раздражитель прекратит свое действие, или отставленные (запаздывающие) рефлексы, при которых ответная часть реакции запаздывает во времени по сравнению с началом раздражения. Кроме того, нащупаны чрезвычайно сложные законы взаиморегулирования рефлексов, их взаимное торможение или усиление, их борьба за рабочий орган.

Все эти и множество других фактов, установленных со всей непререкаемостью и неоспоримостью точного научного знания, позволяют предположить с большой вероятностью, что все поведение животного и человека, в самых сильных его формах, слагается из условных рефлексов в различных комбинациях. Всякий акт поведения строится по модели рефлекса. Некоторые авторы (Бехтерев и другие) полагают, что самая наука о поведении должна называться рефлексологией. Психолог, однако, предпочтет термин «реакция», так как он имеет биологически более широкое значение. Реакция включает человеческое поведение в круг общебиологических понятий: реагируют и растения, и простейшие животные организмы. Рефлекс же есть только частный случай реакции — именно реакция животных, обладающих нервной системой. Он предполагает непременно понятие рефлекторной дуги, т. е. нервного пути, складывающегося из центростремительного нерва, приносящего раздражение, нервной клетки в центральной системе, передающей это раздраже-

ние на центробежный нерв, и этого последнего, отводящего возбуждение в рабочий орган. Рефлекс — понятие узкофизиологическое.

Далее, нынешнее состояние учения о нервной системе делает весьма правдоподобной вероятность реакций, возникающих не путем нервного раздражения органов чувств, дающего толчок к возникновению нового процесса в центральной нервной системе, а путем разнообразно локализованных самопроизвольных центров возбуждения в мозгу, обусловленных радиоактивными процессами, даваемыми солями калия. Вслед за П. П. Лазаревым [17] возможно предположить существование таких реакций не рефлекторного типа (ибо здесь нет рефлекторной дуги, внешнего раздражения), но вместе с тем имеющих строгий характер полной реакции: здесь налицо раздражитель (радиоактивный распад), процессы внутри организма и реакция. Наконец, термин «реакция» имеет за собой большую традицию в экспериментальной психологии. По всему этому психолог наших дней, пытающийся создать новую психологию, повторит, однако, охотно вслед за Н. Н. Ланге: «Мы имеем традиционное название для большой, но далеко не точно ограниченной группы явлений. Это название перешло к нам от того времени, в которое неизвестны были теперешние строго научные требования. Надо ли отбросить название, раз изменился предмет науки? Это было бы педантично и непрактично. Итак, примем без колебаний психологию без души (respective психологию поведения.— *Л. В.*). Название ее все же пригодно, пока мы имеем здесь дело, которое не выполняется надлежаще никакой другой наукой».

При этом необходимо отметить, что рефлексология, с точки зрения психологии поведения, представляет другую крайность, одинаково неприемлемую, как и эмпирическая психология. Если последняя изучает психику без поведения, в ее изолированном, абстрактном и выделенном изо всего виде, то первая стремится игнорировать психику и изучать поведение без психики. Такой односторонний, физиологический материализм одинаково далек от диалектического материализма, как и идеализм эмпирической психологии. Он ограничивает изучение человеческого поведения только его биологической стороной, игнорируя социальный фактор. Он изучает человека только в той его части, какой он входит в общий мир животных организмов, в его физиологии, поскольку он есть млекопитающее животное. Весь исторический и социальный опыт, все своеобразие активного трудового приспособления человеком природы к себе, в противоположность пассивному приспособлению животных к среде, остается необъяснимым с этой точки зрения. При этом и сами рефлексологи признают реальность и неоспоримое существование психики. Бехтерев предостерегает от того, чтобы смотреть на психические процессы как на лишние, побочные в природе явления. Павлов называет психику «первостепенной действительностью».

Биологически было бы полной нелепостью утверждать реальность психики и вместе с тем допускать полную ее ненужность и возможность объяснения всего поведения без психики. Поведения без психики у человека так же не существует, как психики без поведения, потому что психика и поведение — это одно и то же. Только та научная система, которая раскроет биологическое значение психики в поведении человека, укажет точно, что она вносит нового в реакции организма, и объяснит ее как факт поведения, только она сможет претендовать на имя научной психологии.

Такая система еще не создана. Можно с уверенностью сказать, что она и не возникнет ни на развалинах эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов. Она придет как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека. Эта новая психология будет ветвью общей биологии и вместе основой всех социологических наук. Она составит тот узел, в котором свяжутся науки о природе и науки о человеке. Она поэтому действительно будет теснейшим образом связана с философией, но с строго научной философией, представляющей объединенную теорию научного знания, а не со спекулятивной философией, предшествующей научным обобщениям.

Пока же можно намечать только общие вехи, по которым будет направляться нить новой психологии, и общие критические критерии, с которыми приходится подходить к научному наследию прежней психологии. Пока не создана новая терминология, не выработана новая классификация, приходится (и еще не один год придется) пользоваться старыми, но при этом следует всячески подчеркивать всю условность и старых понятий, и старых делений.

В конце концов в большинстве случаев на них приходится смотреть как на терминологию «психологии обыденной жизни», говоря словами Лазурского, общепринятого, ненаучного, популярного языка. Сам он недаром одной из задач своей книги считал установление связи между сложными экспериментальными исследованиями и «данными обыденной, повседневной жизни» (1925, с. 26). Поэтому взглянем и мы так же на всю эту условную терминологию — воля, чувство, представление и пр.— и отведем ей ту же самую роль, что и терминологии обыденной жизни. Мы охотно применим к автору его же слова относительно терминологии рациональной психологии: «В настоящее время... мы уже не можем принять этого подразделения, не произведя в нем весьма существенных изменений. Если же я привел его целиком, то, во-первых, ввиду его исторического значения, а во-вторых, потому, что в обыденной жизни мы очень часто делим психические процессы почти таким же точно образом. Вообще психология способностей (мы скажем: психология эмпирическая.— *Л. В.*) довольно близко приближается к психологии обыденной жизни. Трудно сказать, кто на кого в данном случае влиял: философы на образованных людей или житейские наблюде-

ния на философов, но взаимная близость здесь несомненна. Это всегда следует иметь в виду, помня, что обыденно житейская психологическая терминология зачастую соответствует не столько современным научным знаниям о душевной жизни, сколько теориям прежней, «рациональной» (мы прибавим: и эмпирической.— *Л. В.*) психологии» (там же, с. 74).

Для нас несомненно, что все понятия, классификации, терминология — весь научный аппарат эмпирической психологии будет пересмотрен, переконструирован и создан заново в новой психологии. Несомненно, что многие первые там здесь будут последними. Новая психология исходит из инстинктов и влечений как основного ядра психики и, вероятно, не будет рассматривать их в последней главе курса. Она избегнет и того атомистического, распыленного рассмотрения отдельных кусочков психики, на которое в мозаичной психологии распалось поведение человека. Но до тех пор пока новая система не создана, нам остается критически временно принять и в науке, и в преподавании прежний аппарат науки, помня, что это единственный способ реализовать и перевести в новую науку те неоспоримые ценности объективных наблюдений, точных экспериментов, которые накоплены в вековой работе эмпирической психологии. Надо только все время помнить условность этой терминологии, тот новый угол, которым повернуто каждое понятие и слово, то новое содержание, которое в него вложено. Надо ни на минуту не забывать, что каждое слово эмпирической психологии есть старые мехи, в которые должно быть влито новое вино.

СОЗНАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ[1]

Паук совершает операции, напоминающие операции ткача,
и пчела постройкой своих восковых ячеек
посрамляет некоторых людей-архитекторов.
Но и самый плохой архитектор
от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем,
что, прежде чем строить ячейку из воска,
он уже построил ее в своей голове.
В конце процесса труда получается результат,
который уже в начале этого процесса
имелся в представлении человека, т. е. идеально.
Человек не только изменяет форму того, что дано природой;
в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем
и свою сознательную цель, которая как закон
определяет способ и характер его действий
и которой он должен подчинять свою волю.

К. Маркс

1

Вопрос о психологической природе сознания настойчиво и умышленно обходится в нашей научной литературе. Его стараются не замечать, как будто для новой психологии он и не существует вовсе. Вследствие этого складывающиеся на наших глазах системы научной психологии несут в себе с самого начала ряд органических пороков. Из них назовем несколько — самых основных и главных, на наш взгляд.

1. Игнорируя проблему сознания, психология сама закрывает себе доступ к исследованию сколько-нибудь сложных проблем поведения человека. Она вынуждена ограничиться выяснением самых элементарных связей живого существа с миром. Что это действительно так, легко убедиться, заглянув в оглавление книги В. М. Бехтерева «Общие основы рефлексологии человека» (1923): «Принцип сохранения энергии. Принцип непрерывной изменчивости. Принцип ритма. Принцип приспособления. Принцип противодействия, равного действию. Принцип относительности». Одним словом, всеобъемлющие принципы, охватывающие не только поведение животного и человека, но все мировое целое. И при этом ни одного психологического закона, который формулировал бы найденную связь или

зависимость явлений, характеризующую своеобразие человеческого поведения, в отличие от поведения животного.

На другом полюсе книги — классический эксперимент образования условного рефлекса, один малый опыт, принципиально исключительно важный, но не заполняющий мирового пространства от условного рефлекса первой степени до принципа относительности. Несоответствие крыши и фундамента, отсутствие самого здания между ними легко обнаруживают, насколько рано еще формулировать мировые принципы на рефлексологическом материале и как легко взять из других областей знания законы и применить их к психологии. При этом чем более широкий и всеобъемлющий принцип мы возьмем, тем легче его будет натянуть на нужный нам факт. Нельзя забывать только, что объем и содержание понятия всегда находятся в обратно пропорциональной зависимости. И так как объем мировых принципов стремится к бесконечности, их психологическое содержание с той же стремительностью умаляется до нуля.

И это не частный порок бехтеревского курса. В том или ином виде этот же порок обнаруживается и сказывается на всякой попытке систематически изложить учение о поведении человека как голую рефлексологию.

2. Отрицание сознания и стремление построить психологическую систему без этого понятия, как «психологию без сознания», по выражению П. П. Блонского [2] (1921, с. 9), ведет к тому, что методика лишается необходимейших средств исследования, не выявленных, не обнаруживаемых простым глазом реакций, как внутренних движений, внутренней речи, соматических реакций и т. п. Изучение только реакций, видимых простым глазом, совершенно бессильно и несостоятельно даже перед простейшими проблемами поведения человека. Между тем поведение человека организовано таким образом, что именно внутренние, плохо обнаруживаемые движения направляют и руководят им. Когда мы формируем условный слюнный рефлекс собаки, мы известным образом внешними приемами предварительно организуем ее поведение — иначе опыт не удастся. Мы ставим ее в станок, охватываем ее лямками и пр. Точно так же мы предварительно организуем поведение испытуемого известными внутренними движениями — через инструкцию, пояснение и пр. И если эти внутренние движения вдруг изменяются в течение опыта — вся картина поведения резко изменится. Таким образом, мы пользуемся всегда заторможенными реакциями; мы знаем, что они протекают всегда безостановочно в организме, что им принадлежит влиятельная регулирующая роль в поведении, поскольку оно сознательно. Но мы лишены всяких средств для исследования этих внутренних реакций.

Проще говоря: человек всегда думает про себя; это никогда не остается без влияния на его поведение; внезапная перемена мыслей во время опыта всегда резко отзовется на всем поведении испытуе-

мого (вдруг мысль: «Не буду я смотреть в аппарат»). Но мы ничего не знаем о том, как учесть это влияние.

3. Стирается всякая принципиальная грань между поведением животного и поведением человека. Биология пожирает социологию, физиология — психологию. Поведение человека изучается в той мере, в какой оно есть поведение млекопитающего животного. То принципиально новое, что вносят в человеческое поведение сознание и психика, при этом игнорируется. Для примера сошлюсь на два закона: закон угасания (или внутреннего торможения) условных рефлексов, установленный И. П. Павловым (1923), и закон доминанты, сформулированный А. А. Ухтомским [8] (1923).

Закон угасания (или внутреннего торможения) условных рефлексов устанавливает тот факт, что при продолжительном возбуждении одним условным раздражителем, не подкрепляемым безусловным, условный рефлекс постепенно ослабевает и наконец угасает вовсе. Переходим к поведению человека. Замыкаем у испытуемого условную реакцию на какой-нибудь раздражитель: «Когда услышите звонок, нажмите кнопку ключа». Повторяем опыт 40, 50, 100 раз. Есть ли угасание? Напротив, связь закрепляется — от раза к разу, ото дня ко дню. Наступает утомление — но не это имеет в виду закон угасания. Очевидно, здесь простое перенесение закона из области зоопсихологии в психологию человека невозможно. Нужна какая-то принципиальная оговорка. Но мы не только не знаем ее, но не знаем даже, где и как искать ее.

Закон доминанты устанавливает существование в нервной системе животного таких очагов возбуждения, которые притягивают к себе другие, субдоминантные возбуждения, попадающие в это время в нервную систему. Половое возбуждение у кошки, акты глотания и дефекации, обнимательный рефлекс у лягушки — все это, как показывают исследования, усиливается за счет всякого постороннего раздражения. Отсюда делается прямой переход к акту внимания у человека и устанавливается, что физиологической основой этого акта является доминанта. Но вот оказывается, что внимание как раз лишено этой характерной черты доминанты — способности усиливаться от всякого постороннего раздражения. Напротив, всякий посторонний раздражитель отвлекает и ослабляет внимание. Опять переход от законов доминанты, установленных на кошке и лягушке, к законам человеческого поведения, очевидно, нуждается в существенной поправке.

4. Самое главное — исключение сознания из сферы научной психологии сохраняет в значительной мере весь дуализм и спиритуализм прежней субъективной психологии. В. М. Бехтерев утверждает, что система рефлексологии не противоречит гипотезе «о душе» (1923). Субъективные или сознательные явления характеризуются им как явления второго ряда, как специфические внутренние явления, сопровождающие сочетательные рефлексы. Дуализм закрепля-

ется тем, что допускается возможность и даже признается неизбежность возникновения в будущем отдельной науки — субъективной рефлексологии.

Основная предпосылка рефлексологии — допущение возможности объяснить все без остатка поведение человека, не прибегая к субъективным явлениям, построить психологию без психики — представляет вывороченный наизнанку дуализм субъективной психологии — ее попытку изучать чистую, отвлеченную психику. Это другая половина прежнего же дуализма: там психика без поведения, здесь поведение без психики, и там и здесь «психика» и «поведение» понимаются как два разных явления. Ни один психолог, будь он даже крайний спиритуалист и идеалист, именно в силу этого дуализма, не отрицал физиологического материализма рефлексологии, но, напротив, всегда и всякий идеализм непременно предполагал его.

5. Изгоняя сознание из психологии, мы прочно и навсегда замыкаемся в кругу биологической нелепости. Даже Бехтерев предостерегает как от большой ошибки от того, чтобы считать «субъективные процессы совершенно лишними или побочными явлениями в природе (эпифеноменами), ибо мы знаем, что все лишнее в природе атрофируется и уничтожается, тогда как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности» (там же, с. 78).

Следовательно, остается признать одно из двух: или это действительно так и есть — тогда невозможно изучать поведение человека, сложные формы его соотносительной деятельности безотносительно к его психике; или это не так — тогда психика эпифеномен, побочное явление, раз все объясняется и без нее, тогда мы придем к биологическому абсурду. Третья возможность не дана.

6. Для нас при такой постановке вопроса навсегда закрывается доступ к исследованию главнейших проблем — структуры нашего поведения, анализа его состава и форм. Мы навсегда обречены оставаться при ложном представлении, будто поведение есть сумма рефлексов.

Рефлекс — понятие абстрактное: методологически оно крайне ценно, но оно не может стать основным понятием психологии как конкретной науки о поведении человека. Человек вовсе не кожаный мешок, наполненный рефлексами, и мозг не гостиница для случайно останавливающихся рядом условных рефлексов.

Исследование доминантных реакций на животных, исследование интеграции рефлексов показало с непререкаемой убедительностью, что работа каждого органа, его рефлекс, не есть нечто статическое, но есть только функция от общего состояния организма. Нервная система работает как одно целое — эта формула Ч. Шеррингтона [4] должна быть положена в основу учения о структуре поведения.

В самом деле, слово «рефлекс» в том смысле, в каком оно употребляется у нас, очень напоминает историю Каннитферштана, имя которого бедный иностранец слышал в Голландии всякий раз в ответ на свои вопросы: «Кого хоронят? Чей это дом? Кто проехал?» и т. д. Он по наивности думал, что все в этой стране совершается Каннитферштаном, между тем это слово означало, что его вопросов встречные голландцы не понимали. Вот таким свидетельством в непонимании изучаемых явлений легко может представиться рефлекс цели или рефлекс свободы [5]. Что это не рефлекс в обычном смысле — в том смысле, как слюнный рефлекс, а какой-то отличный от него по структуре механизм поведения, ясно для всякого. И только при всеобщем приведении к одному знаменателю можно обо всем говорить одинаково: это рефлекс, как: это Каннитферштан. Самое слово «рефлекс» обессмысливается при этом.

Что такое ощущение? — Это рефлекс. Что такое речь, жесты, мимика? — Это тоже рефлексы. А инстинкты, обмолвки, эмоции? — Это тоже все рефлексы. Все явления, что нащупала вюрцбургская школа в высших мыслительных процессах, анализ сновидений, предложенный Фрейдом,[6] — все это те же рефлексы. Все это, конечно, совершенно так и есть, но научная бесплодность таких голых констатирований совершенно очевидна. При таком методе изучения наука не только не вносит света и ясности в изучаемые вопросы, помогая расчленить, ограничить предметы, формы, явления, но, напротив, заставляет все видеть в тусклом полусвете, когда все сливается вместе и нет отчетливой границы между предметами. То рефлекс, и это тоже рефлекс, но что же отличает этот от того?

Надо изучать не рефлексы, а поведение — его механизм, состав, структуру. У нас всякий раз возникает иллюзия при эксперименте над животным или человеком, будто мы исследуем реакцию или рефлекс. В сущности, мы исследуем всякий раз поведение, потому что мы непременно организуем заранее известным образом поведение испытуемого, чтобы обеспечить за реакцией или рефлексом преобладание; иначе мы ничего не получим.

Разве в опытах И. П. Павлова собака реагирует слюнным рефлексом, а не множеством самых различных двигательных реакций, внутренних и внешних, и разве они не влияют на протекание наблюдаемого рефлекса? И разве условный раздражитель, присоединяемый в этих опытах, не вызывает сам по себе таких же реакций (ориентировочные реакции уха, глаза и пр.)? Почему же замыкание условной связи происходит между слюнным рефлексом и звонком, а не наоборот, т. е. не мясо начинает вызывать ориентировочное движение ушей? Разве испытуемый, нажимая на кнопку ключа по сигналу, выразил в этом всю свою реакцию? А общее расслабление тела, откидывание к спинке стула, отведение головы, вздох и пр. не составляют существеннейших частей реакции?

Все это указывает на сложность любой реакции, на зависимость

ее от структуры того механизма поведения, в который она включена, на невозможность изучать реакцию в абстрактном виде. Не забудем к тому же, прежде чем делать очень большие и ответственные выводы из классического эксперимента с условным рефлексом, что исследование еще только начинается, что оно охватило очень узкий круг, что изучены только 1—2 вида рефлексов — слюнный и оборонительно-двигательный, и то только условные рефлексы первого-второго порядка, и в направлении, биологически невыгодном для животного (зачем животному выделять слюну на очень отдаленные сигналы, на условные раздражители высокого порядка?). Поэтому остережемся от прямого перенесения в психологию рефлексологических законов. Верно говорит В. А. Вагнер[7] (1923), что рефлекс есть фундамент, но по фундаменту еще ничего нельзя сказать, что будет на нем выстроено.

По всем этим соображениям, думается, приходится переменить взгляд на поведение человека как на механизм, раскрытый вполне ключом условного рефлекса. Без предварительной рабочей гипотезы о психологической природе сознания невозможны критический пересмотр всего научного капитала в этой области, отбор и просеивание его, перевод на новый язык, выработка новых понятий и создание новой проблематики.

Научной психологии надо не игнорировать факты сознания, а материализовать их, перевести на объективный язык объективно существующее и навсегда разоблачить и похоронить фикции, фантасмагории и пр. Без этого невозможна никакая работа — ни преподавание, ни критика, ни исследование.

Нетрудно понять, что сознание не приходится рассматривать биологически, физиологически и психологически как второй ряд явлений. Ему должно быть найдено место и истолкование в одном ряду явлений со всеми реакциями организма. Это первое требование к нашей рабочей гипотезе. Сознание есть проблема структуры поведения. Другие требования: гипотеза должна без натяжки объяснить основные вопросы, связанные с сознанием,— проблему сохранения энергии, самосознание, психологическую природу познания чужих сознаний, сознательность трех основных сфер эмпирической психологии (мышления, чувства и воли), понятие бессознательного, эволюцию сознания, тождество и единство его.

Здесь, в этом коротком и беглом очерке, высказаны только самые предварительные, самые общие, самые основные мысли, на скрещении которых, думается нам, и возникнет будущая рабочая гипотеза сознания в психологии поведения.

2

Подойдем к вопросу извне, не от психологии.

Все поведение животного в главнейших формах складывается из двух групп реакций: прирожденных, или безусловных, рефлек-

сов и приобретенных, или условных, рефлексов. При этом прирожденные рефлексы составляют как бы биологический экстракт наследственного коллективного опыта всего вида, а приобретенные возникают на основе этого наследственного опыта через замыкание новых связей, данных в личном опыте индивида. Так что все поведение животного можно условно обозначить как наследственный опыт плюс наследственный опыт, помноженный на личный. Происхождение наследственного опыта выяснено Ч. Дарвином; механизм умножения этого опыта на личный есть механизм условного рефлекса, установленный И. П. Павловым. Этой формулой, в общем, исчерпывается поведение животного.

Иначе обстоит дело с человеком. Здесь, для того чтобы охватить сколько-нибудь полно все поведение, необходимо ввести новые члены в формулу. Здесь необходимо прежде всего отметить чрезвычайно расширенный наследуемый опыт человека по сравнению с животными. Человек пользуется не только физически унаследованным опытом. Вся наша жизнь, труд, поведение основаны на широчайшем использовании опыта прежних поколений, опыта, не передаваемого через рождение от отца к сыну. Условно обозначим его как исторический опыт.

Рядом с ним должен быть поставлен опыт социальный, опыт других людей, который входит очень значительным компонентом в поведение человека. Я располагаю не только теми связями, которые замкнулись в моем личном опыте между безусловными рефлексами и отдельными элементами среды, но и множеством таких связей, которые были установлены в опыте других людей. Если я знаю Сахару и Марс, хотя ни разу не выезжал из своей страны и ни разу не смотрел в телескоп, то очевидно, что происхождением своим этот опыт обязан опыту других людей, ездивших в Сахару и глядевших в телескоп. Столь же очевидно, что такого опыта у животных нет. Обозначим это как социальный компонент нашего поведения.

Наконец, существенно новым для поведения человека является то, что приспособление его и связанное с ним поведение принимают новые, по сравнению с животными, формы. Там — пассивное приспособление к среде; здесь — активное приспособление среды к себе. Правда, и у животных встречаем мы начальные формы активного приспособления в инстинктивной деятельности (витье гнезд, постройка жилища и пр.), но в животном царстве формы эти, во-первых, не имеют преобладающего, основного значения, а во-вторых, они все еще остаются пассивными по существу и по механизму своего осуществления.

Паук, который ткет паутину, и пчела, строящая ячейки из воска, делают это в силу инстинкта, машинообразно, все одинаково и не обнаруживают в этом больше активности, чем во всех остальных приспособительных реакциях. Другое дело — ткач или архитектор. Как говорит Маркс, они раньше построили свое произведение в

голове; результат, полученный в процессе труда, имелся перед началом этого труда идеально (см.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 189). Это совершенно бесспорное пояснение Маркса не означает ничего другого, кроме обязательного для человеческого труда удвоения опыта. Труд повторяет в движениях рук и в изменениях материала то, что прежде проделано в представлении работника как бы с моделями этих же движений и этого же материала. Вот такого удвоенного опыта, позволяющего человеку развить формы активного приспособления, у животного нет. Назовем условно этот новый вид поведения удвоенным опытом.

Теперь новая часть формулы поведения человека примет такой вид: исторический опыт, социальный опыт, удвоенный опыт.

Остается вопрос: какими знаками связать эти новые члены формулы между собой и с прежней ее частью? Знак умножения наследственного опыта на личный для нас ясен: он означает механизм условного рефлекса.

Отысканию недостающих знаков и посвящены следующие разделы этой статьи.

3

В предыдущем разделе намечены биологический и социальный моменты проблемы. Теперь рассмотрим столь же кратко ее физиологическую сторону.

Даже самые элементарные опыты с изолированными рефлексами наталкиваются на проблему координации рефлексов или перехода их в поведение. Выше упомянуто было мимоходом о том, что любой опыт Павлова уже предполагает так предварительно организованное поведение собаки, чтобы замкнулась в столкновении рефлексов единственная нужная связь. Павлову же пришлось (1950) формировать некоторые более сложные рефлексы собаки. Не раз он указывает на возникавшие в процессе опытов столкновения двух разных рефлексов. При этом результаты не всегда бывают одинаковы: в одном случае рассказывается об усилении пищевого рефлекса одновременным сторожевым, в другом — о победе пищевого над сторожевым. Два рефлекса представляют буквально как бы две чаши весов, говорит Павлов по этому поводу. Он не закрывает глаза на необычайную сложность протекания рефлекса. «Если взять во внимание,— говорит он,— что данный рефлекс на внешнее раздражение не только ограничивается и регулируется другим внешним одновременным рефлекторным актом, но и массою внутренних рефлексов, а также действием всевозможных внутренних раздражителей: химических, термических и т. д. — как на разные отделы центральной нервной системы, так и непосредственно на самые рабочие тканевые элементы, то таким представлением была бы захвачена вся реальная сложность рефлекторных ответных явлений» (там же, с. 190).

Основной принцип координации рефлексов, как он выяснен в исследованиях Ч. Шеррингтона, заключается в борьбе различных групп рецепторов за общее двигательное поле. Дело в том, что приносящих нейронов в нервной системе намного больше, чем отводящих, поэтому каждый двигательный нейрон находится в рефлекторной связи не только с одним рецептором, но со многими, вероятно, со всеми. В организме всегда возникает борьба за общее двигательное поле, за обладание одним рабочим органом между различными рецепторами. Исход этой борьбы зависит от очень сложных и многообразных причин. Таким образом, выясняется, что всякая осуществленная реакция, всякий победивший рефлекс возникает после борьбы, после конфликта в «пункте коллизии» (Ч. Шеррингтон, 1912).

Поведение есть система победивших реакций.

При нормальных условиях, говорит Шеррингтон, если оставить в стороне вопросы сознания, все поведение животного слагается из последовательных переходов конечного поля то к одной группе рефлексов, то к другой. Другими словами, все поведение есть ни на минуту не утихающая борьба. Есть все основания предположить, что одна из важнейших функций головного мозга именно в том и заключается, чтобы устанавливать координацию между рефлексами, исходящими из отдаленных точек, благодаря чему нервная система интегрируется до целостного индивида.

Координирующий механизм общего двигательного поля служит, по мнению Шеррингтона, основой коренного психического процесса внимания. Благодаря этому принципу в каждый момент создается единство действия, а это, в свою очередь, служит основой понятия личности; таким образом, создание единства личности составляет задачу нервной системы, утверждает Шеррингтон. Рефлекс представляет собой интегральную реакцию организма. Каждую мышцу при этом, каждый рабочий орган приходится рассматривать как «чек на предъявителя, которым может овладеть любая группа рецепторов» (там же, с. 23).

Общее представление о нервной системе прекрасно выясняется из сравнения: «Система рецепторов относится к системе выносящих путей, как широкое верхнее отверстие воронки к ее выходному отверстию. Но каждый рецептор стоит в связи не с одним, а со многими, может быть, со всеми выносящими волокнами; конечно, связь эта бывает различной прочности. Поэтому, продолжая наше сравнение с воронкой, нужно сказать, что всякая нервная система представляет собой воронку, одно отверстие которой впятеро шире другого; внутри этой воронки расположены рецепторы, которые тоже представляют собой воронки, широкое отверстие которых повернуто к выходному концу общей воронки и покрывает его целиком» (там же, с. 56).

И. П. Павлов (1950) сравнивает большие полушария головного

мозга с телефонной станцией, где замыкаются новые, временные связи между элементами среды и отдельными реакциями. Гораздо больше, чем телефонную станцию, наша нервная система напоминает узкие двери в каком-либо большом здании, к которым в панике устремилась многотысячная толпа; в двери могут пройти только несколько человек; прошедшие благополучно — немногие из тысячи погибших, оттесненных. Это ближе передает тот катастрофический характер борьбы, динамического и диалектического процесса между миром и человеком и внутри человека, который называется поведением.

Из этого естественно следуют два положения, нужные для правильной постановки вопроса о сознании как механизме поведения.

1. Мир как бы вливается в широкое отверстие воронки тысячами раздражителей, влечений, зовов; внутри воронки идет непрестанная борьба, столкновение; все возбуждения вытекают из узкого отверстия в виде ответных реакций организма в сильно уменьшенном количестве. Осуществившееся поведение есть ничтожная доля возможного. Человек всякую минуту полон неосуществившихся возможностей. Эти неосуществившиеся возможности нашего поведения, эта разность между широким и узким отверстиями воронки есть совершеннейшая реальность, такая же, как и восторжествовавшие реакции, потому что все соответствующие им три момента реакции налицо.

Это неосуществленное поведение при сколько-нибудь сложном строении конечного общего поля и при сложных рефлексах может иметь чрезвычайно разнообразные формы. «В сложных рефлексах рефлекторные дуги иногда аллиируются по отношению к одной части общего поля и борются друг с другом в отношении к другой его части» (Ч. Шеррингтон, 1912, с. 26). Таким образом, реакция может остаться наполовину не осуществленной или осуществленной в некоторой, всякий раз неопределенной своей части.

2. Благодаря чрезвычайно сложному равновесию, устанавливаемому в нервной системе сложнейшей борьбой рефлексов, нужна часто совершенно незначительная сила нового раздражителя, который решил бы исход борьбы. Так в сложной системе борющихся сил и ничтожная новая сила может определить собой результат и направление равнодействующей; в большой войне и маленькое государство, присоединившись к одной из сторон, может решить победу и поражение. Это значит, что легко можно себе представить, как незначительные сами по себе реакции, даже малоприметные, могут оказаться руководящими в зависимости от конъюнктуры в том «пункте коллизии», в который они вступают.

4

Самый элементарный и основной, всеобщий закон связи рефлексов может быть сформулирован так: рефлексы связываются между собой по законам условных рефлексов, причем ответная часть од-

ного рефлекса (моторная, секреторная) может стать при соответствующих условиях условным раздражителем (или тормозом) другого рефлекса, замыкаясь по сенсорному пути связанных с ним периферических раздражений в рефлекторную дугу с новым рефлексом. Целый ряд таких связей, возможно, дан наследственно и относится к безусловным рефлексам. Остальная часть этих связей создается в процессе опыта — и не может не создаваться постоянно в организме.

И. П. Павлов называет этот механизм цепным рефлексом и прилагает его к объяснению инстинкта. В опытах Г. П. Зеленого[8] (1923) обнаружился тот же механизм при исследовании ритмических мышечных движений, которые тоже оказались цепным рефлексом. Таким образом, механизм этот объясняет лучше всего бессознательные, автоматические соединения рефлексов. Однако он же, если принять во внимание не одну и ту же систему рефлексов, а разные и возможность передачи из одной системы в другую, и есть в основном самый механизм сознания в его объективном значении. Способность нашего тела быть раздражителем (своими актами) для самого себя (для новых актов) — такова основа сознания.

Уже сейчас можно говорить о несомненном взаимодействии отдельных систем рефлексов, об отражении одних систем на других. Собака на соляную кислоту реагирует выделением слюны (рефлекс), но сама слюна — новый раздражитель для рефлекса глотания или выбрасывания ее наружу. В свободной ассоциации я произношу на слово-раздражитель «роза» — «нарцисс». Это рефлекс, но он же является раздражителем для следующего слова — «левкой». Это все внутри одной системы или близких — сотрудничающих систем. Вой волка вызывает во мне как раздражитель соматические и мимические рефлексы страха; измененное дыхание, сердцебиение, дрожь, сухость в горле (рефлексы) заставляют меня сказать или подумать: «Я боюсь». Здесь передача с одних систем на другие.

Самую сознательность, или сознаваемость, нами своих поступков и состояний следует, видимо, понимать прежде всего как правильно функционирующую в каждый сознательный момент систему передаточных механизмов с одних рефлексов на другие. Чем правильнее всякий внутренний рефлекс в качестве раздражителя вызывает целый ряд других рефлексов из других систем, передается на другие системы, тем более мы способны отдать отчет себе и другим в переживаемом, тем оно переживается сознательнее (чувствуется, закрепляется в слове и т. д.).

Отдать отчет и значит перевести одни рефлексы в другие. Бессознательное, психическое и означает рефлексы, не передающиеся в другие системы. Возможны бесконечно разнообразные степени сознательности, т. е. взаимодействия систем, включенных в механизм действующего рефлекса. Сознание своих переживаний и означает не что иное, как имение их в качестве объекта (раздражителя)

для других переживаний. Сознание есть переживание переживаний, точно таким же образом, как переживания просто суть переживания предметов. Но именно способность рефлекса (переживания предмета) быть раздражителем (предметом переживания) для нового рефлекса — этот механизм сознательности и есть механизм передачи рефлексов из одной системы в другую. Это приблизительно то же, что В. М. Бехтерев называет подотчетными и неподотчетными рефлексами.

Проблема сознания должна быть поставлена и решена психологией в том смысле, что сознание есть взаимодействие, отражение, взаимовозбуждение различных систем рефлексов. Сознательно то, что передается в качестве раздражителя на другие системы и вызывает в них отклик. Сознание всегда эхо, ответный аппарат. Приведу три ссылки на литературу.

1. Здесь уместно напомнить, что в психологической литературе не раз указывалось на круговую реакцию как на механизм, который возвращает в организм его же собственный рефлекс при помощи возникающих при этом центростремительных токов и который лежит в основе сознания (Н. Н. Ланге, 1914). При этом выдвигалось часто биологическое значение круговой реакции: новое раздражение, посланное рефлексом, вызывает новую, вторичную реакцию, которая либо усиливает и повторяет, либо ослабляет и подавляет первую реакцию, в зависимости от общего состояния организма, как бы от той оценки, которую организм дает своему же рефлексу. Таким образом, круговая реакция представляет собой не простое соединение двух рефлексов, но такое соединение, где одна реакция управляется и регулируется другой. Этим намечается новый момент в механизме сознания: его регуляторная роль по отношению к поведению.

2. Ч. Шеррингтон различает экстерорецептивное и интерорецептивное поля, как поле наружной поверхности тела и как внутреннюю поверхность некоторых органов, куда вводится некоторая часть внешней среды. Отдельно говорит он о проприорецептивном поле, возбуждаемом самим же организмом, изменениями, которые происходят в мышцах, сухожилиях, суставах, кровеносных сосудах и т. д.

«В отличие от рецепторов экстеро- и интерорецептивного полей, рецепторы проприорецептивного поля возбуждаются лишь вторично влияниями, идущими из внешней среды. Их раздражителем является деятельное состояние тех или иных органов, например сокращение мышцы, которое в свою очередь служит первичной реакцией на раздражение поверхностного рецептора факторами внешней среды. Обычно рефлексы, возникающие благодаря раздражению проприорецептивных органов, сочетаются с рефлексами, вызванными раздражением экстерорецептивных органов» (Ч. Шеррингтон, 1912, с. 42).

Сочетание вторичных рефлексов с первичными реакциями, эта «вторичная связь» может соединять, как показывает исследование, рефлексы как аллиированного, так и антагонистического типа. Другими словами, вторичная реакция может усиливать и прекращать первичную. В этом и заключается механизм сознания.

3. Наконец, И. П. Павлов в одном месте говорит, что воспроизведение нервных явлений в субъективном мире является очень своеобразным, так сказать, многократно преломленным, так что в целом психологическое понимание нервной деятельности в высшей степени условно и приблизительно.

Едва ли здесь Павлов имел в виду что-либо большее, чем простое сравнение, но мы готовы понять его слова в буквальном и точном смысле и утверждать, что сознание и есть «многократное преломление» рефлексов.

5

Этим разрешается проблема психики без затраты энергии. Сознание всецело и без всякого остатка сводится на передаточные механизмы рефлексов, работающие по общим законам, т. е. можно допустить, что никаких других процессов, кроме реакций, в организме нет.

Открывается возможность и для решения проблемы самосознания и самонаблюдения. Внутреннее восприятие, интроспекция возможны только благодаря существованию проприорецептивного поля и связанных с ним вторичных рефлексов. Это всегда как бы эхо реакции.

Самосознание как восприятие того, что, по выражению Дж. Локка, происходит в собственной душе человека, всецело исчерпывается этим. Здесь становится ясной доступность этого опыта одному лицу — самому переживающему свой опыт. Только я сам и я один могу наблюдать и воспринимать мои вторичные реакции, потому что для меня одного мои рефлексы служат новыми раздражителями проприорецептивного поля. При этом легко объясняется и основная расколотость опыта: психическое потому именно и не похоже ни на что другое, что оно имеет дело с раздражителями sui generis, не встречающимися нигде больше, кроме моего тела. Движение моей руки, воспринимаемое глазом, может быть одинаково раздражителем как для моего, так и для чужого глаза, но сознательность этого движения, те проприорецептивные возбуждения, которые возникают и вызывают вторичные реакции, существуют для меня одного. Они ничего не имеют общего с первым раздражением глаза. Здесь совершенно другие нервные пути, другие механизмы, другие раздражители.

С этим теснейшим образом связан и сложнейший вопрос психологической методики: о ценности самонаблюдения. Прежняя психо-

логия считала его основным и главным источником психологического знания. Рефлексология отвергает его вовсе или вводит под контролем объективных данных как источник дополнительных сведений (В. М. Бехтерев, 1923).

Изложенное понимание вопроса позволяет понять в самых приблизительных и общих чертах то значение (объективное), какое может иметь для научного исследования словесный отчет испытуемого. Невыявленные рефлексы (немая речь), внутренние рефлексы, недоступные прямому восприятию наблюдающего, могут быть обнаружены часто косвенно, опосредованно, через доступные наблюдению рефлексы, по отношению к которым они являются раздражителями. По наличию полного рефлекса (слова) мы судим о наличии соответствующего раздражителя, который в настоящем случае играет двойную роль: раздражителя по отношению к полному рефлексу и рефлекса по отношению к предыдущему раздражителю.

При той огромной и первостепенной роли, которую в системе поведения играет психика, т. е. невыявленная группа рефлексов, было бы самоубийством для науки отказываться от обнаружения ее косвенным путем, через ее отражения на других системах рефлексов. Ведь учитываем же мы рефлексы на внутренние, скрытые от нас раздражители. Логика здесь та же и тот же ход мысли и доказательства. В таком понимании отчет испытуемого ни в какой степени не является актом самонаблюдения, который якобы примешивает свою ложку дегтя в бочку меда научно-объективного исследования. Никакого самонаблюдения. Испытуемый не ставится вовсе в положение наблюдателя, не помогает экспериментатору наблюдать скрытые от него рефлексы. Испытуемый до конца — и в самом своем отчете — остается объектом опыта, но в самый опыт вносятся последующим опросом некоторые изменения, трансформация — вводится новый раздражитель (новый опрос), новый рефлекс, позволяющий судить о невыясненных частях предыдущего. Весь опыт при этом как бы пропускается через двойной объектив.

В методику психологического исследования необходимо ввести такое пропускание опыта через вторичные реакции сознания. Поведение человека и установление у него новых условных реакций определяются не только выявленными, полными, до конца обнаруженными реакциями, но и не выявленными в своей внешней части, не видимыми простым глазом. Почему можно изучать полные речевые рефлексы, а учитывать мысли-рефлексы, оборванные на двух третях, нельзя, хотя это те же, реально существующие, несомненные реакции?

Если я произнесу вслух, так чтобы слышал экспериментатор, пришедшее мне в свободной ассоциации слово «вечер», это подлежит учету как словесная реакция, условный рефлекс. А если я его произнесу неслышно, про себя, подумаю — разве от того оно перестает быть рефлексом и меняет свою природу? И где грань между произне-

сенным и непроизнесенным словом? Если зашевелились губы, если я издал шепот, но все еще неслышный для экспериментатора,— как тогда? Может он просить меня повторить вслух это слово или это будет субъективный метод, допустимый только на самом себе? Если может (а с этим, вероятно, согласятся почти все), то почему не может просить произнести вслух мысленно произнесенное слово, т. е. без шевеления губ и шепота? Ведь оно все время было и теперь остается речедвигательной реакцией, условным рефлексом, без которого мысли нет. А это и есть уже опрос, высказывание испытуемого, его словесный отчет относительно не выявленных, не уловленных слухом экспериментатора (вот и вся разница между мыслями и речью), но, несомненно, объективно бывших реакций. В том, что они были, действительно со всеми признаками материального бытия, мы можем убедиться многими способами. В разработке этих способов и состоит одна из важнейших задач психологической методики. Психоанализ [9] — один из таких способов.

Но, что самое важное — это то, что они [невыявленные рефлексы.— *Ред.*] сами позаботятся о том, чтобы убедить нас в своем существовании. Они скажутся с такой силой и яркостью в дальнейшем течении реакций, что заставят экспериментатора или учесть их, или отказаться вовсе от изучения такого течения реакций, в которое они врываются. А много ли есть таких примеров поведения, в которые не врывались бы задержанные рефлексы? Итак, или откажемся от изучения поведения человека в его существеннейших формах, или введем в наш опыт обязательный учет этих внутренних движений.

Два примера пояснят эту необходимость. Если я запоминаю что-либо, устанавливаю новый речевой рефлекс, разве безразлично, что я буду в это время думать —просто ли буду про себя повторять заданное слово или устанавливать логическую связь между этим словом и другим? Разве не ясно, что результаты в обоих случаях будут существенно иные?

В свободной ассоциации на слово-раздражитель «гром» я произношу «змея», но прежде еще у меня мелькает мысль: «молния». Разве не ясно, что без учета этой мысли я получу заведомо ложное представление, будто на «гром» реакция была «змея», а не «молния»?

Разумеется, здесь речь идет не о простом перенесении экспериментального самонаблюдения из традиционной психологии в новую. Скорее — о неотложной необходимости разработать новую методику для исследования заторможенных рефлексов. Здесь защищалась только принципиальная необходимость и возможность этого.

Чтобы покончить с вопросами методов, остановимся кратко на той поучительной метаморфозе, которую переживает нынче методика рефлексологического исследования в применении к человеку и о которой рассказал В. П. Протопопов в одной из своих статей.

Первоначально рефлексологами наносилось электрокожное раздражение на стопу; потом оказалось выгоднее выбрать в качестве критерия ответной реакции более совершенный аппарат, более приспособленный к ориентировочным реакциям; нога была заменена рукой (В. П. Протопопов, 1923, с. 22). Но сказавши *а*, приходится сказать и *бэ*. Человек обладает еще неизмеримо более совершенным аппаратом, при помощи которого устанавливается более широкая связь с миром,— речевым аппаратом: остается перейти к реакциям словесным.

Но самое любопытное — это те «некоторые факты», на которые исследователям пришлось натолкнуться в процессе работы. Дело в том, что дифференцировка рефлекса достигалась у человека крайне медленно и туго, и вот оказалось, что, воздействуя на объект соответственно подходящей речью, можно способствовать как торможению, так и возбуждению условных реакций (там же, с. 16). Другими словами, все открытие сводится к тому, что с человеком можно на словах условиться, чтобы он отдергивал руку при известном сигнале, а при известном — не отдергивал! И автору приходится утверждать два положения, важных для нас здесь.

1. «Несомненно, рефлексологические исследования на человеке в будущем должны вестись главным образом с помощью вторичных условных рефлексов» (там же, с. 22). Это означает не что иное, как тот факт, что сознательность врывается даже в опыты рефлексологов и существенно меняет картину поведения. Гони сознание в дверь — оно войдет в окно.

2. Включение в рефлексологическую методику этих приемов исследования сливает ее вполне с давно установленной в экспериментальной психологии методикой исследования реакций и пр. Это отмечает и Протопопов, но считает это совпадение случайным и совпадением лишь внешней стороны. Для нас же ясно, что здесь речь идет о полнейшей капитуляции чисто рефлексологической методики, с успехом применяющейся на собаках, перед проблемами человеческого поведения.

Чрезвычайно существенно, хотя бы в двух словах, показать, что все три сферы психики, на которые распределяла ее эмпирическая психология,— сознание, чувство и воля, если взглянуть на них с точки зрения изложенной здесь гипотезы, тоже легко обнаружат ту же природу присущей им сознательности и окажутся легко примиримыми как с этой гипотезой, так и с вытекающей из нее методикой.

1. Теория эмоций У. Джемса (1905) вполне открывает возможность такого истолкования сознательности чувств. Из трех обычных элементов: *А* — причина чувства, *В* — самое чувство, *С* — телесные его проявления — Джемс делает перестановку в таком виде *А* — *С* — *В*. Не стану напоминать всем известную его аргументацию. Укажу только, что этим вполне вскрывается: а) рефлекторный

характер чувства, чувство как система рефлексов — *А* и *В*; б) вторичный характер сознательности чувства, когда своя же реакция служит раздражителем новой, внутренней реакции — *В* и *С*. Биологическое значение чувства как быстрой оценочной реакции всего организма на его же собственное поведение, как акта заинтересованности всего организма в реакции, как внутреннего организатора всего наличного в данный момент поведения делается тоже понятным. Замечу еще, что вундтовская трехмерность чувства [10] в сущности тоже говорит о таком оценочном характере эмоции, как бы отзвуке всего организма на свою же реакцию. Вот откуда неповторимость, единственность эмоций во всяком отдельном случае их протекания.

2. Акты познания эмпирической психологии тоже обнаруживают свою двойственную природу, поскольку они протекают сознательно. Психология явно различает в них два этажа: акты познания и сознание этих актов.

Особенно любопытны результаты утонченнейшего самонаблюдения вюрцбургской школы, этой чистой «психологии психологов», в указанном направлении. Один из выводов этих исследований устанавливает ненаблюдаемость самого мыслительного акта, который ускользает от восприятия. Самонаблюдение здесь исчерпывает себя. Мы на самом дне сознания. Парадоксальный вывод, который напрашивается сам собой,— некоторая бессознательность актов мысли. Замечаемые при этом, находимые нами в нашем сознании элементы скорее представляют собой суррогаты мысли, нежели ее существо: это всякие обрывки, клочки, пена.

Опытным путем удалось доказать, говорит по этому поводу О. Кюльпе [11] (1916), что наше «я» нельзя отделить от нас. Невозможно мыслить — мыслить, отдаваясь вполне мыслям и погружаясь в них, и в то же время наблюдать эти мысли. Такое разделение психики невозможно довести до конца. Это и означает, что сознание нельзя направить на себя, что оно является вторичным моментом. Нельзя мыслить свою мысль, уловить самый механизм сознательности — именно потому, что он не есть рефлекс, т. е. не может быть объектом переживания, раздражителем нового рефлекса, а есть передаточный механизм между системами рефлексов. Но как только мысль окончена, т. е. замкнулся рефлекс, можно его сознательно наблюдать: «Сначала одно, потом другое»,— как говорит Кюльпе.

М. Б. Кроль по этому поводу в одной из статей (1922) говорит, что новые явления, открытые вюрцбургскими исследованиями в высших процессах сознания, удивительно напоминают павловские условные рефлексы. Самопроизвольность мысли, нахождение ее в готовом виде, сложные чувствования деятельности, поисков и пр. говорят, конечно, об этом. Невозможность ее наблюдения говорит в пользу тех механизмов, которые намечаются здесь.

3. Наконец, воля всего лучше и проще вскрывает такую именно

сущность своей сознательности. Предварительное наличие в сознании двигательных представлений (т. е. вторичных реакций от движения органов) поясняет, в чем здесь дело. Всякое движение первый раз должно совершиться бессознательно. Затем его кинестезия (т. е. вторичная реакция) делается основой его сознательности (Г. Мюнстерберг [12], 1914; Г. Эббингауз, 1912). Сознательность воли и дает иллюзию двух моментов: я подумал, и я сделал. И здесь, действительно, в наличии две реакции, только в обратном порядке: сперва вторичная, потом основная, первая. Иногда процесс осложняется, и учение о волевом акте и его механизме, осложненном мотивами, т. е. столкновением нескольких вторичных реакций, тоже всецело согласуется с развитыми выше мыслями.

Но едва ли не самое важное, что в свете этих мыслей разъясняется развитие сознания с момента рождения, происхождение его из опыта, его вторичность и, следовательно, психологическая обусловленность средой. Бытие определяет сознание — этот закон впервые здесь может, при известной разработке, получить точный психологический смысл и обнаружить самый механизм этой определяемости.

6

У человека легко выделяется одна группа рефлексов, которую правильно было бы назвать обратимыми. Это рефлексы на раздражители, которые, в свою очередь, могут быть созданы человеком. Слово услышанное — раздражитель, слово произнесенное — рефлекс, создающий тот же раздражитель. Здесь рефлекс обратим, потому что раздражитель может становиться реакцией, и наоборот. Эти обратимые рефлексы, создающие основу для социального поведения, служат коллективной координации поведения. Из всей массы раздражителей для меня ясно выделяется одна группа, группа раздражителей социальных, исходящих от людей. Выделяется тем, что я сам могу воссоздать эти же раздражители; тем, что очень рано они делаются для меня обратимыми и, следовательно, иным образом определяют мое поведение, чем все прочие. Они уподобляют меня другим, делают мои акты тождественными с собой. В широком смысле слова, в речи и лежит источник социального поведения и сознания.

Чрезвычайно важно хоть на лету установить здесь ту мысль, что, если это действительно так, значит, механизм социального поведения и механизм сознания один и тот же. Речь и есть система «рефлексов социального контакта» (А. Б. Залкинд, 1924), с одной стороны, а с другой — система рефлексов сознания по преимуществу, т. е. аппарат отражения других систем.

Здесь же лежит корень вопроса о чужом «я», о познании чужой психики. Механизм познания себя (самосознание) и познания дру-

тих один и тот же. Обычные учения о познании чужой психики либо прямо признают ее непознаваемость (А. И. Введенский [13], 1917), либо в тех или других гипотезах стремятся построить правдоподобный механизм, сущность которого и в теории чувствования, и в теории аналогий одна и та же: мы познаем других постольку, поскольку мы познаем себя; познавая чужой гнев, я воспроизвожу свой собственный.

На самом деле было бы правильнее сказать как раз наоборот. Мы сознаем себя, потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только постольку, поскольку я являюсь сам для себя другим, т. е. поскольку я собственные рефлексы могу вновь воспринимать как новые раздражители. Между тем, что я могу повторить вслух сказанное молча слово, и тем, что я могу повторить сказанное другим слово,— по существу нет никакой разницы, как нет принципиального различия и в механизмах: и то, и другое обратимый рефлекс — раздражитель.

Поэтому следствием принятия предлагаемой гипотезы будет непосредственно из нее вытекающее социологизирование всего сознания, признание того, что социальному моменту в сознании принадлежит временное и фактическое первенство. Индивидуальный момент конструируется как производный и вторичный, на основе социального и по точному его образцу. Отсюда двойственность сознания: представление о двойнике — самое близкое к действительности представление о сознании. Это близко к тому расчленению личности на «я» и «оно», которое аналитически вскрывает З. Фрейд. По отношению к «оно» «я» подобно всаднику, говорит он, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, «я» же — силами заимствованными. Это сравнение может быть продолжено. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и «я» превращает обыкновенно волю «оно» в действие, как будто бы это было его собственной волей (З. Фрейд, 1924б).

Прекрасным подтверждением этой мысли о тождестве механизмов сознания и социального контакта и о том, что сознание есть как бы социальный контакт с самим собой, может служить выработка сознательности речи у глухонемых, отчасти развитие осязательных реакций у слепых. Речь у глухонемых обычно не развивается и застывает на стадии рефлекторного крика не потому, что у них поражены центры речи, а потому, что из-за отсутствия слуха парализуется возможность обратимости речевого рефлекса. Речь не возвращается как раздражитель на самого же говорящего. Поэтому она бессознательна и несоциальна. Обычно глухонемые ограничиваются условным языком жестов, который приобщает их к узкому кругу социаль-

ного опыта других глухонемых и развивает у них сознательность благодаря тому, что через глаз эти рефлексы возвращаются на самого немого.

Воспитание глухонемого с психологической стороны в том и заключается, чтобы восстановить или компенсировать нарушенный механизм обратимости рефлексов. Немые научаются говорить, считывая с губ говорящего его произносительные движения, и научаются говорить сами, пользуясь вторичными кинестетическими раздражениями, возникающими при речедвигательных реакциях. Самое замечательное, что сознательность речи и социальный опыт возникают одновременно и совершенно параллельно. Это как бы специально оборудованный природный эксперимент, подтверждающий основной тезис нашей статьи. В отдельной работе я надеюсь показать это яснее и полнее. Глухонемой научается сознавать себя и свои движения в той же мере, в какой он научается сознавать других. Тождество обоих механизмов здесь разительно ясно и почти очевидно.

Теперь мы можем воссоединить те члены формулы человеческого поведения, которые записаны в одном из предыдущих разделов. Исторический и социальный опыт, очевидно, не представляют из себя чего-либо психологически различного, так как они в действительности не могут быть разделены и даны всегда вместе. Соединим их знаком +. Механизм их совершенно тот же, как я стремился показать, что и механизм сознания, потому что и сознание следует рассматривать как частный случай социального опыта. Поэтому обе эти части легко обозначить тем же индексом удвоенного опыта.

7

Мне представляется чрезвычайно важным и существенным в заключение этого очерка указать на то совпадение в выводах, которое существует между развитыми здесь мыслями и тем анализом сознания, который сделан У. Джемсом. Мысли, исходящие из совершенно различных областей, шедшие совершенно разными путями, привели к тому же взгляду, который в умозрительном анализе дан Джемсом. В этом видится мне некоторое частичное подтверждение моих мыслей. Еще в «Психологии» (1911) он заявил, что существование состояний сознания как таковых не есть вполне доказанный факт, но скорее глубоко укоренившийся предрассудок. Именно данные его блестящего самонаблюдения убедили его в этом.

«Всякий раз, как я делаю попытку подметить в моем мышлении,— говорит он,— активность как таковую, я наталкиваюсь непременно на чисто физический акт, на какое-нибудь впечатление, идущее от головы, бровей, горла и носа». И в статье «Существует ли сознание» (1913) он разъяснил, что вся разница между сознанием и миром (между рефлексом на рефлекс и рефлексом на раздражитель) толь-

ко в контексте явлений. В контексте раздражителей — это мир, в контексте моих рефлексов — это сознание. Сознание есть только рефлекс рефлексов.

Таким образом, сознания как определенной категории, как особого способа бытия не оказывается. Оно оказывается очень сложной структурой поведения, в частности удвоения поведения, как это и говорится применительно к труду в словах, взятых эпиграфом. «Что касается меня, то я убежден,— говорит Джемс— что во мне поток мышления... лишь легкомысленное название для того, что при ближайшем рассмотрении оказывается в сущности потоком дыхания. «Я мыслю», которое, по Канту, должно сопровождать все мои объекты, не что иное, как «я дышу», сопровождающее их на самом деле... Мысли... сделаны из той же материи, что и вещи» (1913, с. 126).

В этом очерке только бегло и на лету намечены некоторые мысли самого предварительного характера. Однако мне кажется, что с этого именно и должна начинаться работа по изучению сознания. Наука наша находится сейчас в таком состоянии, что она еще очень далека от заключительной формулы геометрической теоремы, венчающей последний аргумент,— что и требовалось доказать. Нам сейчас еще важно наметить, что же именно требуется доказать, а потом браться за доказательство; сперва составить задачу, а потом решать ее *.

Вот этой формулировке задачи и должен посильно послужить настоящий очерк.

* Настоящая статья была уже в корректуре, когда я ознакомился с некоторыми работами по этому вопросу, принадлежащими психологам-бихевиористам. Проблема сознания ставится и решается этими авторами близко к развитым здесь мыслям, как проблема отношения между реакциями (ср. «вербализованное поведение»).

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ К. КОФФКИ «САМОНАБЛЮДЕНИЕ И МЕТОД ПСИХОЛОГИИ»

Вместо предисловия [1]

Помещая в настоящем сборнике статью К. Коффки «Самонаблюдение и метод психологии», редакция руководствовалась тем соображением, что правильная ориентировка в современных психологических течениях есть необходимое условие для построения системы марксистской психологии. Наука и ее развитие давно вышли из того состояния, когда возможна была относительно независимая замкнутая разработка ее проблем в каждой отдельной стране. Нет большей ошибки в понимании современного кризиса в психологии, как ограничение его пределами и границами русской научной мысли. Так изображают дело представители нашей эмпирической психологии: послушать их — на Западе все незыблемо и спокойно в психологии, как в «минералогии, физике и химии», а у нас марксисты ни с того ни с сего затеяли реформу науки. Еще раз повторяем: нельзя представить в более ложном и извращенном свете истинное положение вещей.

Самое начало русского кризиса ознаменовалось ориентацией на американский воинствующий бихевиоризм. Для начала это было верно. Необходимо было завоевать объективные позиции в психологии и вырваться из плена спиритуалистического и идеалистического субъективизма. Но уже сейчас всем видно, что марксистской психологии *только до известного пункта* идти по пути с американским бихевиоризмом и русской рефлексологией. Возникает необходимость размежеваться с попутчиками, наметить свои пути.

Вчерашние союзники в общей войне против субъективизма и эмпиризма, они, возможно, завтра окажутся нашими врагами — в борьбе за утверждение принципиальных основ социальной психологии общественного человека, за освобождение психологии человека из биологического пленения и за возвращение ей значения самостоятельной науки, а не одной из глав сравнительной психологии. Иначе говоря, как только мы перейдем к построению психологии как науки о поведении социального человека, а не высшего млекопитающего, так сейчас же ясно наметится линия расхождения со вчерашними союзниками.

Борьба углубляется и переходит в новую фазу. Необходимо помнить (для того чтобы руководить ею и рассчитать каждый ход),

что борьба развивается не на фоне идиллического и мирного ландшафта «научного» эмпиризма, а в обстановке напряженнейшей и острейшей научной войны, в которую вовлечено все, что есть живого в психологии. Нынешнее состояние психологической науки меньше всего напоминает пастораль. «На Шипке все спокойно» только для того, кто ничего не видит. В частности, в западной психологии проделана такая разрушительная критическая работа, что тот наивный и благополучный, докритический эмпиризм, который нам преподносят, кажется чем-то допотопным в европейской науке.

«Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои»,— констатировал Н. Н. Ланге, подводя итоги современного состояния психологии (1914, с. 42) Он же говорит все время о кризисе психологии, подобном землетрясению, «моментально разрушающему цветущий с виду город», и сравнивает падение ассоциативной психологии с падением алхимии. Действительно, кризис начался с падения ассоциативной теории; с тех пор твердая почва ушла из-под ног научной психологии, и началось землетрясение. Ныне мы присутствуем при чрезвычайно интересном и показательном *изменении направления* кризиса и главных борющихся сил. Если начало европейского кризиса ознаменовалось усилением идеалистического и субъективного момента (Э. Гуссерль [2], А. Мейнонг, вюрцбургская школа), то теперь кризис принял как раз противоположное направление.

Психология становится (и уже стала) материалистической в самом точном значении этого слова и ее метод — материалистическим, утверждает И. Эвергетов (1924). Если это и не вполне так, то, вне всякого сомнения, это верно указывает направление. Психология идет к тому, чтобы стать материалистической, хотя она еще не раз, может быть, на этом пути завязнет в идеалистическом болоте. Психология явно раскалывается на два направления: одно упирается в бергсонизм, заостряет и выпрямляет линию спиритуализма в психологии, другое явно пробивается к монистическому и материалистическому построению биологической психологии.

Необходимо точно разобраться в той научной борьбе, которая происходит сейчас в западной психологии. Мы намерены опубликовать на русском языке важнейшие принципиальные работы, характеризующие каждое направление, и дать в одном из ближайших сборников обзор современных психологических течений на Западе *. Мы начинаем с наиболее влиятельного и интересного из всех направлений, так называемой гештальтпсихологии, одним из виднейших представителей которой является К. Коффка. Не задаваясь целью в настоящей заметке дать сколько-нибудь подробное изложение и оценку этой теории, мы ограничимся несколькими краткими замечаниями по поводу нее.

* Совершенно прав Эвергетов, когда свой обзор он озаглавил «После эмпиризма».

Гештальтпсихология (теория образа, психология формы, структурная психология, как ее обычно переводят на другие языки) сложилась в течение последних 10 лет. Она давно уже вышла за пределы экспериментального исследования восприятия формы, с чего она начала и что до сих пор составляет главное ее психологическое содержание. Она пытается сделаться общей психологической теорией, как говорится в другой статье Коффки. Она распространяет свои выводы на сравнительную психологию и на психологию ребенка, на социальную психологию и на все пограничные науки и пытается пересоздать их принципиальные основы. Именно в качестве новой психологической доктрины новая теория противопоставляет себя, с одной стороны, эмпирической традиционной психологии (ассоциативной и вюрцбургской), а с другой—бихевиоризму. Именно как новое направление эта теория завоевывает внимание во всех странах: статьи о ней вы найдете во французских, английских, американских, испанских журналах, не говоря о немецких. Уже самая оппозиция гештальтпсихологии эмпиризму и наивному бихевиоризму, самая попытка найти синтетическую точку зрения на поведение и выработать синтетическую методику делают это направление чрезвычайно ценным нашим союзником в *целом ряде вопросов*. Это не значит, что наш союз очень долгий или очень прочный или принципиальный блок. Уже сейчас можно отчетливо наметить целый ряд точек нашего расхождения с этой теорией. Читатель найдет в статье Коффки изложение важнейших и критических, и положительных воззрений этой школы. Мы же отметим точки соприкосновения и расхождение ее с марксистской психологией, оставляя подробный разбор и оценку до другого раза.

1. *Монистический материализм новой системы.* Психика и поведение, «внутреннее и внешнее» (по терминологии В. Келера), феноменальные и телесные реакции (Коффка) не представляют собой две различные, разноприродные области. «Что внутреннее — то и внешнее» (Келер). Новая теория исходит из принципиального тождества законов, строящих «целые» (гештальты) в физике, физиологии, психике. Принимая диалектический принцип перехода количества в качество, новая теория применяет его к объяснению качественного разнообразия переживаний (феноменов). Сознательные процессы более не объявляются единственным предметом исследования; они сами понимаются как части более крупных психофизиологических целых процессов. Здесь «психические явления» эмпирической психологии окончательно утрачивают свое исключительное и изолированное значение. Психика рассматривается как «феноменальная сторона поведения», как его составная часть.

2. *Синтетическая и функциональная методики исследования.* Признавая единство, но не тождество, внутреннего и внешнего в поведении, психологи новой школы одинаково резко отказываются как от анализирующего самонаблюдения, которое само по себе не

может быть методом психологии и никогда не является ее главным методом, так и от наивного объективизма в его крайней форме у Уотсона. Полностью присоединяясь к целому ряду обвинений интроспекции, выдвинутых бихевиоризмом, они признают ошибкой не учитывать вовсе «внутреннюю» сторону поведения (Коффка). Новая методика пытается обосновать функциональный субъективно-объективный метод, который охватил бы дескриптивную (описательно-интроспективную) [3] и функциональную (объективно-реактологическую) точки зрения.

3. *Точки расхождения.* При несомненном нашем совпадении с гештальтпсихологией во многом, касающемся разработки предмета и метода нашей науки, мы не можем закрыть глаза и на точки расхождения, которые существуют между обеими системами и которые будут расти по мере развития обоих течений. Но это нисколько не обесценивает для нас новое течение. Мы вовсе не рассчитываем найти готовую систему марксистской психологии в западной науке. Было бы почти чудом, если бы она там возникла. Но об эти точки расхождения только острится острие новой науки. Мы многому научились в борьбе с эмпиризмом; уясняем сами себе немало, отталкиваясь от наивного бихевиоризма, заострим, вероятно, не одно положение марксистской психологии в споре с гештальттеорией и в ее критике. Критика, видимо, развернется по линии таких вопросов, как попытка новой теории избежать витализма и механицизма; как чрезмерное приближение проблем психики к теоретическим построениям и данным новейшей физики; как отсутствие социальной точки зрения, «интуитивная» теория сознания — и еще, и еще. Но не забудем, что самый факт возникновения на Западе такого течения, как гештальтпсихология, с несомненностью показывает, *что объективные имманентные движущие силы развития психологической науки действуют в том же направлении, что и марксистская реформа психологии.* Чтобы увидеть это, надо только посмотреть на развертывающийся принцип в психологии не через узкое окошко нашего спора с эмпиристами, а в масштабе мировой науки.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ[1]

1. В поведении человека встречается целый ряд искусственных приспособлений, направленных на овладение собственными психическими процессами. Эти приспособления по аналогии с техникой могут быть по справедливости условно названы психологическими орудиями или инструментами (по терминологии Э. Клапареда[2] — внутренняя техника, по Р. Турнвальду — modus operandi).

2. Эта аналогия, как всякая другая, не может быть проведена до самого конца, до полного совпадения всех признаков обоих понятий; поэтому заранее нельзя ожидать, что в этих приспособлениях мы найдем все до одной черты орудия труда. Для своего оправдания аналогия эта может быть верна в основном, центральном, наиболее существенном признаке двух сближаемых понятий. Таким решающим признаком является роль этих приспособлений в поведении, аналогичная роли орудия в труде.

3. Психологические орудия — искусственные образования; по своей природе они суть социальные, а не органические или индивидуальные приспособления; они направлены на овладение процессами — чужого или своего так, как техника направлена на овладение процессами природы.

4. Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т. д.

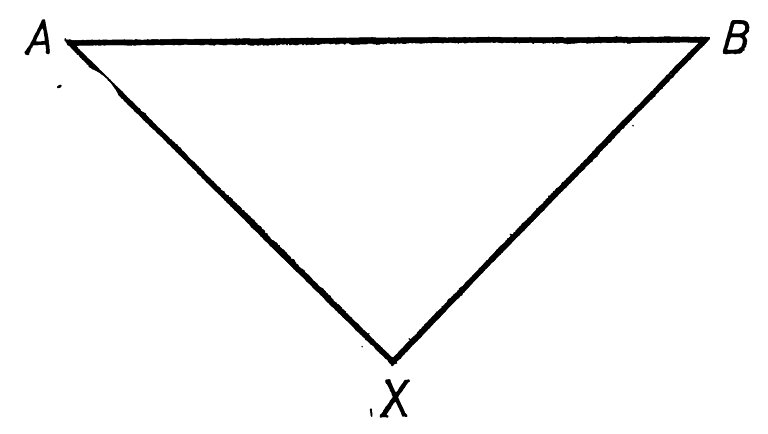
5. Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций.

6. Наряду с естественными (натуральными) актами и процессами поведения следует различать искусственные, или инструментальные, функции и формы поведения. Первые возникли и сложились в особые механизмы в процессе эволюционного развития и общи у человека и высших животных; вторые составляют позднее приобретение человечества, продукт исторического развития и специфически человеческую форму поведения. В этом смысле Т. Рибо[3] называл непроизвольное внимание естественным, а произвольное —

искусственным, видя в нем продукт исторического развития (ср. взгляд П. П. Блонского).

7. Искусственные (инструментальные) акты не следует представлять себе как сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым, особым законам. Искусственные акты суть те же естественные, они могут быть без остатка, до самого конца разложены и сведены к этим последним, как любая машина (или техническое орудие) может быть без остатка разложена на систему естественных сил и процессов.

Искусственной является комбинация (конструкция) и направленность, замещение и использование этих естественных процессов. Отношение инструментальных и естественных процессов может быть пояснено следующей схемой — треугольником.



При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная (условнорефлекторная) связь *A* — *B* между двумя стимулами *A* и *B*; при искусственном мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия *X* (узелок на платке, мнемическая схема) вместо этой прямой связи *A* — *B* устанавливаются две новые: *A* — *X* и *X* — *B*; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным процессом, обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь *A* — *B*; новым, искусственным, инструментальным является факт замещения одной связи *A* — *B* двумя: *A* — *X* и *X* — *B*,— ведущими к тому же результату, но другим путем; новым является искусственное направление, данное посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, т. е. активное использование естественных свойств мозговой ткани.

8. Этой схемой поясняется сущность инструментального метода и своеобразие устанавливаемой им точки зрения на поведение и его развитие. Метод этот не отрицает ни одного естественнонаучного

метода изучения поведения и нигде не пересекается с ним. Можно один раз взглянуть на поведение человека как на сложную систему естественных процессов и стремиться достигнуть законов, управляющих ими, как можно действие любой машины рассматривать в качестве системы физических и химических процессов. Можно другой раз взглянуть на поведение человека с точки зрения использования им своих естественных психических процессов и способов этого использования и стремиться постигнуть, как человек использует естественные свойства своей мозговой ткани и овладевает происходящими в ней процессами.

9. Инструментальный метод выдвигает новую точку зрения на отношение между актом поведения и внешним явлением. Внутри общего отношения стимул — реакция (раздражитель — рефлекс), выдвигаемого естественнонаучными методами в психологии, инструментальный метод различает двоякое отношение, существующее между поведением и внешним явлением: внешнее явление (стимул) может играть в одном случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную стоящую перед личностью задачу (запомнить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо и т. п.), в другом случае — роль средства, при помощи которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи психологические операции (запоминания, сравнения, выбора и т. п.). В обоих случаях психологическая природа отношения между актом поведения и внешним стимулом существенно и принципиально разная, и в обоих случаях стимул совершенно по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обусловливает и организует поведение. В первом случае правильно было бы стимул называть объектом, а во втором — психологическим орудием инструментального акта.

10. Величайшим своеобразием инструментального акта, раскрытие которого лежит в основе инструментального метода, является одновременное наличие в нем стимулов обоего порядка, т. е. сразу объекта и орудия, из которых каждый играет качественно и функционально различную роль. В инструментальном акте, таким образом, между объектом и направленной на него психической операцией вдвигается новый средний член — психологическое орудие, становящееся структурным центром или фокусом, т. е. моментом, функционально определяющим все процессы, образующие инструментальный акт. Всякий акт поведения становится тогда интеллектуальной операцией.

11. Включение орудия в процесс поведения, во-первых, вызывает к деятельности целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия и с управлением им; во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие; в-третьих, видоизменяет протекание и отдельные моменты (интенсивность, длительность, последо-

вательность и т. п.) всех входящих в состав инструментального акта психических процессов, замещает одни функции другими, т. е. пересоздает, перестраивает всю структуру поведения совершенно так же, как техническое орудие пересоздает весь строй трудовых операций. Психические процессы, взятые в целом, образующие некоторое сложное единство, структурное и функциональное, по направленности на разрешение задачи, поставленной объектом, и по согласованности и способу протекания, диктуемому орудием, образуют новое целое — инструментальный акт.

12. Взятый со стороны естественнонаучной психологии, весь состав инструментального акта может быть без остатка сведен к системе стимулов — реакций; природу инструментального акта как целого определяет своеобразие его внутренней структуры, важнейшие моменты которой перечислены выше (стимул — объект и стимул — орудие, пересоздание и комбинирование реакций при помощи орудия). Инструментальный акт для естественнонаучной психологии — это сложное по составу образование (система реакций), синтетическое целое и вместе с тем простейший отрезок поведения, с которым имеет дело исследование, элементарная единица поведения с точки зрения инструментального метода.

13. Существеннейшее отличие психологического орудия от технического — направленность его действия на психику и поведение, в то время как техническое орудие, будучи тоже вдвинуто как средний член между деятельностью человека и внешним объектом, направлено на то, чтобы вызвать те или иные изменения в самом объекте; психологическое орудие ничего не меняет в объекте; оно есть средство воздействия на самого себя (или другого) — на психику, на поведение, а не средство воздействия на объект. В инструментальном акте проявляется, следовательно, активность по отношению к себе, а не к объекту.

14. В своеобразной направленности психологического орудия нет ничего противоречащего самой природе этого понятия, так как в процессе деятельности и труда человек по отношению к данному природой веществу «сам противостоит как сила природы» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 188); в этом процессе, действуя на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет и свою собственную природу и действует на нее — делает себе подвластной работу своих естественных сил. Подчинение себе и этой «силы природы», т. е. своего собственного поведения, есть необходимое условие труда. В инструментальном акте человек овладевает собой извне — через психологические орудия.

15. Само собой разумеется, что тот или иной стимул становится психологическим орудием не в силу его физических свойств, которые используются в техническом орудии (твердость стали и пр.); в инструментальном акте используются психологические свойства внешнего явления, стимул становится психологическим орудием в

силу использования его как средства воздействия на психику и поведение. Поэтому всякое орудие является непременно стимулом: если бы оно не было стимулом, т. е. не обладало способностью воздействия на поведение, оно не могло бы быть и орудием. Но не всякий стимул является орудием.

16. Применение психологических орудий повышает и безмерно расширяет возможности поведения, делая доступными для всех результаты работы гениев (ср. историю математики и других наук).

17. Инструментальный метод по самому существу метод историко-генетический. В исследование поведения он вносит историческую точку зрения: поведение может быть понято только как история поведения (П. П. Блонский). Главными областями исследования, где может быть с успехом применен инструментальный метод, являются: а) область социально-исторической и этнической психологии, изучающей историческое развитие поведения, отдельные его ступени и формы; б) область исследования высших, исторически сложившихся психических функций — высших форм памяти (ср. мнемотехнические исследования), внимания, словесного или математического мышления и т. п.; в) детская и педагогическая психология. Инструментальный метод не имеет ничего общего (кроме названия) с теорией инструментальной логики Дж. Дьюи [4] и других прагматистов.

18. Инструментальный метод изучает ребенка не только развивающегося, но и воспитуемого, видя в этом существенное отличие истории человеческого детеныша. Воспитание же может быть определено как искусственное развитие ребенка. Воспитание есть искусственное овладение естественными процессами развития. Воспитание не только влияет на те или иные процессы развития, но перестраивает самым существенным образом все функции поведения.

19. Если теория естественной одаренности (А. Бине) стремится уловить процесс естественного развития ребенка, не зависящего от школьного опыта и влияний воспитания, т. е. изучает ребенка независимо от того, школьником какой ступени он является, то теория школьной пригодности или одаренности стремится уловить только процесс школьного развития, т. е. изучить школьника на данной ступени независимо от того, каким ребенком он является. Инструментальный метод изучает процесс естественного развития и воспитания как единый сплав, задаваясь целью раскрыть, как перестраиваются все естественные функции данного ребенка на данной ступени воспитания. Инструментальный метод стремится представить историю того, как ребенок в процессе воспитания проделывает то, что человечество проделало в течение длинной истории труда, т. е. «изменяет свою собственную природу ... развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 188—189). Если первая методика изучает ребенка независимо от школьника, вторая — школь-

ника независимо от других его особенностей как ребенка, то третья изучает данного ребенка как школьника.

Развитие многих естественных психических функций в детском возрасте (памяти, внимания) или не наблюдается в сколько-нибудь заметном размере вовсе, или имеет место в столь незначительном объеме, что за его счет никак не может быть отнесена вся огромная разница между соответствующей деятельностью ребенка и взрослого. В процессе развития ребенок вооружается и перевооружается различнейшими орудиями; ребенок старшей ступени отличается от ребенка младшей ступени еще степенью и характером своего вооружения, своим инструментарием, т. е. степенью овладения собственным поведением. Основными эпохами развития являются безъязычный и языковый периоды.

20. Различие в детских типах развития (одаренность, дефективность) в большой степени оказывается связанным с типом и характером инструментального развития. Неумение использовать свои естественные функции и овладение психологическими орудиями существенно определяют весь тип детского развития.

21. Исследование данного состояния и структуры поведения ребенка требует раскрытия его инструментальных актов и учета перестройки естественных функций, входящих в данный акт. Инструментальный метод есть способ исследования поведения и его развития при помощи раскрытия психологических орудий в поведении и создаваемой ими структуры инструментальных актов.

22. Овладение психологическим орудием и при его посредстве собственной естественной психической функцией всякий раз поднимает данную функцию на высшую ступень, увеличивает и расширяет ее деятельность, пересоздает ее структуру и механизм. Естественные психические процессы не устраняются при этом, они вступают в комбинацию с инструментальным актом, но они оказываются функционально зависимыми в своем строении от применяемого инструмента.

23. Инструментальный метод дает принцип и способ психологического изучения ребенка; этот метод может использовать любую методику, т. е. технический прием исследования: эксперимент, наблюдение и т. д.

24. Примерами применения инструментального метода могут служить произведенные автором и по его почину исследования памяти, счета, образования понятий у детей школьного возраста.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ [1]

То, что я собираюсь сейчас сообщить, выросло из нашей общей экспериментальной работы и представляет собой некоторую, еще не завершенную попытку теоретически осмыслить определившееся в целом ряде работ, главным образом по сведению воедино двух линий исследования — генетической и патологической. Таким образом, эту попытку можно рассматривать (не с формальной стороны, а по существу) как попытку выделить новые проблемы, которые у нас возникают в связи с тем, что ряд психологических проблем, до сих пор исследуемых в плане развития функций, стал сопоставляться с теми же проблемами, поставленными в плане распада этих функций, и отобрать то, что может иметь практическое значение для исследований нашей лаборатории.

Так как то, что я собираюсь сообщить, превосходит по сложности систему понятий, с которыми мы оперировали до сих пор, я хочу сначала повторить объяснение, которое большинству из нас знакомо. Когда нас упрекали в том, что мы усложняем некоторые чрезвычайно простые проблемы, мы всегда на это отвечали, что нас надо упрекнуть скорее в другом: мы чрезвычайно упрощенно объясняем проблему исключительной сложности. И сейчас вы увидите попытку подойти к ряду явлений, которые мы трактуем как более или менее понятные или примитивные, чтобы приблизиться к пониманию их большей сложности, чем она открывалась прежде.

Я хотел бы напомнить, что это движение ко все более и более сложному пониманию изучаемых нами проблем не случайно, а заключено в определенном пункте нашего исследования. Как вы знаете, основная точка зрения на высшие функции, которые мы изучаем, заключается в том, что мы ставим эти функции в иное отношение к личности, чем примитивные психологические функции. Когда мы говорим, что человек овладевает своим поведением, направляет его, мы привлекаем к объяснению простых вещей (произвольное внимание или логическая память) такие более сложные явления, как личность. Нас упрекали в том, что мы упускаем понятие личности, присутствующее в каждом объяснении психологических функций, с которыми мы имеем дело. Это на самом деле так. И так строятся решительно все научные исследования, которые, по прекрасному выражению Гёте [2], проблему делают постулатом, т. е. исходят из того, что формулируют наперед гипотезу, которая, однако, подлежит разрешению и проверке в процессе экспериментального исследования.

Я хотел бы напомнить, что, как бы примитивно и просто мы ни толковали высшие психологические функции, мы все-таки прибегали к некоторому более сложному, более цельному понятию личности, из отношения к которой и пытались объяснить такие относительно простые функции, как произвольное внимание или логическая память. Отсюда понятно, что по мере продвижения работы нам приходилось заполнять этот пробел, оправдывать гипотезу, превращать ее постепенно в экспериментально проверенное знание и отбирать из наших исследований такие моменты, которые заполняют пробел между генетически постулируемой личностью, стоящей в особом отношении к этим функциям, и относительно простым механизмом, предполагаемым в нашем объяснении.

Еще в прежних исследованиях мы наталкивались на тему, о которой я собираюсь говорить. Свой доклад я назвал докладом о психологических системах, имея в виду те сложные связи, которые возникают между отдельными функциями в процессе развития и которые распадаются или претерпевают патологические изменения в процессе распада.

Изучая развитие мышления и речи в детском возрасте, мы видели: процесс развития этих функций заключается не в том, что внутри каждой функции происходит изменение, но главным образом в том, что изменяется первоначальная связь между этими функциями, которая характерна для филогенеза в его зоологическом плане и для развития ребенка в самом раннем возрасте. Эта связь и это отношение не остаются теми же самыми в дальнейшем развитии ребенка. Поэтому одна из основных идей в области развития мышления и речи та, что нет постоянной формулы, которая определяла бы отношение мышления и речи и была годна для всех ступеней развития и форм распада, но на каждой ступени развития и в каждой форме распада мы имеем их своеобразные изменяющиеся отношения. Этому именно и посвящено мое сообщение. Основная его идея (она чрезвычайно проста) заключается в том, что в процессе развития, и в частности исторического развития поведения, изменяются не столько функции, как мы это раньше изучали (это была наша ошибка), не столько их структура, не столько система их движения, сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между собой, возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени. Поэтому существенным различием при переходе от одной ступени к другой является часто не внутрифункциональное изменение, а межфункциональные изменения, изменения межфункциональных связей, межфункциональной структуры.

Возникновение таких новых подвижных отношений, в которые ставятся функции друг к другу, мы будем называть *психологической системой*, вкладывая сюда все то содержание, которое обыкновенно вкладывается в это, к сожалению, слишком широкое понятие.

Два слова относительно того, как я буду располагать материал.

Что ход исследования и ход изложения часто противоположны друг другу, общеизвестно. Мне проще было бы теоретически охватить весь материал и не говорить об исследованиях, проведенных в лаборатории. Но я не могу этого сделать: у меня нет еще общего теоретического взгляда, который этот материал охватывал бы, а преждевременное теоретизирование я считал бы ошибкой. Я просто изложу вам в систематическом виде известную лестницу фактов, идущих снизу вверх. Сознаюсь заранее, что я не умею еще охватить всю лестницу фактов действительным теоретическим пониманием, расставить в логическом отношении друг к другу факты и связи между ними. Пройдя снизу вверх, я хочу лишь показать весь накопленный громадный материал, часто встречаемый у других авторов, показать его в связи с теми проблемами, для решения которых этот материал играет первостепенную роль, привлекая, в частности, проблему афазии и шизофрении в патологии и проблему переходного возраста в генетической психологии. Теоретические соображения я позволю себе излагать попутно; мне кажется, что на сегодняшний день мы только это и можем дать.

1

Позвольте начать с самых простых функций — отношений сенсорных и моторных процессов. Проблема этих отношений в современной психологии ставится совершенно не так, как она ставилась прежде. Если для старой психологии было проблемой, какого рода ассоциации между ними возникают, то для современной психологии проблема ставится обратно: как возникает размерение * между ними. И теоретические соображения, и экспериментальный путь показывают, что сенсомоторика представляет собой единое психофизиологическое целое. Этот взгляд особенно защищают гештальтпсихологи (К. Гольдштейн [3] с неврологической точки зрения, В. Келер, К. Коффка и др.— с точки зрения психологии). Не могу приводить все соображения, которые приводятся в пользу этого взгляда. Скажу только, что, действительно, внимательно изучая экспериментальные исследования, посвященные этому вопросу, мы видим, до какой степени моторные и сенсорные процессы представляют единое целое. Так, моторное решение задачи у обезьяны не что иное, как динамическое продолжение тех же процессов, той же самой структуры, которая замыкается в сенсорном поле. Вы знаете убедительную попытку Келера (1930) и других доказать, в противоположность мнению К. Бюлера, что обезьяны решают задачу не в интеллектуальном, но в сенсорном поле, и это подтверждается в опытах Э. Иенша [4], который показал, что у эйдетиков движение орудия к цели

* В стенограмме так.— *Примеч. ред.*

совершается в сенсорном поле. Следовательно, сенсорное поле не представляет собой чего-то закрепленного и в сенсорном поле может происходить полное решение задачи.

Если вы обратите внимание на этот процесс, то идея сенсомоторного единства встречает полное подтверждение до тех пор, пока мы остаемся при зоологическом материале, или когда имеем дело с ребенком раннего возраста или со взрослыми, у которых эти процессы наиболее близки к аффективным. Но когда мы пойдем дальше, наступает разительное изменение. Единство сенсомоторных процессов, связь, при которой моторный процесс является динамическим продолжением замкнувшейся в сенсорном поле структуры, разрушается: моторика получает относительно самостоятельный характер по отношению к сенсорным процессам, и сенсорные процессы обособляются от непосредственных моторных импульсов; между ними возникают более сложные отношения. И опыты А. Р. Лурия с сопряженной моторикой (1928) предстают в свете этих соображений с новой стороны. Наиболее интересно, что, когда процесс снова возвращается к аффективной форме, восстанавливается непосредственная связь моторных и сенсорных импульсов. Когда человек не отдает себе отчета в том, что он делает, и действует под влиянием аффективной реакции, вы снова можете по его моторике прочитать его внутреннее состояние, характер его восприятия. Вы снова наблюдаете возвращение к той структуре, которая характерна для ранних стадий развития.

Если экспериментатор, ведущий опыт с обезьяной, станет спиной к ситуации и лицом к обезьяне и не будет видеть того, что видит обезьяна, а будет видеть только ее действия, он сумеет по ним прочитать то, что видит подопытное животное. Это именно то, что Лурия называет сопряженной моторикой. По характеру движений можно как бы прочитать кривую внутренних реакций. Это характерно для ранних ступеней развития. Непосредственная связь моторных и сенсорных процессов у ребенка очень часто распадается. И пока (не говоря о дальнейшем) мы можем установить: моторные и сенсорные процессы, воспринятые в психологическом плане, приобретают относительную независимость друг от друга, относительную в том смысле, что того единства, той непосредственной связи, которая характерна для первой ступени развития, уже не существует. Результаты исследования низших и высших форм моторики у близнецов (в плане отделения наследственных факторов и факторов культурного развития) приводят к выводу, что и в дифференциально психологическом отношении характерным для моторики взрослого, очевидно, является не его первоначальная конституция, но те новые связи, новые отношения, в которых моторика стоит по отношению к остальным областям личности, к остальным функциям.

Продолжая эту мысль, я хочу остановиться на восприятии.

У ребенка восприятие до некоторой степени приобретает самостоятельность. Ребенок может в отличие от животного некоторое время созерцать ситуацию и, зная, чтó надо делать, не действовать непосредственно. Мы не будем останавливаться на том, *как* это происходит, а проследим, *что* происходит с восприятием. Мы видели, что восприятие развивается по тому же типу, как мышление и произвольное внимание. Что происходит здесь? Как мы говорили, происходит некоторый процесс «вращивания» приемов, с помощью которых ребенок, воспринимающий предмет, сравнивает его с другим предметом и т. д. Это исследование завело нас в тупик, и другие исследования показали с полной ясностью: дальнейшее развитие восприятия заключается в том, что оно вступает в сложный синтез с другими функциями, в частности с речевой. Этот синтез настолько сложен, что у каждого из нас, кроме как в патологических случаях, невозможно выделить все первичные закономерности восприятия. Я приведу простейший пример. Когда мы исследуем восприятие картины, как это сделал В. Штерн [6], мы видим, что, передавая содержание картины, ребенок называет отдельные предметы, а играя в то, что изображено на картине, он изображает целое всей картины, не касаясь отдельных частей. В опытах Коса, где в более или менее чистом виде исследуется восприятие, ребенок, и особенно глухонемой, строит фигуры совершенно по структурному типу, воспроизводит соответствующий рисунок, цветовое пятно; но как только в обозначение этих кубиков вмешивается речь, мы получаем вначале разорванное, без структуры соединение: ребенок кладет кубики рядом, не включая в структурное целое.

Чтобы вызвать в нас чистое восприятие, нас надо поставить в известные искусственные условия — и это наиболее трудная методическая задача в экспериментах со взрослыми. Если в опыте, где надо дать испытуемому бессмысленную фигуру, вы предлагаете ему не только предмет, но и геометрическую фигуру, то здесь к восприятию присоединяется знание (например, что это треугольник). И чтобы, как говорит Келер, представить не вещь, а «материал для ви́дения», нам надо предъявить сложное, запутанное и бессмысленное сочетание вещей или же показать объект с такой максимальной скоростью, чтобы от него осталось только зрительное впечатление. В иных условиях мы не можем вернуться к такому непосредственному восприятию.

При афазии, глубоких формах распада интеллектуальных функций, в частности восприятия (особенно это наблюдал О. Петцль), мы имеем некоторое возвращение к этому выделению восприятия из того комплекса, в котором оно протекает у нас. Я не могу проще и короче сказать это, чем указав, что восприятие современного человека, в сущности говоря, стало частью наглядного мышления, потому что одновременно с тем, как я воспринимаю, я вижу, какой предмет воспринимаю. Знание предмета дается одновременно с вос-

приятием, и вы знаете, какие нужны усилия в лаборатории, чтобы отделить одно от другого! Восприятие, отделившись от моторики, продолжает развиваться не внутрифункционально: развитие идет главным образом за счет того, что восприятие становится в новые отношения с другими функциями, вступает в сложные сочетания с новыми функциями и начинает действовать с ними в единстве как некоторая новая система, разделить которую довольно трудно и распад которой мы можем наблюдать только в патологии.

Если пойдем несколько дальше, то увидим, что первоначальная связь, характерная для соотношения функций, распадается, и возникает новая связь. Это общее явление, с которым мы имеем дело каждый раз и которого мы не замечаем, потому что не обращаем на него внимания. Это наблюдается в самой простой нашей экспериментальной практике. Приведу два примера.

Первый — со всяким решительно опосредованным процессом, например запоминанием слов с помощью картинок. Уже тут мы наталкиваемся на перемещение функций. Ребенок, который запоминает с помощью картинок ряд слов, опирается не только на память, но и на воображение, умение найти сходство или различие. Процесс запоминания, таким образом, зависит не от естественных факторов памяти, а от ряда новых функций, которые выступают на место непосредственного запоминания. И в работе А. Н. Леонтьева [6] (1931), и в работе Л. В. Занкова [7]* было показано, что развитие общих факторов запоминания идет по разным кривым. Мы имеем перестройку естественных функций, замещение их и появление сложного сплава мышления и памяти, который получил эмпирическое назначение логической памяти.

Замечателен следующий факт, на который обратили мое внимание эксперименты Занкова. Оказалось, что мышление при опосредованном запоминании выступает на первый план, и люди в генетическом и дифференциальном отношениях вступают в ряд не по свойствам памяти, а по свойствам логической памяти. Это мышление глубоко отличается от мышления в собственном смысле слова. Когда вы предлагаете взрослому человеку запомнить ряд в 50 слов по данным карточкам, он прибегает к установлению мысленных отношений между знаком, карточкой и тем, что он запоминает. Это мышление совершенно не соответствует действительному мышлению человека, оно нелепо, человек не интересуется, верно или неверно, правдоподобно или нет то, что он запоминает. Каждый из нас, запоминая, никогда не мыслит так, как он мыслит, решая задачу. Все основные критерии, факторы, связи, характерные для мышления как такового, в мышлении, направленном на запоминание, совершенно искажаются. Теоретически мы должны были бы наперед

* Упоминаемые Л. С. Выготским материалы Л. В. Занкова были опубликованы позже (см: Л. В. Занков, 1949). — *Примеч. ред.*

сказать, что все функции мышления при запоминании изменяются. Было бы нелепо, если бы мы придерживались здесь всех связей и структур мышления, нужных, когда оно служит для решения практических или теоретических задач. Повторяю, не только память изменяется, когда она вступает, если можно сказать, в брак с мышлением, но мышление, изменяя свои функции, не является тем мышлением, которое мы знаем тогда, когда изучаем логические операции; здесь изменяются все структурные связи, все отношения, и перед нами в этом процессе замещения функций образование новой системы, о которой я говорил прежде.

Если мы поднимемся на шаг выше и обратим внимание на результаты других исследований, мы увидим еще одну закономерность в образовании новых психологических систем: она введет нас в курс дела и осветит центральный вопрос сегодняшнего моего доклада — об отношении этих новых систем в мозгу, об их отношении к физиологическому субстрату.

Изучая процессы высших функций у детей, мы пришли к следующему потрясшему нас выводу: всякая высшая форма поведения появляется в своем развитии на сцене дважды — сперва как коллективная форма поведения, как функция интерпсихологическая, затем как функция интрапсихологическая, как известный способ поведения. Мы не замечаем этого факта только потому, что он слишком повседневен и мы к нему поэтому слепы. Ярчайший пример — речь. Речь первоначально — средство связи между ребенком и окружающими, но когда ребенок начинает говорить про себя, это можно рассматривать как перенесение коллективной формы поведения в практику личного поведения.

По прекрасной формуле одного из психологов, речь не только средство понимания других, но и средство понимания себя.

Если мы обратимся к современным экспериментальным работам, то впервые Ж. Пиаже[8] высказал и подтвердил то положение, что мышление у детей дошкольного возраста появляется не раньше, чем в их коллективе появится спор. Прежде чем дети не сумеют поспорить и привести аргументы, у них нет никакого мышления. Опуская ряд факторов, я приведу один вывод, который дают эти авторы и который я несколько видоизменяю на свой лад. Мышление, особенно в дошкольном возрасте, появляется как перенесение ситуации спора внутрь, обсуждение в самом себе. В исследовании детской игры К. Грооса [9] (1906), показано, как функция детского коллектива по управлению поведением, подчинению его правилам игры влияет и на развитие внимания.

Но вот что представляет для нас чрезвычайный интерес: следовательно, первоначально всякая высшая функция была разделена между двумя людьми, была взаимным психологическим процессом. Один процесс происходил в моем мозгу, другой — в мозгу того, с кем я спорю: «Это место мое».— «Нет, мое». — «Я его занял раньше».

Система мышления здесь разделена между двумя детьми. То же самое и в диалоге: я говорю — вы меня понимаете. Лишь позднее я начинаю говорить сам для себя. Ребенок дошкольного возраста заполняет целые часы речью для себя. У него возникают новые связи, новые отношения между функциями, такие, которые в первоначальных связях его функций не были даны.

Особое, центральное значение это имеет для овладения собственным поведением. Изучение генезиса этих процессов показывает, что всякий волевой процесс первоначально процесс социальный, коллективный, интерпсихологический. Это связано с тем, что ребенок овладевает вниманием других или, наоборот, начинает по отношению к себе применять те средства и формы поведения, которые являлись первоначально коллективными. Мать обращает внимание ребенка на что-нибудь; ребенок, следуя указаниям, обращает свое внимание на то, что она показывает; здесь мы всегда имеем две разведенные функции. Затем ребенок сам начинает обращать свое внимание, сам по отношению к себе выступает в роли матери, у него возникает сложная система функций, которые первоначально разделены. Один человек приказывает, а другой выполняет. Человек сам себе приказывает и сам выполняет.

Экспериментально мне удалось получить у девочки, которую я наблюдаю, аналогичные явления. Из житейских наблюдений они известны всякому. Ребенок сам начинает командовать себе: «Раз, два, три»,— как раньше командовали взрослые, и вслед за этим сам выполняет свою команду. В процессе психологического развития возникает, следовательно, объединение таких функций, которые первоначально были у двух людей. Социальное происхождение высших психических функций — очень важный факт.

Замечательно и то, что знаки, значение которых в истории культурного развития человека нам кажется таким большим (как показывает история их развития), первоначально являются средствами связи, средствами воздействия на других. Всякий знак, если взять его реальное происхождение, есть средство связи, и мы могли бы сказать шире — средство связи известных психических функций социального характера. Перенесенный на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе, и мы сумеем показать, что без этого знака мозг и первоначальные связи не могут стать в те сложные отношения, в которые они становятся благодаря речи.

Следовательно, средства социальных связей и есть основные средства для образования тех сложных психологических связей, которые возникают, когда эти функции становятся индивидуальными функциями, способом поведения самого человека.

Если мы поднимемся еще на одну ступень, то увидим еще один интересный случай образования таких связей. Мы обычно наблюдаем их у ребенка, чаще всего в игровых процессах (опыты Н. Г. Мо-

розовой)[10], когда ребенок изменяет значение предмета. Я постараюсь пояснить это на филогенетическом примере.

Если вы возьмете книгу о примитивном человеке, вы натолкнетесь на примеры следующего рода. Своеобразие мышления примитивного человека часто заключается не в том, что у него недостаточно развиты функции, которые у нас есть, или отсутствует какая-либо функция, а вы имеете другую, с нашей точки зрения, расстановку этих функций. Один из ярких примеров — наблюдения Л. Леви-Брюля[11] (1930) относительно кафра, которому миссионер предложил послать сына в миссионерскую школу. Ситуация для кафра чрезвычайно сложная и трудная, и, не желая отклонить это предложение прямо, он говорит: «Я об этом увижу во сне». Леви-Брюль совершенно правильно замечает, что перед нами такая ситуация, когда каждый из нас ответил бы: «Я подумаю». Кафр же говорит: «Я об этом увижу во сне». У него сон выполняет ту же функцию, которую выполняет у нас мышление. На этом примере стоит остановиться, потому что законы сновидения сами по себе, по-видимому, одинаковы у кафра и у нас.

Нет оснований предполагать, что человеческий мозг с биологической стороны претерпел в продолжение человеческой истории существенную эволюцию. Нет оснований предполагать, что мозг примитивного человека отличался от нашего мозга и был неполноценным мозгом, имел иную биологическую структуру, чем у нас. Все биологические исследования приводят к мысли, что самый примитивный человек, которого мы знаем, заслуживает в биологическом отношении полного титула человека. Биологическая эволюция человека была закончена до начала его исторического развития. И грубым смешением понятий биологической эволюции и исторического развития была бы попытка объяснить различие между нашим мышлением и мышлением примитивного человека тем, что примитивный человек стоит на другой ступени биологического развития. Законы сна одинаковы, но роль, которую выполняет сон, совершенно различна, и мы увидим, что не только, скажем, у кафра и у нас есть такое различие, но и римлянин, хотя и не говорил в трудной ситуации: «Я увижу об этом во сне»,— потому что стоял на другой ступени человеческого развития и решал дела, по выражению Тацита[12], «оружием и разумом, а не сновидением, как женщина», но и этот римлянин верил в сны; сон был для него знаком,оменом; римлянин не начинал дела, если видел плохой сон, относящийся к этому делу,— у римлянина сон вступал в другую структурную связь с остальными функциями.

Если вы возьмете даже фрейдовского невротика, вы опять получите новое отношение к снам. И чрезвычайно интересно замечание одного из критиков Фрейда, что то открытое Фрейдом отношение сновидения к сексуальным желаниям, которое характерно для невротика, характерно именно для невротика «здесь и теперь». У нев-

ротика сновидение обслуживает его сексуальные желания, но это не общий закон. Это вопрос, который подлежит дальнейшему исследованию.

Если вы перенесете это еще дальше, то увидите, что сновидения вступают в совершенно новые отношения с рядом функций. Это же наблюдается и в отношении целого ряда других процессов. Мы видим, что вначале мышление является, по выражению Спинозы, слугой страстей, а человек, имеющий разум, является господином страстей.

Приведенный пример со сном кафра имеет гораздо более широкое значение, чем просто случай сновидения; он приложим к построению целых сложных психологических систем.

Я хотел бы обратить ваше внимание на один существенный вывод. Замечательно, что у кафра новая система поведения возникает из известных идеологических представлений, из того, что Леви-Брюль и другие французские социологи и психологи называют коллективными представлениями в отношении сна. Не кафр сам по себе, давший этот ответ, создал такую систему, это представление о сне — часть идеологии того племени, к которому принадлежит кафр. Такое отношение ко сну характерно для них, так они решают сложные вопросы войны, мира и т. д. Здесь перед нами психологический механизм, непосредственно возникший из известной идеологической системы, идеологического значения, придаваемого той или иной функции. В целом ряде интересных американских исследований, посвященных полупримитивным народам, мы видим, что по мере того как они начинают приобщаться к европейской цивилизации и получать предметы европейского обихода, они начинают интересоваться ими и ценить те возможности, которые с ними возникают. Эти исследования показывают, что примитивные люди первоначально отрицательно относились к чтению книг. После того как они получили несколько простейших сельскохозяйственных орудий и увидели связь между чтением книги и практикой, они по-другому стали оценивать занятия белых людей.

Переоценка мышления и сновидения имеет источник не индивидуальный, а социальный, но нас сейчас это интересует и с другой стороны. Мы видим, как здесь появляется новое представление о сновидении, почерпнутое человеком из той социальной среды, в которой он живет, создается новая форма внутрииндивидуального поведения в такой системе, как сон кафра.

Нужно отметить, с одной стороны, связь некоторых новых систем не только с социальными знаками, но и с идеологией и тем значением, которое в сознании людей приобретает та или иная психическая функция; с другой — процесс возникновения новых форм поведения из нового содержания, почерпнутого человеком из идеологии окружающей его среды. Вот два момента, которые нам нужны для дальнейших выводов.

2

Если мы сделаем еще один шаг выше по пути изучения тех сложных систем и отношений, которые неизвестны на ранних ступенях развития и возникают относительно позднее, мы придем к очень сложной системе изменения связей и возникновения новых, которые совершаются на подступах к развитию и формированию нового человека в переходном возрасте. До сих пор недостаток наших исследований заключался в том, что мы ограничивались ранним детским возрастом и мало интересовались подростками. Когда я был поставлен перед необходимостью изучить психологию переходного возраста с точки зрения наших исследований, я был поражен тем, до какой степени на этой ступени в отличие от детского возраста *. Суть психологического развития заключается здесь не в дальнейшем росте, а в изменении связей.

Чрезвычайное затруднение в психологии переходного возраста вызвало исследование мышления подростка. В самом деле, подросток 14—16 лет мало изменяет свою речь в смысле появления принципиально новых форм по сравнению с тем, чем располагает ребенок 12 лет. Вы не замечаете того, что могло бы объяснить вам происходящее в мышлении подростка. Так, память, внимание в переходном возрасте едва ли дадут что-нибудь новое по отношению к школьному возрасту. Но если вы возьмете, в частности, материал, обработанный А. Н. Леонтьевым (1931), то увидите, что для подросткового возраста характерен переход этих функций внутрь. То, что у школьника внешнее в области логической памяти, произвольного внимания, мышления, становится внутренним у подростка. Исследования подтверждают, что здесь появляется новая сторона. Мы видим, что переход внутрь совершается потому, что эти внешние операции вступают в сложный сплав и синтез с целым рядом внутренних процессов. Процесс в силу своей внутренней логики не может оставаться внешним, его отношение ко всем другим функциям стало другим, образовалась новая система, она укрепилась, стала внутренней.

Приведу самый простой пример. Память и мышление в переходном возрасте. Вы замечаете здесь следующую (я чуть-чуть упрощаю) интересную перестановку. Вы знаете, какую колоссальную роль в мышлении ребенка до переходного возраста играет память. Мыслить для него — в значительной степени значит опираться на память. Ш. Бюлер [13], немецкая исследовательница, специально изучала мышление у детей, когда они решают ту или иную задачу, и показала, что для детей, у которых память достигает высшего развития, мыслить — значит вспоминать конкретные случаи. Вы помните классический бессмертный пример А. Бине, его опыты

* В стенограмме так.— *Примеч. ред.*

над двумя девочками. Когда он спрашивает, что такое омнибус, то получает ответ: «Такая конка с мягкими сидениями, садится много дам, кондуктор делает «динь» и т. д.

Возьмите переходный возраст. Вы увидите, что вспоминать для подростка — значит мыслить. Если мышление ребенка допереходного возраста опиралось на память и мыслить — значило вспоминать, то для подростка память опирается главным образом на мышление: вспоминать — это прежде всего разыскивать в известной логической последовательности то, что нужно. Эту перестановку функций, изменение их отношений, ведущую роль мышления во всех решительно функциях, в результате чего мышление не оказывается одной функцией из ряда других, а функцией, которая перестраивает и изменяет другие психологические процессы, мы наблюдаем в переходном возрасте.

3

Сохраняя тот же порядок изложения и следуя от нижележащих психологических систем к образованию все более высокого порядка, мы приходим к системам, которые являются ключом ко всем процессам развития и процессам распада, это образование понятия — функция, впервые полностью созревающая и определяющаяся в переходном возрасте.

Изложить сейчас сколько-нибудь цельно учение о психологическом развитии понятия невозможно, и я должен сказать, что понятие в психологическом исследовании представляется (и это конечный результат нашего изучения) психологической системой такого же рода, как и те, о которых я говорил.

До сих пор эмпирическая психология пыталась в основу функции образования понятия положить ту или иную частную функцию — абстракцию, внимание, выделение признаков памяти, обработку известных образов — и исходила при этом из того логического представления, что всякая высшая функция имеет свой аналог, свое представительство в низшем плане: память и логическая память, непосредственное и произвольное внимание. Понятие рассматривалось как модифицированный, переработанный, освобожденный от всех лишних частей образ, какое-то отшлифованное представление. Механизм понятий Ф. Гальтон [14] сравнивал с коллективной фотографией, когда снимают на одной пластинке целый ряд лиц — сходные черты подчеркиваются, случайные затушевывают друг друга.

Для формальной логики понятие есть совокупность признаков, выделенных из ряда и подчеркнутых в их совпадающих моментах. Например, если мы возьмем самые простые понятия: Наполеон, француз, европеец, человек, животное, существо и т. п.,— мы получим ряд понятий все более и более общих, но все более и более

бедных по количеству конкретных признаков. Понятие «Наполеон» бесконечно богато конкретным содержанием. Понятие «француз» уже гораздо более бедно: не все то, что относится к Наполеону, относится к французу. Понятие «человек» еще беднее. И т. д. Формальная логика рассматривала понятие как совокупность признаков отдаленного от группы предмета, совокупность общих признаков. Отсюда понятие возникало в результате омертвления наших знаний о предмете. Диалектическая логика показала, что понятие не является такой формальной схемой, совокупностью признаков, отвлеченных от предмета, оно дает гораздо более богатое и полное знание предмета.

Целый ряд психологических исследований, в частности наши, приводит нас к совершенно новой постановке проблемы об образовании понятия в психологии. Вопрос о том, каким же образом понятие, становясь все более общим, т. е. относясь ко все большему количеству предметов, становится богаче по содержанию, а не беднее, как думает формальная логика,— этот вопрос получает неожиданный ответ в исследованиях и находит подтверждение в анализе развития понятий в их генетическом разрезе по сравнению с более примитивными формами нашего мышления. Исследования показали, что когда испытуемый решает задачу на образование новых понятий, то сущность процесса, происходящего при этом, заключается в установлении связей; когда испытуемый подыскивает к предмету ряд других предметов, он ищет связи между этим предметом и другими. Он не отодвигает, как в коллективной фотографии, на задний план ряд признаков, а наоборот, всякая попытка решить задачу заключается в образовании связей, и наше знание о предмете обогащается оттого, что мы изучаем его в связи с другими предметами.

Приведу пример. Сравним непосредственный образ какой-нибудь девятки, например фигуры в картах, и цифры 9. Карточная девятка богаче и конкретнее, чем наше понятие «9», но понятие «9» содержит в себе целый ряд таких суждений, которых нет в карточной девятке; «9» не делится на четные цифры, делится на 3, оно есть 3^2, основание квадрата 81; мы связываем «9» с целым числовым рядом и т. д. Отсюда понятно, что если процесс образования понятия с психологической стороны заключается в открытии связей данного предмета с рядом других, в нахождении реального целого, то в развитом понятии мы находим всю совокупность его отношений, если можно так сказать, его место в мире. «9» — это определенный пункт во всей теории чисел с возможностью бесконечного движения и бесконечного сочетания, всегда подчиненных общему закону. Два момента обращают наше внимание: во-первых, понятие заключается не в коллективной фотографии, не в том, что стираются индивидуальные черты предмета, а в том, что предмет познается в его отношениях, в его связях, и, во-вторых, предмет

в понятии не есть модифицированный образ, а есть, как показывают современные психологические исследования, предрасположение к целому ряду суждений. «Когда мне говорят «млекопитающее»,— спрашивает один из психологов,— чему психологически это соответствует?» Это соответствует возможности развернуть мысль и в конечном счете — мировоззрению, потому что найти место млекопитающего в животном мире, место животного мира в природе — это целое мировоззрение.

Мы видим, что понятием является система суждений, приведенных в известную закономерную связь: когда мы оперируем каждым отдельным понятием, вся суть в том, что мы оперируем системой в целом.

Ж. Пиаже (1932) давал детям 10—12 лет задачи на совмещение двух признаков одновременно — животное имеет длинные уши и короткий хвост или короткие уши и короткий хвост. Ребенок решает задачи, имея в поле внимания только один признак. Оперировать понятием как системой он не может; он овладевает всеми признаками, входящими в понятие, но всеми — порознь, он не владеет тем синтезом, при котором понятие действует как единая система. В этом смысле замечательным мне кажется замечание о Гегеле [15] В. И. Ленина, когда он говорит, что простейший факт обобщения заключает в себе еще не осознанную уверенность в закономерности внешнего мира. Когда мы совершаем простейшее обобщение, мы сознаем вещи не как существующие сами по себе, а в закономерной связи, подчиненные известному закону (Полн. собр. соч., т. 29, с. 160—161). Невозможно сейчас изложить бесконечно увлекательную и центральную по значению проблему современной психологии об образовании понятия.

Только в переходном возрасте совершается окончательное оформление этой функции, и ребенок переходит к мышлению в понятиях от другой системы мышления, от связей комплексных. Спросим себя: чем отличается комплекс ребенка? Прежде всего, система комплекса есть система приведенных в порядок конкретных связей и отношений к предмету, главным образом опирающихся на память. Понятие есть система суждений, которая содержит в себе отношение ко всей более широкой системе. Переходный возраст — это возраст оформления мировоззрения и личности, возникновения самосознания и связных представлений о мире. Основой для этого является мышление в понятиях, и для нас весь опыт современного культурного человечества, внешний мир, внешняя действительность и наша внутренняя действительность представлены в известной системе понятий. В понятии мы находим то единство формы и содержания, о котором я говорил выше.

Мыслить понятиями — значит обладать известной готовой системой, известной формой мышления, еще вовсе не предопределяющей дальнейшего содержания, к которому мы придем. А. Бергсон [16]

мыслит в понятиях так же, как и материалист, оба они обладают той же самой формой мышления, хотя приходят к диаметрально противоположным выводам.

Именно в переходном возрасте и происходит окончательное образование всех систем. Это станет яснее, когда мы перейдем к тому, что для психолога может в известном смысле являться ключом к переходному возрасту, к психологии шизофрении.

Э. Буземан в психологии переходного возраста ввел очень интересное различие. Оно касается трех видов связей, существующих между психологическими функциями. Первичные связи — наследственные. Никто не станет отрицать, что есть непосредственно модифицируемые связи между известными функциями: такова, скажем, конституционная система отношений между эмоциональным и интеллектуальным механизмами. Другая система связей — устанавливаемые, те связи, которые устанавливаются в процессе встречи внешних и внутренних факторов, те связи, которые навязаны мне средой; мы знаем, как можно воспитать в ребенке дикость и жестокость или сентиментальность. Это вторичные связи. И наконец, третичные связи, которые складываются в переходном возрасте и которые действительно характеризуют личность в генетическом и дифференциальном плане. Эти связи складываются на основе самосознания. К ним относится уже отмеченный нами механизм «сна кафра». Когда мы сознательно связываем данную функцию с другими функциями так, что они образуют единую систему поведения, это складывается на основе того, что мы осознали свое сновидение, свое отношение к нему.

Коренное различение между психологией ребенка и подростка Буземан видит в следующем: для ребенка характерен лишь один психологический план непосредственного действия; для подростка характерно самосознание, отношение к себе со стороны, рефлексия, умение не только мыслить, но и сознавать основание мышления.

Проблемы шизофрении и переходного возраста сближались неоднократно: самое название dementia precox указывало на это. И хотя в клинической терминологии это утеряло первоначальное значение, но даже самые современные авторы, как Э. Кречмер [17] в Германии и П. П. Блонский у нас, защищают мысль, что переходный возраст и шизофрения являются ключом друг к другу. Делается это на основании внешнего сближения, ибо все черты, характеризующие переходный возраст, наблюдаются также и при шизофрении.

То, что в переходном возрасте присутствует в неясных чертах, в патологии доведено до крайности. Кречмер (1924) говорит еще смелее: бурно протекающий процесс полового созревания с психологической стороны нельзя отличить от слабо протекающего шизофренического процесса. С внешней стороны здесь есть доля правды, но

мне кажется ложной самая постановка вопроса и те выводы, к которым приходят авторы. При изучении психологии шизофрении эти выводы не оправдываются.

На самом деле шизофрения и переходный возраст находятся в обратном отношении. При шизофрении мы наблюдаем распад тех функций, которые строятся в переходном возрасте, и при встрече на одной станции их движение совершенно противоположно. В шизофрении мы имеем с психологической стороны загадочную картину, и даже у лучших современных клиницистов мы не находим объяснения механизма симптомообразования; нельзя показать, каким путем возникают эти симптомы. Споры между клиницистами идут о том, что является господствующим — аффективная тупость или диасхиз, который выдвигает Э. Блейлер [18] (что и дало повод к названию шизофрении). Однако суть дела заключается здесь не столько в изменениях интеллектуальных и аффективных, сколько в нарушении связей, которые существуют.

Шизофрению представляет огромное богатство материала по отношению к теме, о которой я говорю. Я постараюсь дать самое важное и показать, что все многообразные формы проявления шизофрении вытекают из одного источника, имеют в основе известный внутренний процесс, который может объяснить механизм шизофрении. У шизофреника раньше всего распадается функция образования понятия, лишь дальше начинаются странности. Шизофреник характеризуется аффективной тупостью; шизофреники меняют отношение к любимой жене, родителям, детям. Классическим является описание тупости при раздражительности на другом полюсе, отсутствие всяких импульсов, а между тем, как правильно отмечает Блейлер, наблюдается необычайно обостренная аффективная жизнь. Когда к шизофрении присоединяется какой-нибудь другой процесс, например артериосклероз, резко изменяется клиническая картина, склероз не обогащает эмоций шизофреника, но лишь изменяет основные проявления.

При аффективной тупости, при обеднении эмоциональной жизни все мышление шизофреника начинает определяться только его аффектами (как отмечает И. Шторх). Это одно и то же расстройство — изменение соотношений интеллектуальной и аффективной жизни. Наиболее ясную и блестящую теорию патологических изменений аффективной жизни развил Ш. Блондель [19]. Суть этой теории заключается примерно в следующем. В больном психологическом процессе (особенно там, где нет слабоумия), выступающем на первый план, прежде всего происходит распад сложных систем, которые приобретены в результате коллективной жизни, распад систем, которые сложились у нас позже всего. Представления, чувства — все остается неизменным, но все теряет те функции, которые оно выполняло в сложной системе. Вот если у кафра сон стал в новые отношения к дальнейшему поведению, эта система распадается и

появляются расстройство, необычные формы поведения. Иначе говоря, первое, что бросается в глаза при психологическом распаде в психиатрической клинике, распад тех систем, которые образовались, с одной стороны, наиболее поздно, а с другой — являются системами социального происхождения.

Это особенно видно на шизофрении, которая загадочна в том отношении, что с формальной стороны здесь психологические функции сохранены: память, ориентировка, восприятие, внимание не обнаруживают изменения. Здесь сохранена ориентировка, и если вы ловко зададите вопрос больному, который бредит и говорит, что он во дворце, то увидите, что он прекрасно знает, где он на самом деле находится. Сохранение формальных функций самих по себе и распад системы, возникающей при этом,— вот что характеризует шизофрению. Исходя из этого, Блондель говорит об аффективном расстройстве шизофреника.

Мышление, навязанное нам окружающей средой вместе с системой понятий, охватывает и наши чувства. Мы не просто чувствуем — чувство осознается нами как ревность, гнев, обида, оскорбление. Если мы говорим, что презираем какого-то человека, то называние чувств уже изменяет их; ведь они входят в какую-то связь с нашим мышлением; с нами происходит нечто вроде того, что происходит с памятью, когда она становится внутренней частью процесса мышления и начинает называться логической памятью. Так же, как нам невозможно отделить, где кончается восприятие поверхности и начинается понимание, что это определенный предмет (в восприятии синтезированы, даны в сплаве структурные особенности зрительного поля вместе с пониманием), так же точно в наших аффектах мы не испытываем ревности в чистом виде, без осознания связей, выраженных в понятиях.

Основой теории Спинозы [20] (1911) является следующее. Он был детерминист и, в отличие от стоиков, утверждал, что человек имеет власть над аффектами, что разум может изменять порядок и связи страстей и приводить их в соответствие с порядком и связями, которые даны в разуме. Спиноза выражал верное генетическое отношение. Человеческие эмоции в процессе онтогенетического развития входят в связь с общими установками и в отношении самосознания личности, и в отношении сознания действительности. Мое презрение к другому человеку входит в связь с оценкой этого человека, с пониманием его. И этот сложный синтез есть то, в чем протекает наша жизнь. Историческое развитие аффектов или эмоций заключается главным образом в том, что изменяются первоначальные связи, в которых они даны, и возникают новые порядок и связи.

Мы сказали, что, как правильно говорил Спиноза, познание нашего аффекта изменяет его и превращает из пассивного состояния в активное. То, что я мыслю вещи, вне меня находящиеся, в них

ничего не меняет, а то, что я мыслю аффекты, что я ставлю их в другие отношения к моему интеллекту и другим инстанциям, меняет многое в моей психической жизни. Проще говоря, наши аффекты действуют в сложной системе с нашими понятиями, и кто не знает, что ревность человека, который связан с магометанскими понятиями о верности женщины, и человека, который связан с системой противоположных представлений о верности женщины, различна, тот не понимает, что это чувство исторично, что оно в различной идеологической и психологической среде по сути изменяется, хотя в нем несомненно остается некоторый биологический радикал, на основании которого эта эмоция возникает.

Итак, сложные эмоции появляются только исторически и представляют собой сочетание отношений, возникающих из условий исторической жизни, и в процессе развития эмоций происходит их сплав. Это представление кладется в основу учения о том, что происходит при болезненном распаде сознания. Здесь происходит распад этих систем, и отсюда у шизофреника аффективная тупость. Когда шизофренику говорят: «Как вам не стыдно, так поступает подлец»,— он остается совершенно холоден, для него это не величайшее оскорбление. Его аффекты отделились и действуют в разделенном виде от этой системы. Для шизофреника характерно и обратное отношение: аффекты начинают изменять его мышление, его мышление есть мышление, обслуживающее эмоциональные интересы и нужды.

Чтобы покончить с шизофренией, я хочу сказать, что точно так же, как слагающая функция в переходном возрасте, эти функции, синтез которых мы наблюдаем в переходном возрасте, распадаются в шизофрении; здесь распадаются сложные системы, аффекты возвращаются к первоначальному примитивному состоянию, теряют связь с мышлением, и через понятие вы не можете прощупать эти аффекты. До известной степени вы возвращаетесь к тому состоянию, которое имеется на ранних ступенях развития, когда подойти к какому-нибудь аффекту очень трудно. Оскорбить ребенка раннего возраста очень легко, но оскорбить его, указав, что порядочные люди так не поступают, очень трудно. Путь здесь совершенно другой, чем у нас, то же самое — и в шизофрении.

Чтобы резюмировать все это, я хотел бы сказать следующее: изучение систем и их судьбы оказывается поучительным не только для развития и построения психических процессов, но и для процессов распада. Изучение объясняет те чрезвычайно интересные процессы распада, которые мы наблюдаем в психиатрической клинике и которые наступают без грубого выпадения каких-либо функций, например функции речи у афазика; оно объясняет, почему такие грубые нарушения могут быть при тонких нарушениях мозга; оно объясняет тот парадокс психологии, что при табесе и органическом изменении всего мозга мы наблюдаем незначительные

психологические изменения, а при шизофрении, при реактивном психозе — полную спутанность всего поведения с точки зрения поведения взрослого человека. Ключом к пониманию здесь служит представление о психологических системах, которые возникают не непосредственно из связей функций, как они даны в развитии мозга, а из тех систем, о которых мы говорили. И такие психологические проявления шизофрении, как аффективная тупость, интеллектуальный распад, раздражительность, находят свое единое объяснение, свою структурную связь.

Мне хотелось бы закончить следующим. Одним из трех кардинальных признаков шизофрении является характерологическое изменение, заключающееся в отрыве от социальной среды. Шизофреник делается все более замкнутым, и крайнее состояние этого — аутизм. Все системы, о которых мы говорили, системы социального происхождения, заключаются в социальном отношении к самому себе, как мы сказали выше, характеризуются перенесением внутрь личности коллективных отношений. Шизофреник, утрачивающий социальные отношения к окружающим, утрачивает социальные отношения к самому себе. Как очень хорошо говорил один из клиницистов, не возводя это на теоретическую высоту, шизофреник не только перестает понимать других и разговаривать с другими — он перестает речевым способом обращаться с самим собой. Распад социально построенных систем личности — другая сторона распада внешних отношений, которые являются отношениями интерпсихологическими.

4

Я остановлюсь еще только на двух вопросах.

Первый относится к чрезвычайно важному для нас выводу из всего сказанного в отношении психологических систем и мозга. Я должен отвергнуть мысли, которые развивают К. Гольдштейн и А. Гельб относительно того, что всякая высшая психологическая функция имеет прямую физиологическую корреляцию в функции, построенной с физиологической стороны точно так же, как построена и ее психологическая часть. Но сначала я изложу их мысль. Гольдштейн и Гельб говорят, что у афазика нарушается та функция мышления в понятиях, которая соответствует основной физиологической функции. Уже здесь Гольдштейн и Гельб впадают в величайшее противоречие с собой, когда раньше в той же книге утверждают, будто афазик возвращается к системе мышления, характерной для примитивного человека. Если у афазика страдает основная физиологическая функция и он возвращается к той ступени мышления, на которой стоит примитивный человек, то мы должны сказать, что у примитивного человека нет той основной физиологической функции, которая есть у нас. Значит, без морфологического

изменения структуры мозга здесь возникает новая и основная функция, которой нет на примитивных ступенях развития. Где у нас основание предположить, что за несколько тысяч лет произошла такая коренная перестройка человеческого мозга? Уже и в этом теория Гольдштейна и Гельба наталкивается на непреодолимое затруднение. Но в ней есть своя правда, заключающаяся в том, что всякая сложная психологическая система: и сон кафра, и понятие, и самосознание личности — все эти представления в конечном счете продукты известной мозговой структуры. Нет ничего, что было бы оторвано от мозга. Весь вопрос в том, *что́* физиологически в мозгу соответствует мышлению в понятиях.

Для того чтобы объяснить, как это возникает в мозгу, достаточно допустить, что мозг содержит условия и возможности такого сочетания функций, такого нового синтеза, таких новых систем, которые вовсе не должны быть заранее запечатлены структурно, и мне думается, что вся современная неврология заставляет это предполагать. Мы все более и более видим бесконечное разнообразие и незавершенность мозговых функций. Гораздо более правильно допустить, что в мозгу есть огромные возможности для возникновения новых систем. Это основная предпосылка. Она разрешает тот вопрос, который стоит в отношении работ Л. Леви-Брюля. Леви-Брюль на последней дискуссии во французском философском обществе говорил, что примитивный человек мыслит иначе, чем мы. Значит ли это, что мозг у него иной, чем у нас? Или нужно допустить, что мозг в связи с новой функцией изменился биологически, или же — что дух пользуется мозгом только как орудием, следовательно, одно орудие, много употреблений, и значит, развивается дух, а не мозг?

На самом деле, мне кажется, что, вводя понятие психологической системы в том виде, как мы говорили, мы получаем возможность великолепно представить себе действительные связи, действительные сложные отношения, которые здесь имеются.

До некоторой степени это относится и к одной из труднейших проблем — локализации высших психологических систем. Их локализовали до сих пор двояко. Первая точка зрения рассматривала мозг как однородную массу и отказывалась от признания того, что отдельные его части неравноценны и играют разную роль в построении психологических функций. Эта точка зрения явно несостоятельна. Поэтому в дальнейшем функции стали выводить из отдельных мозговых участков, различая, например, практическое поле и т. д. Поля связаны между собой, и то, что мы наблюдаем в психических процессах,— совместная деятельность отдельных полей. Это представление, несомненно, более правильно. Мы имеем сложное сотрудничество ряда отдельных зон. Мозговым субстратом психических процессов являются не изолированные участки, а сложные системы всего мозгового аппарата. Но вопрос заключается в сле-

дующем: если эта система заранее дана в самой структуре мозга, т. е. исчерпывается теми связями, которые существуют в мозгу между отдельными его частями, мы должны предположить, что в структуре мозга заранее даны те связи, из которых возникает понятие. Если же мы допустим, что здесь возможны более сложные и не данные заранее связи, мы сразу перенесем этот вопрос в другой план.

Позвольте пояснить это на схеме, правда очень грубой. В личности соединяются формы поведения, которые раньше были разделены между двумя людьми: приказ и выполнение; раньше они происходили в двух мозгах, один мозг воздействовал на другой, скажем, при помощи слова. Когда они соединяются вместе, в одном мозгу, то мы имеем такую картину: пункт *А* в мозгу не может достигнуть пункта *Б* прямым соединением, он не находится в естественной связи с ним. Возможные связи между отдельными частями мозга устанавливаются через периферическую нервную систему, извне.

Исходя из таких представлений, мы можем понять целый ряд фактов патологии. Сюда относятся прежде всего факты, когда больной с поражением мозговых систем не в состоянии сделать что-либо непосредственно, но может выполнить это, если скажет об этом сам себе. Подобную клинически ясную картину мы наблюдаем у паркинсоников. Паркинсоник не может сделать шаг; когда же вы говорите ему: «Сделайте шаг» или кладете на полу бумажку, он этот шаг делает. Все знают, как хорошо паркинсоники ходят по лестнице и плохо — по ровному полу. Для того чтобы больного привести к лабораторию, приходится разложить на полу ряд бумажек. Он хочет идти, но не может воздействовать на свою моторику, у него эта система разрушена. Почему паркинсоник может ходить, когда на полу разложены бумажки? Тут два объяснения. Одно давал И. Д. Сапир[21]: паркинсоник хочет поднять руку, когда вы ему говорите, но этого импульса недостаточно; когда вы связываете просьбу с еще одним (зрительным) импульсом, он поднимает. Добавочный импульс действует вместе с основным. Можно представить картину и по-другому. Та система, которая позволяет ему поднять руку, сейчас нарушена. Но он может связать один пункт мозга с другим через внешний знак.

Мне представляется вторая гипотеза относительно движения паркинсоников правильной. Паркинсоник устанавливает связь между одним и другим пунктами своего мозга через знак, воздействуя на самого себя с периферического конца. Что это так, подтверждают эксперименты с истощаемостью паркинсоников. Если бы дело заключалось только в том, что вы истощаете паркинсоника до конца, эффект добавочного стимула должен был бы расти или, во всяком случае, равняться отдыху, восстановлению, играть роль внешнего раздражителя. Кто-то из русских авторов, впервые опи-

сывающих паркинсоников, указывал, что самое важное для больного — громкие раздражители (барабан, музыка), но дальнейшие исследования показали, что это не так. Я не хочу сказать, что именно так происходит у паркинсоников, но достаточно сделать вывод, что это принципиально возможно, а в распадении мы на каждом шагу наблюдаем, что такая система действительно возможна.

Всякая система, о которой я говорю, проходит три этапа. Сначала интерпсихологический — я приказываю, вы выполняете; затем экстрапсихологический — я начинаю говорить сам себе, затем интрапсихологический — два пункта мозга, которые извне возбуждаются, имеют тенденцию действовать в единой системе и превращаются в интракортикальный пункт.

Позвольте остановиться кратко на дальнейших судьбах этих систем. Я хотел указать на то, что в дифференциально-психологическом разрезе я от вас, вы от меня отличаетесь не тем, что у меня внимания немножко больше, чем у вас; существенное и практически важное характерологическое отличие в социальной жизни людей заключается в тех структурах, отношениях, связях, которые у нас имеются между отдельными пунктами. Я хочу сказать, что решающее значение имеет не память или внимание, но то, насколько человек пользуется этой памятью, какую роль она выполняет. Мы видели, что сновидение может выполнять центральную роль у кафра. У нас сновидение — приживальщик в психологической жизни, который не играет никакой существенной роли. То же и с мышлением. Сколько бесплодных умов, идущих на холостом ходу, сколько умов, которые мыслят, но совершенно не включены в действие! Все помнят ситуацию, когда мы знаем, как нужно поступить, а поступаем иначе. Я хотел указать на то, что тут есть три плана, чрезвычайно важных. Первый план — социальный и классово-психологический. Мы хотим сравнить рабочего и буржуа. Дело не в том, как думал В. Зомбарт [22], что у буржуа основное — жадность, что создается биологический отбор жадных людей, для которых главное — скопидомство и накопление. Я допускаю, что есть много рабочих более скупых, чем буржуа. Суть дела будет заключаться не в том, что из характера выводится социальная роль, а в том, что из социальной роли создается ряд характерологических связей. Социальный и классовый тип человека формируется из тех систем, которые вносятся в человека извне, которые являются системами социальных отношений людей, перенесенными в личность. На этом основаны профессиографические исследования процессов труда — каждая профессия требует известной системы этих связей. Для вагоновожатого, например, действительно важно не столько иметь больше внимания, чем для обыкновенного человека, сколько уметь правильно пользоваться вниманием, важно, чтобы внимание стояло на том месте, на котором оно у писателя, например, может не стоять, и т. п.

И наконец, в дифференциальном и характерологическом отношении надо существенно отличать первичные характерологические связи, которые дают те или иные пропорции, например шизоидной или циклоидной конституции, от связей, которые возникают совершенно иначе и которые отличают человека нечестного от честного, правдивого от лживого, фантазера от делового человека, которые заключаются не в том, что у меня меньше аккуратности, чем у вас, или больше лжи, чем у вас, а в том, что возникает система отношений между отдельными функциями, которая складывается в онтогенезе. К. Левин [23] правильно говорит, что образование психологических систем совпадает с развитием личности. В самых высших случаях там, где мы имеем этически наиболее совершенные человеческие личности с наиболее красивой духовной жизнью, мы имеем дело с возникновением такой системы, где все соотнесено к одному. У Спинозы есть теория (я ее несколько видоизменю): душа может достигнуть того, чтобы все проявления, все состояния относились к одной цели; здесь может возникнуть такая система с единым центром, максимальная собранность человеческого поведения. Для Спинозы единая идея является идеей бога или природы. Психологически это вовсе не необходимо. Но человек может действительно привести в систему не только отдельные функции, но и создать единый центр для всей системы. Спиноза показал эту систему в плане философском; есть люди, жизнь которых является образцом подчинения одной цели, которые доказали практически, что это возможно. Перед психологией стоит задача показать такого рода возникновение единой системы как научную истину.

Я хотел бы закончить, еще раз указав на то, что я представил лестницу фактов, пусть разбросанную, но все же идущую снизу вверх. Все теоретические соображения я почти опустил. Мне кажется, что наши работы освещаются и становятся на место с этой точки зрения. У меня не хватает теоретической силы все это объединить. Я представил очень большую лестницу, но в качестве идеи, охватывающей все это, я выдвинул общую мысль. И сегодня мне хотелось бы выяснить по поводу основной мысли, которую я несколько лет вынашивал, но не решался до конца высказать, подтверждается ли она фактически. И наша ближайшая задача — выяснить это самым деловым и детальным образом. Я хотел бы, опираясь на приведенные факты, выразить свое основное убеждение, которое заключается в том, что все дело не в изменениях только внутри функций, а в изменениях связей и в бесконечно разнообразных формах движения, возникающих отсюда, в том, что возникают на известной стадии развития новые синтезы, новые узловые функции, новые формы связей между ними, и нас должны интересовать системы и их судьба. Мне кажется, что системы и их судьба — в этих двух словах для нас должны заключаться альфа и омега нашей ближайшей работы.

5*

ПСИХИКА, СОЗНАНИЕ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ [1]

Три слова, вынесенные в заголовок нашего очерка: психика, сознание и бессознательное,— означают не только три центральных и основных психологических вопроса, но являются в гораздо большей степени вопросами методологическими, т. е. вопросами о принципах построения самой психологической науки. Это превосходно выразил Т. Липпс [2] в известном определении проблемы подсознательного, гласящем, что подсознательное не столько психологический вопрос, сколько вопрос самой психологии.

То же самое имел в виду и Г. Геффдинг (1908), когда введение понятия бессознательного в психологии приравнивал по значению к понятию потенциальной физической энергии в физике. Только с введением этого понятия становится вообще возможна психология как самостоятельная наука, которая может объединять и координировать факты опыта в известную систему, подчиненную особым закономерностям. Г. Мюнстерберг, обсуждая этот же самый вопрос, проводит аналогию между проблемой бессознательного в психологии и проблемой наличия сознания у животных. На основании одних наблюдений, говорит он, нельзя решить, которое из различных объяснений этих проблем правильно. Мы должны решить это прежде, чем приняться за изучение фактов.

Другими словами, вопрос — обладают ли животные сознанием или нет — нельзя решить опытным путем, это вопрос гносеологический. Точно так же и здесь: ни одно анормальное переживание не может само по себе служить доказательством того, что требуется психологическое, а не физиологическое объяснение. Это философский вопрос, который должен быть решен теоретически, прежде чем мы можем приняться за объяснение специальных фактов.

Мы видим, что целые системы и психологические направления получают совершенно своеобразное развитие в зависимости от того, как они объясняют для себя три стоящих в заголовке этого очерка слова. Достаточно в качестве примера напомнить психоанализ, построенный на понятии бессознательного, и сравнить с ним традиционную эмпирическую психологию, изучающую исключительно сознательные явления.

Достаточно, далее, вспомнить объективную психологию И. П. Павлова и американских бихевиористов, совершенно исключающих психические явления из круга своего исследования, и сравнить их со сторонниками так называемой понимающей, или

описательной, психологии [3], единственная задача которой — анализ, классификация и описание феноменов психической жизни без всякого обращения к вопросам физиологии и поведения,— стоит только вспомнить все это для того, чтобы убедиться, что вопрос о психике, сознательном и бессознательном имеет определяющее методологическое значение для всякой психологической системы. В зависимости от того, как решается этот основной для нашей науки вопрос, находится и самая судьба нашей науки.

Для одних она перестает существовать вовсе, заменяясь настоящей физиологией головного мозга или рефлексологией, для других она превращается в эйдетическую психологию [4] или чистую феноменологию духа, третьи, наконец, ищут путей к осуществлению синтетической психологии. Мы подойдем к этому вопросу не с исторической или критической стороны, мы не станем рассматривать во всей полноте важнейшие типы понимания всех этих проблем, мы с самого начала ограничим задачу рассмотрением значения всех трех мотивов в системе объективной научной психологии.

Возможность психологии как самостоятельной науки до самого последнего времени ставилась в зависимость от признания психики самостоятельной сферой бытия. До сих пор еще широко распространено мнение, что содержание и предмет психологической науки составляют психические явления или процессы и что, следовательно, психология как самостоятельная наука возможна только на основе идеалистического философского допущения самостоятельности и изначальности духа наравне с материей.

Так и поступают большинство идеалистических систем психологии, которые стремятся эмансипировать психологию от ее естественной тенденции срастись с естествознанием, от «утонченного материализма»» (по выражению В. Дильтея [5]), который проникает в нее из физиологии. Э. Шпрангер [6], один из главнейших современных представителей понимающей психологии, или психологии как науке о духе, выдвинул в последние годы требование, которое фактически означает, что психология должна разрабатываться исключительно психологическим методом. Для него совершенно ясно, что разработка психологии психологическим методом необходимо предполагает отказ от всякого рода физиологических объяснений в психологии и переход к объяснению психических явлений из психических же.

Ту же мысль высказывают иногда и физиологи. Так, Павлов вначале, при исследовании психического слюноотделения, приходил к выводу, что психический акт, страстное желание еды, бесспорно, является раздражителем центров слюнных нервов. Как известно, в дальнейшем он отказался от этого взгляда и пришел к выводу, что при изучении поведения животных и психического слюноотделения, в частности, необходимо не ссылаться на всевозможные психические акты. Такие выражения, как «страстное желание

еды», «собака вспомнила», «собака догадалась», были строго-настрого изгнаны из его лаборатории, и введен особый денежный штраф с сотрудников, которые в процессе работы прибегали к подобным психологическим выражениям для объяснения того или иного поступка животного.

Ссылаясь на психические акты, по мнению Павлова, мы тем самым становимся на путь беспричинного адетерминистического мышления и сходим со строгого пути естествознания. Поэтому истинный путь к разрешению проблемы поведения и к овладению поведением лежит, по его мнению, через настоящую физиологию головного мозга, которая может исследовать нервные связи и соответствующие им связи рефлексов и других единиц поведения совершенно так, как если бы они никакими психическими явлениями не сопровождались вовсе.

И. П. Павлов доказал, и в этом заключается его огромная заслуга, что можно физиологически истолковать поведение, совершенно не пытаясь проникнуть во внутренний мир животного, и что это поведение может быть с научной точностью объяснено, подчинено известным закономерностям и даже предсказано вперед, без всякой попытки составить себе хотя бы смутное и отдаленное представление о переживаниях животного. Иначе говоря, Павлов показал, что возможно объективно-физиологическое изучение поведения, по крайней мере животного, но в принципе и людей, изучение, игнорирующее психическую жизнь.

Вместе с тем Павлов, подчиняясь той же самой логике, что и Э. Шпрангер, отдает богу богово и кесарю — кесарево, оставляя за физиологией объективный, а за психологией субъективный подходы к поведению. И для Павлова психологическое и психическое совершенно совпадают друг с другом. Этот вопрос совершенно неразрешим, как показала вся история нашей науки, на почве того философского основания, на котором стояла психология до сих пор. Создавалось положение, которое можно выразить суммарно, как итог всего длительного исторического развития нашей науки.

С одной стороны, полное отрицание возможностей изучать психику, игнорирование ее, ибо изучение ее ставит нас на путь беспричинного мышления. В самом деле, психическая жизнь характеризуется перерывами, отсутствием постоянной и непрерывной связи между ее элементами, исчезновением и появлением вновь этих элементов. Поэтому невозможно установить причинные отношения между отдельными элементами, и в результате — необходимость отказаться от психологии как естественнонаучной дисциплины. «С точки зрения психологии,— говорит Г. Мюнстерберг,— даже и между вполне сознательными явлениями психической жизни нет действительной связи и они не могут являться причинами или служить объяснением чему-либо. Поэтому во внутренней жизни, как ее рассматривает психология, нет прямой причинности, поэтому

причинное объяснение приложимо к психическим явлениям только извне, поскольку их можно рассматривать как дополнение физиологических процессов» (1914, с. 631).

Итак, один путь приводит к полному отрицанию психики, а следовательно, и психологии. Остаются два других пути, не менее интересных и не менее ярко свидетельствующих о том тупике, в который была заведена историческим развитием наша наука.

Первый из них — это та описательная психология, о которой мы уже говорили. Она принимает психику за совершенно обособленную сферу действительности, в которой не действуют никакие законы материи и которая является чистым царством духа. В этой чисто духовной области невозможны никакие причинные отношения, здесь нужно добиваться понимания, выяснения смыслов, установления ценностей, здесь можно описывать и расчленять, классифицировать и устанавливать структуры. Эту психологию, под именем описательной, противопоставляют объяснительной психологии, изгоняя тем самым задачи объяснения из области науки.

Ее-то — описательную психологию — в качестве науки о духе противопоставляют естественнонаучной психологии. Таким образом, и здесь психология разбивается на две части, взаимно не связанные друг с другом. В описательной психологии господствуют совершенно другие приемы познания: здесь не может быть речи об индукции и о других приемах в установлении эмпирических законов. Здесь господствует аналитический, или феноменологический, метод, метод сущностного усмотрения, или интуиции, который позволяет анализировать непосредственные данные сознания.

«В области сознания,— говорит Э. Гуссерль,— разница между явлением и бытием уничтожена» (1911, с. 25). Здесь все то, что кажется, действительно. Поэтому психология этого рода гораздо ближе напоминает геометрию, чем какую-либо естественную науку, например физику; она должна превратиться в математику духа, о которой мечтал Дильтей. Само собой разумеется, что при этом психическое отождествляется всецело с сознательным, так как интуиция предполагает непосредственное осознавание своих переживаний. Но есть еще один метод в психологии, который, как отмечает Э. Шпрангер, также следует выдвинутому им принципу: психологическое — психологически, но только идет обратным путем. Для этого направления психическое и сознательное — не синонимы. Центральным понятием психологии является бессознательное, которое позволяет заполнить недостающие пробелы психической жизни, установить отсутствующие причинные связи, мысленно продолжить описание психических явлений в тех же терминах дальше, считая, что причина должна быть однородна со следствием или, во всяком случае, находиться с ним в одном и том же ряду.

Таким образом сохраняется возможность психологии как особой науки. Но эта попытка в высшей степени двойственная, так как

заключает в себе две, по существу, разнородные тенденции. Шпрангер со всей справедливостью говорит, что Фрейд, главный представитель этой теории, молчаливо исходит из того же самого принципа, что и понимающая психология: в области психологии нужно строить познание чисто психологически, поскольку это возможно. Преждевременные или случайные экскурсы в область анатомического и физиологического хотя и могут вскрывать психофизические связи как факты, но нисколько не помогут нам понять что-либо.

Попытка Фрейда заключается в тенденции продолжить осмысленные связи и зависимости психических явлений в область бессознательного, предположить, что за сознательными явлениями стоят обусловливающие их бессознательные, которые могут быть восстановлены путем анализа следов и толкования их проявлений. Но тот же Шпрангер делает Фрейду жесткий упрек: в этой теории он замечает своеобразное теоретическое заблуждение. Он говорит, что если у Фрейда преодолен физиологический материализм, то продолжает существовать материализм психологический, молчаливая метафизическая предпосылка, заключающаяся в том, что само собой разумеется наличие сексуального влечения, а все остальные должны быть поняты, исходя из него.

И в самом деле, попытка создать психологию при помощи понятия о бессознательном является здесь двойственной попыткой: с одной стороны, родственной идеалистической психологии, поскольку выполняется завет объяснения психических явлений из психических же, с другой — поскольку вводится идея строжайшего детерминизма всех психических проявлений, а основа их сводится к органическому, биологическому влечению, именно инстинкту продолжения рода, постольку Фрейд становится на почву материализма.

Таковы три пути: отказ от изучения психики (рефлексология), «изучение» психики через психическое же (описательная психология) и познание психики через бессознательное (Фрейд). Как видим, это три совершенно различные системы психологии, получающиеся в зависимости от того, как решается основной вопрос относительно понимания психики в каждой из них. Мы уже сказали, что историческое развитие нашей науки завело эту проблему в безвыходный тупик, из которого нет иного выхода, кроме отказа от философского основания старой психологии.

Только диалектический подход к этой проблеме открывает, что в самой постановке всех решительно проблем, связанных с психикой, сознанием и бессознательным, допускалась ошибка. Это были всегда ложно поставленные проблемы, а потому и неразрешимые. То, что совершенно непреодолимо для метафизического мышления, именно глубокое отличие психических процессов от физиологических, несводимость одних к другим, не является камнем преткновения для диалектической мысли, которая привыкла рассматривать

процессы развития как процессы, с одной стороны, непрерывные, а с другой — сопровождающиеся скачками, возникновением новых качеств.

Диалектическая психология исходит раньше всего из единства психических и физиологических процессов. Для диалектической психологии психика не является, по выражению Спинозы, чем-то лежащим по ту сторону природы или государством в государстве, она является частью самой природы, непосредственно связанной с функциями высшей организованной материи нашего головного мозга. Как и вся остальная природа, она не была создана, а возникла в процессе развития. Ее зачаточные формы заключены уже везде — там, где в живой клетке содержатся свойства изменяться под влиянием внешних воздействий и реагировать на них.

Где-то, на какой-то определенной ступени развития животных, в развитии мозговых процессов произошло качественное изменение, которое, с одной стороны, было подготовлено всем предшествующим ходом развития, а с другой — являлось скачком в процессе развития, так как знаменовало собой возникновение нового качества, не сводимого механически к более простым явлениям. Если принять эту естественную историю психики, станет понятна и вторая мысль, заключающаяся в том, что психику следует рассматривать не как особые процессы, добавочно существующие поверх и помимо мозговых процессов, где-то над или между ними, а как субъективное выражение тех же самых процессов, как особую сторону, особую качественную характеристику высших функций мозга.

Психический процесс путем абстракции искусственно выделяется или вырывается из того целостного психофизиологического процесса, внутри которого он только и приобретает свое значение и свой смысл. Неразрешимость психической проблемы для старой психологии и заключалась в значительной степени в том, что из-за идеалистического подхода к ней психическое вырывалось из того целостного процесса, часть которого оно составляет, и ему приписывалась роль самостоятельного процесса, существующего наряду и помимо процессов физиологических.

Напротив, признание единства этого психофизиологического процесса приводит нас с необходимостью к совершенно новому методологическому требованию: мы должны изучать не отдельные, вырванные из единства психические и физиологические процессы, которые при этом становятся совершенно непонятными для нас; мы должны брать целый процесс, который характеризуется со стороны субъективной и объективной одновременно.

Однако признание единства психического и физического, выражающееся, во-первых, в допущении, что психика появилась на известной ступени развития органической материи, и, во-вторых, что психические процессы составляют неотделимую часть более сложных целых, вне которых они не существуют, а значит, и не могут

изучаться, не должно привести нас к отождествлению психического и физического.

Существует два основных вида подобного отождествления. Один из них характерен для того направления идеалистической философии, которое нашло отражение в трудах Э. Маха [7], а другой характерен для механистического материализма и французских материалистов XVIII в. Последний взгляд заключается в том, что психический процесс отождествляется с физиологическим нервным процессом и сводится к последнему. В результате проблема психики уничтожается вовсе, разница между высшим психическим поведением и допсихическими формами приспособления стирается. Неоспоримое свидетельство непосредственного опыта уничтожается, и мы приходим к неизбежному и непримиримому противоречию со всеми решительно данными психического опыта.

Другое отождествление, характерное для махизма, заключается в том, что психическое переживание, например ощущение, отождествляется с соответствующим ему объективным предметом. Как известно, в философии Маха такое отождествление приводит к признанию существования элементов, в которых нельзя отличить объективного от субъективного.

Диалектическая психология отказывается и от того и от другого отождествления, она не смешивает психические и физиологические процессы, она признает несводимое качественное своеобразие психики, она утверждает только, что психологические процессы едины. Мы приходим, таким образом, к признанию своеобразных психофизиологических единых процессов, представляющих высшие формы поведения человека, которые мы предлагаем называть психологическими процессами, в отличие от психических и по аналогии с тем, что называется физиологическими процессами.

Легко может возникнуть вопрос: почему процессы, психофизиологические по природе, как уже сказано, не называть этим двойным именем? Нам кажется: главный повод заключается в том, что, называя эти процессы психологическими, мы исходим из чисто методологического определения их, мы имеем в виду процессы, изучаемые психологией, и этим подчеркиваем возможность и необходимость единого и целостного предмета психологии как науки. Наряду с этим и не совпадая с ним, может существовать и психофизиологическое изучение — психологическая физиология или физиологическая психология, которая ставит своей специальной задачей установление связей и зависимостей, существующих между одним и другим родом явлений.

Здесь, однако, нередко в нашей психологии делается существенная ошибка; эта диалектическая формула единства, но не тождества психического и физиологического процессов понимается часто ложно и приводит к противопоставлению психического физиологическому, в результате чего возникает мысль о том, что диалек-

тическая психология должна складываться из чисто физиологического изучения условных рефлексов и интроспективного анализа, которые механически объединяются друг с другом. Ничего более антидиалектического и представить себе нельзя.

Все своеобразие диалектической психологии в том и заключается, что она пытается совершенно по-новому определить предмет своего изучения. Это есть целостный процесс поведения, который тем и характерен, что имеет свою психическую и свою физиологическую стороны, но психология изучает его именно как единый и целостный процесс, только так стараясь найти выход из создавшегося тупика. Мы могли бы напомнить здесь предостережение, которое делал В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч., т. 18, с. 150) против неверного понимания этой формулы. Он говорил, что противопоставление психического и физического совершенно необходимо в узких пределах постановки гносеологических задач, но что за этими пределами такое противопоставление было бы грубой ошибкой.

В том и заключается методологическая трудность психологии, что ее точка зрения есть точка зрения реально-научная, онтологическая, и в ней-то это противопоставление и было бы ошибкой. Насколько в гносеологическом анализе мы должны строго противопоставлять ощущение и объект, настолько в психологическом мы не должны противопоставлять психический процесс и физиологический.

Рассмотрим теперь с этой точки зрения, какой же выход из тупика намечается при принятии этих положений. Как известно, две основные проблемы до сих пор еще не разрешены для старой психологии: проблема биологического значения психики и выяснения условий, при которых мозговая деятельность начинает сопровождаться психологическими явлениями. Такие антиподы, как объективист В. М. Бехтерев и субъективист К. Бюлер [8], одинаково признают, что мы ничего не знаем о биологической функции психики, но что нельзя допустить, будто природа создает лишние приспособления, и что, раз психика возникла в процессе эволюции, она выполняет какую-то, хотя нам еще совершенно непонятную, функцию.

Мы думаем, что неразрешимость этих проблем заключается уже в их ложной постановке. Нелепо раньше вырвать известное качество из целостного процесса и затем спрашивать о функции этого качества, как если бы оно существовало само по себе, совершенно независимо от того целостного процесса, качеством которого оно является. Нелепо, например, отделив от солнца его теплоту, приписывать ей самостоятельное значение и спрашивать, какое значение и какое действие может оказать эта теплота.

Но именно так поступала психология до сих пор. Она открывала психическую сторону явлений и затем пыталась показать, что пси-

хическая сторона явлений ни на что не нужна, что сама по себе она не в состоянии произвести никаких изменений в мозговой деятельности. Уже в самой постановке этого вопроса заключается ложное предположение, что психические явления могут действовать на мозговые. Нелепо спрашивать, может ли данное качество действовать на предмет, качеством которого оно является.

Самое предположение, что между психическими и мозговыми процессами может существовать взаимоотношение, уже наперед предполагает представление о психике как об особой механической силе, которая, по мнению одних, может действовать на мозговые процессы, по мнению других, может протекать только параллельно им. Как в учении о параллелизме, так и о взаимодействии содержится эта ложная предпосылка; только монистический взгляд на психику позволяет поставить вопрос о биологическом значении психики совершенно иначе.

Повторяем еще раз: нельзя, оторвав психику от тех процессов, неотъемлемую часть которых она составляет, спрашивать, для чего она нужна, какую роль в общем процессе жизни она выполняет. На деле существует психический процесс внутри сложного целого, внутри единого процесса поведения, и, если мы хотим разгадать биологическую функцию психики, надо поставить вопрос об этом процессе в целом: какую функцию в приспособлении выполняют эти формы поведения? Иначе говоря, надо спрашивать о биологическом значении не психических, а психологических процессов, и тогда неразрешимая проблема психики, которая, с одной стороны, не может явиться эпифеноменом, лишним придатком, а с другой — не может ни на иоту сдвинуть ни один мозговой атом,— эта проблема оказывается разрешимой.

Как говорит Коффка, психические процессы указывают вперед и далее себя на сложные психофизиологические целые, частью которых они сами являются. Эта монистическая целостная точка зрения и заключается в том, чтобы рассматривать целое явление как целое, а его части как органические части этого целого. Таким образом, вскрытие многозначительной связи между частями и целым, умение взять психический процесс как органическую связь более сложного целого процесса — в этом и заключается основная задача диалектической психологии.

В этом смысле разрешал еще Г. В. Плеханов [9] (1956, т. I, с. 75) основной спор о том, могут ли психические процессы влиять на телесные. Во всех случаях, где рассказывается о влиянии психических процессов, вроде испуга, сильного огорчения, тягостных переживаний и т. д., на телесные процессы, факты большей частью передаются верные, но истолкование их дается неправильное. Во всех этих случаях, конечно, не само по себе переживание, не сам по себе психический акт (как говорил Павлов, страстное желание еды) воздействуют на нервы, но соответствующий этому переживанию физио

логический процесс, составляющий с ним одно целое, приводит к тому результату, о котором мы говорим.

В том же смысле А. Н. Северцов [10] говорит о психике как о высшей форме приспособления животных, имея в виду по существу не психические, а психологические процессы в том смысле, как мы это разъяснили выше.

Ложным, таким образом, в старой точке зрения является представление о механическом действии психики на мозг. Старые психологи мыслят ее как вторую силу, существующую наряду с мозговыми процессами. Вместе с тем мы приходим к центральному пункту всей нашей проблемы.

Как мы уже указывали выше, Гуссерль за исходную точку берет положение, что в психике разница между явлением и бытием уничтожена: стоит только допустить это, и мы с логической неизбежностью приходим к феноменологии, ибо тогда оказывается, что в психике нет разницы между тем, что кажется, и тем, что есть. То, что кажется,— явление, феномен — и есть истинная сущность. Нам остается только констатировать эту сущность, усматривать ее, различать и систематизировать, но науке в эмпирическом смысле здесь делать нечего.

К. Маркс по поводу аналогичной проблемы говорил: «...если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 384). В самом деле, если бы вещи были непосредственно тем, чем они кажутся, то не нужно было бы никакое научное исследование. Эти вещи надо было бы регистрировать, подсчитывать, но не исследовать. Сходное положение создается в психологии, когда мы отрицаем в ней разницу между явлением и бытием. Там, где бытие непосредственно совпадает с явлением, нет места для науки, а есть место только для феноменологии.

При старом понимании психики было совершенно невозможно найти выход из этого тупика. Нелепо было ставить самый вопрос о том, что и в психике следует различать между явлением и бытием. Но вместе с изменением основной точки зрения, с подстановкой психологических процессов на место психических в психологии становится возможно применение точки зрения Л. Фейербаха [11], который говорил: в самом мышлении не уничтожена разница между явлением и бытием; и в мышлении надо различать мышление и мышление мышления.

Если принять во внимание, что предмет психологии — целостный психофизиологический процесс поведения, то становится совершенно понятным, что он не находит полного адекватного выражения в одной психической части, да еще преломленной через особое самовосприятие. Самонаблюдение дает нам фактически всегда данные самосознания, которые могут искажать и неизбежно искажают данные сознания. Эти же последние, в свою очередь, никогда

полностью и прямо не обнаруживают свойств и тенденций всего целостного процесса, часть которого они составляют. Отношения между данными самосознания и сознания, между данными сознания и процессом совершенно тождественны с отношениями между явлением и бытием.

Новая психология со всей решительностью утверждает, что и в мире психики явление и бытие не совпадают. Нам может казаться, что мы что-нибудь делаем по известной причине, а на самом деле причина будет другой. Мы можем со всей очевидностью непосредственного переживания полагать, что мы наделены свободной волей, и жестоко в этом обманываться. Мы приходим здесь к другой центральной проблеме психологии.

Старая психология отождествляла психику и сознание. Все психическое тем самым было уже и сознательным. Например, психологи Ф. Брентано [12], А. Бэн [13] и другие утверждали, что самый вопрос о существовании бессознательных психических явлений противоречив уже в определении. Первым и непосредственным свойством психического является то, что оно нами сознается, переживается, что оно нам дано в непосредственном внутреннем опыте, и поэтому самое выражение «бессознательная психика» казалось старым авторам такой же бессмыслицей, как выражение «круглый квадрат» или «сухая вода».

Другие авторы, напротив, издавна обращали внимание на три основных момента, которые заставляли их вводить понятие бессознательного в психологию.

Первый момент заключался в том, что самая сознательность явлений имеет различные степени: мы одно переживаем более сознательно и ярко, другое — менее. Есть вещи, находящиеся почти на самой границе сознания и то входящие, то выходящие из его поля, есть смутно сознаваемые вещи, есть переживания, более или менее тесно связанные с реальной системой переживаний, например сновидение. Таким образом, утверждали они, ведь явление не становится менее психичным от того, что оно становится менее сознательным. Отсюда они делали вывод, что можно допустить и бессознательные психические явления.

Другой момент заключается в том, что внутри самой психической жизни обнаруживается известная конкуренция отдельных элементов, борьба их за вступление в поле сознания, вытеснение одних элементов другими, тенденция к возобновлению, иногда навязчивое воспроизведение и т. д. И. Гербарт [14], сводивший всю психическую жизнь к сложной механике представлений, различал и затемненные или бессознательные представления, которые появлялись в результате вытеснения из поля ясного сознания и продолжали существовать под порогом сознания как стремление к представлению. Здесь уже заключена, с одной стороны, в зародыше теория З. Фрейда, по которому бессознательное возникает из вытеснения, и с дру-

гой — теория Г. Геффдинга, для которого бессознательное соответствует потенциальной энергии в физике.

Третий момент заключается в следующем. Психическая жизнь, как уже говорилось, представляет собой слишком отрывочные ряды явлений, которые естественно требуют допущения, что они продолжают существовать и тогда, когда мы их больше не сознаем. Я видел нечто, затем через некоторое время я вспоминаю это, спрашивается: что было с представлением об этом предмете в продолжение всего времени, пока я о нем не вспоминал? Что в мозгу сохранится известный динамический след, оставленный этим впечатлением, психологи никогда не сомневались, но соответствовало ли этому следу потенциальное явление? Многие думали, что да.

В связи с этим возникает очень сложный и большой вопрос о том, что нам до сих пор неизвестны все те условия, при которых мозговые процессы начинают сопровождаться сознанием. Как и в отношении биологического значения психики, так и здесь трудность проблемы заключается в ее ложной постановке. Нельзя спрашивать, при каких условиях нервный процесс начинает сопровождаться психическим, потому что нервные процессы вообще не сопровождаются психическими, а психические составляют часть более сложного целого процесса, в который тоже как органическая часть входит и нервный процесс.

В. М. Бехтерев (1926), например, предполагал, что, когда нервный ток, распространяясь в мозгу, наталкивается на препятствие, встречает затруднение, тогда только и начинает работать сознание. На самом деле нужно спрашивать иначе, именно: при каких условиях возникают те сложные процессы, которые характеризуются наличием в них психической стороны? Надо искать, таким образом, определенных условий в нервной системе и в поведении в целом для возникновения психологических целостных процессов, а не внутри данных нервных процессов — для возникновения в них психических процессов.

К этому ближе подходит Павлов, когда уподобляет сознание светлому пятну, которое движется по поверхности полушарий головного мозга, соответствуя оптимальному нервному возбуждению (1951, с. 248).

Проблема о бессознательном в старой психологии ставилась так: основным вопросом было признать бессознательное психическим или признать его физиологическим. Такие авторы, как Г. Мюнстерберг, Т. Рибо и другие, не видевшие иной возможности объяснить психические явления, кроме физиологии, высказывались прямо за признание бессознательного физиологическим.

Так, Мюнстерберг (1914) утверждает, что нет ни одного такого признака, приписываемого подсознательным явлениям, на основе которого они должны быть причислены к психическим. По его мнению, даже в том случае, когда подсознательные процессы обнару-

живают видимую целесообразность, даже и тогда у нас нет основания приписывать этим процессам психическую природу. Физиологическая мозговая деятельность, говорит он, не только вполне может дать разумные результаты, но одна только она и может это сделать. Психическая деятельность совершенно на это неспособна, поэтому Мюнстерберг приходит к общему выводу, что бессознательное — физиологический процесс, что это объяснение не оставляет места для мистических теорий, к которым легко прийти от понятия подсознательной психической жизни. По его словам, одно из немаловажных достоинств научного физиологического объяснения в том и заключается, что оно мешает такой псевдофилософии. Однако Мюнстерберг полагает, что при исследовании бессознательного мы можем пользоваться терминологией психологии — с условием, чтобы психологические термины служили только ярлыками для крайне сложных нервных физиологических процессов. В частности, Мюнстерберг говорит, что, если бы ему пришлось писать историю женщины, у которой наблюдалось раздвоение сознания, он бы рассматривал все подсознательные процессы как физиологические, но ради удобства и ясности описывал их на языке психологии.

В одном Мюнстерберг несомненно прав. Такое физиологическое объяснение подсознательного закрывает двери для мистических теорий и, наоборот, признание, что бессознательное психично, часто приводит, как Э. Гартмана [15], действительно к мистической теории, допускающей, наряду с существованием сознательной личности, существование второго «я», которое построено по тому же образцу и которое, в сущности говоря, является воскрешением старой идеи о душе, но только в новой и более путаной редакции.

Для того чтобы обзор наш был полным, а оценка нового разрешения вопроса достаточно ясной, мы должны упомянуть, что существует и третий путь разъяснения проблемы бессознательного в старой психологии, именно тот путь, который избрал Фрейд. Мы уже указывали на двойственность этого пути. Фрейд не решает основного, по существу и неразрешимого вопроса, психично ли бессознательное или не психично. Он говорит, что, исследуя поведение и переживания нервных больных, он наталкивался на известные пробелы, опущенные связи, забывания, которые он путем анализа восстанавливал.

Фрейд рассказывает об одной больной, которая производила навязчивые действия, причем смысл действий оставался ей неизвестным. Анализ вскрыл предпосылки, из которых вытекали эти бессознательные действия. По словам Фрейда, она вела себя точно так, как загипнотизированный, которому И. Бернгейм [16] внушал, чтобы 5 минут спустя после пробуждения он открыл в палате зонтик, и который выполнял это внушение в состоянии бодрствования, не умея объяснить мотива своего поступка. При таком положении вещей Фрейд говорит о существовании бессознательных душевных

процессов. Фрейд готов отказаться от своего предположения об их существовании лишь в том случае, если кто-нибудь опишет эти факты более конкретным научным образом, а до того он настаивает на этом положении и с удивлением пожимает плечами, отказываясь понимать, когда ему возражают, что бессознательное не представляет собою в данном случае в научном смысле нечто реальное.

Непонятно, как это нечто нереальное оказывает в то же время такое реально ощутимое влияние, как навязчивое действие. В этом следует разобраться, так как теория Фрейда принадлежит к числу самых сложных из всех концепций бессознательного. Как видим, для Фрейда бессознательное, с одной стороны, есть нечто реальное, действительно вызывающее навязчивое действие, а не только ярлык или способ выражения. Он этим как бы прямо возражает на положение Мюнстерберга, но, с другой стороны, какова же природа этого бессознательного, Фрейд не разъясняет.

Нам кажется, что Фрейд создает здесь известное понятие, которое трудно наглядно представить, но которое существует часто и в теориях физики. Бессознательная идея, говорит он, так же невозможна фактически, как невозможен невесомый, не производящий трения эфир. Она не больше и не меньше немыслима, чем математическое понятие «—1». По мнению автора, употреблять такие понятия можно; необходимо только ясно понимать, что мы говорим об отвлеченных понятиях, а не о фактах.

Но в этом-то как раз и заключается слабая сторона психоанализа, на которую указывал Э. Шпрангер. С одной стороны, бессознательное для Фрейда — способ описывать известные факты, т. е. система условных понятий, с другой — он настаивает на том, что бессознательное является фактом, оказывающим такое явное влияние, как навязчивое действие. Сам Фрейд в другой книге говорит, что он с охотой все эти психологические термины заменил бы физиологическими, но современная физиология не представляет таких понятий в его распоряжение.

Как нам кажется, эту же точку зрения, не называя Фрейда, последовательно выражает Э. Дале, говоря о том, что психические связи и действия или явления должны объясняться из психических же связей и причин, хотя бы для этого приходилось вступать иногда на путь более или менее широких гипотез. Физиологические толкования и аналогия по этой причине могут иметь только вспомогательное или провизорное эвристическое значение для собственных объяснительных задач и гипотез психологии, психологические построения и гипотезы представляют собой только мысленное продолжение описания однородных явлений в одной и той же самостоятельной системе действительности. Итак, задачи психологии как самостоятельной науки и теоретико-познавательные требования приписывают ей бороться против узурпационных попыток физиологии, не смущаться действительными или кажущимися пробелами

и перерывами в картине нашей сознательной душевной жизни и искать их восполнения в таких звеньях или модификациях психического, которые не являются объектом полного, непосредственного и постоянного сознания, т. е. в элементах того, что называют подсознательным, малосознательным или бессознательным.

В диалектической психологии проблема бессознательного ставится совершенно иначе: там, где психическое принималось как оторванное и изолированное от физиологических процессов, обо всяком решительно явлении естествен был вопрос: психично ли оно или физиологично? В первом случае проблема бессознательного решалась по пути Павлова, во втором — по пути понимающей психологии. Гартман и Мюнстерберг в проблеме бессознательного соответствуют Гуссерлю и Павлову в проблеме психологии вообще.

Для нас важно поставить вопрос так: психологично ли бессознательное, может ли оно рассматриваться в ряду однородных явлений, как известный момент в процессах поведения наряду с теми целостными психологическими процессами, о которых мы говорили выше? И на этот вопрос мы уже заранее дали ответ в нашем рассмотрении психики. Мы условились рассматривать психику как составное сложного процесса, который совершенно не покрывается его сознательной частью, и потому нам представляется, что в психологии совершенно законно говорить о психологически сознательном и о психологически бессознательном: бессознательное есть потенциально-сознательное.

Нам хотелось бы только указать на отличие этой точки зрения от точки зрения Фрейда. Для него понятие бессознательного является, как мы уже говорили, с одной стороны, способом описания фактов, а с другой — чем-то реальным, что приводит к непосредственным действиям. Здесь и заключена вся проблема. Последний вопрос мы можем поставить так: допустим, что бессознательное психично и обладает всеми свойствами психического, кроме того, что оно не является сознательным переживанием. Но разве и сознательное психическое явление может непосредственно производить действие? Ведь, как мы говорили выше, во всех случаях, когда психическим явлениям приписывается действие, речь идет о том, что действие произвел весь психофизиологический целостный процесс, а не одна его психическая сторона. Таким образом, уже самый характер бессознательного, заключающийся в том, что оно оказывает влияние на сознательные процессы и поведение, требует признания его психофизиологическим явлением.

Другой вопрос заключается в том, что для описания фактов мы должны брать такие понятия, которые соответствуют природе этих фактов, и преимущество диалектической точки зрения на этот вопрос и заключается в утверждении, что бессознательное не психично и не физиологично, а психофизиологично или, вернее сказать, психологично. Данное определение соответствует реальной природе и

реальным особенностям самого предмета, так как все явления поведения рассматриваются нами в плане целостных процессов.

Далее, мы хотели бы указать, что попытки выйти из тупика, в который старая психология была заведена неумением разрешать основные проблемы, связанные с психикой и сознанием, делались неоднократно. Например, В. Штерн пытается преодолеть этот тупик, введя понятие психофизических нейтральных функций и процессов, т. е. процессов, не являющихся ни физическими, ни психическими, но лежащими по ту сторону этого разделения.

Но ведь реально существуют только психическое и физическое, а нейтральной может быть лишь условная конструкция. Совершенно ясно, что такая условная конструкция будет нас всегда уводить от реального предмета, так как он существует действительно, и только диалектическая психология, утверждающая, что предмет психологии является не психофизически нейтральным, а психофизиологически единым целостным явлением, которое мы условно называем психологическим явлением, способна указать выход.

Все попытки, подобные попытке Штерна, знаменательны в том отношении, что они хотят разрушить созданное старой психологией мнение, будто между психическим и психологическим можно провести знак равенства, они показывают, что предметом психологии являются не психические явления, но нечто более сложное и целое, в состав которого психическое входит только как органический член и что можно было бы назвать психологическим. Только в раскрытии содержания этого понятия диалектическая психология резко расходится со всеми остальными попытками.

В заключение мы хотели бы указать, что все положительные достижения и субъективной, и объективной психологии находят свою действительную реализацию в той новой постановке вопроса, которую дает нам психология диалектическая.

Укажем сначала на один момент: уже субъективная психология обнаружила целый ряд свойств психических явлений, которые свое действительное объяснение, свою действительную оценку могут получить только в этой новой постановке вопроса. Так, старая психология отмечала в качестве особых отличительных свойств психических явлений их непосредственность, своеобразный способ их познания (самонаблюдение) или более или менее тесное отношение к личности, к «я» и т. д. Ф. Брентано выдвинул как основной признак психических явлений их интенциональное отношение к объекту, или то, что они находятся в своеобразном, только для психических явлений характерном, отношении с объектом, т. е. своеобразным способом представляют этот объект или направлены на него.

Оставляя в стороне признак непосредственности, как чисто отрицательный признак, мы видим, что в новой постановке вопроса все такие свойства, как своеобразное представление предмета в психическом явлении, особая связь психических явлений с личностью,

доступность их наблюдения или переживания только субъекту,— все это немаловажная функциональная характеристика этих особых психологических процессов с их психической стороны. Все эти моменты, которые для старой психологии были просто догматами, оживают и становятся предметом исследования в новой психологии.

Возьмем другой момент, с противоположного конца психологии, но показывающий то же самое с не меньшей ясностью. Объективная психология в лице Дж. Уотсона (1926) пыталась подойти к проблеме бессознательного. Этот автор различает вербализованное и невербализованное поведение, указывая на то, что часть процессов поведения с самого начала сопровождается словами, может быть вызываема или замещена словесными процессами. Она нам подотчетна, как говорил Бехтерев. Другая часть невербальна, не связана со словами, а потому неподотчетна. Признак связи со словами выдвигал в свое время и Фрейд, указывавший, что бессознательными являются именно представления, разъединенные со словами.

На тесную связь вербализации и сознательности тех или иных процессов указывали и некоторые критики Фрейда, которые склонны приравнивать бессознательное к асоциальному, а асоциальное к невербальному. Уотсон также видит в вербализации основное отличие сознательного. Он прямо утверждает: все то, что Фрейд называет бессознательным, является в сущности невербальным. Из этого положения Уотсон делает два в высшей степени любопытных вывода. Согласно первому, мы потому и не можем вспомнить самых ранних событий детства, что они происходили тогда, когда поведение наше было еще не вербализовано, и поэтому самая ранняя часть нашей жизни навсегда остается для нас бессознательной. Второй вывод указывает на слабое место психоанализа, которое как раз и заключается в том, что посредством беседы, т. е. словесных реакций, врач пытается воздействовать на бессознательные, т. е. на невербализованные, процессы.

Мы не хотим сказать сейчас, что эти положения Уотсона абсолютно правильны или что они должны стать исходным при анализе проблемы бессознательного, мы хотим сказать только, что то верное зерно, которое заключено в этой связи между бессознательным и бессловесным (ее отмечают и другие авторы), может получить реальное осуществление и развитие только на почве диалектической психологии.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. Н. ЛЕОНТЬЕВА «РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ» [1]

Современная научная психология переживает глубочайший кризис своих методологических основ, подготовленный всем ходом исторического развития этой науки и охвативший всю область психологических исследований с такой полнотой и силой, что он непреложно знаменует начало новой эпохи в психологии и невозможность ее дальнейшего развития на старых путях. Чем бы ни была будущая психология, она во всяком случае не может быть прямым продолжением старой психологии. Кризис и означает поэтому поворотный пункт в истории ее развития, и вся сложность кризиса заключается в том, что в нем сплелись черты прошлой и будущей психологии в такой причудливый сложный узор, что задача распутать его представляет иногда величайшие затруднения и требует специальных исторических, методологических и критических исследований, посвященных этому вопросу.

Как уже сказано, кризис носит настолько всеобъемлющий характер, что нет ни одной сколько-нибудь значительной проблемы психологии, которая не была бы охвачена им. Само собой разумеется, что каждая глава научной психологии переживает этот кризис по-своему. В каждой проблеме кризис находит своеобразное выражение и преломление в зависимости от характера самой проблемы и исторического пути ее развития. Но методологическая природа кризиса остается, по существу, одной и той же во всем многообразии его выражений, во всем богатстве его преломлений сквозь призму отдельных конкретных проблем. Поэтому не только попытка наметить основы и систему психологического знания, но и каждое конкретное исследование, посвященное тому или иному частному психологическому вопросу, может методологически осознать свои отправные точки, свой метод, свою постановку вопроса только в свете того кризиса, которым охвачена вся проблема в целом.

Не представляет исключения и проблема, которой посвящено исследование А. Н. Леонтьева, введением к которому должны служить эти строки. Даже больше: память представляет собой такую психологическую проблему, где основные черты кризиса представлены наиболее отчетливо и ясно.

Как известно, основное содержание психологического кризиса составляет борьба двух непримиримых и принципиально различ-

ных тенденций, которые на всем протяжении развития психологии в различном сплетении лежали в основе психологичесой науки. Эти тенденции в настоящее время достаточно осознаны наиболее дальновидными представителями психологии. Большинством из них осознана и та мысль, что никакого примирения между тенденциями быть не может, а самые немногие и самые смелые из мыслителей начинают понимать, что психологии предстоит кардинальный поворот на пути ее развития, связанный с коренным отказом от этих двух тенденций, до сих пор направлявших ее развитие и определявших ее содержание.

Свое выражение этот кризис нашел в ложной идее двух психологий: естественнонаучной, каузальной, объяснительной психологии и телеологической, описательной, понимающей психологии как двух самостоятельных и совершенно независимых друг от друга теоретических дисциплинах.

Эта борьба двух непримиримых между собой тенденций определила в основном и судьбу исследований памяти в психологии. По правильному замечанию Г. Мюнстерберга, телеологическая психология редко выявляется действительно чисто и последовательно. По большей части она находится в каком-либо внешнем слиянии с элементами каузальной психологии. В таком случае процессы памяти, например, изображаются как причинные, а процессы чувства и воли как интенциональные — смещение, легко возникающее под влиянием наивных представлений повседневной жизни.

И действительно, процессы памяти в психологии обычно трактовались с точки зрения естественнонаучной, каузальной психологии. Устами Э. Геринга [2] была высказана та великая мысль, что память есть общее свойство организованной материи, и целый ряд исследований, развивавшихся под знаком этой мысли, образовал стихийно-материалистическую струю в учении о памяти — внутри общего двойственного смешанного русла эмпирической психологии. Не удивительно поэтому, что крайняя физиологическая точка зрения в психологии, нашедшая высшее выражение в ассоциативном направлении и приведшая к возникновению психологии поведения и рефлексологии, сделала излюбленной и центральной своей темой проблему памяти.

Но, как это неоднократно бывает в истории знания, самое наличие этой точки зрения с необходимостью привело к тому, что на другом полюсе стали накапливаться идеи о памяти совершенно противоположного характера. Специальные психологические закономерности памяти, специфически человеческие формы и способы ее функционирования не могли получить, разумеется, сколько-нибудь удовлетворительного объяснения в той насквозь аналитической постановке проблемы, которая видела конечную цель исследования в сведении высших форм памяти к ее низшим, первичным, зачаточным формам, к ее общеорганической основе и к растворению всей

проблемы в целом в общем, неопределенном, смутном, стоящем почти на границе метафизики понятии мнемы как общей универсальной способности материи.

Метафизический материализм, таким образом, с необходимостью приводил к тому, что на другом полюсе он, последовательно идя по своему пути, превращался в идеалистическую метафизику.

Высшее выражение эта идеалистическая концепция высшей памяти нашла в известной работе А. Бергсона «Материя и память», в которой эта взаимная обусловленность механистической и идеалистической точек зрения выступает с наибольшей ясностью. Бергсон, анализируя двигательную память, лежащую в основе образования привычки, исходит из невозможности подчинить закономерностям этой памяти деятельность человеческой памяти в целом. Из законов привычки не могут быть выведены и объяснены функции воспоминания: таков скрытый, но центральный нерв всей теории, ее основная предпосылка, ее единственное реальное основание, на котором она держится и вместе с которым она падает. Отсюда его учение о двух памятях — памяти мозга и памяти духа.

В этой теории, одним из главнейших аргументов которой является последовательно механистическое воззрение на органическую память, дуализм, характерный для всей психологии в целом и для психологии памяти в частности, приобретает метафизическое обоснование. Мозг для Бергсона, как и для последовательного бихевиориста, просто аппарат для связи внешних импульсов с движениями тела. По нашему мнению, говорит он, головной мозг не что иное, как род телефонной станции, его роль — дать сообщение или заставить ждать. Все развитие нервной системы заключается только в том, что пункты пространства, которые она приводит в связь с двигательными механизмами, становятся все многочисленнее, отдаленнее и сложнее. Но принципиальная роль нервной системы на всем протяжении ее развития остается той же. Она не приобретает качественно новых функций, и головной мозг, этот основной орган мышления человека, по мнению Бергсона, ничем принципиально не отличается от спинного мозга. Между так называемыми перцептивными способностями головного мозга, говорит он, и рефлекторными функциями спинного мозга разница только в степени, а не по существу.

Отсюда, естественно, Бергсон различает две теории памяти. Для одной память есть лишь функция мозга, и между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности; для другой память есть нечто иное, чем функция мозга, и между восприятием и воспоминанием различие не в степени, а по существу. Сам Бергсон становится на сторону второй теории. Для него память есть нечто иное, чем функция мозга. Она есть нечто «абсолютно независимое от материи». «С памятью мы действительно вступаем в область духа»,— формулирует он свою основную идею. Мозг просто орудие,

позволяющее проявиться этой чисто духовной деятельности. Все факты и все аналогии говорят, с его точки зрения, в пользу теории, которая смотрит на мозг только как на посредника между ощущениями и движениями.

Мы видим, таким образом, что дуалистический подход, господствовавший во всей психологии, нашел яркое выражение в учении о двух памятях. Мы видим, далее, как этот дуализм с неизбежностью приводит к идеалистической концепции памяти, все равно — сверху или снизу — к теории абсолютно независимой от материи памяти духа Бергсона или к теории изначальной и универсальной памяти материи, к теории мнемы Семона.

Когда изучаешь психологические исследования памяти, ориентированные в этом направлении, начинает казаться, что эти работы принадлежат к той давно минувшей уже эпохе научного исследования, когда исторический метод был чужд всем наукам и когда О. Конт[3] видел привилегию социологии в применении этого метода. Исторический метод мышления и исследования проникает в психологию позже, чем во все науки.

Положение со времен Конта изменилось радикальным образом. Не только биология, но астрономия, геология и все вообще естествознание усвоило исторический метод мышления, за исключением одной только психологии. В свое время Гегель считал историю привилегией духа и отказывал в этой привилегии природе. Только дух имеет историю, говорил он, а в природе все формы одновременны. Сейчас положение изменилось на обратное. Науки о природе давно усвоили ту истину, что все формы в природе не одновременны, а могут быть поняты только в аспекте исторического развития. Лишь психологи делают исключение для своей науки, полагая, что психология имеет дело с вечными и неизменными явлениями, все равно, выводятся ли эти вечные и неизменные свойства из материи или из духа. Метафизический подход к психологическим явлениям остается здесь и там в одинаковой силе.

Высшее выражение эта антиисторическая идея нашла в известном положении ассоциативной этнической психологии, гласящем, что законы человеческого духа всегда и везде одни и те же. Как это ни странно, но идея развития до сих пор остается еще не усвоенной психологией, несмотря на то что целые ветви психологии посвящены не чему иному, как изучению проблемы развития. Это внутреннее противоречие сказывается в том, что самую проблему развития эти психологи ставят как метафизики.

Известно, какие огромные трудности для психологии памяти представляет проблема развития памяти в детском возрасте. Одни психологи, основываясь на несомненных фактах, утверждали, что память в детском возрасте, как и все остальные функции, развивается. Другие, опираясь на столь же несомненные факты, утверждали, что по мере развития ребенка его память слабеет и свертывает-

ся. Третьи, наконец, пытались примирить оба эти положения, находя, что память в первой половине детства развивается, а во второй — свертывается.

Такое положение не является характерным только для детской психологии. Оно в одинаковой степени характерно и для патологической психологии, которая также не могла постигнуть закономерностей движения памяти в ее распаде. То же самое можно сказать и о зоологической психологии. Для всех этих наук развитие памяти означало не что иное, как чисто количественное нарастание всегда неизменной в самой себе функции.

Все эти затруднения мы могли бы обобщить, сказав, что величайшую трудность для психологии памяти представляло изучение памяти в ее движении, задача уловить разные формы этого движения. Само собой разумеется, что при таком положении дела психологическое исследование наталкивается на непреодолимые трудности.

В настоящее время принято жаловаться на несовершенства и бедственное положение психологии. Многие думают, что психология как наука еще не началась и начнется лишь в более или менее отдаленном будущем. Предисловия к психологическим исследованиям пишутся в минорном тоне: Приам на развалинах Трои, с легкой руки Н. Н. Ланге, не нашедшего лучшего уподобления для современной психологии, гуляет по страницам психологических книг.

Серьезнейшие мыслители, как, например, академик Павлов, готовы принять затруднения того или иного немецкого профессора при составлении программы университетского курса по психологии за роковые затруднения самой науки. Перед войной, говорит он, в 1913 г. в Германии поднялся вопрос об отделении в университетах психологии от философии, т. е. об учреждении двух кафедр вместо прежней одной. В. Вундт оказался противником этого отделения, и, между прочим, на том основании, что по психологии нельзя составить общеобязательной программы для экзамена, так как у каждого профессора своя особая психология. Не ясно ли, заключает академик Павлов, что психология еще не дошла до степени точной науки?

С помощью таких аргументов от программы в двух строках путем несложных операций решается проблема науки, проблема веков прошлых и будущих.

Но психология и не думала умирать, к огорчению плакальщиц. Она пытается осознать собственный план исследования, создать собственную методологию, и в то время как одни, например Мёбиус, объявляют «безнадежность всякой психологии» основным аргументом в пользу метафизики, другие пытаются преодолеть метафизику с помощью научной психологии.

Первой исходной точкой таких исследований является идея

развития: не из свойств памяти объяснить ее развитие, а из ее развития вывести ее свойства — такова основная задача новых исследований, к которым примыкает и работа А. Н. Леонтьева.

Стремление положить в основу своей работы исторический подход к памяти приводит автора к соединению до сих пор метафизически разделенных в психологии методов исследования. Его интересуют развитие и распад, генетический и патологический анализ, его интересует выдающаяся память, как и память полуидиота. И это соединение не случайно. Оно с логической необходимостью вытекает из основной отправной точки всего исследования, из стремления изучить память в аспекте ее исторического развития.

Эмпирическое выделение высших функций памяти не ново. Им мы обязаны экспериментальной психологии, которая сумела эмпирически выделить такие функции, как произвольное внимание и логическая память, но которая давала им метафизическое объяснение. В настоящем исследовании сделана попытка в основу изучения высших функций внимания и памяти — во всем их своеобразии по сравнению с элементарными и в их единстве и связи с этими последними — положить своеобразие того процесса развития, которому они обязаны возникновением. Показать экспериментально *становление* так называемой логической памяти и так называемого произвольного внимания, раскрыть их *психогенезис*, проследить их дальнейшую *судьбу*, понять основные явления памяти и внимания в *перспективе развития* — такова задача этого исследования.

В этом смысле методологически работа Леонтьева определяется нашей центральной краеугольной идеей, идеей исторического развития поведения человека, исторической теорией высших психологических функций. Историческое происхождение и развитие высших психологических функций человека, и в частности высших функций памяти, является, с точки зрения этой теории, ключом к пониманию их природы, состава, строения, способа деятельности и вместе с тем ключом ко всей проблеме психологии человека, пытающейся адекватно раскрыть подлинно человеческое содержание этой психологии.

Вместе с этим внесением исторической точки зрения в психологию выдвигается на первый план и специально психологическая трактовка изучаемых явлений и управляющих ими закономерностей. Это исследование исходит из того убеждения, что существуют специально психологические закономерности, связи, отношения и зависимости явлений, которые и следует изучать в качестве таковых, т. е. психологически.

Мы могли бы повторить тезис, выдвинутый одним из выдающихся представителей современной идеалистической психологии: Psychologica psychologice, вложив в него, однако, принципиально иное содержание. Для идеалистической психологии требование — психологическое изучать психологически — означает прежде всего тре-

бование изолированного изучения психики как самостоятельного царства духа вне всякого отношения к материальной основе человеческого бытия. В сущности, для автора этот тезис означает: психическое абсолютно независимо. Но с формальной стороны этот принцип, требующий изучения психологических закономерностей с психологической точки зрения, глубоко верен. В книге А. Н. Леонтьева и сделана попытка, изменив принципиальное содержание этого требования, последовательно провести психологическую точку зрения на изучаемый предмет.

В связи с этим работа выдвигает и целый ряд положений, имеющих непосредственное практическое значение. Недаром другой стороной вопроса о развитии памяти являлся всегда вопрос о воспитуемости памяти, и надо прямо сказать, что метафизическая постановка вопроса в отношении психологии памяти приводила к тому, что педагогика памяти оставалась без психологического обоснования. Только новая точка зрения, пытающаяся раскрыть психологическую природу памяти с точки зрения ее развития, может нас привести впервые к действительно научно построенной педагогике памяти, к психологическому обоснованию ее воспитания.

Во всех этих отношениях работа Леонтьева представляет первый шаг в исследовании памяти с новой точки зрения, и, как всякий первый опыт, она, конечно, не охватывает всего вопроса в целом и не может претендовать на то, чтобы служить к его более или менее полному разрешению. Но этот первый шаг сделан в совершенно новом и чрезвычайно важном направлении, конечная цель которого может быть определена немногими и простыми словами, к сожалению до сих пор чуждыми большинству психологических исследований в этой области, эти слова: память *человека*.

ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ

Запись основных положений доклада Л. С. Выготского [1]

I. Введение

Психология определяла себя как наука о сознании; но о сознании психология почти ничего не знала.

Постановка проблемы в старой психологии. Например, Т. Липпс: «бессознательное есть проблема *самой психологии*». *Проблема сознания ставилась вне, до психологии.*

В описательной психологии: в отличие от предмета естественных наук в психологии явление и бытие совпадают; отсюда психология — воззрительная наука. Но так как в переживании сознания дан только кусок сознания, то и изучение сознания в целом для исследователя закрыто.

Мы знаем для сознания ряд формальных законов: непрерывность сознания, относительная ясность сознания, единство сознания, тождество сознания, поток сознания.

Учения о сознании в классической психологии. Два основных представления о сознании.

1-е представление. Сознание рассматривается как нечто *внеположное* по отношению к психическим функциям, как некоторое психическое пространство (например, Ясперс: сознание — сцена, на которой разыгрывается драма; в психопатологии мы соответственно и различаем два основных случая: или нарушается действие, или сама сцена). Таким образом, по этому представлению *сознание (как и всякое пространство) лишено всякой качественной характеристики.* Отсюда наука о сознании выступает как наука об идеальных отношениях (геометрия — Э. Гуссерль, «геометрия духа» — В. Дильтей).

2-е представление. Сознание есть некоторое *общее качество*, присущее психологическим процессам. Это качество может быть поэтому и вынесено за скобки, может не идти в счет. И в этом представлении сознание выступает как *бескачественное*, *внеположное*, *неизменное*, *не развивающееся.*

«Бесплодие психологии зависело от того, что проблема сознания разрабатывалась».

Важнейшая проблема. [Сознание рассматривалось то как система функций, то как система явлений (К. Штумпф).]

⟨Проблема ориентирующих точек [в истории психологии].

[В вопросе об отношении сознания к психологическим функциям существовали две основные точки зрения]:

1. Функциональные системы. Прототип — психология способностей. Представление о душевном организме, обладающем деятельностями.

2. Психология переживаний — изучающая отображение, не изучая зеркала (особенно ярко в ассоциативной психологии, парадоксально Gestalt). Вторая (психология переживаний) :а) никогда не была последовательна и не могла такой быть, б) переносила всегда законы одной функции на все другие и т. д.

[Возникающие в связи с этим вопросы]:

1. Отношение деятельности к переживанию (проблема значения).

2. Отношение между функциями. Можно ли из одной функции объяснить все остальные? (Проблема системы.)

3. Отношение функции к явлению (проблема интенциональности).⟩

Как же психология понимала отношение между отдельными деятельностями сознания? (Эта проблема была третьестепенной, для нас она — первостепенная.) На этот вопрос психология отвечала тремя постулатами:

1. Все деятельности сознания работают вместе.

2. Связь деятельностей сознания не меняет ничего существенного в самих деятельностях, ибо они связаны *не необходимо*, а как данности одной личности («имеют одного хозяина»; У. Джемс — письмо к Штумпфу).

3. Эта связь принимается как постулат, а не как проблема. ⟨Связь функций неизменна.⟩

II. Наша основная гипотеза, представленная извне

Наша проблема. Связь деятельностей сознания не является постоянной. Она существенная для каждой отдельной деятельности. Эту связь нужно сделать проблемой исследования.

Замечание. Наша позиция есть позиция, противоположная гештальтпсихологии, которая «сделала из проблемы постулат» — предположила наперед, что всякая деятельность структурна; [для нас характерно обратное: мы постулат делаем проблемой].

Связь деятельностей — это есть центральный пункт в изучении всякой системы.

Разъяснение. Проблема связи должна быть с самого начала противопоставлена атомистической проблеме. *Сознание изначально есть нечто целое* — это мы постулируем. *Сознание определяет судьбу*

системы, как организм — функции. В качестве объяснения любого межфункционального изменения нужно взять изменение сознания в целом.

III. Гипотеза «изнутри», т. е. с точки зрения наших работ

(Введение: важность знака; его социальный смысл.) В старых работах мы игнорировали то, что знаку присуще значение. («Но есть время собирать камни и время разбрасывать» (Экклезиаст).) Мы исходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки. Но уже в старых исследованиях проблема значения была заключена. Если прежде нашей задачей было показать общее между «узелком» и логической памятью, теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующее между ними различие.

Из наших работ вытекает, что *знак изменяет межфункциональные отношения.*

IV. Гипотеза «снизу»

Психология животных.

После В. Келера наступила новая эпоха в зоопсихологии ... .

Концепция В. А. Вагнера: 1) развитие по чистым и смешанным линиям; 2) .... (с. 38); 3) по чистым линиям — развитие мутационное; 4) по смешанным — адаптативное; 5) .... (с. 69—70).

Человеко ли подобно поведение антропоидных обезьян? Правильный ли критерий разумности применил Келер? Замкнутое целостное действие в соответствии со структурой поля и у ласточки... Ограниченность действия обезьяны лежит в связанности ее действия. *Вещи для нее не имеют константного значения.* Палка у обезьяны не становится орудием, *она не имеет значения орудия.* Обезьяна лишь «дополняет» треугольник, и только. То же у Жибье на собаках.

Выводы отсюда. Три ступени. Условнорефлекторная деятельность — деятельность, возбуждающая инстинкт. Деятельность обезьяны тоже инстинктивна, это лишь *интеллектуальная вариация инстинкта,* т. е. новый механизм той же деятельности. Интеллект обезьяны есть результат развития по чистым линиям: интеллект еще не перестроил ее сознания.

[Апология Келера у О. Зельца [2]. Келер в новом издании указывает, что Зельц «единственный, кто правильно интерпретировал мои опыты» (с. 675—677).]

У Коффки: «Глубокое родство» поведения обезьяны с интеллектом человека; но и ограничение: *у обезьяны действие побуждается инстинктом и только способ разумен.* Это действия неволевые. Ибо воля — свобода от ситуации (спортсмен останавливается, видя, что он все равно не выиграет состязания).

Человек хочет палку, обезьяна — плод. ⟨Обезьяна не хочет орудия. Она не изготовляет его на будущее. Для нее это средство удовлетворения инстинктивного желания.⟩

Орудие. *Орудие требует отвлечения от ситуации. Употребление орудия требует иной стимуляции, мотивации. Орудие связано со значением (предмета).*

(Келер.) (Келер дал свою работу в полемике с Э. Торндайком).

Выводы.

1. В животном мире появление новых функций связано с изменением мозга (по формуле Эдингера); у человека это не так. ⟨Параллелизм психологического и морфологического развития в зоологическом мире, во всяком случае когда оно идет по чистым линиям.⟩

2. В животном мире — развитие по чистым линиям. Адаптативное развитие уже по системному принципу. ⟨Человек не может быть отличен по одному признаку (интеллект, воля), а принципиально по его отношению к действительности.⟩

3. Интеллект келеровских обезьян — в царстве инстинкта. Два отличающих его момента: а) интеллект не перестраивает системы поведения, б) нет орудия, нет у орудия з н а ч е н и я, нет и предметного значения. Стимуляция остается инстинктивной («Орудие требует абстракции»).

К. Бойтендейк: Животное не выделяет себя из ситуации, не осознает ее.

Животное отличается от человека иной организацией сознания. «Ч е л о в е к а о т л и ч а е т о т ж и в о т н о г о е г о с о з н а н и е».

У. Джемс (с. 314):	У животного	У человека
	изолят	абстракт
	конструкт	
	рецепт	концепт
	инфлиент	

(гештальтпсихологию) [Наше различие со структурной психологией: структурная психология есть н а т у р а л и с т и ч е с к а я психология, как и рефлексология. Значение и структура часто отождествляются в этой психологии.]

V. «Вовнутрь»

1. Семический анализ в узком смысле.

Всякое слово имеет значение; что такое значение слова?

— *Значение не совпадает с логическим значением.* (Бессмысленное имеет значение.)

В чем своеобразие нашей постановки вопроса?

— Речь рассматривали как о д е ж д у мысли (вюрцбургская школа) или как навык (бихевиоризм). Там, где значения изучались,

они изучались либо: а) с ассоциативной точки зрения, т. е. значение выступало как *напоминание* вещи, либо б) с точки зрения того, что в нас (феноменологически) происходит при восприятии значения слов (Г. Уотт)[3].

[Речь не существенна для мышления — Вюрцбург; речь равна мышлению — бихевиористы.]

Неизменное положение у всех авторов: значение всех слов неизменно, значение не развивается.

Изменение слов рассматривалось:

в лингвистике — как движение слова; общий характер — абстрактный характер, это лингвистическое значение, не психологическое;

в психологии (Ф. Полан); значение остается застывшим; изменяется с м ы с л. Смысл слова — это все психологические процессы, возбуждаемые данным словом. И здесь нет развития, движения, ибо принцип построения смысла остается один и тот же. Полан расширяет понятие «смысл»;

в психологической лингвистике и **в психологии** рассматривалось изменение значения от контекста (переносное значение, ироническое etc.).

Во всех этих теориях (+В. Штерн) развитие значения дано как начальный момент, внутри которого и заканчивается этот процесс.

(Штерн: ребенок открывает номинативную функцию. Это остается постоянным принципом отношения знака и значения. Развитие у Штерна сводится к расширению словаря, к развитию грамматики, синтаксиса, к расширению или стягиванию значения. *Но принцип остается тем же.*)

«Всегда в основе анализа лежало утверждение, что значение константно, т. е. что *отношение мысли к слову остается постоянным*».

«З н а ч е н и е е с т ь п у т ь о т м ы с л и к с л о в у». ⟨Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определенное — это внутренняя структура знаковой операции. Это то, что лежит между мыслью и словом. Значение не равно слову, не равно мысли. Это неравенство раскрывается в несовпадении линий развития.⟩

2. От внешней речи к внутренней.

А. Внешняя речь.

Что значит открыть значение?

В речи мы должны различать семическую и фазическую стороны; их связывает отношение единства, а не тождества. Слово не просто заместитель вещи. Например, опыты Инжиньероса с «присутствующими значениями».

Доказательство. Первое слово есть фазически слово, семически же — предложение.

Развитие идет: *фазически* от изолированного слова к предложению, к придаточному предложению, *семически* от предложения к имени. Т. е. «*развитие семической стороны речи не идет параллельно (не совпадает) с развитием ее фазической стороны*». [Развитие фазической стороны речи опережает развитие семической ее стороны.]

«Логика и грамматика не совпадают». И в мысли, и в речи психологическое сказуемое и подлежащее и грамматическое не совпадают. ⟨«Грамматика духа». Думали, что фазический момент — печать духа на речи.⟩ Существуют два синтаксирования — *смысловое* и *фазическое*.

А. Гельб: грамматика думания и грамматика речи.

«*Грамматика речи не совпадает с грамматикой мысли*».

[Какие изменения нам дает психопатологический материал? а) человек может говорить неловко...; б) говорящий сам не знает, что хочет сказать; в) мешают рамки языка (сознательное, осознанное расхождение); г) грамматическая конкуренция.]

[Пример из Ф. М. Достоевского («Дневник писателя»).]

Итак: *существует несовпадение семической и фазической сторон речи*.

Запись выступления Л. С. Выготского по докладу А. Р. Лурия

[Недостаточность Л. Леви-Брюля заключается в том, что он принимает речь за нечто константное. Это ведет его к парадоксам. Стоит только допустить, что значения и их соединения (синтаксис) другие, чем у нас, и все нелепости падают. То же в исследовании афазии — не различаются фонема и значение.]

⟨Раньше мы вели анализ в плане поведения, а не в плане сознания — отсюда абстрактность выводов. Для нас (теперь) основное — движение смыслов. Например, сходство внешней структуры знаковых операций у афазиков, шизофреников, дебилов, примитивов. Но семический анализ вскрывает, что внутренне их структура — значения иные (проблема семической афазии).⟩

Значение не равно мысли, выраженной в слове.

В речи не совпадают ее семическая и фазическая стороны: так, развитие речи идет фазически от слова к фразе, семически же ребенок начинает с фразы. [Ср. сливание слов во фразы у малограмотных.]

Логическое и синтаксическое тоже не совпадают. Пример: «Часы упали» — синтаксически здесь «часы» — подлежащее, «упали» — сказуемое. Но когда это говорят в ответ на вопрос «Что случилось?»; «Что упало?», то логически здесь *упали* есть подлежащее,

часы — сказуемое (т. е. новое). Другой пример: «Мой брат прочитал эту книгу» — на любом слове может быть логический акцент.

[Речь без суждения у микроцефалов etc.]

Мысль, которую хочет выразить человек, не совпадает не только с фазической, но и с семической стороной речи. Пример: мысль «Я не виноват» может быть выражена в значениях: «Я хотел стереть пыль»; «Я не трогал вещи»; «Часы сами упали» etc. Само «Я не виноват» так же не выражает абсолютно мысль (не равно ей?); сама эта фраза имеет свой семический синтаксис.

Мысль — облако, из которого речь источается в каплях.

Мысль иначе построена, чем ее речевое выражение. Мысль прямо не выразима в слове.

(К. С. Станиславский: за текстом лежит подтекст.) *Всякая речь имеет заднюю мысль. Всякая речь есть иносказание.* [В чем эта задняя мысль? Крестьянский ходок у Г. Успенского говорит: «Языка нет у нашего брата».]

Но мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению. Мысль стремится, выполняет какую-то функцию, работу. Эта работа мысли есть переход от чувствования задачи — через построение значения — к развертыванию самой мысли.

[Семически «часы упали» относится к соответствующей мысли, как смысловая связь при опосредованном запоминании относится к запоминаемому.]

Мысль совершается в слове, а не выражается только в нем.

Мысль есть внутренний опосредованный процесс ⟨Это путь от смутного желания к опосредованному выражению через значения, вернее, не к выражению, а к совершенствованию мысли в слове.⟩

Внутренняя речь существует уже изначально (?).

Нет вообще знака без значения. Смыслообразование есть главная функция знака. Значение есть всюду, где есть знак. Это есть внутренняя сторона знака. Но в сознании есть и нечто, что ничего не значит.

Вюрцбург заключался в попытке пробиться к мысли. Задача психологии — изучать не только эти сгустки, но и их опосредование, т. е. изучать то, как эти сгустки действуют, как совершается мысль в слове. ⟨Неправильно думать (как это делали вюрцбургцы), что задача психологии заключается в исследовании этих непролившихся туч.⟩

Б. Внутренняя речь

Во внутренней речи несовпадение между семантической и фазической сторонами еще резче.

Что такое внутренняя речь?

1) Речь минус знак (т. е. все, что предшествует фонации). ⟨Нужно различать непроизнесенную речь и внутреннюю речь (здесь ошибались Л. Джексон и Г. Хэд).⟩

2) Мысленное произнесение слов (вербальная память — Ж. Шарко). Здесь учение о типах внутренней речи совпадает с типами представлений (памяти). Это как бы подготовка внешней речи.

3) *Современное* (наше) *понимание внутренней речи.*

Внутренняя речь строится совершенно иначе, чем речь внешняя. В ней иное отношение между фазическими и семическими моментами.

Внутренняя речь абстрактна в двух отношениях: а) она абстрактна в отношении в с е й з в у ч а щ е й р е ч и, т. е. воспроизводит только семасиологизированные фонетические черты ее (например: три *ррр* в слове *рррреволюция*...), и б) она аграмматична; всякое слово в ней предикативно. Грамматика ее иная, чем грамматика семической внешней речи: во внутренней речи значения связываются между собой иначе, чем в речи внешней; слияние во внутренней речи совершается по типу агглютинации.

[Агглютинация слов возможна именно благодаря внутренней агглютинации.] ⟨Идиомы получают наибольшее распространение во внутренней речи.⟩

Влияние смыслов: слово в контексте и ограничивается и обогащается; слово в б и р а е т в себя смысл контекстов = агглютинация. Последующее слово содержит в себе предыдущее.

«Внутренняя речь строится предикативно».

[Трудности перевода зависят от сложного пути переходов из плана в план: мысль → значения → фазическая внешняя речь.]

П и с ь м е н н а я р е ч ь. [Трудности письменной речи: она безинтонационная, без собеседника. Она представляет собой символизацию символов; в ней труднее мотивация.

Письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи, она возникает позже внутренней речи, она самая грамматичная. Но она стоит ближе к внутренней речи, чем внешняя речь; она ассоциируется со значениями, минуя внешнюю речь.]

Резюме: во внутренней речи мы имеем дело с н о в о й формой речи, где все иначе.

В. Мысль

Мысль также имеет независимое бытие; она не совпадает со значениями.

Нужно найти известную конструкцию значений, чтобы выразить мысль. [Текст и подтекст.]

Пояснение. Это можно пояснить на примере амнезии. Можно забыть:

а) мотив, намерение;

б) что именно? (Мысль?);

в) значения, через которые хотел выразить;

г) слова.

«Мысль совершается в слове». Трудности совершения. ⟨Невозможность выразить мысль непосредственно. Ступени амнезии — ступени опосредования (перехода) от мысли к слову — ступени опосредования мысли значением.⟩

Понимание. Настоящее понимание заключается в проникновении в мотивы собеседника.

Смысл слов меняется от мотива. Таким образом, конечное объяснение лежит в мотивации; особенно это ярко в младенческом возрасте. ⟨Исследование Д. Каца детских высказываний. Работа Штольца (психолог — лингвист — почтовый цензор в военное время); анализ писем военнопленных о голоде.⟩

Выводы из этой части.

Значение слова не равно простой раз навсегда данной вещи (contra Полан).

Значение слова есть всегда обобщение; за словом всегда есть процесс обобщения — значение возникает там, где обобщение. Развитие значения = развитию обобщения!

Принципы обобщения могут изменяться. *«В развитии меняется структура обобщения»* (развивается, расслаивается, процесс осуществляется иначе).

[Процесс осуществления мысли в значении — сложное явление, уходящее внутрь «от мотивов к говорению» (?).]

«В значении всегда дана обобщенная действительность» (Л. С.).

VI. Вширь и вдаль

[Основные вопросы]: 1) значение слова прорастает в сознание; какое значение это имеет для самого сознания? 2) отчего изменяется и как изменяется значение?

[Первые ответы]: 1) слово, прорастая в сознание, изменяет все отношения и процессы; 2) само значение слова развивается в зависимости от изменения сознания.

Роль значения в жизни сознания

«Сказать = дать теорию».

«Мир предметов возникает там, где возникает мир названий» (Л. С.— Дж. Ст. Милль).

«Постоянство и категориальная предметность предмета есть значение предмета». [Ленин о выделении себя из мира.] ⟨Это значение, эта предметность даны уже в восприятии.⟩

«Всякое наше восприятие имеет значение». Любое бессмысленное мы воспринимаем (как осмысленное), приписывая ему значение.

Значение предмета не есть значение слова. «Предмет имеет значение» — это значит, что он входит в общение.

Знать значение — знать единичное как всеобщее.

«*Процессы сознания человека благодаря тому, что они названы, т. е. обобщены, имеют свое значение*». (Это не в том смысле, как по отношению слова.— *Л. С.*)

Значение присуще знаку.

Смысл — то, что входит в значение (результат значения), но не закреплено за знаком.

Смыслоообразование — *результат, продукт значения*. Смысл шире значения.

Сознание — 1) знание в связи; 2) сознание (социальное).

[Первые вопросы детей никогда не суть вопросы о названии; это суть вопросы о смысле предмета.] ⟨Осмысленное не есть просто структурное (против гештальттеории).⟩

Сознание в целом имеет смысловое строение. *Мы судим о сознании в зависимости от смыслового строения сознания, ибо смысл, строение сознания — отношение к внешнему миру*.

Возникают смысловые связи в сознании (стыд, гордость — иерархия... Сон кафра, Маша Болконская молится, когда другой думает...).

Смыслообразующая деятельность значений приводит к определенному смысловому строению самого сознания.

Речь, таким образом, неправильно рассматривалась только по отношению к мышлению. *Речь производит изменения в сознании*. «Речь — коррелят сознания, а не мышления».

«Мышление не ворота, через которые речь входит в сознание» *(Л. С.)*. Речь есть знак для общения сознаний. Отношение речи и сознания — психофизическая проблема. ⟨И вместе с тем нарушает границы сознания.⟩

Первые общения ребенка, как и ранний праксис, не интеллектуальны. ⟨Никто не доказал, что первое общение интеллектуально.⟩ Ребенок вовсе не говорит только тогда, когда он думает.

«*Речь своим появлением принципиально изменяет сознание*».

Что движет значениями, что определяет их развитие? «Сотрудничество сознаний». Процесс отчуждения сознания.

Сознанию присуще расщепление. Сознанию присуще слияние. ⟨Они необходимы сознанию.⟩

Как возникает обобщение? Как изменяется структура сознания?

Либо: человек прибегает к знаку; знак рождает значение; значение прорастает в сознание. Это *не* так.

Значение определяется межфункциональными отношениями = сознанием, деятельностью сознания. «Структура значения определяется системным строением сознания». Сознание имеет системное строение. Системы стабильны — характеризуют сознание.

Заключение

«Семический анализ есть единственный адекватный метод изучения системного и смыслового строения сознания». Как структурный метод есть адекватный метод исследования животного сознания.

Наше слово в психологии: от поверхностной психологии — в сознании явление не равно бытию. Но мы себя противопоставляем и глубинной психологии. Наша психология — вершинная психология (определяет не «глубины», а «вершины» личности).

Путь к внутренним скрытым движениям как тенденция современной науки (химия к структуре атома, физиология пищеварения к витаминам и т. д.). В психологии у нас раньше попытки понять логическую память как завязывание узла, теперь как смысловое запоминание. Глубинная психология утверждает, что вещи суть то, что они были. Бессознательное не развивается — это величайшее открытие. Сновидение светит отраженным светом, подобно Луне.

Это видно из того, как понимается нами развитие. Как трансформация того, что дано сначала? Как новообразования? Тогда важнейшим является позднейшее!

«Вначале было дело (а не: дело было вначале), в конце стало слово, и это важнейшее» (Л. С.). Каково значение сказанного? «С меня довольно сего сознания», т. е. сейчас довольно того, что проблема поставлена.

Приложение

Из подготовительной работы по тезисам к дискуссии 1933—1934 гг.

Запись выступлений Л. С. Выготского 5 и 9. 12.33 г.

Центральный факт нашей психологии — факт опосредования.

Общение и обобщение. Внутренняя сторона опосредования открывается в двойной функции знака: 1) общение, 2) обобщение. Ибо: всякое общение требует обобщения.

Общение возможно и непосредственно, но опосредованное общение есть общение в знаках, обобщение здесь необходимо. («Всякое слово (речь) уже *обобщает*») (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 246).

Факт: у ребенка общение и обобщение не совпадают: поэтому общение здесь непосредственно.

Среднее — указательный жест. Жест — это знак, могущий значить все.

Закон: какова форма общения, таково и обобщение. «Общение и обобщение внутренне связаны между собой».

Люди общаются друг с другом значениями только в меру развития значений.

Схема здесь: не человек — вещь (Штерн), не человек — человек (Пиаже). Но: человек — вещь — человек.

Обобщение. Что такое обобщение?

Обобщение есть выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры.

Значение и система функций внутренне связаны между собой.

Значение относится не к мышлению, а ко всему сознанию.

ПСИХОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ[1]

Правомерность и плодотворность психологического подхода к проблеме локализации вытекает из того обстоятельства, что господствующие в данную эпоху психологические воззрения всегда оказывали большое влияние на представления о локализации психических функций (ассоциативная психология и атомистическое учение о локализации, структурная психология и тенденция современных ученых к интегративному пониманию локализации). Проблема локализации есть, в сущности, проблема отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга. Поэтому то или иное представление о том, что локализуется, не может быть безразличным для решения вопроса о характере локализации.

Наиболее прогрессивные современные учения о локализации справились с задачей преодоления основных недостатков классического учения, но сами не смогли удовлетворительно разрешить проблему локализации психических функций главным образом из-за недостаточности применяемого ими структурно-психологического анализа локализуемых функций. Мощное продвижение учения о локализации, возникшее благодаря успехам гистологии, цитоархитектоники мозга и клиники, не может осуществить всех заложенных в нем возможностей из-за отсутствия соответствующей по сложности и адекватной по силе системы психологического анализа. В частности, это наиболее резко сказывается в проблеме локализации специфически человеческих областей мозга. Несовершенство делокализационной точки зрения и недостаточность формулы «мозг как целое» осознается большинством современных исследователей. Однако применяемый ими обычно функциональный анализ, основанный на принципах структурной психологии, оказался настолько же бессильным вывести учение о локализации за пределы этой формулы, насколько он оказался плодотворным и ценным в решении первой критической части задачи, стоявшей перед новыми теориями (преодоление атомистического учения).

Структурная психология, на которой основываются новейшие теории, по самому своему существу не позволяет пойти дальше признания за каждым мозговым центром двух функций: специфической, связанной с одним определенным видом деятельности сознания, и неспецифической, связанной с любой другой деятельностью

сознания (учение К. Гольдштейна о фигуре и фоне, учение К. Лешли [2] о специфической и неспецифической функциях зрительной коры). Это учение, по существу, соединяет старое классическое учение о строгом соответствии структурных и функциональных единиц, о специализации отдельных участков для определенных ограниченных функций (учение о специфической функции центров) и новое, делокализационное по своим тенденциям воззрение, отрицающее такое соответствие и такую функциональную специализацию отдельных участков и исходящее из формулы «мозг как целое» (учение о неспецифической функции центров, в отношении которой все центры эквивалентны).

Таким образом, эти учения не поднимаются над обеими крайностями в теории локализации, а механически совмещают их, включая в себя все недостатки старого и нового учения: узколокализационного и антилокализационного. Это с особенной силой сказывается в проблеме локализации высших психических функций, связанных со специфически человеческими областями мозга (лобные и теменные доли). В этом вопросе исследователи силой фактов вынуждены выйти за пределы понятий структурной психологии и вводить новые психологические понятия (учение о категориальном мышлении Гольдштейна, учение о символической функции Г. Хэда [3], учение о категоризации восприятия О. Петцля и др.).

Однако эти психологические понятия снова сводятся теми же исследователями к основным и элементарным структурным функциям («основная функция мозга» у Гольдштейна, структурирование у Петцля) или превращаются в изначальные метафизические сущности (Хэд). Таким образом, вращаясь в порочном кругу структурной психологии, учение о локализации специфически человеческих функций колеблется между полюсами крайнего натурализма и крайнего спиритуализма.

Адекватная с точки зрения учения о локализации система психологического анализа, по нашему убеждению, должна быть основана на исторической теории высших психических функций, в основе которой лежит учение о системном и смысловом строении сознания человека, учение, исходящее из признания первостепенного значения: а) изменчивости межфункциональных связей и отношений; б) образования сложных динамических систем, интегрирующих целый ряд элементарных функций; в) обобщенного отражения действительности в сознании. Все эти три момента представляют с точки зрения защищаемой нами теории самые существенные и основные связанные в единство особенности человеческого сознания и являются выражением того закона, согласно которому диалектический скачок есть не только переход от неодушевленной материи к ощущению, но и переход от ощущения к мышлению. Применяемая нами в течение нескольких лет в качестве рабочей гипотезы, эта теория привела нас при исследовании ряда проблем клинической

психологии к трем основным положениям, касающимся проблемы локализации. Их можно, в свою очередь, рассматривать как рабочие гипотезы, хорошо объясняющие главнейшие из известных нам клинических фактов, относящихся к проблеме локализации, и позволяющие вести экспериментальные исследования.

Первый из наших выводов касается вопроса о функции целого и части в деятельности мозга. Анализ афазических, агностических и апраксических расстройств заставляет признать непригодность того разрешения вопроса о функциях целого и части, которое мы находим в учениях Гольдштейна и Лешли. Признание двойной (специфической и неспецифической) функции за каждым центром не в состоянии адекватно объяснить всю сложность получаемых в эксперименте фактов при названных выше расстройствах. Исследование заставляет прийти к обратному в известном смысле решению этого вопроса. Оно показывает, во-первых, что каждая специфическая функция никогда не связана с деятельностью одного какого-нибудь центра, но всегда представляет собой продукт интегральной деятельности строго дифференцированных, иерархически связанных между собой центров. Исследование показывает, во-вторых, что функция мозга как целого, служащая образованию фона, также не складывается из нерасчлененной, однородной в функциональном отношении совокупной деятельности всех прочих центров, а представляет собой продукт интегральной деятельности расчлененных, дифференцированных и снова иерархически объединенных между собой функций отдельных участков мозга, не участвующих непосредственно в образовании фигуры. Таким образом, как функция целого, так и функция части в деятельности мозга не представляют собой простой, однородной, нерасчлененной функции, которая выполняется в одном случае гомогенным в функциональном отношении мозгом как целым, а в другом — столь же гомогенным специализированным центром. Мы находим расчленение и единство, интегративную деятельность центров и их функциональную дифференциацию как в функции целого, так и в функции части. Дифференциация и интеграция не только не исключают друг друга, но скорее предполагают одна другую и в известном отношении идут параллельно. При этом самым существенным оказывается то обстоятельство, что для разных функций следует предположить и различную структуру межцентральных отношений; во всяком случае, можно считать установленным, что отношения функций целого и функций части бывают существенно иными тогда, когда фигура в мозговой деятельности представлена высшими психическими функциями, а фон — низшими, и тогда, когда, наоборот, фигура представлена низшими функциями, а фон — высшими. Такие явления, как автоматизированное и деавтоматизированное течение какого-либо процесса или осуществление одной и той же функции на различном уровне и т. п., могут получить свое предположительное объяснение с точки зрения только

что описанных особенностей строения межцентральных отношений при различных формах деятельности сознания.

Экспериментальные исследования, которые послужили фактическим материалом для сформулированных выше обобщений, приводят нас к двум следующим положениям:

1. При каком-либо очаговом поражении (афазия, агнозия, апраксия) все прочие функции, не связанные непосредственно с пораженным участком, страдают специфическим образом и никогда не обнаруживают равномерного снижения, как этого следовало бы ожидать согласно теории эквивалентности любых участков мозга в отношении их неспецифической функции.

2. Одна и та же функция, не связанная с пораженным участком, страдает также совершенно своеобразно, совершенно специфическим образом при различной локализации поражения, а не обнаруживает одинакового при различной локализации фокуса — снижения или расстройства, как этого следовало ожидать согласно теории эквивалентности различных участков мозга, участвующих в образовании фона.

Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что функция целого организована и построена как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложнодифференцированные иерархически объединенные динамические, межцентральные отношения.

Другой ряд экспериментальных исследований позволил нам установить следующие положения:

1. Какая-либо сложная функция (речь) страдает при поражении какого-либо одного участка, связанного с одной частичной стороной этой функции (сенсорной, моторной, мнемической), всегда как целое во всех своих частях, хотя и неравномерно, что указывает на то, что нормальное функционирование такой сложной психологической системы обеспечивается не совокупностью функций специализированных участков, но единой системой центров, участвующей в образовании любой из частичных сторон данной функции.

2. Любая сложная функция, не связанная непосредственно с пораженным участком, страдает совершенно специфическим образом не только в меру снижения фона, но и как фигура при поражении ближайшим образом связанного с ней в функциональном отношении участка. Это указывает снова на то, что нормальное функционирование какой-либо сложной системы обеспечивается интегральной деятельностью определенной системы центров, в состав которой входят не только центры, непосредственно связанные с той или иной стороной данной психологической системы.

Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что функция части, как и функция целого, построена как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложные межцентральные отношения.

В то время как структурно-локализационный анализ сделал

большие успехи в выделении и изучении этих сложных иерархических межцентральных отношений, функциональный анализ у самых передовых исследователей ограничивается до сих пор применением одних и тех же иерархически нерасчлененных функциональных понятий к деятельности как высших, так и низших центров. Эти исследователи толкуют расстройство высших в функциональном отношении центров (например, широкой зрительной сферы О. Петцля) с точки зрения психологии функций низших центров (узкой зрительной сферы). Структурная психология, на которую опираются эти авторы, по самому существу заложенных в ней принципов не в состоянии адекватно отобразить всю сложность и иерархичность этих межцентральных отношений. Вследствие этого исследователи не выходят за пределы чисто описательного анализа (примитивнее — сложнее, короче — длиннее) и вынуждены сводить специфические функции высших центров по отношению к низшим к торможению и высвобождению, игнорируя то новое, что вносит с собой в деятельность мозга функция каждого из этих высших центров. Высшие центры с этой точки зрения могут тормозить и сенсибилизировать деятельность низших, но не могут создать и привнести в деятельность мозга ничего принципиально нового. Наши исследования, напротив, склоняют нас к обратному допущению, именно к признанию того, что специфическая функция каждой особой межцентральной системы заключается прежде всего в обеспечении совершенно новой продуктивной, а не только тормозящей и возбуждающей деятельности низших центров, формы сознательной деятельности. Основное в специфической функции каждого высшего центра есть новый modus operandi сознания.

Второй из общетеоретических выводов, к которым мы пришли в результате наших экспериментальных исследований, касается вопроса о соотношении функциональных и структурных единиц при расстройствах детского развития, возникающих на основе какого-либо мозгового дефекта и при распаде каких-либо психологических систем вследствие аналогичного (в отношении локализации) поражения зрелого мозга. Сравнительное изучение симптоматологии психического недоразвития при том или ином дефекте мозга и патологических изменений и расстройств, возникающих на основе аналогичного в локализационном отношении поражения зрелого мозга, приводит к выводу, что аналогичная симптоматическая картина в том и другом случае может наблюдаться при различно локализованных поражениях у ребенка и взрослого. И наоборот, одинаково локализованные поражения могут привести у ребенка и взрослого к совершенно различной симптоматической картине.

С положительной стороны эти глубокие различия в последствиях одинаковых поражений при развитии и при распаде могут быть охвачены следующим общим законом: при расстройствах развития, вызванных каким-либо церебральным дефектом, при прочих

равных условиях больше страдает в функциональном отношении ближайший высший по отношению к пораженному участку центр и относительно меньше страдает ближайший низший по отношению к нему центр; при распаде наблюдается обратная зависимость: при поражении какого-либо центра при прочих равных условиях больше страдает ближайший к пораженному участку низший зависящий от него центр и относительно меньше страдает ближайший высший по отношению к нему центр, от которого он сам находится в функциональной зависимости.

Фактическое подтверждение этого закона мы находим во всех случаях врожденных или ранних детских афазий и агнозий и в случаях расстройств, наблюдающихся у детей и взрослых в качестве последствий эпидемического энцефалита, в случаях олигофрении с различной локализацией дефекта.

Объяснение этой закономерности лежит в том факте, что сложные отношения между различными церебральными системами возникают как продукт развития и что, следовательно, в развитии мозга и в функционировании зрелого мозга должна наблюдаться различная взаимная зависимость центров: низшие центры, служащие в истории мозга предпосылками для развития функций высших центров, являющихся вследствие этого зависимыми в развитии от низших центров, в силу закона перехода функций вверх сами оказываются в развитом и зрелом мозгу несамостоятельными, подчиненными инстанциями, зависящими в своей деятельности от высших центров. Развитие идет снизу вверх, а распад — сверху вниз.

Дополнительным фактическим подтверждением этого положения являются наблюдения над компенсаторными, замещающими и обходными путями развития при наличии какого-нибудь дефекта; эти наблюдения показывают, что в зрелом мозгу компенсаторную функцию при каком-либо дефекте принимают на себя часто высшие центры, а в развивающемся мозгу — низшие по отношению к пораженному участку центры. Благодаря наличию этого закона сравнительное изучение развития и распада является в наших глазах одним из плодотворнейших методов в исследовании проблемы локализации, и в частности проблемы хроногенной локализации.

Последнее из трех упомянутых выше общетеоретических положений, выдвигаемых нами на основании экспериментальных исследований, касается вопроса о некоторых особенностях локализации функций, связанных со специфическими человеческими областями мозга. Исследование афазии, агнозии и апраксии приводит нас к выводу, что в локализации этих расстройств существенную роль играют нарушения экстрацеребральных связей в деятельности той системы центров, которая в нормальном мозгу обеспечивает правильное функционирование высших форм речи, познания и действия. Фактическим основанием для такого вывода служат наблюдения над историей развития этих высших форм деятельности сознания,

которая показывает, что первоначально все эти функции выступают как тесно связанные с внешней деятельностью и лишь впоследствии как бы уходят внутрь, превращаясь во внутреннюю деятельность. Исследования компенсаторных функций, возникающих при этих расстройствах, также показывают, что объективирование расстроенной функции, вынесение ее наружу и превращение ее во внешнюю деятельность является одним из основных путей при компенсации нарушений.

Защищаемая нами система психологического анализа, которую мы применяли при исследовании проблемы локализации, предполагает коренное изменение метода психологического эксперимента. Это изменение сводится к двум основным моментам:

1) замене анализа, разлагающего сложное психологическое целое на составные элементы и вследствие этого теряющего в процессе разложения целого на элементы подлежащие объяснению свойства, присущие целому как целому, анализом, расчленяющим сложное целое на далее не разложимые единицы, сохраняющие в наипростейшем виде свойства, присущие целому как известному единству;

2) замене структурного и функционального анализа, неспособного охватить деятельность в целом, межфункциональным или системным анализом, основанным на вычленении межфункциональных связей и отношений, определяющих каждую данную форму деятельности.

Этот метод, если его применить к клинически-психологическому исследованию, позволяет а) объяснить из одного принципа наблюдающиеся при данном расстройстве плюс- и минус-симптомы; б) свести к единству, к закономерно построенной структуре все, даже самые далеко отстоящие друг от друга симптомы и в) наметить путь, ведущий от очаговых расстройств определенного рода к специфическому изменению всей личности в целом и образа ее жизни.

Есть все теоретические основания для предположения, что проблема локализации не может решаться совершенно одинаковым образом для животных и человека и что поэтому прямое перенесение данных из области экспериментов над животными с экстирпацией отдельных частей мозга в область клинической разработки проблемы локализации (К. Лешли) не может привести ни к чему иному, кроме грубых ошибок. Утверждающееся все больше и больше в современной сравнительной психологии учение об эволюции психических способностей в животном мире по чистым и смешанным линиям заставляет склониться к мысли, что специфические для человека отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга едва ли могут быть в животном мире и что человеческий мозг обладает новым по сравнению с животным локализационным принципом, благодаря которому он и стал мозгом человека, органом человеческого сознания.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ КНИГИ Э. ТОРНДАЙКА «ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ПСИХОЛОГИИ» [1]

1

Тот общий переворот во взглядах и принципиальных воззрениях на существо, предмет и методы психологической науки, который особенно острые и яркие формы принял сейчас в России, не может, конечно, пройти бесследно и незаметно и для всей прикладной области психологии, в частности для психологии педагогической. Если в области теоретического знания происходит коренная ломка старых понятий и представлений, фундаментальная перестройка идей и методов, то и в дисциплинах прикладных, представляющих ответвления от общего ствола, неизбежны те же болезненные и плодотворные процессы разрушения и перестроения всей научной системы. Они могут запоздать, но не пройти мимо.

С таким неизбежным запозданием, несомненно, произойдет и критический пересмотр всего научного наследства педагогической психологии, наследства, нерасторжимо связанного с классической и новой, эмпирической и экспериментальной психологией. Тем важнее сейчас, пока этот пересмотр не произведен, найти подходящие и не уводящие в сторону книги, которые могли бы быть использованы в этот переходный революционный период, когда старое и прежнее скомпрометировано непоправимо и в пользование больше не годится, а нового, способного и годного на замену, еще не создано. Плодотворный и благодетельный переворот и кризис в науке означает почти всегда болезненный и мучительный кризис в преподавании и изучении этой науки. Однако отказаться от психологии в системе педагогического образования — значит отказаться от всякого возможного научного обоснования и освещения самого воспитательного процесса, самой практики учительского труда. Это значит, между прочим, построить всю теорию социального воспитания и трудовой школы на одной голой идеологии. Это значит отказаться от фундамента в строе учительского образования и от связующего узла в пестром нагромождении методических и педагогических дисциплин. Проще и короче — отказаться от психологии означает отказаться от научной педагогики. Здесь неизбежно приходится выбирать линию наибольшего сопротивления.

Все это, совершенно справедливое само по себе, получает еще особенное значение и силу, если принять во внимание, что перестройка психологических идей, происходящая сейчас, непосредственным образом вызывает коренной переворот в научных взглядах на самое существо педагогического процесса. Можно сказать, что здесь впервые воспитание раскрывается в своей истинной сущности для науки, что здесь впервые педагог обретает почву для того, чтобы говорить не о догадках и метафорах, а о точном смысле и научных законах воспитательной работы.

Педагогическая проблема, как это будет выяснено далее, стоит в самом центре новой точки зрения на психику человека. Так что новая психология в гораздо большей степени, чем прежняя, является фундаментом для педагогики. Ниже это будет показано совершенно ясно. Новой системе не придется делать педагогические выводы из своих законов или приспосабливать свои положения к практическому применению в школе, потому что в самой основе этой системы заключено разрешение педагогической проблемы и воспитание — ее первое слово. Самое отношение психологии и педагогики, следовательно, существенно меняется — и именно в сторону огромного увеличения и роста взаимного значения, связи и поддержки обеих наук.

Книга Э. Торндайка, к которой эти страницы должны служить предисловием, и идет навстречу потребности школы и рядового учителя в таком руководстве по педагогической психологии, которое отвечало бы нуждам и задачам нашего переходного времени. Легко может случиться, что через несколько лет эта книга будет заменена на русском языке каким-либо более совершенным трудом и потеряет свое исключительное значение. Но на ближайшие годы — можно утверждать с уверенностью — книга эта имеет все данные, чтобы стать основным пособием и руководством нашего учителя по педагогической психологии, книгой переходного времени. На это ей дает право, во-первых, та общетеоретическая позиция в психологии, на которой стоит автор, трактуя все общие и частные вопросы курса. Эта точка зрения может быть ближе и вернее всего определена и охарактеризована как совершенно последовательно проводимый объективный взгляд на психику и поведение человека, соединенный везде с столь же объективным методом изучения и изложения предмета.

Э. Торндайк — один из виднейших психологов-эксперименталистов современности. Он является, по всей вероятности, основоположником психологии поведения, так называемого американского бихевиоризма, и объективной психологии вообще. Любопытно отметить, что его имя названо академиком И. П. Павловым в предисловии к «20-летнему опыту изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» как имя первого из создателей новой психологии. Там говорится: «Должен признать, что честь первого по времени вступления на новый путь должна быть предоставлена

Edvard L. Thorndike (Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals, 1898), который на 2—3 года предупредил наши опыты и книга которого должна быть признана классической как по своему взгляду на всю предстоящую грандиозную задачу, так и по точности полученных результатов» (1950, с. 18).

Это одно уже с прозрачной ясностью указывает на то, что теоретическая позиция Торндайка совершенно совпадает с исходными точками складывающихся на наших глазах новых психологических систем. И достаточно только слегка перелистать книгу Торндайка, чтобы убедиться в том, что он всецело разделяет основную идею новой психологии — взгляд на человеческую психику и поведение как на систему реакций организма на внешние раздражения, посылаемые средой, и внутренние раздражения, возникающие в самом организме. Поведение для Торндайка есть система реакций; психика в его понимании представляет только особенные и усложненные формы поведения, т. е. тех же реакций в конечном счете.

Такая точка зрения, трактующая все решительно стороны психики ребенка как реакции его поведения на известные стимулы и сводящая весь воспитательный процесс к видоизменению прирожденных и выработке приобретаемых в процессе накопления опыта реакций, естественно, уже обусловливает то, что в построении каждой главы использован исключительно бесспорный, научно достоверный материал экспериментальной психологии и вовсе оставлен в стороне весь умозрительный анализ субъективных душевных переживаний, закрепленный в схоластических классификационных схемах.

Если к этому прибавить еще едва ли не самую важную черту книги Торндайка — ее практический уклон, явно ощущаемый в строе каждой фразы и в ходе каждой мысли, то ценность ее станет совершенно несомненной. Она вся обращена к практике, вся создана на потребу школы и учителя. Имеющийся в книге богатый практический материал для упражнений, бесед, задач, критики и пр. дает возможность проработать в процессе усвоения курса содержание каждой главы не только теоретически, а самым убедительным методом самостоятельной проверки. Излагая принципы педагогики, основанные на психологии, Торндайк сам выступает в книге живым примером и воплощением этого психологического направления в педагогике: он учитывает все свои же правила преподавания предмета и нажимает все педали психологии читателя, приводящие в движение механизмы усвоения предмета. Он требует от читателя той активности, того проведения книги через личный опыт изучающего, о котором идет все время речь в книге.

По всем этим особенностям книга, по нашему разумению, и призвана стать на ближайшее время основным руководством для всякого педагога, для рядового учителя как при изучении педаго-

гической работы, так и при простом углублении в изучение основ воспитательной работы, как основная книга, дающая нужное освещение вопроса. Если вспомнить глубокую неудовлетворенность всех почти руководств по этому предмету, существующих на русском языке, ценность этой книги станет особенно убедительной и осязательной.

В самом деле, курсы педагогической психологии для высшей школы и учебники, стоящие на традиционной точке зрения, чрезвычайно мало приходят на помощь при выработке научного понимания воспитания. Не говоря подробно о прочем, сошлемся на то, что они не объясняют центральной проблемы — самая психологическая природа развития, роста и формирования детской психики и личности, движущие механизмы этой эволюции, существо воспитательного воздействия остаются в традиционной психологии неосвещенными и темными, обойденными молчанием или о них говорится непрозрачными, ничего не поясняющими словами, через которые ничего не видно.

И это не частный недостаток русского учебника, а органический и неизбежный порок самой психологической системы, лежащей в основе обычного курса. Психология традиционно школьная рассматривает психику в ее статике, а не в динамике, в застывших, окоченелых формах, а не в процессах становления, роста и возникновения этих форм. Даже идея эволюции почти везде громогласно отсутствует в самых популярных курсах. Описывается и анализируется, расчленяется и классифицируется готовое сознание со всеми его атрибутами и частями, как будто оно от века существует таким, каким открывается нам в интроспекции.

Детская психика при этом обычно конструируется путем довольно простых операций вычитания из сознания взрослого всех тех проявлений и особенностей, которых у ребенка на данной возрастной ступени нельзя усмотреть. Получаемый в результате таких операций остаток и конструируется как психика ребенка того или иного возраста. Наука в ее прежнем виде лишена принципиальных ресурсов для того, чтобы избежать этого очевидно и явно ложного пути; ей нет других дорог, потому что основной корень и источник ее достоверности заложен в самонаблюдении взрослого человека. Остается, спускаясь вниз по ступенькам детского возраста в обратном порядке и вывороченной наизнанку последовательности, применять вычитание — и определять и описывать психику ребенка все время через ее минусы, через то, чего в ней нет, все время в отрицательных понятиях и терминах.

Это преувеличенная, но не искаженная формула старой психологии. Впрочем, мы ниже будем иметь случай кратко, но резко противопоставить обе точки зрения. Скажем только, что традиционная психология не могла никак встать на единственно правильный путь — идти в изучении психики от ребенка к взрослому, что она ограничена была по самому существу дела бесплодным констатиро-

ванием отдельных, разрозненных сторон психики ребенка, что она не знала секрета обобщающей научной идеи развития психики и сущности воспитания. Путь новой психологии — он же и путь Торндайка — обратный. Поэтому он лишен этих недостатков школьного курса обычного типа и переносит нас из описательной и отрывочной, констатирующей психологии в научно-объяснительную, обобщающую систему знания о поведении человека, о механизмах его развития и движения, о воспитательном управлении процессами его развития, формирования и роста.

При всем том у книги есть недостатки — и немаловажные. Главнейший из них состоит в явной идейной разноголосице между педагогической и психологической частями книги. Автор не делает подчас тех принципиально важных педагогических выводов, которые неумолимо подсказываются ему его же психологическими доводами. Новый взгляд на психику не обязывает его как будто к новому слову о воспитании. Если будет позволено так сказать, большевик в психологии, он остается в теории воспитания кадетом. Его крайний радикализм легко мирится и уживается с его же либерализмом в соседней и научно зависимой области.

В целом психологический фундамент в книге подводится под педагогическую практику чуждой нам школьной системы. Школа для автора остается по преимуществу орудием развития интеллекта. Его критика учебы очень умеренна, он вводит трудовой принцип как подсобный метод в незначительном размере (ручной труд, ремесло и т. д.). Особенно сказывается расхождение двух линий в главах, где автор трактует нравственное воспитание, перед которым он признает почти полное бессилие школы. «Питание души благородными идеями, хорошие примеры в семье и школе» и пр.— вот во что обращается его трезвый и точный научный стиль, когда он подходит к морали. Психология здесь примерена и выкроена по школе практической выучки американского склада, а не трудовой школы.

В связи с этим и почти полное отсутствие учета социального момента в воспитании. Учитель остается высшей инстанцией, первым двигателем педагогического механизма, источником света и поучения. Воспитание адресуется от учителя к ученику, оставаясь все время глубоко индивидуалистическим и напоминая, по выражению одного автора, педагогический дуэт между учителем и учеником. Между тем именно проводимая Торндайком психологическая теория таит в себе огромные возможности для построения социальной педагогики и позволяет ее развернуть в совершенно невозможных прежде размерах и масштабах.

И уж под прямым углом к возникающей сейчас педагогике изложены и описаны у Торндайка цели воспитания и школы, самая идеология школы, поскольку она, хоть и в незначительном виде, нашла место в книге. Все это решительно расходится с нашей педагогикой и носит явные следы американской официальной системы.

«Идеалы активности, чести, долга, любви и повиновения» — вот идеалы этой системы, названные словами Торндайка.

Книга называется «Принципы обучения, основанные на психологии». Это точно выражает и измеряет тот угол расхождения книги Торндайка с нашей педагогикой, который бегло очерчен выше. Это именно и есть школьная система, построенная на преподавании и обучении по преимуществу, и, следовательно, все вопросы педагогики, как можно заранее ожидать по одному заглавию, будут неравномерно сужены и умалены в книге, проблемы часто сведены к миниатюре, принципиальные задачи воспитания искажены и представлены в ложном свете.

Другая неотрадная особенность книги, заставляющая призадуматься,— отсутствие всякой обобщающей биологической и социально-психологической теории поведения, слагающегося из прирожденных и приобретенных реакций. Драгоценные и верные идеи здесь везде применены к частностям, нигде не собраны воедино и не высказаны нацело и до конца. Отсюда видимая несвязность и фрагментарность отдельных замечаний о реакциях, о законах их течения и роста; отсюда невыясненность принципиальных основ классификации, терминологии и прочих приемов научного изложения.

Второй порок книги — не органический. Напротив, здесь есть полная внутренняя согласованность частей и отдельных положений. Всех их объединяет одна обобщающая психологическая теория, каждая глава имеет общий фундамент со всеми остальными. Но эта обобщающая фундаментальная теория, так сказать, присутствует в книге на каждом листе, но незримо, неявно, неощутимо; она может остаться не обнаруженной даже для внимательного читателя. Ее надо вскрыть.

Книга написана так, что каждая глава предполагает знакомство с некоторыми теоретическими основаниями. В оригинале автор перед каждой главой делает ссылку на соответствующие параграфы своей книги «Элементы психологии» (1920), необходимые для теоретической подготовки, а в предисловии говорит, что книга его «требует от тех, кто захочет ее изучить, знания элементарной психологии, особенно динамической психологии. Ссылки под заголовком «для подготовки» составлены с этой целью. Они имеют в виду книгу автора «Элементы психологии», которая служит как бы введением к настоящей книге, но всякий обычный курс по психологии, отдающий должное законам соотносительной деятельности, может дать нужную подготовку». Здесь ясно говорится о том, что «Принципы обучения...» построены с расчетом на теоретическое введение, что оно необходимо предполагается как предварительное условие для изучения книги. Таким образом, оно умышленно выведено в отдельный курс.

Если оставить в стороне более мелкие и уже частные шероховатости и особенности, этими двумя замечаниями, обозначенными

выше, исчерпывается критическая оценка книги. При этом очевидно, что оба недостатка столь же капитальны, как и достоинства. Это предисловие и имеет своей задачей попытаться если не устранить их совершенно, то во всяком случае смягчить их остроту и лишить их капитального значения, введя две критические поправки к тексту книги — на нашу педагогику и на психологическую теорию, подвести под книгу социально-педагогический и биопсихологический фундамент. Нам думается, что обе эти необходимые поправки легче и разумнее всего внести в форме критического предисловия к книге и двух коротких вступительных очерков, которые и составят содержание последующих глав, излагающих в самом сжатом и конспективном виде основные психологические и педагогические схемы и формулы, необходимые для критического усвоения книги. От полемики с автором в форме редакторских примечаний мы отказались и потому, что это пришлось бы делать утомительно часто, и потому, что самое назначение книги исключает возможность такой полемики. Так же обстоит дело и с дополнениями. Вторгаться же в авторский текст, переделывать его в переводе, подвергать принципиальной переработке целые места в книге — значило бы лишить ее всякой цельности, научного стиля, что легко могло бы повести не к улучшению, а к ухудшению дела.

По всему этому пришлось остановиться на вступительных очерках, направляющих критически восприятие читателя в части педагогической и вооружающих его в части психологической обобщающей точкой зрения. Оба очерка преследуют исключительно эту служебную цель. При отсутствии под рукой подходящей литературы можно не без успеха, по нашему суждению, использовать оба очерка как вступительные главы к книге.

Еще раз оговариваемся, что если в части педагогической и в очерках выдерживается точка зрения критическая по отношению к автору (хотя и непосредственно вытекающая из его же теории), то в части психологической формулируемые ниже научные предпосылки, составленные главным образом на основании русской литературы, отнюдь не представляют чего-либо постороннего, какого-то механического придатка по отношению к системе идей, развернутых в книге,— они только вскрывают лежащую в основе книги систему идей и формулируют ее, может быть, не совсем в близких к стилю автора словах и терминах, но в совершенно совпадающих с ним научных понятиях и принципах. Замечание академика Павлова, приведенное выше, может служить лучшим свидетельством этому.

2

В популярных, обычных воззрениях на человека психику принято выделять в совершенно особую категорию явлений, считать ее чем-то абсолютно неоднородным со всем прочим миром, чем-то

надматериальным и нефизическим. Когда мы говорим о памяти, воле, о мыслях, мы разумеем нечто совершенно отличное от всего решительно происходящего в мире, принципиально несхожее ни с чем, ни с чем не сопоставляемые явления особого рода.

В этом отношении популярный взгляд, как и терминология, вполне совпадает с научными утверждениями традиционной психологии, которая основной предпосылкой своей считает коренную грань между психическим и физическим. Естественно, что при таком взгляде самые основные вопросы о психике человека и ее возникновении, о ее назначении и развитии оставались безответными.

Такое воззрение на душу и тело, исходящее из двойственности человеческой природы, разноприродности ее частей, несводимости их к одному началу, из отдельного, независимого существования духовных существ и явлений, называют дуализмом и спиритуализмом. Необъяснимость коренных особенностей психики — обязательный вывод из такой теории. Изучать что-либо совершенно изолированно от всего остального мира, выключенным из общей связи явлений — значит заранее обречь на необъяснимость самый предмет изучения. Объяснить что-либо научно обозначает не что иное, как выявить связь с другими явлениями, включить новое в цепь и систему уже изученного, т. е. как раз обратное традиционной точке зрения. Отсюда очевидная бесплодность психологической науки, ее беспомощность — и теоретическая и практическая — в основных проблемах. Частности еще можно связывать между собой и объяснять при такой точке зрения, но к общим понятиям навсегда потерян ключ при таком понимании дела.

Помимо чисто методологического бесплодия, традиционная психология страдает еще одним грехом. Дело в том, что действительность, как видно всякому, вовсе не оправдывает такого взгляда на психику. Напротив, каждый факт и всякое событие громогласно свидетельствуют о другом, как раз обратном положении: психика всеми своими тонкими и сложными механизмами включена в общую систему поведения человека, она насквозь в каждой своей точке пропитана и пронизана этими взаимозависимостями, ни одной тысячной доли секунды, в которых психологи исчисляют чистое время психических процессов, она не остается изолированной и отделенной от прочего мира и прочих процессов организма. Кто утверждает и изучает обратное, тот изучает нереальные построения собственного ума, химеры вместо фактов, схоластические, вербальные конструкции вместо подлинной действительности.

Поэтому-то традиционная психология, по признанию авторитетнейшего наблюдателя, подводившего итоги науки, не имеет «общепризнанной системы». «Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои»,— говорит этот исследователь (Н. Н. Ланге, 1914, с. 42). Он же называет происходящий ныне кризис в эмпирической психологии кризисом в самых основах науки

и сравнивает его с землетрясением. Достаточно напомнить, например, падение алхимии, несмотря на множество точных опытов у старых алхимиков, или такие же радикальные перевороты в истории медицины, говорит он. Чрезвычайно важно отметить, что кризис этот обнаружился совершенно явственно задолго до научного спора между сторонниками объективной и субъективной психологии сейчас в России. Еще У. Джемс назвал традиционную психологию кучей сырого материала и дал ей такую характеристику: «Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификаций и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем» (1911, с. 407).

Само собой разумеется, что в применении к педагогике общая беспомощность психологической науки обнаруживалась более выпукло и ярко. Мы указали выше, что по самой природе этой психологии были чужды и непосильны проблемы динамики, развития, роста изменений, воспитания. Далее, практические выводы ее всегда страдали приблизительностью и грубой эмпиричностью, обобщениями самого первичного сырого опыта. Она автоматизировала личность ребенка, как и весь воспитательный процесс, на ряд отдельных психологических функций (способностей, явлений), отгороженных друг от друга китайской стеной и окопанных непроходимыми окопами от всех остальных жизненных процессов в организме ребенка. И эта психологическая мозаика, лоскутная и отрывочная теория развития как нельзя больше соответствовала такой же мозаичной педагогике, разрывавшей на клочки, на предметы, на способности целостный организм растущего ребенка.

Новая психология отправной точкой берет идею о неразрывной связанности психики со всеми остальными жизненными процессами организма и ищет смысла, значения, законов развития этой психики именно в целостной включенности психики в остальной ряд жизненных отправлений организма. Биологическая целесообразность психики служит здесь основным объяснительным принципом. Психика понимается при этом как одна из функций организма, подобная всем прочим его функциям в самом главном и существенном: именно в том, что она есть, как и все другие отправления организма, биологически полезное жизненное приспособление его к среде. Общее биологическое значение психики и ее место в ряду других форм приспособления нетрудно определить при помощи классификационной схемы основных форм приспособления, которую мы заимствуем из книги академика А. Н. Северцова «Эволюция и психика» (1922).

Все приспособления организмов к среде чрезвычайно легко разделить, во-первых, на наследственные и ненаследственные, возникающие в процессе индивидуального опыта; во-вторых, те и другие могут заключаться в изменении строения животных (изменение органов и пр.) и могут выражаться в изменении поведения животных без изменения их организации. Что строения почти всех органов животных оказались в результате эволюции приспособленными к биологически важным условиям существования (строение органов птиц, рыб, роющих животных и пр.) — это очевидно для всякого. Механизм этих наследственных приспособлений, объясненный Дарвином и называемый естественным отбором, закрепляется наследственной передачей биологически полезных приспособительных особенностей.

Но наследственное изменение органов есть процесс весьма медленный, он и отвечает на медленные изменения среды. Организмы обладают еще способом гораздо более быстрого и гибкого приспособления к изменениям среды — способом функционального изменения органа, происходящего в результате личного опыта особи. Это случаи быстрого приспособления посредством незначительных изменений органов вследствие их усиленного упражнения. Эту другую группу приспособлений составляют изменения поведения животных, не сопровождающиеся изменением их организации.

Рефлексы (кашель, защитные рефлексы — закрытие века, отдергивания и т. п.), как и инстинкты, образуют здесь первую группу наследственных приспособлений, составляющих биологический капитал накопленного всем видом опыта и вполне соответствующих первой группе наследственных изменений в строении организма. Они так же целесообразны (строительные инстинкты муравьев, птиц, пчел и т. п.), так же приспособлены к условиям среды, так же медленно изменяются и тем же эволюционным путем естественного отбора или мутации.

Вторая группа приспособлений посредством изменения поведения без изменения в организации складывается из так называемого поведения разумного типа, составляет область психики в собственном смысле и возникает в процессе индивидуального опыта, охватывая всю сумму личных движений, поступков, актов животного, преследующих ту же цель приспособления к среде и имеющих то же биологическое назначение. Таким образом, общая схема главнейших четырех форм биологического приспособления принимает такой вид:

I. Наследственные приспособления к очень медленным изменениям среды:

1) наследственные изменения строения животных;

2) наследственные изменения поведения без изменения строения (рефлексы и инстинкты).

II. Ненаследственные приспособления к сравнительно быстрым изменениям среды:

1) функциональные изменения строения животных;

2) изменения поведения животных разумного (психического) типа.

Эта схема позволяет легко уяснить место и природу психики в ряду других форм биологического приспособления. Поведение и представляет собой самый гибкий, разнообразный и сложный механизм, придающий огромное многообразие и небывалую тонкость приспособительным реакциям. Именно ему обязан человек господством над природой, высшими формами активного приспособления природы к своим потребностям, в противоположность пассивному приспособлению животных к среде.

Поведение животного и человека складывается из реакций. Реакция есть основной механизм, по модели которого строится все поведение, от самых простых форм реакции инфузории до самых сложных актов и поступков человека. Реакция — понятие широкое, общебиологическое. Мы можем говорить о реакциях растений, когда они тянутся к свету; о реакциях животных, когда моль летит на пламя свечи или собака выделяет слюну при виде мяса; о реакциях человека, когда, прослушав условие задачи, он производит ряд вычислений для ее решения. Во всех этих случаях явно обнаруживаются три основных момента всякой реакции. Реакция есть ответ организма, его приспособительное действие на тот или иной воздействующий на него элемент среды.

Поэтому всякая реакция непременно должна заключать в себе как первый момент восприятия организмом этого воздействия среды, какого-либо раздражения, падающего на организм извне или возникающего внутри самого организма. Свет для растения, пламя свечи для моли, вид мяса для собаки, условия задачи для человека будут в нашем примере такими раздражителями, исходными точками и возбудителями реакции. Затем непременно следует второй момент реакции — некоторые внутренние процессы в организме, вызванные полученным раздражением и дающие толчок ответному акту организма. Это, так сказать, переработка раздражения внутри организма. В нашем примере это будут химические процессы, возникающие в растении под действием света и в организме моли под действием пламени свечи, воспоминание о пище у собаки, мысли у человека. Наконец, внутренние процессы завершаются третьим моментом реакции — самим ответным актом организма, приспособительным движением, секрецией и т. п. Это изгибание стебля у растений, полет моли, отделение слюны у собаки, вычисления на бумаге у человека.

Все три момента непременно заключены во всякой реакции. Но иногда какой-нибудь один из моментов или даже все они принимают такие сложные и тонкие формы, что обнаружить все три простым

глазом порой невозможно. Точный научный анализ всегда непременно вскроет наличие всех трех. Иной раз раздражение действует в таком сложном соединении самых разных элементов среды и организма, что трудно бывает выделить и указать именно его действие. Иногда ответный акт принимает такие скомканные, сокращенные, неуловимые формы, что кажется на первый взгляд вовсе отсутствующим. В этих случаях требуются особые приемы для констатирования и наблюдения его. Так бывает, например, при внутренней речи, так называемом безмолвном мышлении, когда речедвигательные реакции заторможены, не выявлены и протекают в форме едва ощутимых внутренних движений или при изменениях пульса, дыхания и при других соматических реакциях, составляющих основу эмоций.

Наконец, особенной сложности чаще всего достигают наименее изученные внутренние процессы, которые мы обозначили как второй момент реакции. При этом получается иногда столь значительное разъединение во времени раздражения и ответа на него, что трудно бывает без сложнейшего и специального анализа соотнести их друг с другом. Еще чаще получается такое сложное взаимодействие внутренних процессов, возбуждаемых одновременно множеством самых разнородных раздражителей, такая борьба, столкновение то союзных между собой, то враждующих друг с другом возбуждений, что процесс реакции приобретает чрезвычайно сложный и не всегда наперед предвидимый характер. Но везде и всегда, как бы ни усложнялось поведение человека, оно строится по типу реакции.

Этот механизм одинаково объясняет как наследственные, так и приобретаемые формы поведения. Группа наследственных реакций складывается из рефлексов, которые обычно определяются как реакции отправления отдельных органов, и из инстинктов, которые представляют собой более сложные формы реакции поведения всего организма. Те и другие наследственны, однообразны, чрезвычайно негибки и в целом целесообразны. В биологическом значении и происхождении они всецело подобны наследственным изменениям структуры организма и также возникли путем естественного отбора.

Гораздо более сложным представлялся долгое время вопрос о происхождении ненаследственных форм поведения. Можно сказать, что окончательное научное разрешение он получил только в последние десятилетия в связи с экспериментальными работами русской физиологической школы (опытами Павлова и Бехтерева) и с исследованиями американской психологии поведения (Торндайк и др.). Существо этого открытия, непосредственно примыкающего к дарвиновскому и объясняющего происхождение индивидуального опыта, сводится к следующему.

Экспериментальным путем удалось совершенно незыблемо установить тот факт, что прирожденные реакции животного и человека не представляют собой чего-либо неизменного, постоянного и нерасторжимого. Связь, устанавливаемая во всякой такой реакции

между каким-либо элементом среды и ответным актом организма, может при известных условиях измениться, а именно: может образоваться новая связь между тем же актом организма и новым элементом среды.

Так, если давать собаке мясо, она будет выделять слюну. Это простой, или безусловный, рефлекс, прирожденная реакция. Если одновременно с мясом (или несколько ранее) воздействовать на собаку еще посторонним раздражителем, например звонком, то после нескольких раз такого совместного действия обоих раздражителей собака станет выделять слюну при звуке звонка, хотя бы мяса ей не давали и не показывали вовсе. У собаки замкнулась новая связь — между прежним актом и новым элементом среды (звонком), которая в наследственном опыте животного не дана. Собака научилась реагировать на звонок так, как она нормально на него никогда не реагировала. Эта новая реакция (выделение слюны в ответ на звонок) может быть названа условным рефлексом, так как она возникла в индивидуальном опыте животного и замкнулась при особом условии, именно при условии одновременного сочетания действия нового раздражителя с прежним.

Путем подобных опытов удалось выяснить, что новые условные связи могут быть замкнуты и образованы между любым элементом среды и любой реакцией организма. Иными словами, любое явление, любой предмет могут при известных условиях сделаться возбудителями любой реакции, любого движения и акта. Здесь открывается все грандиозное биологическое значение этого рода новых связей организма со средой — условных рефлексов. Возникновение таких связей означает бесконечное разнообразие ответов организма на различные комбинации элементов среды, грандиозную сложность возможных отношений между организмом и средой, чрезвычайную гибкость приспособительных движений организма.

Это значение возрастает больше, если присоединить сюда еще одну особенность условных рефлексов. Дело в том, что новые связи могут устанавливаться путем сочетания не только безусловного рефлекса с индифферентным раздражителем, но и условного рефлекса с новым раздражителем. Другими словами, новые связи могут замыкаться и возникать не только на основе прирожденных, но и на основе условных рефлексов. Если нами выработан у собаки условный слюнный рефлекс на звонок, то достаточно теперь сочетать действие звонка с каким-нибудь новым раздражителем, скажем почесыванием собаки, чтобы по прошествии некоторого времени у собаки образовался новый условный рефлекс. Она теперь будет выделять слюну при одном только почесывании. Это условный рефлекс второй степени, или второго порядка, так как он сам создан на основе условного рефлекса.

Возможны суперрефлексы и высшего порядка — условный рефлекс третьей степени, воспитанный на основе второй, и т. д. Есть

все основания полагать, что предел образования этих суперрефлексов, если он вообще только существует, лежит чрезвычайно далеко и, следовательно, возможны чрезвычайно высокие степени условных рефлексов, т. е. чрезвычайно удаленные от первоначальной основы и прирожденной связи отношения между организмом и средой. Это обстоятельство позволило высшим животным так развить предупредительные реакции, приспособиться к таким отдаленным сигналам и предвестникам будущих раздражений, что поведение этого типа стало играть огромную роль в сохранении индивида. Человеку, в частности, эти суперрефлексы позволили развить все сложные формы умственной деятельности и трудовых реакций.

Экспериментальное исследование показало, что характер связи тоже не представляет собой чего-либо строго единообразного. Возможны так называемые следовые рефлексы, в которых ответный акт проявляется после прекращения действия условного раздражителя, или запаздывающие рефлексы, в которых ответное действие как бы запаздывает, отставлено во времени по сравнению с раздражителем и проявляется через некоторый промежуток времени после начала его действия. Далее, оказалась возможной чрезвычайно сложная дифференцировка раздражений по силе, качеству и темпу, так что, прежде нежели реагировать, организм производит сложнейшую анализаторную деятельность, он как бы разлагает действительность на тончайшие элементы и способен уточнять связи своих реакций с теми или иными элементами среды с чрезвычайной тонкостью.

Наконец, огромное усложнение в поведение животного вносит взаимодействие нескольких рефлексов и раздражителей. Если во время условной реакции начинает действовать какой-либо посторонний раздражитель достаточной силы, то он тормозит протекание реакции, приостанавливает ее действие. Если теперь к действию этого тормозящего раздражителя присоединить еще новое, третье раздражение, то оно окажет тормозящее действие на второе, затормозит тормоз, и произойдет расторможение реакции. Возможны чрезвычайно сложные отношения полного и частичного торможения, различные взаимоотношения между группами одновременно действующих рефлексов.

Все эти и многие другие данные, установленные с непререкаемой научной достоверностью, позволяют представить процесс развития поведения человека в следующем виде. Все поведение следует рассматривать как совокупность реакций самого разного типа, огромнейшего разнообразия и сложности. При этом в основе поведения лежат прирожденные реакции (рефлексы, инстинкты и эмоциональные реакции). Это как бы наследственный капитал биологических полезных приспособлений, приобретенный в длиннейшем опыте всего вида. На основе прирожденных реакций возникает и надстраивается над ними новый этаж личного опыта, условные рефлексы, представляющие собой в сущности те же прирожденные реакции,

но расчлененные, комбинированные, вступившие в новые и многообразные связи с окружающим миром. Условный рефлекс и есть имя тому механизму, который наследственный биологический опыт вида приспосабливает к индивидуальным условиям существования особи и превращает его в личный опыт.

Таким образом, поведение человека раскрывается нам не только как статическая система уже выработанных реакций, но как не останавливающийся ни на минуту процесс возникновения новых связей, замыкания новых зависимостей, выработки новых суперрефлексов и одновременно размыкания и уничтожения прежних связей, отмирания прежних реакций, а самое главное, как ни на секунду не прекращающаяся борьба между миром и человеком, борьба, требующая мгновенных комбинаций, сложнейшей стратегии организма, и борьба множества разнообразных реакций внутри организма за преобладание, за обладание рабочими, исполнительными органами. Словом, поведение человека раскрывается во всей своей действительной сложности, в своем грандиозном значении как динамический и диалектический процесс борьбы между человеком и миром и внутри человека. Таково первое исходное представление новой психологии.

3

Уже из того сжатого и поверхностного очерка о составе нашего поведения, который сделан выше, с ясностью обозначается социально обусловленный характер человеческих реакций. В самом деле, мы видели, что экспериментальное естествознание установило механизм образования индивидуального опыта, личного поведения. Оказалось, что личное поведение (как система условных реакций) неизбежно возникает на основе реакций прирожденных, или безусловных, в силу известных условий, которые всецело регулируют и определяют процесс их образования.

В чем же лежат эти условия? Нетрудно видеть, что они лежат в организации среды: личный опыт формируется и организуется, как слепок с организации различных элементов в среде. В сущности, все опыты Павлова только и сводились к известной экспериментальной организации среды, в которую помещена собака, и главные заботы его направлены именно на возможно совершенную организацию среды, с максимальной чистотой осуществляющую различные комбинации элементов.

Нетрудно понять и то, что среда, как источник всех падающих на организм раздражений, играет в отношении каждого из нас ту же роль, что павловская лаборатория в отношении его подопытных собак. Там искусственная комбинация известных элементов (мясо, звонок) ведет к замыканию новых связей и возникновению условного рефлекса. Здесь естественное наличие и совпадение элементов

так же точно, только в неизмеримо сложнейших воздействиях, воспитывает новые условные рефлексы. Среда (в частности, для человека социальная среда, потому что и природная среда для современного человека есть только часть социальной среды, так как никакого отношения и никаких связей вне социальных не может быть для современного человека) в конечном счете несет в себе, в своей организации те условия, которые формируют весь наш опыт.

Таким образом, весь процесс приспособления наследственного опыта к индивидуальным условиям существования всецело и без остатка определяется социальной средой. Но ведь и наследственный опыт, в конечном счете, определен и обусловлен более древними влияниями среды; ведь и он в конце концов обязан своим происхождением и своей структурой опять-таки среде. Все поведение человека, слагающееся из безусловных реакций, данных в наследственном опыте, помноженных на те новые условные связи, которые появляются в личном опыте, есть как бы среда, помноженная на среду, или социальность в квадрате.

Отсюда первый и чрезвычайно важный вывод. Весь процесс воспитания получает точное психологическое объяснение. Мы не можем больше представлять себе новорожденного ребенка как tabula rasa, как белый лист бумаги, на котором воспитатель может написать все, что ему угодно. Мы не станем и в неопределенном смысле говорить о влиянии наследственных и воспитательных воздействий как о каком-то механическом сложении двух групп реакций. Мы представим все дело приблизительно так.

Новорожденный ребенок уже в минуту рождения наделен всеми функционирующими рабочими органами и является наследником громадного родового капитала приспособительных, безусловных реакций. Все движения, которые только когда-либо делал человек, когда были написаны книги Шекспира, совершены походы Наполеона, открыта Америка Колумбом,— они не содержат в себе ни одного движения, которое не было бы дано уже в колыбели младенца. Вся разница только в организованности и координации.

Каким же образом из хаоса некоординированных движений ребенка возникает стройное и разумное поведение человека? Оно возникает, сколько можно судить по данным науки на сегодняшний день, под планомерным, систематическим, самодержавным воздействием среды, в которую попадает ребенок. Его условные реакции организуются и складываются под предопределяющим воздействием элементов среды.

Разумеется, не приходится закрывать глаза на ту роль, которую в выработке и установлении личного опыта играет организм ребенка. Но, во-первых, если понимать широко, сам организм является частью среды (в смысле его воздействий на самого себя). Организм выступает сам по отношению к себе в роли среды. Во-вторых, биологическая организация организма обусловлена и определена

в конечном счете предшествующими влияниями среды. Наконец, такие основные биологические функции организма, как рост, формирование частей тела и органов, их физиологические отправления и пр. (как указывает, например, учение о внутренней секреции), оказываются в теснейшей связи с другими функциями организма и с поведением, этим механизмом самого тесного соприкосновения со средой. Все это дает право говорить об организме только в его взаимодействии со средой.

Но если противопоставлять в условном смысле процессы внутри организма процессам вне его и стараться определить в этой взаимозависимости, что следует отнести за счет одних и за счет других, то и тогда мы увидим, что самый характер этой взаимозависимости обусловлен средой. Поэтому психолог легко определит воспитание как процесс накопления и выработки условных реакций, процесс приспособления наследственных форм поведения к условиям среды, процесс замыкания новых связей между организмом и средой, т. е. процесс, обусловленный в каждой точке пути.

И такой характер воспитание носило всегда, во все эпохи, как бы оно ни называлось и какова бы ни была его идеология. Всякое воспитание было всегда функцией социального строя. Всякое воспитание в сущности всегда было социальным в том смысле, что в конечном счете решающим фактором установления новых реакций у ребенка были условия, корни которых лежали в среде или — шире — во взаимоотношениях организма со средой.

В старой гимназии, бурсе, институте для благородных девиц воспитывали, в конце концов, не учителя, не классные дамы и надзиратели, а та социальная среда, которая устанавливалась в каждом из этих учебных заведений. В зависимости от этого падает и традиционный взгляд на учителя как на главный и единственный почти двигатель воспитательного процесса. Ребенок больше не пустой сосуд, который учитель наливает вином или водой своих поучений. Учитель больше не насос, накачивающий знаниями воспитанников. Учитель и вовсе лишен непосредственного влияния на ученика, непосредственно воспитательного воздействия до тех пор, пока он сам не выступает как часть среды.

И огромное, преувеличенно большое значение, которое имел учитель в школе, было обусловлено именно тем, что главным двигателем, главной частью воспитательной среды был учитель. И из-за этого он забывал прямые свои обязанности. Учитель с научной точки зрения — только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником. Здесь надо кое-что пояснить.

Дело в том, что учительский труд, как и всякий другой человеческий труд, носит двойственный характер. Легче всего показать это на примере. Сравним японского рикшу, который сам впрягается в коляску и развозит таким образом пассажиров по улицам города,

с вагоновожатым трамвая. Рикша выступает в двойной роли: с одной стороны, он просто заменяет лошадь или силу пара, электричества — тягу, он просто источник известной физической энергии, которую он прилагает к своей нехитрой тележке, он — часть всей этой нехитрой машины для перевозки; с другой — он, хоть и в небольшой степени, выступает совершенно в другой роли — в роли организатора этого несложного производства, в роли командира этого снаряда, его управителя. Он исполняет такую часть работы, которую может исполнять только человек: пускает в ход и останавливает тележку, обходит препятствия, опускает оглобли и т. д. Ту же двойственность сохраняет и труд вагоновожатого: и он является источником физической энергии, простой частью машины, когда двигает ручкой тормоза или мотора, перемещает их с места на место своей физической силой. Но гораздо заметнее его другая роль — организатора и управителя этой машины, повелителя тока, колес и вагона.

Однако оба эти элемента, необходимо присутствующие во всяком человеческом труде, поменялись местами. Физический труд у рикши доминирует; если он устает, так именно от того, что заменяет лошадь. Все же человек может обойтись без лошади, но лошадь никак не может обойтись без человека, т. е. хотя роль рикши, когда он выступает в роли организатора и управителя машины, и близка к нулю, однако она имеет уже здесь некоторое значение. Обратное соотношение в роли вагоновожатого: здесь трата физической энергии сведена почти к нулю, но усложняется второй момент — управления машиной.

Это сравнение чрезвычайно наглядно показывает, в какую сторону совершается и направлено развитие техники. Человеческий труд по мере роста культуры и техники идет от рикши к вагоновожатому и заходит далеко-далеко за эту крайнюю точку нашего примера. И параллельно с этим человеческий труд принимает все более и более высокие формы. Закрепощение машиной, роль раба машины, ее придатка, маленького ее винтика отходит в историческое прошлое. И параллельно растет власть человека над природой и продуктивность его труда. Сравнение вагоновожатого с рикшей показывает это убедительно.

Учительский труд, хотя он и не имеет технических усовершенствований, движущих и толкающих его от рикши к вагоновожатому, имеет, однако, те же две стороны. Воспитывала всегда среда. Учитель иногда приглашался как дополнительная часть этой среды (гувернеры, частные учителя). Так же обстояло дело во всех школах. Учитель имел обязанности организовать среду; иногда это за него делали специально выделенные лица, на долю учителя тогда выпадала минимальная роль в организации среды. Так бывало в русской классической гимназии, где учитель являлся на уроки, объяснял, рассказывал, спрашивал. Он выступал в роли части сре-

ды. Его могли заменить (и с успехом ныне заменяют) книги, картины, экскурсии и пр.

И вся реформа нынешней педагогики, можно сказать с некоторым преувеличением, вертится вокруг этой темы: как свести возможно ближе к нулю роль учителя там, где он, подобно рикше, выступает в роли двигателя и части своей педагогической машины, и все основать на другой его роли — роли организатора социальной среды. Дальтон-план, трудовой метод, школа действий и пр., и пр. бьют именно в эту цель. В полном согласии с этой точкой зрения Торндайк и сводит роль учителя к регулированию стимулов для реакций ребенка. Но вразрез с намеченной здесь точкой зрения он в главном все же сводит воспитательный процесс к учителю. При совершенно правильной психологической постановке вопроса, гласящей, что воспитателями нашими являются наши движения, что ученик воспитывается сам, т. е. сам закрепляет свои реакции, отсюда не делается неизбежный педагогический вывод о коренной реформе школы и учительского труда.

Преподавание и есть имя той роли учителя, которая приближает его больше к рикше, чем к вагоновожатому. И везде у Э. Торндайка учитель еще преподаватель, т. е. совершеннейший рикша, который на себе тащит воспитательный процесс, вместо того чтобы за собой оставить обязанность организовывать и направлять его.

В прямой зависимости от этого стоит и то, что основные цели воспитания для нас играют гораздо большую роль, чем для Торндайка. Учитель хорошо должен знать эти цели и не ограничиваться теми расплывчатыми формулами, которые преподносит автор.

«Умножить сумму человеческого счастья и уменьшить сумму страданий человеческих существ, живущих и имеющих появиться на свет» — такой формулой учитель удовлетвориться не может. Ему требуется точно знать, каким путем надо это сделать, и все воспитание направлять к этой цели. Но эти слова, как и «идеалы активности, чести, долга, любви и повиновения», конечно, составляют полулицемерные, полуоткровенные идеалы буржуазного общества. Ими, конечно, нельзя вооружить учителя.

Сам Торндайк говорил об инстинктах, как и других прирожденных реакциях ребенка, что если нельзя реку Ниагару обратить вспять в озеро Эри и удержать ее в нем, то можно, построив новые каналы, заставить ее вращать колеса фабрик на служение человеку. Вот здесь дана точная формула воспитания. И для этого учителю совершенно необходимо конкретно и точно знать, в какие каналы он должен отвести природные стремления ребенка, какие колеса каких фабрик заставить их вращать.

Э. Торндайк очень верно говорит об односторонности школы, которая воспитывает только одну способность — умение оперировать представлениями; сам учитель, человек этого типа мышления, по его мнению, еще далеко не все для школы. Он знает, что ученик

сам воспитывает себя. В конечном итоге воспитывает учеников то, что они сами делают, а не то, что делает учитель; важно не то, что мы даем, а то, что мы получаем; только через свою самостоятельность они изменяются. И при всем том мысль эта не доведена до конца.

Особенно недооценена роль учителя как организатора социальной среды у Торндайка, если принять во внимание необычайную сложность человеческого поведения. Процесс воспитания, как уже говорено выше, приходится представлять себе как сложнейший процесс борьбы внутри организма. Уже нащупаны некоторые законы и механизмы этой борьбы.

Целый ряд раздражений гибнет в этой борьбе; то, что осуществляется, осуществляется после борьбы, после победы. Таким образом, приобретает особенно тонкие и сложные формы задача организации социальной среды. Мы не можем сказать: «Дайте мне все решительно природные реакции младенца, все решительно воздействия среды на него, и я вам с математической точностью предскажу его поведение». Необходимо внести поправку на усложняющий момент внутренней борьбы рефлексов. И организовать и вести эту борьбу — дело учителя; обеспечить победу нужных реакций — его задача.

Вот почему нам приходится согласиться с автором, когда он говорит, что вопросы, трактуемые в книге,— не те вопросы, которые обычно разрешаются под заголовком: «Принципы воспитания». Вопрос о том, каким путем лучше всего достигнуть тех изменений, к которым стремится воспитание, обсуждается под заголовками: «Принципы обучения», или «Методы обучения», или «Теория и практика обучения», или «Педагогическая психология». Настоящая книга пытается дать ответ на последние вопросы, она больше пытается научно обосновать искусство обучения, чем наметить общие цели школы или предметы обучения или определить общие результаты обучения тому или другому предмету. Мы разбираем здесь не что и почему, а как.

Нам и остается принять в этой книге ее *как* и совершенно изменить ее *почему* и *что*. Это «как» надо понимать весьма практически. Торндайк справедливо говорит, что природу воспитания образует изменение. Это изменение может быть направлено в разные стороны, мы можем ставить разные цели воспитанию. «Но по существу задача всегда одна и та же: даны определенные дети, в которых должны быть осуществлены определенные изменения. Как мне действовать?»

Оговариваемся, что никаких изменений в авторский текст нами не внесено.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ КНИГИ К. БЮЛЕРА «ОЧЕРК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» [1]

Книга К. Бюлера «Очерк духовного развития ребенка», предлагаемая вниманию читателя в русском переводе, соединяет в себе два редко совмещаемых в одной книге достоинства: подлинную научность, истинную простоту и краткость изложения. Это делает ее одинаково интересной и доступной для педагога, изучающего детскую психологию, и для психолога-специалиста. Полнота, систематический охват всех сторон психологического развития ребенка, богатство фактического материала, теоретических построений и гипотез отличают эту книгу, насыщенную по содержанию и лаконичную по форме. В общем это, по-видимому, лучшая из всех современных книг по психологии ребенка, книг, рассчитанных на широкий круг читателей, и прежде всего на воспитателей и родителей, что и побудило нас взяться за перевод этого содержательного «Очерка».

К. Бюлер — один из крупнейших современных немецких психологов, психолог-исследователь и мыслитель. Не только большие работы, но и «Очерк» он строит на широчайшей теоретической основе. Попытка опереть детскую психологию на биологический фундамент и создать, таким образом, общую теорию психологического развития, тенденция продвинуть на первый план столь характерное для всей новейшей психологии целостное понимание психологических процессов и строгое последовательное проведение идеи развития как основного объяснительного принципа — таковы главнейшие моменты, определяющие теоретическую основу всего «Очерка».

Вместе со всей новейшей психологией теоретические и принципиальные воззрения Бюлера проделали за прошедшие два десятилетия очень серьезную, сложную и глубокую эволюцию и сами могут быть оценены и правильно поняты только в свете развития психологической науки за последнее время. Бюлер начал научную деятельность как активный участник так называемой вюрцбургской школы [2] О. Кюльпе, объявившей углубленное самонаблюдение единственным источником психологического познания. Сейчас в книге «Духовное развитие ребенка», к которой примыкает настоя-

щий «Очерк», и особенно в книге «Кризис в психологии» [3], Бюлер выступает как сторонник широчайшего синтеза всех основных аспектов современного психологического исследования, синтеза, органически включающего субъективную и объективную психологию, психологию переживаний и психологию поведения, психологию бессознательного и структурную психологию, естественнонаучную психологию и психологию как науку о духе. В этом синтезе Бюлер видит утверждение единства психологии как науки и историческую судьбу всей психологии в целом. Синтез покоится у Бюлера в некоторой части на не преодоленном исследователем телеологическом основании. Тенденция к синтезу самых различных и часто непримиримых течений психологической мысли и телеологический способ рассмотрения ряда проблем приводят автора подчас к эклектическому объединению самых разнородных учений и теоретических взглядов, к насилию над фактами и втискиванию их в общие схемы. Правда, в «Очерке» это очень мало дает себя знать. Тем резче проступает другая отрицательная черта работы: неразличение биологических и социальных факторов психологического развития ребенка.

К. Бюлер в «Очерке», как и в большом труде, посвященном изучению духовного развития ребенка, разделяет вместе со всей почти современной детской психологией односторонний и ошибочный взгляд на психологическое развитие ребенка как на единый и притом биологический по своей природе процесс. Смешение и неразличение натурального и культурного, естественного и исторического, биологического и социального в психологическом развитии ребенка приводит неизбежно к неправильному принципиальному пониманию и истолкованию фактов.

Не удивительно, что развитие речи и рисунка, образование понятий и мышление рассматриваются как процессы, принципиально не отличающиеся от таких процессов, как развитие начатков интеллектуальной деятельности в животном мире. Недаром увлеченный сходством примитивного употребления орудий у человекоподобных обезьян (шимпанзе) и человеческого ребенка, Бюлер самую эпоху появления первичных форм мышления у ребенка назвал шимпанзеподобным возрастом. Один этот факт вскрывает с полной ясностью основную для Бюлера тенденцию — привести к одному знаменателю факты биологического и социально-культурного развития и игнорировать принципиальное своеобразие развития человеческого ребенка.

Если В. Келер в известном исследовании, на которое во многом опирается настоящий «Очерк», ставит задачей вскрыть разумные действия шимпанзе, обнаружить их человекоподобность, то Бюлер руководствуется в исследовании развития детского интеллекта противоположной тенденцией: он стремится обнаружить шимпанзеподобность поведения ребенка раннего возраста. Для него ход

развития человеческого ребенка — просто недостающая промежуточная ступень в биологической лестнице. Весь путь развития от обезьяны до взрослого культурного человека для него совершается в восхождении по единой биологической лестнице. Бюлер не знает принципиального перехода в психологическом развитии от биологического к историческому типу эволюции или, по крайней мере, не считает то принципиальным переломом. Так же и в онтогенезе он не различает линии биологического развития и социально-культурного формирования личности ребенка — обе линии сливаются для него в одну.

Отсюда возникает переоценка внутренних закономерностей развития в ущерб формирующему влиянию социальной среды. Среда как основной фактор развития высших интеллектуальных функций остается все время на заднем плане «Очерка». История развития высших форм поведения ребенка принципиально не выделена из общей истории развития элементарных биологических процессов. История образования понятий принципиально ничем не отличается от истории развития любой элементарной функции, непосредственно связанной с органической эволюцией ребенка.

Природа не делает скачков, развитие всегда происходит постепенно — так формулирует сам Бюлер эту антидиалектическую точку зрения. Стремление сгладить скачки во имя постепенности развития оставляет его слепым по отношению к реальному скачку от биологии к истории в развитии человека — в том процессе, который сам Бюлер называет становлением человека.

Эта тенденция — рассматривать развитие высших форм поведения, являющихся в плане филогенеза продуктом исторической эволюции человечества и имеющих в онтогенезе особую историю и особый путь развития, в том же плане, что и развитие элементарных функций,— приводит к двум печальным последствиям. Во-первых, относительное, свойственное ребенку определенной эпохи и определенной социальной среды, выдается в силу этого за абсолютное, всеобщее, необходимое звено развития. Наряду с шимпанзеподобным возрастом Бюлер различает как особую эпоху в развитии ребенка возраст сказок (и еще точнее и детальнее — возраст Степки-растрепки), возраст Робинзона. Рассматривая ребенка и его сказку через лупу психологического анализа, Бюлер превращает возраст сказок в какую-то естественную категорию, в какую-то биологическую фазу развития. Исторически возникшую, социальную, классово обусловленную закономерность он возводит в ранг вечного закона природы.

Во-вторых, благодаря той же основной установке возникает общее глубокое искажение всей возрастной перспективы детской психологии не только в смысле принципиального смешения биологических и социальных критериев в определении фаз и эпох детского развития, но и в отношении объективного распределения

всего процесса детского развития между отдельными возрастными эпохами.

Не случайно Бюлер приходит к выводу, что главный интерес детской психологии всегда должен быть сосредоточен вокруг первых лет жизни ребенка. Детская психология в глазах этого исследователя есть психология раннего детского возраста, когда вызревают основные и элементарные психологические функции. Большие шаги на пути развития ребенок делает вскоре после рождения, полагает автор «Очерка», и именно эти первые шаги (единственно только и доступные той современной детской психологии, к которой примыкает Бюлер) должен изучать психолог, подобно тому как в учении о развитии тела, в сущности, исследуются одни только эмбрионы.

Это сравнение, высказанное Бюлером в большой книге о духовном развитии ребенка, поразительно верно отражает истинное положение дел в психологии ребенка. Все рассуждение о центральном значении первых шагов психологического развития и принципиальная защита положения, что детская психология есть по самому своему существу психология младенческого и раннего возраста, как нельзя лучше согласуются с тем, что нами высказано выше. Современной детской психологии, к которой примыкает Бюлер, по самому существу ее направления, доступно изучение только эмбрионального развития высших функций, только эмбриология человеческого духа, в которую она сознательно и хочет обратиться, осознавая ближе собственные методологические границы. В ней тоже, в сущности, исследуются одни только эмбрионы.

Но сравнение с эмбриологией не только объективно верное, но вместе с тем и предательское сравнение. Оно указывает на слабое место детской психологии, выдает ее ахиллесову пяту, раскрывает то вынужденное воздержание и самоограничение, из которых психология хочет сделать свою добродетель.

В «Очерке» перед нами также развертывается по существу лишь «эмбриология человеческого духа». Все возрасты сдвинуты к младенчеству и раннему детству. Всякая функция исследуется в ее младенческом возрасте. Сам младенческий возраст сдвинут к биологически пограничной области, лежащей между мышлением шимпанзе и человека. В этом — сила и слабость всей психологической концепции Бюлера, в этом же — сила и слабость его «Очерка».

Все эти замечания мы считаем нужным предпослать русскому переводу книги Бюлера, исключительно руководясь одним желанием — дать мыслящему читателю твердую точку опоры для критического усвоения всего ценного материала, содержащегося в «Очерке духовного развития ребенка», и критического продумывания его теоретических положений и оснований.

2

Новыми в «Очерке духовного развития ребенка» по сравнению с большой книгой, посвященной той же проблеме, является опыт более ясного выявления биологических основ детской психологии и построение в соответствии с этим общей теории развития ребенка, как поясняет сам Бюлер в предисловии, предпосланном «Очерку». Не легко, вероятно, было бы найти другой такой пример очерка, излагающего для широких кругов читателей-неспециалистов в самой доступной форме основное содержание большого, капитального труда по детской психологии и вместе с тем заключающего в себе опыт построения общей теории развития ребенка.

Это сочетание теоретического и принципиального исследования большого стиля с простым и ясным изложением самых элементарных основ детской психологии, воплощенное в форме очерка, составляет нечастое исключение в научной литературе. Обычно оба эти момента не встречаются в одной книге. Построение общих теорий редко сочетается с освещением основных элементов той же научной области. Обычно обе эти задачи бывают разделены между различными авторами. Соединение их у одного автора и в одной книге придает всему «Очерку» глубоко своеобразный и, в сущности, двойственный отпечаток.

С одной стороны, благодаря такому сочетанию изложение элементарных сведений из психологии поднимается на необычную высоту. На глазах у читателя происходит оживление элементов теоретической мысли, их проверка, критика и сведение в новую систему: последнее придает действительно новый вид многим давно и прочно усвоенным азбучным истинам, как бы освещая их новым светом. Каждая азбучная истина, сдвигаясь с обычного места и включаясь в иную систему, становится проблемой.

Вся книга, посвященная, в сущности, целиком тем научным истинам, которые принято называть азбучными, наполняется богатым теоретическим содержанием. Она стремится продумать в новом плане и представить в новом свете старые истины. От читателя она поэтому требует также не усвоения только, но живого и критического мышления. Она не довольствуется простым сообщением, она на глазах читателя сшивает ткань своих выводов в теоретическую систему и требует обсуждения, критики, прослеживания всего процесса рассуждения в целом.

В этом заключена та вторая сторона дела, которая сообщает всей книге не только своеобразный, но и двойственный облик. Оживляя элементарные истины с помощью теоретической мысли, сдвигая их с давно насиженных мест, превращая их в проблемы большого стиля, книга тем самым вносит немало спорного, противоречивого, действительно проблематичного, а подчас и прямо неверного в фактический материал, сам по себе бесспорный, осве-

щенный часто колеблющимся, ложным светом теоретической мысли, не освободившейся до конца от донаучных — метафизических и идеалистических — элементов.

Этим обстоятельством и вызвана необходимость предпослать «Очерку духовного развития ребенка» беглый критический анализ некоторых основных теоретических положений, из которых исходит Бюлер. Единственной задачей анализа является внесение некоторых коррективов в ту теоретическую конструкцию, которая лежит в основе «Очерка», и указание критической мысли читателя основных направлений для преодоления в книге того, что должно быть не усвоено, а именно преодолено.

Что же нуждается в книге Бюлера в таком критическом преодолении? В самых общих словах, иллюстрированных рядом конкретных примеров, мы пытались выше, в разделе 1, обрисовать то основное в этой книге, против чего в первую очередь должна быть направлена наша критика. Мы видели, что достоинства и недостатки, плюсы и минусы всего «Очерка» берут начало из одного общего методологического корня. Поэтому задача их разъединения и изоляции друг от друга не может быть выполнена механически, путем устранения тех или иных частей книги. Надо разобраться в их сложном сплетении.

Вместе со всей современной детской психологией Бюлер исходит из отрицания атомистического подхода к детскому развитию и ищет целостную концепцию детской психологии. Мне кажется, говорит он, что самым важным в настоящее время является то, что мы снова стремимся, как сто лет назад Песталоцци, к пониманию смысла целого. Если нам удастся понять биологические функции психики и внутренний ритм ее развития, то дело Песталоцци, по мнению Бюлера, в наше время возродится.

Этим все сказано. Нельзя выразить полнее и короче, более содержательно и лаконично самую суть основной идеи Бюлера: перед исследователем стоит задача понять психологическое развитие ребенка как целое, и далее это целое раскрывается как биологические функции психики и внутренний ритм ее развития. Еще раз: биологические функции психики и связанный с ними внутренний ритм ее развития выдаются за целое всей детской психологии. Такое простое разрешение проблемы целого в детской психологии достигается за счет полного и абсолютного устранения из поля внимания исследователя социальных функций психики и социально обусловленного ритма ее развития.

Возражения вызывает, само собой разумеется, не сама по себе попытка более ясного выявления биологических основ детской психологии, а только попытка выдать эти биологические основы за то целое, смысл которого раскрывается в духовном развитии ребенка. Сама по себе попытка Бюлера опереть детскую психологию на биологический фундамент свидетельствует об огромном

теоретическом сдвиге, который проделал автор вместе со всей детской психологией, от метафизической, субъективно-идеалистической концепции психики, господствующей в работах вюрцбургской школы, к естественнонаучной, биологической и, следовательно, стихийно материалистической концепции. Научная детская психология, конечно, не может строиться иначе, как на прочном биологическом фундаменте.

Идея развития, пронизывающая книгу от первой до последней страницы; общее стремление автора искать причины больших и типичных успехов в душевной жизни нормального ребенка в структурном развитии коры большого мозга и связанная с этим тенденция рассматривать психологическое развитие ребенка в общем аспекте его биологического развития — эти три идеи составляют самое ценное в теоретическом построении Бюлера, и все они непосредственно вытекают из поставленных им во главу угла биологических основ детской психологии.

Но попытка исчерпать все содержание детской психологии биологическими функциями психики, свести к этим функциям все психологическое развитие ребенка в целом означает для психолога не что иное, как попасть в биологический плен. Такая попытка неизбежно приводит к распространению биологического понимания в психологии за его законные методологические пределы и порождает целый ряд глубоких теоретических заблуждений, из которых главнейшие были уже названы нами выше — в разделе 1.

3

Если попытаться привести эти ошибки к их общему методологическому знаменателю, свести их к единству и вынести за скобки общее, что в них содержится, то мы найдем — в качестве их общих корней — две основные линии теоретических размышлений, одинаково ложных, внутренне связанных между собой, хотя и идущих в противоположных направлениях. Первая линия — психологизация биологии, вторая — биологизация психологии. Обе в одинаковой мере являются вполне законными выводами из ложных в корне предпосылок, соединяющих знаком равенства две части основного методологического уравнения Бюлера: «смысл целого» всей детской психологии и «биологические функции психики».

Рассмотрим сперва первую линию. Как это ни кажется странным и парадоксальным с первого взгляда, но попытка полной биологизации психологии неизбежно приводит на деле к обратному: к психологизации биологии. Ибо на деле — обратимся к конкретному примеру — рассматривать образование понятий в свете биологических функций психики означает не только искажать психологическую природу процесса образования понятий, приравнивая его принципиально к «практическим изобретениям» или

другим формам интеллектуальной деятельности шимпанзе, но и глубоко искажать природу биологических функций, приписывать им нечто такое, что в них не содержится, возводить их в высший ранг и предполагать — пусть только предполагать! — что в них заключено нечто большее, чем просто органические, жизненные процессы.

Это, в свою очередь, значит открыть двери витализму и вместе с ним спрашивать, наперед давая положительный ответ на вопрос: биологические функции, в ряду которых должна быть помещена и вся психология человека, не содержат ли они сами в себе уже психологического — или психоидного, т. е. подобного психическому,— начала? Иначе как объяснить возникновение в биологическом ряду функций и процессов — мышления в понятиях?

К. Бюлер — при всей строгости и осторожности, которые отличают его биологическое мышление и которые он в «Очерке» доказывает на каждом шагу при рассмотрении таких вопросов, как вопросы о сознательности инстинкта, о процессах сознания у младенца, о развитии мозга и мышления, которые он все, кстати сказать, решает не в духе витализма,— теоретически вынужден признать допустимой виталистическую концепцию Г. Дриша [4], духовного вождя современного витализма. По мнению Бюлера, вполне возможно, что самые общие явления органической жизни (рост, размножение, регенерация) требуют допущения наличия у всех живых существ психообразного естественного фактора. И ссылается при этом на Дриша.

Нельзя доказать яснее и убедительнее, что попытка все духовное развитие ребенка свести к биологическим, природным, элементарным факторам приводит на деле к виталистическому допущению души как элементарного природного фактора. Так построена работа Дриша, на которую ссылается Бюлер.

Обратной стороной этого же хода мысли является то, что мы назвали выше второй линией и обозначили как биологизацию психологии.

Не случайно Бюлер развивает идею прямого перенесения форм зоопсихологического эксперимента в детскую психологию и в первые годы жизни ребенка считает этот метод преимущественной формой экспериментального исследования, оговаривая целый ряд технических изменений, которые должны быть при этом сделаны, и не указывая ни одного принципиального различия в подходе к исследованиям поведения ребенка и животного в одной и той же экспериментальной ситуации.

Не случайно, далее, соглашаясь с Г. Риккертом [5], В. Дильтеем и другими в том, что личность в настоящее время — и, кто знает, быть может, никогда — нельзя будет понять как поддавшийся учету продукт влияний, которые участвовали в ее образовании, т. е. допуская по существу метафизическую концепцию личности,

Бюлер вместе с тем — в плане научного исследования развития личности — не находит принципиально ничего нового по сравнению с теми же тремя ступенями психологического развития, которые мы находим уже в животном мире.

Это замечательный факт, что наряду с фактическим допущением непознаваемости личности исследователь не находит в плане научного познания в этой самой личности ничего такого, что выходило бы за пределы основных форм поведения животного. Это — центральный для всей системы Бюлера факт, что основная теория трех ступеней в развитии поведения одинаково охватывает все поведение человека и животных во всем его объеме. Разве одно это не равносильно признанию, что в развитии человека и человеческого ребенка не возникало ничего принципиально нового, никакой новой ступени поведения, отличающей человека и специфической для него, что это развитие всецело укладывается в рамки биологической эволюции поведения?

Естественно, что в развитии ребенка, как уже сказано, выдвигается на первое место элементарное, основное, биологически первичное в ущерб высшему, специфически человеческому, историческому и социальному в психологии человека. Разве не великолепно звучит утверждение Бюлера, что детская комната, приюты для идиотов и вспомогательные школы являются местами, где лучше всего можно изучить структуру человеческого духа и основные линии его развития?

Везде сквозит одна и та же тенденция: непосредственно вывести всю полноту психологических функций и форм из биологических корней, абсолютизировать примитивное, первичное, основное — придать универсальное значение эмбриональным стадиям развития, тенденция, о которой мы говорили уже в разделе 1 нашего вступительного очерка.

4

Но здесь перед нами встает задача расчленения и анализа. Что же худого, казалось бы, в том, что первичное принимается за основное? Ведь первичное и есть в действительности основное. Основу образуют низшие, элементарные, примитивные функции, а высшие являются чем-то производным, вторичным, даже третичным.

Все это так. И поскольку идея Бюлера заключается именно в этом, он, бесспорно, прав. Но анализ вскрывает другое за этой правотой. Тот, кто не ограничивается этим, а пытается свести к первичной основе все развитие в целом и тем самым придать абсолютное значение первичным формам, тот игнорирует объективную диалектику развития, в процессе которого возникают на первичной основе новые и новые, качественно не сводимые к ней образования, тот игнорирует диалектический метод научного позна-

ния как единственный адекватный способ раскрытия объективной диалектики развития.

Но антидиалектичность — как уже сказано — и есть основной порок всей системы Бюлера. В этом корень всех его ошибок.

«Природа не делает скачков, развитие всегда происходит постепенно» — это антидиалектическое правило Бюлер формулирует именно в связи с проблемой поведения животных и человека. Скачок от биологии к истории для него не существует и, следовательно, для него не существует скачка от биологической к исторической эволюции поведения, основного скачка при переходе от зоопсихологии к психологии человека. Как и вся европейская психология ребенка, теория Бюлера пытается обойти социальное в проблеме человека. Это центральная идея, узел всех его теоретических линий: антидиалектическое понимание психологического развития.

В понимании филогенеза, как и в понимании онтогенеза, эта установка ведет к заблуждениям. Из них главнейшее: все виды и типы развития смешиваются воедино, по существу механически отождествляются. Раньше всего — филогенез и онтогенез, развитие человечества и развитие ребенка.

К. Бюлер убежден, что история первобытного человечества есть не что иное, как история духовного развития наших детей. Но дальше история первобытного человечества — через развитие ребенка — приравнивается к биологической эволюции, приведшей к возникновению человека. В биологической лестнице, говорит Бюлер, мы не знаем промежуточных ступеней между мышлением шимпанзе и человека, но мы можем проследить это в ходе развития человеческого ребенка. Так можно будет показать, как совершается этот переход.

Линия биологической эволюции поведения и ее исторического развития в филогенезе, обе линии в онтогенезе принципиально не выделяются автором как два различных типа развития. Далее в один ряд выстраивается филогенез и развитие ребенка и объявляется, что в развитии ребенка проявляются определенные основные законы духовного прогресса, совершенно независимо от внешних влияний, т. е. одинаково действительные в развитии человека в доисторические времена и в детстве.

Независимо от внешних влияний, т. е. вне среды, действующие законы развития человека не оставляют, разумеется, места для различения низших и высших форм поведения и мышления, биологических и социальных факторов развития, относительных, частных, свойственных ребенку данной эпохи и данного класса и всеобщих биологических закономерностей развития, и вся задача исследователя — по его собственному признанию — будет состоять в том, чтобы найти эти вечные, основные, независимые от внешних влияний законы развития в чистом виде, абстрагировать их от

всего конкретного, исторического и разглядеть в неясных очертаниях конкретного образа характерные черты ребенка вообще.

Целый ряд проблем получает в зависимости от этой основной концепции глубоко неправильное освещение. Мы говорили уже о проблеме высших интеллектуальных функций, которую автор ставит все в том же биологическом плане. Стремление отыскать непосредственную причину таких успехов в душевной жизни нормального ребенка, как развитие функции образования понятий, в структурном развитии коры большого мозга типично для попыток этого рода.

Вместо допущения, что в структурном развитии коры большого мозга возникают необходимые условия, создается возможность, формируются биологические предпосылки для развития функции образования понятий — этой высшей, исторически сложившейся и социально обусловленной формы мышления,— к структурным изменениям коры как причине сводится история всех высших форм поведения.

Мы могли бы указать далее на чисто натуралистическую теорию детской игры, которую, следуя по пути, намеченному К. Гроосом, развивает Бюлер, говоря, что здесь имеется налицо дальнейшее развитие способности уже в игре животных. И это определяет в основном его взгляд на связь игры ребенка с играми животных: дальнейшее развитие той же способности — и все.

Мы не станем перечислять далее всех конкретных проблем, на которых так или иначе сказались методологические пороки всей системы Бюлера. Остановимся в заключение только на одной еще проблеме этого рода, типичной для всей книги: на проблеме наследственности психических свойств в освещении Бюлера.

5

В анализе проблемы наследования психических свойств Бюлер приводит результаты собственного исследования ста родословных преступников. Эти результаты показывают, с точки зрения автора, что есть люди, имеющие с юных лет неискоренимое стремление к бродяжничеству и воровству и превращающиеся в дальнейшей жизни в регулярно возвращающихся жителей тюрем и исправительных домов. У них роковая наследственность, которая так же закономерно передается из поколения в поколение, как какое-нибудь простое физическое свойство, и является рецессивной по отношению к нормальным задаткам. Но нужно оговориться, что эти задатки только мужчин приводят в тюрьмы и исправительные дома так часто, как этого требуют менделевские правила.

Итак, наследственные задатки, передаваемые от отцов к сыновьям, как какое-нибудь простое физическое свойство, с такой правильностью, как этого требуют законы Г. Менделя,— вот что лежит в основе преступности по Бюлеру. Как ни чудовищно подобное

утверждение, как ни очевидно, что автор, просто следуя старой и ложной теории «врожденной преступности», сводит к «роковой наследственности» пребывание родителей и детей в тюрьме, игнорируя социально-экономические факторы преступности, на этом примере стоит остановиться и проанализировать, как становятся возможными подобные выводы, более того, как они становятся неизбежными при определенных теоретических предпосылках.

Перед нами разительный пример того, как могут быть верны сами по себе факты, лежащие в основе какого-либо вывода, и как они могут тем не менее повести к абсолютно ложным выводам, если их истолкование направляется ложным теоретическим пониманием.

Сами по себе установленные в исследовании Бюлера факты верны. В чем они заключаются? В том, что существует весьма высокая корреляция между пребыванием в тюрьме родителей и детей. Бюлер, например, исследовал судьбу детей, у которых оба родителя были заключены на продолжительный срок в тюрьму. Из 30 детей этой группы 28 также попали в тюрьму. Таковы факты. Существует связь — говорят эти факты — между пребыванием в тюрьме отца и сына. И только. Ни слова больше.

Дальше начинается интерпретация и объяснение фактов. Какова эта связь? Бюлер утверждает, что это наследственная связь, что задатки преступности наследуются по законам Менделя, как какое-нибудь простое физическое свойство. В данном случае он поступает совершенно так же, как Ф. Гальтон в известном исследовании наследственности гения и многие другие, т. е. повторяет вслед за ними хорошо известную в учении о наследственности весьма наивную и ставшую уже шаблонной ошибку.

Исследования Бюлера, как и многие другие исследования подобного рода, приводят к совершенно ложным результатам, которые объясняются тем, что сходство в признаках между родителями и детьми принимается — без дальнейшего анализа — за основу суждения о наследственности. К. Пирсон [6] и определяет наследственность как корреляцию между степенью родства и степенью сходства. Это же определение в виде молчаливой предпосылки лежит в основе исследования Бюлера.

Критику этой ошибки, широко распространенной, дал в нашей научной литературе П. П. Блонский. Определение Пирсона, из которого исходят, как из молчаливой предпосылки, все, кто повторяет снова и снова эту ошибку, неизбежно приводит к тому, что в логике называется circulus vitiosus; исследователь в рассуждениях описывает порочный круг, исходя из того, что в сущности требуется доказать. Бюлер, например, наперед предполагает, что если между пребыванием в тюрьме родителей и детей окажется связь, то эта связь есть наследственная. А между тем именно это следовало бы доказать.

В самом деле, разве всякое сходство во всяких признаках между родителями и детьми непременно указывает на передачу этих признаков путем наследственности от родителей к детям? Определение Пирсона слишком широкое и потому ложное. Оно включает в себя не только биологическую наследственность, но и то, что Блонский называет социальной наследственностью социальных условий жизни и существования, которая подчиняется не правилам Менделя, а законам общественной жизни.

Наследственность, говорит Блонский, не есть простое биологическое явление: от хроматин-наследственности мы должны отличать социальную наследственность условий жизни и социального положения. На основе этой социальной, классовой наследственности и образуются династии. В высокопроизводительном богатом классовом обществе при большой материальной обеспеченности и большой плодовитости этих династий шансы их выдвинуть большое количество талантов повышаются. С другой стороны, тяжелая постоянная работа, физический труд и нищета не дают никаких возможностей проявиться наследственному гению трудящихся масс (1925).

То, что Блонский говорит о «наследственности гения» по поводу исследования Гальтона, слово в слово приложимо и к наследованию тюремных задатков по учению Бюлера и к исследованию Петерса относительно наследования умственных способностей, на которое ссылается Бюлер. Петерс сравнил школьные отметки детей, родителей и дедов и пришел к установлению факта наследственной передачи умственных способностей, сказывающихся в школьной успешности, игнорируя то обстоятельство, что школьная успешность — результат многих факторов, и в первую очередь факторов социальных. Петерс рассматривает задатки к хорошим школьным успехам как доминирующее свойство, передающееся по законам Менделя.

Легко видеть, что все эти исследования смешивают наследственность в собственном смысле слова с социальной наследственностью, с наследственностью условий жизни, ибо сходство между родителями и детьми, сходство их судьбы объясняется, конечно, не только прямой передачей наследственных свойств, но и передачей жизненных условий.

Ребенок, оба родителя которого подвергнуты продолжительному тюремному заключению, конечно, имеет очень много шансов повторить их судьбу — не только потому, что преступление родителей часто служит воспитывающим примером для детей, не только потому, что самый факт пребывания в тюрьме обоих родителей обрекает обычного ребенка на беспризорность, но в первую очередь потому, что те же самые социальные причины, которые толкнули на преступление его родителей, обычно продолжают действовать и во втором поколении, так же определяя судьбу детей, как

в свое время они определили судьбу отцов. Нищета, безработица, беспризорность и пр., и пр. хорошо изученные факторы преступности — разве они не действуют на детей с той же неотразимостью, как и на родителей?

Так же точно те социальные условия (материальная обеспеченность, культурные условия домашней жизни, досуг и пр., и пр.), которые обеспечили в свое время дедам и родителям хорошие баллы во время их школьного обучения, должны в массе обеспечить детям этих родителей те же хорошие отметки.

Только на почве самого грубого смешения биологической и социальной наследственности возможны такие научные недоразумения, как приведенные выше положения Бюлера о наследственности «тюремных задатков», Петерса — о наследственности задатков к хорошим баллам в школе и Гальтона — о наследственности задатков к министерским, судейским должностям и к ученым профессиям. Взамен анализа социально-экономических факторов, обусловливающих преступность, это чисто социальное явление — продукт социального неравенства и эксплуатации — выдается за наследственный биологический признак, передающийся от предков к потомкам с такой же закономерностью, как определенная окраска глаз.

Мы остановились так подробно на анализе проблемы наследственности в освещении Бюлера не потому, что она занимает центральное место в системе его рассуждений, а потому, что она является типичной для его методологических заблуждений и показывает, как, каким путем ложные принципиальные предпосылки приводят к ложным теоретическим выводам. Ведь Бюлер не задался целью проанализировать методологические основы проблемы наследственности в психологии, установить, что вообще наследуется из форм поведения, в каком отношении находятся наследственные задатки к развитию сложных комплексных и высших психологических функций и форм поведения. А без этого анализа незаметно для самого автора его основная биологическая концепция начинает определять весь ход его рассуждений, и снова — в этой проблеме, как и во всех остальных,— социальное превращается в биологическое, которому придается универсальное и абсолютное значение во всей драме духовного развития ребенка, как выражается Бюлер, не замечающий в этой драме других действующих лиц, кроме биологических факторов.

Мы можем на этом замкнуть наш критический очерк. Мы начали с указания на неразличение социальных и биологических факторов психологического развития ребенка как на основной методологический порок всей теории Бюлера и в заключение — в качестве итога всего рассмотрения его книги — пришли к тому же. Очевидно, это альфа и омега всего его «Очерка».

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ В. КЕЛЕРА «ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ ОБЕЗЬЯН» [1]

Развитие научных идей и взглядов совершается диалектически. Противоположные точки зрения на один и тот же предмет сменяют друг друга в процессе развития научного знания, и новая теория часто является не прямым продолжением предшествующей, а ее диалектическим отрицанием. Она включает в себя все положительные достижения своей предшественницы, выдержавшие историческую проверку, но сама в построениях и выводах стремится выйти за ее пределы и захватить новые и более глубокие слои явлений.

Так же диалектически совершалось развитие научных взглядов на интеллект животных. Мы можем отчетливо отметить и проследить три этапа, которые прошло в своем развитии это учение в последнее время.

Первый этап — те антропоморфические теории, которые, обманываясь внешним сходством поведения животных и человека в известных случаях, приписывали животному взгляды, мысли и намерения человека, переносили на животное человеческий образ действий и полагали, что в сходных ситуациях животное достигает таких же результатов, что и человек, при помощи тех же самых психологических процессов и операций. В эту пору животному приписывалось человеческое мышление в его самых сложных формах.

Реакцией против такой точки зрения стало объективное научное исследование поведения животных, которому путем тщательных наблюдений и экспериментов удалось установить, что значительная доля тех операций, которые прежняя теория склонна была рассматривать как разумные действия, принадлежит просто к числу инстинктивных, врожденных способов деятельности, а другая часть — видимо разумных способов поведения — обязана своим появлением способу случайных проб и ошибок.

Э. Торндайку — этому отцу объективной психологии — в исследовании интеллекта животных удалось экспериментально показать, что животные, действуя по способу случайных проб и ошибок, вырабатывали сложные формы поведения, которые по виду оказывались сходными с такими же формами у человека, но

по существу были глубоко отличны от них. Животные в опытах Торндайка открывали относительно сложные запоры и задвижки, справлялись с различной сложности механизмами, но все это происходило без малейшего понимания самой ситуации или механизма, исключительно путем самодрессировки. Его опыты открыли новую эпоху в психологии животных. Торндайк сам прекрасно выразил это новое направление в изучении интеллекта животных и его противоположность старой точке зрения.

Прежде, по словам Торндайка, все очень охотно говорили об уме животных и никто не говорил об их глупости. Основной целью нового направления сделалась задача показать, что животные, будучи поставлены в ситуацию, сходную с той, в которой человек обычно размышляет, обнаруживают именно глупость, неразумное поведение, по существу не имеющее ничего общего с поведением размышляющего человека, и, следовательно, для объяснения этого поведения нет никакой надобности приписывать животным разум.

Таков важнейший итог исследований, создавших, как уже сказано, целую эпоху в нашей науке.

В. Келер справедливо говорит по тому же поводу, что до самого последнего времени учение об интеллекте было охвачено негативистическими тенденциями, руководствуясь которыми исследователи старались доказать неразумность, «нечеловекоподобность», механистичность поведения животных.

Исследования Келера, как ряд других исследований в этой области, знаменуют новый, третий этап в развитии проблемы. Келер задается тем же самым вопросом, что и Торндайк, и хочет исследовать, существует ли у высших животных, у человекоподобных обезьян, интеллект в собственном смысле слова, т. е. тот тип поведения, который издавна считается специфическим отличием человека. Но этот вопрос Келер пытается решить по-иному, он пользуется другими средствами и ставит перед собой другие теоретические цели, чем Торндайк.

Несомненная историческая заслуга Торндайка заключается в том, что ему удалось покончить раз и навсегда с антропоморфическими тенденциями в науке о поведении животных и обосновать объективные естественнонаучные методы в зоопсихологии. Механистическое естествознание отпраздновало свой высший триумф в этих исследованиях.

Однако вслед за решением этой задачи, вскрывшим механизм образования навыка, перед исследователями самим ходом развития науки была поставлена новая задача, которая выдвигалась по существу дела уже исследованиями Торндайка. Благодаря этим исследованиям создался очень резкий разрыв между поведением животных и человека. В поведении животного, как показали исследования Торндайка, нельзя было установить ни малейшего следа интеллекта, и оставалось — именно с естественнонаучной

точки зрения — непонятно, как возник разум человека и какими генетическими нитями он связан с поведением животных. Разумное поведение человека и неразумное поведение животного оказались разделенными целой бездной, и самый разрыв не только указывал на бессилие механистической точки зрения в объяснении происхождения высших форм поведения человека, но и на существенный принципиальный конфликт в генетической психологии.

В самом деле, перед психологией в этом пункте открылись две дороги: или отойти в указанном вопросе от эволюционной теории и отказаться вообще от попытки генетического рассмотрения мышления, т. е. стать на метафизическую точку зрения в теории интеллекта, или обойти проблему мышления, вместо того чтобы разрешить ее, устранить самый вопрос, пытаясь показать, что и поведение человека — в том числе и его мышление — может быть сведено без остатка к процессам механической выработки навыков, по существу не отличающимся ничем от таких же процессов у кур, кошек и собак. Первый путь приводит к идеалистической концепции мышления (вюрцбургская школа), второй — к наивному бихевиоризму.

В. Келер справедливо отмечает, что Торндайк даже в первых исследованиях исходит из молчаливого признания поведения разумного типа, как бы мы ближе ни определяли его особенности и какие бы критерии ни выдвигали для его отличия от других форм поведения.

Ассоциативная психология, как и психология Торндайка, как раз и исходит из того положения, что процессы, которые наивному наблюдателю кажутся разумными, могут быть сведены к действию простого ассоциативного механизма. У радикального представителя этого направления, Торндайка, говорит Келер, мы находим в качестве основного результата его исследований на собаках и кошках следующее положение: ничто в поведении этих животных не является сколько-нибудь разумным. Кто формулирует свои выводы таким образом, продолжает Келер, тот должен признать другое поведение разумным, тот уже знает из непосредственного наблюдения, скажем над человеком, эту противоположность, хотя бы он в теории и пытался ее отрицать.

Само собой разумеется, что для вопроса, о котором идет сейчас речь, один вид животных имеет совершенно исключительное значение. Человекоподобные обезьяны, наши ближайшие родственники по эволюционной лестнице, занимают совершенно исключительное место в ряду других животных. Исследования в этом пункте должны пролить свет на происхождение человеческого разума.

Именно близость к человеку — основной мотив, который возбуждает, как указывает Келер, наш наивный интерес к исследованиям интеллекта человекоподобных обезьян. Прежние исследования показали, что по химизму тела, поскольку он отражается

в свойствах крови, и по строению большого мозга человекоподобная обезьяна ближе стоит к человеку, чем к другим, низшим видам обезьян. Естественно рождается вопрос: не удастся ли специальным исследованием установить родство человека и обезьяны также и в области поведения?

Главное и важнейшее значение работы Келера, основной вывод, который ему удалось сделать, состоит в научном оправдании наивного ожидания, что человекоподобная обезьяна не только в отношении некоторых морфологических и физиологических признаков стоит к человеку ближе, чем к низшим видам обезьян, но также и в психологическом отношении является ближайшим родственником человека. Таким образом, исследования Келера приводят впервые к фактическому обоснованию дарвинизма в психологии в самом критическом, важном и трудном пункте. К данным сравнительной анатомии и физиологии они прибавляют данные сравнительной психологии и восполняют этим прежде недостававшее звено эволюционной цепи.

Можно сказать без всякого преувеличения, что этими исследованиями впервые дано точное фактическое обоснование и подтверждение эволюционной теории в области развития высшего поведения человека. Эти исследования преодолели и тот разрыв между поведением человека и поведением животного, который создался в теории благодаря работам Торндайка. Они перекинули мост через бездну, разделявшую разумное и неразумное поведение. Они показали ту — с точки зрения дарвинизма — несомненную истину, что зачатки интеллекта, зачатки разумной деятельности человека заложены уже в животном мире.

Правда, нет абсолютной теоретической необходимости ожидать, что человекоподобная обезьяна обнаружит черты поведения, сходные с человеком.

В последнее время, как справедливо указывает В. А. Вагнер, идея о происхождении человека от антропоморфных обезьян вызывает сомнения. Есть основания полагать, что его предком была какая-то исчезнувшая форма животных, от которой по прямому эволюционному пути развился человек.

Клоач целым рядом весьма убедительных соображений доказывает, что антропоморфные обезьяны представляют собой не более, как отделившуюся ветвь родоначальника человека. Приспособляясь к специальным условиям жизни, они в борьбе за существование должны были пожертвовать теми частями своей организации, которые открывали путь к центральным формам прогрессивной эволюции и привели к человеку. Одна уже редукция большого пальца, по словам Клоача, отрезала этим побочным ветвям путь наверх. С этой точки зрения антропоморфные обезьяны представляют тупики в сторону от основного русла, которым двигалась прогрессивная эволюция.

Было бы, таким образом, величайшей ошибкой рассматривать человекоподобную обезьяну как нашего прямого родоначальника и ожидать, что мы найдем у нее зачатки всех форм поведения, которые свойственны человеку. Наш общий с человекоподобной обезьяной родоначальник, по всей вероятности, исчез, и, как правильно указывает Клоач, человекоподобная обезьяна лишь боковое ответвление этого первоначального вида.

Таким образом, мы заранее должны ожидать, что не встретим прямой генетической преемственности между шимпанзе и человеком, что многое у шимпанзе — даже по сравнению с нашим общим родоначальником — окажется редуцированным, многое окажется ушедшим в сторону от основной линии развития. Поэтому ничего нельзя решить наперед, и только экспериментальное исследование могло бы с достоверностью ответить на интересующий нас вопрос.

В. Келер подходит к этому вопросу со всей точностью научного эксперимента. Теоретическую вероятность он превратил в экспериментально установленный факт. Ведь даже разделяя всю справедливость указаний Клоача, мы не можем не видеть огромной теоретической вероятности, что при значительной близости шимпанзе к человеку как в отношении химизма крови, так и в отношении структуры большого мозга мы можем ожидать найти у этой обезьяны зачатки специфически человеческих форм деятельности. Мы видим, таким образом, что не только наивный интерес к человекоподобной обезьяне, но и гораздо более важные проблемы эволюционной теории были затронуты этими исследованиями.

В. Келеру удалось показать, что человекоподобные обезьяны обнаруживают интеллектуальное поведение того типа и рода, которое является специфическим отличием человека, именно: что высшие обезьяны способны к изобретению и употреблению орудий. Употребление орудий — эта основа человеческого труда,— как известно, определяет глубокое своеобразие приспособления человека к природе, своеобразие, отличающее его от других животных.

Известно, что, согласно теории исторического материализма, употребление орудий есть исходный момент, определяющий своеобразие исторического развития человека в отличие от зоологического развития его предков. Однако для исторического материализма открытие, сделанное Келером и состоящее в том, что человекоподобные обезьяны способны к изобретению и употреблению орудий, не только не является ни в какой мере неожиданным, но является наперед теоретически угаданным и рассчитанным.

К. Маркс говорит по этому поводу: «Употребление и создание средств труда, хотя и свойственны в зародышевой форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда, и поэтому Франклин определяет человека как «a toolmaking animal», как животное, делающее орудия» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 23, с. 190—191). В этом

положении мы видим не только указание на то, что зачатки употребления орудий мы находим уже у некоторых животных.

«Как только человек становится животным, производящим орудия,— говорит Г. В. Плеханов,— он вступает в новую фазу своего развития: его *зоологическое* развитие заканчивается и начинается его *исторически* жизненный путь» (1956, т. 2, с. 153). «Ясно, как день,— говорит далее Плеханов,— что применение орудий, как бы они ни были несовершенны, предполагает относительно огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло прежде, чем наши обезьяночеловеческие предки достигли такой степени развития «духа». Каким образом они достигли этого? Об этом нам следует спросить не историю, а зоологию... Как бы там ни было, но зоология передает историю homo (человека), уже обладающего способностями изобретать и употреблять наиболее примитивные орудия» (там же).

Мы видим, таким образом, со всей ясностью, что способность к изобретению и употреблению орудий есть предпосылка исторического развития человека и возникает еще в зоологический период развития наших предков. При этом чрезвычайно важно отметить, что, говоря об употреблении орудий, как оно было свойственно нашим предкам, Плеханов имеет в виду не то инстинктивное употребление орудий, которое свойственно некоторым нижестоящим животным (например, постройка гнезд у птиц или постройка плотин у бобров), а именно изобретение орудий, предполагающее огромное развитие умственных способностей.

Экспериментальные исследования Келера не являются прямым фактическим подтверждением этого теоретического предположения. Потому и здесь мы должны внести поправку при переходе от теоретического рассмотрения к экспериментальному исследованию над обезьянами, поправку, о которой говорено выше. Мы не должны ни на минуту забывать, что человекоподобные обезьяны, которых исследовал Келер, и наши обезьяночеловеческие предки, о которых говорит Плеханов,— не одно и то же. Однако, даже сделав эту поправку, мы не можем отказаться от мысли, что между одними и другими существует, несомненно, ближайшее генетическое родство.

В. Келер наблюдал в экспериментах и в свободных естественных играх животных широкое применение орудий, которое, несомненно, стоит в генетическом родстве с той предпосылкой исторического развития человека, о которой говорит Плеханов.

В. Келер описывает самые разнообразные применения палки, ящика и других предметов в качестве орудий, при помощи которых шимпанзе воздействует на окружающие его вещи, а также примеры примитивного изготовления орудий. Например, шимпанзе соединяет две или три палки, вставляя конец одной в отверстие другой, чтобы получилось удлиненное орудие, или отламывает ветку для того, чтобы воспользоваться ею как палкой, или разнимает стоящий

на антропоидной станции аппарат для чистки сапог, чтобы высвободить из него железные прутья, или выкапывает из земли наполовину зарытый в нее камень и т. д.

Но только палка, как показал Келер, у обезьян излюбленный и универсальный инструмент, которому они находили самое разнообразное применение. В этой палке, как в универсальном орудии, историки культуры и психологии без всякого труда увидят прообраз наших самых разнообразных орудий. Палку употребляет шимпанзе как шест для прыгания, палкой пользуется как удочкой или ложкой, выдавливая взбирающихся на нее муравьев и слизывая их потом. Палка для животного рычаг, при помощи которого оно открывает крышку водоема. Палкой, как лопатой, шимпанзе копает землю. Палкой, как оружием, угрожает другому. Палкой сбрасывает ящерицу или мышь с тела, дотрагивается до заряженной электрической проволоки и т. д.

Во всех этих различных способах употребления орудий мы имеем несомненные зачатки, зародышевые следы, психологические предпосылки, из которых развилась трудовая деятельность человека. Энгельс, приписывая труду решающую роль в процессе очеловечения обезьяны, говорит, что «труд создал самого человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 486). С большой тщательностью Энгельс поэтому старается проследить предпосылки, которые могли привести к возникновению трудовой деятельности. Он указывает на разделение функций рук и ног. «Этим,— говорит он,— был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку» (там же).

В полном согласии с Дарвином, который также утверждал, что человек никогда не достиг бы своего господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, обладающих удивительным свойством послушно повиноваться его воле, Энгельс видит решительный шаг в освобождении руки от функции передвижения. Так же в полном согласии с Дарвином Энгельс полагает, что нашим предком была «необычайно высоко развитая порода человекоподобных обезьян» (там же).

В опытах Келера мы имеем экспериментальное доказательство того, что и переход к употреблению орудий был действительно подготовлен еще в зоологический период развития наших предков.

Может показаться, что в сказанном заключается некоторое внутреннее противоречие. Нет ли, в самом деле, противоречия между данными, установленными Келером, и между тем, чего мы должны были ожидать согласно теории исторического материализма? В действительности, мы сказали, что Маркс видит отличительное свойство человеческого труда в употреблении орудий, что он считает возможным пренебречь при определении зачатками применения орудий у животных. Не является ли то, о чем мы говорим сейчас, т. е. встречающееся у обезьян относительно ши-

роко развитое и по типу близко стоящее к человеку употребление орудий, специфической особенностью человека?

Как известно, Дарвин возражал против мнения, согласно которому только человек способен к употреблению орудий. Он показывает, что многие млекопитающие в зачаточном виде обнаруживают эту же самую способность. Так, шимпанзе употребляет камень, чтобы раздробить плод, имеющий твердую скорлупу. Слоны обламывают сучья деревьев и пользуются ими для того, чтобы отгонять мух.

«Он, разумеется, совершенно прав с своей точки зрения,— говорит о замечаниях Дарвина Плеханов,— т. е. в том смысле, что в пресловутой «природе человека» нет ни одной черты, которая бы не встречалась у того или другого вида животных, и что поэтому нет решительно никакого основания считать человека каким-то особенным существом, выделять его в особое «царство». Но не надо забывать, что *количественные различия переходят в качественные*. То, что существует *как зачаток* у одного животного вида, может стать *отличительным признаком* другого вида животных. Это в особенности приходится сказать об употреблении орудий. Слон ломает ветви и отмахивается ими от мух. Это интересно и поучительно. Но в истории развития вида «слон» употребление веток в борьбе с мухами, наверно, не играло никакой существенной роли: слоны не потому стали слонами, что их более или менее слоноподобные предки обмахивались ветками. Не то с человеком.

Все существование австралийского дикаря зависит от его бумеранга, как все существование современной Англии зависит от ее машин. Отнимите у австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою «природу» (1956, т. 1, с. 609).

Мы указывали уже, что употребление орудий у обезьян, которое изучал и наблюдал Келер, встречается у этих последних не в той инстинктивной форме, о которой говорит Плеханов. Ведь и сам Плеханов утверждает, что на границе животного и человеческого мира стоит употребление орудий, требующее высокоразвитых умственных способностей и предполагающее их наличие.

Ф. Энгельс также указывает, что «процесс труда начинается только при изготовлении орудий» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 491). Таким образом, мы заранее должны ожидать, что употребление орудий должно достигнуть в животном мире относительно высокой степени развития, для того чтобы сделался возможным переход к трудовой деятельности человека. Но вместе с тем то, что говорит Плеханов о качественном различии в употреблении орудий у человека и животных, оказывается еще всецело применимым и к обезьянам Келера.

Мы приведем простой пример, который как нельзя лучше показывает, что в биологическом приспособлении высших обезьян

орудия играют еще ничтожную роль. Мы уже говорили, что обезьяны пользуются палкой как оружием, но большей частью они применяют это орудие только в «военных» играх. Обезьяна берет палку, угрожающе подходит к другой, колет ее. Противник также вооружается палкой, и перед нами развертывается «военная» игра шимпанзе. Но если, замечает Келер, при этом случается недоразумение и игра переходит в серьезную драку, оружие сейчас же бросается на землю и обезьяны нападают друг на друга, пуская в ход руки, ноги, зубы. Темп позволяет отличить игру от серьезной драки. Если обезьяна медленно и неловко размахивает палкой, она играет; если же дело становится серьезным, шимпанзе, как молния, набрасывается на противника, и у того не остается времени, чтобы схватить палку.

В. А. Вагнер делает отсюда общий вывод, который кажется нам не совсем справедливым. Он говорит: надо быть очень осторожным, чтобы не отнести на долю разумных способностей того, что в значительной части должно быть отнесено на долю инстинктов: пользование дверью, чтобы достать подвешенную к потолку корзину, канатом и пр. Предполагать за таким животным способность строить силлогизмы не более основательно, чем предполагать за ним способность пользоваться палкой как орудием, когда факты доказывают, что шимпанзе, имея палку в руках и, таким образом, обладая оружием, при враждебных столкновениях вместо того, чтобы пользоваться им, бросает его и пускает в ход руки, ноги и зубы (1923).

Нам кажется, что факты, описанные Келером, имеют действительно первостепенное значение для правильной оценки употребления орудий у обезьян. Они показывают, что это употребление еще не стало отличительным признаком шимпанзе и не играет еще никакой сколько-нибудь существенной роли в приспособлении животного. Участие орудия в борьбе шимпанзе за существование близко к нулю. Но нам представляется следующее: из того, что в момент аффективного возбуждения, как во время драки, шимпанзе бросает оружие, нельзя еще сделать вывод относительно отсутствия у него умения употреблять палку как орудие. В том и заключается своеобразие стадии развития, которой достиг шимпанзе, что у него уже есть способность к изобретению и разумному употреблению орудий, но эта способность еще не сделалась основой его биологического приспособления.

В. Келер поэтому с полным основанием указывает не только на моменты, обусловливающие сходство между шимпанзе и человеком, но также и на глубокое различие между обезьяной и человеком, на границы, отделяющие самую высокоразвитую обезьяну от самого примитивного человека. По мнению Келера, отсутствие языка, этого важнейшего вспомогательного средства мышления, и фундаментальная ограниченность важнейшего материала интел-

лекта у шимпанзе, так называемых представлений, являются причинами того, почему шимпанзе не свойственны даже самомалейшие задатки культурного развития. Жизнь шимпанзе протекает в очень узких рамках в смысле прошедшего и будущего. Время, в котором он живет, в этом отношении в высшей степени ограниченное, и все его поведение оказывается почти в непосредственной зависимости от налично данной ситуации.

В. Келер ставит вопрос относительно того, насколько поведение шимпанзе может быть направлено на будущее. Решение этого вопроса кажется ему важным по следующим причинам. Большое число самых различных наблюдений над антропоидами обнаруживает явления, которые обычно бывают только у существ, обладающих некоторой культурой, хотя бы и самой примитивной. Если же шимпанзе не имеют ничего, заслуживающего названия культуры, возникает вопрос, что является причиной ограниченности их в этом отношении. Даже самый примитивный человек приготовляет палку для копания, несмотря на то что он не отправляется тотчас же копать и несмотря на то что внешние условия для употребления орудия отсутствуют. И самый факт приготовления орудия для будущего, по мнению Келера, связан с возникновением культуры. Впрочем, он только ставит вопрос, но не берется за его решение.

Нам представляется, что отсутствие культурного развития, являющегося с психологической стороны действительно важнейшим моментом, отделяющим шимпанзе от человека, обусловливается отсутствием в поведении шимпанзе всего того, что хоть отдаленно может быть сопоставлено с человеческой речью, и, говоря более широко, со всяким употреблением знака.

Наблюдая шимпанзе, можно, по мнению Келера, установить, что они обладают речью, в некоторых отношениях в высшей степени близко подходящей к человеческой речи. Именно: их речь имеет значительное количество таких фонетических элементов, которые близки звукам человеческой речи. И поэтому Келер полагает, что отсутствие человеческой речи у высших обезьян объясняется не периферическими причинами, не недостатками и несовершенством голосового и артикуляционного аппарата.

Но звуки шимпанзе всегда выражают только их эмоциональные состояния, всегда имеют только субъективное значение и никогда не обозначают ничего объективного, никогда не употребляются в качестве знака, означающего что-нибудь внешнее по отношению к животному. Наблюдения Келера над играми шимпанзе также показали, что хотя шимпанзе и «рисовали» цветной глиной, однако ничего такого, что могло бы хоть отдаленно напоминать знак, никогда не наблюдалось у них.

Также и другие исследователи, как Р. Иеркс, имели возможность установить отсутствие человекоподобной речи у этих живот-

ных. Между тем психология примитивного человека показывает, что все культурное развитие человеческой психики связано с употреблением знаков. И видимо, культурное развитие для наших обезьяноподобных предков сделалось возможным только с того момента, когда на основе развития труда развилась членораздельная речь. Именно отсутствие этой последней объясняет нам отсутствие начатков культурного развития у шимпанзе.

Что касается второго момента, о котором говорит Келер, именно ограниченности в оперировании не наглядными ситуациями или представлениями, то нам думается, что и этот момент тесно связан с отсутствием речи или какого-нибудь знака вообще, ибо речь и является важнейшим средством, при помощи которого человек начинает оперировать не наглядными ситуациями.

Но и отсутствие речи, и ограниченность жизни во времени, в сущности, не объясняют ничего в том вопросе, который ставит Келер, ибо сами нуждаются в объяснении. Отсутствие речи потому не может рассматриваться как причина отсутствия культурного развития у человекоподобных обезьян, что само составляет часть этого общего явления. Причиной в настоящем смысле является различие в типе приспособления. Труд, как показал Энгельс, сыграл решающую роль в процессе превращения обезьяны в человека. «Труд создал самого человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 486) — и человеческую речь, и человеческую культуру, и человеческое мышление, и человеческую жизнь во времени.

2

В том плане, в котором Келер разрешает поставленную перед собой задачу чисто экспериментальным путем, перед нами встает во весь рост сама по себе проблема интеллекта как особой формы поведения, которую возможно проследить у шимпанзе в ее наиболее чистом и ясно выраженном виде. В самом деле, при соответствующих условиях поведение шимпанзе в этом отношении в высшей степени выгодный объект, оно позволяет исследовать «чистую культуру» интеллекта. Здесь мы можем видеть в процессе возникновения, в первоначальной форме те реакции, которые у взрослого человека сделались уже стереотипными и автоматическими

Перед исследователем стоит задача показать, что шимпанзе способны не только к инстинктивному употреблению, но и к примитивному изготовлению орудий и разумному их применению. Отсюда видно, какое важное, принципиальное значение для всего исследования интеллекта приобретает этот способ употребления орудий.

В. Келер говорит, что прежде чем задаться вопросом, существует ли разумное поведение у антропоидов, следует условиться о том, как мы вообще можем различать разумные реакции и реак-

ции другого рода. Келер предполагает это различение известным из повседневного наблюдения над человеком. Как уже говорилось, он указывает, что молчаливое допущение такого различения лежит уже в основе ассоциативной теории и в основе теории Торндайка.

Э. Торндайк и его последователи оспаривают наличие интеллектуального поведения у животных, а ассоцианисты пытаются свести интеллектуальное действие к ассоциациям. Уже один этот факт говорит за то, что как те, так и другие исходят из одинаковых позиций с Келером, т. е. из непосредственного, наивного различения слепых, механических, основанных на случайных пробах и разумных, основанных на понимании ситуации действий. Поэтому Келер и говорит, что свое теоретическое исследование он начинает и заканчивает, не занимая ни положительной, ни отрицательной позиции в отношении ассоциативной психологии. Исходный пункт его исследования тот же самый, что и у Торндайка. Его целью не является исследовать у антропоидов «нечто наперед вполне определенное» — прежде следует решить общий вопрос: не поднимается ли поведение высших обезьян до того типа, который весьма приблизительно известен из опыта и который мы называем разумным. При этом мы поступаем сообразно самой логике научного знания, потому что ясное и точное определение невозможно в начале опытных наук. Только в процессе длительного развития и успешных исследований могут быть даны эти четкие определения.

Таким образом, Келер не развивает в книге никакой теории разумного поведения. Он касается теоретических вопросов только с негативной стороны, стремясь доказать, что полученные им фактические данные не могут быть истолкованы с точки зрения теории случайности и что, следовательно, по типу действия шимпанзе принципиально отличаются от случайных проб и ошибок. Келер не дает даже предположительного ответа и на вопрос о психофизиологическом механизме этих разумных реакций, о тех изменениях в рефлекторной дуге, которые происходят у животных. Он сознательно ограничивает задачу установлением наличия реакций определенного типа и возможно более тщательным выискиванием объективных критериев реакций этого рода.

Мы сказали только, что Келер не исходит в начале своего труда из какого-нибудь четкого определения разумного поведения. Попытаемся наметить, что же он имеет в виду, когда говорит о разумном поведении. Этот тип разумного поведения не является совершенно неопределенным. Опыт показывает, говорит Келер, что мы не говорим о разумном поведении тогда, когда человек или животное достигают цели на прямом пути, свойственном их организации. Но впечатление разумности возникает тогда, когда обстоятельства преграждают такой прямой путь к цели и оставляют открытым непрямой образ действий и когда человек или животное прокладывают соответствующий ситуации обходной путь. Именно такое

понимание, говорит он, лежит в основе почти всех исследований поведения животных, исследований, которые задавались тем же самым вопросом, независимо от того, решали ли они его положительно или отрицательно.

В самом общем виде принцип исследования, которым пользовался Келер, он выражает так. В эксперименте создается ситуация, в которой прямая дорога к цели оказывается прегражденной, но в которой остается непрямая дорога. Животное вводится в эту ситуацию, по возможности она должна быть совершенно наглядной и обозримой. Эксперимент должен показать, насколько животное обладает способностью применять обходной путь. Дальнейшее усложнение этого принципа заключается во введении в ситуацию эксперимента орудий. Обходной путь к цели прокладывается не движениями собственного тела животного, а при помощи других предметов, которые выступают в данном случае в роли орудий. Надо сказать, что с этой точки зрения само по себе включение орудий в процессы поведения коренным образом, принципиально изменяет весь характер поведения, сразу придавая ему характер обходного пути.

В. Келер указывает, что важнейший объективный критерий, позволяющий отличить разумное употребление орудий от инстинктивной деятельности и случайных проб, есть объективная структура самой операции применения орудий, соответствующая структуре объективной ситуации. С полным правом он указывает далее на то, что инстинкт существует для тела животного, для иннервации его членов, но не для палки, которую животное держит в руке. Поэтому мы можем считать инстинктивными собственные движения животного, направленные к цели, но не сложные движения, производимые орудием. Там, где движения органов сменяются движениями орудий и становятся опосредованными, мы имеем интеллектуальную операцию животного. Вместе с этим мы получаем второй важнейший критерий интеллектуального поведения, именно употребление орудий. Это целесообразное применение орудий сообразно ситуации — объективный показатель интеллектуальной реакции животного, ибо применение орудий предполагает понимание объективных свойств вещей. И наконец, третьим и последним критерием для Келера является структурный (целостный, оформленный) характер всей операции, производимой животным.

Под структурой новая психология понимает целостные процессы, обладающие рядом свойств, которые не могут быть выведены суммативно из свойств их частей, и отличающиеся рядом закономерностей именно как целые. Самая резкая фактическая противоположность разумной операции шимпанзе и операции, возникающей путем самодрессировки при методе случайных проб, заключается в том, что операция шимпанзе не возникает из отдельных элементов, отдельных частей, которые даны наперед в неупорядо-

ченном виде среди множества других, не имеющих отношения к ситуации движений, из которых путем успеха отбираются правильные реакции и которые затем благодаря частому повторению объединяются в общую цепную реакцию. Для интеллектуальной реакции (операции) характерно именно то, что она возникает не из отдельных частей суммативным путем, а сразу как целое, которое определяет свойства и функциональное значение своих отдельных частей.

В. Келер дал блестящее экспериментальное доказательство такого целостного характера интеллектуальных реакций шимпанзе. Он показал, что отдельное, единичное, частичное действие, входящее в состав всей операции животного, рассматриваемое само по себе, бессмысленно и порой даже уводит от цели, но в соединении с другими и только в связи с ними приобретает смысл. Целостное действие, говорит Келер, есть единственный возможный способ решения в данном случае. И этот признак Келер выдвигает как критерий всякого истинного обходного пути, т. е. всякой интеллектуальной операции. Животное поставлено в такую ситуацию, что для овладения лежащим перед ним плодом оно должно совершить обходное движение, например оно должно первоначально не тянуть плод к себе по прямому пути, но толкать его от себя — для того чтобы выкатить его на такое место, откуда затем, обежав ящик с другой стороны, достать плод рукой. Совершенно очевидно, что в этом случае целое содержит части, которые в известном смысле противоположны ему. Такое диалектическое единство частей целостного процесса и есть истинный критерий интеллектуальной реакции.

Но эта реакция как целое возникает непосредственно из воздействия структуры ситуации на животное, и разумность реакции проверяется тем, насколько структура операции животного соответствует объективной структуре ситуации.

В. Келер выходит, таким образом, на путь чисто объективного исследования интеллекта. Он прямо говорит, что, указывая на эти целостные операции животного, мы еще ничего не говорим тем самым относительно сознания животного, но говорим пока исключительно о его поведении. Различие между осмысленными и неосмысленными операциями относится, по его словам, всецело к элементарной феноменологии поведения шимпанзе.

В. Келер борется с механистическими тенденциями в естественнонаучной психологии и пытается показать, что при переходе к высшему типу поведения мы можем совершенно объективно констатировать у животных качественное отличие новой ступени в развитии поведения от чистой самодрессировки.

Исследования Келера породили большую литературу, в которой критически разбираются как основные утверждения автора, так и толкование отдельных моментов его исследования. Ни один из

критиков не опровергает фактической стороны сообщений Келера, но многие расходятся с ним в толковании опытов. Мы остановимся на наиболее типических и основных критических точках зрения, которые помогут нам найти правильную оценку и понимание положений, выдвинутых Келером.

Прежде всего Келер встретил критику со стороны психологов-субъективистов. Так, П. Линдворский полагает, что обезьяна не может обнаружить разумного поведения по двум основаниям: во-первых, обезьяны, в отличие от человека, обнаруживают застой умственного развития в течение тысячелетий, во-вторых, интеллект для этого автора равнозначен пониманию отношений, а операции обезьян не могут быть основаны на понимании подобного рода. Для этой критики в высшей степени характерно то, что она при толковании поведения шимпанзе выдвигает совершенно другой методологический принцип, чем Келер. Она стоит на старой субъективной и механистической точке зрения. Объективные и структурные критерии для нее неубедительны. Для Келера критерий интеллекта — обращение с вещами сообразно их структурным свойствам, но Линдворский полагает, что с точки зрения этого критерия мы должны будем и инстинктивные действия отнести к интеллекту.

К. Коффка, другой видный представитель структурной психологии, разбирая это мнение, справедливо указывает, что при чисто инстинктивном действии, как показали многочисленные наблюдения и эксперименты (Г. Фолькельта и других), мы можем констатировать в высшей степени нецелесообразное поведение по отношению к существенно важным структурным свойствам всякий раз, как ситуация отклоняется от нормального типа.

Но самый важный и основной момент в критике Линдворского тот, что он разлагает разумные операции шимпанзе на отдельные части и задается вопросом, в каком месте этой операции вступает в действие разум. Сам вопрос в корне отрицает постановку проблемы, принятую Келером, ибо для Келера разум не «вступает» в отдельный момент данной операции, а операция в целом, в своей структуре, соответствует внешней структуре ситуации и, следовательно, разумна. Келер показал, что отдельные части операции, рассматриваемые сами по себе, бессмысленны и приобретают относительный смысл только в структуре целого действия.

Если принять выдвигаемые этой критикой критерии субъективной эмпирической психологии, мы принуждены будем тем самым заранее, независимо от исхода любого исследования, приписывать разуму только те свойства, которые интроспективный анализ открывает в мышлении человека. Так, К. Бюлер, соглашаясь с тем, что по всем объективным признакам поведение обезьян в опытах Келера не позволяет видеть в этих операциях разумную деятельность, видит в этих операциях случайное, т. е. слепое, неразумное действие ассоциативного механизма.

Для Бюлера, как и для других психологов-субъективистов, разум связан непременно с суждениями, с переживаниями уверенности. Следует доказать, говорит он, что шимпанзе образуют суждения. Вместе с тем он вполне принимает объективное истолкование Келера, который намерен в своей теории показать, что отношения вещей определяют поведение обезьян. Бюлер находит, что это вполне возможно доказать, и считает это серьезным началом мышления. Спор, таким образом, идет о понимании интеллекта, но не о толковании опытов.

Для объяснения поведения обезьян Бюлер допускает целый ряд гипотез, основания которых сводятся к следующему. Он предполагает, что принцип обходных путей и принцип доставания плода через пригибание ветки или срывание ее и последовательное притягивание к себе даны животным от природы, подобно тому как даны другие инстинктивные механизмы, которые мы в отдельности еще не можем разъяснить, но которые должны признать как факт.

Таким образом, отнеся не без достаточных оснований часть успеха шимпанзе за счет инстинкта и самодрессировки в течение предшествовавшей жизни, Бюлер предполагает далее, уже совершенно произвольно, что животное способно вчувствоваться в конечную ситуацию и исходить из нее. Он готов объяснить поведение шимпанзе игрой представлений. Жителю деревьев, говорит он, должна быть хорошо знакома связь ветки с плодом. Когда животное сидит в помещении за решеткой, где снаружи лежит плод без ветки, а внутри ветка без плода, то, с психологической точки зрения, главным фактом является то, что оно, так сказать, связывает их вместе в своем представлении — все остальное понятно само собой. То же можно сказать о ящике. Когда в лесу обезьяна замечает плод высоко на дереве, то совершенно естественно, что она высматривает тот ствол, по которому ей надо влезть, чтобы достать плод. В помещении дерева нет, но в поле зрения есть ящик, и душевное действие состоит в том, что она в своем представлении ставит ящик на соответствующее место. Подумано — сделано, потому что и без того шимпанзе, играя, постоянно таскает ящики по всему помещению.

Мы видим, что Бюлер, в отличие от Келера, склонен свести механизм действий шимпанзе к автоматической игре представлений. Все это толкование, как нам кажется, нисколько не основывается на фактических данных, полученных Келером, потому что ничто в его исследовании не говорит за то, что обезьяна действительно прежде решает задачу в представлениях; но важнее всего, что Бюлер приписывает шимпанзе, как говорит К. Коффка, в высшей степени сложную деятельность представлений, которая, именно судя по опытам Келера, в высшей степени маловероятна. В самом деле, где объективные основания приписывать, как это делает

Бюлер, животному способность поставить самого себя в конечное положение и своим взором исходить от цели?

Напротив, Келер показал, как мы отмечали выше, что именно крайняя ограниченность жизни представлений — характерная черта для интеллекта шимпанзе, что эти животные, как правило, переходят к слепому образу действий уже тогда, когда наглядная ситуация становится сколько-нибудь неясной и оптически спутанной. Именно неспособность шимпанзе определять свои действия представлениями, т. е. не наглядными, или следовыми, стимулами, отличает все поведение шимпанзе. Келеру удалось экспериментально показать, как малейшее осложнение или путаница во внешней ситуации приводит к отказу шимпанзе от решения задачи, которая сама по себе может быть им решена без всякого труда.

Но решающее доказательство того, что действия шимпанзе не простая игра представлений, мы видим в эксперименте Келера. В самом деле, если, как предполагает Бюлер, обезьяна употребляет палку в качестве орудия потому только, что она в своем представлении возвращается к ветке, на которой висит плод, то всегда действительная ветка, растущая на дереве, должна была бы легче и скорее сделаться орудием. Эксперимент, однако, показывает обратное: для обезьяны в высшей степени трудна задача отломать живую ветку от дерева и приспособить ее в качестве орудия — это гораздо более трудная задача, чем применять готовую палку.

Мы видим, таким образом, что эксперимент говорит не в пользу предположений Бюлера, и вместе с Коффкой полагаем, что операция шимпанзе — соединение палки и плода — происходит не в области представлений или подобного психофизиологического процесса, но в зрительном поле и что эта операция не репродукция прежнего «переживания», а установление новой структурной связи. Серьезным экспериментальным доказательством этого служат аналогичные опыты Э. Иенша (1927) над детьми-эйдетиками. Эти опыты показали, что сближение орудия и цели, установление чисто оптической связи между ними происходит в самом зрительном поле эйдетика.

Но в критике Бюлера есть положения, которые кажутся нам в высшей степени справедливыми и важными. Они не только не опровергают положений Келера, но подкрепляют их и дают им новое освещение. Бюлер признает, что действия шимпанзе носят характер объективно осмысленных действий, но оказывается, говорит он, что по совершенству и методической чистоте это естественное исполнение отстает от многих других. Сравните хотя бы шаткие сооружения из ящиков у обезьян с пчелиными сотами и паутиной пауков. Быстрота и уверенность, с которыми пауки и пчелы работают для достижения цели, как только им даны все обстоятельства, побуждающие их к тому, гораздо выше неуверенных и колеблющихся движений обезьян.

Мы видим в этом признаке именно доказательство в пользу того, что перед нами действительно не инстинктивное, а вновь появившееся действие обезьяны, или, как говорит Бюлер, «изобретение в техническом значении этого слова». Но самая ценная во всей критике Бюлера следующая мысль: он призывает подчеркнуть не только то, что отличает поведение шимпанзе от инстинктивных действий и навыков, но указать и на то, что их сближает.

Поэтому если и нельзя действия шимпанзе свести к инстинкту, к прямому воспоминанию из естественной жизни, к прежде образовавшемуся навыку, то все же огромная доля прежнего опыта обезьян в их поведении при новых ситуациях, удивительное соответствие ситуаций, встречающихся в естественной лесной жизни, и ситуаций, создаваемых в эксперименте,— все это, кажется нам, отмечено совершенно справедливо.

К. Бюлер, очень подробно и, по-нашему, вполне убедительно показывает: как то, к чему животное оказалось способно при эксперименте, так и то, чего оно не могло выполнить, одинаково объясняется из условий естественной жизни обезьяны в лесу. Так, прототип употребления палки он видит в срывании плода при помощи ветки, влезание вверх с помощью ящиков относит к карабканию по стволам деревьев, а неспособность животных устранять препятствия сводит к тому, что лазающее животное непременно обойдет препятствие, преграждающее путь в лесу. Устранить его вряд ли когда представится повод, и потому все задачи с препятствиями очень затруднительны для обезьян. Человеку кажется очень просто принять ящик, стоящий около самой решетки и закрывающий место, с которого можно достать плод, а многие шимпанзе часами трудились над разными другими способами, пока не догадались, наконец, что надо сделать. Поэтому Бюлер справедливо говорит, что в действиях шимпанзе нам не бросается в глаза разрыв с прошлым. Маленький прогресс в жизни представлений, немного более свободная игра ассоциаций — вот, может быть, все, чем шимпанзе выше собаки. Все дело в том, чтобы правильно воспользоваться тем, что имеешь. В этом вся новизна.

Нельзя отказать в справедливости мысли Бюлера о том, что в интеллекте шимпанзе нет разрыва с предшествующей деятельностью и что сама интеллектуальная операция, как это мы можем установить и в отношении мышления человека, непременно надстраивается над системой прежних навыков и служит их новой комбинацией, однако навыки, участвующие в интеллектуальной операции и входящие в ее состав, являются уже «снятой категорией» в этой высшей форме поведения. Но Бюлер совершает новую ошибку, полагая, будто природа не делает скачков; развитие делают именно скачки, и количественные изменения, о которых он говорит, сравнивая собаку и шимпанзе, переходят в качественные, один тип поведения сменяется другим. Преодоление ошибок механистиче-

ского естествознания заключается в признании этого диалектического принципа перехода количества в качество.

Но тем же самым грешит и критика Келера «снизу», со стороны зоопсихологии.

В. А. Вагнер, оценивая поведение шимпанзе в опытах Келера, приходит к выводу, что целепонимание здесь, если учитывать начальный и конечный моменты, как будто налицо. Но если мы учтем указанные самим Келером детали действий между этими моментами, то способность к целепонимательности начинает становиться более сомнительной. Пробы, которые делают обезьяны, ошибки, которые они допускают, неумение их поставить один ящик на другой и т. д.— все это говорит против разумности их действий.

В. А. Вагнер считает возможным, как и Бюлер, свести действия шимпанзе к инстинктам, «потому что все эти предметы в их глазах ничем не отличаются от тех, какими они пользуются на свободе: дверь или пень, канат или сучок, лиана или веревка — это вещи, различные в наших глазах и совершенно тождественные в глазах обезьяны в качестве средств решения задачи». Стоит принять это, и мы с естественной необходимостью приходим к выводу, что прав был Торндайк, не обнаруживший у обезьян (низших!) ничего, кроме действия ассоциативного механизма. По умственным способностям, признает этот автор, обезьяны занимают высшее место, но все же они представляют собой ничто по сравнению с человеком, так как обнаруживают полную неспособность к мышлению, хотя бы самому элементарному.

Рассматривая опыт с изготовлением орудий, Вагнер говорит: «Так ли это? Факт передан, конечно, верно, но истинный его смысл, несомненно, скрыт за пропусками тех сотен, быть может, тысяч нелепых, бессмысленных действий, производившихся обезьянами в стремлении получить плоды». Указывая на применение обезьянами негодных орудий, он замечает, что едва ли можно согласиться с Келером, утверждающим, что шимпанзе обнаруживает разумные способности, по типу совершенно сходные с теми, какие свойственны человеку. По мнению Вагнера, ученый гораздо ближе к истине, когда говорит, что отсутствие представлений о предметах и явлениях и отсутствие дара речи кладут резкую грань между человекообразными обезьянами и самыми низшими человеческими расами.

Нам кажется, что Вагнер допускает здесь две ошибки. Во-первых, как показал Келер, самые ошибки («хорошие ошибки») обезьян часто свидетельствуют в пользу признания их разумных способностей, а не против него. Во-вторых, тот факт, что у обезьян наряду с осмысленными действиями встречаются, и притом в гораздо большем числе, и неосмысленные, как у человека, ни в малой степени не говорит против того, что мы должны вообще отличать один тип поведения от другого.

Но самое главное, самое важное — Вагнер проходит мимо основного критерия, выдвигаемого Келером, именно мимо структурного характера самой операции и соответствия ее внешней структуре ситуации. Ни того ни другого фактически не опровергает Вагнер, не показывая в то же время, что эти же моменты могут быть выведены из инстинктивных действий.

Так точно и В. М. Боровский не видит никаких оснований для того, чтобы выделять операции шимпанзе совершенно в особый тип поведения и приписывать этим животным разум. Он склонен думать, что никакого принципиального отличия между поведением обезьяны и поведением крысы не имеется. Он говорит, что если обезьяна видимых проб не производит (рук не протягивает), то она «примеривается» какими-нибудь мускулами; так же производит незаконченные попытки, как и крыса; оценивает расстояние на основании предыдущего опыта; чем-то «экспериментирует», а после этого появляется «внезапное решение», и поскольку мы точно не знаем, как именно оно появилось, не знаем его истории и механизма, постольку мы не имеем возможности расшифровать пока разные «Einsicht» и «идеации». Для нас такие этикетки могут только служить сигналами открытой еще проблемы, если там нет лжепроблемы.

Как и другие авторы, Боровский, забегая вперед Келера, пытается показать, что обезьяна решает задачу путем внутренних проб и примеривания. На это можно сказать, что Келер и сам оставляет совершенно открытым вопрос о том, сводима или не сводима операция шимпанзе к действию ассоциативного механизма. Мы уже приводили это мнение Келера. В другом месте он говорит еще яснее.

Отклонение принципа случайности при объяснении поведения шимпанзе еще не означает занятия той или иной позиции по отношению к ассоциативной теории вообще, и ее сторонники признают эмпирически устанавливаемое различие между осмысленным и неосмысленным поведением, и весь вопрос заключается в том, удастся ли им объяснить, исходя из принципа ассоциации, структуру операций шимпанзе и ее соответствие структуре ситуации. Следует вывести из принципа ассоциации, говорит Келер, как возникает понимание существенного внутреннего отношения двух вещей друг к другу или — в более общем виде — понимание структуры ситуации. Как возникает связь действий на основе свойств самих вещей, а не случайного объединения инстинктивных реакций.

Таким образом, вопрос о том, удастся или не удастся свести действия шимпанзе к ассоциации движений, т. е. к образованию навыка, остается открытым. Более того, и сам Келер, и другие психологи того же направления указывают на то, что и в инстинктах животных, и в их навыках мы должны признать структурные, т. е. целостные, действия.

В. Келер показал, что обезьяны, как и другие животные при дрессировке, образуют структурные действия и что даже в опытах Торндайка не все поведение животных совершенно бессмысленно, напротив, животные обнаруживают резкую разницу между теми случаями, когда их решение не находится ни в какой осмысленной связи с ситуацией, и другими случаями, когда эта связь налицо. Таким образом, и Келер как будто уничтожает резкий разрыв между интеллектом и другими, низшими видами деятельности. Со всей справедливостью Коффка указывает, что, в отличие от Бюлера, структурная психология рассматривает инстинкт, навыки, интеллект не как различные аппараты или совершенно отдельные друг от друга механизмы, а как внутренне связанные между собой, переходящие одно в другое структурные образования. Психологи этого направления тем самым склонны стереть резкую грань между различными ступенями в развитии поведения, принимая, что уже при образовании навыков и в деятельности инстинктов имеются зачатки не слепой, не механической деятельности, а деятельности структурной.

Принцип структуры выполняет двойное методологическое назначение в работах этих психологов, и в этом его истинное диалектическое значение. С одной стороны, принцип объединяет все ступени в развитии поведения, уничтожает разрыв, о котором говорит Бюлер, показывает непрерывность в развитии высшего из низшего, показывает, что структурные свойства заложены уже в инстинктах и в навыках, с другой стороны — позволяет установить и все глубокое, принципиальное, качественное различие между ступенями, все то новое, что каждый этап вносит в развитие поведения и что отличает его от предшествующего.

Согласно пониманию Коффки, интеллект, дрессура и инстинкт покоятся на различно протекающих структурных функциях, но не на различных аппаратах, которые могут быть включены в случае нужды, как полагает Бюлер.

3

В рамки нашего очерка не входит сколько-нибудь подробное рассмотрение и критика структурной психологии и гештальттеории, к которой примыкает исследование Келера. Однако нам кажется, что для правильной оценки, даже для правильного понимания исследований Келера, совершенно необходимо остановиться в самых кратких словах на философской подоснове этого исследования. И не потому только, что лишь доведенные до логического предела, лишь получившие философское оформление идеи открывают свое истинное лицо, но главным образом потому, что сам вопрос, поставленный Келером,— вопрос об интеллекте — и исторически, и по существу всегда неизбежно оказывается теснейшим

образом связанным с философскими проблемами. Можно, не боясь впасть в ошибку и преувеличение, положительно утверждать, что ни один психологический вопрос не является столь критическим и центральным по методологическому значению для всей системы психологии, как именно вопрос об интеллекте. (Мы ограничиваемся только рассмотрением вопросов, связанных с опытами Келера, т. е. зоопсихологией, не касаясь структурной психологии и гештальттеории в целом.)

Не так давно Кюльпе, подводя итоги экспериментального исследования в области процессов мышления, констатировал: «Мы снова находимся на пути к идеям». Попытка вюрцбургской школы пробиться вперед от ассоциативной теории, попытка доказать своеобразие мыслительных процессов и их несводимость к ассоциации в действительности оказалась путем назад — к Платону. Это с одной стороны. С другой — ассоцианизм Г. Эббингауза и Т. Рибо или бихевиоризм Дж. Уотсона приводили обычно к устранению самой проблемы интеллекта, к растворению мышления в процессах более элементарного порядка. В самые последние годы эта психология ответила на утверждение О. Кюльпе устами Уотсона, что мышление, по существу, ничем не отличается от игры в теннис и плавания.

Книга Келера занимает в этом вопросе совершенно новую позицию, глубоко отличную как от позиции вюрцбургской школы, так и наивного бихевиоризма. Келер борется на два фронта, противопоставляя свои исследования, с одной стороны, попыткам стереть грань между мышлением и обыкновенным двигательным навыком, а с другой — представить мышление как чисто духовный акт, actus purus, не имеющий ничего общего с более элементарными формами поведения и возвращающий нас к платоновским идеям. В этой борьбе на два фронта и заключается вся новизна философского подхода Келера к проблеме интеллекта.

Легко может показаться, если судить по внешним признакам, что мы впадаем в видимое противоречие с тем, на что указывалось выше. Мы говорили, что в книге Келера нет никакой теории интеллекта, а есть только фактическое описание и анализ полученных им экспериментальных данных. Из этого легко сделать вывод, что исследование Келера вообще не дает никаких поводов для философских обобщений и что попытка рассмотреть и критически оценить философскую основу этого исследования заранее должна быть осуждена на неудачу, поскольку мы тем самым пытаемся перепрыгнуть через недостающую психологическую теорию мышления, но это не так. Система фактов, которую сообщает Келер, есть вместе с тем и система идей, при помощи которых эти факты добыты и в свете которых они истолкованы и объяснены. И именно отсутствие сколько-нибудь развитой теории мышления Келера заставляет нас с необходимостью остановиться на философских основах его работ.

Если идеи и философские предпосылки, положенные в основу исследования, даны в неразвернутом виде, тем важнее для правильного понимания и оценки этой книги попытаться развернуть их.

Само собой разумеется, что здесь не может быть и речи о забегании вперед, о попытках предвосхитить, хотя бы и в общих чертах, еще не развитую Келером теорию мышления. Но для правильного понимания сообщенных Келером фактов необходимо рассмотреть те философские точки зрения, которые легли в основу собирания, исследования и систематизации этих фактов.

Напомним, что понятие интеллекта у Келера коренным образом отличается от того, к которому пришли в результате исследований Кюльпе и его сотрудники. Они исследовали интеллект сверху — в самых развитых, высших и сложных формах человеческого отвлеченного мышления.

В. Келер пытается исследовать интеллект снизу — от его корней, от его первичных зачатков, как они проявляются у человекообразной обезьяны. Он не только подходит к исследованию с другого конца, но сама концепция интеллекта у Келера существенно противоположна той, которая была положена в основу прежних экспериментальных исследований мышления.

В способности мышления, говорит О. Кюльпе, древняя мудрость нашла отличительный признак человеческой природы. В мышлении отец церкви Августин и после него Декарт видели единственно прочное основание для бытия личности, пребывающей в сомнениях. Мы же не только скажем: мыслю — значит существую, но также: мир существует так, как мы его устанавливаем и определяем.

Отличительное свойство человеческой природы, и притом свойство, определяющее и устанавливающее бытие мира,— вот что для этих психологов человеческое мышление. Для Келера же прежде всего вопросом первостепенной, принципиальной важности является найденное им доказательство того, что шимпанзе обнаруживает разумное поведение того же рода, что и человек, что тип человеческого разумного поведения может быть с несомненностью установлен у человекоподобной обезьяны, что мышление в биологическом развитии не является отличительным свойством человеческой природы, но, как и вся человеческая природа, развивалось из более примитивных форм, встречаемых у животных. Человеческая природа сближается с животной — через антропоидов — не только по морфологическим и физиологическим признакам, но также и по той форме поведения, которая считается специфически человеческой. Мы видели выше, что употребление орудий, всегда считавшееся отличительным признаком человеческой деятельности, Келер экспериментально установил у обезьян.

Но вместе с тем Келер не только ставит развитие интеллекта в один ряд с развитием других свойств и функций животных и человека, но выдвигает и совершенно противоположный прежнему

критерий интеллектуальной деятельности. Для него разумное поведение, выражающееся в употреблении орудий, есть раньше всего особый способ воздействия на окружающий мир, способ, во всех своих точках определяемый объективными свойствами предметов, на которые мы воздействуем, и орудий, которыми мы пользуемся. Интеллект для Келера — это не та мысль, которая определяет и устанавливает бытие мира, но та, которая сама руководится важнейшими объективными отношениями вещей, открывает структурные свойства внешней ситуации и позволяет действовать сообразно этой объективной структуре вещей.

Вспомним, что со стороны фактической интеллектуальная деятельность обезьян, как она описана в книге Келера, всецело покрывается употреблением орудий. Со стороны же теоретической Келер выдвигает объективный критерий интеллектуальной деятельности. Он говорит, что только то поведение животных с необходимостью кажется нам разумным, которое соответствует — как замкнутый целостный процесс — строению внешней ситуации, общей структуре поля. Поэтому, говорит он, этот признак — возникновение решения как целого, в соответствии со структурой поля — можно принять за критерий разума.

Мы видим, таким образом, что на место идеалистического утверждения зависимости бытия от мышления, открыто содержащегося в выводах Кюльпе, Келер выдвигает противоположную точку зрения, опирающуюся на зависимость мышления от объективных, существующих вне нас и воздействующих на нас вещей. Вместе с тем мышление не теряет для Келера своеобразия, и только мышлению приписывает он способность открывать и усматривать объективные структурные отношения вещей и направлять воздействие на вещи, пользуясь этими усматриваемыми отношениями. Мыслительная операция шимпанзе, о которой сам Келер говорит, что она в самых общих чертах напоминает то, что О. Зельцу удалось установить относительно мыслительной деятельности человека, представляет собой в конце концов не что иное, как структурное действие, разумность которого заключается в его соответствии со структурой объективной ситуации. Именно это резко отграничивает интеллектуальные операции шимпанзе от метода случайных проб и ошибок, при помощи которых у животных устанавливаются более или менее сложные навыки.

В. Келер борется против попытки Торндайка и других американцев свести все поведение животных исключительно к методу проб и ошибок. Он показывает с экспериментальной точностью, какими объективными моментами отличается истинное решение задачи от ее случайного решения. Мы не станем здесь повторять доводы Келера и тем более прибавлять что-либо к ним. Нам хочется только подчеркнуть, что если Келер не дает даже начатков положительной теории, объясняющей интеллектуальное поведение обезьян, то он

дает все же исчерпывающий «отрицательный» анализ фактов, указывая, что наблюдавшееся им поведение обезьян есть нечто принципиально иное, чем случайные пробы и ошибки.

В предыдущем разделе мы остановились подробно на оценке и взвешивании этих доводов Келера и его критиков. Сейчас нас интересует, какова философская сторона этого же самого «негативного тезиса», сторона, которую Келер осознает совершенно ясно. Он говорит, что, отвергая теорию случайности в возникновении решений обезьян, он тем самым попадает в видимый конфликт с естествознанием. Однако этот конфликт, по его мнению, только видимый и внешний, потому что теория случайности, дающая детальное научное объяснение фактам в других ситуациях, в данной ситуации оказывается несостоятельной именно с естественнонаучной точки зрения. Поэтому Келер резко отграничивает свое построение и взгляды от развивавшихся прежде взглядов, сходных в отрицательном отношении с развиваемыми им.

Отрицание теории случайности, говорит он, встречается уже у Э. Гартмана, который считает, что невозможно допустить, будто птица случайно находит дорогу к гнезду, и заключает отсюда, что это производит за нее бессознательное. Бергсон считает в высшей степени невероятным случайное упорядочение элементов глаза, и поэтому заставляет свой жизненный порыв произвести чудо. Неовиталисты и психовиталисты также не удовлетворены дарвиновским случаем и находят в живой материи целеустремительные силы того же рода, что и человеческое мышление, однако не переживаемые сознательно. Книга Келера, по его словам, имеет к этим теориям только то отношение, что здесь, как и там, отвергается теория случайности.

Хотя многие полагают, что отклонение этой теории с необходимостью приводит к принятию одного из учений этого рода, Келер утверждает, что вовсе не существует альтернативы для естествоиспытателя: случайность или сверхчувственные агенты. Эта альтернатива основана на фундаментальном заблуждении, будто все процессы вне органической материи подчинены законам случайности. Именно с точки зрения физики Келер считает несостоятельным это «или — или» там, где на самом деле существуют и другие возможности. Этим самым Келер затрагивает важнейший теоретический пункт структурной психологии, именно ее попытку преодолеть два основных тупика современного естествознания — механистическую и виталистическую концепции. М. Вертгаймер первый указал на то, что обе концепции несостоятельны с точки зрения структурной теории.

Желая представить в свете новой теории нервные процессы, происходящие в мозгу, Вертгаймер пришел к убеждению, что эти процессы должны рассматриваться не как суммы отдельных возбуждений, но как целостные структуры. По его мнению, теоре-

тически нет необходимости допускать, как это делают виталисты, будто наряду с отдельными возбуждениями и сверх них существуют особые, специфические центральные процессы. Следует скорее допустить, что всякий физиологический процесс в мозгу представляет собой единое целое, не складывающееся, как простая сумма, из возбуждений отдельных центров, но обладающее всеми особенностями структуры, о которых мы говорили выше.

Таким образом, понятие структуры, т. е. целого, обладающего особыми свойствами, несводимыми к свойствам отдельных частей, помогает новой психологии преодолеть механистическую и виталистическую теорию. В отличие от X. Эренфельса и других психологов, рассматривавших структуру как особенность высших психических процессов, как нечто, привносимое сознанием в элементы, из которых строится восприятие целого, новая психология исходит из того положения, что эти целые, которые мы называем структурами, не только не являются привилегией высших сознательных процессов, но не являются исключительной особенностью психики вообще.

Если мы будем присматриваться, говорит Коффка, мы найдем их повсюду в природе. Следовательно, мы принуждены принять существование таких целых в нервной системе, рассматривать психофизические процессы как такие целые, если только имеются основания для такого взгляда. Таких оснований много. Мы должны принять, что сознательные процессы являются частичными процессами больших целых и что, указывая на другие части этого же целого, они свидетельствуют о том, что физиологические процессы — такие же целые, как и процессы психические.

Мы видим, таким образом, что структурная психология подходит к монистическому разрешению психофизической проблемы, что она допускает в принципе структурное построение не только психических, но и физиологических процессов в мозгу. Нервные процессы, говорит Коффка, соответствующие таким явлениям, как ритм, мелодия, восприятие фигур, должны обладать существенными свойствами этих явлений, т. е. прежде всего их структурностью.

Чтобы выяснить, существуют ли структуры в области непсихических процессов, Келер решил исследовать, возможно ли в мире физических явлений то, что мы называем структурой. В особой работе Келер пытается доказать, что в области физических явлений существуют такие целостные процессы, которые с полным правом мы можем назвать структурными в том смысле, в каком употребляем это слово в психологии. Характерные особенности и свойства этих целых не могут быть выведены суммативным путем из свойств и признаков их частей.

С первого взгляда может показаться, что любое химическое соединение представляет образец такой структуры непсихологи-

ческого характера; например, сложное химическое соединение в любом случае обладает свойствами, не присущими ни одному из элементов, входящих в его состав. Но такое слишком простое доказательство не является, строго говоря, убедительным, потому что, пользуясь этой аналогией, как говорит Келер, мы, с одной стороны, не можем обнаружить многих важнейших свойств психологических структур на химических соединениях (функциональная зависимость частей от целого), а с другой — можем ожидать, что с дальнейшими успехами физической химии эти свойства будут сведены к некоторым первичным физическим свойствам. Поэтому, для того чтобы получить принципиальную возможность рассматривать процессы в центральной нервной системе как структурные процессы, Келер поставил себе задачей исследовать, возможна ли вообще в области физических явлений структура. Как мы сказали, Келер положительно отвечает на этот вопрос.

В связи с этим исследованием для Келера коренным образом видоизменяется вся традиционная постановка психофизической проблемы. Стоит только принять вместе с новой психологией, что физиологические процессы в мозгу — такие же структуры, как и психические процессы, и тем самым бездна, которая на протяжении всей истории психологии существовала между психическим и физическим, совершенно исчезает и на ее место выдвигается монистическое понимание психофизических процессов.

Обычно полагают, говорит Келер, что даже при точнейшем физическом наблюдении и знании мозговых процессов мы все же ничего не могли бы из них заимствовать для объяснения соответствующих переживаний. Я должен утверждать противоположное. В принципе вполне мыслимо такое наблюдение мозга, которое открывает физические процессы в структуре и, следовательно, в существенных свойствах сходные с тем, что исследуемый переживает феноменально. Практически это является почти немыслимым не только по техническим причинам в обыкновенном смысле этого слова, но прежде всего из-за другой трудности, из-за различия анатомо-геометрического и функционального мозгового пространства.

Одним из главнейших постоянных доводов против допущения физического коррелята мышления (и высших психических процессов вообще), по словам Келера, является указание на то, что «единства со специфическим расчленением» не существуют и не могут существовать как физическая реальность. Так как это последнее предположение отпадает вместе с допущением «физических структур», легко понять, говорит Келер, какое значение в будущем структурная теория должна приобрести для психологии высших процессов, и особенно психологии мышления.

К. Бюлер в книге, посвященной кризису современной психологии, указывает на родство структурной психологии «со старым

спинозизмом». Это указание совершенно справедливо. Действительно, структурная психология отказывается от традиционного дуализма эмпирической психологии, рассматривавшей психические процессы не как «естественные вещи», по выражению Спинозы, следующие общим законам природы, но как «вещи, лежащие за пределами». Мы легко открываем, что в основе этого монистического взгляда лежит философское понимание психического и физического, близко подходящее к учению Спинозы, и уж во всяком случае связанное с ним своими корнями.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Критическое исследование [1]

1

Мы хотим в настоящем этюде исследовать проблему развития в структурной психологии. Задачей исследования является отделить истинное от ложного в этой теории. Мы пойдем к этой цели путем, который неоднократно испытан. Мы будем в нашем исследовании опираться на истинное в этой теории и с его помощью вскрывать содержащиеся в ней затемняющие ее ложные положения, ибо истина, по великой мысли Спинозы, освещает самое себя и заблуждения.

Нашему исследованию мы подвергнем проблему развития в том виде, как она выражена в книге К. Коффки, к изданию которой на русском языке этот этюд должен послужить критическим введением.

Критически исследовать какую-либо книгу, подобную книге Коффки, представляющую целую эпоху в развитии научного знания в данной области и содержащую огромное множество фактов, обобщений, законов,— значит проникнуть во внутреннее сцепление образующих ее идей, в самую сущность ее концепции. *Критически исследовать такую работу — значит соотнести теорию и отраженную в ней действительность*. Это исследование не может быть не чем иным, как критикой через действительность.

Критика этого рода возможна при наличии хотя бы самого общего представления о природе тех явлений действительности, которые отражены в рассматриваемой теории. Высшая точка такого исследования — критический эксперимент, который переносит критику в область фактов, представляя на их суд узловые, спорные моменты, разделяющие две теоретические системы. В нашу задачу, к сожалению, не входит изложение критических экспериментов. Мы сможем их коснуться лишь попутно, в связи с теоретическим анализом проблемы. Главным же фактическим материалом, на который нам придется опираться и который представляет отраженную в теории действительность, должен явиться фактический материал, содержащийся в самой книге.

В сущности, критически исследовать книгу Коффки — значило бы написать другую книгу на ту же тему, и этюды, подобные

настоящему, представляют собой не что иное, как конспект таких ненаписанных книг.

Книга Коффки — одна из немногих книг по детской психологии, которая написана с точки зрения единого теоретического принципа. В основу ее положен принцип структуры, или образа (Gestalt), который первоначально сложился в общей психологии. Данная книга представляет собой не что иное, как попытку рассмотреть все основные факты детской психологии с точки зрения этого принципа.

Главная торетическая задача книги — идейная борьба с двумя основными тупиками научной мысли, в которых заканчивают развитие многие современные научные теории. Несомненно, говорит Коффка, что при альтернативе механистического или психовиталистического объяснения мы оказываемся между Сциллой витализма, который заставляет нас отказаться от наших научных принципов, и Харибдой механицизма с его безжизненностью.

Преодоление механицизма и витализма и представляет основную задачу, под знаком которой сложилась и развивалась, но с которой не справилась вся структурная психология, и данная книга в частности. В этом смысле книга представляет собой высшую точку европейской психологии, отталкиваясь от которой (что означает: опираясь на нее и отрицая ее одновременно) мы можем нащупать отправные точки для развития нашей концепции детской психологии. Наше критическое исследование поэтому должно пойти в основном тем же путем, каким шел и автор настоящей книги. Нашей задачей является проверка того, насколько новый объяснительный принцип, который Коффка вводит в детскую психологию, позволяет *действительно* преодолеть механистическую и виталистическую теории развития в психологии ребенка.

Мы не пойдем, разумеется, в рассмотрении этой книги глава за главой, но выделим *два основных принципа*, которые и подвергнем критическому исследованию. Сам Коффка говорит, что ему представлялся только один путь к разрешению задач своей работы. Он хотел попытаться критически изложить принципы психического развития и исследовать отдельные факты с этой точки зрения. В сущности, мы должны сделать то же самое. Мы должны рассмотреть общие принципы, лежащие в основе этой работы с точки зрения их соответствия тем фактам, к объяснению которых они приложены.

Два основных принципа, которые должны составить ближайший предмет нашего рассмотрения,— это *принцип структуры и принцип развития*. Мы рассмотрим эти понятия в трех основных аспектах. Прежде всего, мы обратимся к анализу понятия структуры, т. е. основного принципа всей книги, на почве родных для него фактов, т. е. с точки зрения соответствия принципа тому фактическому материалу, на котором он впервые был сформулирован и доказан. Затем мы рассмотрим приложение этого прин-

ципа к фактам из области детской психологии — с точки зрения соответствия его последним. Осветив таким образом этот принцип — с точки зрения его отношения к действительности — с двух различных сторон, мы соберем все необходимое для того, чтобы критически взвесить теорию психологического развития ребенка в целом, как она развита из этого объяснительного принципа.

2

Итак, мы начнем с рассмотрения основного принципа структурной психологии в свете родных для него фактов. Сам Коффка говорит, что детская психология не создала собственного объяснительного принципа и вынуждена использовать аналогичные принципы, которые возникли в общей и сравнительной психологии. Не существует такого психологического принципа развития, говорит он, которым мы были бы обязаны именно детской психологии. До того как эти принципы используются детской психологией, они возникают в общей психологии или в психологии животных.

Это и заставляет нас, следуя автору, начать с рассмотрения психологического принципа, который имеет более широкое и более общее значение, нежели сфера детской психологии. Основой всей работы Коффки и является не что иное, как приложение *этого общего принципа, сложившегося в общей и сравнительной психологии, к фактам психологического развития ребенка.*

Поэтому, если мы хотим, как уже сказано, *основным приемом нашего критического исследования сделать сопоставление фактов и принципов, рассматривая факты в свете принципов и проверяя принципы фактами*, мы должны начать с тех фактов, в сфере которых первоначально и создавалась данная теория. Здесь мы надеемся вскрыть внутреннее сопротивление фактов всеобщим принципам, предложенным для их объяснения, сопротивление, скрытое и подавленное стройным и последовательным проведением определенной системы. В самом общем смысле поэтому критическое исследование какой-либо теории означает почти всегда известного рода идейную борьбу различных принципиальных взглядов.

В этом смысле настоящая книга облегчает задачи критического исследования тем, что она сама, в отличие от многих систематических изложений детской психологии, кладет в основу своего построения теоретическое исследование. Признаком научного изложения, говорит Коффка, является не простое сообщение знаний. Оно должно показать непосредственную зависимость этих знаний от науки, должно показать ее динамику, исследование в действии. Таким образом должны быть освещены также и принципы, оказывающиеся в конце концов ложными и неплодотворными. Читателю должно быть ясно, почему эти принципы оказываются несостоятель-

ными, в чем их слабое место и в каком направлении нужно изменить объяснение. Благодаря неоднократному обсуждению различных мнений читатель сумеет уяснить себе процесс роста психологии как науки. Всякая наука вырастает в живой борьбе за свои основные положения, и эта книга имеет целью присоединиться к этой борьбе.

Читатель действительно легко сумеет убедиться, прочитав книгу, что вся она пронизана борьбой с противостоящими теориями, и, следовательно, приложение критической точки зрения к ее восприятию и усвоению не только не противоречит характеру этой книги, но прямо отвечает ее внутренней природе. Однако борьба теорий только тогда оказывается плодотворной в какой-либо конкретной научной области, когда эта борьба ведется, опираясь на силу фактов. Мы и попытаемся в нашем исследовании опираться прежде всего на силу фактов, которыми оперирует сам автор настоящей книги.

Мы исходим из положения, что распутать теоретический вопрос о приложимости структурного принципа к построению детской психологии означает вместе с тем распутать один из самых сложных и центральных узлов современной теоретической психологии и одновременно сохранить в силе все то инстинное и плодотворное, что заключается в этом принципе.

Смысл этого основного принципа может быть понят лучше всего, если принять во внимание историю его возникновения. Принцип структурности первоначально возник как реакция против атомистических и механистических тенденций, господствовавших в старой психологии. Согласно этим представлениям, психологические процессы рассматривались как совокупность объединенных ассоциативной связью отдельных и независимых друг от друга элементов психической жизни. Главной трудностью, на которую наталкивались подобного рода теории, была невозможность адекватного объяснения того, как благодаря случайному ассоциативному сцеплению разнородных независимых элементов могут возникнуть в психической жизни столь характерные для нашего сознания осмысленные целостные переживания, разумные и целенаправленные процессы поведения.

Новая теория начала с того, как замечает один из ее критиков, что превратила, по словам Гёте, проблему в постулат. Она сделала своим основным допущением мысль о том, что психические процессы *изначально* представляют собой замкнутые, организованные, целостные образования, имеющие внутренний смысл и определяющие значение и удельный вес входящих в их состав частей. Такие целостные процессы и получили в новой психологии название структур, или образов (Gestalten), которые противопоставлялись с самого начала случайному конгломерату суммативно объединенных психических атомов.

Мы не станем останавливаться на развитии понятия о структуре в общей психологии. Нас занимает сейчас преломление этого принципа с точки зрения проблемы развития. Первоначально этот принцип был применен к проблеме развития, как уже сказано, не в сфере детской психологии, но в сфере психологии животных.

Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда ставим перед собой проблему развития,— это вопрос об образовании новых форм поведения. Нам думается, что Коффка с полным основанием выдвигает эту проблему в центр, так как развитие действительно означает в первую очередь возникновение нового. В зависимости от того, как каждая теория отвечает на этот вопрос о возникновении новых форм, она решает с той или иной точки зрения и самую проблему развития.

С этим вопросом об образовании новых форм поведения мы сталкиваемся впервые в связи с теорией обучения животных. Здесь в наиболее простом и примитивном виде мы встречаемся с фактом появления новых форм в процессе индивидуальной жизни животного. Здесь появление этих форм протекает все время в наиболее доступном для эксперимента виде. И поэтому издавна принципиальные вопросы, связанные с этой проблемой, решались в теории обучения животных. Коффка и начинает рассмотрение проблемы развития с теории образования новых форм поведения при обучении животных.

Но здесь, в связи с изменением основного психологического исследовательского принципа, этот вопрос для структурной психологии ставится иначе, чем он ставился. Обычно проблема обучения ставилась с точки зрения чистого и последовательного эмпиризма как проблема выучки, тренировки, запоминания, короче, как проблема памяти. Новое в постановке вопроса, которое мы находим у Коффки, заключается в том, что он сдвигает в самой проблеме обучения центр тяжести. Он переносит этот центр тяжести всей проблемы с памяти на проблему появления так называемых *первых новых действий*.

Он говорит, что проблема обучения не может быть сформулирована в вопросе: как последующее действие зависит от первых? Что собственно является проблемой памяти? Проблема обучения включает прежде всего вопрос: как же образуются эти первые новые формы деятельности?

Таким образом, вопрос о происхождении первых новых действий, независимо от вопроса об их запоминании, закреплении и воспроизведении, ставится в самое начало исследования. Рассматривая этот вопрос, Коффка развивает собственную теорию, противопоставляя ее двум другим, с которыми мы сталкиваемся при обсуждении этого вопроса в психологии: во-первых, теории проб и ошибок, которая нашла высшее выражение в работах Э. Торндайка; во-вторых, теории трех ступеней, развитой К. Бюлером. В борьбе

против этих теорий Коффка опирается главным образом на фактический материал, добытый в процессе зоопсихологического эксперимента над человекоподобными обезьянами Келером. Коффку, однако, привлекает и другой материал, в частности он подвергает критическому исследованию фактический материал самого Торндайка.

Правильное понимание проблемы развития в структурной психологии невозможно без выяснения всей идейной ситуации, в которой она только и приобретает полный смысл. Поэтому мы и обратимся к краткому изложению тех двух теорий, из противопоставления которым исходит новая психология.

Согласно теории проб и ошибок, всякое новое действие возникает по принципу случайных действий. Из них отбирается известная комбинация движений, соответствующая успешному разрешению задачи, которая потом и закрепляется. Но этот принцип, говорит Коффка, не развязывает узел, а разрубает его. Согласно ему неврожденного поведения вообще не существует. Следовательно, не бывает первого действия в смысле нового действия.

И в самом деле: с точки зрения этой теории существуют только врожденные формы деятельности; новые же, возникающие в индивидуальном развитии действия представляют собой не что иное, как случайно возникающие комбинации врожденных реакций, отбирающихся по принципу проб и ошибок.

К. Коффка шаг за шагом подвергает исследованию конкретные факты, которые привели к возникновению этого спорного принципа, и приходит к совершенно убедительному выводу о несостоятельности теории проб и ошибок. Он показывает, что в опытах самого Торндайка животное не только переживает определенную общую ситуацию, но благодаря обучению образуется в самом начале расчленение в этой ситуации. В ней возникает центральный пункт, по отношению к которому остальные элементы ситуации приобретают подчиненное значение.

Вся ситуация не представляется животному совершенно слепо и бессмысленно. Ситуация в основном, говорит Коффка, означает собой для животного следующее: положение, из которого я должен проникнуть наружу к лежащей там пище. Животное как-то связывает свои действия с находящейся снаружи пищей. Таким образом, теория совершенно бессмысленного обучения является несостоятельной.

Если внимательно рассмотреть, как это делает Коффка, шаг за шагом ход всего эксперимента, который излагает Торндайк, нельзя не согласиться, что в процессе деятельности (освобождения из клетки) отдельные элементы ситуации приобретают для животного определенное значение и что вместе с этим мы получаем в нашем анализе нечто совершенно новое. Вообще говоря, обучение в опытах Торндайка приводит в сенсорной области, как говорит Коффка,

к *новообразованиям.* Животное решает известные задачи, и, следовательно, его деятельность не явльется цепью случайных проб и ошибок.

К. Коффка ссылается на опыты Дж. Адамса, который приходит к выводу, что обучение нельзя представлять себе как постепенное выключение бесполезных движений. Он ссылается на Э. Толмена [2], который резюмирует свой богатый опыт по обучению животных в следующих словах: «Всякий процесс обучения есть процесс разрешения проблемы» (К. Коффка, 1934, с. 117).

Таким образом, Коффка приходит к выводу, что и в опытах Торндайка факты находятся в резком несоответствии с теоретическим объяснением, которое привлекается для их истолкования. Факты говорят о том, что животные ведут себя осмысленно, решая определенную задачу, расчленяя воспринимаемую ситуацию, связывая свои движения с целью, находящейся за пределами клетки. Теория объясняет их действия как совокупность бессмысленных и слепых реакций, которые чисто механически, благодаря внешнему успеху или неуспеху, закрепляются или отбрасываются и, таким образом, приводят к возникновению суммативной комбинации ряда реакций, не только не связанных внутренне между собой, но и не имеющих ничего общего с ситуацией, в которой они возникли.

Насколько высоко Коффка ценит действия животных в опытах Торндайка, можно узнать из факта, который, как увидим ниже, имеет принципиальное значение для всей его теории и который состоит в том, что Коффка склонен рассматривать опыты Торндайка в свете сравнительных опытов Руджера над людьми.

Руджер также ставил человека в ситуации, непонятные для него. Результаты его исследования, как их излагает Коффка, сводятся к установлению одного общего положения. Опыт, посредством которого люди приходят к решению, в этих случаях очень часто похож на поведение животного в опытах Торндайка. Таким образом, Коффка выдвигает в качестве первого аргумента против теории проб и ошибок ее несоответствие тем фактам, на основе которых она первоначально возникла.

Но главным аргументом против этой теории являются для Коффки знаменитые исследования В. Келера над человекоподобными обезьянами, который, как известно, установил с несомненностью наличие осмысленных интеллектуальных действий в форме употребления орудий для добывания цели или обходных движений, направленных к цели, у человекоподобных обезьян. Мы не станем излагать эти прекрасно описанные в книге Коффки опыты. Скажем только, что они являются для Коффки *центральным и основным аргументом* в пользу отклонения теории проб и ошибок.

Мы можем сформулировать новый принцип в положении, что животные по-настоящему решают новые задачи, перед которыми они поставлены. Мы усматриваем сущность этого решения не в том,

что движения, из которых каждое само по себе доступно, вступают в новую комбинацию, но в новом структурировании всего поля. Сущность этого последнего принципа сводится к тому, что, согласно опытам Келера, у животных возникает замкнутое, целенаправленное действие в соответствии со структурой воспринимаемого поля.

Такое действие диаметрально противоположно той случайной комбинации реакций, которая возникает из слепых проб и ошибок. Коффка приходит, таким образом, к совершенно иному взгляду на обучение, нежели тот, который вытекает из теории Торндайка. Обучение, говорит он, никогда не бывает абсолютно специфичным. Когда организм овладевает какой-нибудь задачей, он не только усваивает, как решить снова такую же задачу, но он становится способнее решать и другие задачи, с которыми он раньше не мог справиться, потому что в некоторых случаях новые процессы облегчаются другими однородными процессами; в других случаях создаются новые условия, которые делают возможными новые процессы *.

Таким образом, обучение действительно является развитием, а не простым механическим приобретением изолированных форм поведения. Только та теория кажется автору состоятельной, которая сумеет объяснить, почему из бесчисленного количества отношений, содержащихся в ситуации, замечаются важнейшие, которые и определяют поведение.

Мы говорим: по отношению к цели возникает осмысленная структура поля. Решение и есть не что иное, как ее образование. Для нас эта проблема не возникает, потому что другие отношения не создают осмысленной структуры. Если исключить смысл и считать случайность слепым воздействием механизма ассоциаций, то нужно объяснить, почему осмысленные отношения замечаются, а бессмысленные нет, спрашивает Коффка.

К. Коффка приходит, таким образом, к выводу, что *сущность возникновения первых действий заключается в образовании новых структур*. Замечательным для его построения является тот факт, что принцип структурности он прилагает не только к интеллектуальным действиям человекоподобных обезьян, но и к действиям низших животных в опытах Торндайка. Следовательно, *в структурах Коффка видит некоторый первичный, изначальный и в сущности примитивный принцип организации поведения*. Было бы ошибкой думать, что этот принцип присущ только высшим, или

* В сущности, Коффка всецело остается на теоретических позициях Торндайка, пытаясь вслед за ним теорию развития ребенка построить на данных и законах обучения животных. *Внутри* этих позиций он пытается вполне успешно изменить представление о природе этих законов. Но методологический путь от зоопсихологии к психологии ребенка остается и его путем. Он не задается даже вопросом, в какой мере вообще возможно применять слово «обучение» к животным и ребенку, сохраняя единство его значения.

интеллектуальным, формам деятельности. Он присутствует и в самых элементарных и ранних формах развития. Эти рассуждения, говорит автор, утвердили нас в нашем понимании примитивной природы структурных функций. Если структурные функции действительно так примитивны, то они должны сказаться и в примитивном поведении, которое мы называем инстинктивным. Мы видим, как опровержение теории проб и ошибок приводит Коффку к выводу, *что структурный принцип в одинаковой мере приложим как к высшим интеллектуальным действиям человекоподобных обезьян, так и к дрессировке низших млекопитающих в опытах Торндайка и, наконец, к инстинктивным реакциям пауков и пчел.*

Таким образом, в структурном принципе Коффка находит общее положение, которое позволяет ему охватить с единой точки зрения как самые примитивные (инстинктивные), так и новые, возникающие в процессе дрессировки и интеллектуальной деятельности реакции животного. Как мы видим, основой этого принципа является все то же противопоставление осмысленного, замкнутого, целеустремленного процесса случайной комбинации отдельных элементов-реакций.

Но все значение этого принципа станет нам ясным только тогда, когда мы сумеем выявить его расхождение с другой теорией — противоположного характера. Это теория трех ступеней, согласно которой развитие поведения проходит три основные ступени.

За высшей ступенью интеллекта, излагает Коффка эту теорию, как способностью делать открытия, следует ступень дрессуры, чистой ассоциативной памяти, затем в качестве самой низкой ступени — инстинкт. Инстинкт и дрессура имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества инстинкта — уверенность и законченность, с которыми он действует в первый же раз, сразу. Преимущество дрессуры — способность приспособления к отдельным обстоятельствам жизни. В противоположность этому выступают отрицательные стороны: окаменелость инстинкта и инерция дрессуры, т. е. тот факт, что обучение путем дрессуры требует очень долгого времени. В интеллекте объединяются преимущества обеих низших ступеней.

Если теория Торндайка была направлена на доказательство бессмысленности и случайности в возникновении новых действий у животных, то теория К. Бюлера ставит слишком большие требования к интеллектуальной деятельности, слишком отрывает ее от низших ступеней и приписывает только ей осмысленный и структурно-замкнутый характер. Бюлер исходит из того положения, что разум предполагает суждение, которое сопровождается переживанием уверенности, отсутствующим у шимпанзе.

Таким образом, если теория проб и ошибок пытается объяснить возникновение новых действий у животных с точки зрения механистического принципа случайного объединения элементарных

разнородных реакций, то теория трех ступеней пытается рассматривать развитие как ряд внутренне не связанных друг с другом ступеней, которые не могут быть охвачены единым принципом. «Каковы эти три формы поведения?» — спрашивает Коффка. Можно считать, что все они совершенно различны. Тогда развитие состоит только в том, что каким-то непонятным образом к одной из них присоединяется другая (1934, с. 144).

Критика Коффки направлена в этой теории, во-первых, против утверждения Бюлера, что разум непременно предполагает суждение. Если даже такое ограничение действий соответствует тому, что носит у взрослого человека название разумного, присутствие этого признака в простейших формах разумного поведения, говорит он, не является обязательным. Во-вторых, Коффка пытается стереть резкие границы между различными ступенями в развитии деятельности животных. Инстинкт для него незаметно переходит в дрессуру. Между теорией ассоциативного обучения и теорией инстинкта существует очень тесная зависимость. Так же пытается он стереть резкие границы, как это мы видели выше, между дрессурой и интеллектом.

Он делает попытку принять не три совершенно гетерогенные формы, а найти между ними известную зависимость. Внимательный читатель, говорит он, заметит, что для нас главную роль играет определенный принцип, который в одинаковой мере относится к объяснению инстинкта, дрессуры и интеллекта, т. е. принцип структурности. Мы пытаемся самое явление, его внутреннюю замкнутость и направленность применить в качестве главного принципа всякого объяснения. Принцип структурности наиболее ясно выражен при интеллектуальной деятельности. Мы пользуемся для объяснения низших форм, следовательно, принципом, способным объяснить высшие формы поведения, тогда как до сих пор, наоборот, принцип, которым считали возможным объяснить примитивное поведение, переносили на высшие ступени. Интеллект, дрессура и инстинкт, по мнению Коффки, основаны на различно образованных, различно обусловленных и различно протекающих структурных функциях, но не на различных аппаратах, которые в случае надобности включаются, как полагает Бюлер (К. Коффка, 1934, с. 145).

Мы приходим, таким образом, к чрезвычайно важному выводу, состоящему в том, что принцип структурности оказывается одинаково приложимым ко всему многообразию психологических явлений в животном мире, начиная с самых низших и кончая самыми высшими. В известном смысле Коффка проделывает путь, обратный тому, который был проложен предшествующими исследователями. Если Торндайк пытался объяснить разумные с внешнего вида формы деятельности животного путем сведéния их к низшим, врожденным реакциям, то Коффка пытается идти обратным путем —

сверху вниз, прилагая найденный в интеллектуальных действиях высших животных принцип структурности к объяснению внешне бессмысленных действий животных при дрессуре и даже к их инстинктам.

Получается обобщение огромного размаха, грандиозное по объему, охватывающее все формы психической деятельности — от самых низших до самых высших. Это обобщение не ограничивается, однако, только областью обучения. Оно переносится и на физиологические явления, лежащие в основе всех видов психической деятельности. Коффка ссылается на гипотезу М. Вертгаймера о структурности физиологических явлений и на работы Лешли, выдвинувшего динамическую теорию физиологических процессов, которые выступают также в форме структурных явлений.

В этой попытке перенести принцип структурности и на физиологические процессы, лежащие в основе психической деятельности, Коффка видит средство спасения от психовитализма. Он пытается искать в физиологических структурах нервной системы объяснения психологическим структурам.

Опираясь на это, он говорит, что инстинкт, дрессура и интеллект не суть три совершенно различных принципа, но во всех них мы находим один и тот же принцип, различно выраженный. Благодаря этому переход от одной ступени к другой становится текучим и неопределенным и оказывается невозможным установить, где начинается интеллектуальное поведение в абсолютном смысле слова. Мы не можем сказать, говорит он, что интеллект начинается там, где кончается инстинкт, потому что преувеличение окаменелости инстинктивных действий было бы односторонним. Он говорит далее, что наши интеллектуальные критерии можно было бы применить к инстинктивному поведению даже у насекомых точно так же, как и к человеческому.

Для завершения этой точки зрения надо сказать, что принцип структурности переносится в новой психологии не только на физиологические явления, лежащие в основе психической деятельности, но и на все биологические процессы и явления в целом и еще дальше — на физические структуры. Коффка ссылается на известное теоретическое исследование Келера, который поставил себе задачей показать, что в мире физических явлений перед нами физические системы, имеющие отличительные признаки структуры и представляющие собой замкнутые целостные процессы, где каждая отдельная часть определяется тем целым, к которому она принадлежит.

Нам остается для того, чтобы закончить изложение теории Коффки, привести его собственные соображения относительно того места, которое занимает эта теория по отношению к двум другим, которым она противопоставляется. Если мы, говорит он, сравним механистическую теорию психического развития с трехступенной

теорией Бюлера, мы можем одну из них назвать унитарной, вторую плюралистической. Как же назвать нашу теорию? Она плюралистична потому, что признает неограниченное число существующих структур и множество форм структурного изменения. Но она не плюралистична в том смысле, что она считает ограниченным число постоянных способностей, как рефлексы и инстинкты, способность дрессуры и интеллекта. Она унитарна не в том смысле, что относит всякий процесс к механизму нервных соединений или ассоциаций, но тем, что ищет окончательного объяснения развития в наиболее общих структурных законах, заключает Коффка (там же, с. 150).

Мы можем сейчас перейти к критическому рассмотрению только что изложенной теории. Заметим с самого начала, что критика ее уже в сущности содержится в готовом виде в фактах и обобщениях, сообщаемых самим Коффкой. С них мы и начнем.

3

Центральным вопросом нашего критического исследования этой проблемы должен быть вопрос относительно принципиальной оценки и выяснения истинного смысла, истинной психологической природы тех фактов, на которые опирается данная теория.

Нам думается, что эти факты всецело подтверждают чисто негативную сторону теории Коффки. Они с полной убедительностью разбивают механистическую теорию проб и ошибок и полувиталистическую теорию трех ступеней. Они действительно вскрывают несостоятельность как той, так и другой. Но вместе с тем при внимательном изучении их, при сопоставлении их с более широким кругом явлений, в свете которых они приобретают истинное значение, становится ясным, что в основе их объяснения, приводимого автором, содержится наряду с истинным и ложное ядро.

В сущности, внутренним стержнем всего построения Коффки, которое мы рассматривали выше, является основной вывод, к которому приходит Келер в результате своих исследований. Этот вывод Келер формулирует в виде общего положения, гласящего, что мы находим у шимпанзе разумное поведение того же самого рода, что и у человека. Разумные действия шимпанзе не всегда имеют внешнее сходство с действиями человека, но самый тип разумного поведения может быть у них установлен с достоверностью при соответственно выбранных для исследования условиях.

Данный антропоид выделяется из всего прочего животного царства и приближается к человеку не только благодаря своим морфологическим и физиологическим, в узком смысле этого слова, чертам, но он обнаруживает также ту форму поведения, которая является специфически человеческой. Мы знаем его соседей, стоящих ниже на эволюционной лестнице, до сих пор очень мало, но то немногое, что нам известно, и данные этой книги не исключают воз-

можности, что в области нашего исследования антропоид также по разуму стоит ближе к человеку, чем ко многим низшим видам обезьян, по мысли Келера (1930, с. 103—104).

С этим положением стоит и падает вся теория Коффки.

Поэтому первый вопрос, на который мы должны ответить, есть вопрос о том, насколько принципиально самостоятельным оказалось это положение в свете дальнейших исследований, проделанных после Келера, насколько в принципиальном смысле этого слова *человекоподобно поведение обезьяны, насколько по разуму шимпанзе стоит ближе к человеку, чем к низшим видам обезьян.*

Из этого положения, как уже сказано, исходит во всем своем построении Коффка. Как мы увидим дальше, тот принцип, который был найден в этих исследованиях и который нашел наиболее отчетливое выражение в интеллектуальных действиях шимпанзе, Коффка пытается распространить, с одной стороны, вниз, объясняя дрессуру и инстинкт животных, с другой — вверх, объясняя все психологическое развитие ребенка. Закономерно ли такое распространение этого принципа? *Это зависит исключительно от того, насколько те факты, на которых этот принцип был добыт, по психологической природе приближаются и являются родственными тем фактам, на которые его пытаются распространить.*

Можно было бы сказать, что в современной психологии на наших глазах возникает новая эпоха, которая почти еще не осознана виднейшими представителями психологии и которая могла бы быть обозначена как эпоха «после Келера». Она стоит в таком же отношении к работам Келера, в каком его исследования стоят к работам Э. Торндайка, т. е. является диалектическим отрицанием келеровской теории, сохраняя его положения «в снятом виде».

Эта эпоха возникает у нас на глазах из двух исторических тенденций, которые непосредственно вытекли из работ Келера и, в частности, в зародыше были намечены им самим. Однако для него они не меняли существа дела и являлись скорее побочными и второстепенными моментами, чем центральным ядром всей проблемы. Для него обе эти тенденции, о которых мы скажем ниже, не могли поколебать основного тезиса, согласно которому интеллект шимпанзе по типу и роду идентичен человеческому и обнаруживает действия, специфические для человека.

Первая из этих тенденций заключается в попытке распространить позитивные результаты работ Келера вниз. Вторая пытается распространить их вверх.

Тезис Келера, что животные действуют, вопреки предположению Торндайка, не механически, не слепо, но осмысленно, структурно, человекоподобно, ставил себе прямую задачу несколько заполнить бездну, вырытую Торндайком между человеком и животным.

Распространение этого тезиса совершалось в основном двумя

путями. С одной стороны, исследователи стали опускать келеровские положения книзу, распространяя их на низших животных и находя у них в принципе то же самое структурное осмысленное действие. Ряд подобных работ показал, что критерий, который выдвинул Келер для интеллектуальных действий и который он нашел в наиболее чистом виде в интеллектуальных действиях обезьян, в сущности не является специфическим для интеллекта.

Как мы уже говорили, Коффка считает возможным применить этот же критерий и к инстинктивным действиям, полагая, что инстинкт, дрессура и интеллект не суть три совершенно различных принципа, но во всех них мы находим один и тот же принцип, различно выраженный. Это и является в сущности убийственным для найденного Келером принципа. Возникновение решения как целого, в соответствии со структурой поля, говорит Келер, можно принять за критерий разума. Применяя этот критерий к дрессуре, как это сделал Коффка, к инстинктивным действиям животных, как это сделали другие исследователи, последователи Келера оказали ему дурную услугу. Продолжая *с внешнего вида* прямое развитие его идей, они показали, что инстинктивные и выученные действия животных подчиняются тому же самому критерию, что и интеллектуальные действия. Следовательно, сам по себе выбранный критерий неспецифичен для интеллекта. Все поведение животных оказалось *одинаково* осмысленным и структурным.

В крайних точках это движение привело к восстановлению учения о мыслящих животных, к попытке доказать, что собаке присуща способность усвоения человеческой речи.

Таким образом, беспредельно распространяясь вниз, идея всеобщей осмысленности и структурности действий животных привела к тому, что эти признаки перестали хоть сколько-нибудь отчетливо выделять разумное поведение как таковое. Все кошки оказались серыми в сумерках этой всеобщей структурности: инстинктивные действия пчелы в такой же мере, как и интеллектуальные действия шимпанзе. За тем и за другим оказался один и тот же универсальный принцип, только различно выраженный. Справедливо отметив связь между тремя этапами развития психики, эта теория оказалась бессильной раскрыть различие между ними. Нетрудно видеть, что в крайнем выражении эта тенденция привела как раз к тому, чего пытался избежать Коффка,— к скрытому психовитализму, поскольку она возвратила нас к учению о мыслящих и понимающих животных.

Вторая тенденция осуществлялась иными путями, которыми шли другие исследователи, все более очеловечивая высших животных, все поднимая обезьяну до человека, как это сделал, например, Р. Иеркс, который рассуждал приблизительно следующим образом: раз обезьяне доступно употребление орудий, почему должна оказаться неудачной попытка привить ей человеческую речь?

Таким образом, тезис Келера о человекоподобности действий шимпанзе в дальнейшем развитии этой идеи породил тенденцию, с одной стороны, доказать человекоподобность и самых примитивных инстинктивных действий животных, подчиняющихся тому же принципу, что и интеллект, а с другой — тенденцию окончательно стереть границы, отделяющие высших антропоидов от человека.

Смысл этих тенденций, которые непосредственно выросли из работ Келера, заключается в том, чтобы довести до конца, до логического предела основной принцип Келера об осмысленности и структурности поведения животных. Этот принцип стал прослеживаться до мелочей, до деталей, изгоняя все бессмысленное и слепое из области зоопсихологии и раскрывая ситуационно-структурную осмысленность каждого акта поведения.

Результатом обеих тенденций, которые, как это важно заметить, с самого начала пытались только защитить, укрепить и углубить идею Келера и нисколько не подозревали о том, что они приводят к противоположному результату, явилось на самом деле, как уже сказано, отрицание породившего их учения, развитие которого, продолжаясь, казалось бы, прямым логическим путем, привело к историческому зигзагу, аналогичному тем зигзагам, которые мы наблюдали и (проследили в другом месте) при переходе от антропоморфистов к Торндайку и от Торндайка к Келеру.

Замечательный факт состоит в том, что дальнейшее последовательно проведенное изучение найденного Келером реального явления представило его во всей полноте и показало, что за видимым сходством операций обезьяны с человеческим употреблением орудий стоит их принципиальное различие и что *интеллект обезьяны, внешне сходный с соответствующими действиями человека, именно по типу и роду не идентичен с человеческим.*

Основную аргументацию в пользу этого тезиса, сам не подозревая, приводит в работе Коффка, хотя, как уже сказано, именно на этом положении он строит всю свою теорию. Но, как легко доказать, ход его рассуждений подрубает тот сук, на котором держится все его построение. Самое главное в его аргументации, гвоздь всего вопроса, основной вывод всей цепи его рассуждений состоит в том, что и инстинктивное действие оказывается целесообразным, осмысленным и замкнутым в своей структуре, и, следовательно, критерий интеллекта, выдвинутый Келером, оказывается вполне подходящим и к инстинктивным действиям. Возникновение решения задачи как целого, в соответствии со структурой поля, оказывается критерием, который не столько соответствует специфически человеческому разумному действию, сколько самому примитивному, инстинктивному действию животного.

Критерий интеллекта, выдвинутый Келером, оказывается, таким образом, явно ошибочным. Структурное действие не есть еще тем самым интеллектуальное. Оно может быть и инстинктивным, как

доказал Коффка. Следовательно, этот признак не годится для выяснения отличий интеллекта как такового. Этот критерий вполне подходит к любому инстинктивному действию, например к постройке ласточкой гнезда. Здесь тоже, как правильно показывает Коффка, решение инстинктивной задачи возникает как целое, в соответствии со структурой поля.

Если это так, то, следовательно, возникает подозрение, что и действия человекоподобных обезьян в опытах Келера, в сущности говоря, не поднимаются над уровнем инстинктивных действий и являются по психологической природе гораздо более близкими к инстинктивным действиям животных, чем к разумным действиям человека, хотя, повторяем, с виду они чрезвычайно напоминают употребление орудий в собственном смысле слова.

Сам Коффка в другой работе ставит перед собой этот вопрос и, в согласии со всем тем, что изложено и в настоящей книге, решает его совершенно в том же духе, как и мы, т. е. против основного вывода Келера. Он не подозревает, однако, что вместе с тем он подрывает корни собственной теории. Анализируя интеллектуальные действия шимпанзе, он спрашивает: как обстоит дело с возникновением этих интеллектуальных действий?

В келеровских опытах дело постоянно обстояло так, что перед животным находился плод в недоступном месте, и животное стремилось к овладению этим плодом, или, в наших терминах, шимпанзе находится здесь, видимый плод там, т. е. возникает ситуация с нарушенным равновесием, неустойчивая система, которая побуждает животное восстановить ее равновесие. Но то обстоятельство, что плод побуждает животное к действию, само по себе еще не есть ни в какой мере интеллектуальное действие.

Мы выше видели, что это является признаком инстинкта, что он создает для организма комплексы определенных условий, которые нарушают его равновесие. Возникновение этих действий мы, следовательно, должны обозначить как инстинктивное. Если бы плод был достижим по прямому пути, то и весь процесс, который последовал бы вслед за этим, мы должны были бы назвать инстинктивным. Следовательно, различие между инстинктивным и интеллектуальным действиями заключается не обязательно в возникновении действия, в нарушении равновесия, но в том способе, с помощью которого равновесие восстанавливается.

Это приводит нас к другому полюсу, который обычно противопоставляется инстинктивному действию,— к волевому действию. Является ли каждое неинстинктивное (и квазиинстинктивное, автоматическое) действие волевым действием? Имеет ли смысл действия шимпанзе называть волевыми действиями? Я выдвигаю этот вопрос прежде всего для того, чтобы показать, насколько надо быть осторожным при употреблении обычных слов в приложении к психологической теории.

Чего хочет животное? Конечно, достать плод; но это желание возникает не на основе волевого решения, но на инстинктивной основе. К палке оно, конечно, не стремится. Это было бы интеллектуалистическим толкованием, если бы мы сказали, что животное хочет раздобыть палку как средство, в то время как к плоду оно стремится как к цели; но просто палка приводит к удовлетворению его желания, потому что, прежде чем оно сообразило, как использовать палку, оно не может вовсе и стремиться к палке. Таким образом, существуют действия, которые не являются ни инстинктивными, ни волевыми, но типическими интеллектуальными действиями.

4

В сущности, того, что Коффка говорит в этих строках, совершенно достаточно, чтобы видеть ту огромную принципиальную пропасть, которая отделяет чисто инстинктивные действия обезьяны от интеллектуального и волевого процесса употребления орудий. Как мы видели выше, Коффка пытается одним принципом охватить инстинктивные и интеллектуальные процессы. Благодаря этому стирается принципиальная разница между одними и другими. Инстинктивное действие шимпанзе, как показывает сам Коффка, внешне чрезвычайно похожее на употребление орудий, но на самом деле не имеющее с ним ничего общего, выдается за разумное поведение того же типа и рода, что и человеческое.

Никто лучше самого Келера не выразил это различие между деятельностью животного и человека. В одной из более поздних работ он останавливается на вопросе, почему с употреблением орудий не связываются у обезьяны даже самые малейшие начатки культуры. Ответ на этот вопрос он видит отчасти в том обстоятельстве, что самый примитивный человек приготовляет палку для копанья даже тогда, когда он не собирается копать немедленно, даже когда для него отсутствуют сколько-нибудь ощутимым образом объективные условия для использования орудий. Это обстоятельство, по мнению Келера, стоит в несомненной связи с началом культуры.

Очевидно, сам по себе структурный принцип оказывается недостаточным, если мы хотим к нему как к общему знаменателю свести эти настолько принципиально различные между собой процессы, насколько только могут быть различны психологические процессы животных и человека. Независимость действия самого примитивного человека при употреблении орудий от наличия инстинктивного побуждения к действию и его независимость от актуально действующей оптической ситуации является чертой, диаметрально противоположной самым существенным признакам операций шимпанзе.

Для человека орудие остается орудием, независимо от того, находится ли оно сейчас в ситуации, требующей его использования,

или нет. Для животного предмет теряет свое функциональное значение вне ситуации. Палка, которая не находится в одном зрительном поле с целью, перестает животным восприниматься как орудие. Ящик (как на этом останавливается подробно сам Коффка), на котором сидит другая обезьяна, уже перестает служить орудием для доставания цели и начинает восприниматься животным в новой ситуации как ящик для лежания.

Таким образом, орудие для животного не выделяется из наглядной ситуации. Оно составляет несамостоятельную часть более общей структуры и изменяет значение в зависимости от того, в какую ситуацию оно входит. Благодаря этому вещи, имеющие внешнее зрительное сходство с палкой, как, например, соломинка, легко могут служить для обезьяны иллюзорным орудием. Достаточно напомнить все факты, так подробно анализируемые Коффкой в настоящей книге, для того чтобы видеть, насколько полярно противоположны инстинктивные действия обезьяны и самое наипримитивнейшее употребление орудий человеком.

В общем, все последующие исследования настолько расширили значение тех моментов, которые Келер сам выдвигает как ограничительные в смысле идентичности поведения шимпанзе и человека, что они изменили и смысл его основного утверждения. Уже Келер отмечает, что у обезьян нет понимания механических сцеплений; что они не могут в ситуации определять свое поведение ничем иным, кроме видимого поля; что только мыслимое, только представляемое не может служить определяющим моментом для их действий; что у них нет жизни даже в самом ближайшем будущем.

Дальнейшие исследования показали, что мы имеем здесь дело не с различиями в степени, но с такими принципиальными и коренными признаками, которые превращают количественное различие, указанное Келером, в принципиальное качественное отличие природы одного процесса от другого. Сравнительные исследования интеллектуальных операций шимпанзе с более простыми процессами у низших животных, порожденные тенденцией распространить келеровский принцип вниз, привели к установлению наличия этого принципа в нижестоящих действиях и тем самым подорвали веру в то, что этот принцип может служить действительным критерием интеллекта. Сам Коффка показал, что этот принцип приложим уже к поведению животных при дрессировке в опытах Торндайка.

Как мы видели выше, главнейшие аргументы против теории трех ступеней, которая резко разрывает инстинкт и интеллект, Коффка видит в том, что структурный принцип в одинаковой степени приложим к инстинктивным и интеллектуальным действиям. Это приводит автора к отказу от четкого выделения, от принципиального разграничения интеллектуальных структур от инстинктивных. Келеровский принцип растворяется, таким образом, в структурных действиях вообще.

Это слияние инстинктивных и интеллектуальных реакций под общей крышей структурного принципа находит отчетливое выражение в приведенных выше словах Коффки, в которых он недвусмысленно устанавливает, что действия шимпанзе никак не могут быть отнесены к типу волевых действий и что по характеру возникновения они нисколько не поднимаются над действиями инстинктивными. Принципиальное отношение действующего животного к ситуации оказывается тем же самым, какое мы наблюдаем и у ласточки при постройке гнезда. Орудие же требует принципиально иного отношения к ситуации.

Как мы видели из приведенного выше примера Келера, орудие требует *отношения к будущей ситуации*; оно требует известной независимости значения орудия от ситуации, т. е. от актуально воспринимаемой структуры, оно требует обобщения. Таким орудием является только то, что приложимо к ряду оптически несходных ситуаций. Оно требует, наконец, от человека подчинения своих операций заранее намеченному плану.

В нашу задачу не входит сколько-нибудь подробный обзор психологии употребления орудий. Однако и приведенного выше достаточно для того, чтобы видеть, насколько психологическая структура этой операции в корне и по самой своей природе отлична от операции шимпанзе.

Как уже указано выше, другая тенденция — поднять обезьяну до человека — привела также к негативным результатам, так как в ряде экспериментов было показано, что наличие человекоподобного разума у шимпанзе оказывается совершенно недостаточным не только для того, чтобы привить этим животным человекоподобную речь, но и вообще вызвать у них сколько-нибудь человекоподобную деятельность.

Таким образом, и в своих положительных и в своих отрицательных результатах эта тенденция привела к диалектическому отрицанию положения Келера об идентичности интеллекта обезьяны и человека.

Тенденция, состоящая в том, чтобы довести келеровский принцип до логического предела, выявила: то, что принималось этим исследователем за силу интеллекта обезьяны, т. е. его полная структурная осмысленность, наличие ситуационного смысла в операциях, оказалось ее слабостью. Животные, по выражению Келера, употребленному им в другой работе, оказываются рабами своего зрительного поля. Свободное же намерение — совершенно необходимый элемент подлинного употребления орудий — и отличает человека от животного, по правильному замечанию К. Левина.

Как Келер наблюдал много раз, среди его обезьян животные также оказались не способными изменить данную сенсорную организацию волевым усилием. *Они являются в гораздо большей степени, чем человек, рабами своего сенсорного поля.* Действительно, все пове-

дение обезьяны, как оно представлено в книге Коффки, показывает, что животные в своих действиях оказываются *в рабской зависимости* от структуры зрительного поля. У них возникают только такие намерения, на которые их толкают те или иные структурные моменты самой ситуации.

Как говорит Левин, сам по себе замечателен тот факт, что человек обладает совершенно необыкновенной свободой создавать намерения в отношении любых и даже бессмысленных действий. Эта свобода характерна для культурного человека. Она наличествует у детей и у приматов в значительно меньшей степени и отличает человека, по-видимому, от наиболее близко стоящих к нему животных в гораздо большей степени, чем его более высокий интеллект.

В сущности, легко заметить, что все названные авторы: Келер, говоря о том, что животные являются рабами зрительного поля; Коффка, указывая на не волевую, а инстинктивную природу операций шимпанзе; Левин, выделяя свободу намерения как наиболее разительную черту отличия между человеком и животным,— все имеют в виду один и тот же факт, хорошо замечаемый этими авторами, *но недостаточно оцениваемый ими с принципиальной стороны*, так как он не приводит их к, казалось бы, очевидному заключению о невозможности при таком принципиальном отличии операций человека и животного охватить то и другое с точки зрения единого принципа.

Более поздние исследования, например Г. Меерсона и А. Гийома, показали, что если и можно говорить о человекоподобности операций шимпанзе, то только по отношению не к здоровому, нормальному человеку, а по отношению к человеку с больным мозгом, страдающему афазией, т. е. утратившему речь и все связанные с ней специфические особенности человеческого интеллекта. Характеризуя поведение этих больных, А. Гельб обращает внимание на то, что они вместе с речью очень часто утрачивают специфическое для человека свободное отношение к ситуации, возможность образования свободного намерения и оказываются такими же *рабами своего сенсорного поля*, какими оказываются в исследованиях Келера шимпанзе.

Только человек, по прекрасному выражению Гельба, может сделать нечто бессмысленное, т. е. нечто, не вытекающее непосредственно из воспринимаемой ситуации и являющееся бессмысленным с точки зрения данной актуальной ситуации, например приготовление палки для копанья, когда отсутствуют объективные условия для использования орудия и субъективные условия в виде голода. Но исследования показали обратное в отношении животных: шимпанзе не выделяет орудия из данной ситуации в целом; орудие лишено для него всякой предметности, и, следовательно, осмысленность поведения шимпанзе *ничего общего, кроме самого слова*, не имеет с ос-

мысленностью поведения самого наипримитивного человека при действительном употреблении орудий.

Только это делает для нас понятным тот замечательный факт, на который обращает внимание и сам Келер, именно то, что *человекоподобный интеллект, сделавшийся достоянием шимпанзе, ничего не изменил в системе сознания обезьяны* и явился, говоря языком зоопсихологии, продуктом эволюции по чистой, но не смешанной линии (В. А. Вагнер, 1923). Это значит, что он является несомненным новообразованием, но не перестроившим всей системы сознания и отношения к действительности, свойственных животному, иначе говоря, что в опытах Келера перед нами — *интеллектуальные операции в системе инстинктивного сознания.*

В качестве самого главного и основного вывода, который является гвоздем всего вопроса, мы могли бы сказать, что в самых существенных чертах интеллектуальная операция шимпанзе, которую Коффка кладет в качестве фактического фундамента для обоснования своего единственного принципа объяснения всей детской психологии, оказывается принципиально ничем не отличающейся от любой инстинктивной реакции, если оставаться всецело в пределах структурного принципа как такового, не вводя дополнительных критериев, позволяющих различать высшее и низшее.

В этом смысле мы можем обратить против структуралистов их же собственное оружие. Опираясь на выдвинутый ими принцип зависимости части от целого, мы могли бы сказать, что природа интеллекта, который принадлежит к другой структуре сознания, не может не быть принципиально иной, чем природа интеллекта, встречающегося в совершенно новом целом, каким является сознание человека.

Такая попытка изолированного сближения одной узкой области деятельности вне зависимости от целого в сущности стоит в принципиальном противоречии с тем структурным принципом, на который опирается сам Коффка. В самом деле, ведь инстинктивное действие оказывается целесообразным и структурно осмысленным *в своей ситуации, но бессмысленным за ее пределами. Обезьяна* — и это надо считать вполне доказанным — *действует разумно тоже исключительно в пределах поля и его структуры.* Вне его она действует слепо. Таким образом, *фактическое обоснование структурного принципа лежит всецело в царстве инстинкта.*

Недаром Коффка с полным основанием выдвигает это в качестве основного аргумента против теории трех ступеней К. Бюлера. Было бы, однако, неправильно думать, что, возражая против этого принципа, мы возвращаемся к теории трех ступеней Бюлера. Коффка совершенно прав, когда показывает, что это учение является продуктом глубокого заблуждения. В сущности, все три ступени даны внутри одной, именно *внутри инстинкта.* Ведь условный рефлекс, являющийся типичным представителем второй ступени по Бюлеру,—

это *тот же инстинкт, но индивидуализированный, приспособленный к специальным условиям*. Самый характер деятельности остается при этом настолько же инстинктивно обусловленным, как и при безусловном рефлексе. То же самое, как мы видели, всецело относится и к поведению обезьяны, которое представляет, как и условный рефлекс, нечто новое в смысле структуры исполнительного механизма и условий проявления, но в целом лежит еще всецело в плоскости инстинктивного сознания.

Самая попытка Бюлера охватить теорией трех ступеней все развитие животных и человека в такой же мере неубедительна, как и попытка структуралистов стереть принципиальную грань между инстинктом и интеллектом *.

Мы видим, таким образом, что *высший продукт животного развития*, т. е. интеллект шимпанзе, *не идентичен по роду и типу человеческому интеллекту*. Это не маловажный вывод. Однако его достаточно для того, чтобы заставить нас в корне пересмотреть правомерность применения структурного принципа у Коффки к объяснению психологического развития ребенка. Если высший продукт животного развития не человекоподобен, то следует заключить, что и развитие, которое привело к его возникновению, принципиально иное, чем то, которое лежит в основе совершенствования человеческого интеллекта.

Одного этого достаточно для того, чтобы признать, что *всякая натуралистическая психология, рассматривающая человеческое сознание как продукт только природы, а не истории*, тем самым, что она пытается охватить одним понятием структуры всю психологию животных и человека, окажется всегда несостоятельной перед лицом фактов. Она будет по необходимости метафизична, а не диалектична.

Как известно, работа Келера полемически направлена против господствовавших до него механистических воззрений Торндайка. В этой части его работа сохраняет полное принципиальное значение. Он доказал, что шимпанзе не автоматы, что они действуют осмысленно, что разумные операции у животных возникают не случайно, не путем проб и ошибок, не как механический конгломерат отдельных элементов. Это — прочное и незыблемое завоевание теоретической психологии, от которого нельзя отказаться при решении любой проблемы развития.

Поэтому, если рассматривать его положения с этой стороны, т. е. снизу, по сравнению со слепыми и бессмысленными действиями жи-

* Теории Коффки и Бюлера, в сущности, не столь противоположны, как это изображает автор. Они представляют скорее два варианта единой схемы, пытающейся охватить все психологическое развитие животных и человека единым принципом. В этом отношении позиции авторов совпадают. Мы уже указывали, что это же объединяет теорию Коффки с теорией Торндайка.

вотных, они сохраняют полную силу. Но если посмотреть на них с другой стороны — сверху, если сравнить их с действительным употреблением орудий у человека, если поставить перед собой вопрос: являются ли шимпанзе по интеллекту ближе стоящими к человеку или к низшим обезьянам,— придется дать на этот вопрос ответ, прямо противоположный тому, который мы находим у Келера.

Отличие между действиями обезьяны в опытах Келера и поведением животных в опытах Торндайка, т. е. отличие между осмысленными и слепыми действиями животных, окажется принципиально *менее* важным, чем отличие операций шимпанзе от действительного употребления орудий. Операции шимпанзе *более* принципиально отличны от употребления орудий у человека в подлинном смысле, чем от инстинктивной и условнорефлекторной деятельности животных. Поэтому-то Коффка прав, когда, в отличие от теории трех ступеней, указывает на внутреннее родство, пронизывающее все эти три ступени животной психики.

Интеллект шимпанзе, таким образом, представляется нам скорее высшим продуктом поведения в животном царстве, чем самым низшим в царстве человеческого мышления. Это, скорее, последнее и завершающее звено животной эволюции, чем самое смутное начало истории человеческого сознания.

Как уже сказано, у человека при ряде заболеваний коры головного мозга, особенно его специфически человеческих областей, мы наблюдаем поведение, до некоторой степени сходное с поведением обезьяны. Мы готовы настаивать на том, что только здесь законны и допустимы параллели между поведением шимпанзе и человека, только здесь (*и только в смысле отдельных черт*) мы находим действительную, а не мнимую аналогию, действительную идентичность двух интеллектуальных процессов.

Когда мы узнаем о подобном больном, что он способен налить себе воду из графина в стакан, если хочет пить, но в другой ситуации не способен проделать ту же самую операцию произвольно,— мы узнаем, в сущности, поведение, действительно аналогичное тому, с каким мы встречаемся у обезьяны, когда она перестает в ящике, на котором лежит другое животное, узнавать ту же самую вещь, то же самое орудие, используемое в другой ситуации таким, с внешней стороны, человекоподобным образом.

Мы думаем, как уже сказано, что операции шимпанзе с так называемым употреблением орудий стоят в гораздо более близком соседстве и внутреннем родстве с постройкой гнезда ласточкой, чем с самым примитивным употреблением орудий у человека.

Мы потому так подробно останавливаемся на критике основного принципа Коффки, что только критика фундаментального принципа всего его построения может быть фундаментальной критикой всей его теории детской психологии.

5

Мы затронули на этих страницах самые важные, самые существенные грани, за которыми начинаются специфически человеческие проблемы психологии и психологического развития ребенка,— то, что отличает человека от животного в целом, во всем строении его сознания и отношения к действительности, а не в смысле сходства той или иной частичной функции.

Таким образом, мы выяснили основной тезис нашего критического исследования. Главный порок всей работы Коффки заключается в том, что он пытается свести основные явления психологического развития ребенка к тому принципу, который доминирует в психологии животных. Он пытается выстроить в один ряд психологическое развитие животного и развитие ребенка. Он хочет охватить одним принципом животное и человека.

Естественно, что он наталкивается при этом на жесткое сопротивление фактов. Мы рассмотрим только два основных примера, в которых сказывается сопротивление фактов попытке подвести их под одну крышу с рядом фактов, добытых в экспериментальном исследовании животных.

Начнем с практического интеллекта. Замечательным, с нашей точки зрения, является то обстоятельство, что найденные Келером у животных интеллектуальные операции, как показывает исследование, сами по себе не способны к развитию. Келер, как говорит Коффка, оценивает очень низко предел возможности развития здесь.

В другом месте Коффка говорит еще более отчетливо, сравнивая поведение детей и животных в операциях, требующих практического интеллекта. Он останавливается на данных Альперта, которые показали, что у детей в первые годы жизни эти способности быстро развиваются, в то время как обезьяны, несмотря на частые упражнения, почти не прогрессируют в этом направлении.

Аналогичные положения мы встречаем и при рассмотрении проблемы подражания. Снова Коффка исходит из аналогии между подражанием у животных и подражанием ребенка. То и другое подчиняется структурным законам. Различие между низшими и высшими формами подражания считает он несущественным и говорит, что проблема подражания превратилась для него в общую структурную проблему, подобную проблеме: как из структуры восприятия возникает структура движения.

Однако при рассмотрении роли подражания в развитии мы опять сталкиваемся с тем же отличием, о котором говорили выше. Келер пишет, что, к сожалению, даже у шимпанзе подражание наблюдается очень редко и всегда только тогда, когда данная ситуация, так же как и решение, находится почти в тех же границах, как и при совершении спонтанных действий.

Таким образом, животное, даже самое разумное, оказывается способным подражать только тому, что более или менее близко стоит к его собственным возможностям. В отличие от этого для ребенка подражание в основном является путем для приобретения таких деятельностей, которые выходят совершенно за пределы его собственных возможностей, является средством для приобретения таких функций, как речь и все высшие психологические функции. В этом смысле, говорит Коффка, подражание является мощным фактором развития.

Если даже ограничиться двумя указанными примерами, можно отчетливо сформулировать основной вопрос, на который мы тщетно будем искать ответа в работе Коффки. Если верно, что практический интеллект ребенка и его подражание в принципе могут быть поняты из ссылки на те же самые законы, которые обусловливают деятельность этих двух функций у шимпанзе, то чем объяснить тот факт, что обе эти функции играют в развитии ребенка принципиально иную роль, чем в поведении обезьяны? Именно с точки зрения развития разница оказывается более существенной, чем сходство. Следовательно, структурный принцип в наших глазах недостаточен для объяснения того, что является центральным ядром всей проблемы, именно развития.

Мы не будем останавливаться на дальнейших примерах, богато рассыпанных по страницам книги и говорящих о том, что в общих формулах нами уже выражено выше. Читатель легко найдет немало мест, которые покажут ему гораздо ярче, чем это можно сделать в беглом предисловии, насколько неразрывно связаны действия шимпанзе с инстинктивной мотивацией и аффектом, насколько они неотделимы от непосредственного действия, насколько в самом восприятии животные лишены предметного отношения к орудию и оказываются в рабской зависимости от видимой ситуации.

В свете того, что сказано выше, читатель не сумеет без удивления следить за основной лейтлинией Коффки, который все время очерчивает контуры одной идеи — идеи одинаковости, принципиальной идентичности поведения животного и человека. Достаточно посмотреть на черты, характеризующие связанность операций шимпанзе наглядной ситуацией, для того чтобы найти еще множество фактических доказательств в пользу нашей мысли о неправомерности распространения структурного принципа на всю область психологического развития ребенка.

Нам остается еще для окончательного выражения нашей мысли сформулировать последнее. Как мы указывали выше, пафосом всей структурной психологии является идея осмысленности психологических процессов, которой противопоставляется механическая, слепая бессмысленность, приписывавшаяся им в более старых теориях. Но после сказанного выше едва ли могут остаться какие-либо сомнения в том, что эту осмысленность новая психология рассмат-

ривает как принципиально тождественную у животных и у человека. Все то, о чем мы говорили раньше, заставляет нас признать в этом коренной порок структурного принципа.

Нам остается еще показать, что осмысленность, о которой говорит Коффка по поводу действий животных, и осмысленность, о которой идет речь в психологическом развитии ребенка, хотя и являются — та и другая — структурными феноменами, но представляют собой по психологической природе две различные категории осмысленности.

Никто не станет спорить против основной идеи, заключающейся в том, что исследование психологического развития должно раскрыть возникновение осмысленного отношения к действительности, осмысленного переживания, но *гвоздь вопроса заключается в том, что одинаковая или различная осмысленность присуща сознанию животного и человека.*

К. Коффка говорит, что существенным признаком тех операций, в которых он видит фактическое обоснование структурного принципа, является возникновение осмысленного восприятия ситуаций. Он говорит, что действие носит разумный характер, если значение ситуации воспринято сознательно. Точно так же и перенесение, т. е. успешное применение усвоенного в известных условиях способа в новых, измененных условиях есть всегда осмысленное перенесение, предполагающее понимание. Однажды усвоенное значение распространяется на все другие предметы, которые имеют общие свойства с данным. Таким образом, говорит он, перенесение есть осмысленное применение структурного принципа.

Эта идея осмысленности настолько доминирует во всех описаниях и анализах Коффки, что с несомненностью выдвигается на первое место в его построении. Однако самая осмысленность ситуации, с которой мы встречаемся в поведении животного и в поведении ребенка, в обоих случаях принципиально разная.

Мы позволим себе проиллюстрировать это только на одном примере. Коффка приводит опыты с неудачными решениями у детей. Эти опыты могут служить примером, имеющим более общее значение, чем то, которое приписывает ему автор. Так, в одном из опытов ребенок оказывается несостоятельным перед задачей, требующей применения палки. Объясняется это просто. Ребенок имел палку, которую использовал в качестве лошадки до тех пор, пока это не было ему строго запрещено. Существующая в ситуации палка, похожая на ту, которой ребенок прежде играл, благодаря этому получила характер запрещенного и потому не могла быть привлечена к решению.

Аналогичное явление наблюдала Т. Гарт при опытах с ящиками, стоявшими в комнате перед рядом стульев. Почти все дети без исключения не сумели справиться с задачей. Причиной было то, что им строго запрещалось становиться на стулья. Когда этот опыт с ящи-

ками повторили потом на площадке для игр, были получены положительные результаты.

Этот пример отчетливо показывает то, что мы имеем в виду. Очевидно, палка, которая приобрела значение запрещенного, или действие — становиться на стул,— которое также оказалось под запретом, самым существенным образом отличаются от ящика, в котором шимпанзе не узнает более подставки для доставания плода из-за того, что на нем лежит другое животное. Очевидно, вещи в этих опытах с детьми приобрели *значение, выходящее за пределы оптического поля.*

Трудность использовать стул в качестве подставки или палку в качестве орудия заключается не в том, что ребенок потерял в ситуации восприятие этих вещей с точки зрения их пригодности для достижения цели. Причина оказывается в том, что вещи для ребенка приобрели действительно некоторое значение, именно значение стула или палки, которыми ребенок не должен играть, иначе говоря, в решение задачи для ребенка вплетаются социальные правила. Нам думается, что в этих примерах мы сталкиваемся с моментом, который является отнюдь не исключением из общего правила для поведения ребенка в аналогичной ситуации.

В наших опытах мы неоднократно сталкивались с таким положением вещей, когда ребенок, приступая к решению задачи, удивительным образом не использует явно находящиеся в поле его зрения вещи, как бы молча допуская, что он должен действовать в ситуации по известному правилу. Только разрешение использовать палку или стул приводит к тому, что ребенок моментально решает задачу. Эти опыты показывают, в какой мере для ребенка видимая ситуация является частью более сложного смыслового, если можно так выразиться, поля, внутри которого вещи только и могут вступать в определенные отношения друг к другу.

В этих случаях мы видим разительные примеры того, что отчетливо сказывается и во всех остальных опытах с ребенком, главнейший результат их заключается в том, что в решении задачи у ребенка на первый план выступают *законы смыслового поля*, т. е. то, каким образом ребенок осмысливает ситуацию и свое к ней отношение *. Здесь имеет место то, что составит предмет нашего рассмотрения в одной из следующих глав, именно проблема речи и мышления.

К этому вопросу, как говорит Коффка, относится, пожалуй, большинство проблем, потому что наиболее трудно ответить на вопрос, как человек путем мышления освобождается от непосредствен-

* Мы имеем в виду, в сущности, вопрос, поставленный самим Келером относительно того, в какой мере шимпанзе может определяться в своем отношении к ситуации и в своем поведении не наличными, не наглядными элементами, а «только мыслимым», только представлениями, т. е. всем тем, чему принадлежит наибольшее значение в *человеческом* мышлении. Это мы и называем условно смысловым полем по аналогии с оптическим полем Келера.

ного восприятия и тем самым приходит к овладению миром. Вот это освобождение путем мышления от непосредственного восприятия — на основе практики — и является самым важным результатом, к которому приводит нас изучение опытов с ребенком. В этом вопросе, как показали наши опыты, *существеннейшую роль играет слово*, о котором сам Коффка говорит, что в известный период детского развития слово перестает быть связанным с желанием и аффектом и образует связь с вещами.

Как показывают опыты, слово освобождает ребенка от той рабской зависимости, которую наблюдал Келер у животных. Оно освобождает действия ребенка. Оно же, наполняя смыслом и обобщая видимые элементы ситуации, приводит к возникновению *предметности* орудия, которое остается самим собой, независимо от того, в какую структуру этот предмет входит.

Тот факт, что ребенок во время решения задачи обыкновенно разговаривает сам с собой, не нов. Его наблюдали многие исследователи и до нас. Нет почти ни одного из опубликованных до сих пор протоколов аналогичных исследований, в которых не подтверждался бы этот факт. Но огромное большинство исследователей проходит мимо этого факта, не понимая его принципиального значения, не видя, что слово и связанное с ним значение ставят ребенка в принципиально новые отношения к ситуации, изменяют коренным образом простой акт его восприятия, создают ту возможность свободного намерения, о которой говорит К. Левин как о самой существенной черте, отличающей человека от животного *.

Мы не будем здесь останавливаться подробно на этих опытах, на которые мы уже ссылались в другом месте. Скажем только, что попытка рассматривать речь, сопровождающую практические действия ребенка как простой аккомпанемент к его активности, противоречит структурному принципу, выдвигаемому самим Коффкой. Считать, что факт включения речи, а вместе с ней и смыслового поля в деятельность ребенка в определенной ситуации оставляет без изменения структуру самой его операции,— значит встать на антиструктурную точку зрения и вступить в резкое противоречие с тем, на что опирается сам автор.

Таким образом, исходя из его же собственных идей, он должен был бы признать, что практические операции ребенка принципиально отличны от аналогичных по внешнему виду операций животного.

6

Мы можем теперь заключить наше рассмотрение первого принципа, лежащего в основе книги Коффки, и подвести итоги получен-

* Типической в этом отношении является работа Lipmann u. Bogen «Naive Physik», 1926, посвященная исследованию практического интеллекта ребенка.

ным результатам. После сказанного выше едва ли могут остаться сомнения в том, что теория Коффки представляет собой чрезвычайно смелую и грандиозную попытку сведения высших форм деятельности человеческого ребенка к низшим, наблюдающимся у животных.

Нетрудно видеть, что такое сведение всех высших форм осмысленности человеческого действия и восприятия к осмысленности низших инстинктивных действий животных является, в сущности говоря, очень дорогой ценой, которую автору приходится платить за преодоление витализма. Он преодолевает витализм, делая уступку механицизму, ибо, по существу дела, механистическими являются не только те теории, которые сводят поведение человека к деятельности машины, но и те, которые сводят поведение человека к деятельности животных. В этом самое основное расхождение в понимании механицизма между нами и Коффкой.

Как легко видеть из доклада Коффки (1932), посвященного этой проблеме, он главную опасность механицизма видит только в том, что живое, сознательное, сводится к мертвому, автоматическому, неорганическому. Он понимает механицизм в буквальном смысле этого слова, как сведение к механизму. Поэтому он думает, что если только самое мертвую природу понимать не с точки зрения принципа механизма, но с точки зрения физических систем, как это делает Келер в своих исследованиях, т. е. если допустить в самой неорганической природе наличие структурно-целостных процессов, определяющих роль и значение своих составных частей, то такое сведение станет принципиально возможным.

Но такое преодоление витализма, которое пытается свести поведение человека к закономерностям, наблюдающимся в поведении животных, означает на самом деле остановку на полпути. Это, конечно, стоит выше попытки Торндайка истолковать деятельность, связанную с высшими процессами, чисто автоматически, но это все же представляет собой чистый механицизм в собственном смысле слова.

Если, таким образом, попытка охватить единым структурным принципом поведение животных и человека приводит Коффку к преодолению витализма ценой уступок механицизму и заставляет его остановиться на полпути, то она же приводит и к обратному результату, именно к преодолению механицизма путем уступок витализму, т. е. снова заставляет его остановиться на полпути между механицизмом и витализмом. Эта позиция — на полпути между тупиками современной научной мысли — самая характерная для современной структурной психологии, и для книги Коффки в частности.

Твердо укрепившись в промежуточной позиции, эти психологи видят себя одинаково удаленными как от механицизма, так и от витализма. На самом деле они движутся всецело по тому же самому пути, который определяется этими двумя точками, и неосознанно

включают в свои построения нечто от этих крайних полюсов, от которых пытаются оттолкнуться. На самом деле попытка Коффки приложить структурный принцип с его идеей осмысленности к инстинктивной деятельности неизбежно приводит к тому, что инстинкты интеллектуализируются, т. е. самое важное с его точки зрения возникает не в развитии, а дано с самого начала.

Структура оказывается изначальным феноменом, который стоит в начале всего развития. Далее все идет путем логического вывода, путем дальнейшего размножения структур. Недаром в анализе инстинктов Коффка оставляет в стороне другую проблему — всю неразумность, всю слепоту, всю неосмысленность инстинкта. И допуская осмысленность как изначальный феномен, *существующий до самого процесса развития*, он тем самым чрезвычайно облегчает себе задачу, труднейшую из всех, перед которыми когда-либо стояли психологи-исследователи,— *задачу объяснить происхождение и возникновение осмысленности.*

В самом деле, если все осмысленно, то так же точно теряется грань между осмысленным и бессмысленным, как если все бессмысленно. Все сводится, как и у Торндайка, к одной категории — более или менее. Там — более или менее бессмысленно, здесь — более или менее осмысленно. Детское развитие и развитие животного не расчленено. По выражению самого Коффки, то и другое, т. е. центральную проблему сравнительной психологии и центральную проблему детской психологии, он пытается слить воедино.

Он говорит: для того чтобы дать широкое обоснование предлагаемому им объяснению психологического развития ребенка, необходимо включить в изложение и другие области сравнительной психологии. Обе цели тесно связаны между собой. Он пытался слить их воедино, создать однородный «гештальт», а не отрывочное изложение всех параллельных проблем. Но в этом и заключается ахиллесова пята этой работы. Попытка слить воедино развитие ребенка и развитие животного, создать единую, нерасчлененную структуру, в которую то и другое входит несамостоятельными частями, означает создать самый (говоря словами самого Коффки) примитивный «гештальт», который, как он прекрасно показал в рассматриваемой книге, свойствен ранним, первоначальным ступеням развития научного познания.

То, что Коффка говорит, характеризуя первые структуры младенческого сознания, может всецело относиться с теоретической стороны и к его собственной единой структуре животного и детского развития. Он подчеркивает, что дело идет об очень простых ситуациях, и структуры, которые мы воспринимаем первыми, также наиболее просто сконструированы. Некоторое качество на однообразном фоне. Буквально теми же словами можно было бы выразить кратко и наше впечатление от структуры, которая представлена в теории Коффки: *некоторое качество на однородном фоне.* Это качество —

структурность, осмысленность, которые еще не дифференцированы, еще не расчленены.

Таким образом, перед нами последовательная натуралистическая теория психологического развития ребенка, сознательно сливающая животное и человеческое, игнорирующая историческую природу развития человеческого сознания, в которой специфически человеческие проблемы выступают только в качестве фактического материала, а не в принципиальной основе самой теории. Не удивительно, что эти специфически человеческие проблемы психологического развития ребенка там, где они говорят языком фактов, оказывают жестокое сопротивление натуралистической попытке истолкования и пытаются разорвать оболочку этого единого, нерасчлененного гештальта.

Поэтому, когда Коффка вспоминает замечательное выражение В. Келера, гласящее, что само по себе разумное поведение и интеллектуальные способности сопротивляются интеллектуалистическим объяснениям, что интеллектуализм нигде не оказывается так мало состоятельным, как в области проблем интеллекта,— он, в сущности говоря, приводит аргумент против самого себя, ибо именно он пытается интеллектуалистически, т. е. исходя из природы интеллектуальной операции шимпанзе, объяснить основной принцип развития. Но что же другое и означает интеллектуализм, как не попытку понять развитие в качестве аналога интеллектуальной операции?

Правда, Коффка пытается лишить это утверждение его жала тем, что он, как мы видели, растворяет интеллектуальные процессы в инстинктивной деятельности. Но тем самым он достигает еще худшего результата, т. е. фактически объясняет с этой же точки зрения и самые примитивные формы поведения.

В целом теория Коффки нарушает им же самим выбранный за основу решающий принцип. Как известно, этот принцип заключается в признании примата целого над частями. Если быть верным этому принципу, следует признать, что раз вся структура, вся система сознания человека другая, чем структура сознания животного, то отождествление одного какого-либо частичного элемента одной и другой структуры (интеллектуальной операции) становится невозможным, ибо смысл этого элемента становится ясен только в свете того целого, в состав которого он входит.

Так, самый принцип структурности указывает основную ошибку всего теоретического построения Коффки. *Истина его теории освещает его заблуждения.*

Вывод, к которому мы приходим на основании предшествующего рассмотрения теории Коффки, неожиданно приводит нас к парадоксальным результатам. Мы помним, что сам Коффка характеризовал путь своего исследования как путь *сверху вниз*, отличный от обычного пути — *снизу вверх*. Сущность его Коффка видит в том, что в то время как обычно принципы, найденные в низших формах деятель-

ности, прилагались к объяснению высших, он пытается принципы, найденные в высших формах деятельности, применить для объяснения низших.

Но все-таки и путь Коффки оказывается путем *снизу вверх*. Принципом, найденным в поведении животных, он пытается снизу осветить психологическое развитие ребенка.

Положение Коффки с применением структурного принципа к объяснению *всего* богатого содержания детской психологии очень напоминает аналогичную ситуацию, которую остроумно описал У. Джемс, когда впервые пришел к формулировке знаменитого принципа об ограниченной природе эмоции. Принцип показался ему настолько важным, настолько разрешающим все проблемы, таким ключом, подходящим ко всем замкам, что отодвинул для него на второй план фактический анализ тех явлений, для объяснения которых этот принцип был создан.

У. Джемс говорит о своем принципе, что если у нас уже есть гусыня, несущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное яйцо — дело второстепенной важности. Его принцип представлялся в его собственных глазах как гусыня, несущая золотые яйца. Не удивительно поэтому, что анализ отдельных эмоций отступил для него на второй план. Между тем именно строй фактов, через которые впоследствии была проведена его теория, показал ошибочность его первоначальных предположений.

В известном смысле это может быть применено и к структурному принципу. На него так же смотрят как на гусыню, несущую золотые яйца, в силу чего описание и анализ каждого отдельного яйца рассматривается как дело второстепенное. Не удивительно, что объяснение самых разнообразных фактов детской психологии при этом оказывается удивительно похожим одно на другое, как два яйца, снесенные одной гусыней.

К. Коффка устанавливает, что уже исходный пункт детского психологического развития оказывается структурным. Уже младенец имеет налицо осмысленные восприятия. Мир в том виде, в каком он представляется самому маленькому ребенку, уже в какой-то мере гештальтирован. Таким образом, структурность оказывается лежащей в самом начале детского развития.

Естественно, возникает вопрос: чем же позднее структурирование мира отличается от раннего? *Фактическое описание* этих более сложных структур, возникающих в процессе развития ребенка, мы находим в развернутом виде в настоящей книге. Но мы не находим в ней при всем желании ответа на вопрос, в чем принципиальное, *а не фактическое* только отличие структур, возникающих в процессе развития ребенка, от тех, которые даны с самого начала. Напротив, создается впечатление, что такого принципиального отличия для автора не существует, что различие только фактическое. Гусыня, несущая с самого начала золотые яйца, оказывается на всем протя-

жении детского развития неизменной. *В этом — центр всего спора.* Если встать на эту точку зрения, необходимо согласиться с тем, что *в процессе детского развития не возникает ничего принципиально нового*, ничего такого, что не заключалось бы уже в психологии шимпанзе или в сознании младенца.

Между тем то сопротивление фактов, о котором мы говорим все время, становится особенно ощутимым тогда, когда мы из области фактов зоопсихологии переходим в область фактического содержания детской психологии.

7

Мы хотим в настоящем разделе подвергнуть критическому исследованию структурный принцип с точки зрения его соответствия фактам детской психологии и установить, *что* в приложении этого принципа основано на простой аналогии и *что* является доказанным, а главное — какова объяснительная ценность этих аналогий и этих доказательств. Та проблема, которую Коффка называет «ребенок и его мир», и составляет основную тему настоящей главы. Проблемы идеаторного обучения, мышления и речи, игры должны сейчас стать предметом нашего рассмотрения.

Мы начнем с частного момента, который, однако, в наших глазах имеет общее значение и поэтому может служить интродукцией ко всему последующему анализу. К тому же он непосредственно связывает нас с тем, чем мы закончили предыдущую главу. Обсуждая проблему развития детской памяти, Коффка, между прочим, говорит, что вначале ребенок относится пассивно к своим воспоминаниям, только постепенно он начинает ими овладевать, начинает произвольно возвращаться к определенным событиям. В другом месте, говоря об отношении структуры и интеллекта, он замечает, что образование все более усовершенствованных и объемлющих структур и есть функция интеллекта, что структуры возникают, следовательно, не там, где возникают разумные структуры, их местонахождение в основном в других центрах.

В этих двух примерах заключены проблемы величайшей теоретической важности. Мы имеем в виду, утверждая это, что *самым существенным для истории развития детской памяти является именно переход от пассивных воспоминаний к произвольному обращению с ними и произвольному их вызыванию.* Очевидно, не частный, не случайный, не побочный момент определяет этот переход, а *все специфически человеческое в развитии памяти ребенка сосредоточено, как в фокусе, в проблеме этого перехода от пассивной к активной памяти*, ибо этот переход означает изменение самого принципа организации этой функции, этой деятельности, связанной с воспроизведением прошлого в сознании.

Спрашивается: в какой мере структурный принцип всеобщей ос-

мысленности оказывается достаточным и пригодным для того, чтобы объяснить это возникновение произвольности в психической жизни ребенка?

Точно так же, когда мы узнаем, что структуры возникают не там, где возникают *разумные* структуры, перед нами естественно встает вопрос: *что же отличает эти разумные структуры от неразумных?* Мы спрашиваем: неужели возникновение *разумных структур* не приносит с собой ничего принципиально нового по сравнению с возникновением и усовершенствованием *структур неразумных?* Или, иными словами, мы спрашиваем о том, *насколько состоятельным и пригодным оказывается принцип структурности для объяснения не только проблемы произвольности, но и проблемы разумности в психической жизни ребенка* *.

Что мы имеем здесь дело не со случайными примерами, а с чем-то принципиально важным, можно видеть из той, выбранной наудачу третьей иллюстрации, которая показывает, что к какому бы разделу психологического развития ребенка мы ни обратились, мы везде и всюду столкнемся с теми же вопросами. Коффка обсуждает развитие понятия числа у ребенка, имея в виду, что «число — наиболее совершенный образец нашего мышления» (1934, с. 220).

Казалось бы, здесь, *в анализе наиболее совершенного образца нашего мышления*, в центр внимания исследователя должны встать те специфические черты, которые отличают мышление как таковое. Характерно, говорит Коффка, для нашего мышления то, что мы можем производить наши мыслительные операции произвольно на любом материале, независимо от естественных отношений предметов. На других ступенях развития это обстоит иначе: сами вещи определяют возможные для них мыслительные процессы. И далее вся глава посвящена этим «другим ступеням развития».

Таким образом, и эта глава оказывается посвященной не тому, что делает число самым совершенным образцом нашего мышления, а тому, что представляет то же самое число с негативной стороны на ранних ступенях развития с точки зрения отсутствия в нем существеннейших черт человеческого мышления.

8

На трех приведенных выше примерах мы можем, нам думается, показать одну общую черту, доминирующую во всей интересующей нас проблеме. Структурный принцип оказывается состоятельным везде, где он встречается с необходимостью объяснить начальные, исходные моменты развития. Он показывает, чем было число до

* В сущности, речь идет о всей проблеме высших психических функций в структурной психологии; произвольность и разумность — только отдельные черты, характеризующие эти высшие формы психологической деятельности.

того, как оно стало совершенным образцом мышления. Но *как* оно из этой примитивной структуры превратилось в абстрактное понятие, служащее прототипом всех отвлеченных понятий,— это структурный принцип оставляет вне поля объяснения. Здесь принципиальное объяснение уступает место фактическому описанию известной последовательности, констатированию фактов.

Так же точно структурный принцип превосходно объясняет истоки развития памяти. Но *как* эти примитивные структуры памяти переходят в активное обращение с воспоминаниями — этого структурный принцип не объясняет, ограничиваясь снова простым констатированием смены пассивного и активного запоминания.

То же самое имеет место и в отношении неразумных и разумных структур. *Превращение одних в другие* остается неразрешимой загадкой с точки зрения этого принципа.

Благодаря этому создается совершенно своеобразное отношение между объяснительным принципом и фактическим материалом, к которому он прилагается. Это освещение *снизу вверх* приводит автора неизбежно к тому, что ранние, начальные, доисторические стадии детского развития освещаются адекватно и убедительно. Самый же ход развития, т. е. процесс отрицания этих начальных стадий и превращения их в стадии развитого мышления, остается необъясненным.

Это не случайно. Все эти факты, вместе взятые, упираются в одну точку, без выяснения которой мы не могли бы с пользой для дела двигаться дальше. *Эта точка лежит в области проблемы значения.*

Как мы видели уже, структурная психология начинает исторический путь с проблемы осмысленности. Но за этой проблемой она видит только примитивную, изначальную осмысленность, равно присущую инстинктивным и интеллектуальным, низшим и высшим, животным и человеческим, историческим и доисторическим формам психологической жизни. С помощью принципа, найденного в полуинстинктивном поведении обезьяны, объясняются процессы развития речи и мышления у ребенка.

Касаясь вопроса о возникновении речи, Коффка воспроизводит известное положение В. Штерна: в начале развития разумной речи стоит величайшее открытие, которое делает ребенок и которое состоит в том, что всякая вещь имеет свое имя. Он принимает аналогию К. Бюлера между этим «величайшим открытием в жизни ребенка» и употреблением орудия у обезьяны. Он говорит вслед за Бюлером, что слово так же входит в структуру вещи, как палка для шимпанзе входит в ситуацию добывания плода.

Так же точно Коффка объясняет и первое обобщение ребенка, которое выражается в том, что раз усвоенное слово ребенок применяет все к новым и новым предметам. «Как нужно понимать эти перенесения?» — спрашивает он. Бюлер вполне справедливо сравнивает

перенесения, наблюдающиеся в период называния, с перенесением у шимпанзе, когда, например, шимпанзе употребляет поля шляпы в качестве палки. Этим определяется направление, в котором надо искать объяснение вопроса.

Если бы эта аналогия между усвоением речи и употреблением палки обезьяной была закономерна, ничего нельзя было бы возразить против всего дальнейшего построения Коффки. Однако при ближайшем рассмотрении она оказывается в корне ложной, а вместе с ней оказываются представленными в ложном свете и все связанные с ней проблемы. Ложность этой аналогии заключается в том, что здесь игнорируется в слове самое существенное — психологический признак, определяющий его психологическую природу. Игнорируется то, без чего слово перестает быть словом, именно *значение слова.*

Правда, Коффка, прилагая структурный принцип к объяснению возникновения речи в детском возрасте, указывает на осмысленный характер этих первых речевых операций у ребенка. Но он ставит знак равенства между значением, которое приобретает палка в наглядной ситуации обезьяны, и значением слова. *Это и представляется нам принципиально незакономерным.*

Ведь значению слова мы обязаны тем, что с его помощью становится впервые возможно отвлеченное мышление в понятиях. Становится возможной та специфически человеческая деятельность, которая невозможна у обезьяны и сущность которой заключается в том, что человек начинает определяться в своем поведении не наглядно воспринимаемым, не структурой зрительного поля, а только мыслями.

Здесь Коффка проглядывает тот диалектический скачок, который совершает развитие при переходе от ощущения к мышлению. Недаром вся проблема мышления оказывается наиболее неразработанной в структурной психологии и построенной почти везде на формальной аналогии со зрительными структурами. Нельзя не согласиться с мнением, которое особенно энергично защищает в последнее время Э. Брунсвик [8] и которое заключается в том, что наиболее трудные проблемы для структурной психологии — это именно проблемы значения. Эта психология растворяет проблему специфического значения слова в общей проблеме неспецифической осмысленности всего поведения. Поэтому фактически столь отчетливо выступающая разница между связанным поведением обезьяны и свободным поведением мыслящего человека остается без принципиального учета.

Повторяем еще раз, что вся парадоксальность положения заключается в том, что Коффка не проходит мимо фактов, он видит все многообразие явлений, не укладывающихся в рамки структурного объяснения, но он везде склонен не придавать принципиаль-

ного значения этому фактическому положению вещей, а благодаря этому факты сами собой выпадают из принципиального объяснения и анализ развития сводится к простому фактическому описанию положения вещей.

Опыты Мишота показали, что само по себе структурное восприятие оказывается более бедным по сравнению с осмысленным восприятием какого-либо наглядного целого. Опыты Зандера показали, как, постепенно нарастая, части какого-либо оптического образа, вдруг достигая минимального смыслового уровня, начинают восприниматься как части целого, имеющего определенное значение. Опыты Ш. Бюлер показали, что структура и смысл в восприятии ребенка возникают из двух совершенно различных корней.

Правда, Коффка считает эти опыты недостаточно убедительными. Однако факты заключаются в том, что, как говорит Бюлер, все дети без исключения, которые оказались способными к пониманию смысловой стороны рисунка, были детьми, уже овладевшими номинативной функцией речи, и только один ребенок из всех, уже имевший понимание речи, еще не указал рисунка. Отсюда следует, говорит автор, что *смысл и структура развиваются из двух совершенно различных корней*. Недавние опыты Гецер и Вигемайера показали также, что, только когда ребенок овладел сигнификативной функцией речи, у него возникает смысловое восприятие рисунка.

Нельзя не согласиться с Брунсвиком, что значения могут в высокой степени определять структурные процессы и настолько тесно сплетаться с ними, что превращаются наконец в органические части единого осмысленного восприятия. Здесь, говорит он с полным основанием, объяснительная возможность структурной теории, по-видимому, находит свою предельную границу.

Замечательно, что и сам Келер в одной из недавних работ так же строго различает цель и значение. Последнее он рассматривает как возникающее эмпирическим путем и оставляет пока открытым вопрос, имеют ли место в этом процессе возникновения значений функциональные принципы структурной теории и каким образом они здесь действуют. Эта наиболее осторожная постановка вопроса оставляет, в сущности, нерешенным основной вопрос об истории развития понятий, отвлеченного мышления, абстракции, т. е. процессов, стоящих в центре всего психологического развития ребенка. Но вместе с тем такая постановка вопроса представляется нам более осторожной, чем простая игра аналогиями, которая в процессах отвлеченного мышления не видит ничего принципиально иного, кроме тех же самых структур, с которыми мы знакомы из области наглядного мышления. При последнем решении вопроса остается совершенно неудовлетворительно объясненным то положение, что принципиально одинаковые структурные процессы у обезьяны и человека приводят на деле к принципиально различным формам отношения к действительности, на которые указывает сам Келер

и которые настолько немаловажны, что с ними непосредственно связывается самая возможность культурного, т. е. специфически человеческого развития психики.

Остановимся еще кратко на проблеме значения, поскольку *она представляет собой ключ ко всем дальнейшим вопросам.*

Как мы видели уже, Коффка растворяет проблему значения в общей структурности и осмысленности всякого психического процесса. Фактически оно [значение. — *Ред.*] представляет собой особый элемент структуры; принципиально же оно не может быть выделено из общей массы структурно оформленных процессов.

С этой проблемой непосредственно сталкивается Келер в своей последней систематической работе. Он исходит из правильного положения, что в непосредственном опыте мы всегда имеем дело с осмысленным восприятием. Как он правильно говорит, если мы утверждаем, что мы *видим* перед собой книгу, можно возразить, что никто *не может видеть книгу,* и поэтому он предлагает строго различать ощущение и восприятие. По его словам, мы не можем *видеть* книгу, поскольку это слово включает знание об известном классе предметов, к которому принадлежит данный. Задачу психологов Келер видит в том, чтобы отделить эти значения от видимого материала как такового. Говоря в общей форме, сенсорные процессы как таковые вообще не могут нам представить никаких предметов. Объекты не могут возникнуть прежде, нежели сенсорный опыт непосредственно сольется вместе со значениями.

Нам думается, что во всей разработке этой проблемы, разработке, идущей по идеалистической линии, Келер безусловно прав только в одном — и это должно быть отмечено с самого начала. Он прав в том, что возражает против теории, пытающейся представить значение как нечто первичное по отношению к сенсорной организации воспринимаемых структур. С полной убедительностью он доказывает, что значения не являются таким первичным моментом, что они возникают в процессе индивидуального развития намного позже, что структурное восприятие является первичным, независимым и более примитивным, чем значение, образованием. В этом Келер безусловно прав.

Однако нетрудно показать, в чем заключаются его самые существенные ошибки. Если бы мы даже не имели значений воспринимаемых предметов, утверждает он, они все же продолжали бы нами восприниматься как известные организованные и изолированные единства. Когда я вижу зеленый предмет, я могу непосредственно назвать его цвет. После я могу узнать, что этот цвет употребляется в качестве железнодорожного сигнала и символа надежды. Но я не думаю, чтобы зеленый цвет как таковой мог быть объяснен этими значениями. Он существует первоначально независимо и приобретает лишь впоследствии определенные вторичные свойства, которые

присоединяются к нему. Все организованные сенсорные единства существуют первично по отношению к значениям. Именно эту концепцию защищает структурная психология.

Но стоит вспомнить только опыты самого Келера, приводимые Коффкой с дрессировкой животных на восприятие оттенков серого цвета, для того чтобы увидеть, что восприятие как таковое не является, конечно, абсолютно независимым от значения. По-видимому, только с возникновением значения ребенок начинает воспринимать абсолютное качество цвета, независимо от того, какой цвет лежит рядом с ним. Таким образом, то слияние значений с сенсорными структурами, о котором говорит Келер, не может не изменить и самую сенсорную организацию воспринимаемых предметов.

Для Келера очевидно, что наше знание о практическом обращении с вещами не определяет их существования как изолированных целых. Но стоит только вспомнить его собственные опыты с обезьяной, которая перестает узнавать ящик в другой ситуации, чтобы увидеть, что такое изолированное существование вещей невозможно вне определенного предметного значения этих вещей. Именно благодаря возникновению смысловой структуры возникает то предметное постоянство, которое самым существенным образом отличает отношение к действительности животного и человека.

Становясь на эту точку зрения, Келер сам вынужден вступить в резкое противоречие со структурным принципом, когда он указывает на то, что изолированное существование сенсорных структур независимо от значения. Как в физике, говорит он, молекула может быть выделена в качества функционального единства, так определенные целые являются динамически изолированными в сенсорном поле.

Как известно, структурная психология начала с того, что пыталась разбить атомистическую теорию в психологии. Очевидно, она это сделала только для того, чтобы поставить на место атома молекулу, ибо, если встать на точку зрения Келера, необходимо допустить, что воспринимаемая действительность состоит из ряда отдельных изолированных молекул, которые не зависят от их смыслового значения.

В другом месте Келер прямо говорит, что, если формы существуют изначально, они уже легко могут приобрести значение. Целое со всеми его формальными свойствами дано наперед, и тогда значение как бы входит в него. Ничего нового, следовательно, в значении нет. Оно не приносит с собой ничего такого, что не содержалось бы уже в изначально данной форме. Не удивительно после этого, что Келер рассматривает происхождение значений в основном как процесс репродукции, т. е. как процесс ассоциативный по существу.

Замечательным является тот факт, что *структурная психология начала с критики опытов с бессмысленными слогами, а пришла к теории бессмысленного восприятия.* Начала с борьбы против ассоциа-

низма, а кончает триумфом этого принципа, так как с помощью принципа ассоциации пытается объяснить все специфически человеческое в психической жизни. Ведь Келер сам признает, что именно наличие значений отличает восприятие человека от восприятия животного. Если же оно обязано своим происхождением ассоциативным процессам, следовательно, эти процессы лежат в основе всех специфически человеческих форм деятельности. Значение просто припоминается, репродуцируется, ассоциативно воспроизводится.

Здесь Келер сам изменяет структурному принципу и целиком возвращается к той теории значений, против которой он боролся вначале. Так, утверждает Келер, обстоит дело, если рассматривать вопрос в принципе. Но в реальности наши восприятия и значения оказываются неразделимо слитыми. Таким образом, принцип и реальность расходятся. Структурная психология приобретает аналитически абстрактный характер, далеко уводящий нас от непосредственного, живого, наивного и осмысленного переживания, с которым мы фактически сталкиваемся в непосредственном опыте.

Между тем сам Келер знает, что от такого слияния со значением у нормального взрослого человека не может быть свободно ничто. Он знает и то, что содержится верного в идеалистической формуле И. Криса [4] — ярко идеалистической формуле,— которая гласит, что значения *превращают ощущения в вещи*, что, следовательно, возникновение предметного сознания непосредственно связано со значениями. Он знает и то, что значение, поскольку оно связано с наглядной ситуацией, кажется локализованным в зрительном поле. И вместе с тем он становится на ту же самую позицию, что и Коффка, т. е., доказывая первичность, изначальность и примитивность структуры по сравнению со значениями, тем самым полагает, что утверждает ее главенство, ее доминирующее значение над ним.

Между тем дело обстоит как раз обратным образом. Именно потому, что структура является чем-то примитивным и изначальным, она не может быть определяющим моментом для объяснения специфически человеческих форм деятельности. Когда Келер говорит, что любое зрительное восприятие организуется в определенную структуру, он совершенно прав. В качестве примера он приводит структуры созвездий. Но этот пример, думается нам, говорит против него. Кассиопея, конечно, может служить примером такой структуры. Однако небо для астронома, который соединяет непосредственно воспринимаемое со значениями, и небо для человека, не знающего астрономии, конечно, представляется структурами совершенно различного порядка.

Поскольку мы затронули здесь вопрос центрального значения, мы не можем не высказать общего взгляда на историю развития детского восприятия для того, чтобы противопоставить его точке зрения Коффки. Нам думается, что этот взгляд может быть лучше всего выражен с помощью простого сравнения. Сравним, как вос-

принимают шахматную доску с расставленными на ней фигурами разные люди: человек, не умеющий играть в шахматы, человек, только что начинающий играть, средний и выдающийся шахматисты. Можно с уверенностью сказать, что все эти четыре человека видят шахматную доску совершенно по-разному. Не умеющий играть в шахматы будет воспринимать структуру фигур с точки зрения их внешних признаков. Значение фигур, их взаимное расположение и отношение друг к другу совершенно выпадают из поля его зрения. Та же самая доска предстанет в совершенно другой структуре человеку, который знает значения фигур и их ходы. Для него одни части доски станут фоном, другие выделятся в качестве фигуры. Иначе будет видеть средний и снова по-иному — выдающийся шахматист.

Нечто в этом роде происходит и в процессе развития восприятий ребенка. Значение приводит к возникновению осмысленной картины мира. И так точно, как один из шахматистов, исследованных Бице, сообщил ему, что он воспринимает ладью как прямую силу, а слона — как косую силу, и ребенок начинает воспринимать вещи не иначе, как в их осмысленности, внося элементы мышления в свои непосредственные восприятия.

Если сравнить с этим то, что мы читаем в книге Коффки относительно восприятий, нельзя не видеть, с какой силой Коффка пытается защитить противоположный, чисто натуралистический взгляд на историю развития детского восприятия. В зависимости от этого вся история развития восприятия выстраивается для него в один стройный ряд, начинающийся восприятием цветов и заканчивающийся категориями, в которых мы воспринимаем и осмысливаем действительность.

Мы рассмотрим только эти две крайние точки для того, чтобы составить себе понятие о пути, которым идет здесь Коффка, и о том, почему этот путь неправильный.

К. Коффка возражает против опытов Э. Петерса относительно определяющей роли, которую играет возникновение понятия цвета в структуре восприятия цветов. Он, однако, должен в последнем издании вернуться к этому вопросу и пересмотреть его. Петерс на основе своих экспериментов ставит вопрос, несомненно, правильно. Он показывает, что развитие восприятий цветов у старших детей не является просто эволюцией врожденных чувственных функций или их морфологического субстрата. По его словам, они основаны на образующихся в чувственной сфере так называемых высших интеллектуальных процессах восприятия, репродукции, мышления. Восприятие определяется только лишь чувственным ощущением. Знание названия цвета может оказаться сильнее сенсорных компонентов. Одинаковые названия заставляют ребенка относить цвета к одинаковой категории.

К. Коффка, как уже сказано, первоначально резко возражал

против этой теории вербально-перцепторного развития цветового восприятия. Он говорит, что Петерс действительно показал влияние на восприятия и сравнения цветов со стороны названий, но мы должны под восприятием и сравнением понимать не те или иные процессы высшего порядка, которые присоединяются к низшим неизменяющимся чувственным процессам, а структурные процессы, которые определяют сами качество своих членов и ощущений.

Но после появления работы А. Гельба и К. Гольдштейна об амнезии на названия цветов Коффка считает приведенную здесь интерпретацию опытов Петерса недостаточной. По Гельбу и Гольдштейну речь специфически влияет на восприятие, которое они называют категориальным поведением. В категориальном поведении, например, какой-либо цвет, освобождаясь из наглядно данного соединения, воспринимается только как представитель определенной цветовой категории, например как представитель красного, желтого, синего и т. д. Здесь речь идет не о простом соединении цвета и названия.

К. Коффка только в отдельных местах своей книги — как в только что приведенном — делает уступку, признавая специфическое влияние речи на восприятие. На самом деле он везде остается на почве бесструктурности, когда допускает, что речь возникает как особый тип структуры *наряду* с другими структурами, ничего не изменяя в процессах самого восприятия. Так, он склонен — вслед за К. Бюлером — принять, что структурное постоянство восприятия образует параллель к нашим понятиям. Следовательно, он становится на ту точку зрения, что предметное постоянство, которого, как мы видели, нет у животных, и постоянство восприятия формы, которым обладают животные, с принципиальной точки зрения могут быть уравнены.

Обсуждая категории, возникающие в восприятии и мышлении (предметность, качество, действие), Коффка приходит к выводу, что и они возникают как простые структуры, в принципе ничем не отличающиеся от примитивных структур. Однако наши опыты показали, что эти стадии восприятия рисунка для ребенка существенно меняются в зависимости от того, передает ли он содержание рисунка с помощью речи или драматически раскрывает то, что изображено на картине.

В то время как в первом случае он обнаруживает явные симптомы стадии предметности, т. е. перечисляет отдельные нарисованные на картинке предметы, во втором случае он передает содержание в целом, т. е. раскрывает то событие, которое на картине изображено. Нам думается, что в этом нельзя не видеть прямого доказательства специфического влияния речи на восприятие, которое, по-видимому, находит свое отражение и в истории детского рисунка, на которую ссылается сам Коффка.

В самом деле, если Ш. Бюлер показала, что ребенок воспринимает структуру и осмысленный рисунок по-разному, то Г. Фолькельту[5] удалось показать, что ребенок сам рисует бессмысленную форму принципиально иначе, чем осмысленный предмет. Осмысленный предмет ребенок рисует схематически, переводя слова в рисунок. Между изображаемой вещью и самим изображением вдвигается слово с определенным значением предмета. При передаче непосредственно ощупываемой или воспринимаемой бессмысленной формы ребенок идет совершенно другим путем, передавая непосредственное ощущение этой формы.

Все это, вместе взятое, думается нам, не случайно. Оно показывает, говоря словами Гельба, что в то время, как для животного существует только окружение (Umwelt), для человека возникает представление о мире (Welt). История возникновения этого представления о мире имеет своим началом человеческую практику и возникающие в ней значения и понятия, свободные от непосредственного восприятия предмета.

Поэтому правильное решение проблемы значения определяет и все последующее. Как показывает современная зоопсихология, для животного действительно не существует мира. Раздражения окружающей среды образуют прочную стену, отделяющую животное от мира, и замыкают его как бы в каменные стены собственного дома, скрывающие от него весь остальной, чуждый для него мир. Принципиально иное имеем мы в отношении ребенка.

Уже самое первое название, как правило, говорит Коффка, является для ребенка свойством называемой вещи. Но возникновение этого нового свойства вещи едва ли может оставить без изменения и самую структуру вещи как она существовала до возникновения этого нового свойства. Самое первое название уже включает в себя совершенно новый процесс, именно процесс обобщения, а, как известно, в самом простом обобщении содержится зигзагообразный процесс абстракции, отлета от действительности, «кусочек фантазии» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330).

У. Джемс справедливо говорит, что одно из психологических отличий животного от человека — отсутствие воображения. Они навек порабощены рутиной, говорит Джемс о животных, мышлением, почти не возвышающимся над конкретными фактами. Если бы самое прозаическое человеческое существо могло переселиться в душу собаки, то оно пришло бы в ужас от царящего там полного отсутствия воображения. Мысль стала бы вызывать в его уме не сходные, а смежные с нею побочные мысли. Закат солнца напоминал бы ему не о смерти героев, а о том, что пора ужинать. Вот почему человек есть единственное, способное к метафизическим умозрениям животное. Для того чтобы удивляться, почему Вселенная такова, как она есть, нужно иметь понятие о том, что она могла бы быть иной, чем она есть. Животное, для которого немыслимо свести

действительное к возможному, отвлекши в воображении от действительного факта его обычные реальные следствия, никогда не может образовать в своем уме это понятие. Оно принимает мир просто за нечто данное и никогда не относится к нему с удивлением, заключает Джемс.

Тот мысленный эксперимент, который предлагает проделать Джемс, переселившись в душу собаки, в сущности теоретически проделывает Коффка, применяя ко всему развитию ребенка принцип, найденный им в поведении обезьяны. Не удивительно поэтому, что самая сущность идеаторного обучения, которое покоится, по словам Коффки, на освобождении нас из непосредственной власти действительности и дает в наши руки власть над этой действительностью, противоречит основному принципу самого Коффки.

9

Преодоление односторонности структурной точки зрения в данном случае означает не возвращение назад к бесструктурному, атомистическому, хаотическому сцеплению отдельных элементов. Структурный принцип остается как великое, незыблемое завоевание теоретической мысли, и, критикуя его приложение к объяснению детского развития, мы не хотим сказать, что верен противоположный принцип, из отрицания которого исходит Коффка. Нам нужно вернуться не назад — к доструктурному, а пойти вперед от структурного принципа, опираясь на него.

Структурный принцип оказывается не то чтобы неправильным в приложении к фактам детского развития, но недостаточным, условным, ограниченным, ибо он раскрывает в детском развитии только то, что не является специфическим для человека, что является общим для человека и животного. И поэтому основная методологическая ошибка в применении этого принципа к детской психологии заключается не в его неверности, но в том, что он слишком универсален, а поэтому недостаточен для того, чтобы вскрыть отличительные и специфические особенности человеческого развития как такового.

Как мы неоднократно старались показать, везде, где автор оказывается несостоятельным, он вступает в противоречие с последовательным проведением собственного же принципа. Самая сущность структурного принципа заставляет нас предполагать, что возникающие в процессе развития ребенка новые структуры не оказываются плавающими поверху, не сливающимися и изолированными по отношению к примитивным, изначальным, существующим до начала развития образованиями.

Существеннейшее расхождение, которое намечается в применении этого принципа, сводится лишь к тому, чтобы *искать новый принцип не вне структурности, а внутри самой структурности,*

ибо если восприятие курицы и действия математика, представляющие совершенный образец человеческого мышления, *одинаково структурны*, то очевидно, что самый принцип, который не позволяет выделить различие, оказывается недостаточно расчлененным, недостаточно динамическим для того, чтобы выявить то новое, что возникает в ходе и в процессе самого развития.

Структурный принцип, как мы уже говорили, сохраняется в снятом виде и на всем протяжении детского развития. Задача нашего критического исследования заключается не в том, чтобы отвергнуть этот принцип или заменить его противоположным, но в том, чтобы отвергнуть его универсальное и нерасчлененное приложение. Он именно потому не специфичен и антиисторичен, что приложим в одинаковой мере к инстинкту и к математическому мышлению. Надо искать то, что поднимает психологическое развитие ребенка над структурным принципом. Надо идти к психологии высших, специфических для человека исторических основ психологического развития.

В этом деле снова истина структурного принципа должна помочь нам в преодолении его заблуждений.

10

Нам остается сейчас только несколько обобщить и собрать воедино замечания, которые были сделаны раньше. Нам остается рассмотреть общие определения проблемы развития, с которыми мы встречаемся у Коффки. Как уже видно из сказанного, главнейший методологический недостаток в решении этой проблемы заключается в том, что на основной вопрос, с которого мы начали наше критическое рассмотрение, структурный принцип Коффки дает неудовлетворительный ответ.

Мы вспоминаем, что он начал с вопроса, как возможны новообразования в ходе психологического развития. Это действительно пробный камень для всякой теории, пытающейся объяснить развитие. И самым существенным результатом нашего исследования является положение, что именно новообразования оказываются невозможными с той точки зрения, которую применяет Коффка. Мы старались показать — и сейчас нет надобности повторять это снова в сколько-нибудь распространенной форме,— что применение структурного принципа означает приведение детской и животной психологии к одному знаменателю, стирание границ между историческим и биологическим, следовательно, по существу означает отказ от признания новообразований.

Если структура дана изначально в сознании младенца, если все возникающее в дальнейшем ходе развития оказывается не чем иным, как только новыми фактическими вариациями на изначально

структурную тему,— это и означает, что в ходе развития не возникает ничего принципиально нового, что с самого начала данный принцип путем простого размножения порождает из себя различные с фактической стороны, но принципиально тождественные по психологической природе структуры.

Как же ставит Коффка вопрос о развитии?

Как легко увидит читатель, Коффка различает две основные формы развития. Он расчленяет этот процесс, различая развитие как созревание и развитие как обучение. Правда, он неоднократно останавливается на взаимном влиянии и взаимной зависимости, которая существует между этими двумя слагаемыми. Однако везде эта взаимная зависимость созревания и обучения выступает у Коффки в плане фактического констатирования положения вещей, но нигде мы не находим принципиального решения вопроса о том, как в ходе развития ребенка должны мы понимать обе эти стороны единого процесса развития.

По существу, единый процесс развития при этом раскалывается на два процесса, и с принципиальной стороны мы встречаемся у Коффки с дуалистическим подходом к детскому развитию. В этом взаимном влиянии созревания и обучения ничто не оказывается доминирующим и главенствующим, ведущим и определяющим. Оба процесса участвуют на равных началах, на равных правах в истории возникновения детского сознания. Правда, и здесь с фактической стороны Коффка отмечает неоднократно, что большее значение принадлежит всегда образованиям, возникающим из обучения. Но снова это фактическое положение вещей не превращается в принципиальное освещение фактов.

Что сам по себе принцип созревания является основой натуралистической теории детского развития, едва ли требует особых доказательств. Поэтому рассмотрим вторую сторону дела, именно проблему обучения. Замечателен тот факт, что, посвящая книгу учителям, Коффка вместе с тем рассматривает обучение только в ранних стадиях детского развития, т. е. в тех формах, в каких оно встречается до школы. Он неоднократно говорит, что в чистом виде значение развития мы сумеем определить тогда, когда возьмем его в наиболее примитивных проявлениях. Но эта попытка объяснить высшее из примитивного и означает тот путь *снизу вверх*, о котором мы говорили выше как об одном из центральных недостатков всей теории Коффки.

В книге Коффки, по его словам, «речь идет главным образом о детях дошкольного возраста. На первый взгляд это может показаться недостаточно интересным для учителя, но он хотел показать, что проблема развития, с которой учитель имеет дело в школе, возникает в психике человека уже в начале жизни, и поставил своей целью подробно исследовать начало развития. Если бы удалось с помощью наиболее важных фактов дать научное объяснение

тому, что представляет собой обучение очень маленьких детей, учитель мог бы применить его к пониманию и организации учебного процесса. Но определение сущности обучения во многих отношениях облегчается, если обратиться к примитивнейшим формам и исследовать первоначальные формы обучения» (1934, с. 3—4).

Тот факт, что Коффка ставит своей задачей исследовать *начало развития* в его самых примитивных формах, не случайность. Мы видели, что по самой методологической природе его объяснительного принципа *только начало развития*, только исходные его моменты могут быть адекватно представлены в свете его основной идеи. Недаром поэтому структурная психология до сих пор не разработала (и едва ли сможет разработать, не изменив кардинально своей основной установки) теории мышления. Не случайно и то, что лучшей главой во всей работе Коффки оказывается глава о сознании младенца. Только здесь структурный принцип одерживает высшие победы, здесь он торжествует высшие теоретические триумфы.

Мы очень далеки от мысли отрицать значение начальных стадий развития. Мы склонны, напротив, видеть первостепенное значение работы Коффки в том, что он стирает резкую грань между обучением школьным и обучением, которое имеет место в дошкольном возрасте. Мы не можем, далее, не видеть, что концепция Коффки относительно связи обучения с развитием ставит по-новому — революционно — самое учение о развитии.

В самом деле, мы говорили прежде о борьбе идей структурной психологии с идеями Э. Торндайка в области животной психологии. Для правильного понимания значения работы Коффки и ее недостатков необходимо перенести эту борьбу в плоскость педагогической психологии, чтобы увидеть все то новое, что структурная психология с собой принесла.

Как известно, Торндайк, логически развивая идеи, лежащие в основе его зоологических экспериментов, пришел к совершенно определенной теории обучения, которую книга Коффки ниспровергает со всей решительностью, тем самым освобождая нас из-под власти ложных и предвзятых идей. Вопрос, который является здесь решающим,— это старый вопрос о «формальной дисциплине». Вопрос о том, насколько частичные реакции, ежедневно производимые учениками, развивают их умственные способности в целом, говорит Торндайк, есть вопрос об общем воспитательном значении предметов преподавания, или, короче говоря, вопрос о формальной дисциплине. Насколько, например, спрашивает Торндайк, привычка к точному счету может повлиять на аккуратное ведение счетов, на взвешивание и отмеривание, на умение рассказывать анекдоты, на суждения о характере друзей? Насколько может привычка осмысленно доказывать геометрическую теорему, вместо того чтобы решить ее догадкой или заучить наизусть, повлиять на умение логи-

чески и сознательно относиться к политической аргументации, или разобраться в выборе религиозного исповедания, или же на правильное разрешение вопроса, нужно ли жениться или нет?

Уже в анекдотической форме такой постановки вопроса выражается со всей ясностью отрицательное решение проблемы, которую дает Торндайк. В то время как обычный ответ заключается в признании того, что частичное приобретение каждой специальной формы развития непосредственно и равномерно совершенствует общее умение, Торндайк дает ответ прямо противоположный. Он указывает, что умственные способности развиваются лишь в меру того, в меру чего они подвергаются специальному обучению на определенном материале. Ссылаясь на ряд экспериментов, произведенных над самыми элементарными и примитивными функциями, Торндайк показывает, что специализация способностей еще более велика, чем то кажется при поверхностном наблюдении. Он полагает, что специальное обучение имеет особое действие и может оказывать влияние на общее развитие лишь постольку, поскольку в процесс обучения включаются тождественные элементы, тождественный материал, тождественный характер самой операции.

Он, однако, отказывается верить в то, что предметы обучения сами по себе каким-то таинственным образом развивают сознание в его целом. Каждая отдельная работа, говорит он, вносит свою кроху в общий запас. Ум и характер укрепляются не путем какой-нибудь легкой, тонкой метаморфозы, но путем выработки известных частных идей и действий под влиянием закона привычки. Нет иного средства научиться самообладанию, как владеть собой сегодня, завтра и все дни в каждом незначительном конфликте. Никто не становится правдивым иначе, как говоря правду, и добросовестным иначе, как выполняя всякое принятое на себя обязательство. Ценность дисциплинированного ума и воли — это непрестанная бдительность к образованию привычки.

Привычка, по мысли Торндайка, управляет нами. Развивать сознание — значит развивать множество частичных, независимых друг от друга способностей, образовывать множество частичных привычек, ибо деятельность каждой способности зависит от того материала, с которым эта способность оперирует. Усовершенствование одной функции сознания или одной стороны его деятельности может повлиять на развитие другой, только поскольку существуют элементы, общие той и другой функции или деятельности.

От этой механистической точки зрения на процессы обучения освобождает нас теория Коффки. Он показывает, что обучение никогда не является специфическим, что образование структуры в одной какой-нибудь области неизбежно приводит к облегчению развития структурных функций и в других областях. Однако Коффка сохраняет всецело положение Торндайка, согласно которому обучение и есть развитие. Вся разница заключается только

в том, что Торндайк сводит обучение к образованию привычки, Коффка — к образованию структуры.

Но мысль о том, что процессы обучения вообще стоят в ином и гораздо более сложном отношении к процессам развития, что развитие имеет внутренний характер, что это есть единый процесс, в котором влияния созревания и обучения сливаются воедино, что этот процесс имеет внутренние законы самодвижения,— эта мысль остается одинаково далекой от обеих теорий.

Не удивительно поэтому, что Коффка обходит в обучении все те вопросы, которые связаны с возникновением специфически человеческих свойств сознания. Освобождение от действительности, говорит он, так, как оно возможно и доступно нашему мышлению, есть специфическое достижение нашей культуры.

Однако весь структурный принцип направлен на то, чтобы показать не этот путь к освобождению от непосредственного восприятия действительности, а путь, позволяющий увидеть зависимость каждого нашего шага от наглядных структур, в которых воспринимается действительность.

11

Есть две проблемы, которые могут служить пробным камнем для правильной оценки положений Коффки. Первая — это проблема игры, и вторая, связанная с ней,— проблема особого мира, в котором живет ребенок.

Игра потому является пробным камнем для структурной теории, что для игры как раз и характерно начало идеаторного поведения. Игровая деятельность ребенка протекает вне реального восприятия — в мнимой ситуации. В этом смысле Коффка совершенно прав, когда он требует пересмотра теории К. Грооса относительно значения игры и указывает на то, что игры в собственном смысле слова нет ни у животного, ни у ребенка раннего возраста. Здесь психологическое чутье помогает ему правильно видеть факты и истинные границы между ними. Но снова отрицание теории Грооса происходит у Коффки не по принципиальным соображениям. Он отвергает эту теорию не за ее натуралистический характер, а пытается заменить ее другой, столь же натуралистической теорией.

Не удивительно поэтому, что Коффка приходит в конце концов к странным и неожиданным выводам, стоящим, казалось бы, в противоречии с его собственными исходными позициями. Он сам с полной справедливостью отвергает мнение Ж. Пиаже относительно *мистического* характера детских объяснений и указывает на тенденцию ребенка к натуралистическому объяснению, стоящему в непосредственной связи с реализмом ребенка. Он правильно показывает, далее, что детский эгоцентризм носит функциональный, а не феноменальный характер. Но вместе с тем он — в резком противоречии с этим — устанавливает, что положение Л. Леви-

Брюля о мистическом характере примитивного восприятия может быть отнесено и к восприятиям ребенка. Он склонен утверждать, что и религиозные переживания оказываются внутренне близкими структуре детского мира.

Существует одна область, говорит он, которую дети перенимают от взрослых и которая внутренне близка детскому миру: он имеет в виду религию.

Как известно, основная мысль Коффки заключается в том, что для ребенка существуют два мира — мир взрослых и собственный мир ребенка. То, что ребенок заимствует из мира взрослых, должно находиться во внутреннем родстве с его собственным миром. Религия и связанные с ней переживания и оказываются таким элементом мира взрослых, который ребенок принимает в свой внутренний мир.

Эту же теорию Коффка пытается применить и к детской игре, объясняя обращение ребенка с игрушкой. Тот факт, что ребенок может играть с куском дерева, обращаясь с ним как с живым предметом, и через некоторое время, если его отвлечь от этого занятия, может его сломать или бросить в огонь, объясняется тем, что этот кусок дерева входит в две различные структуры. Во внутреннем мире ребенка этот кусок дерева оказывается одушевленным предметом, в мире взрослых это просто кусок дерева. Два разных способа обращения с одним и тем же предметом возникают из того, что он входит в две различные структуры.

Трудно представить себе большее насилие над фактами, чем подобного рода теория детской игры. Ведь самым существом детской игры является создание мнимой ситуации, т. е. известного смыслового поля, которое видоизменяет все поведение ребенка, заставляя его определяться в своих действиях и поступках только мнимой, только мыслимой, но не видимой ситуацией. Содержание этих мнимых ситуаций всегда указывает на то, что они возникают из мира взрослых.

Мы уже однажды имели случай подробно останавливаться на этой теории двух миров — детского мира и мира взрослых — и возникающей отсюда теории двух душ, сосуществующих одновременно в сознании ребенка. Мы сейчас укажем только на то, что означает эта теория для общей концепции развития, излагаемой Коффкой.

Нам думается, что благодаря такой концепции самое развитие ребенка представляется у Коффки как механическое вытеснение миром взрослых детского мира. Такое понимание с неизбежностью приводит к выводу, что ребенок врастает в мир взрослых, будучи враждебен ему, что ребенок формируется сам в своем мире, что структуры из мира взрослых просто вытесняют детские структуры и становятся на их место. Развитие превращается в процесс вытеснения и замены, который нам так хорошо известен из теории Пиаже.

12

В зависимости от этого весь характер детского развития приобретает чрезвычайно странные черты, на которых мы должны остановиться в заключение.

Первоначально для ребенка существуют структуры очень ограниченного размера. Коффка думает, что мы лучше всего психологически поймем игру, если будем рассматривать действия ребенка с точки зрения величины структуры явлений, в которые они входят для ребенка. Тогда обнаруживается начальный период, когда ребенок вообще не может создавать больших временных структур, которые бы превосходили непосредственно выполняемые действия.

Здесь, следовательно, как утверждает Коффка, все одиночные комплексы действий независимы один от другого, равноправны и равноценны. Но постепенно ребенок начинает создавать и временные структуры, и теперь характерно, что эти различные структуры остаются рядом, не оказывая особого влияния друг на друга. Относительная независимость различных структур между собой распространяется не только на эти две большие группы детского мира и мира взрослых, но она действительна и для отдельных зависимостей внутри каждого из них.

Достаточно привести это описание для того, чтобы увидеть, до какой степени бесструктурно представляет Коффка процесс детского развития. Вначале имеют место отдельные молекулы-структуры, независимые друг от друга, существующие рядом друг с другом. Развитие заключается в том, что изменяются размеры или величина этих структур. Таким образом, снова в начале развития стоит хаос неупорядоченных молекул, из которых потом путем объединения возникает целостное отношение к действительности.

Удивительная вещь. Мы выше видели, как В. Келер, разбив атомизм наголову, утвердил на месте атома независимую и изолированную молекулу. То же самое видим мы сейчас. Отрывочность первоначальных структур и нарастание величины этих структур — вот два определяющих момента, которые рисуют процесс развития ребенка в представлении Коффки. Но этим только сказано,что на место отдельных элементарных действий, с которыми имел дело Торндайк, ставятся более сложные комплексы переживаний или структуры, т. е. изменяется единица, она укрупняется, на место атома ставится молекула, но ход развития остается тем же.

Снова мы видим, как Коффка вступает в противоречие со структурным принципом, изменяет ему и как, в сущности, бесструктурно выглядят процессы развития в его изображении. Это верно, это доказано непреложно: все возникает и растет из структуры, но *как* растет? Оказывается, путем увеличения размеров этих структур и путем преодоления отрывочности, существующей с самого начала. Начальный пункт развития, как уже сказано, оказывается высшим

триумфом структурной психологии. Начало развития доминирует над всем дальнейшим путем. Высшие формы развития остаются закрытой книгой для этой психологии.

Поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, с которым мы столкнемся сейчас в заключение нашего исследования как с основным его результатом.

Мы видели, что преодоление механицизма достигается у Коффки путем введения интеллектуалистического принципа. Коффка преодолевает механицизм уступками витализму, признавая, что структура изначальна, а витализм — уступками механицизму, ибо механицизм, как мы видели, означает не только сведение человека к машине, но и человека к животному. Именем Вельзевула он изгоняет дьявола, а именем дьявола — Вельзевула.

Развитие выступает в его исследовании не как самодвижение, а как смена и вытеснение. Развитие выступает не как единый процесс, а как двойственный процесс, складывающийся из созревания и обучения. Самое обучение, ведущее к развитию, объясняется чисто интеллектуалистически. Если для эмпириков обучение составляло запоминание и образование привычки, то для Коффки, как он это не устает повторять, обучение означает решение проблемы, интеллектуальное действие. Интеллектуальное действие шимпанзе для него — ключ ко всему обучению и развитию человеческого ребенка. Развитие представляется как решение ряда задач, как ряд мыслительных операций, т. е. перед нами чистый интеллектуализм, который Коффка пытается деинтеллектуализировать тем, что тот же принцип он находит и в доинтеллектуальных, примитивных, инстинктивных реакциях.

Но если распутать, как мы пытались сделать выше, этот скрытый интеллектуализм, который приводит к тому, что светом интеллекта освещается инстинкт, а ключом инстинкта открывается интеллект, то едва ли могут остаться сомнения в том, что перед нами одновременно и психовиталистическое и механистическое построение.

К. Коффка, зная, как мы уже сказали выше, несостоятельность той и другой теории, занимает среднюю точку на полпути между ними, думая, что он спасается от обеих. Но, как мы видели, разорванность структур в конце концов противоречит заключительному аккорду всей его книги, который гласит, что сущность психологического развития представляется нам в этой книге не как объединение отдельных элементов, а как образование и усовершенствование структур.

Как мы видели, отрывочность структур стоит в начале развития, и эти структуры-молекулы объединяются в общую структуру. Эта концепция развития в конце концов сводится к пониманию развития как модификации, реализации и комбинации врожденных структур. Структура изначальна, а ее движение Коффка объясняет

как нарастание четкости, длительности, расчлененности структур, т. е. вмещает развитие в категорию «больше и меньше».

Поэтому наше исследование приводит нас к выводу, что на вопрос о том, годится ли структура как общий принцип психологического развития, может быть дан только отрицательный ответ. Опираясь на структурный принцип, следует преодолеть его ограниченность; следует показать, что в той мере, где он действительно доказывает, его доказательства охватывают лишь неспецифическое, отодвинутое в ходе развития на второй план, доисторическое в человеческом ребенке. Там, где Коффка пытается осветить структурным принципом фактический ход детского развития, он прибегает к формальным аналогиям, приводя все к общему знаменателю структурности и освещая, в сущности, по его собственному признанию, *только начало развития*.

Поэтому надо искать возникновение и развитие высших, специфических для человека, свойств сознания, и в первую очередь той осмысленности человеческого сознания, которая возникает вместе со словом и понятием, через слово и через понятие,— иными словами, *надо искать историческую концепцию детской психологии*.

Не трудно видеть, что на этом пути нам не миновать структурной психологии, хотя в ней отсутствует развитие как таковое: ибо все описание детского развития в книге Коффки показывает нам, что — по французской пословице — чем больше все это меняется, тем больше остается тем же самым, т. е. все той же структурой, которая существует изначально. Тем не менее структурный принцип оказывается исторически более прогрессивным, чем те понятия, которые он в ходе развития нашей науки заменил. Поэтому на пути к исторической концепции детской психологии мы должны диалектически отрицать структурный принцип, что означает одновременно: сохранить и преодолеть его.

Мы должны пытаться *по-новому* решить проблему осмысленности человеческого сознания, которая только по имени напоминает осмысленность, с которой начинает и которой кончает структурная психология, как, по выражению Спинозы, созвездие Пса напоминает собаку, лающее животное.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Методологическое исследование[1]

Камень, который презрели строители,
стал во главу угла...

1

В последнее время все чаще раздаются голоса, выдвигающие проблему общей психологии как проблему первостепенной важности. Мнение это, что самое замечательное, исходит не от философов, для которых обобщение сделалось профессиональной привычкой; даже не от теоретиков-психологов, но от психологов-практиков, разрабатывающих специальные области прикладной психологии, от психиатров и психотехников, представителей наиболее точной и конкретной части нашей науки. Очевидно, отдельные психологические дисциплины в развитии исследования, накопления фактического материала, систематизации знания и в формулировке основных положений и законов дошли до некоторого поворотного пункта. Дальнейшее продвижение по прямой линии, простое продолжение все той же работы, постепенное накопление материала оказываются уже бесплодными или даже невозможными. Чтобы идти дальше, надо наметить путь.

Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве, из необходимости — на известной ступени знания — критически согласовать разнородные данные, привести в систему разрозненные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания,— из всего этого и рождается общая наука.

Понятие общей психологии поэтому вовсе не совпадает с понятием основной, центральной для ряда отдельных, специальных дисциплин теоретической психологии. Эту последнюю, в сущности, психологию взрослого нормального человека, следовало бы рассматривать как одну из специальных дисциплин наряду с зоопсихологией и психопатологией. То, что она играла и до сих пор отчасти продолжает играть роль какого-то обобщающего фактора, формирующего до известной степени строй и систему специальных дисциплин, снабжающего их основными понятиями, приводящего их в соответствие с собственной структурой, объясняется историей развития науки, но не логической необходимостью. Так на деле было, отчасти есть и сейчас, но так вовсе не должно быть и не будет, потому что это не вытекает из самой природы науки, а обусловлено внешними, посторонними обстоятельствами; стоит им измениться, как психология нормального человека утратит руководящую роль. На наших глазах это начинает отчасти сбываться. В психологических систе-

мах, культивирующих понятие бессознательного, роль такой руководящей дисциплины, основные понятия которой служат исходными пунктами для родственных наук, играет патопсихология. Таковы, например, системы З. Фрейда, А. Адлера [2] и Э. Кречмера.

У последнего эта определяющая роль патопсихологии связана уже не с центральным понятием бессознательного, как у Фрейда и Адлера, т. е. не с фактическим приоритетом данной дисциплины в смысле разработки основной идеи, а с принципиально методологическим воззрением, согласно которому сущность и природа изучаемых психологией явлений раскрываются в наиболее чистом виде в их крайних, патологических выражениях. Следовательно, надо идти от патологии к норме, из патологии объяснять и понимать нормального человека, а не наоборот, как это делалось до сих пор. Ключ к психологии — в патологии; не потому только, что последняя нащупала и изучила раньше других корень психики, но потому, что такова внутренняя природа вещей и обусловленная ею природа научного знания об этих вещах. Если для традиционной психологии всякий психопат есть как предмет изучения более или менее — в различной степени — нормальный человек и должен определяться по отношению к последнему, то для новых систем всякий нормальный человек есть более или менее сумасшедший и должен психологически пониматься именно как вариант того или иного патологического типа. Проще говоря, в одних системах нормальный человек рассматривается как тип, а патологическая личность — как разновидность или вариант основного типа; в других, наоборот, патологическое явление берется за тип, а нормальное — за ту или иную его разновидность. И кто может предсказать, как решит этот спор будущая общая психология?

Из таких же двойственных — наполовину фактических, наполовину принципиальных — мотивов главенствующая роль в третьих системах отводится зоопсихологии. Таковы, например, в своем большинстве американские курсы психологии поведения и русские курсы рефлексологии, развивающие всю систему из понятия условного рефлекса и группирующие вокруг него весь материал. Помимо фактического приоритета в разработке основных понятий поведения зоопсихология принципиально выдвигается рядом авторов как общая дисциплина, с которой должны быть соотнесены другие дисциплины. То, что она является логическим началом науки о поведении, отправной точкой для всякого генетического рассмотрения и объяснения психики, то, что она есть чисто биологическая наука, обязывает именно ее выработать фундаментальные понятия науки и снабдить ими соседние дисциплины.

Таков, например, взгляд И. П. Павлова. То, что делают психологи, по его мнению, не может отразиться на зоопсихологии, но то, что делают зоопсихологи, весьма существенно определяет работу психологов; те строят надстройку, а здесь закладывается фунда-

мент (1950). И на деле источником, откуда мы черпаем теперь все основные категории для исследования и описания поведения, инстанцией, с которой мы сверяем наши результаты, образцом, по которому мы выравниваем наши методы, является зоопсихология.

Дело опять приняло как раз обратный порядок по сравнению с традиционной психологией. В ней отправной точкой был человек; мы исходили из человека, чтобы составить себе представление о психике животного; мы по аналогии с собой толковали проявления его души. При этом дело отнюдь не всегда сводилось к грубому антропоморфизму; часто серьезные методологические основания диктовали такой ход исследования: субъективная психология и не могла быть иной. Она в психологии человека видела ключ к психологии животных, в высших формах — ключ к пониманию низших. Не всегда ведь исследователь должен идти тем же путем, каким шла природа, часто выгоднее путь обратный.

Так, Маркс указывал на этот методологический принцип «обратного» метода, когда утверждал, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 42). «Намеки же на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной и т.д. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономисты, которые смазывают все исторические различия и во всех формах общества видят формы буржуазные. Можно понять оброк, десятину и т. д., если известна земельная рента, однако нельзя их отождествлять с последней» (там же).

Понять оброк, исходя из ренты, феодальную форму из буржуазной — это и есть тот же самый методологический прием, посредством которого мы постигаем и определяем мышление и начатки речи у животных, исходя из развитого мышления и речи человека. Понять до конца какой-нибудь этап в процессе развития и самый процесс можно, только зная конец процесса, результат, направление, куда и во что развивалась данная форма. При этом речь идет, конечно, только о методологическом перенесении основных категорий и понятий от высшего к низшему, а отнюдь не о перенесении фактических наблюдений и обобщений. Например, понятия о социальной категории класса и классовой борьбе открываются в наиболее чистой форме при анализе капиталистического строя, но эти же понятия являются ключом ко всем докапиталистическим формациям общества, хотя мы встречаемся там всякий раз с другими классами, с другой формой борьбы, с особой стадией развития этой категории. Но все эти особенности, отличая от капиталистических форм историческое своеобразие отдельных эпох, не только не стираются, но, напротив, впервые становятся доступными изучению только тогда, когда мы подходим к ним с категориями и понятиями, полученными из анализа другой, высшей формации.

«Буржуазное общество,— поясняет Маркс,— есть наиболее развитая и наиболее многообразная историческая организация производства. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание его структуры, дают вместе с тем возможность заглянуть в структуру и производственные отношения всех тех погибших форм общества, из обломков и элементов которых оно было построено. Некоторые еще не преодоленные остатки этих обломков и элементов продолжают влачить существование внутри буржуазного общества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в виде намека, развилось здесь до полного значения и т. д.» (там же). Имея конец пути, можно легче всего понять и весь путь в целом, и смысл отдельных этапов.

Таков один из возможных методологических путей, достаточно оправдавший себя в целом ряде наук. Приложим ли он к психологии? Но Павлов именно с методологической точки зрения отрицает путь от человека к животному; не фактическое различие в явлениях, а познавательная бесплодность и неприменимость психологических категорий и понятий является причиной того, что он защищает обратный «обратному», т. е. прямой путь исследования, повторяющий путь, которым шла природа. По его словам, «нельзя с психологическими понятиями, которые по существу дела непространственны, проникнуть в механизм поведения животных, в механизм этих отношений» (1950, с. 207).

Дело, следовательно, не в фактах, а в понятиях, т. е. в способе мыслить эти факты. «Наши факты мыслятся в форме пространства и времени; у нас это совершенно естественнонаучные факты; психологические же факты мыслятся только в форме времени»,— говорит он (там же, с. 104). Что речь идет именно о разнице в понятиях, а не в явлениях и что Павлов хочет не только отвоевать независимость для своей области исследования, но и распространить ее влияние и руководство на все сферы психологического знания, видно из его прямых указаний на то, что спор идет не только об эмансипации от власти психологических понятий, но и о разработке психологии при помощи новых пространственных понятий.

По его мнению, наука перенесет раньше или позже объективные данные на психику человека, «руководясь подобием или тождеством внешних проявлений», и объяснит природу и механизм сознания (там же, с. 23). Его путь — от простого к сложному, от животного к человеку. «Простое, элементарное,— говорит он,— понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно». Из этих данных составится «основной фундамент психологического знания» (там же, с. 105). И в предисловии к книге, излагающей 20-летний опыт изучения поведения животных, Павлов заявляет, что он «глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь, главнейшим образом на этом пути», удастся «познать механизм и законы человеческой натуры (там же, с. 17).

Вот новая контроверза между изучением животных и психологией человека. Положение, по существу, очень сходное с контроверзой между патопсихологией и психологией нормального человека. Какой дисциплине главенствовать, объединять, вырабатывать основные понятия, принципы и методы, сверять и систематизировать данные всех других областей? Если раньше традиционная психология рассматривала животное как более или менее отдаленного предка человека, то теперь рефлексология склонна рассматривать человека как «животное двуногое, без перьев», по Платону. Прежде психика животного определялась и описывалась в понятиях и терминах, добытых в исследовании человека, ныне поведение животных дает «ключ к пониманию поведения человека», а то, что мы называем «человеческим» поведением, понимается только как производная от ходящего в выпрямленном положении и потому говорящего и обладающего руками с развитым большим пальцем животного.

И опять мы можем спросить: кто, кроме будущей общей психологии, разрешит эту контроверзу между животными и человеком в психологии, контроверзу, от решения которой зависит ни много ни мало: вся будущая судьба этой науки?

2

Уже из анализа трех типов психологических систем, рассмотренных выше, видно, до какой степени созрела потребность в общей психологии, а отчасти наметились границы и приблизительное содержание этого понятия. Таков будет все время путь нашего исследования: мы будем исходить из анализа фактов, хотя бы фактов в высшей степени общего порядка и отвлеченного характера, как та или иная психологическая система и ее тип, тенденции и судьба различных теорий, те или иные познавательные приемы, научные классификации и схемы и т. д. При этом мы подвергаем их рассмотрению не с абстрактно-логической, чисто философской стороны, а как определенные факты в истории науки, как конкретные, живые исторические события в их тенденции, противоборстве, в их реальной обусловленности, конечно, и в их познавательно-теоретической сущности, т. е. с точки зрения их соответствия той действительности, для познания которой они предназначены. Не путем отвлеченных рассуждений, но путем анализа научной действительности хотим мы прийти к ясному представлению о сущности индивидуальной и социальной психологии как двух аспектов одной науки и об исторической судьбе их. Отсюда выводится, как политиком из анализа событий, правило для действия, для организации научного исследования, методологическое исследование, пользующееся историческим рассмотрением конкретных форм науки и теоретическим анализом этих форм, чтобы прийти к обобщенным, проверенным и годным для руководства принципам,— таково, по нашему мнению,

зерно той общей психологии, понятие о которой мы пытаемся выяснить в этой главе.

Первое, что мы узнаем из анализа,— это разграничение между общей психологией и теоретической психологией нормального человека. Мы видели, что последняя — не обязательно общая психология, что в целом ряде систем она сама превращается в одну из специальных, определяемых другой областью дисциплин; что в роли общей психологии могут выступать и выступают и патопсихология, и учение о поведении животных. А. И. Введенский полагал, что общую психологию «гораздо вернее было бы называть основной психологией, потому что эта часть лежит в основе всей психологии» (1917, с. 5). Г. Геффдинг, полагающий, что психологией «можно заниматься многими способами и методами», что «существует не одна, но много психологий», не видящий необходимости в единстве, все же склонен видеть в субъективной психологии «основу, вокруг которой, как вокруг центра, должны быть собраны богатства других источников познания» (1908, с. 30). Говорить об основной, или центральной, психологии было бы, действительно, в данном случае уместнее, чем об общей, хотя нужно немало школьного догматизма и наивной самоуверенности, чтобы не видеть, как нарождаются системы с совершенно другой основой и центром и как в таких системах отходит к периферии то, что профессора считали основой по самой природе вещей. Субъективная психология была основной, или центральной, в целом ряде систем, и надо уяснить себе смысл этого; она теперь утрачивает свое значение, и опять надо уяснить себе смысл этого. Терминологически было бы всего правильнее говорить в данном случае о теоретической психологии, в отличие от прикладной, как это делает Г. Мюнстерберг (1922). Применительно к взрослому нормальному человеку она была бы специальной ветвью наряду с детской, зоо- и патопсихологией.

Теоретическая психология, замечает Л. Бинсвангер [3], не есть ни общая психология, ни часть ее, но сама есть объект или предмет общей психологии. Последняя задается вопросами, как вообще возможна теоретическая психология, каковы структура и пригодность ее понятий. Теоретическая психология уже потому не может быть идентифицирована с общей, что как раз вопрос о создании теорий в психологии есть основной вопрос общей психологии (1922, с. 5).

Второе, что мы можем узнать из нашего анализа с достоверностью: самый факт, что теоретическая психология, а после другие дисциплины выступали в роли общей науки, обусловлен, с одной стороны, отсутствием общей психологии, а с другой — сильной потребностью в ней и необходимостью временно выполнять ее функции, чтобы сделать возможным научное исследование. Психология беременна общей дисциплиной, но еще не родила ее.

Третье, что мы можем вычитать из нашего анализа,— это различение двух фаз в развитии всякой общей науки, всякой общей

дисциплины, как показывает история науки и методология. В первой фазе развития общая дисциплина отличается от специальной чисто количественным признаком. Такое различие, как верно говорит Бинсвангер, свойственно большинству наук. Так, мы различаем общую и специальную ботанику, зоологию, биологию, физиологию, патологию, психиатрию и т. д. Общая дисциплина делает предметом своего изучения то общее, что присуще всем объектам данной науки. Специальная — то, что свойственно отдельным группам или даже отдельным экземплярам из того же рода объектов. В этом смысле присваивали имя специальной той дисциплине, которую мы называем теперь дифференциальной; в таком же смысле называли эту область индивидуальной психологией. Общая часть ботаники или зоологии изучает то, что есть общего у всех растений или животных, психологии — то, что свойственно всем людям; для этого из реального многообразия данных явлений абстрагировалось понятие той или иной общей черты, присущей им всем или большинству из них, и в отвлеченном от реального многообразия конкретных черт виде оно становилось предметом изучения общей дисциплины. Поэтому признак и задачу такой дисциплины видели в том, чтобы научно представить факты, которые общи наибольшему числу частных явлений данной области (Л. Бинсвангер, 1922, с. 3).

Эту стадию поисков и попытки применения общего всем психологическим дисциплинам абстрактного понятия, составляющего предмет всех их и определяющего, что следует выделять в хаосе отдельных явлений, что имеет для психологии познавательную ценность в явлении,— эту стадию мы видим ярко выраженной в нашем анализе и можем судить, какое значение эти поиски и искомое понятие предмета психологии, искомый ответ на вопрос, что изучает психология, могут иметь для нашей науки в данный исторический момент ее развития.

Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бесконечно по своим отдельным признакам; надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономом от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономическим фактом; второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки.

Что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления — от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика? Традиционная психология отвечает: общее то, что все это суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает: общее то, что все эти явления суть факты поведения, соотносительной деятельности, рефлексы, ответные действия

организма. Психоаналитики говорят: общее у всех этих фактов, самое первичное, что их объединяет,— это бессознательное, лежащее в их основе. Три ответа соответственно означают для общей психологии, что она есть наука 1) о психическом и его свойствах, или 2) о поведении, или 3) о бессознательном.

Отсюда видно значение такого общего понятия для всей будущей судьбы науки. Любой факт, выраженный в понятиях каждой из этих трех систем поочередно, примет три совершенно различные формы; вернее, это будут три различные стороны одного факта; еще вернее, это будут три различных факта. И по мере продвижения науки, по мере накопления фактов, мы получим последовательно три различных обобщения, три различных закона, три различные классификации, три различные системы — три отдельные науки, которые будут тем дальше от общего, объединяющего их факта и тем более далеки и различны друг от друга, чем успешнее они будут развиваться. Скоро после возникновения они уже будут вынуждены подбирать различные факты, и уже самый выбор фактов в дальнейшем определит судьбу науки. К. Коффка был первый, кто высказал мысль, что интроспективная психология и психология поведения разовьются, если дело пойдет дальше так, в две науки. Пути обеих наук так далеки друг от друга, что «никак нельзя сказать с уверенностью, приведут ли они действительно к одной цели» (К. Коффка, 1926, с. 179).

В сущности, и Павлов и Бехтерев держатся того же мнения; для них приемлема мысль о параллельном существовании двух наук — психологии и рефлексологии, изучающих одно и то же, но с разных сторон. «Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека»,— говорит Павлов по этому поводу (1950, с. 125). Для Бехтерева рефлексология не противопоставляется субъективной психологии и ничуть не исключает последнюю, а отмежевывает особую область исследования, т. е. создает новую параллельную науку. Он же говорит о тесном взаимоотношении одной и другой научной дисциплины или даже о субъективной рефлексологии, которая неизбежно возникнет в будущем (1923). Впрочем, надо сказать, что и Павлов и Бехтерев на деле отрицают психологию и всецело надеются охватить объективным методом всю область знания о человеке, т. е. видят возможность только одной науки, хотя на словах признают и две. Так общее понятие предопределяет содержание науки.

Уже сейчас психоанализ, бихевиоризм и субъективная психология оперируют не только разными понятиями, но и разными фактами. Такие несомненные, реальнейшие, общие всем факты, как эдипов комплекс психоаналитиков, просто не существуют для других психологов, для многих это самая дикая фантазия. Для В. Штерна, в общем благосклонно относящегося к психоанализу, психоаналитические толкования, столь же обыденные в школе З. Фрейда

и столь же несомненные, как измерение температуры в госпитале, а значит, и факты, существование которых они утверждают, напоминают хиромантию и астрологию XVI в. Для Павлова утверждение, что собака вспомнила пищу при звонке, есть тоже не больше чем фантазия. Так же для интроспективиста не существует факта мышечных движений в акте мышления, как то утверждает бихевиорист.

Но фундаментальное понятие, так сказать, первичная абстракция, лежащая в основе науки, определяет не только содержание, но и предопределяет характер единства отдельных дисциплин, а через это — способ объяснения фактов, главный объяснительный принцип науки.

Мы видим, что общая наука, как и тенденция отдельных дисциплин превратиться в общую науку и распространить влияние на соседние отрасли знания, возникает из потребности в объединении разнородных отраслей знания. Когда сходные дисциплины накопляют достаточно большой материал в сравнительно отдаленных друг от друга областях, возникает надобность свести весь разнородный материал в единство, установить и определить отношение между отдельными областями и между каждой областью и целым научного знания. Как связать материал патологии, зоопсихологии, социальной психологии? Мы видели, что субстратом единства является прежде всего первичная абстракция. Но объединение разнородного материала производится не суммарно, не через союз «и», как говорят гештальтпсихологи, не путем простого присоединения или сложения частей, так что каждая часть сохраняет равновесие и самостоятельность, входя в состав нового целого. Единство достигается путем подчинения, господства, путем отказа отдельных дисциплин от суверенитета в пользу одной общей науки. Внутри нового целого образуется не сосуществование отдельных дисциплин, но их иерархическая система, имеющая главный и вторичные центры, как Солнечная система. Итак, это единство определяет роль, смысл, значение каждой отдельной области, т. е. определяет не только содержание, но и способ объяснения, главнейшее обобщение, которое в развитии науки станет со временем объяснительным принципом.

Принять за первичное понятие психику, бессознательное, поведение — значит не только собирать три разные категории фактов, но и давать три разных способа объяснения этих фактов.

Мы видим, что тенденция к обобщению и объединению знания переходит, перерастает в тенденцию к объяснению знания. Единство обобщающего понятия перерастает в единство объяснительного принципа, потому что объяснять — значит устанавливать связь между одним фактом или группой фактов и другой группой, ссылаться на другой ряд явлений, объяснять — значит для науки — причинно объяснять. Пока объединение производится внутри одной дисциплины, такое объяснение устанавливается путем причинной

связи явлений, лежащих внутри одной области. Но как только мы переходим к обобщению отдельных дисциплин, к сведению в единство разных областей фактов, к обобщениям второго порядка, так сейчас же мы должны искать и объяснения более высокого порядка, т. е. связи всех областей данного знания с фактами, лежащими вне их. Так поиски объяснительного принципа выводят нас за пределы данной науки и заставляют находить место данной области явлений в более обширном кругу явлений.

Эту вторую тенденцию, лежащую в основе выделения общей науки,— тенденцию к единству объяснительного принципа и к выходу за пределы данной науки в поисках места данной категории бытия в общей системе бытия и данной науки в общей системе знания — мы обнаруживаем уже в соперничестве отдельных дисциплин за главенство. Всякое обобщающее понятие уже содержит в себе тенденцию к объяснительному принципу, а так как борьба дисциплин есть борьба за обобщающее понятие, то неизбежно здесь должна появиться и вторая тенденция. И действительно, рефлексология не только выдвигает понятие поведения, но и принцип условного рефлекса, т. е. объяснения поведения из внешнего опыта животного. И трудно сказать, какая из этих двух идей более существенна для данного направления. Отбросьте принцип — и вы получите поведение, т. е. систему внешних движений и поступков, объясняемую из сознания, т. е. давно существовавшую внутри субъективной психологии дисциплину. Отбросьте понятие и сохраните принцип — и вы получите сенсуалистическую ассоциативную психологию. И о той и о другой мы будем говорить ниже. Здесь же важно установить, что обобщение понятия и объяснительный принцип только в соединении друг с другом, только то и другое вместе определяют общую науку. Так же точно и психопатология не только выдвигает обобщающее понятие бессознательного, но и расшифровывает это понятие объяснительно — в принципе сексуальности. Обобщить психологические дисциплины и объединить их на основе понятия бессознательного — значит для психоанализа объяснить весь мир, изучаемый психологией, из сексуальности.

Но здесь еще обе тенденции — к объединению и обобщению— слиты, часто трудно различимы; вторая тенденция недостаточно ясно выражена; она может иногда и отсутствовать вовсе. Совпадение ее с первой объясняется опять-таки исторической, а не логической необходимостью. В борьбе отдельных дисциплин за господство эта тенденция обычно проявляется, мы нашли ее в нашем анализе; но она может не проявиться, а главное — она может проявиться и в чистом, несмешанном, раздельном от первой тенденции виде в другом ряде фактов. В обоих этих случаях мы имеем каждую тенденцию в чистом виде.

Так, в традиционной психологии понятие психического может объединяться с многими, правда, не с любыми, объяснениями:

ассоцианизм, актуалистическая концепция [4], теория способностей [5] и т. д. Так что связь между обобщением и объединением тесная, но не однозначная. Одно понятие мирится с рядом объяснений, и наоборот. Далее, в системах психологии бессознательного это основное понятие расшифровывается не обязательно как сексуальность. У А. Адлера и К. Юнга [6] в основу объяснения положены другие принципы. Таким образом, в борьбе дисциплин логически необходимо выражена первая тенденция знания — к объединению и логически не необходимо, а только исторически обусловлено — в разной степени выражена и вторая. Поэтому легче и удобнее всего наблюдать вторую тенденцию в ее чистом виде — в борьбе принципов и школ внутри одной и той же дисциплины.

3

Можно сказать, что всякое сколько-нибудь значительное открытие в какой-либо области, выходящее за пределы этой частной сферы, обладает тенденцией превратиться в объяснительный принцип всех психологических явлений и вывести психологию за ее собственные пределы — в более широкие сферы знания. Эта тенденция проявляется в последние десятилетия с такой удивительной закономерностью, постоянством, с такой правильной однообразностью в самых различных областях, что положительно допускает предсказание о ходе развития того или иного понятия или открытия, той или иной идеи. Вместе с тем эта правильная повторяемость в развитии различнейших идей ясно говорит с очевидностью, которую редко приходится констатировать историку науки и методологу, об объективной необходимости, лежащей в основе развития науки, о необходимости, которую можно обнаружить, если к фактам науки подойти тоже с научной точки зрения. Это говорит о том, что возможна научная методология на исторической основе.

Закономерность в смене и развитии идей, возникновение и гибель понятий, даже смена классификаций и т. п.— все это может быть научно объяснено на почве связи данной науки 1) с общей социально-культурной подпочвой эпохи, 2) с общими условиями и законами научного познания, 3) с теми объективными требованиями, которые предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии их исследования, т. е. в конечном счете — с требованиями объективной действительности, изучаемой данной наукой; ведь научное познание должно приспособляться, применяться к особенностям изучаемых фактов, должно строиться согласно их требованиям. И поэтому в изменении научного факта всегда можно вскрыть участие объективных фактов, изучаемых этой наукой. Все эти три точки зрения мы постараемся иметь в виду в нашем исследовании.

Общая судьба и линии развития таких объяснительных идей

могут быть выражены схематически. Вначале лежит какое-нибудь фактическое открытие более или менее крупного значения, перестраивающее обычное представление обо всей той области явлений, к которой оно относится, и даже выходящее за пределы данной частной группы явлений, где оно наблюдалось и было сформулировано.

Затем идет стадия распространения влияния тех же идей в соседние области, так сказать, растягивание идеи на более обширный материал, чем тот, который она охватывает. При этом изменяется и сама идея (или ее применение), появляется более отвлеченная ее формулировка; связь с породившим ее материалом более или менее ослабевает, и она только продолжает питать силу достоверности новой идеи, потому что свое завоевательное шествие идея совершает как научно проверенное, достоверное открытие; это очень важно.

В третьей стадии развития идея, уже овладевшая более или менее всей данной дисциплиной, в которой она впервые возникла, частью измененная этим, частью сама изменившая строй и объем дисциплины, отделенная от породивших ее фактов, существующая в форме более или менее абстрактно сформулированного принципа, попадает в сферу борьбы дисциплин за господство, т. е. в орбиту действия тенденции к объединению. Происходит это обычно потому, что идея, как объяснительный принцип, успела овладеть целой дисциплиной, т. е. приспособилась сама, а частью приспособила к себе понятие, лежащее в основе дисциплины, и теперь выступает с ним заодно. Такую смешанную стадию существования идеи, когда обе тенденции помогают одна другой, мы и нашли в нашем анализе. Продолжая расширяться на спине тенденции к объединению, идея легко переносится в соседние дисциплины, не прекращая видоизменяться сама, разбухая от нового и нового материала, но видоизменяет и те области, куда проникает. В этой стадии судьба идеи всецело связана с судьбой представляющей ее дисциплины, борющейся за господство.

В четвертой стадии идея опять отделяется от основного понятия, так как самый факт завоевания — хотя бы в виде проекта, защищаемого отдельной школой, всей сферы психологического знания, всех дисциплин,— самый факт этот толкает идею в развитии дальше. Идея остается объяснительным принципом до тех пор, пока она выходит за пределы основного понятия; ведь объяснить, как мы видели, это и значит выходить за собственные границы в поисках внешней причины. Как только она вполне совпадает с основным понятием, она перестает что-либо объяснять. Но основное понятие логически не может развиваться дальше, иначе оно стало бы отрицать само себя; ведь его смысл в том, чтобы определить область психологического знания; выйти за его пределы оно не может по самому существу. Следовательно, опять должно произойти разъединение понятия и объяснения. К тому же самое объединение логически предполагает, как показано выше, установление связи с более об-

ширной сферой знания, выход за собственные пределы. Это и совершает идея, отделившаяся от понятия. Теперь она связывает психологию с обширными областями, лежащими вне ее, с биологией, физикохимией, механикой, в то время как основное понятие выделяет ее из этих областей. Функции этих временно работавших вместе союзников опять переменились. Идея теперь открыто включается в ту или иную философскую систему, распространяется, изменяясь и изменяя, на самые отдаленные сферы бытия, на весь мир, и формулируется в качестве универсального принципа или даже целого мировоззрения.

Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вола, этот мещанин во дворянстве, попадает в самую опасную пятую стадию развития: оно легко лопается, как мыльный пузырь; во всяком случае оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые оно встречает теперь со всех сторон. Правда, борьба велась против идеи и раньше, в прежних стадиях. Но то было нормальное противодействие движению идеи, сопротивление каждой отдельной области ее завоевательным тенденциям. Первоначальная сила породившего ее открытия оберегала ее от настоящей борьбы за существование, как мать оберегает детеныша. Только теперь, отделенная совершенно от породивших ее фактов, развившись до логических пределов, доведенная до последних выводов, обобщенная сколько возможно, идея, наконец, обнаруживает то, что она в действительности есть, показывает свое истинное лицо. Как это ни странно, но именно доведенная до философской формы, казалось бы, затуманенная многими наслоениями и очень далекая от непосредственных корней и породивших ее социальных причин, идея на самом деле только теперь открывает, чего она хочет, что она есть, из каких социальных тенденций она возникла, каким классовым интересам служит. Только развившись в мировоззрение или приобретя связь с ним, частная идея из научного факта опять становится фактом социальной жизни, т. е. возвращается в то лоно, из которого она возникла. Только став снова частью социальной жизни, она обнаруживает свою социальную природу, которая все время, конечно, имелась в ней, но была скрыта под маской познавательного факта, в качестве которого она фигурировала.

И вот в этой стадии борьбы против идеи судьба ее определяется примерно так. Новой идее, как новому дворянину, указывают на ее мещанское, т. е. действительное, происхождение. Ее ограничивают теми областями, откуда она пришла; ее заставляют проделать вспять свое развитие; ее признают как частное открытие, но отвергают как мировоззрение; и теперь выдвигаются новые способы осмыслить ее как частное открытие и связанные с ней факты. Иначе говоря, другие мировоззрения, представляющие другие социальные тенденции и силы, отвоевывают у идеи даже ее первоначальную область, вырабатывают свой взгляд на нее — и тогда идея или от-

мирает, или продолжает существовать, более или менее плотно включенная в то или иное мировоззрение среди ряда других мировоззрений, разделяя их судьбу и выполняя их функции, но как революционизирующая науку идея она перестает существовать; это идея, вышедшая в отставку и получившая по своему ведомству генеральский чин.

Почему идея перестает существовать как таковая? Потому что в области мировоззрения действует закон, открытый Энгельсом, закон собирания идей вокруг двух полюсов — идеализма и материализма, соответствующих двум полюсам социальной жизни, двум борющимся основным классам. Идея как факт философский гораздо легче обнаруживает свою социальную природу, чем как факт научный; и на этом кончается ее роль — скрытого, переодетого в научный факт идеологического агента, она разоблачена и начинает участвовать как слагаемое в общей открытой, классовой борьбе идей; но именно здесь, как маленькое слагаемое в огромной сумме, она тонет, как капля дождя в океане, и перестает существовать сама по себе.

4

Такой путь проделывает всякое открытие в психологии, имеющее тенденцию превратиться в объяснительный принцип. Само возникновение таких идей объясняется наличием объективной научной потребности, коренящейся в конечном счете в природе изучаемых явлений, как она раскрывается на данной стадии познания, иначе говоря, природой науки и, значит, в конечном счете природой психологической действительности, которую изучает эта наука. Но история науки может объяснить только, почему на данной стадии ее развития возникла потребность в идеях, почему это было невозможно сто лет тому назад,— и не больше. Какие именно открытия развиваются в мировоззрение, а какие нет; какие идеи выдвигаются, какой путь они проделывают, какая участь постигает их — это все зависит от факторов, лежащих вне истории науки и определяющих самую эту историю.

Это можно сравнить с учением Г. В. Плеханова об искусстве. Природа заложила в человеке эстетическую потребность, она делает возможным то, чтобы у него были эстетические идеи, вкусы, переживания. Но какие именно вкусы, идеи и переживания будут у данного общественного человека в данную историческую эпоху — этого нельзя вывести из природы человека, и ответ на это дает только материалистическое понимание истории (Г. В. Плеханов, 1922). В сущности, это рассуждение не является даже сравнением; оно не метафорически, но буквально принадлежит к тому же общему закону, частное применение которого сделано Плехановым к вопросам искусства. В самом деле, научное познание есть один из видов дея-

тельности общественного человека в ряду других деятельностей. Следовательно, научное познание, рассматриваемое со стороны познания природы, а не как идеология, есть известный вид труда, и, как всякий труд, прежде всего процесс между человеком и природой, в котором человек сам противостоит природе, как сила природы, процесс, в первую очередь обусловленный свойствами обрабатываемой природы и свойствами обрабатывающей силы природы, т. е. в данном случае — природой психологических явлений и познавательных условий человека (Г. В. Плеханов, 1922а). Именно как природные, т. е. неизменные, эти свойства не могут объяснить развития, движения, изменения истории науки. Это принадлежит к числу общеизвестных истин. Тем не менее на всякой стадии развития науки мы можем выделить, отдифференцировать, абстрагировать требования, выдвигаемые самой природой изучаемых явлений на данной ступени их познания, ступени, определяемой, конечно, не природой явлений, но историей человека. Именно потому, что природные свойства психических явлений на данной ступени познания есть чисто историческая категория, ибо свойства меняются в процессе познания, и сумма известных свойств есть чисто историческая величина, их можно рассматривать как причину или одну из причин исторического развития науки.

Мы рассмотрим в качестве примера к только что описанной схеме развития общих идей в психологии судьбу четырех идей, влиятельных в последние десятилетия. При этом нас интересует только факт, делающий возможным возникновение этих идей, а не эти идеи сами по себе, т. е. факт, коренящийся в истории науки, а не вне ее. Мы не будем исследовать, почему именно эти идеи, именно история этих идей важна как симптом, как указание на то состояние, которое переживает история науки. Нас интересует сейчас не исторический, но методологический вопрос: в какой степени раскрыты и познаны сейчас психологические факты и каких изменений в строе науки они требуют, чтобы сделать возможным продолжение познания на основе познанного уже? Судьба четырех идей должна свидетельствовать о потребности науки в данный момент — о содержании и размерах этой потребности. История науки для нас важна постольку, поскольку она определяет степень познанности психологических фактов.

Четыре идеи — это идея психоанализа, рефлексологии, гештальтпсихологии и персонализма [7].

Идеи психоанализа родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятельностей и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие, подтвержденное успехом терапевтического воздействия, обоснованного таким пониманием дела, т. е. получившее санкцию истинности их

практики, было перенесено на ряд соседних областей — на психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладело всей областью учения о неврозах. В борьбе дисциплин эта идея подчинила себе самые отдаленные ветви психологии; было показано, что с этой идеей в руках можно разрабатывать психологию искусства, этническую психологию. Но вместе с этим психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ — в мировоззрение, психология — в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познания и своя метафизика, своя социология и своя математика. Коммунизм и тотем,[8] церковь и творчество Достоевского, оккультизм и реклама, миф и изобретения Леонардо да Винчи [9] — все это переодетый и замаскированный пол, секс, и ничего больше.

Такой же путь проделала идея условного рефлекса. Все знают, что она возникла из изучения психического слюноотделения у собаки. Но вот она распространилась и на ряд других явлений; вот она завоевала зоопсихологию; вот в системе Бехтерева она только и делает, что прикладывается, примеряется ко всем сферам психологии и подчиняет их себе; все — и сон, и мысль, и работа, и творчество — оказывается рефлексом. Вот, наконец, она подчинила себе все психологические дисциплины — коллективную психологию искусства, психотехнику и педологию, психопатологию и даже субъективную психологию. И теперь рефлексология уже знается только с универсальными принципами, с мировыми законами, с первоосновами механики. Как психоанализ перерос в метапсихологию через биологию, так рефлексология через биологию перерастает в энергетическое мировоззрение. Оглавление курса рефлексологии — это универсальный каталог мировых законов. И опять, как с психоанализом, оказалось, что все в мире — рефлекс. Анна Каренина и клептомания, классовая борьба и пейзаж, язык и сновидение — тоже рефлекс (В. М. Бехтерев, 1921, 1923).

Гештальтпсихология тоже возникла первоначально из конкретных психологических исследований процессов восприятия формы; здесь она получила практическое крещение; она выдержала пробу на истину. Но, так как она родилась в то же время, что психоанализ и рефлексология, она проделала их путь с удивительным однообразием. Она охватила зоопсихологию — и оказалось, что мышление у обезьян тоже гештальтпроцесс; психологию искусства и этническую — оказалось, что первобытное миропредставление и создание искусства тоже гештальт; детскую психологию и психопатологию — и под гештальт подошли и развитие ребенка, и психическая болезнь. Наконец, превратившись в мировоззрение, гештальтпсихология открыла гештальт в физике и химии, в физиологии и биологии, и гештальт, высохший до логической формулы, оказался в основе мира; создавая мир, бог сказал: да будет гештальт — и стал

везде гештальт (М. Вертгаймер, 1925; В. Келер, 1917, 1920; К. Коффка, 1925).

Наконец, персонализм возник первоначально из исследований по дифференциальной психологии[10]. Необычайно ценный принцип личности в учении о психологических измерениях, в учении о пригодности и т. д. перекочевал сперва в психологию во всем ее объеме, а потом и перешагнул за ее пределы. В виде критического персонализма он включил в понятие личности не только человека, но животных и растения. Еще один шаг, знакомый нам по истории психоанализа, рефлексологии, и все в мире оказалось личностью. Философия, которая начала с противопоставления личности и вещи, с отвоевания личности из-под власти вещей, кончила тем, что все вещи признала личностями. Вещей не оказалось вовсе. Вещь — это только часть личности: все равно нога человека или ножка стола; но так как эта часть опять состоит из частей и т. д. до бесконечности, то она — нога или ножка — опять оказывается личностью по отношению к своим частям и частью только по отношению к целому. Солнечная система и муравей, вагоновожатый и Гинденбург, стол и пантера — одинаково личности (В. Штерн, 1924).

Эти судьбы, схожие, как четыре капли одного и того же дождя, влекут идеи по одному и тому же пути. Объем понятия растет и стремится к бесконечности, по известному логическому закону содержание его столь же стремительно падает до нуля. Каждая из этих четырех идей на своем месте чрезвычайно содержательна, полна значения и смысла, полноценна и плодотворна. Но возведенные в ранг мировых законов, они сто́ят друг друга, они абсолютно равны между собой, как круглые и пустые нули; личность Штерна по Бехтереву есть комплекс рефлексов, по Вертгаймеру — гештальт, по Фрейду — сексуальность.

И в пятой стадии развития эти идеи встречают совершенно одинаковую критику, которую можно свести к одной формуле. Психоанализу говорят: для объяснения истерических неврозов принцип подсознательной сексуальности незаменим, но он ничего не объясняет ни в строении мира, ни в ходе истории. Рефлексологии говорят: нельзя делать логическую ошибку, рефлекс — это только отдельная глава психологии, но не психология в целом и уж, конечно, не мир как целое (В. А. Вагнер, 1923; Л. С. Выготский, 1925а). Гештальтпсихологии говорят: вы нашли очень ценный принцип в своей области; но если мышление не содержит ничего, кроме моментов единства и цельности, т. е. гештальтформулы, а эта же формула выражает сущность всякого органического и даже физического процесса, то тогда, конечно, является картина мира поразительной законченности и простоты — электричество, сила тяготения и человеческое мышление подводятся под общий знаменатель. Нельзя бросать и мышление, и отношение в один горшок структур: пусть нам сначала докажут, что его место в одном горшке со структурны-

ми функциями. Новый фактор управляет обширной, но все-таки ограниченной областью. Но он не выдерживает критики как универсальный принцип. Пусть мышлению смелых теоретиков дан закон стремиться ко «всему или ничему» в попытках объяснения; осторожным же исследователям в виде мудрого противовеса приходится принимать во внимание упорство фактов. Ведь стремиться объяснить все и значит: не объяснить ничего.

Не показывает ли эта тенденция всякой новой идеи в психологии к превращениям в мировой закон, что психология действительно должна опереться на мировые законы, что все эти идеи ждут идею-хозяина, которая придет и поставит на место и укажет значение каждой отдельной, частной идеи. Закономерность того пути, который с удивительным постоянством проделывают самые разные идеи, конечно, свидетельствует о том, что путь этот предопределен объективной потребностью в объяснительном принципе, и именно потому, что такой принцип нужен и что его нет, отдельные частные принципы занимают его место. Психология осознала, что для нее вопрос жизни и смерти — найти общий объяснительный принцип, и она хватается за всякую идею, хотя бы и недостоверную.

Спиноза в «Трактате об очищении интеллекта» описывает такое состояние познания. «Так больной, страдающий смертельной болезнью и предвидящий неизбежную смерть, если он не примет средства против нее, вынуждается искать этого средства с напряжением всех своих сил, хотя бы оно было и недостоверным, так как в нем лежит вся его надежда» (1914, с. 63).

5

Мы проследили на развитии частных открытий в общие принципы в чистом виде тенденцию к объяснению, которая наметилась уже в борьбе дисциплин за главенство. Но вместе с этим мы перешли уже во вторую фазу развития общей науки, о которой мы говорили вскользь выше. В первой фазе, определяемой тенденцией к обобщению, общая наука отличается от специальных в сущности количественным признаком; во второй фазе — господства тенденции к объяснению — общая наука уже качественно отличается по внутреннему строю от специальных дисциплин. Не все науки, как мы увидим, проделывают в развитии обе фазы; большинство выделяет общую дисциплину только в ее первой фазе. Причина этого станет для нас ясна, как только мы сформулируем точно качественное отличие второй фазы.

Мы видели, что объяснительный принцип выводит нас за пределы данной науки и должен осмыслить всю объединенную область знания как особую категорию или ступень бытия в ряду других категорий, т. е. имеет дело с последними, наиболее обобщенными, по

существу философскими, принципами. В этом смысле общая наука есть философия специальных дисциплин.

В этом смысле Л. Бинсвангер говорит, что общая наука разрабатывает основы и проблемы целой области бытия, как, например, общая биология (1922, с. 3). Любопытно, что первая книга, положившая начало общей биологии, называлась «Философия зоологии» (Ж.-Б. Ламарк[11]). Чем дальше проникает общее исследование, продолжает Бинсвангер, чем большую область оно охватывает, тем абстрактнее и дальше от непосредственно воспринимаемой действительности становится предмет такого исследования. Вместо живых растений, животных, людей предметом науки становятся проявления жизни и, наконец, сама жизнь, как в физике — вместо тел и их изменений — сила и материя. Для всякой науки раньше или позже наступает момент, когда она должна осознать себя самое как целое, осмыслить свои методы и перенести внимание с фактов и явлений на те понятия, которыми она пользуется. Но с этого момента общая наука отличается от специальной не тем, что она шире по охвату, объему, но тем, что она качественно иначе организована. Она не изучает больше те же самые объекты, что специальная наука, но исследует понятия этой науки; она превращается в критическое исследование в том смысле, в каком И. Кант употреблял это выражение. Критическое исследование уже вовсе не биологическое или физическое исследование, оно направлено на понятия биологии и физики. Общая психология, следовательно, определяется Бинсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко — как «критика психологии». Она есть ветвь общей методологии, т. е. той части логики, которая имеет задачей изучать различные применения логических форм и норм в отдельных науках в соответствии с формальной и вещественной действительной природой их предмета, их способа познания, их проблемы (1922, с. 3—5).

Это рассуждение, сделанное на основе формально-логических предпосылок, верно только наполовину. Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания и что, следовательно, ее предмет, способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но неверно, будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология — уже не биологическая дисциплина, а логическая, что общая психология перестает быть психологией, а становится логикой; что она есть только критика в кантовом смысле, что она изучает только понятия. Это неверно прежде всего исторически, а затем и по существу дела, по внутренней природе научного знания.

Неверно это исторически, т. е. не отвечает фактическому положению вещей ни в одной науке. Не существует ни одной общей науки в той форме, которую описывает Бинсвангер. Даже общая биология в том виде, в каком она существует на деле, та биология, основы

которой заложены трудами Ламарка и Дарвина, та биология, которая до сих пор есть свод реального знания о живой материи, есть, конечно, не часть логики, а естественная наука, хотя и высшей формации. Она имеет дело, конечно, не с живыми, конкретными объектами — растениями, животными, а с абстракциями, как организм, эволюция видов, естественный отбор, жизнь, но все же при всем том она при помощи этих абстракций изучает в конечном счете ту же действительность, что и зоология с ботаникой. Было бы ошибкой сказать, что она изучает понятия, а не отраженную в этих понятиях действительность, как было бы ошибкой сказать об инженере, изучающем чертеж машины, что он изучает чертеж, а не машину, или об анатоме, изучающем атлас, что он изучает рисунки, а не скелет человека. Ведь и понятия суть только чертежи, снимки, схемы реальности, и, изучая их, мы изучаем модели действительности, как по плану или географической карте мы изучаем чужую страну или чужой город.

Что касается таких развитых наук, как физика и химия, то и сам Бинсвангер вынужден признать, что там образовалось обширное поле исследований между критическим и эмпирическим полюсами, что эту область называют теоретической, или общей, физикой, химией и т. д. Так же, замечает он, поступает и естественнонаучная теоретическая психология, которая в принципе хочет быть равна с физикой. Как бы абстрактно ни формулировала теоретическая физика свой предмет изучения, например «учение о причинных зависимостях между явлениями природы», все же она изучает реальные факты; общая физика исследует самое понятие физического явления, физической причинной связи, но не отдельные законы и теории, на основе которых реальные явления могли бы быть объяснены как физически причинные; скорее самое физическое объяснение есть предмет исследования общей физики (Л. Бинсвангер, 1922, с. 4—5).

Как видим, сам Бинсвангер признает, что его концепция общей науки расходится с реальной концепцией, как она осуществлена в ряде наук, именно в одном пункте. Их разделяет не бóльшая или меньшая степень абстрактности понятий, что может быть дальше от реальных, эмпирических вещей, чем причинная зависимость как предмет целой науки, их разделяет конечная направленность: общая физика, в конце концов, направлена на реальные факты, которые она хочет объяснить при помощи абстрактных понятий; общая наука в идее направлена не на реальные факты, но на самые понятия и с реальными фактами никакого дела не имеет.

Правда, там, где возникает спор между теорией и историей, где есть расхождение между идеей и фактом, как в данном случае, там спор всегда решается в пользу истории или факта. Самый аргумент от фактов в области принципиальных исследований иногда неуместен. Здесь с полным правом и смыслом можно ответить на

упрек в несоответствии идеи и фактов: тем хуже для фактов. В данном случае — тем хуже для наук, если они находятся в тоЙ фазе развития, когда они не доросли еще просто до общей науки. Если общей науки в этом смысле еще нет, отсюда не следует, что ее и не будет, что ее не должно быть, что нельзя и не надо положить ей начало. Поэтому надо рассматривать проблему по существу, в ее логической основе, а тогда можно будет уяснить себе и смысл исторического отклонения общей науки от ее абстрактной идеи.

По существу важно установить два тезиса.

1. Во всяком естественнонаучном понятии, как бы ни была высока степень его абстракции от эмпирического факта, всегда содержится сгусток, осадок конкретно-реальной действительности, из научного познания которой он возник, хотя бы и в очень слабом растворе, т. е. всякому, даже самому предельно отвлеченному, последнему понятию соответствует какая-то черта действительности, представленная в понятии в отвлеченном, изолированном виде; даже чисто фиктивные, не естественнонаучные, а математические понятия в конечном счете содержат в себе некоторый отзвук, отражение реальных отношений между вещами и реальных процессов, хотя они возникли не из опытного, реального знания, а чисто априорным, дедуктивным путем логических умозрительных операций. Даже такое отвлеченное понятие, как числовой ряд, даже такая явная фикция, как нуль, т. е. идея отсутствия всякой величины, как показал Энгельс, полны качественных, т. е. в конечном счете реальных, соответствующих в очень отдаленной и перегнанной форме действительным отношениям свойств. Реальность существует даже внутри мнимых абстракций математики. «16 есть не только суммирование 16 единиц, оно также квадрат от 4 и биквадрат от 2... Только четные числа делятся на два... Для деления на 3 мы имеем правило о сумме цифр... Для 7 особый закон» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 573). «Нуль уничтожает всякое другое число, на которое его умножают; если его сделать делителем или делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в бесконечно большое, а во втором случае — в бесконечно малое...» (там же, с. 576). Обо всех понятиях математики можно было бы сказать то, что Энгельс говорит о нуле со слов Гегеля: «Ничто от некоторого нечто есть некое *определенное* ничто» (там же, с. 577), т. е. в конечном счете реальное ничто. Но, может быть, эти качества, свойства, *определенности* понятий как таковых и никакого отношения к действительности не имеют?

Ф. Энгельс ясно говорит как об ошибке о мнении, будто в математике имеют дело с чистыми свободными творениями и созданиями человеческого духа, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих мнимых величин прообразы в природе. Молекула обладает по отношению к соответствующей массе совершенно теми же

самыми свойствами, какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной. «Природа оперирует этими дифференциалами, молекулами точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами» (там же, с. 583). В математике мы забываем все эти аналогии, и поэтому ее абстракции превращаются в нечто таинственное. Мы всегда можем найти «действительные отношения, из области которых заимствовано... математическое отношение... и даже наталкиваемся на имеющиеся в природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется в действии» (там же, с. 586). Прообразы математического бесконечного и других понятий лежат в действительном мире. «Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции» (там же).

Если это верно по отношению к математической абстракции, т. е. к максимально возможной, то насколько это очевиднее в приложении к абстракциям реальных естественных наук; их уже, конечно, надо объяснять только из действительности, из которой они заимствованы, а не из самих себя, не из абстракции.

2. Второй тезис, который необходимо установить, чтобы дать принципиальный анализ проблемы общей науки, обратный первому. Если первый утверждал, что в самой высокой научной абстракции есть элемент действительности, то второй как обратная теорема гласит: во всяком непосредственном, самом эмпирическом, самом сыром, единичном естественнонаучном факте уже заложена первичная абстракция. Факт реальный и факт научный тем и отличаются друг от друга, что научный факт есть опознанный в известной системе знания реальный факт, т. е. абстракция некоторых черт из неисчерпаемой суммы признаков естественного факта. Материалом науки является не сырой, но логически обработанный, выделенный по известному признаку природный материал. Физическое тело, движение, вещество — это все абстракции. Самое название факта словом есть наложение понятия на факт, выделение в факте его одной стороны, есть акт осмысления факта при помощи присоединения его к прежде опознанной в опыте категории явлений. Всякое слово есть уже теория, как давно заметили лингвисты и как прекрасно показал А. А. Потебня.

Все описываемое как факт — уже теория, вспоминает гётевское слово Мюнстерберг, обосновывая необходимость методологии (1922). Сказав, встретив то, что мы называем коровой: «Это — корова»,— мы к акту восприятия присоединяем акт мышления, подведения данного восприятия под общее понятие; ребенок, называя впервые вещи, совершает подлинные открытия. Я не вижу, что это есть корова, да этого и нельзя видеть. Я вижу нечто большое, черное, движущееся,

мычащее и т. д., а понимаю, что это есть корова, и этот акт есть акт классификации, отнесения единичного явления к классу сходных явлений, систематизация опыта и т. д. Так, в самом языке заложены основы и возможности научного познания факта. Слово и есть зародыш науки, и в этом смысле можно сказать, что в начале науки было слово.

Кто видел, кто воспринимал такие эмпирические факты, как скрытая теплота парообразования? Ни в одном реальном процессе ее воспринять непосредственно нельзя, но мы можем с необходимостью умозаключить об этом факте, но умозаключать — значит оперировать понятиями.

Хороший пример наличия во всяком научном факте абстракций и участия мышления находим у Энгельса. У муравьев иные глаза, чем у нас; они видят химические лучи, невидимые для нас. Вот факт. Как он установлен? Как можем мы знать, что «муравьи *видят* вещи, которые для нас невидимы»? Конечно, мы основываем это на восприятиях нашего глаза, но к нему присоединяются не только другие чувства, но и деятельность нашего мышления. Таким образом, установление научного факта есть уже дело мышления, т. е. понятий. «Разумеется, мы никогда не узнаем того, *в каком виде* воспринимаются муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 555) *.

Вот лучший пример несовпадения реального и научного фактов. Здесь это несовпадение представлено в особенно ярком виде, но существует в той или иной мере во всяком факте. Мы никогда не видели химических лучей и не воспринимали ощущений муравьев, т. е. как реальный факт непосредственного опыта ви́дение химических лучей муравьями не существует для нас, но для коллективного опыта человечества это существует как факт научный. Но что тогда сказать о факте вращения Земли вокруг Солнца? Ведь здесь факт реальный, чтобы стать фактом научным, должен был в мышлении человека превратиться в собственную противоположность, хотя вращение Земли вокруг Солнца установлено путем наблюдений вращения Солнца вокруг Земли.

Теперь мы вооружены для разрешения проблемы всем нужным и можем идти прямо к цели. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, и обратно: в основе каждого научного факта лежит понятие, то отсюда неизбежно следует, что различие между общими

* Заметим кстати, что на этом психологическом примере можно видеть, как не совпадают в психологии факт научный и факт непосредственного опыта. Оказывается, можно изучать, как видят муравьи, и даже как они видят невидимые для нас вещи, и не знать, какими эти вещи являются муравьям, т. е. возможно устанавливать психологические факты, отнюдь не исходя из внутреннего опыта, иначе говоря, не субъективно. Энгельс даже, видимо, считает это последнее для научного факта не важным: кто этим огорчается, говорит он, тому ничем нельзя помочь.

и эмпирическими науками в смысле объекта исследования чисто количественное, а не принципиальное, это различие степени, а не различие природы явления. Общие науки имеют дело не с реальными предметами, а с абстракциями; они изучают не растения и животных, а жизнь; их объект — научные понятия. Но и жизнь есть часть действительности, и эти понятия имеют прообразы в действительности. Частные науки имеют предметом реальные факты действительности, они изучают не жизнь вообще, а реальные классы и группы растений и животных. Но и растение, и животное, и даже береза и тигр, и даже *эта* береза и *этот* тигр — суть уже понятия, но и научные факты, самые первичные, суть уже понятия. Факт и понятие только в разной степени, в разной пропорции образуют объект и тех, и других дисциплин. Следовательно, общая физика не перестаёт быть физической дисциплиной и не становится частью логики оттого, что она имеет дело с самыми отвлеченными физическими понятиями; даже в них познается в конечном счете какой-то разрез действительности.

Но, может быть, природа объектов общей и частной дисциплины действительно одна и та же, может быть, они разнятся только пропорцией отношения понятия и факта, а принципиально различие, позволяющее относить одну к логике, а другую к физике, лежит в направленности, цели, в точке зрения обоих исследований, так сказать, в разной роли, которую одни и те же элементы играют в обоих случаях? Нельзя ли сказать так: и понятие, и факт участвуют в образовании объекта той и другой науки, но в одном случае — в случае эмпирической науки — мы пользуемся понятиями, чтобы познать факты, а во втором — в общей науке — мы пользуемся фактами, чтобы познать самые понятия? В первом случае понятие не есть предмет, цель, задача познания, они суть орудия познания, средства, вспомогательные приемы, но целью, предметом познания являются факты; в результате познания увеличивается число фактов, известных нам, а не число понятий; понятия же, напротив, как всякое орудие труда, изнашиваются от употребления, стираются, нуждаются в пересмотре, часто — в замене. Во втором случае, наоборот, мы изучаем самые понятия как таковые, их соответствие с фактами есть только средство, способ, прием, проверка их годности. В результате этого мы не узнаем новых фактов, но приобретаем или новые понятия, или новые знания о понятиях. Можно ведь дважды рассматривать каплю воды под микроскопом, и это будут два совершенно различных процесса, хотя и капля, и микроскоп будут те же оба раза: в первый раз мы при помощи микроскопа изучаем состав капли воды; во второй раз мы при помощи разглядывания капли воды проверяем годность самого микроскопа — разве не так?

Но вся трудность проблемы в том именно и заключается, что это не так. Верно, что в частной науке мы пользуемся понятиями как

орудиями познания фактов, но пользование орудиями есть вместе с тем их проверка, изучение и овладение ими, отбрасывание негодных, исправление, создание новых. Уже в самой первой стадии научной обработки эмпирического материала пользование понятием есть критика понятия фактами, сопоставление понятий, видоизменение их. Возьмем в качестве примера два приведенных выше научных факта, безусловно не принадлежащих к общей науке: вращение Земли вокруг Солнца и ви́дение муравьев. Сколько критической работы над нашими восприятиями и, значит, связанными с ними понятиями, сколько прямого исследования понятий — видимости — невидимости, кажущегося движения — сколько создания новых понятий, сколько новых связей между понятиями, сколько видоизменения самих понятий ви́дения, света, движения и пр. потребовалось для установления этих фактов! Наконец, самый выбор нужных для познания данных фактов понятий разве не требует, помимо анализа фактов, еще и анализа понятий? Ведь если бы понятия, как орудия, были заранее предназначены для определенных фактов опыта, то вся наука была бы излишня: тогда тысяча-другая чиновников-регистраторов или статистиков-счетчиков разнесли бы всю Вселенную по карточкам, графам, рубрикам Научное познание от регистрации факта отличается актом выбора нужного понятия, т. е. анализом факта и анализом понятия.

Любое слово есть теория; название предмета есть приложение к нему понятия. Правда, мы при помощи слова хотим осмыслить предметы. Но ведь каждое называние, каждое применение слова, этого эмбриона науки, есть критика слова, стирание его образа, расширение значения. Лингвисты показали достаточно ясно, как изменяются слова от употребления; иначе ведь язык никогда не обновлялся бы, слова бы не умирали, не рождались, не старели.

Наконец, всякое открытие в науке, всякий шаг вперед в эмпирической науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия. И. П. Павлов открыл факт условных рефлексов; но разве он не создал вместе с тем новое понятие; разве прежде называли рефлексом выдрессированное, выученное движение? Да иначе и быть не может: если бы наука только открывала факты, не расширяя тем границ понятий, то она не открывала бы ничего нового; она бы топталась на месте, находя все новые и новые экземпляры тех же понятий. Всякая новая крупица факта есть уже расширение понятия. Всякое вновь открытое отношение между двумя фактами сейчас же требует критики двух соответственных понятий и установления между ними нового отношения. Условный рефлекс есть открытие нового факта при помощи старого понятия. Мы узнали, что психическое слюноотделение возникает непосредственно из рефлекса, вернее, что оно есть тот же самый рефлекс, но действующий в иных условиях. Но вместе с тем это есть открытие нового понятия при помощи старого факта: при помощи всем известного факта «слюнки текут

при виде пищи» мы получили совершенно новое понятие рефлекса, наше представление о нем диаметрально изменилось; прежде рефлекс был синонимом допсихического, бессознательного, неизменного факта, ныне к рефлексам сводят всю психику, рефлекс оказался самым гибким механизмом и т. д. Как это было бы возможно, если бы Павлов изучал только факт слюноотделения, а не понятие рефлекса? В сущности, это одно и то же, но выраженное двояким образом, ибо во всяком научном открытии познание факта и есть в той же мере познание понятия. Научное исследование фактов тем и отличается от регистрации, что оно есть накопление понятий, оборот понятий и фактов с прибылью понятий.

Наконец, ведь в частных науках создаются все те понятия, которые изучает общая наука. Ведь не из логики берут свое начало естественные науки, не она снабжает их заранее готовыми понятиями. Так неужели же можно допустить, что работа по созданию понятий, все более и более абстрактных, происходит совершенно бессознательно? Как могут без критики понятий существовать теории, законы, враждующие гипотезы? Как вообще можно создать теорию или выдвинуть гипотезу, т. е. нечто выходящее за пределы фактов, без работы над понятиями?

Но тогда, может быть, исследование понятий в частных науках происходит попутно, между прочим, по мере изучения фактов, а общая наука изучает только понятия? И это было бы неверно. Мы видели, что абстрактные понятия, которыми оперирует общая наука, содержат в себе реальное ядро. Спрашивается: что же делает с этим ядром наука — отвлекается от него, забывает о нем, укрывается в неприступную твердыню абстракции, как чистая математика, и ни в процессе исследования, ни в его результате не обращается к этому ядру, как будто оно не существует вовсе? Стоит только рассмотреть способ исследования в общей науке и его конечный результат, чтобы увидеть, что это не так. Разве исследование понятий ведется путем чистой дедукции, путем нахождения логических отношений между понятиями, а не путем новой индукции, нового анализа, установления новых отношений,— одним словом, путем работы над реальными содержаниями этих понятий? Ведь мы не развиваем нашу мысль из частных предпосылок, как в математике, но мы индуцируем — обобщаем огромные группы фактов, сопоставляем их, анализируем, создаем новые абстракции. Так поступает общая биология, общая физика. И иначе не может поступать ни одна общая наука, раз логическая формула «*A* есть *B*» заменена в ней определением, т. е. реальными *A* и *B*: массой, движением, телом, организмом. И в результате исследования общей науки мы получаем не новые формы взаимоотношений понятий, как в логике, а новые факты: мы узнаем об эволюции, о наследственности, об инерции. Как же узнаем мы, каким путем доходим до понятия эволюции? Мы сопоставляем такие факты, как данные сравнительной анатомии

и физиологии, ботаники и зоологии, эмбриологии и фото- и зоотехники и т. д., т. е. поступаем так же, как поступают в частной науке с единичными фактами, и на основе нового изучения разработанных отдельными науками фактов устанавливаем новые факты, т. е. все время в процессе исследования и в его результате оперируем фактами.

Таким образом, различие в цели, направлении, обработке понятий и фактов общей и частной науки опять оказывается только количественным, различием в степени одного и того же явления, а не в природе одной и другой науки, не абсолютным, не принципиальным.

Перейдем, наконец, к положительному определению общей науки. Может показаться, что если различие между общей и частной наукой в предмете, способе и цели исследования только относительное, а не абсолютное, количественное, а не принципиальное, то мы теряем всякую почву для теоретического разграничения наук, может показаться, что никакой общей науки в отличие от частных и нет. Но это, конечно, не так. Количество здесь переходит в качество и дает начало качественно отличной науке, однако не вырывает ее из данной семьи наук и не переносит ее в логику. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, то это еще не значит, что во всяком научном понятии факт представлен одинаковым образом. В математическом понятии бесконечного действительность представлена совершенно иным способом, чем в понятии условного рефлекса. В понятиях высшего порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем в понятиях эмпирической науки. И этот способ, характер, форма представления действительности в разных науках определяют всякий раз структуру каждой дисциплины.

Но и это различие в способе представления действительности, т. е. в структуре понятий, тоже не следует понимать как абсолютное. Есть много переходных ступеней между эмпирической наукой и общей: ни одна наука, которая заслуживает этого имени, говорит Бинсвангер, не может «оставаться при простом накоплении понятий, она стремится скорее систематически преобразовать всякое понятие в правило, правила — в законы, законы в теории» (1922, с. 4). На всем протяжении научного знания внутри самой науки все время, не прекращаясь ни на минуту, идет разработка понятий, методов, теорий, т. е. совершается переход от одного полюса к другому — от факта к понятию — и этим стирается логическая пропасть, непроходимая черта между общей и частной наукой, но создается фактическая самостоятельность и необходимость общей науки. Как сама частная дисциплина внутри себя производит всю эту работу воронки фактов через правила в законы и законов через теории в гипотезы, так общая наука выполняет ту же работу, тем же способом, с теми же целями для ряда отдельных частных наук.

Это совершенно сходно с рассуждением Спинозы о методе. Уче-

ние о методах есть, конечно, производство средств производства, если взять сравнение из области промышленности. Но в промышленности производство средств производства не есть какое-то особое, изначальное производство, а есть часть общего процесса производства и само зависит от тех же способов и орудий производства, что и все прочее производство.

«Прежде всего необходимо отметить,— рассуждает Спиноза,— что здесь не будет иметь места исследование до бесконечности; другими словами, для того чтобы был найден наилучший метод для исследования истин, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и, чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода и т. д. до бесконечности; так как таким путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще ни к какому понятию. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда, где было бы возможно подобное же рассуждение: действительно, чтобы выковать железо, надобен молот; чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан; для этого нужно опять иметь молот и другие орудия; чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия, и т. д. до бесконечности; на этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо. Однако так же, как люди вначале, с помощью врожденных им орудий, сумели создать нечто весьма легкое, хотя с большим трудом и мало совершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее более трудное, уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством, и так, переходя постепенно от самых примитивных творений к орудиям труда, и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполнять весьма многое и в высшей степени трудное с незначительной затратой работы, точно так же и интеллект путем прирожденной ему силы создает себе интеллектуальные орудия, с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а путем этих последних — новые орудия или возможность к дальнейшим изысканиям, и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости») 1914, с. 81—84).

В сущности, и то течение в методологии, представителем которого является Бинсвангер, не может не признать, что производство орудий и творений не два отдельных процесса в науке, а две стороны одного и того же процесса, которые идут рука об руку. Вслед за Г. Риккертом он определяет всякую науку как обработку материала, и потому относительно каждой науки для него возникают две проблемы — материала и его обработки; однако нельзя строго разграничить то и другое, потому что в понятии предмета эмпирической науки содержится добрая доля обработки. И он различает между сырым материалом, действительным предметом и

научным предметом; последний создается наукой путем понятий из реального предмета (Бинсвангер, 1922, с. 7—8). Если выдвинуть третий круг проблем — об отношении между материалом и обработкой, т. е. между предметом и методом науки, то и здесь спор может идти только о том, что определено чем: предмет методом или наоборот. Одни, как К. Штумпф, полагают, что всякие различия в методах коренятся в различии между предметами. Другие, как Риккерт, держатся того мнения, что разные предметы, как физические, так и психические, требуют одного и того же метода (там же, с. 21—22). Но, как видим, и тут нет почвы для разграничения между общей и частной наукой.

Все это указывает только на то, что невозможно дать понятию общей науки абсолютное определение, ее можно определить только относительно частной науки. С этой последней ее не разделяет ни предмет, ни метод, ни цель, ни результат исследования. Но она проделывает для ряда частных наук, изучающих смежные сферы действительности с одной точки зрения, ту же самую работу и тем же самым способом и с той же самой целью, что каждая из частных наук проделывает внутри себя над своим материалом. Мы видели, что никакая наука не ограничивается простым накоплением материала, но что она подвергает его многообразной и многостепенной переработке, что она группирует, обобщает материал, создает теории, гипотезы, помогающие шире осмыслить действительность, что она освещена отдельными, разрозненными фактами. Общая наука продолжает дело частных наук. Когда материал их доведен до высшей степени обобщения, возможного в данной науке, тогда дальнейшее обобщение оказывается возможным только за пределы данной науки и в сопоставлении с материалом ряда соседних наук. Это и делает общая наука. Ее единственное отличие от частных наук только в том, что она ведет работу по отношению к ряду наук; если бы она вела ту же работу в отношении одной науки, она никогда не выделилась бы в самостоятельную дисциплину, а осталась бы частью внутри той же науки. Общую науку поэтому можно определить как науку, получающую материал из ряда частных наук и производящую дальнейшую обработку и обобщение материала, невозможные внутри каждой отдельной дисциплины.

Общая наука поэтому так относится к частной, как теория этой частной науки — к ряду ее частных законов, т. е. по степени обобщения изучаемых явлений. Общая наука возникает из необходимости продолжать дело частных наук там, где частная наука кончается. Общая наука относится к теориям, законам, гипотезам, методам частных наук так, как частная наука относится к фактам действительности, которые она изучает. Биология получает материал разных наук и обрабатывает его так, как каждая частная наука обрабатывает свой материал. Вся разница в том, что биология начинается там, где кончается эмбриология, зоология, анатомия и т. п.,

что она сводит в единство материал разных наук, как наука сводит в единство разный материал внутри себя.

Эта точка зрения вполне объясняет и логическую структуру общей науки, и фактическую, историческую роль общей науки. Если же принять противоположное мнение о том, что общая наука есть часть логики, то станет совершенно необъяснимо, во-первых, почему общую науку выделяют высокоразвитые науки, успевшие создать и разработать до тонкости свои методы, основные понятия, теории. Казалось бы, что новые, молодые, начинающие дисциплины должны больше нуждаться в заимствовании понятий и методов из другой науки. Во-вторых, почему только группа соседних дисциплин выделяет общую, а не каждая наука в отдельности — только ботаника, зоология, антропология выделяют биологию? Разве нельзя составить логику зоологии отдельно, логику ботаники отдельно, как есть логика алгебры? И действительно такие отдельные дисциплины могут существовать и существуют, но оттого они не становятся общими науками, как методология ботаники не становится биологией.

Л. Бинсвангер исходит, как и все направление, из идеалистической концепции научного знания, т. е. из идеалистических предпосылок гносеологического характера, и из формально-логической конструкции системы наук. Для Бинсвангера понятия и реальные объекты разделены непроходимой пропастью, знание имеет свои законы, свою природу, свое априори, которые оно (знание) привносит в познанную действительность. Поэтому для Бинсвангера возможно изучать эти априори, законы, знания оторванно, изолированно от познаваемого в них, для него возможна критика научного разума в биологии, психологии, физике, как для Канта была возможна критика чистого разума. Бинсвангер готов допустить, что метод познания определяет действительность, как у Канта разум диктовал законы природе. Отношения между науками для него определяются не историческим развитием наук и даже не требованиями научного опыта, т. е. в конечном счете требованиями самой познаваемой в науке действительности, а формально-логической структурой понятий.

На иной философской почве такая концепция немыслима, т. е. если отказаться от этих гносеологических и формально-логических предпосылок, так сейчас же падает и эта концепция общей науки. Стоит только встать на реалистически-объективную, т. е. материалистическую точку зрения в гносеологии и на диалектическую точку зрения в логике, в теории научного знания, как подобная теория окажется невозможной. Вместе с новой точкой зрения сейчас же приходится признать, что действительность определяет наш опыт, предмет науки, ее метод и что совершенно невозможно изучать понятия какой-либо науки безотносительно к представленным в них реальностям.

Ф. Энгельс множество раз указывал на то, что для диалектической логики методология науки есть отражение методологии действительности. «*Классификация наук*,— говорит он,— из которых каждая анализирует отдельную форму движения или ряд связанных между собой и переходящих друг в друга форм движения, является вместе с тем классификацией, расположением, согласно внутренне присущей им последовательности, самих этих форм движения, и в этом именно и заключается ее значение» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 564—565). Можно ли сказать яснее? Классифицируя науки, мы устанавливаем иерархию самой действительности. «Так называемая *объективная* диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей...» (там же, с. 526). Здесь уже ясно выдвигается требование учета объективной диалектики природы при исследовании субъективной диалектики, т. е. диалектического мышления в той или иной науке. Конечно, это отнюдь не значит, что мы закрываем глаза на субъективные условия этого мышления. Тот же Энгельс, который установил согласие между бытием и мышлением в математике, говорит, что «все числовые законы зависят от положенной в основу системы и определяются ею. В двоичной и троичной системе 2×2 не$=4$, а$=100$ или 11» (там же, с. 574). Расширив это, можно сказать, что субъективные допущения, делаемые знанием, всегда скажутся на способе выражения законов природы и на соотношении между отдельными понятиями, и их надо учитывать, но все время как отражения объективной диалектики.

Таким образом, гносеологической критике и формальной логике как основам общей психологии должна быть противопоставлена диалектика, которая «рассматривается как наука о наиболее общих законах *всякого* движения. Это означает, что ее законы должны иметь силу как для движения в природе и человеческой истории, так и для движения мышления» (там же, с. 582). Это значит, что диалектика психологии — так мы теперь кратко можем обозначить общую психологию против определения Бинсвангера «критика психологии»— есть наука о наиболее общих формах движения (в форме поведения и познания этого движения), т. е. диалектика психологии есть вместе с тем и диалектика человека как предмета психологии, как диалектика естествознания есть вместе с тем диалектика природы.

Даже чисто логическую классификацию суждений у Гегеля Энгельс рассматривает как обоснованную не только мышлением, но законами природы. В этом и видит он отличительную черту диалектической логики. «...То, что у Гегеля является развитием мыслительной формы суждения как такового, выступает здесь перед нами как развитие наших, покоящихся на *эмпирической* основе, теоретических знаний о природе движения вообще. А ведь это показывает, что законы мышления и законы природы необходимо согласуются

между собой, если только они надлежащим образом познаны» (там же, с. 539—540). В этих словах — ключ к общей психологии как части диалектики: это согласие мышления и бытия в науке есть одновременно и предмет, и высший критерий, и даже метод, т. е. общий принцип общей психологии.

6

Общая психология относится к частным дисциплинам так же, как алгебра к арифметике. Арифметика оперирует с определенными, конкретными количествами; алгебра изучает всевозможные общие формы отношений между качествами; следовательно, каждая арифметическая операция может быть рассматриваема как частный случай алгебраической формулы. Отсюда, очевидно, следует, что для каждой частной дисциплины и для каждого закона в ней далеко не безразлично, частным случаем какой общей формулы они являются. Принципиально определяющая и как бы верховная роль общей науки проистекает не из того, что она стоит над науками, не сверху — из логики, т. е. из последних основ научного знания, а снизу — из самих же наук, которые делегируют свою санкцию истины в общую науку. Общая наука возникает, следовательно, из особого положения, которое она занимает по отношению к частным: она суммирует их суверенитеты, является их носительницей. Если представить себе систему знания, охватываемого всеми психологическими дисциплинами, графически в виде круга, то общая наука будет соответствовать центру окружности.

Теперь предположим, что мы имеем несколько разных центров, как в случае спора отдельных дисциплин, претендующих на то, чтобы быть центром, или в случае притязания различных идей на значение центрального объяснительного принципа. Совершенно ясно, что им будут соответствовать и различные окружности; при этом каждый новый центр является вместе с тем периферической точкой прежней окружности, следовательно, мы получим несколько окружностей, взаимно пересекающихся. Вот это новое расположение всякой окружности будет графически представлять в нашем примере особую область знания, охватываемую психологией в зависимости от центра, т. е. от общей дисциплины.

Кто станет на точку зрения общей дисциплины, т. е. пойдет к фактам частных дисциплин не как равный к равным, а как к научному материалу, как сами эти дисциплины подходят к фактам действительности, тот сейчас же сменит точку зрения критики на точку зрения исследования. Критика лежит в той же плоскости, что и критикуемое; она протекает всецело внутри данной дисциплины; ее цель — исключительно критическая, а не позитивная; она хочет узнать только, верна или неверна и в какой мере та или иная теория; она оценивает и судит, но не исследует. *А* критикует *В*,

но оба они занимают одну и ту же позицию по отношению к фактам. Дело меняется, когда *A* начинает относиться к *B* так, как *B* сам относится к фактам, т. е. не критиковать, а исследовать *B*. Исследование уже принадлежит общей науке; его задачи не критические, а положительные; оно хочет не оценить то или иное учение, но узнать нечто новое о самих фактах, представленных в учении. Если наука пользуется критикой как средством, то и течение [исследования.— *Ред.*], и результат его процесса все же принципиально отличаются от критического обсуждения. Критика, в конце концов, формулирует мнение о мнении, хотя бы и очень веско и солидно обоснованное мнение; общее исследование устанавливает, в конце концов, объективные законы и факты.

Только тот, кто поднимает свой анализ из плоскости критического обсуждения той или иной системы взглядов на высоту принципиального исследования средствами общей науки, только тот разберется в объективном смысле происходящего в психологии кризиса; для него откроется закономерность происходящего столкновения идей и мнений, обусловленная самим развитием науки и природой изучаемой действительности на данной ступени ее познания. Вместо хаоса разнородных мнений, пестрой разноголосицы субъективных высказываний для него раскроется стройный чертеж основных мнений развития науки, система объективных тенденций, с необходимостью заложенных в исторических задачах, выдвинутых ходом развития науки, и действующих за спиной отдельных исследователей и теоретиков с силой стальной пружины. Вместо критического обсуждения и оценки того или иного автора, вместо уличения его в непоследовательности и противоречиях он займется положительным исследованием того, чего требуют объективные тенденции науки; и вместо мнения о мнении он получит в результате чертежа скелет общей науки как системы определяющих законов, принципов и фактов.

Только такой исследователь овладеет настоящим и верным смыслом происходящей катастрофы и составит себе ясное представление о роли, месте и значении каждой отдельной теории или школы. Вместо неизбежного во всякой критике импрессионизма и субъективности он будет руководствоваться научной достоверностью и истинностью. Для него исчезнут (и это будет первый результат новой точки зрения) индивидуальные различия — он поймет роль личности в истории; поймет, что объяснять претензии рефлексологии на универсализм так же нельзя личными ошибками, мнениями, особенностями, незнанием ее создателей, как французскую революцию — испорченностью королей, двора. Он увидит, что́ и сколько зависит в развитии науки от доброй и злой воли ее деятелей, что можно из этой воли объяснить и что, напротив, в самой этой воле должно быть объяснено из объективных тенденций, действующих за спиной этих деятелей. Конечно, особенности личного творчества и всего

склада научного опыта определили ту форму универсализма, которую идея рефлексологии получила у Бехтерева; но и у Павлова, личный склад и научный опыт которого совершенно отличны, рефлексология— «последняя наука», «всемогущее естествознание», которое принесет «истинное, полное и прочное человеческое счастье» (1950, с. 17). И в разной форме тот же путь проделывают и бихевиоризм и гештальттеория. Очевидно, вместо мозаики добрых и злых воль исследователей надо изучать единство процессов перерождения научной ткани в психологии, которое и обусловливает волю всех исследователей.

7

Что именно означает зависимость каждой психологической операции от общей формулы, можно показать на примере любой проблемы, перерастающей за рамки частной дисциплины, выдвинувшей ее.

Когда Т. Липпс говорит о подсознательном, что это не столько психологический вопрос, сколько вопрос самой психологии, он имеет в виду, что подсознательное есть проблема общей психологии (1914). Он хотел этим сказать, конечно, не что иное, как то, что этот вопрос будет решен не в результате тех или иных частных исследований, а в результате принципиального исследования средствами общей науки, т. е. путем сопоставления обширнейших данных самых разнородных областей науки; путем соотнесения данной проблемы с некоторыми основными предпосылками научного знания, с одной стороны, и с некоторыми самыми обобщенными результатами всех наук — с другой; путем нахождения места этого понятия в системе основных понятий психологии; путем фундаментально диалектического анализа природы этого понятия и отвечающей ему, абстрагированной в нем черты бытия. Это исследование предшествует логически всякому конкретному исследованию частных вопросов подсознательной жизни и определяет постановку самого вопроса в таких исследованиях.

Как прекрасно сказал Мюнстерберг, защищая необходимость такого исследования для другого круга проблем: «В конце концов лучше получить приблизительно точный предварительный ответ на правильно поставленный вопрос, чем отвечать на ложно поставленный вопрос с точностью до последнего десятичного знака» (1922, с. 6). Правильная постановка вопроса есть не меньшее дело научного творчества и исследования, чем правильный ответ,— и гораздо более ответственное дело. Огромное большинство современных психологических исследований с величайшей заботливостью и точностью выписывает последний десятичный знак в ответе на вопрос, который в корне ложно поставлен.

Примем ли мы вместе с Мюнстербергом, что подсознательное есть просто физиологическое, а не психологическое; или согласимся

с другими говорить как о подсознательных о явлениях, временно отсутствующих в сознании, как о всей массе потенциально сознательных воспоминаний, знаний, навыков; назовем ли мы подсознательными явления, не достигающие порога сознания или минимально сознательные, периферические в поле сознания, автоматические и несознаваемые; найдем ли в основе подсознательного вытеснение стремления сексуального порядка вместе с Фрейдом или наше второе *я*, особую личность; наконец, назовем ли эти явления бес-, под- или сверхсознательными или примем все три названия, как Штерн,— от всего этого существенно переменится и характер, и круг, и состав, и природа, и свойства того материала, который мы будем изучать. Вопрос отчасти предопределяет ответ.

Вот этого чувства системы, ощущения стиля, понимания связи и обусловленности каждого частного положения центральной идеей всей системы, в которую оно входит, лишены все те, эклектические по существу, попытки объединения разнородных и разноприродных по научному происхождению и составу частей двух или больше систем. Таковы, например, синтез бихевиоризма и фрейдизма в американской литературе; фрейдизм без Фрейда в системах А. Адлера и К. Юнга; рефлексологический фрейдизм Бехтерева и А. Б. Залкинда; наконец, попытки соединения фрейдизма и марксизма (А. Р. Лурия, 1925; Б. Д. Фридман, 1925). Столько примеров только из области проблемы подсознательного! Во всех этих попытках берется хвост от одной системы и приставляется к голове другой, в промежуток вдвигается туловище от третьей. Не то, чтобы они были неверны, эти чудовищные комбинации, они верны до последнего десятичного знака, но вопрос, на который они хотят ответить, поставлен ложно. Можно количество жителей Парагвая умножить на число верст от Земли до Солнца и полученное произведение разделить на среднюю продолжительность жизни слона и безупречно провести всю операцию, без ошибки в одной цифре, и все же полученное число может ввести в заблуждение того, кто захочет узнать, каков национальный доход этой страны. То, что делают эклектики, значит давать на вопрос, поставленный марксистской философией, ответ, подсказанный фрейдистской метапсихологией.

Чтобы показать методологическую незаконность подобных попыток, остановимся на трех типах сведения воедино чужого вопроса с чужим ответом, не думая вовсе исчерпать этими тремя типами все многообразие таких попыток.

Первый способ ассимиляции какой-нибудь школой научных продуктов другой области состоит в прямом перенесении законов, фактов, теорий, идей и т. п., в захвате более или менее обширной области, занятой другими исследователями, в аннексии чужой территории. Такой политикой прямого захвата живет обычно всякая новая научная система, распространяющая влияние на соседние дисциплины и претендующая на руководящую роль общей науки.

Своего материала оказывается слишком мало, и такая система вбирает в себя, подчиняет себе с небольшой критической переработкой чужеродные тела, заполняя чем-либо пустоту широко развитых границ. Обычно получается конгломерат научных теорий, фактов и т. п., с ужасающей произвольностью втиснутый в рамки объединяющей идеи.

Такова система рефлексологии В. М. Бехтерева. Для него годится все: даже теория А. И. Введенского о непознаваемости чужого *я*, т. е. крайнее выражение солипсизма и идеализма в психологии, лишь бы эта теория ближайшим образом подтверждала его частное положение о необходимости объективного метода. То, что в общем смысле всей системы она пробивает зияющую брешь, подрывая основы реалистического подхода к личности, до этого автору нет дела (заметим, кстати, что Введенский также подкрепляет себя и свою теорию ссылкой на работы... Павлова, не понимая, что, обращаясь за помощью к системе объективной психологии, он протягивает руку своему могильщику). Но для методолога глубоко знаменательно, что антиподы, как Введенский — Павлов и Бехтерев — Введенский, не только отрицают друг друга, но необходимо предполагают существование один другого и видят в совпадении своих выводов свидетельство «надежности этих выводов». Для этого третьего [т. е. для методолога.— *Ред.*] ясно, что это есть не совпадание в выводах, полученных вполне независимо друг от друга представителями разных специальностей, например философом Введенским и физиологом Павловым, а совпадение в исходных, отправных точках зрения, в философских предпосылках дуалистического идеализма. Это «совпадение» предопределено с самого начала: Бехтерев предполагает Введенского, если прав один, прав и другой.

Принцип относительности А. Эйнштейна[12] и принципы ньютоновой механики, несовместимые сами по себе, отлично уживаются в эклектической системе. В «Коллективной рефлексологии» Бехтерева собран положительно каталог мировых законов. При этом для методологии системы характерен тот разгон или разбег мысли, та основная инерция идеи, которая прямым сообщением, минуя все промежуточные инстанции, приводит нас от закона пропорционального соотношения скорости движения с движущей силой, установленного в механике, к факту вовлечения Североамериканских Соединенных Штатов в великую европейскую войну и обратно — от опыта некоего д-ра Шварцмана о пределах частоты электрокожных раздражений, допускающих образование сочетательного рефлекса, к «всеобщему закону относительности, проявляющемуся везде и всюду и получившему окончательное завершение в отношении небесных светил и планет в блестящих исследованиях Эйнштейна» (В. М. Бехтерев, 1923, с. 344).

Нечего и говорить, что аннексия психологических областей производится так же безапелляционно и мужественно. Исследова-

ния вюрцбургской школы высших мыслительных процессов, как и результаты исследований других представителей субъективной психологии, «могут быть согласованы со схемой мозговых или сочетательных рефлексов» (там же, с. 387). Нужды нет, что одной этой фразой зачеркиваются все принципиальные предпосылки собственной системы: ведь если все можно согласовать со схемой рефлекса и все «стоит в полном соответствии» с рефлексологией — даже то, что открыто субъективной психологией, то зачем ополчаться на нее? Открытия, сделанные в Вюрцбурге, сделаны по методу, который, по Бехтереву, не ведет к истине; однако они стоят в полном соответствии с объективной истиной. Как же так?

Так же беззаботно аннексируется и территория психоанализа. Для этого достаточно заявить, что «в учении о комплексах К. Юнга мы находим полное соответствие с данными рефлексологии»; но ведь строкой выше указано, что это учение основано на субъективном анализе, отвергаемом Бехтеревым. Ничего: мы в мире предустановленной гармонии, чудесного соответствия, удивительного совпадения учений, основанных на ложных анализах, и данных точных наук, точнее — мы в мире «терминологических революций», по слову П. П. Блонского (1925 а, с. 226).

Вся наша эклектическая эпоха полна таких же совпадений. А. Б. Залкиндом, например, те же области психоанализа и учения о комплексах аннексируются во имя доминанты. Оказывается, что психоаналитическая школа только «в наших выражениях и другим методом» развивала те же понятия о доминанте— совершенно независимо от рефлексологической школы. «Комплексная направленность» психоаналитиков, «стратегическая установка» адлеристов — это те же доминанты, но не в общефизиологических, а в клинических, общетерапевтических формулировках. Аннексия — механическое перенесение кусков чужой системы в свою — в этом случае, как и всегда, кажется почти чудесной и свидетельствует об истине. Подобное, «почти чудесное» теоретическое и деловое совпадение двух учений, работающих над резко отличным материалом и совершенно разными методами, является убедительным подтверждением правильности того основного пути, по которому идет современная рефлексология *. Мы помним, что Введенский в своем совпадении с

* Любопытно, что Бехтерев видит субъективное соответствие доминанте совершенно в другой области; при описании школы Юнга и Фрейда и комплексных установок он находит, конечно, тоже полное совпадение с данными рефлексологии, но не с доминантой. А доминанте соответствуют явления, описанные вюрцбургской школой, т. е. он, несомненно, «участвует в процессах логики» и коррелирует с понятием детерминирующей тенденции (1923, с. 386). Диапазон несовпадения отдельных совпадений (доминанта то равна комплексу, то — детерминирующей тенденции, то вниманию — у А. А. Ухтомского) лучше всего свидетельствует о пустоте, никчемности, бесплодности и полной произвольности таких совпадений.

Павловым видел тоже свидетельство истины своих положений. И еще: совпадение это свидетельствует, как неоднократно показывал Бехтерев, о том, что совершенно разными методами можно прийти к совпадающей истине. В сущности, совпадение это свидетельствует только о методологической беспринципности и эклектизме системы, внутри которой такое совпадение устанавливается. Кто берет чужой платок, берет и чужой запах, гласит восточная пословица; кто берет у психоаналитиков — учение о комплексах Юнга, катарсис Фрейда, стратегическую установку Адлера,— тот берет и добрую долю запаха этих систем, т. е. философского духа авторов.

Если первый способ перенесения чужих идей из одной школы в другую напоминает аннексию чужой территории, то второй способ сравнивания чужеродных идей похож на союзный договор двух стран, при котором обе не теряют самостоятельности, но уславливаются действовать сообща, исходя из общности интересов. Этот способ применяется обычно для сведения воедино марксизма и фрейдизма. Автор пользуется при этом методом, который, по аналогии с геометрией, можно было бы назвать методом логического наложения понятий. Система марксизма определяется как монистическая, материалистическая, диалектическая и т. д. Затем устанавливается монизм, материализм и т. д. системы Фрейда; понятия при наложении совпадают, и системы объявляются сращенными. Очень грубые, резкие, бьющие в глаза противоречия устраняются весьма элементарным путем: они просто исключаются из системы, объясняются преувеличением и т. п. Так, десексуализируется фрейдизм, потому что пансексуализм явно не вяжется с философией Маркса. Что ж, говорят нам, примем фрейдизм без учения о сексуальности. Но ведь именно это учение составляет нерв, душу, центр всей системы. Можно ли принять систему без ее центра? Ведь фрейдизм без учения о сексуальной природе бессознательного — все равно что христианство без Христа или буддизм с Аллахом.

Было бы, конечно, историческим чудом, если бы на Западе, на совершенно других философских корнях, в совершенно иной культурной обстановке, возникла и сложилась готовая система марксистской психологии. Это означало бы, что философия вовсе не определяет развитие науки. Видите же: исходили от Шопенгауэра [13], а создали марксистскую психологию. Но ведь это означало бы полную бесплодность самой попытки сращивания фрейдизма и марксизма, как успех бехтеревского совпадения означал бы банкротство объективного метода: если данные субъективного анализа совпадают вполне с данными объективного, то чем, спрашивается, субъективный анализ хуже? Если Фрейд, сам того не зная, думая о других философских системах и сознательно примыкая к ним, создал все же марксистское учение о психике, то во имя чего, спрашивается, нарушать это плодотворнейшее заблуждение: ведь менять, по мне-

нию этих авторов, ничего у Фрейда не надо, для чего же сращивать психоанализ с марксизмом? При этом возникает и такой любопытный вопрос: как это система, насквозь совпадающая с марксизмом, логически развиваясь, поставила во главу угла идею сексуальности, явно непримиримую с марксизмом? Неужели метод ни в малой степени не ответствен за полученные при его помощи выводы и каким образом истинный метод, создавший истинную систему, основанную на истинных предпосылках, привел его авторов к ложной теории, к ложной центральной идее? Надо обладать большой дозой методологической беззаботности, чтобы не видеть этих проблем, возникающих неизбежно при всякой механической попытке переместить центр какой-либо научной системы — в данном случае с учения Шопенгауэра о воле как основе мира в учение Маркса о диалектическом развитии материи.

Но худшее ждет нас еще впереди. При таких попытках приходится просто закрывать глаза на противоречащие факты, опускать без внимания огромнейшие области, капитальные принципы и вносить чудовищные искажения в обе сводимые воедино системы. При этом проделываются в обеих системах такие преобразования, которыми оперирует алгебра, чтобы доказать тождество двух выражений. Но преобразование вида сводимых систем, оперирующее с величинами, абсолютно несхожими с алгебраическими, на деле сводится всегда к искажению сущности этих систем.

Например, в статье А. Р. Лурия психоанализ раскрывается как «система монистической психологии», методология которой «совпадает с методологией» марксизма (1925, с. 55). Для того чтобы доказать это, проделывается ряд наивнейших преобразований обеих систем, в результате которых они «совпадают». Рассмотрим кратко эти преобразования. Раньше всего марксизм вдвигается в общую методологию эпохи, наряду с Дарвином, Кантом, Павловым, Эйнштейном, которые все вместе создают общий методологический фундамент эпохи. Роль и значение каждого из этих авторов, конечно, глубоко и принципиально различны, абсолютно отлична от них роль диалектического материализма по самой своей природе; не видеть этого — значит вообще механически выводить методологию из суммы «крупных научных достижений». Привести к одному знаменателю все эти имена и марксизм — и уже нетрудно соединить с марксизмом любое «крупное научное достижение», потому что такова ведь именно предпосылка: именно в ней, а не в выводе содержится искомое «совпадение». «Основная методология эпохи» состоит из суммы открытий Павлова, Эйнштейна и т. д.; марксизм есть одно из таких открытий, входящее в «группу обязательных для всех смежных наук принципов» — на этом, т. е. на первой странице, можно было бы все рассуждение и кончить: стоило только рядом с Эйнштейном назвать и Фрейда — ведь и он «крупное научное достижение», значит — участник «общего методологического фундамента эпохи».

Но сколько нужно некритического доверия к научным именам, чтобы из суммы громких фамилий выводить методологию эпохи!

Единой основной методологии эпохи нет, а на деле есть система борющихся, глубоко враждебных методологических принципов, исключающих друг друга, и у каждой теории — Павлова, Эйнштейна — есть своя методологическая ценность, и выносить за скобки общую методологию эпохи и растворять в ней марксизм — значит преобразовывать не только вид, но и сущность марксизма.

Но таким же преобразованиям неизбежно подвергается и фрейдизм. Сам Фрейд был бы очень удивлен, узнав, что психоанализ — система монистической психологии и что он «методологически продолжает... исторический материализм» (Б. Д. Фридман, 1925, с. 159). Ни один психоаналитический журнал, конечно, не напечатал бы статей Лурия и Фридмана. Это глубоко важно. Ведь получается очень странное положение: Фрейд и его школа нигде не заявляют себя ни монистами, ни материалистами, ни диалектиками, ни продолжателями исторического материализма. А им заявляют: вы—и то, и другое, и третье; вы сами не знаете, кто вы. Конечно, такое положение можно себе представить, в нем нет ничего невозможного, но оно требует четкого выяснения методологических основ этого учения, как они представляются его авторам и ими развиты, а затем доказательного опровержения этих основ и указания на то, каким же чудом, из каких основ развил психоанализ систему чуждой его авторам методологии. Вместо этого без единого анализа основных понятий Фрейда, без критического взвешивания и просвечивания его предпосылок и исходных точек, без критического освещения генезиса его идей, даже без простой справки о том, как он сам представляет философские основы своей системы,— путем простого формально-логического наложения признаков утверждается тождество двух систем.

Но, может быть, эта формально-логическая характеристика двух систем верна? Мы видели уже, как извлекается из марксизма его доля в общей методологии эпохи, в которой все примерно и наивно приведено к одному знаменателю: раз и Эйнштейн, и Павлов, и Маркс — наука, значит, в них есть общий фундамент. Но еще бо́льшие искажения претерпевает при этом фрейдизм. Я не говорю уже о лишении его механическим способом центральной идеи, как то делает А. Б. Залкинд (1924); в его статье она обходится молчанием — тоже примечательно. Но вот монизм психоанализа — Фрейд стал бы с этим спорить. Где он, в каких словах, в связи с чем перешел на почву философского монизма, о котором идет речь в статье? Разве всякое сведение некоторой группы фактов к эмпирическому единству есть монизм? Напротив того, Фрейд везде стоит на почве признания психического — бессознательного как особой силы, не сводимой ни к чему другому. Далее, почему этот монизм материалистичен в философском смысле? Ведь медицинский материализм,

признающий влияние отдельных органов и т. п. на психические образования, еще очень далек от философского. Понятие его в философии марксизма имеет определенный, прежде всего гносеологический смысл; а именно гносеологически Фрейд стоит на почве идеалистической философии. Ведь это факт, не только не опровергнутый, но и не рассмотренный авторами «совпадения», что учение Фрейда о первичной роли слепых влечений, бессознательного, отражающегося в искаженном виде в сознании, восходит непосредственно к идеалистической метафизике воли и представления Шопенгауэра. В крайних своих выводах сам Фрейд отмечает, что он в гавани Шопенгауэра; но и в основных предпосылках, как и в определяющих линиях системы, он связан с философией великого пессимиста, как может показать простейший анализ.

И в «деловых» своих работах психоанализ обнаруживает глубоко статические, а не динамические, консервативные, антидиалектические и антиисторические тенденции. Он сводит высшие психические процессы — личные и коллективные — к примитивным, первобытным, в сущности доисторическим, дочеловеческим корням непосредственно, не оставляя места для истории. Творчество Ф. М. Достоевского раскрывается тем же ключом, что и тотем и табу первобытных племен; христианская церковь, коммунизм, первобытная орда — все в психоанализе выводится из одного источника. Что такие тенденции заложены в психоанализе, свидетельствуют все работы этой школы, трактующие проблемы культуры, социологии, истории. Мы видим, что здесь он не продолжает, а отрицает методологию марксизма. Но и об этом ни слова.

Наконец, третье. Вся психологическая система основных понятий Фрейда восходит к Т. Липпсу. Понятия бессознательного, психической энергии, связанной с определенными представлениями, стремлений как основы психики, борьбы стремлений и вытеснения, аффективной природы сознания и т. д. Иначе говоря, психологические корни Фрейда уходят в спиритуалистические пласты психологии Липпса. Как же можно, говоря о методологии Фрейда, не посчитаться нимало с этим?

Итак, откуда растет Фрейд и куда растет его система, мы видим: от Шопенгауэра и Липпса к Кольнаи и психологии масс [14]. Но нужна чудовищная натяжка, чтобы, прилагая систему психоанализа, умолчать о метапсихологии, о социальной психологии * , о теории сексуальности Фрейда. В результате человек, не знающий Фрейда, получил бы самое превратное представление о нем из такого изложения системы. Сам Фрейд протестовал бы прежде всего против

* Любопытно, что не только критики Фрейда создают за него новую социальную психологию, но и рефлексологи (А. Б. Залкинд) отклоняют попытки рефлексологии «проникнуть в область социальных явлений, объяснить их собою», как и отдельные общефилософские ее притязания, как и метод исследования «кое-где» (А. Б. Залкинд, 1924).

названия системы. По его мнению, одно из величайших достоинств психоанализа и его автора — то, что он сознательно избегает системы (1925). Сам Фрейд отклоняет «монизм» психоанализа: он не настаивает на признании исключительности и даже первого места за открытыми им факторами; он не стремится вовсе «дать исчерпывающую теорию душевной жизни человека», но требует только, чтобы применяли его положения для дополнения и корректуры нашего знания, приобретенного любым иным путем (там же). В другом месте он говорит, что психоанализ характеризует его технику, а не предмет, в третьем — о временности психологической теории и замене ее органической.

Все это может легко ввести в заблуждение: может показаться, что психоанализ действительно не имеет системы и его данные можно вносить для корректуры и дополнения в любую систему знания, приобретенного любым путем. Но это глубоко неверно. Психоанализ не имеет априорной, сознательной теории-системы; как и Павлов, Фрейд слишком многое открыл, чтобы создать отвлеченную систему. Но как герой Мольера, сам того не подозревая, всю жизнь говорил прозой, так и Фрейд, исследователь, создавал систему: вводя новое слово, согласуя один термин с другим, описывая новый факт, делая новый вывод,— он везде попутно, шаг за шагом создавал систему. Это означает только, что структура его системы глубоко своеобразная, темная и сложная, в которой очень трудно разобраться. Гораздо легче ориентироваться в сознательных, отчетливых, освобожденных от противоречий, осознающих своих учителей, приведенных к единству и логической стройности методологических системах; гораздо труднее правильно оценить и вскрыть истинную природу бессознательных методологий, складывающихся стихийно, противоречиво, под различнейшими влияниями, а именно к таким принадлежит психоанализ. Поэтому психоанализ требует сугубо тщательного и критического методологического анализа, а не наивного наложения признаков двух различных систем.

«Человеку, не искушенному в научно-методологических вопросах,— говорит В. Н. Ивановский,— метод всех наук представляется одним и тем же» (1923, с. 249). Больше всего страдала от такого непонимания дела психология. Ее всегда приписывали то к биологии, то к социологии, но редко кто подходил к оценке психологических законов, теорий и т. п. с критерием психологической же методологии, т. е. с интересом к психологической научной мысли как таковой, к ее теории, ее методологии, ее источникам, формам и обоснованиям. И поэтому в нашей критике чужих систем, в оценке их истинности мы лишены самого главного: ведь правильная оценка знания в отношении его доказанности и несомненности может вытекать лишь из понимания его методологической обоснованности (В. Н. Ивановский, 1923). И поэтому правило сомневаться во всем, ничего не принимать на веру, спрашивать у всякого положения о

его основаниях и источниках знания есть первое правило и методология науки. Оно страхует нас от еще большей ошибки — не только считать метод всех наук одинаковым, но и состав каждой науки представлять себе как однородный.

«Каждая отдельная наука представляется неопытной мысли, так сказать, в одном плане: раз наука есть достоверное, несомненное знание, то все в ней должно быть достоверно; все ее содержание должно добываться и доказываться одним и тем же методом, дающим достоверное знание. Между тем на самом деле это вовсе не так: во всякой науке есть с несомненностью констатированные отдельные факты (и группы сходных фактов), неопровержимо установленные общие положения и законы, но есть и предположения, гипотезы, иногда имеющие временный, провизорный характер, иногда же отмечающие последние пределы нашего знания (в данную эпоху, по крайней мере); есть то более, то менее несомненные выводы из незыблемо установленных положений; есть построения, то расширяющие пределы нашего знания, то имеющие значение сознательно вводимых «фикций»; есть аналогии, приблизительные обобщения и т. д., и т. д. Наука разносоставна, и понимание этого факта имеет самое существенное значение для научной культуры человека. Каждое отдельное научное положение имеет свою собственную, ему только присущую и зависящую от способа и степени его методологической обоснованности степень достоверности, и наука — в методологическом освещении — представляет собой не одну сплошную однородную поверхность, а мозаику положений различных степеней достоверности» (там же, с. 250).

Вот 1) смешение метода всех наук (Эйнштейн, Павлов, О. Конт, Маркс), 2) сведéние всего разнородного состава научной системы в одну плоскость, «в одну сплошную однородную поверхность» и составляют основные ошибки второго способа сращивания систем. Сведéние личности к деньгам, чистоплотности, упрямству и еще 1000 разнообразных вещей к анальной эротике (А. Р. Лурия, 1925) еще не есть монизм; а по природе и степени достоверности смешивать это положение с принципами материализма есть величайшее заблуждение. Принцип, вытекающий из этого положения, общая идея, стоящая за ним, методологическое его значение, метод исследования, предписываемый им, глубоко консервативны: как каторжник к тачке, характер в психоанализе прикован к детской эротике, человеческая жизнь в самом существенном предопределена детскими конфликтами, она вся есть изживание эдипова комплекса и т. п., культура и жизнь человечества опять вплотную приближены к примитивной жизни. Вот это умение отделить ближайшее видимое значение факта от его истинного значения есть первое необходимое условие анализа. Я отнюдь не хочу сказать, что все в психоанализе противоречит марксизму. Я хочу сказать только, что этим вопросом по существу я и не занимаюсь здесь вовсе. Я указываю только на

то, как должно (методологически) и как нельзя (некритически) сращивать две системы идей.

При некритическом подходе каждый видит то, что он хочет видеть, а не то, что есть: марксист находит в психоанализе монизм, материализм, диалектику, которых там нет; физиолог, как А. К. Ленц, полагает, что «психоанализ — система, лишь по названию психологическая; в самом же деле он объективен, физиологичен» (1922, с. 69). А методолог Бинсвангер, кажется, единственный среди психоаналитиков, посвящая свою работу Фрейду, отмечает, что именно психологическое в его понимании, т. е. антифизиологическое, составляет заслугу Фрейда в психиатрии. «Но,— прибавляет он,— это знание не знает еще само себя, т. е. оно не обладает пониманием своих основных понятий, своего логоса» (1922, с. 5).

Поэтому особенно трудно изучать знание, которое еще не осознало себя и своего логоса. Это, конечно, отнюдь не значит, что бессознательное не следует изучать марксистам, так как основные концепции Фрейда противоречат диалектическому материализму, напротив, именно потому, что разрабатываемая психоанализом область разрабатывается негодными средствами, надо ее отвоевать для марксизма, надо ее разрабатывать средствами истинной методологии, ибо иначе, если бы в психоанализе все совпадало с марксизмом, то в нем нечего было бы менять, психологи могли бы его развивать именно в качестве психоаналитиков, а не марксистов. А для разработки надо прежде всего отдать себе отчет в методологической природе каждой идеи, каждого положения. И тогда при этом условии самые метапсихологические идеи могут быть интересны и поучительны, например учение Фрейда о влечении к смерти.

В предисловии, которое я предпослал переводу книги Фрейда на эту тему, я пытался показать, что при всей спекулятивной природе этого положения, при малой убедительности его фактических подкреплений (травматический невроз и повторение в детской игре неприятных переживаний), при всей головокружительной парадоксальности и противоречии с общепринятыми биологическими идеями, при явном совпадении в выводах с философией нирваны — при всем том, несмотря на все его конструктивное понятие, фиктивное построение влечения к смерти отвечает потребности современной биологии в овладении идеей смерти, как математика нуждалась в свое время в понятии отрицательного числа. Я выставил тезис, что понятие жизни в биологии доведено до большой ясности, наука им овладела, она знает, как с ним работать, как исследовать и понимать живое, но с понятием смерти она не справилась, на месте этого понятия зияет дыра, пустое место, она понимается только как контрадикторная противоположность жизни, как нежизнь, короче — небытие. Но смерть есть факт, имеющий и свой положительный смысл, она есть особый вид бытия, а не только небытие; она есть некоторое нечто, а не круглое ничто. И вот этого положительного смысла смер-

ти биология не знает. В самом деле, смерть есть всеобщий закон живого; невозможно себе вообразить, чтобы это явление не было ничем представлено в организме, т. е. в процессах жизни. Трудно поверить, чтобы смерть не имела смысла или имела только отрицательный смысл.

Сходное мнение высказывает Энгельс. Он ссылается на мнение Гегеля, что научна та физиология, которая не рассматривает смерть как существенный момент жизни, и не понимает, что отрицание жизни по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, а смертью объявляет, что диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится. «Жить значит умирать» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 611).

Именно эту мысль защищал я в упомянутом предисловии к книге Фрейда: необходимость с принципиальной точки зрения овладеть понятием смерти в биологии и обозначить — пусть пока алгебраическим «*x*» или парадоксальным «влечением к смерти» — то неизвестное еще, что несомненно существует, чем тенденция к смерти представлена в процессах организма. При всем том найденное Фрейдом решение этого уравнения я не объявил большим трактом в науке или дорогой для всех, но альпийской тропинкой над пропастями для свободных от головокружения. Я заявил, что науке нужны и такие книги: не открывающие истин, а учащие исканию истины, хотя бы и не найденной. Я там же со всей решительностью заявил, что значение этой книги не зависит от фактической проверки ее достоверности: принципиально она верно ставит вопрос. И для постановки таких вопросов, говорил я, нужно больше творчества, чем для очередного наблюдения по установленному образу в любой науке (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 1925).

И глубоким непониманием методологической проблемы, заключенной в этой оценке, полным доверием к внешним признакам идей, наивным и некритическим страхом перед физиологией пессимизма было суждение об этой книге одного из рецензентов, решившего сплеча: раз Шопенгауэр — значит пессимизм. Он не понял, что есть проблемы, до которых нельзя долететь, но надо дойти, хромая, и что в этих случаях не грех хромать, как откровенно говорит Фрейд. Но кто увидит в этом только хромоту, тот методологически слеп. Нетрудно ведь было бы указать, что Гегель идеалист, об этом воробьи кричат с крыш; нужна была гениальность, чтобы увидеть в этой системе идеализм, стоящий на голове материализма, т. е. методологическую правду (диалектику) отделить от фактической лжи, увидеть, что Гегель, хромая, шел к правде.

Таков — на единичном примере — путь к овладению научными идеями: надо подняться над их фактическим содержанием и испытать их принципиальную природу. Но для этого нужно иметь точку опоры вне этих идей. Стоя на почве этих же идей обеими ногами,

оперируя добытыми при их помощи понятиями, невозможно стать вне их. Чтобы критически отнестись к чужой системе, надо прежде всего иметь собственную психологическую систему принципов. Судить Фрейда в свете принципов, добытых у Фрейда же,— значит заранее оправдать его. И вот такой способ овладения чужими идеями образует третий тип соединения идей, к которому мы и переходим.

Опять на единичном примере легче всего вскрыть и показать характер нового методологического подхода. В лаборатории Павлова был поставлен для экспериментального разрешения вопрос о переводе следовых условных раздражителей и следовых условных тормозов в наличные условные раздражители. Для этого надо «изгнать торможение», выработанное при следовом рефлексе. Как это сделать? Для достижения этой цели Ю. П. Фролов прибегнул к аналогии с некоторыми приемами школы Фрейда. При разрушении тормозных устойчивых комплексов он воссоздавал именно ту обстановку, в которой эти комплексы были ранее выработаны. И опыт удался. Методологический прием, лежавший в основе этого опыта, я и считаю образцом правильного подхода к теме Фрейда и вообще к чужим положениям. Попытаемся описать этот прием. Прежде всего: проблема была выдвинута в ходе собственных исследований природы внутреннего торможения; задача поставлена, сформулирована и осознана в свете собственных принципов; теоретическая тема экспериментальной работы и ее значение были осмыслены в понятиях школы Павлова. Что такое следовой рефлекс — мы знаем, что такое наличный — тоже знаем; перевести один в другой — значит изгнать торможение и т. д., т. е. весь механизм процесса мыслим в совершенно определенных и однородных категориях. Аналогия с катарсисом имела чисто эвристическое значение: она укоротила путь собственных поисков и привела кратчайшим путем к цели. Но она принята только как допущение, которое немедленно было проверено опытом. И после решения собственной задачи автор делает третий и последний вывод о том, что явления, описываемые Фрейдом, допускают экспериментальную проверку на животных и ждут дальнейшей детализации по методу условных слюнных рефлексов.

Проверить Фрейда идеями Павлова — это совсем не то, что его же собственными идеями; но и эта возможность установлена не путем анализа, а путем эксперимента. Самое главное заключается в том, что, натолкнувшись в ходе собственных исследований на явления, аналогичные описанным школой Фрейда, автор ни на минуту не перешел на чужую почву, не положился на чужие данные, но продвинул, использовав их, вперед свое исследование. Его открытие имеет смысл, свою цену, свое место, свое значение в системе Павлова, а не Фрейда. В точке пересечения обеих систем, в точке их встречи, оба круга касаются — и одна их точка принадлежит сразу обеим, но ее место, смысл и цена определяются ее положением в первой системе. Этим исследованием сделано новое открытие, до-

быт новый факт, изучена новая черта — все в учении об условных рефлексах, а не в психоанализе. Так исчезло всякое «почти чудесное» совпадение!

Стоит только сравнить, как ту же оценку идей катарсиса для системы рефлексологии путем открытия словесного совпадения делает Бехтерев, чтобы увидеть всю глубину различия этих двух способов. Здесь соотношение двух систем тоже прежде всего устанавливается на катарсисе — ущемленном аффекте заторможенного мимико-соматического порыва. Разве это не разряд того рефлекса, который, будучи задержан, отягощал личность, делал ее самое «связанною», больною, тогда как с разрядом в форме рефлекса катарсиса происходит естественное разрешение болезненного состояния? «Разве выплаканное горе — не разряд задержанного рефлекса?» (В. М. Бехтерев, 1923, с. 380).

Здесь что ни слово — то перл. Мимико-соматический *порыв* — что может быть яснее и точнее? Избегая языка субъективной психологии, Бехтерев не побрезгал языком обывательским, отчего термин Фрейда едва ли стал яснее. Как это задержанный рефлекс «отягощал» личность, делал ее связанной? Почему выплаканное горе — разряд *задержанного* рефлекса; как быть, если человек плачет в самую минуту горя? Наконец, рядом утверждается ведь, что мысль есть заторможенный рефлекс, что сосредоточение, связанное с задержкой нервного тока, сопровождается сознательными явлениями. О спасительное торможение! Оно объясняет сознательные явления в одной главе и бессознательные — в следующей!

Все это ясно указывает на то, что в проблеме бессознательного надо различать методологическую и эмпирическую проблему, т. е. психологический вопрос и вопрос самой психологии,—то, с чего мы начали этот раздел. Некритическое соединение того и другого приводит к грубому искажению всего вопроса. Симпозиум о бессознательном (1912) показывает, что принципиальное решение этого вопроса выходит из границ эмпирической психологии и непременно бывает связано с общими философскими убеждениями. Примем ли мы вместе с Ф. Брентано, что бессознательного нет, или вместе с Мюнстербергом, что оно есть просто физиологическое, или с Шуберт-Зольдерном, что оно гносеологически необходимая категория, или с Фрейдом, что оно есть сексуальное — во всех этих случаях мы переступим в аргументации и выводах границы эмпирического исследования.

Из русских авторов Э. Дале оттеняет гносеологические мотивы, приведшие к образованию понятия бессознательного. Именно стремление отстоять самостоятельность психологии как объясняющей науки против узурпации физиологических методов и принципов лежит, по его мнению, в основе этого понятия. Требование, чтобы психическое объяснялось из психического, а не из физиологического, чтобы психология в анализе и описании фактов оставалась сама

собой, в своих собственных пределах, хотя бы для этого пришлось вступить на путь широких гипотез,— вот что породило понятие бессознательного. Дале отмечает, что психологические построения, или *гипотезы*, представляют собой только мысленное продолжение описания *однородных* явлений в одной и той же самостоятельной системе действительности. Задачи психологии и теоретико-познавательные требования предписывают ей бороться против узурпационных попыток физиологии при помощи бессознательного. Психическая жизнь протекает с перерывами, она полна пробелов. Что становится с сознанием во время сна, с воспоминаниями, которые мы сейчас не вспоминаем, с представлениями, которые мы сейчас не сознаем? Чтобы объяснить психическое из психического, чтобы не перейти в другую область явлений — в физиологию, чтобы восполнить перерывы, пробелы, пропуски в жизни психического, мы должны предположить, что они продолжают существовать в особом виде — бессознательно-*психического*. Такое понимание бессознательного как необходимого предположения и гипотетического продолжения и восполнения психического опыта развивает и В. Штерн (1924).

Э. Дале различает в проблеме две стороны: фактическую и гипотетическую, или методологическую, которая определяет познавательную, или методологическую, ценность категории подсознательного для психологии. Задача ее — выяснить смысл этого понятия, сферу обнимаемых им явлений и роль его для психологии как объясняющей науки. Вслед за Иерузалемом для автора это есть прежде всего категория, или прием мысли, без которого нельзя обойтись в объяснении душевной жизни, и потом уже — особая область явлений. Он совершенно правильно формулирует, что бессознательное есть понятие, создаваемое из данных несомненного психического опыта и на основе необходимого его гипотетического восполнения. Отсюда очень сложная природа каждого положения, оперирующего с этим понятием: в *каждом* положении надо различать, что в нем есть от данных несомненного психического опыта и что — от гипотетического восполнения и какова степень достоверности того и другого. В рассмотренных выше критических работах то и другое, обе стороны проблемы смешиваются: гипотеза и факт, принцип и эмпирическое наблюдение, фикция и закон, построение и обобщение — все смешано в одну общую кашу.

Самое важное — не рассмотрен основной вопрос: Ленц и Лурия уверяют Фрейда, что психоанализ — физиологическая система; но ведь сам Фрейд принадлежит к противникам физиологической концепции бессознательного. Дале совершенно прав, говоря, что этот вопрос о психологической или физиологической природе бессознательного есть *первая*, важнейшая фаза всей проблемы. Прежде чем описывать и классифицировать явления подсознательного во имя психологических задач, мы должны знать, оперируем ли мы при этом чем-то физиологическим или психическим, необходимо до-

казать, что бессознательное есть вообще психическая реальность. Иначе говоря, прежде чем решать проблему бессознательного как психологический вопрос, надо решить ее как вопрос самой психологии.

8

Еще ярче сказывается необходимость принципиальной разработки понятий в общей науке — в этой алгебре частных наук — и ее роль для частных дисциплин на заимствованиях из области *других* наук. Здесь, с одной стороны, мы имеем как будто лучшие условия для перенесения результатов одной науки в систему другой, потому что степень достоверности, ясности, принципиальной разработанности заимствуемого положения или закона обычно много выше, чем в описанных нами случаях. Например, мы вводим в систему психологического объяснения закон, установленный в физиологии, эмбриологии, биологический принцип, анатомическую гипотезу, этнологический пример, историческую классификацию и т. п. Положения и конструкции этих широко развитых, принципиально обоснованных наук, конечно, неизмеримо точнее разработаны методологически, чем положения психологической школы, разрабатывающей при помощи вновь созданных понятий, не приведенных в систему, совершенно новые области, например школы Фрейда, не осознавшей еще себя. Мы заимствуем в этом случае более выработанный продукт, оперируем с более определенными, точными и ясными величинами; опасности ошибки уменьшаются, вероятность успеха растет.

С другой стороны, так как привнесение здесь совершается из других наук, то материал оказывается более чужеродным, методологически разнородным и условия усвоения его становятся более затруднительными. Это облегчение и затруднение условий по сравнению с рассмотренными выше и составляют тот необходимый прием варьирования в анализе, который в теоретическом анализе заменяет реальное варьирование в эксперименте.

Остановимся на факте в высшей степени парадоксальном с первого взгляда, а потому очень удобном для анализа. Рефлексология, которая устанавливает во всех областях столь чудесные совпадения своих данных с данными субъективного анализа и которая хочет построить свою систему на фундаменте точного естествознания, удивительным образом вынуждена протестовать именно против перенесения естественнонаучных законов в психологию.

Н. М. Щелованов [16], исследуя методы генетической рефлексологии, с безусловной и неожиданной для его школы основательностью отвергает подражание естественным наукам в форме перенесения в субъективную психологию основных методов, применение которых в естествознании дало огромные результаты, но мало пригодные

для разработки проблем субъективной психологии *. И. Гербарт и Г. Фехнер [16] механически перенесли математический анализ, а В. Вундт — физиологический эксперимент в психологию. В. Прейер [17] выдвинул проблему психогенеза по аналогии с биологией, а затем С. Холлом и другими был заимствован в биологии принцип Мюллера — Геккеля и бесконтрольно применен не только как методологический принцип, но и как принцип объяснения «душевного развития» ребенка. Казалось бы, говорит автор, что можно возразить против применения испытанных и плодотворных методов? Но использование их возможно лишь в том случае, если проблема поставлена верно и метод отвечает природе изучаемого объекта. Иначе получается иллюзия научности (ее характерный пример — русская рефлексология). Естественнонаучное покрывало, которое, по выражению Й. Петцольда [18], набрасывается на самую отсталую метафизику, не спасло ни Гербарта, ни Вундта: ни математические формулы, ни точная аппаратура не спасли неточно поставленную проблему от неудачи.

Вспомним Мюнстерберга и его замечение о последнем десятичном знаке, выводимом в ответе на ложный вопрос. Биогенетический закон, разъясняет автор, в биологии является теоретическим обобщением массы фактов, а применение его в психологии есть результат поверхностной спекуляции, основанной исключительно на аналогии между различными областями фактов. (Не так ли рефлексология — без собственного исследования — путем аналогичной спекуляции берет с живого и мертвого — с Эйнштейна и с Фрейда готовые модели для своих построений?) И затем применение принципа не в качестве рабочей гипотезы, а готовой, будто бы научно установленной для данной области фактов теории в качестве объяснительного принципа увенчивает эту пирамиду ошибок.

Не будем входить, как и автор этого мнения, в рассмотрение вопроса по существу; он имеет богатую литературу, и русскую в том числе; рассмотрим его в качестве иллюстрации того, как многие ложно поставленные психологией вопросы приобретают видимость научности благодаря заимствованиям из естественных наук. Н. М. Щелованов в результате методологического анализа приходит к заключению, что генетический метод принципиально невозможен в эмпирической психологии и что из-за этого меняются соотношения между психологией и биологией. Но почему в детской психологии проблема развития получила ложную постановку, которая привела к колоссальной бесполезной затрате труда? По мнению Щелованова, психология детства не может дать ничего, кроме того, что уже содержится в общей психологии. Но общей психологии как единой системы нет, и эти теоретические противоречия делают невозмож-

* Аналогичные мысли подробно были развиты Щеловановым в его работе 1929 г.— *Примеч. ред.*

ной детскую психологию. Теоретические предпосылки в очень замаскированной форме и незаметно для самого исследователя вполне предопределяют весь способ обработки эмпирических данных, истолкование получаемых при наблюдении фактов в соответствии с теорией, которой придерживается тот или иной автор. Вот лучшее опровержение мнимого эмпиризма естественных наук. Благодаря этому, оказывается, нельзя переносить и факты из одной теории в другую: казалось бы, что факт есть всегда факт, что один и тот же объект — ребенок — и один и тот же метод — объективное наблюдение — только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Ошибается автор только в двух положениях.

Первая его ошибка заключается в том, что положительные результаты детская психология получала только при применении общебиологических, но не психологических принципов, как при развитой К. Гроосом теории игры. На самом деле это один из лучших образцов не заимствования, а чисто психологического, сравнительно-объективного изучения — методологически безукоризненного и прозрачного, внутренне последовательного — от первичного собирания и описания фактов до последних теоретических обобщений. Гроос дал биологии теорию игры, созданную психологическим методом, а не взял ее у биологии; он не решил свою проблему в биологическом свете, т. е. ставя себе и общепсихологические задачи. Верно, значит, как раз обратное: ценных результатов в теории детская психология достигала именно тогда, когда не заимствовала, а шла своим путем. Ведь против заимствований говорит все время автор. С. Холл, заимствовавший у Э. Геккеля, дал психологии ряд курьезов и натянутых бессмысленных аналогий, а Гроос, шедший своим путем, дал много той же биологии — не меньше закона Геккеля. Вспомним еще теорию языка Штерна, теорию детского мышления Бюлера и Коффки, теорию ступеней развития Бюлера, теорию дрессировки Торндайка: все это психология чистейшего стиля. Отсюда и неверное следствие: роль психологии детства, конечно, не сводится к накоплению фактических данных и к их предварительной классификации, т. е. к подготовительной работе. Как раз к этому может и должна неизбежно свестись роль логических принципов, которые развиты Щеловановым совместно с Бехтеревым. Ведь у новой дисциплины нет идеи детства, нет концепции развития, нет цели исследования, т. е. проблемы детского поведения и личности, но только принцип объективного наблюдения, т. е. хорошее техническое правило; однако этим оружием никто не открыл большой истины.

С этим связана и вторая ошибка автора: само непонимание положительного значения психологии и недооценка ее роли вытекает из наиважнейшего методологически-младенческого представления, будто изучать можно только то, что нам дано в непосредственном

опыте. Вся его «методологическая» теория построена на одном силлогизме: 1) психология изучает сознание, 2) в непосредственном опыте нам дано сознание взрослого; «эмпирическое изучение филогенетического и онтогенетического развития сознания невозможно»; 3) следовательно, детская психология невозможна.

Но это глубочайшее заблуждение, будто наука может изучать только то, что дано в непосредственном опыте. Как психолог изучает бессознательное, историк и геолог — прошлое, физик-оптик — невидимые лучи, филолог — древние языки? Изучением по следам, по влияниям, методом интерпретации и реконструкции, методом критики и нахождения значения создано не менее, чем методом прямого «эмпирического» наблюдения. В. Н. Ивановский разъяснил это прекрасно в методологии наук именно на примере психологии. Даже в науках экспериментальных непосредственный опыт играет все меньшую роль. М. Планк [19] говорит: объединение всей системы теоретической физики достигается благодаря освобождению от антропоморфных элементов, в частности от специфических чувственных ощущений. В учении о свете, замечает Планк, и вообще о лучистой энергии физика работает такими методами, что «человеческий глаз является при этом совершенно выключенным, он выступает только в качестве случайного, правда, очень чувствительного прибора, так как он воспринимает лучи внутри небольшой области спектра, едва достигающей ширины октавы. Для остального спектра выступают на месте глаза другие воспринимающие и измеряющие приборы, как, например, волновой детектор, термоэлемент, барометр, радиометр, фотографическая пластинка, ионизационная камера. Таким образом, отделение основного физического понятия от специфического чувственного ощущения произошло в оптике так же, как в механике, где понятие силы уже давно потеряло свою первоначальную связь с мускульными ощущениями» (1911, с. 8, 112—113).

Таким образом, физика изучает именно не видимое глазом; ведь, если согласиться вслед за автором (Н. М. Щеловановым.— *Ред.*) со Штерном, будто детство для нас навеки потерянный рай, будто вникнуть вполне и без остатка в особые свойства и структуру детской души нам, взрослым, уже невозможно, потому что она не дана нам в непосредственном переживании, то необходимо признать, что непосредственно недоступные нашему глазу лучи тоже навеки потерянный рай, испанская инквизиция — навеки потерянный ад и пр., и пр. Но в том-то и дело, что научное познание и непосредственное восприятие нимало не совпадают. Пережить детское впечатление мы так же не можем, как увидеть французскую революцию, но ведь ребенок, который переживает свой рай со всей непосредственностью, и современник, который своим глазом видел важнейшие эпизоды революции, несмотря на это, дальше нас от научного познания этих фактов. Не только науки о культуре, но и науки о природе

строят свои понятия принципиально независимо от непосредственного опыта; вспомним слова Энгельса о муравьях и о границах нашего глаза.

Как поступают науки при изучении того, что не дано нам непосредственно? Говоря общо, они его конструируют, воссоздают предмет изучения методом истолкования или интерпретации его следов или влияний, т. е. косвенно. Так, историк истолковывает следы — документы, мемуары, газеты и пр., и все же история есть наука именно о прошлом, реконструированном по его следам, но не о следах прошлого, о революции, а не о ее документах. Так же и в детской психологии: разве детство, детская душа, недоступная нам, не оставляет следов, не проявляется вовне, не открывается? Вопрос только в том, как, каким методом толковать эти следы — можно ли толковать их по аналогии со следами взрослого? И дело, значит, в том, чтобы найти правильное толкование, но не в том, чтобы отказаться от толкования вовсе. Ведь и историки знают не одно ошибочное построение, основанное на верных документах, но на ложных толкованиях. Что же за вывод отсюда? Неужели тот, что история — «навеки потерянный рай»? Но ведь та же логика, которая называет детскую психологию потерянным раем, та же логика заставляет сказать это и об истории. И если бы историк, или геолог, или физик рассуждали, как рефлексолог, они сказали бы: так как прошлое человечества и Земли для нас недоступно (детская душа) непосредственно, непосредственно же нам доступно только настоящее (сознание взрослого), многие же ложно толкуют прошлое по аналогии с настоящим или как маленькое настоящее (ребенок — маленький взрослый), то история и геология субъективны, невозможны; возможна только история настоящего времени (психология взрослого человека), а историю прошлого можно изучать только как науку о следах прошлого, о документах и т. п. как таковых, но не о прошлом, как таковом (приемами изучения рефлексов без всякого истолкования их).

В сущности, с этим догматом — о непосредственном опыте как о едином источнике и естественных пределах научного знания — стоит и падает вся теория и субъективного и объективного методов. Введенский и Бехтерев растут из одного корня: и тот и другой полагают, что изучать наука может только то, что дано в самонаблюдении, т. е. в непосредственном восприятии психологического. Одни, доверяя этому глазу души, строят всю науку применительно к его свойствам и границам его действия; другие, не доверяя ему, хотят изучать только то, что можно пощупать настоящим глазом. Поэтому я и говорю, что рефлексология методологически построена совершенно по тому же принципу, по которому историю надо было определить как науку о документах прошлого. Рефлексология, благодаря многим плодотворным принципам естественных наук, оказалась глубоко прогрессивным течением в психологии, но как теория ме-

тода она глубоко реакционна, потому что возвращает нас вспять к наивно-сенсуалистическому предрассудку, будто изучать можно только то и постольку, что и поскольку мы воспринимаем.

Точно так же как физика освобождается от антропоморфных элементов, т. е. от специфических чувственных ощущений, и работает так, что глаз оказывается совершенно выключенным, так же психология должна работать с понятием психического, чтобы непосредственное самонаблюдение было выключено, как выключено мускульное ощущение в механике и зрительное в оптике. Субъективисты полагают, что опровергли объективный метод, когда показали, что в понятиях поведения генетически содержатся зерна самонаблюдения — Г. И. Челпанов [20] (1925), С. В. Кравков [21] (1922), Ю. В. Португалов [22] (1925). Но генетическое происхождение понятия ничего не говорит о его логической природе: и понятие силы в механике восходит генетически к мускульному ощущению.

Вопрос о самонаблюдении есть технический вопрос, а не принципиальный: оно есть инструмент в ряду других инструментов, как глаз у физиков. Использовать его нужно в меру его полезности, но никаких принципиальных приговоров над ним — о границах познания, или достоверности, или природе знания, определяемых им,— выносить нельзя. Энгельс показал, как мало естественное устройство глаза определяет пределы познания световых явлений; Планк говорит то же от имени современной физики. Отделение основного психологического понятия от специфического чувственного ощущения — очередная задача психологии. При этом само это ощущение, само самонаблюдение должно быть объяснено (как и глаз) из постулата, метода и всеобщего принципа психологии, оно должно превратиться в частную проблему психологии.

Если так, возникает вопрос о природе истолкования, т. е. косвенного метода. Обычно говорят: история толкует следы прошлого, но физика наблюдает при помощи инструментов столь же непосредственно, как и глазом, невидимое. Инструменты суть удлиненные органы ученого: микроскоп, телескоп, телефон и пр. в конце концов делают предметом непосредственного опыта и видимым невидимое; физика не толкует, а видит.

Но это мнение ложно. Методология научного аппарата давно выяснила принципиально новую роль инструмента, которая не везде видна. Уже термометр может служить примером того принципиально нового, что вносит в метод науки пользование инструментом: на термометре мы читаем температуру; он не усиливает и не удлиняет ощущение теплоты, как микроскоп продолжает глаз, а эмансипирует нас вовсе от ощущения при изучении теплоты; термометром может пользоваться и лишенный этого чувства, а слепой не может пользоваться микроскопом. Термометрирование есть чистый образец косвенного метода: мы изучаем ведь не то, что мы видели (как в микроскоп), не подъем ртути, не расширение спирта,

а теплоту и ее изменения, обозначенные ртутью или спиртом; мы истолковываем показания термометра, мы реконструируем изучаемое явление по его следам, по его влиянию на расширение тела. Так же устроены и все инструменты, о которых говорит Планк как о средстве изучения невидимого. Толковать, следовательно,— значит воссоздавать явление по его следам и влияниям, основываясь на прежде установленных закономерностях (в данном случае — на законе расширения тел от нагревания). Никакой принципиальной разницы между пользованием термометром и толкованием в истории, психологии и т. д. нет. То же относится и ко всякой науке: она независима от чувственного восприятия.

К. Штумпф говорит о слепом математике Соудерсоне, написавшем учебник геометрии; А. М. Щербина[23] рассказывает, что его слепота не мешала ему объяснять зрячим оптику (1908). И разве все инструменты, упоминаемые Планком, не могут быть приспособлены для слепого, как уже есть часы, и термометры, и книги для слепых, так что оптикой мог бы заниматься и слепой: это вопрос техники, но не принципа.

К. Н. Корнилов[24] (1922) прекрасно показал: 1) расхождение в воззрениях на методическую сторону постановки эксперимента в значительной степени способствует возникновению конфликтов, которые ведут к образованию различных направлений в психологии, так же как различная философия хроноскопа из вопроса о том, в какой комнате помещать этот аппарат при опытах, сделала вопрос обо всем методе и обо всей системе психологии, разделившей школу В. Вундта от школы О. Кюльпе; 2) экспериментальный метод не внес ничего нового в психологию: для Вундта — он корректив самонаблюдения; для Н. Аха[25] — данные самонаблюдения можно контролировать только другими данными самонаблюдения, будто ощущение теплоты можно контролировать только другими ощущениями; для Дейхлера — в численных оценках заключена мера правильности интроспекции,— одним словом, эксперимент не расширяет познания, а контролирует его. Психология еще не имеет методологии своей аппаратуры и не поставила еще вопроса об аппарате, который освободил бы нас от интроспекции, как термометр, а не контролировал и усиливал бы ее. Философия хроноскопа есть более трудная вещь, чем его техника. Но о косвенном методе в психологии мы еще будем не раз говорить.

Г. П. Зеленый правильно указывает, что под словом «метод» у нас понимают две различные вещи: 1) методику исследования, технический прием и 2) метод познания, определяющий цель исследования, место науки и ее природу. В психологии метод субъективен, хотя методика может быть частично объективна; в физиологии метод объективен, хотя методика может быть частично субъективна, например в физиологии органов чувств. Эксперимент, прибавим, реформировал методику, но не метод. Отсюда за психологи-

ческим методом в естествознании он признает лишь значение диагностического приема.

В этом вопросе завязан узел всех методологических и собственных проблем психологии. Необходимость принципиально выйти за пределы непосредственного опыта есть вопрос жизни и смерти для психологии. Разграничить, разделить научное понятие от специфического восприятия можно только на почве косвенного метода. Возражение, будто косвенный метод уступает непосредственному, глубоко неверно в научном смысле. Именно потому что он освещает не полноту переживания, а лишь одну сторону, он совершает научную работу: изолирует, анализирует, выделяет, абстрагирует одну черту; ведь и в непосредственном опыте мы выделяем часть, подлежащую наблюдению. Кто огорчается тем, что мы не разделяем с муравьями непосредственного переживания химических лучей, тому ничем нельзя помочь, говорит Энгельс, зато мы лучше муравьев знаем природу этих лучей. Но не задача науки — вести к переживанию: иначе вместо науки достаточна была бы регистрация наших восприятий. Собственная же проблема психологии заключена тоже в ограниченности нашего непосредственного опыта, потому что вся психика построена по типу инструмента, который выбирает, изолирует отдельные черты явлений; глаз, который видел бы все, именно поэтому не видел бы ничего; сознание, которое сознавало бы все, ничего бы не сознавало, и самосознание, если бы сознавало все, не сознавало бы ничего. Наш опыт заключен между двумя порогами, мы видим лишь маленький отрезок мира; наши чувства дают нам мир в выдержках, извлечениях, важных для нас. Внутри порогов они опять отмечают не все многообразие применений, а переводят их опять через новые пороги. Сознание как бы прыжками следует за природой, с пропусками, пробелами. Психика выбирает устойчивые точки действительности среди всеобщего движения. Она есть островки безопасности в гераклитовом потоке. Она есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. В этом ее положительная роль — не в отражении (отражает и непсихическое; термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, т. е. субъективно искажать действительность в пользу организма.

Если бы мы видели все (без порогов абсолютных) и все изменения, не приостанавливающиеся ни на минуту (без порогов относительных), перед нами был бы хаос (вспомним, сколько предметов открывает нам микроскоп в капле воды). Чем был бы тогда стакан воды? а река? Пруд отражает все; камень, в сущности, реагирует на все. Но его реакция равна раздражению: causa alquat effectum. Реакция организма «дороже» — она не равна эффекту, она тратит потенциальные силы, она отбирает стимулы. Психика есть высшая форма отбора. Красное, синее, громкое, кислое — это мир, наре-

занный на порции. Задача психологии — выяснить, в чем польза того, что глаз не видит многого из известного в оптике. От низших форм реакции к высшим ведет как бы суживающееся отверстие воронки.

Было бы ошибкой думать, будто мы не видим того, что для нас биологически бесполезно. Разве бесполезно было бы нам видеть микробов? Органы чувств явно носят следы того, что они суть органы отбора в первую очередь. Вкус явно есть орган отбора при пищеварении, обоняние — часть дыхательного процесса: пограничные таможенные пункты для опробования входящих извне раздражений. Каждый орган берет мир cum grano salis — со своим коэффициентом спецификации, о котором говорил Гегель, как и показателем отношения, когда качество одного предмета определяет интенсивность и характер количественного воздействия другого качества. Поэтому есть полная аналогия между отбором глаза и дальнейшим отбором инструмента: и тот и другой суть органы отбора (то, что мы делаем в эксперименте). Так что выход научного познания за пределы восприятия коренится в самой психологической сущности познания.

Отсюда полное принципиальное тождество непосредственной очевидности и аналогии как методов усмотрения научной истины: и то и другое нужно подвергнуть критическому рассмотрению; и то и другое может обмануть и сказать правду. Очевидность вращения Солнца вокруг Земли обманывает нас; аналогия, на которой построен спектральный анализ, ведет к истине. На этом основании некоторыми справедливо защищалась законность аналогии как основного метода зоопсихологии. Это вполне допустимо, надо только указать условия, при соблюдении которых аналогия будет верна, до сих пор аналогия в зоопсихологии приводила к анекдотам и курьезам, потому что ее усматривали там, где ее по самому существу дела не может быть; однако она может привести и к спектральному анализу. Поэтому положение в физике и в психологии принципиально одно и то же — методологически, разница в степени.

Психический ряд дан нам как отрывок: куда исчезают и откуда появляются все элементы психической жизни? Мы вынуждены продолжить известный нам ряд предполагаемым. Именно в этом смысле вводит Г. Геффдинг это понятие, соответствующее понятию потенциальной энергии в физике; поэтому Лейбниц [26] ввел бесконечно малые элементы сознания. «Мы вынуждены продолжить в бессознательное жизнь сознания, чтобы не впасть в нелепость» (Г. Геффдинг, 1908, с. 87). Однако для Геффдинга «бессознательное есть предельное понятие науки», у этого предела мы можем «взвесить возможности» путем гипотезы, но «значительное расширение фактического знания здесь невозможно... Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком; только путем гипотезы есть возможность его дополнить» (там же).

Но и это уважение перед пределом науки кажется другим авторам недостаточным. О бессознательном дозволено утверждать только то, что оно существует; по самому определению оно не есть предмет опыта; доказывать его фактами наблюдения, как пытается Геффдинг, незаконно. У этого слова есть два смысла, есть два сорта бессознательного, которые не надо смешивать,— спор идет о двойном объекте: о гипотезе и о фактах, которые можно наблюдать.

Еще шаг в этом направлении — и мы вернемся к тому, с чего начали: к затруднению, которое заставило нас предположить бессознательное.

Окажется, что психология здесь поставлена в трагикомическое положение: хочу, но не могу. Она вынуждена принять бессознательное, чтобы не впасть в нелепость; но, принимая его, она впадает еще в большую нелепость и с ужасом бежит назад. Так человек, бегущий от зверя и встречающий еще большую опасность, бежит назад — к меньшей, хотя не все ли равно, от чего погибнуть? Вундт видит в этой теории отзвук мистической натурфилософии начала XIX в. За ним Н. Н. Ланге принимает, что бессознательная психика есть внутренне противоречивое понятие, бессознательное должно быть объяснено физически и химически, а не психологически, иначе мы открываем доступ в науку «мистическим агентам», «произвольным построениям, которых никогда нельзя проверить» (1914, с. 251).

Итак, мы вернулись к Геффдингу: есть ряд физико-химический, в некоторых отрывочных точках вдруг ex nihilo сопровождаемый психическим рядом; извольте понять и научно истолковать «отрывок». Что же означает этот спор для методолога? Надо психологически выйти за пределы непосредственно воспринимаемого сознания и продолжить его, но построить продолжение этого понятия так, чтобы отделить понятие от ощущения. Психология как наука о сознании принципиально невозможна; она вдвойне невозможна как наука о бессознательной психике. Казалось бы, нет выхода, нет решения этой квадратуры круга. Но точно в таком же положении находится и физика: правда, физический ряд простирается дальше, чем психический, но и он не бесконечен и не без пропусков, принципиально непрерывным и бесконечным сделала его наука, а не непосредственный опыт; она продолжила этот опыт, выключив глаз. Это же задача психологии.

Итак, истолкование для психологии есть не только горькая необходимость, но и освобождающий, принципиально плодотворнейший способ познания, salto vitale, которое у плохих прыгунов превращается в salto mortale. Нужно психологии составить свою философию аппаратуры, как физики имеют свою философию термометра. Фактически к истолкованию прибегают обе стороны в психологии: субъективист имеет, в конце концов, слова испытуемого, т. е. поведение и его психика есть истолкованное поведение. Объективист

тоже непременно толкует. В самом понятии реакции заключена необходимость истолкования, смысла, связи, соотношения. В самом деле: actio и reactio понятия первоначальные механистические — там надо пронаблюдать одно и другое и вывести закон. Но в психологии и в физиологии реакция не равна стимулу, она имеет смысл, цель, т. е. исполняет известную функцию в большом целом, она качественно связана со своим раздражителем; и вот этот смысл реакции как функции целого, качество взаимоотношения не даны в опыте, а находятся путем умозаключения. Проще и более общо: изучая поведение как систему реакции, мы изучаем акты поведения не сами по себе (по органам), а в их отношении к другим актам — стимулам, а отношение и качество отношения, смысл его никогда не бывают предметом непосредственного восприятия, тем более отношение двух разнородных рядов — стимулов и реакций. Это глубочайшим образом важно: реакция есть ответ; изучать ответ можно только по качеству его соотношения с вопросом, а это и есть смысл ответа, находимый не в восприятии, а в истолковании.

Так все и делают.

В. М. Бехтерев различает творческий рефлекс. Проблема — раздражитель, творчество — ответная на него реакция или символический рефлекс. Но ведь понятие творчества и символа суть смысловые понятия, а не опытные: рефлекс творческий, если он стоит в таком отношении к стимулу, что создает нечто новое; он же символичен, если замещает другой рефлекс, но нельзя увидеть символического или творческого характера рефлекса.

И. П. Павлов различает рефлекс свободы, цели, пищевой, защитный. Но ведь видеть свободу или цель нельзя, не имеют они и органа, как, например, органы питания; не суть и функции; складываются из тех же движений, что и другие; защита, свобода, цель — суть смыслы этих рефлексов.

К. Н. Корнилов различает эмоциональные реакции, реакции выбора, ассоциативную, узнавание и т. д. Опять классификация по смыслу, т. е. по истолкованному на основании стимула-ответа отношению между ними.

Дж. Уотсон, допуская такие же различения по смыслу, откровенно говорит, что психолог поведения в настоящее время приходит к заключению о существовании скрытого процесса мышления, пользуясь единственно логикой. Этим он осознает свой метод и блестяще опровергает Э. Титченера, выставившего тезис, что психолог поведения именно в качестве такового не может допустить наличие процесса мышления, если он не в состоянии наблюдать его непосредственно, и становится на путь интроспекции, чтобы открыть мышление. Уотсон показал, что он принципиально изолирует понятие мышления от его восприятия в интроспекции, как термометр эмансипирует нас от ощущения при построении понятия теплоты. Поэтому он подчеркивает: «Если нам когда-нибудь удастся научно

изучить интимную природу мысли... то этим мы в значительной мере будем обязаны научным приборам» (1926, с. 301). Однако и сейчас психолог «находится не в таком уже плачевном положении: и физиологи часто довольствуются наблюдением конечных результатов и пользуются логикой». «Сторонник психологии поведения чувствует, что в отношении мышления он должен держаться совершенно такой же позиции» (там, же с. 302). И значение для Уотсона есть экспериментальная проблема. Мы находим его из того, что нам дано путем мышления.

Э. Торндайк различает реакции чувства, вывода, настроения, ловкости (1925). Опять истолкование.

Весь вопрос только в том, *как* истолковать — по аналогии со своей интроспекцией, с биологическими функциями и пр. Поэтому прав Коффка, когда утверждает: объективного критерия сознания нет, мы не знаем, есть ли в действии сознание или нет, но это нимало не огорчает нас. Однако поведение таково, что принадлежащее ему сознание, если оно есть, должно иметь такую и такую структуру; поэтому поведение должно быть так объяснено, как и сознательное. Или иначе, выражаясь парадоксально: если бы каждый имел только те реакции, которые могут быть наблюдаемы всеми, тогда никто не мог бы ничего наблюдать, т. е. в основе научного наблюдения лежит выход за пределы видимого и отыскание его смысла, который нельзя наблюдать. Он прав. Он прав, когда утверждал, что бихевиоризм обречен на бесплодие, если будет изучать только наблюдаемое, если его идеалом будет знание направления и скорости движения каждого члена, секреции каждой железы в результате каждого стимула. Его областью тогда были бы только факты из физиологии мускулов и желез. Описание «это животное убегает от какой-то опасности», как бы недостаточно оно ни было, все же в 100 раз более характеризует поведение животного, чем формула, дающая нам движение всех его ног с их изменяющимися скоростями, кривые дыхания, пульса и т. д. (К. Коффка, 1926).

В. Келер показал на практике, как можно *доказать* наличность мышления без всякой интроспекции у обезьян и даже изучить методом истолкования объективных реакций течение и структуру этого процесса (1917). Корнилов показал, как косвенным методом можно измерить энергетический бюджет различных операций мышления: динамоскоп применен им как термометр (1922). Ошибка Вундта и была в *механическом* применении аппаратуры и математического метода не для расширения, а для контроля и коррективы, не для освобождения от интроспекции, а для связывания себя ею. В сущности, интроспекция в большинстве исследований Вундта оказывалась излишней: она нужна только для выделения неудачных опытов. Принципиально она не нужна вовсе в учении Корнилова. Но психологии еще предстоит создать свой термометр; исследование Корнилова открывает путь к этому.

Мы можем суммировать наши выводы из исследования узкосенсуалистического догмата снова ссылкой на слова Энгельса о деятельности глаза, к которому присоединяется мышление, помогающее нам открыть, что муравьи видят невидимое для нас.

Психология слишком долго стремилась не к знанию, а к переживанию; в данном примере она хотела лучше разделить с муравьями их зрительное переживание ощущения химических лучей, чем научно познать их зрение.

Есть два типа научных систем по отношению к методологическому хребту, поддерживающему их. Методология всегда подобна костяку, скелету в организме животного. Простейшие животные, как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи, и их, как устриц, можно отделить от костяка, они остаются малодифференцированной мякотью; высшие животные носят скелет внутри и делают его внутренней опорой, костью каждого своего движения. Надо и в психологии различать низшие и высшие типы методологической организации.

Вот лучшее опровержение мнимого эмпиризма естественных наук. Оказывается, ничего нельзя переносить из одной теории в другую. Казалось бы, факт есть всегда факт, один и тот же объект — ребенок — и один и тот же метод — объективное наблюдение — только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Разница только в интерпретации одних и тех же фактов. Системы Птолемея [27] и Коперника [28] тоже опирались в конце концов на одни и те же факты. Оказывается, что факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно *разные* факты.

Итак, спор о применении биогенетического принципа в психологии есть спор не о фактах. Факты несомненны — их две группы: установленная естествознанием рекапитуляция пройденных стадий в развитии строения организма и несомненные черты сходства между фило- и онтогенезом психики. Особенно важно отметить, что и о последних спора нет. Коффка, оспаривающий эту теорию и дающий ее методологический анализ, со всей решительностью заявляет, что аналогии, из которых исходит эта ложная теория, без всякого сомнения, существуют в действительности, спор идет о *значении* этих аналогий, и оказывается, что его нельзя решить, не анализируя принципы детской психологии, не имея общей идеи детства, концепции значения и биологического смысла детства, определенной теории развития ребенка (К. Коффка, 1925). Аналогии везде легко найти; вопрос в том, *как* их искать. Подобные аналогии можно найти и в поведении взрослого.

Здесь возможны две типичные ошибки: одну допускает С. Холл [29]. Ее прекрасно вскрыли в критическом анализе Торндайк и Гроос. Последний справедливо видит смысл всякого сравнения и задачу сравнительной науки не только в выделении совпада-

ющих черт, но еще больше в отыскивании различий в сходстве (1906). Сравнительная психология, следовательно, должна не только понять человека как животное, но гораздо больше — как нeживотное.

Прямолинейное применение принципа приводило к отысканию сродства везде: правильный метод и точно установленные факты при некритическом применении привели к чудовищным натяжкам и ложным фактам. В детских играх по традиции действительно сохранилось много отголосков отдаленного прошлого (игра с луками, хороводы). Для Холла это повторение и изживание в безобидной форме животных и доисторических стадий развития. Гроос видит в этом удивительный недостаток в критическом чутье: боязнь кошек и собак есть пережиток того времени, когда эти животные были еще дикими; вода привлекает детей, потому что мы происходим от водяных животных, автоматические движения рук у младенца — пережиток движений наших предков, плававших в воде, и т. д.

Ошибка заключается, следовательно, в истолковании всего поведения ребенка как рекапитуляции и в отсутствии всякого принципа проверки аналогии и отбора фактов, подлежащих такому истолкованию от не подлежащих. Игры животных как раз не поддаются такому объяснению. «Можно ли объяснить игру молодого тигра с жертвой?» — спрашивает К. Гроос (1906). Ясно, что игру нелья понять как рекапитуляцию прошлого филогенетического развития. Она есть предварение будущей деятельности тигра, а не повторение его прошлого развития; она должна быть объяснена и понята из соотношения с будущим тигра, в свете которого игра получает смысл, а не в свете прошлого его рода. Прошлое рода *совсем* в ином смысле сказывается здесь: через *будущее* индивида, которое оно [прошлое.— *Ред.*] предопределяет, но не непосредственно и не в смысле повторения.

Что же оказывается? Именно *биологически*, именно в *ряду однородных явлений* на других ступенях эволюции, в сопоставлении с ближайшим однородным аналогом эта квазибиологическая теория оказывается несостоятельной. Если мы сравним игру ребенка с игрой тигра, т. е. высшего млекопитающего, и учтем не только сходство, но и *различие* их, мы откроем *их общий* биологический смысл, заключенный именно в их *различии* (тигр играет в охоту тигров; ребенок — во взрослого человека; оба упражняют для будущей жизни нужные функции — теория К. Грооса). А в сравнении *разнородных* явлений (игра с водой — жизнь в воде амфибии — человека) при всей внешней видимости сходства теория биологически бессмысленна.

К этому сокрушающему аргументу Торндайк прибавляет замечание о разном порядке соответствия онто- и филогенеза *одним и тем же биологическим принципам*; так, сознание появляется очень рано в онто- и очень поздно в филогенезе; половое влечение, напро-

тив,— очень рано в фило- и очень поздно в онтогенезе (Э. Торндайк, 1925). В. Штерн, используя аналогичные соображения, критикует ту же теорию применительно к игре.

Другого рода ошибку допускает П. П. Блонский. Защитив — и совершенно убедительно — этот закон для эмбрионального развития с точки зрения биомеханики и показав, что было бы чудом, если бы его не было, указав на гипотетическую природу этих соображений («не особенно доказательных»), придя к утверждению («так может быть»), т. е. обосновав методологическую возможность рабочей гипотезы,— автор, вместо того чтобы перейти к исследованию и проверке гипотезы, вступает на путь Холла и уже *объясняет* поведение ребенка из очень понятных аналогий: в лазанье детей на деревья он видит рекапитуляцию не обезьяньей жизни, а первобытных людей, живших среди скал и льдов, срывание обоев на стене — атавизм срывания коры на деревьях и т. д. (П. П. Блонский, 1921). Что примечательнее всего — ошибка приводит Блонского туда же, куда и С. Холла: к *отрицанию игры*. Гроос и В. Штерн показали: там, где больше всего можно почерпнуть аналогий между онто- и филогенезом, именно там эта теория несостоятельна. И Блонский, как бы иллюстрируя непреодолимую силу методологических законов научного знания, не ищет также и новых обозначений; деятельность ребенка он не видит нужды называть «новым термином» (игра). Это значит, что на методологическом пути он сперва терял *смысл* игры, а затем с последовательностью, делающей ему честь, отказался и от термина, выражавшего этот смысл. В самом деле, если деятельность, поведение ребенка — атавизмы, рекапитуляция прошлого, то термин «игра» неуместен; с игрой тигра эта деятельность не имеет ничего общего, как показал Гроос. И заявление Блонского «Я не люблю этого термина» — надо методологически перевести так: «Я утратил понимание и смысл этого понятия» (1921).

Только так, только прослеживая каждый принцип до его крайних выводов, беря каждое понятие в пределе, к которому оно стремится, исследуя каждый ход мыслей до самого конца, иногда додумывая его за автора, можно определить методологическую природу исследуемого явления. Поэтому в той науке, где понятие создалось, возникло, развилось и доведено до предельного выражения, оно употребляется сознательно, не слепо. При перенесении в другую науку *оно слепо*, оно никуда не ведет. Такое *слепое* перенесение биогенетического принципа, эксперимента, математического метода из естественных наук создало в психологии видимость научности, под которой на деле кроется полное бессилие перед изучаемыми явлениями.

Но чтобы окончательно очертить круг, описываемый значением такого привнесенного принципа в науке, проследим его дальнейшую судьбу. Обнаружением бесплодия принципа, критикой его,

указанием на курьезы и натяжки, в которые школьники тычут пальцами, дело не кончается. Иными словами, история принципа не кончается простым изгнанием его из не принадлежащей ему области, простым отвержением его. Ведь мы помним, что чужой принцип проник в науку по *мостику фактов*, реально существующих аналогий; этого никто не отрицал. Время укрепления и господства этого принципа увеличило число фактов, на которые опиралось его мнимое могущество, частью ложных, частью истинных. Критика этих фактов, критика самого принципа, в свою очередь, привлекает в поле зрения науки опять новые факты. Дело не ограничивается фактами: критика должна дать свое объяснение взаимно сталкиваемым фактам, обе теории ассимилируются, и на этой почве происходит *перерождение* принципа.

Под давлением фактов и чуждых теорий новый пришелец меняет свое лицо. С биогенетическим принципом случилось то же самое. Он переродился и фигурирует в психологии в двух формах (знак того, что процесс перерождения еще не закончен): 1) теории полезности, защищаемой неодарвинизмом и школой Торндайка, считающей, что индивид и род в своем развитии подчинены одним и тем же законам — отсюда ряд совпадений, но и ряд несовпадений: не все полезное роду на ранней стадии полезно и индивиду; 2) теории согласованности, защищаемой в психологии К. Коффкой, и школой Дж. Дьюи, в философии истории — О. Шпенглером [30], теории, полагающей, что всякий процесс развития непременно имеет некоторые общие этапы, формы последовательности — от простого к более сложному и от низших к высшим ступеням.

Мы далеки от того, чтобы считать какой-либо из этих выводов за истинный, далеки вообще от рассмотрения вопроса по существу. Для нас важно проследить динамику стихийной, слепой реакции научного тела на инородный, привнесенный предмет. Нам важно проследить формы научного воспаления в зависимости от рода инфекции, чтобы от патологии перейти к норме: выяснить нормальные отправления и функции различных составных частей — органов науки. В этом цель и значение наших анализов, как будто уводящих нас в сторону, но мы все время, не напоминая, держимся сравнения, подсказанного Спинозой, психологии наших дней с тяжелобольным. Если с этой точки зрения формулировать смысл последнего экскурса, тот положительный вывод, к которому мы пришли, итог анализа, то придется определить его так: прежде мы — на анализе бессознательного — изучили природу, действие, способ распространения инфекции, проникновения чужеродной идеи вслед за фактами, хозяйничанье ее в организме, нарушение его функций; здесь — на анализе биогенеза — мы могли изучить контрдействие организма, борьбу с инфекцией, динамическую тенденцию рассосать, вытолкнуть, обезвредить, ассимилировать, переродить инородное тело, мобилизовать силы против заразы, говоря медицин-

ски,— выработку антител и образование иммунитета. Остается третье и последнее: разделить явления болезни и реакции, здоровое и больное, процессы инфекции и выздоровления. Это мы сделаем на анализе научной терминологии в третьем, и последнем, экскурсе, чтобы затем прямо перейти к формулировке диагноза и прогноза у нашего больного,— природы, смысла и исхода происходящего кризиса.

9

Если бы кто-нибудь захотел составить объективное и ясное представление о том состоянии, которое переживает сейчас психология, и о размерах кризиса, достаточно было бы изучить психологический *язык*, номенклатуру и терминологию, словарь и синтаксис психолога. Язык, научный в частности, есть орудие мысли, инструмент анализа, и достаточно посмотреть, каким инструментом пользуется наука, чтобы понять характер операций, которыми она занимается. Высокоразвитый и точный язык современной физики, химии, физиологии, не говоря уже о математике, где он играет исключительную роль, складывался и совершенствовался вместе с развитием науки и совсем не стихийно, но сознательно под влиянием традиции, критики, прямого терминологического творчества ученых обществ, конгрессов. Психологический язык современности, прежде всего, недостаточно терминологичен: это значит, что психология не имеет еще *своего* языка. В ее словаре вы найдете конгломерат из трех сортов слов: 1) слова обиходного языка, смутного, многосмысленного, приноровленного к практической жизни (А. Ф. Лазурский упрекал в этом психологию способностей; мне удалось показать, что это в большей мере приложимо к языку эмпирической психологии, и самого Лазурского в частности (Л. С. Выготский, 1925). Достаточно вспомнить камень преткновения всех переводчиков — *чувство* зрения (чувство в смысле ощущения), чтобы увидеть всю метафоричность, неточность практического житейского языка; 2) слова философского языка. Утерявшие связь с прежним смыслом, многосмысленные вследствие борьбы разных философских школ, абстрактные в максимальной степени, они тоже засоряют язык психологов. Л. Лаланд видит в этом главный источник смутности и неясности в психологии. Тропы этого языка благоприятствуют неопределенности мысли; метафоры, драгоценные как иллюстрации, опасны как формулы; персонификация психических фактов и функций, систем или теорий через **-изм**, между которыми изобретаются маленькие мифологические драмы (Л. Лаланд, 1929); 3) наконец, слова и формы речи, заимствованные из естественных наук и употребляемые в переносном смысле, служат прямо для обмана. Когда психолог рассуждает об энергии, силе, даже об интенсивности, или когда говорит о возбуждении и т. п., он всегда

прикрывает научным словом ненаучное понятие, или вводя в обман, или еще раз подчеркивая всю неопределенность понятия, обозначаемого чужим точным термином.

Темнота языка, верно замечает Лаланд, зависит столько же от синтаксиса, сколько и от словаря. В конструкции психологической фразы не меньше мифологических драм, чем в словаре. Прибавлю еще, что *стиль*, манера науки выражаться играют не меньшую роль. Одним словом, все элементы, все функции языка носят следы возраста той науки, которая ими пользуется, и определяют характер ее работы.

Было бы ошибочно думать, что психологи не замечали пестроты, неточности и мифологичности своего языка. Нет почти ни одного автора, который не останавливался бы так или иначе на проблеме терминологии. В самом деле, психологи претендовали на то, чтобы описывать, анализировать и изучать особо тонкие вещи, полные нюансов, и стремились передать ни с чем не сравнимое своеобразие душевного переживания, факты sui generis единственный раз, когда наука хотела передать самое переживание, т. е. ставила своему языку задачи, которые решает художественное слово. Поэтому психологи советовали учиться психологии у великих романистов, сами говорили языком импрессионистической беллетристики, и даже лучшие, блестящие стилисты-психологи были бессильны создать точный язык и писали образно-экспрессивно: внушали, рисовали, представляли, но не протоколировали. Таковы Джемс, Липпс, Бине.

VI Интернациональный конгресс психологов в Женеве (1909) поставил этот вопрос в порядке дня, опубликовал два доклада — Дж. Болдуина и Э. Клапареда, но дальше установления правил лингвистической возможности не пошел, хотя Клапаред и пытался дать определение 40 лабораторным терминам. Словарь Болдуина в Англии, Технический и критический словарь философии во Франции сделали многое, но положение с каждым годом становится, несмотря на это, хуже, и читать новую книгу с указанными словарями нельзя. Энциклопедия, из которой я заимствую эти сведения, ставит одной из своих задач внести твердость и устойчивость в терминологию, но дает повод к новой неустойчивости, вводя новую систему обозначений (Ж. Дюма [31], 1924).

Язык обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживает наука; он отражает внутренние и неоформившиеся процессы — тенденции развития, реформы и роста. Итак, примем то положение, что смутное состояние языка в психологии отражает смутное состояние науки. Не будем входить глубже в существо этого отношения — примем его за исходную точку для анализа современных молекулярно-терминологических изменений в психологии. Может быть, мы сумеем прочитать в них настоящую и будущую судьбу науки. Начнем, прежде всего, с тех, кто склонен вообще отрицать принципиальное значение за языком науки и видеть в

подобных спорах схоластические словопрения. Так, Челпанов указывает как на смешную претензию, как на верх бессмыслицы на стремление заменить субъективную терминологию объективной. Зоопсихологи (Беер, Бете, Я. И. Икскюль) говорили «фоторецептор» вместо «глаз», «стиборецептор» вместо «нос», «рецептор» вместо «орган чувства» и т. д. (Г. И. Челпанов, 1925).

Г. И. Челпанов склонен всю реформу, проводимую бихевиоризмом, свести к игре в термины; он полагает, что в сочинении Дж. Уотсона слово «ощущение» или «представление» заменено словом «реакция». Для того чтобы показать читателю различие между обыкновенной психологией и психологией бихевиориста, Челпанов приводит примеры нового способа выражения: «В обыкновенной психологии говорится: «Если чей-либо оптический нерв раздражается смесью дополнительных цветовых волн, то у него является *сознание* белого цвета». По Уотсону в этом случае надо сказать: «Он *реагирует* на нее, как на белый цвет» (1926). Победоносный вывод автора: дело не меняется от того, какое употребить слово; вся разница в словах. Так ли это? *Для психолога типа Челпанова это безусловно так*; кто не исследует и не открывает нового, тот не может понять, зачем исследователи для новых явлений вводят новые слова; кто не имеет своего взгляда на вещи, а одинаково приемлет Спинозу и Гуссерля, Маркса и Платона [32], для того принципиальная перемена слова есть пустая претензия; кто эклектически — в порядке появления — усваивает *все* западноевропейские школы, течения и направления, для того необходим смутный, неопределенный, уравнительный, житейский язык — «как говорится в обыкновенной психологии»; кто мыслит психологию только в форме учебника, для того вопросом жизни является сохранение обыденного языка, а так как масса эмпириков-психологов принадлежит к тому же типу, то она и говорит на том смешанном пестром жаргоне, для которого *сознание белого цвета* есть просто факт без дальнейшей критики.

Для Челпанова это каприз, чудачество. Однако почему это чудачество *столь закономерно*? Нет ли в нем чего-либо необходимого? Уотсон и Павлов, Бехтерев и Корнилов, Бете и Икскюль (справка Челпанова может быть увеличена ad libitum из любой области науки), Келер и Коффка и еще, и еще проявляют это же чудачество. Значит, в тенденции вводить новую терминологию есть какая-то объективная необходимость.

Мы заранее можем сказать, что *слово, называя факт, дает вместе с тем философию факта*, его теорию, его систему. Когда я говорю: «сознание цвета», у меня *одни* научные ассоциации, факт вводится в *один* ряд явлений, я придаю *один* смысл факту; когда я говорю: «реакция на белое», все совершенно *другое*. Но Челпанов только притворяется, будто дело в словах. Ведь у него-то у самого тезис: *не нужно реформы терминологии* — есть вывод из другого тезиса: *не нужно реформы психологии*. Нужды нет, что Челпанов здесь за-

путывается в противоречии: с одной стороны, Уотсон только меняет слова; с другой — бихевиоризм *искажает* психологию. Так ведь одно из двух: или Уотсон играет словами — тогда бихевиоризм невиннейшая вещь, веселенький анекдотец, как любит изображать, успокаивая сам себя, Челпанов; или за переменой слов кроется перемена дела — тогда перемена слов не такое уж смешное дело. Революция всегда срывает с вещей старые имена — в политике и в науке.

Но перейдем к другим авторам, которые понимают смысл новых слов: для них ясно, что новые факты и новая точка зрения на них обязывают к новым словам. Такие психологи распадаются на две группы: одни — чистые эклектики, они с радостью смешивают старые и новые слова и видят в этом вечный закон; другие говорят на смешанном языке из нужды, не совпадая ни с одной из спорящих сторон и стараясь прийти к единому языку — создать собственный язык.

Мы видели, что такие откровенные эклектики, как Торндайк, одинаково применяют термин «реакции» к настроению, ловкости, действию, к объективному и субъективному. Не умея решить вопрос о природе изучаемых явлений и принципах их исследования, он просто лишает смысла и субъективные, и объективные термины, «стимул — реакция» для него просто удобная форма описания явлений. Другие, как В. Б. Пиллсбери, возводят эклектику в принцип: споры об общем методе и точке зрения могут интересовать техника-психолога. Ощущения и перцепции он излагает в терминах структуралистов, действия всех родов — бихевиористов; сам же он склоняется к функционализму. Различие в терминах приводит к несогласованности, но он предпочитает это употребление терминов многих школ одной какой-нибудь школе (В. Б. Пиллсбери, 1917). В полном согласии с этим он на житейских иллюстрациях, в приблизительных словах показывает, чем занимается психология, вместо того чтобы дать ее формальное определение; излагая три определения психологии как науки о душе, о сознании и о поведении, он заключает, что эти различия могут быть не приняты во внимание при описании душевной жизни. Естественно, что и терминология будет безразлична нашему автору.

Принципиальный синтез старой и новой терминологии пытаются осуществить Коффка (1925) и другие. Они прекрасно понимают, что слово есть теория обозначаемого факта, и поэтому за двумя системами терминов видят две системы понятий: у поведения есть две стороны — доступная естественнонаучному наблюдению и доступная переживанию — им отвечают функциональные и дескриптивные понятия. Функционально-объективные понятия и термины принадлежат к категории естественнонаучных, феноменально-дескриптивные — абсолютно ему (поведению) чужды. Этот факт часто бывает затемнен языком, который не всегда имеет отдельные слова для того

и другого рода понятий, так как повседневный язык не есть язык научный.

Заслуга американцев в том, что они боролись против субъективных анекдотов в зоопсихологии, но мы не будем бояться употреблять дескриптивные понятия при описании поведения животных. Американцы пошли слишком далеко, они слишком объективны. Опять в высшей степени примечательно: внутренне глубочайшим образом двойственная, отразившая и соединившая в себе две противоположные тенденции, которые, как будет показано ниже, определяют сейчас весь кризис и его судьбу, гештальттеория хочет принципиально, навсегда сохранить *двойной* язык, ибо она исходит из *двойной* природы поведения. Однако ведь науки изучают не то, что в природе встречается в близком соседстве, а то, что в понятиях однородно и близко. Как же может быть *одна* наука о *двух* абсолютно различных родах явлений, очевидно требующих *двух* различных методов, *двух* принципов объяснения и т. д.? Ведь единство науки обеспечивается единством точки зрения на предмет. Как же можно строить науку с *двух* точек зрения? Опять противоречию в терминах точно отвечает противоречие в принципах.

Несколько иначе обстоит дело у другой группы, главным образом у русских психологов, употребляющих те и другие термины, но видящих в этом дань переходной эпохе. Этот демисезон, по выражению одного психолога, требует одежды, соединяющей в себе шубу и летнее платье, потеплее и полегче. Так, Блонский полагает, что дело не в том, как называть изучаемые явления, но в том, как понимать их. Мы пользуемся обычным словарем для нашей речи, но в эти обычные слова мы вкладываем соответствующее науке XX в. содержание. Дело не в том, чтобы избегать выражения: «Собака сердится». Дело в том, чтобы эта фраза была не объяснением, но проблемой (П. П. Блонский, 1925). Собственно, здесь заключено полное осуждение старой терминологии: ведь там эта фраза была именно объяснением. Но главное, чтобы стать научной проблемой, эта фраза должна быть формулирована соответствующим образом, а не обычным словарем. И те, кого Блонский называет педантами терминологии, гораздо лучше чувствуют, что за фразой скрыто содержание, вложенное в нее историей науки. Однако многие вслед за Блонским пользуются двумя языками, не считая это принципиальным вопросом. Так делает К. Н. Корнилов, так поступаю я, повторяя вслед за Павловым: какая важность, как назвать их — психическими или сложнонервными?

Но уже эти примеры показывают *пределы* такого двуязычия. Сами же пределы яснее всего демонстрируют то же, что и весь анализ эклектиков: двуязычие есть внешний знак двумыслия. Двумя языками можно говорить, пока передаешь двойственные вещи или вещи в двойственном освещении, тогда действительно, какая важность, как назвать их.

Итак, формулируем: для эмпириков необходим язык житейский, неопределенный, путаный, многосмысленный, смутный, такой, чтобы сказанное на нем можно было согласовать с чем угодно — сегодня с отцами церкви, завтра — с Марксом; им нужно слово, которое не дает ни ясной философской квалификации природы явления, ни просто ясного его описания, потому что эмпирики неясно понимают и неясно видят свой предмет. Эклектикам — принципиальным, временным, до тех пор, пока они стоят на эклектической точке зрения,— нужно два языка. Но как только эклектики покидают эту почву и пытаются обозначить и описать вновь открытый факт или изложить собственную точку зрения на предмет, они становятся неравнодушны к языку, слову.

К. Н. Корнилов, открыв новое явление, готов *всю* область, к которой он относит это явление, из главы психологии сделать самостоятельной наукой — реактологией (К. Н. Корнилов, 1922). В другом месте он противопоставляет рефлексу реакцию и видит принципиальную разницу между одним и другим термином. Различнейшая философия и методология лежат в основе того и другого. Реакция для него — биологическое понятие, рефлекс — узкофизиологическое; рефлекс только объективен, реакция субъективно-объективна. Теперь ясно, что один смысл получит явление, если мы назовем его рефлексом, и другой — реакцией.

Очевидно, не все равно, как называть явления, и педантизм там, где за ним стоит исследование или философия, имеет свой резон: он понимает, что ошибка в слове есть ошибка в понимании. Блонский недаром видит совпадение в своей работе и в очерке психологии Джемсона — этом типическом образчике обывательщины и эклектики в науке (Л. Джемсон, 1925). Видеть во фразе «собака сердится» проблему нельзя уже потому, что, как верно показал Щелованов, нахождение термина есть конечный, а не начальный пункт исследования: как только тот или иной комплекс реакций обозначается каким-либо психологическим термином, так всякие дальнейшие попытки анализа заканчиваются (Н. М. Щелованов, 1929). Если бы Блонский сошел с почвы эклектики, как Корнилов, и встал на ниву исследования или принципа, он [Блонский.— *Ред.*] узнал бы это. Нет ни одного психолога, с кем это не случилось бы. И такой иронический наблюдатель «терминологических революций», как Челпанов, вдруг оказывается удивительным педантом: он возражает против названия «реактология». С педантизмом чеховского учителя гимназии он поучает, что этот рефлекс вызывает недоумение, во-первых, этимологически, во-вторых, теоретически. Этимологическое образование слова совершенно неверно, с апломбом заявляет автор,— нужно было бы сказать «реакциология». Это, конечно, верх лингвистической безграмотности и полное нарушение всех терминологических принципов VI конгресса об интернациональной (латинско-греческой) основе терминов, видимо, не от нижегородского

«реакция», а от reactio образовал Корнилов свой термин, и совершенно правильно; интересно, как бы Челпанов перевел «реакциологию» на французский, немецкий и т. д. Но не в этом дело. Дело в другом: в системе психологических воззрений Корнилова, заявляет Челпанов, он будто неуместен. Но будем судить по существу. Важно *признание значения термина в системе воззрений.* Оказывается, что даже рефлексология *при известном понимании* имеет raison d'être.

Пусть не подумают, что эти мелочи не имеют значения, потому что они слишком явно путаны, противоречивы, неверны и т. д. В этом разница научной точки зрения и практической. Г. Мюнстерберг разъяснял, что садовник любит свои тюльпаны и ненавидит сорную траву, а ботаник, описывающий и объясняющий, ничего не любит и не ненавидит и со своей точки зрения не может ничего ни любить, ни ненавидеть. Для науки о человеке, говорит он, человеческая глупость представляет не меньший интерес, чем человеческая мудрость. Все это безразличный материал, претендующий только на то, что он существует, как звено в цепи явлений (Г. Мюнстерберг, 1922). Как звено в цепи причинных явлений тот факт, что психологу-эклектику, для которого безразлична терминология, вдруг становится боевым вопросом, когда затрагивает его позицию,— есть ценный методологический факт. Столько же ценный, как и то, что другие эклектики *таким же путем* приходят к тому же, к чему и Корнилов: ни условный, ни сочетательный рефлексы не кажутся им достаточно ясными и понятными; в основе новой психологии лежат реакции, и вся психология, развиваемая Павловым, Бехтеревым, Дж. Уотсоном, именуется не рефлексологией, не бихевиоризмом, но psychologie de reaction, т. е. реактологией. Пусть эклектики приходят к противоположным выводам об одной вещи: их роднит тот способ, тот процесс, которым они вообще находят свои выводы.

Такую же закономерность мы найдем у всех рефлексологов — исследователей и теоретиков. Уотсон убежден, что мы можем написать курс психологии и не употребить слов «сознание», «содержание», «интроспективно проверяемое», «воображение» и т. п. (1926). И для него это не терминологический прием, но принципиальный: как химик не может говорить языком алхимика и астроном — языком гороскопа. Он прекрасно разъясняет это на одном частном случае: различие между зрительной реакцией и зрительным образом он считает теоретически весьма важным, так как в нем таится различие между последовательным монизмом и последовательным дуализмом (там же). Слово для него — щупальца, которыми философия охватывает факт. Бесчисленные тома, написанные в терминах сознания, какую бы ни имели сами по себе цену, она может быть определена и выражена только в переводе на объективный язык. Ибо сознание и прочее, по мысли Уотсона, все это одни лишь неопределенные выражения. И новый курс

одинаково порывает с ходовыми теориями и с терминологией. Уотсон осуждает «половинчатую психологию поведения» (которая приносит вред всему направлению), утверждая, что если положения новой психологии не будут сохранять свою ясность, то ее рамки будут искажены, затемнены и она потеряет свое истинное значение. От такой половинчатости погибла функциональная психология. Если бихевиоризм имеет будущность, то он должен полностью порвать с понятием сознания. Однако до сих пор не решено: стать ли ему доминирующей *системой* психологии, или оставаться просто методологическим подходом. И поэтому Уотсон слишком часто принимает методологию здравого смысла за основу исследования; в стремлении освободиться от философии он скатывается к точке зрения «обыкновенного человека», понимая под этой последней не основную черту человеческой практики, а здравый смысл среднего американского дельца. По его мнению, обыкновенный человек должен приветствовать бихевиоризм. Обыденная .жизнь научила его так поступать, следовательно, подходя к науке о поведении, он не чувствует перемены метода или какого-либо изменения предмета (там же). В этом — приговор всему бихевиоризму: научное изучение непременно требует *изменения* предмета (т. е. его обработки в понятиях) и *метода*, между тем само поведение этими психологами понимается по-житейски и в их рассуждениях и описаниях много от обывательского способа суждения. Поэтому и радикальный, и половинчатый бихевиоризм никак не найдут — в стиле и языке, как в принципе и методе,— *грани* между обыденным и житейским пониманием. Освободившись от «алхимии» в языке, бихевиористы засорили его житейской, нетерминологической речью. Это сближает их с Челпановым: всю разницу надо отнести за счет бытового уклада — американского и русского обывателя. Поэтому упрек новой психологии в том, что она обывательская психология, отчасти верен.

Эту неясность языка, которую Блонский считает отсутствием педантизма, Павлов относит за счет неудачи американцев. Он усматривает в этом «видимый промах, который тормозит успех дела, который, несомненно, рано или поздно будет устранен. Это — пользование при объективном, в сущности, исследовании поведения животных психологическими понятиями и классификацией. Отсюда часто происходит случайность и сложность их методологических приемов и всегда отрывочность, бессистемность их материала, остающегося без планомерного фундамента» (1950, с. 237). Яснее нельзя выразить роль и функцию языка в научном исследовании. И всем успехом Павлов обязан огромной методологической последовательности прежде всего в языке. Из главы о работе слюнных желез у собак его исследования превратились в учение о высшей нервной деятельности и поведении животных исключительно потому, что он поднял изучение слюнной секреции

на огромную теоретическую высоту и создал прозрачную систему понятий, легшую в основу науки. Принципиальности Павлова в методологических вопросах надо удивляться, его книга вводит нас в лабораторию его исследований и учит созиданию научного языка. Вначале — какая важность, как называть явление? Но постепенно каждый шаг вперед закрепляется новым словом, каждая новая закономерность требует термина. Он выясняет смысл, значение употребления новых терминов. Выбор терминов и понятий предопределяет исход исследования: «... как было бы можно систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга» (там же, с. 254).

Когда Э. Торндайк говорит о реакции настроения и изучает ее, он создает понятия и законы, уводящие нас от мозга. Обращение к этому методу Павлов называет трусостью. Частью по привычке, частью вследствие некоторого «умственного устранения» он прибегал к психологическим объяснениям. «Но вскоре я понял, в чем состоит плохая услуга. Я был в затруднении тогда, когда не видел естественной связи явлений. Помощь психологии заключалась в словах: «животное вспомнило», «животное захотело», «животное догадалось», т. е. *это было только приемом адетерминистического думания, обходящегося без настоящей причины*» (курсив мой.— *Л. В.*) (там же, с. 273—274). В способе выражения психологов он видит обиду серьезного мышления.

И когда Павлов ввел в лабораториях штраф за употребление психологических терминов, то для истории теории науки это факт не меньшего значения и показательности, чем спор о символе веры для истории религии. Только Челпанов может над этим посмеяться: ученый не в учебнике, не в изложении предмета, *а в лаборатории — в процессе исследования* — штрафует за неверный термин. Очевидно, штраф налагался за беспричинное, беспространственное, неопределенное, мифологическое мышление, которое врывалось с этим словом в ход исследования и грозило взорвать все дело, как у американцев — внести отрывочность, бессистемность, вырвать фундамент.

Г. И. Челпанов вообще не подозревает, что новые слова могут быть нужны в лаборатории, при исследовании, что смысл, значение исследования определяются употребляемыми словами. Он критикует Павлова, говоря, что «торможение» есть выражение неясное, гипотетическое и что то же самое следует сказать и относительно термина «растормаживание» (Г. И. Челпанов, 1925). Верно, мы не знаем, что происходит в мозгу при торможении — и все же это прекрасное, прозрачное понятие: прежде всего оно терминировано, т. е. точно определено в своем значении и границах; во-вторых, оно честно, т. е. говорит столько, сколько само знает; в настоящее время *процессы* торможения в мозгу не вполне ясны нам, но *слово* и *понятие* «торможение» вполне ясны; в-третьих, оно принципиально и научно,

т. е. вводит факт в систему, ставит его на фундамент, объясняет гипотетически, но причинно. Конечно, глаз мы себе представляем яснее, чем анализатор: именно поэтому слово «глаз» ничего не говорит в науке, термин «зрительный анализатор» говорит и меньше, и больше слова «глаз». Павлов открыл новую функцию глаза, сопоставил ее с функцией других органов, связал через нее весь сенсорный путь от глаза до коры мозга, указал ее место в системе поведения — и это все выражает новый термин. Что при этих словах мы должны подумать о зрительных ощущениях — верно, но генетическое происхождение слова и терминологическое его значение — две абсолютно разные вещи. Слово не содержит в себе *ничего* от ощущений; им может вполне пользоваться слепой. Поэтому те, кто вслед за Челпановым ловят у Павлова обмолвки, осколки психологического языка и уличают в непоследовательности, не понимают смысла дела: если Павлов говорит о радости, внимании, об идиоте (собаке), то это только значит, что механизм радости, внимания и прочего *еще не изучен*, что это еще темные пятна системы, а не принципиальная уступка или противоречие.

Но все это может показаться неверным, если рассуждение не дополнить оборотной стороной. Конечно, терминологическая последовательность может стать педантством, «словесностью», пустым местом (школа Бехтерева). Когда же это бывает? Когда слово, как этикетка, наклеивается на готовый товар, а не рождается в процессе исследования. Тогда оно не терминирует, не разграничивает, а вносит неясность и кашеобразность в систему понятий.

Такая работа есть наклеивание новых ярлычков, ровно ничего не объясняющих, ибо нетрудно, конечно, изобрести целый каталог названий: рефлекс цели, рефлекс бога, рефлекс права, рефлекс свободы и пр. На все найдется свой рефлекс. Беда только в том, что ничего, кроме игры в бирюльки, мы здесь не получим. Это, значит, не опровергает, но методом от обратного подтверждает общее правило: новое слово идет в ногу с новым исследованием.

Подведем итоги. Мы видели везде, что слово, как солнце в малой капле воды, *целиком* отражает процессы и тенденции в развитии науки. В науке открывается некоторое принципиальное единство знания, идущее от верховнейших принципов до выбора слова. Что же обеспечивает это *единство* всей научной системы? Принципиально-методологический скелет. Исследователь, поскольку он не техник, регистратор и исполнитель, есть всегда философ, который во время исследования и описания *мыслит* о явлении, и способ его мышления сказывается в словах, которыми он пользуется. Величайшая дисциплина мысли лежит в основе павловского штрафа: такая же дисциплина духа в основе научного понимания мира, как монастырская система — религиозного. Тот, кто придет в лабораторию со своим словом, вынужден будет повторить пример Павлова. Слово есть философия факта; оно может быть его мифологией и его научной

теорией. Когда Г. К. Лихтенберг [33] сказал: «Es denkt sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt»,— то он боролся против мифологии в языке. Сказать cogito слишком много — раз это переводят: «Я думаю». Разве физиолог согласился бы сказать: «Я провожу возбуждение по нерву»? Сказать «*Я думаю*» *и* «*Мне думается*» — значит дать две противоположные теории мышления: вся теория умственных поз Бине требует первого, теория Фрейда — второго, а теория Кюльпе — то одного, то другого выражения. Геффдинг сочувственно цитирует физиолога Фостера, который говорит, что впечатления животного, лишенного полушарий большого мозга, мы должны или «назвать ощущениями... или же мы должны *придумать для них совершенно новое слово*» (Г. Геффдинг, 1908, с. 80), ибо мы наткнулись на *новую* категорию фактов и должны избрать способ, как мы будем ее мыслить — в связи со старой категорией или по-новому.

Из русских авторов Н. Н. Ланге понимал значение термина. Указывая, что в психологии нет общей системы, что кризис расшатал всю науку, он замечает: «Можно сказать, не боясь преувеличения, что описание любого психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза или Вундта, Штумпфа или Авенариуса, Мейнонга или Бине, Джемса или Г. Э. Мюллера. Конечно, чисто фактическая сторона должна остаться при этом той же; однако в науке, по крайней мере в психологии, разграничить описываемый факт от его теории, т. е. от тех научных категорий, при помощи которых делается это описание, часто очень трудно и даже невозможно, ибо в психологии (как, впрочем, и в физике, по мнению Дюгема [34]) всякое описание есть всегда уже и некоторая теория... Фактические исследования, особенно экспериментального характера, кажутся для поверхностного наблюдателя независимыми от этих принципиальных разногласий в основных научных категориях, разделяющих разные психологические школы» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Но в самой постановке вопросов, в том или ином употреблении психологических терминов содержится всегда то или иное понимание их, соответствующее той или иной теории, а следовательно, и весь фактический результат исследования сохраняется или отпадает вместе с правильностью или ложностью психологической системы. Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут, таким образом, оказаться при изменении смысла основных психологических теорий ложными или во всяком случае утратившими свое значение. Такие кризисы, разрушающие или обесценивающие целые ряды фактов, не раз бывали в науке. Ланге сравнивает их с землетрясением, возникающим благодаря глубоким деформациям в недрах земли; таково было падение алхимии (1914). Столь развившийся теперь в науке фельдшеризм, т. е. отрыв технической исполнительской функции исследования, главным образом обслуживания аппаратов по известному шаблону, от научного мышления, и ска-

зывается прежде всего в упадке научного языка. В сущности, это прекрасно знают все мыслящие психологи: в методологических исследованиях львиную долю забирает терминологическая проблема, требующая вместо простой справки сложнейшего анализа (Л. Бинсвангер, 1922). Г. Риккерт видит в создании однозначной терминологии важнейшую задачу психологии, предшествующую всякому исследованию, ибо при примитивных описаниях надо выбирать такие значения слов, которые бы, «обобщая, упрощали» необозримое разнообразие и множественность психических явлений (Л. Бинсвангер, 1922). В сущности, ту же мысль выразил еще Энгельс на примере химии: «В органической химии значение какого-нибудь тела, а, следовательно, также и название его, не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том *ряду*, к которому оно принадлежит. Поэтому, если мы находим, что какое-нибудь тело принадлежит к какому-нибудь подобному ряду, то его старое название становится препятствием для понимания и должно быть заменено *названием, указывающим этот ряд* (парафины и т. д.)». (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 609). То, что здесь доведено до строгости химического правила, существует в виде общего принципа во всей области научного языка.

«Параллелизм,— говорит Ланге,— есть невинное на первый взгляд слово, покрывающее однако страшную мысль — мысль о побочности и случайности техники в мире физических явлений» (1914, с. 96). Это невинное слово имеет поучительную историю. Введенное Лейбницем, оно стало применяться к тому решению психофизической проблемы, которое идет от Спинозы, меняя свое имя много раз: Геффдинг называет его гипотезой *тождества*, считая, что это «единственно меткое и подходящее название». Часто употреблявшееся название монизма этимологически правильно, но неудобно, потому что к нему прибегало «расплывчатое и непоследовательное мировоззрение». Названия параллелизма и двойственности не подходят, потому что «преувеличивают представление, будто духовное и телесное надо мыслить как два совершенно отдельных ряда развития (почти как пара рельсов на железнодорожном пути); а этого-то гипотеза как раз и не признает». Двойственностью следует назвать не гипотезу Спинозы, а Хр. Вольфа [35] (Г. Геффдинг, 1908, с. 91).

Итак, *одну* гипотезу называют то 1) монизмом, то 2) двойственностью, то 3) параллелизмом, то 4) тождеством. Прибавим, что возрождающий эту гипотезу круг марксистов (как будет показано ниже): Плеханов, а за ним Сарабьянов [86], Франкфурт и другие—видят в ней именно *теорию единства, но не тождества* психического и физического. Как же это могло произойти? Очевидно, что эта гипотеза сама может быть развита на почве тех или иных еще более общих воззрений и может принять тот или иной смысл в зависимости от них: одни подчеркивают в ней двойственность, другие — монизм и т. д.

Геффдинг замечает, что она не исключает более глубокой метафизической гипотезы, в частности идеализма (1908). Чтобы войти в состав философского мировоззрения, гипотезы требуют новой обработки, и эта новая обработка состоит в подчеркивании то одного, то другого момента. Очень важна справка Ланге: «Психофизический параллелизм мы находим у представителей самых разных философских направлений — у дуалистов (последователей Декарта [37]), у монистов (Спиноза), у Лейбница (метафизический идеализм), у позитивистов-агностиков (Бэн, Спенсер [38]), у Вундта и Паульсена [39] (волюнтаристическая метафизика)» (1914, с. 76).

Г. Геффдинг говорит о бессознательном как о выводе из гипотезы тождества; «Мы поступаем в этом случае подобно филологу, дополняющему отрывок древнего писателя посредством конъюнктурной критики. Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком; только путем гипотезы есть возможность его дополнить...» (1908, с. 87). Это неизбежный вывод из параллелизма.

Поэтому не так уже не прав Челпанов, когда говорит, что до 1922 г. он называл эту доктрину параллелизмом, а с 1922 г.— материализмом. Он был бы вполне прав, если бы его философия не была приноровлена к сезону несколько механически. Так же обстоит дело со словом «функция» (имею в виду функцию в математическом смысле): перед нами в формуле «сознание есть функция мозга» — теория параллелизма, «физиологический смысл» — и перед нами материализм. Так что, когда Корнилов вводит понятие и термин функционального отношения между психикой и телом, хотя и признает параллелизм дуалистической гипотезой, сам *незаметно для себя вводит эту теорию*, ибо понятие функции в физиологическом смысле им отвергнуто и остается второе (К. Н. Корнилов, 1925).

Таким образом, мы видим, что, начиная с широчайших гипотез и кончая мельчайшими деталями в описании опыта, слово отражает общую болезнь науки. Специфически новое, что мы узнаем из анализа слов,— это представление о молекулярном характере процессов в науке. Каждая клеточка научного организма обнаруживает процессы инфицирования и борьбы. Отсюда мы получаем более высокое представление о характере научного знания: оно раскрывается как глубочайшим образом единый процесс. Наконец, мы получаем представление о здоровом и больном в процессах науки; то, что верно о слове, верно и о теории. Слово до тех пор продвигает науку вперед, пока оно 1) вступает в отвоеванное исследованием место, т. е. поскольку оно отвечает объективному положению вещей, и 2) примыкает к верным исходным принципам, т. е. наиболее обобщенным формулам этого объективного мира.

Мы видим, таким образом, что научное изучение есть одновременно изучение факта и своего способа познания факта; иначе — что методологическая работа проделывается в самой науке, поскольку она продвигается вперед или осмысливает свои выводы. Выбор слова

есть уже методологический процесс. Особенно у Павлова легко видеть, как методология и эксперимент разрабатываются одновременно. Итак, наука философична до последних элементов, до слов, так сказать, пропитана методологией. Это совпадает со взглядом марксистов на философию как «науку о науках», как на синтез, проникающий в науку. В этом смысле Энгельс говорил: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия... Лишь когда естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб... станет излишним, исчезнет в положительной науке» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 525).

Естествоиспытатели воображают, что освобождаются от философии, когда игнорируют ее, но они оказываются рабами в плену самой скверной философии, состоящей из мешанины отрывочных и бессистемных взглядов, так как исследователи без мышления не могут двигаться ни на шаг, а мышление требует логических определений. Вопрос о том, как трактовать методологические вопросы — «отдельно от самих наук» или вводить методологическое исследование в самую науку (курс, исследование), есть вопрос педагогической целесообразности. Прав С. Л. Франк [40], когда говорит, что в предисловиях и в заключительных главах все книги по психологии трактуют проблемы философской психологии (1917). Одно дело, однако, излагать методологию — «вводить в понимание методологии» — это, повторяем, вопрос педагогической техники; другое дело методологическое исследование. Оно требует особого рассмотрения.

В пределе научное слово стремится к математическому знаку, т. е. к чистому термину. Ведь математическая формула есть тоже ряд слов, но слов до конца терминированных и потому условных в высшей степени. Поэтому всякое знание в такой мере научно, в какой математично (Кант). Но язык эмпирической психологии есть прямой антипод языка математического. Как показали Локк, Лейбниц и все языкознание, *все слова* психологии суть метафоры, взятые из пространств мира.

10

Мы переходим к положительным формулировкам. На отрывочных анализах отдельных элементов науки мы научились видеть в ней сложное, динамически и закономерно развивающееся целое. Какой же этап развития переживает наша наука сейчас, какой смысл и какова природа переживаемого ею кризиса и каков его исход? Переходим к ответу на эти вопросы. При некотором знакомстве с методологией (и историей) наук наука начинает представляться не в виде мертвого, законченного, неподвижного целого, состоящего из готовых положений, а в виде живой, постоянно развивающейся и идущей вперед системы доказанных фактов, законов, предположений, пост-

роений и выводов, непрерывно пополняемых, критикуемых, проверяемых, частично отвергаемых, по-новому истолковываемых и организуемых и т. д. Наука начинает пониматься *диалектически* в ее движении, со стороны ее динамики, ее роста, развития, эволюции. С этой же точки зрения следует оценить и осмыслить каждый этап развития. Итак, первое, от чего мы отправляемся,— это признание *кризиса*. В чем его смысл — понимают по-разному. Вот важнейшие типы истолкования этого смысла.

Прежде всего, есть психологи, отрицающие наличие кризиса вовсе. Таковы Челпанов и вообще большинство русских психологов старой школы (один Ланге да еще Франк видели, что делается в науке). По мнению таких психологов, все в науке благополучно, как в минералогии. Кризис пришел извне: некоторые лица затеяли реформу науки, официальная идеология потребовала пересмотра науки. Но ни для того, ни для другого нет объективных оснований в самой науке. Правда, в процессе спора пришлось признать, что и в Америке затеяли реформу науки, но от читателя самым тщательным образом, а может быть, и искренне, скрывалось, что ни один *психолог*, оставивший след в науке, не миновал кризиса. Первое понимание настолько слепо, что не представляет для нас интереса. Оно объясняется вполне тем, что психологи этого типа, в сущности, эклектики и популяризаторы чужих идей, не только никогда не занимались исследованием и философией своей науки, но даже критически не оценивали всякой новой школы. Они принимали все: вюрцбургскую школу и феноменологию Гуссерля, экспериментатику Вундта — Титченера[41] и марксизм, Спенсера и Платона. Не только теоретически такие люди вне науки, когда речь идет о больших в ней поворотах, но и практически они не играют никакой роли: эмпирики — они предали эмпирическую психологию, защищая ее; эклектики — они ассимилировали все, что успели, из враждебных им идей; популяризаторы — они ни для кого не могут быть врагами, они будут популяризировать ту психологию, которая победит. Уже сейчас Челпанов много печется о марксизме; скоро он будет изучать рефлексологию, и первый учебник победившего бихевиоризма составит именно он или его ученик. В целом это профессора и экзаменаторы, организаторы и культуртрегеры, но ни одно исследование сколько-нибудь значительного характера не вышло из их школ.

Другие видят кризис, но для них все оценивается весьма субъективно. Кризис разделил психологию на два лагеря. Граница между ними всегда проходит между автором такого взгляда и всем остальным миром. Но, по выражению Лотце [42], даже полураздавленный червь противопоставляет свое отражение всему миру. Это официальная точка зрения воинствующего бихевиоризма. Уотсон полагает, что есть две психологии: правильная — его — и неправильная; старая умирает от своей половинчатости; самая большая деталь, которую он видит,— это существование половинчатых психологов;

средневековые традиции, с которыми не хотел порвать Вундт, погубили психологию без души (Дж. Уотсон, 1926). Как видите, все упрощено до крайности: никакой особой трудности превращения психологии в естественную науку нет — для Уотсона это совпадает с точкой зрения обыкновенного человека, т. е. методологией здравого смысла. Так же, в общем, оценивает эпохи в психологии Бехтерев: все до Бехтерева — ошибка, все после Бехтерева — истина. Так же оценивают кризис многие из психологов: это, как субъективная, самая легкая и первая наивная точка зрения. Психологи, которых мы рассматривали в главе о бессознательном, рассуждают тоже так: есть эмпирическая психология, пропитанная метафизическим идеализмом, это пережиток; и есть истинная методология эпохи, совпадающая с марксизмом. Все, что не есть первое, есть уже тем самым второе, раз не дано никакого третьего.

Психоанализ во многом противоположен эмпирической психологии. Уже одного этого достаточно, чтобы признать его системой марксистской! Для этих психологов кризис совпадает с той борьбой, которую они ведут. Есть союзники и враги, других различий нет.

Не лучше и объективно-эмпирические диагнозы кризиса: подсчитывается число школ и выставляется балл кризиса. Олпорт, перечисляя течения американской психологии, встал на эту точку зрения — подсчета школ — школа Джемса и школа Титченера, бихевиоризм и психоанализ. При этом перечисляются *рядом* единицы, участвующие в разработке науки, но ни малейшей попытки проникнуть в объективный смысл того, что защищает каждая школа, в динамические отношения между школами, не делается.

Ошибка усугубляется, когда в таком положении начинают видеть принципиальную характеристику кризиса. Тогда стирается грань между *этим* кризисом и всяким другим, между кризисом в *психологии* и во всякой *другой науке*, между всяким частным разногласием и спором и кризисом, одним словом, допускается антиисторический и антиметодологический подход, приводящий обычно к *абсурду*.

Ю. В. Португалов, желая доказать неокончательность и относительность рефлексологии, не только скатывается в чистейший агностицизм и релятивизм, но приходит к прямой нелепости. «По химии, механике, электрофизике и электрофизиологии головного мозга идет сплошная ломка и ничего еще ясного и определенного не доказано» (Ю. В. Португалов, 1925, с. 12). Доверчивые люди верят в естествознание, но «когда мы остаемся в своей медицинской среде, то действительно ли мы, положа руку на сердце, верим в столь незыблемую и стойкую силу естествознания... и верит ли само естествознание... в свою незыблемость, стойкость и истинность» (там же). Дальше идет перечисление смены теорий в естествознании, причем все свалено в одну кучу; между незыблемостью или нестойкостью отдельной теории и всего естествознания ставится знак равенства, и то, что составляет основу истинности естествознания — смену те-

орий и взглядов,— выдают за доказательство его бессилия. Что это агностицизм, совершенно ясно, но два момента заслуживают быть отмеченными для дальнейшего: 1) при всем хаосе взглядов, которыми рисуется естествознание, не имеющее ни одной устойчивой точки, незыблемой оказывается только... субъективная детская психология, основанная на интроспекции; 2) среди всех наук, доказывающих несостоятельность естествознания, между оптикой и бактериологией приводится геометрия. Оказывается: «Эвклид [43] говорил, что сумма углов треугольника равняется двум прямым; Лобачевский [44] развенчал Эвклида и доказал, что сумма углов треугольника меньше двух прямых, а Риман [45] развенчал Лобачевского и доказал, что сумма углов треугольника больше двух прямых» (там же, с. 13).

Мы еще не раз встретимся с аналогией между геометрией и психологией, и поэтому стоит запомнить этот образец аметодологичности: 1) геометрия — естественная наука, 2) Линней [46] — Кювье [47]— Дарвин так же «развенчивали» друг друга, как Эвклид — Лобачевский — Г. Ф. Б. Риман), 3) наконец, Лобачевский *развенчал* Эвклида и доказал... Но даже элементарная грамотность включает в себя знание о том, что речь идет не о познании *реальных* треугольников, а *идеальных* фигур в математических — *дедуктивных* системах, где *три* эти положения вытекают из *трех* разных предпосылок и не противоречат друг другу, как иные арифметические системы счета не противоречат десятичной. Они *сосуществуют*, и в этом весь их смысл и методологическая природа. Но какую цену может иметь для диагноза кризиса в индуктивной науке точка зрения, которая всякие два имени в последовательном порядке считает кризисом, а всякое новое мнение — опровержением истины?

Ближе к истине диагноз К. Н. Корнилова (1925), который видит борьбу двух течений — рефлексологии и эмпирической психологии и их синтез — марксистскую психологию.

Уже Ю. В. Франкфурт (1926) выставил мнение, что рефлексологию нельзя брать за одни скобки, что в ней есть противоположные тенденции и направления. Еще более это верно в отношении эмпирической психологии. Единой эмпирической психологии не существует вовсе. Да и вообще эта упрощенная схема скорее создана как программа боевых действий для критической ориентировки и размежевания, чем как анализ кризиса. Для последнего ей недостает указания на причины, тенденцию, динамику, прогноз кризиса; она есть логическая группировка наличных в СССР точек зрения — только.

Итак, во всем рассмотренном до сих пор нет *теории кризиса*, а есть субъективные, с точки зрения воюющих сторон составленные реляции штабов. Здесь важно победить противника, никто не станет тратить время на то, чтобы изучить его.

Еще ближе и уже в зародыше теорию кризиса представляет Н. Н. Ланге. Однако у него больше чувства кризиса, чем его понимания. Ему нельзя доверять даже в исторических справках. Для него

кризис начался с падения ассоцианизма—ближайший повод он принимает за причину. Установив, что в психологии «происходит ныне некоторый общий кризис», он продолжает: «Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теорией» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Это неверно уже по тому одному, что ассоцианизм никогда не был общепризнанной психологической системой, составляющей стержень науки, а был и *до ныне остается* одним из борющихся течений, сильно подкрепленных в последнее время и возрождающихся в рефлексологии и бихевиоризме. Психология Милля, Бэна и Спенсера не была никогда чем-либо больше, чем то, что она есть сегодня. Она боролась сама против психологии способностей (И. Гербарт) так же, как и теперь сражается с ней. Это весьма субъективная оценка — видеть в ассоцианизме корень кризиса: сам Ланге считает его корнем отрицания сенсуалистической доктрины; но и посегодня гештальттеория формулирует главный грех *всей* психологии — в том числе и новейшей — как ассоцианизм.

На самом деле генеральная черта разделяет не сторонников и противников этого принципа, а сложившиеся на гораздо более глубоких основах группировки. Далее, не совсем верно сводить ее к борьбе воззрений отдельных психологов: важно вскрыть то общее и противоречивое, что стоит за отдельными мнениями. Ложная ориентировка Ланге в кризисе погубила его собственную работу: защищая принцип реалистической, биологической психологии, он бьет по Рибо и опирается на Гуссерля и других *крайних* идеалистов, отрицавших возможность психологии как естественной науки. Но кое-что, и немаловажное, он установил верно. Вот верные тезисы:

1. Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные понятия и категории толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки.

2. Кризис разрушителен, но благотворен: в нем скрывается рост науки, обогащение ее, сила, а не бессилие или банкротство. Серьезность кризиса вызвана промежуточностью ее территории между социологией и биологией, между которыми Кант хотел разделить психологию.

3. Никакая психологическая работа невозможна без установления основных принципов этой науки. Прежде чем приступить к постройке, надо заложить фундамент.

4. Наконец, общая задача — выработка новой теории — «обновленной системы науки». Однако глубоко неверно понимал он эту задачу: она состоит для него «в критической оценке всех современных психологических направлений и попытке их соглашения» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Он и пытался согласовать несогласуемое: Гуссерля и биологическую психологию; вместе с Джемсом он нападал на Спенсера и с Дильтеем отказывался от биологии. Мысль о возможности соглашения явилась для него выводом из той мысли, что

«переворот произошел» «*против ассоцианизма* и физиологической психологии» (там же, с. 47) и что все новые течения связаны общностью исходной точки и цели. Поэтому у него суммарная характеристика кризиса: землетрясение, болотистая местность и пр. Для него «настал период хаоса» и задача сводится к «критике и логической обработке» разных мнений, порожденных общей причиной. Это картина кризиса, как она рисовалась участникам борьбы в 70-х гг. XIX в. Личный опыт Ланге — лучшее свидетельство борьбы реальных сил, действующих и определяющих кризис: соединение субъективной и объективной психологии считает он необходимым *постулатом психологии*, вместо того чтобы видеть в этом предмет спора и *проблему*. Вслед за тем он проводит эту двойственность через всю систему. Противополагая свое реалистическое или биологическое понимание психики идеалистической концепции П. Наторпа [48] (1909), он на деле принимает существование *двух* психологий, как мы увидим ниже.

Но самое любопытное заключается в том, что Эббингауз, которого Ланге считает ассоцианистом, т. е. докритическим психологом, вернее определяет кризис: по его мнению, сравнительное несовершенство психологии выражается в том, что относительно почти всех наиболее общих ее вопросов споры до сих пор не прекращаются. В других науках есть единодушие по всем последним принципам или основным воззрениям, которые должны быть положены в основу исследования, а если и происходит изменение, оно не носит характера кризиса: согласие скоро вновь восстанавливается. Совсем иначе, по мысли Г. Эббингауза (1912), обстоит дело в психологии. Здесь эти основные воззрения постоянно подвергаются живому сомнению, постоянно оспариваются.

В несогласии Эббингауз видит хроническое явление — отсутствие ясных, достоверных основ у психологии. И тот Брентано, с имени которого Ланге отсчитывает кризис, в 1874 г. выдвинул требование, чтобы вместо многих психологий была создана одна психология. Очевидно, к тому времени уже было не только много направлений вместо одной системы, но *много психологий*. Это вернейший диагноз кризиса и сейчас. Методологи и сейчас утверждают, что мы стоим у того же пункта, который отметил Брентано (Л. Бинсвангер, 1922). Это значит, что в психологии происходит не борьба воззрений, которые можно привести к соглашению и которые уже объединены общностью врага и цели; даже не борьба течений или направлений внутри одной науки, а *борьба разных наук*. Есть много психологий — это значит: борются различные, взаимно исключающие друг друга реальные типы науки. Психоанализ, интенциональная психология [49], рефлексология — это все *типы разных наук*, отдельные дисциплины, тендирующие к превращению в *общую психологию*, т. е. к подчинению и исключению других дисциплин. Мы видели и смысл, и объективные признаки этой тенденции к общей науке. Нет большей

ошибки, чем принять эту борьбу за борьбу воззрений. Бинсвангер начинает с упоминания о требовании Брентано и замечаний В. Виндельбанда [50], что психология у каждого представителя начинается сначала. Причину этого он видит не в недостатке фактического материала, который собран в изобилии, и не в отсутствии философско-методологических принципов, которых тоже достаточно, а в отсутствии *совместной* работы между философами и эмпириками в психологии: «Нет ни одной науки, где теория и практика шли бы столь различными путями» (Л. Бинсвангер, 1922, с. 6). Психологии недостает методологии — вот вывод этого автора, и главное в том, что методологию сейчас *нельзя* создать. Нельзя сказать, чтобы общая психология уже исполнила свои задачи как ветвь методологии. Напротив, куда ни глянь, везде царит несовершенство, неуверенность, сомнения, противоречие. Мы можем говорить только о *проблеме* общей психологии и даже не о ней, но о введении в нее (там же, с. 5). У психологов Бинсвангер видит «смелость и волю к [созданию новой] психологии». Для этого им надо разорвать со столетними предрассудками, и это показывает одно: общая психология еще и сегодня не создана. Мы не должны спрашивать, как то делает Бергсон, что было бы, если бы Кеплер, Галилей [51], Ньютон были психологами, но что может еще произойти, несмотря на то, что они были математиками (там же).

Итак, может показаться, что хаос в психологии вполне естественный и смысл кризиса, который осознала психология, таков: *существует много психологий, которые имеют тенденцию создать одну психологию путем выделения общей психологии.* Для этой последней не хватает Галилея, т. е. гения, который создал бы фундаментальные основы науки. Это общее мнение европейской методологии, как оно сложилось к концу XIX в. Некоторые авторы, главным образом французы, держатся этого мнения и сейчас. В России его защищал всегда Вагнер (1923), чуть ли не единственный психолог, занимавшийся методологическими вопросами. То же мнение высказывает он на основании анализа Annes Psychologique, т. е. резюме мировой литературы. Вот его вывод: *итак, мы имеем целый ряд психологических школ, но не имеем единой психологии как самостоятельной области психологии.* Из того, что ее нет, не следует, что ее не может быть (там же). Ответ на вопрос, где и как ее найти, дает только история науки.

Вот как развилась биология. В XVII в. два натуралиста положили начало двум областям зоологии: Бюффон [52] — описанию животных и их образа жизни и Линней — их классификации. Постепенно оба отдела обрастали рядом новых проблем, явились морфология, анатомия и т. д. Исследования эти были изолированными и представляли собой как бы отдельные науки, ничем не связанные друг с другом, кроме того, что все они изучали животных. Отдельные науки враждовали друг с другом, стремились занять превалирующее по-

ложение, так как соприкосновение между ними росло и они *не могли* стоять далее особняком. Гениальному Ламарку удалось интегрировать разрозненные знания в одной книге, которую он назвал «Философией зоологии». Он свои личные исследования объединил с чужими, Бюффона и Линнея в том числе, подвел им итоги, согласовал их между собой и создал область науки, которую Тревиранус назвал общей биологией. Из разрозненных дисциплин создалась единая и абстрактная наука, которая с трудами Дарвина стала на ноги. То, что сделалось с дисциплинами биологии до ее объединения в общую биологию или абстрактную зоологию в начале XIX в., по мнению Вагнера, происходит сейчас в области психологии начала XX в. Запоздалый синтез в виде *общей психологии* должен повторить синтез Ламарка, т. е. основываться на аналогичном принципе. Вагнер видит в этом не простую аналогию. Для него психология должна проделать *не сходный, но тот же* самый путь. Биопсихология есть *часть* биологии. Она есть абстракция конкретных школ или их синтез, она имеет своим содержанием *достижения всех этих школ*; у нее, как и у общей биологии, не может быть своего специального метода исследования, она пользуется всякий раз методом той науки, какая входит в ее состав. Она учитывает достижения, *проверяя их с точки зрения эволюционной теории, и указывает им соответствующие места в общей системе* (В. А. Вагнер, 1923). Это выражение более или менее общего мнения.

Особенности, принадлежащие Вагнеру, вызывают сомнения: 1) общая психология, в его понимании, то составляет *часть* биологии, основывается на учении об эволюции (ее база) и т. д., следовательно, не нуждается в *своем* Ламарке и Дарвине и их открытиях и может осуществить свой синтез на основе уже наличных принципов; 2) то общая психология должна еще возникнуть таким путем, как возникла общая биология, которая не входит в биологию как ее часть, а существует рядом с ней; только так и можно понять *аналогию*, возможную между двумя сходными самостоятельными целыми, но не между судьбой *целого* (биологии) и *части* (психологии).

Другое недоумение вызывает утверждение Вагнера, что биопсихология дает «как раз то самое, что требует от психологии Маркс» (там же, с. 53). Вообще, насколько *формальный* анализ Вагнера, видимо, безупречно верен, настолько попытка его решить проблему по существу и наметить *содержание* общей психологии методологически несостоятельна, даже просто не развита (часть биологии, Маркс). Но последнее нас сейчас и не занимает. Обратимся к формальному анализу. Верно ли, что психология наших дней переживает то, что биология до Ламарка, и идет к тому же?

Сказать так — значит умолчать о *самом важном и определяющем моменте* в кризисе и представить всю картину в ложном свете. Идет ли психология к соглашению или разрыву, возникнет общая психология из объединения или разъединения психологических дисцип-

лин, зависит от того, что несут в себе эти дисциплины — части ли будущего целого, как систематика, морфология и анатомия, или исключающие друг друга принципы знания; какова природа *вражды* между дисциплинами — разрешимы ли противоречия, разъедающие психологию, или они непримиримы. И вот этого анализа специфических условий, при которых психология идет к созданию общей науки, нет у Вагнера, Ланге и других. Между тем европейская методология осознала уже гораздо более высокую ступень кризиса и показала, *какие* существуют психологии, *сколько* их, *какие* возможны исходы. Но чтобы обратиться к этому, надо нацело расстаться с недоразумением, будто психология идет по пути, уже проделанному биологией, и в конце пути просто примкнет к ней как часть ее. Думать так — значит не видеть, что между биологией человека и животных вклинилась социология и разорвала психологию на две части, так что Кант и отнес ее к двум областям. Нужно построить так теорию кризиса, чтобы дать ответ и *на этот вопрос*.

11

Есть один факт, который закрывает глаза всем исследователям на истинное положение дел в психологии. Это эмпирический характер ее построений. Его, как пленку, как кожуру с плода, надо сорвать с построений психологии, чтобы увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Обычно эмпиризм принимают на веру, без дальнейшего анализа, и трактуют все многообразие психологий как некоторое принципиально осуществленное научное единство, имеющее общий фундамент,— и все разногласия понимаются как вторичные, происходящие внутри этого единства. Но это ложная мысль, иллюзия. На деле эмпирической психологии как науки, имеющей хотя бы *один* общий принцип, нет, а попытка создать ее привела к поражению и банкротству самой идеи создать только эмпирическую психологию. Те же, которые заключают в общие скобки многие психологии по одному какому-нибудь общему признаку, противостоящему их собственному, как психоанализ, рефлексология, бихевиоризм (сознание — бессознательное, субъективизм — объективизм, спиритуализм — материализм), не видят того, что *внутри* этой эмпирической психологии происходят *те же* процессы, которые происходят между ней и отколовшейся от нее ветвью, и что *сами эти ветви* в своем развитии подчинены более *общим тенденциям*, которые действуют и могут быть, следовательно, верно поняты только на общем поле всей науки; внутри скобок находится *вся психология*. Что же такое *эмпиризм* современной психологии? Прежде всего, это понятие *чисто отрицательное* и по историческому происхождению, и по методологическому смыслу, и по тому одному не может объединять что-либо. Эмпирическая — значит прежде всего: «психология без души» (Ланге), психология без всякой метафизики (Введенский), психоло-

гия, основанная на опыте (Геффдинг). Едва ли надо пояснять, что и это *по существу* отрицательное определение. Оно ничего не говорит о том, *с чем же имеет дело* психология, каков ее положительный смысл.

Однако объективный смысл этого отрицательного определения совершенно разный — когда-то и теперь. Когда-то он ничего не маскировал — задачей науки было освобождение *от чего-то*, термин был лозунгом для этого. Сейчас он *маскирует* положительные определения (которые каждый автор вносит в свою науку) и истинные процессы, происходящие в науке. По существу, ни чем иным, кроме временного лозунга, он и не мог быть. Теперь термин «эмпирическая» в приложении к психологии означает *отказ* от выбора определенного философского принципа, отказ выяснить свои конечные посылки, осознать собственную научную природу. Как таковой, этот отказ имеет исторический смысл и причину — мы на них остановимся ниже,— но по существу о природе науки он ничего не говорит, он ее маскирует. Яснее всего выражено это у кантианца Введенского, но под его формулой подпишутся *все* эмпирики; в частности, то же говорит Геффдинг; все склоняются более или менее в одну сторону — Введенский дает идеальное равновесие: «*Психология обязана так формулировать все свои выводы, чтобы они были одинаково приемлемыми и одинаково обязательными как для материализма, так и для спиритуализма с психофизическим монизмом*» (А. И. Введенский, 1917, с. 3).

Уже из этой формулы видно, что эмпиризм формулирует свои задачи так, что сразу обнаруживает их *невозможность*. В самом деле, на почве эмпиризма, т. е. полного отказа от основных предпосылок, и логически невозможно, и исторически не было никакого научного знания. Естествознание, которому хочет уподобить себя этим определением психология, по природе своей, по неизвращенной своей сущности всегда *стихийно материалистично*. Все психологи согласны в том, что естествознание, как и вся человеческая практика, конечно, не решает вопроса о сущности материи и духа, но исходит из определенного его решения, именно из предпосылки объективно, вне нас закономерно существующей и познаваемой действительности. А это и есть, как неоднократно указывал В. И. Ленин, самое *существо* материализма (Полн. собр. соч., т. 18, с. 149 и др.). Существование естествознания как науки обязано умению отделить в нашем опыте объективно и независимо существующее от субъективного, и этому не противоречат отдельные философские истолкования или целые школы в естествознании, идеалистически мыслящие. Естествознание как наука, само по себе, независимо от его носителей, материалистично. Столь же стихийно, несмотря на различные идеи ее носителей, психология исходила из идеалистической концепции.

На деле *нет ни одной* эмпирической системы психологии, все переходят за грань эмпиризма, и это так понятно: из чисто отрица-

тельной идеи ничего нельзя вывести; из «воздержания», по выражению Введенского, ничего не может родиться. Все системы на деле переплескивали в своих выводах и уходили корнями в метафизику — первым сам Введенский со своей теорией солипсизма, т. е. крайнего выражения идеализма.

Если психоанализ откровенно говорит о метапсихологии, то неоткровенно всякая психология без души имела свою душу, без всякой метафизики — свою метафизику; основанная на опыте психология включала свое неоснованное на опыте; короче: всякая психология имела свою метапсихологию. Она могла не сознавать этого, но от этого дело не менялось. Челпанов, который больше всех в нынешнем споре укрывается за словом «эмпирическая» и хочет свою науку отграничить от области философии, находит, однако, что она должна иметь философскую «надстройку» и «подстройку». Оказывается, есть философские понятия, которые нужно рассмотреть *до изучения психологии*, и исследование, предваряющее психологию, он называет подстройкой: только с ней можно построить эмпирическую психологию (Г. И. Челпанов, 1924). Это не мешает ему страницей ниже утверждать, что психологию следует сделать свободной от какой бы то ни было философии; однако в заключение он еще раз признает, что именно *методологические проблемы суть очередные проблемы современной психологии*.

Было бы ложно думать, что из понятия эмпирической психологии мы не можем узнать ничего, кроме отрицательной характеристики; оно содержит указание и на положительные процессы в науке, прикрывающиеся этим именем. Словом «эмпирическая» психология хочет включить себя в ряд естественных наук. Здесь согласны все. А это весьма определенное понятие, и надо посмотреть, что оно обозначает в приложении к психологии. Т. Рибо в предисловии к энциклопедии (героически пытающейся осуществить то соглашение и единство, о котором говорили Ланге и Вагнер, и потому показывающей всю его невозможность) говорит, что психология есть часть биологии, она ни материалистична, ни спиритуалистична, иначе она потеряла бы право на звание науки. Чем же она отличается от других частей биологии? *Только* тем, что имеет дело с явлениями spirituels, а не физическими (1923).

Какая малость! Психология хотела быть естественной наукой, но о вещах совершенно иной природы, чем те, с которыми имеет дело естествознание. Но разве природа изучаемых явлений не обусловливает характера науки? Разве возможны как естественные история, логика, геометрия, история театра? И Челпанов, настаивая на том, чтобы психология была такой эмпирической наукой, как физика, минералогия и т. п., конечно, не присоединяется этим к Павлову и тотчас же начинает вопить, когда психологию пытаются осуществить как настоящую естественную науку. О чем же он умалчивает в этом уподоблении? Он хочет, чтобы психология была естественной наукой

1) о явлениях абсолютно другой природы, чем явления физические, 2) познаваемых совершенно иным способом, чем объекты естествознания. Спрашивается: при разном объекте, разном методе познания что же может быть общего между естествознанием и психологией? А Введенский, разъяснив значение эмпирического характера психологии, говорит: «Поэтому современная психология нередко характеризует себя еще как *естественную науку о душевных явлениях или как естественную историю душевных явлений*» (А. И. Введенский, 1917, с. 3). Но это значит: психология хочет быть естественной наукой о неестественных явлениях. С естествознанием роднит ее чисто *отрицательная* черта — отказ от метафизики, а не одна *положительная*.

В чем здесь дело, блестяще разъяснил Джемс. Психологию должно излагать как естественную науку — его главный тезис. И никто не сделал так много, чтобы доказать «не естественнонаучную» природу психического, как Джемс. Он разъясняет: все науки принимают на веру известные предпосылки — естествознание исходит из материалистической предпосылки, хотя более глубокий анализ приводит к идеализму; так же поступает психология — она принимает другие предпосылки, следовательно, она подобна естествознанию только в некритическом принятии на веру известных предпосылок, сами же предпосылки — противоположны.

По свидетельству Рибо, эта тенденция есть главная черта в психологии XIX в.; наряду с ней он называет стремление дать собственный принцип и метод психологии (в чем ей отказывал О. Конт) — поставить ее в такое отношение к биологии, в каком биология стоит к физике. Однако на деле первый автор признает: то, что называется психологией, содержит несколько категорий исследований, различных по цели и по методу. И когда, несмотря на это, авторы пытались прижить * систему психологии, включить в нее Павлова и Бергсона, они продемонстрировали, что эта задача неосуществима. И в заключение Дюма формулирует: единство 25 авторов заключалось в *отказе* от онтологических спекуляций (1924).

К чему приводит такая точка зрения, легко угадать: отказ от онтологических спекуляций, эмпиризм, *если он последователен*, приводят к отказу от *методологически-конструктивных принципов* в построении системы, к эклектизму; поскольку *он непоследователен*, то он приводит к скрытой, некритической, путаной методологии. И то и другое блестяще показали французские авторы: психология реакции Павлова для них так же приемлема, как интроспективная, но в разных главах книги. У авторов книги в манере описывать факты и ставить проблемы, даже в словаре — тенденции ассоцианизма, рационализма, бергсонизма, синтетизма. Далее объясняется, что бергсонианская концепция применена в одних главах, язык ассоциа-

* В рукописи Л. С. Выготского так.— *Примеч. ред.*

низма и атомизма — в других, бихевиоризм — в третьих и пр. Traite хочет быть беспартийной, объективной и полной; если же ей это не всегда удавалось, то, подытоживает Дюма, ведь различие в мнениях свидетельствует об интеллектуальной активности, и в конце концов в этом она есть представительница своего времени и своей страны (там же). Вот это верно.

Различие в мнениях — мы видели, как далеко оно заходит,— только убеждает нас в невозможности беспартийной психологии сегодня, не говоря уже о роковой двойственности Traite de Psychologie, для которой психология то часть биологии, то относится к ней, как сама биология к физике.

Итак, в понятии эмпирической психологии заключено неразрешимое методологическое противоречие: это естественная наука о неестественных вещах, это тенденция методом естественных наук развить полярно противоположные им системы знания, т. е. исходящие из полярно противоположных предпосылок. Это и отразилось гибельно на методологической конструкции эмпирической психологии и перешибло ей хребет.

Существуют две психологии — естественнонаучная, материалистическая, и спиритуалистическая: этот тезис вернее выражает смысл кризиса, чем тезис о существовании *многих* психологий; именно *психологий* существует *две*, т. е. два разных, непримиримых типа науки, две принципиально разные конструкции системы знания; все остальное есть различие в воззрениях, школах, гипотезах; частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические соединения, в которых бывает подчас очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений.

Что это так, что смысл кризиса выражают две психологии, а не много психологий, что все остальное есть борьба *внутри* каждой из этих двух психологий, борьба, имеющая совсем другой смысл и другое поле действия, что создание общей психологии есть дело не соглашения, а разрыва,— это методология давно осознала, и против этого *никто не спорит*. (Отличие этого тезиса от трех направлений К. Н. Корнилова заключается *во всем объеме смысла кризиса:* 1) не совпадают понятия материалистической психологии и рефлексологии (у него), 2) не совпадают понятия эмпирической и идеалистической (у него), 3) не совпадает оценка роли марксистской психологии.) Наконец, здесь идет речь о двух тенденциях, проявляющихся в борьбе множества конкретных течений и внутри их. Никто не спорит о том, что создание общей психологии явится не третьей психологией к двум борющимся, а одной из двух.

Что понятие эмпиризма содержит в себе методологический конфликт, который сознающая себя теория должна разрешить, чтобы сделать возможным исследование,— эту мысль утвердил в общем созна-

нии Мюнстерберг. В капитальной методологической работе он заявил: эта книга не скрывает того, что хочет быть воинствующей книгой, что она выступает за идеализм против натурализма. Она хочет обеспечить в психологии неограниченное право идеализму (Г. Мюнстерберг, 1922). Закладывая теоретико-познавательные основы эмпирической психологии, он заявляет, что это и есть самое важное, то, чего недостает психологии наших дней. Ее основные понятия соединены волей случая, ее логические способы познания предоставлены инстинкту. Тема Мюнстерберга: синтез этического идеализма И. Г. Фихте с физиологической психологией нашего времени, ибо победа идеализма не в том, чтобы отмежеваться от эмпирического исследования, а в том, чтобы найти для него место в собственном кругу. Мюнстерберг показал, что натурализм и идеализм непримиримы, вот почему он говорит о книге воинствующего идеализма, говорит об общей психологии, что она отвага и риск,— не о соглашении и объединении идет речь. И Мюнстерберг прямо выдвинул требование о существовании двух наук, утверждая, что психология находится в странном состоянии и что мы несравненно больше знаем о психологических фактах, чем когда-либо до сих пор, но гораздо меньше знаем о том, что, собственно, есть психология.

Единство внешних методов не может обмануть нас в том, что у различных психологов речь идет о совершенно различной психологии. Эту внутреннюю смуту можно понять и преодолеть только следующим образом. «Психология наших дней борется с тем предрассудком, будто существует только один вид психологии... Понятие психологии заключает в себе две совершенно различные научные задачи, которые следует принципиально различать и для которых лучше всего пользоваться особыми обозначениями. В действительности существует двоякого рода психология» (там же, с. 7). В современной науке представлены всевозможные формы и виды смешения двух наук в мнимое единство. Общее у наук — их объект, но это ничего не говорит о самих науках: геология, география и агрономия одинаково изучают землю; конструкция, принцип научного знания здесь и там различны. Мы можем путем описания превратить психику в цепь причин и действий и можем представить ее как комбинацию элементов — объективно и субъективно. Если оба эти понимания довести до конца и придать им научную форму, мы получим две «принципиально различные теоретические дисциплины». «Одна есть каузальная психология, другая — телеологическая и интенциональная» (там же, с. 9).

Существование двух психологий столь очевидно, что его приняли все. Разногласия проявляются только в точном определении каждой науки, одни подчеркивают одни оттенки, другие — другие. Было бы очень интересно проследить все эти колебания, потому что каждое из них свидетельствует о какой-то объективной тенденции, кренящейся к одному или другому полюсу, а размах, диапазон

разноречий показывает, что оба типа науки, как две бабочки в одном коконе, еще существуют в виде невыделившихся тенденций.

Но нас интересуют сейчас не разноречия, а то общее, что есть за ними.

Перед нами стоят два вопроса: какова общая природа обеих наук и каковы причины, приведшие к *раздвоению эмпиризма на натурализм и идеализм?*

Все согласны в том, что именно эти два элемента лежат в основе обеих наук, что, следовательно, одна есть естественнонаучная психология, другая — идеалистическая, как бы ни называли их разные авторы. Вслед за Мюнстербергом все видят различие не в материале или объекте, а в способе познания, в принципе — понимать ли явления в категории причинности, в связи и в принципиально тождественном смысле, как и все прочие явления, или понимать их интенционально, как духовную деятельность, направленную к цели и отрешенную от всяких материальных связей. Дильтей, который называет науки объяснительной и описательной психологией, возводит раздвоение к Хр. Вольфу, разделившему психологию на рациональную и эмпирическую, т. е. к самому возникновению эмпирической психологии. Он показывает, что раздвоение не прекращалось на всем пути развития науки и вновь вполне осознало себя в школе И. Гербарта (1849), в работах Т. Вайца (В. Дильтей, 1924). Метод объяснительной психологии совершенно тот же, что и у естествознания. Ее постулат: нет ни одного психического явления без физического — приводит ее к банкротству как самостоятельную науку, а дела ее переходят в руки физиологии (там же). Описательная и объяснительная психология имеют не тот смысл, что в естественных науках — систематика и объяснение — две основные части и по Бинсвангеру (1922).

Современная психология — это учение о душе без души — внутренне противоречивое, раскладывается на две части. Описательная психология стремится не к объяснению, а к описанию и пониманию. То, что поэты, в особенности Шекспир, дали в образах, она делает предметом анализа в понятиях. Объяснительная, естественнонаучная психология не может лечь в основу наук о духе, она конструирует детерминистическое уголовное право, не оставляет места для свободы, она не мирится с проблемой культуры. Напротив, описательная психология «будет основанием наук о духе, подобно тому как математика — основа естествознания» (В. Дильтей, 1924, с. 66).

Г. Стаут[53] прямо отказывается называть аналитическую психологию естественной наукой; она наука положительная, в том смысле, что ее область — факт, реальное, то, что есть, а не норма, не то, что должно быть. Она стоит рядом с математикой, естествознанием, гносеологией. Но она не физическая наука. Между психическим и физическим устанавливается такая пропасть, что нет возможности уловить их взаимоотношение. Никакая наука о материи не находится в

таком соотношении с психологией, в каком химия и физика — с биологией, т. е. в отношении более общих и более частных, но принципиально однородных принципов (Г. Стаут, 1923).

Л. Бинсвангер за основное разделение *всех* проблем методологии берет естественнонаучное и неестественнонаучное понятия психического. Он разъясняет прямо и ясно, что есть две в корне различные психологии. Ссылаясь на Зигварта, он называет источником раскола борьбу против естественнонаучной психологии. Это ведет нас к феноменологии переживаний, основе чистой логики Гуссерля и эмпирической, но неестественнонаучной психологии (А. Пфендер [54], К. Ясперс [55]).

Противоположную позицию занимает Блейлер. Он отклоняет мнение Вундта о том, что психология не есть естественная наука, и вслед за Риккертом называет ее генерализующей, хотя имеет в виду то же, что Дильтей под объясняющей или конструктивной.

Мы не будем сейчас рассматривать вопрос по существу — *как* возможна психология в качестве естественной науки, при помощи каких понятий она конструируется — это все спор *внутри одной* психологии, и он составляет предмет положительного изложения следующей части нашей работы. Больше того, мы оставляем открытым и другой вопрос — действительно ли психология есть естественная наука в точном смысле; мы употребляем вслед за европейскими авторами это слово, чтобы наиболее ясно обозначить материалистический характер этого рода знания. Поскольку западноевропейская психология не знала или почти не знает проблемы социальной психологии, постольку этот род знания совпадает для нее с естествознанием. Но это еще особая и очень глубокая проблема — показать, что психология возможна как материалистическая наука, но она не входит в проблему смысла психологического кризиса как целого.

Из русских авторов, сколько-нибудь серьезно писавших по психологии, почти все принимают это разделение, конечно, с чужих слов, что показывает, до какой степени общепризнаны эти идеи в европейской психологии. Ланге, приводя разногласие Виндельбандта и Риккерта, относящих психологию к естествознанию, с Вундтом и Дильтеем, склонен различать вместе с последним две науки (Н. Н. Ланге, 1914). Примечательно, что он критикует П. Наторпа как выразителя идеалистического понимания психологии и противопоставляет ему реалистическое или биологическое понимание. И однако Наторп, по свидетельству Мюнстерберга, требовал с самого начала того же самого, что и он, т. е. субъективирующей и объективирующей науки о душе, т. е. двух наук.

Сливая ту и другую точки зрения в одном постулате, Н. Н. Ланге отразил в своей книге обе непримиримые тенденции, считая, что смысл кризиса в борьбе с ассоцианизмом. Он с полным сочувствием излагает Дильтея и Мюнстерберга и формулирует: «оказалось две

разные психологии», у психологии обнаружились два лика, как у Януса: один обращенный к физиологии и естествознанию, другой — к наукам о духе, к истории, социологии; одна наука о причинностях, другая — о ценностях (там же, с. 63). Казалось бы, остается выбрать *одну из двух*, а Ланге соединяет обе.

Так же поступал Челпанов. В нынешней полемике он заклинает верить ему, что психология — материалистическая наука, и приводит в свидетели Джемса и ни словом не упоминает о том, что *ему* принадлежит идея двух психологий в русской литературе. На ней [идее.— *Ред.*] стоит остановиться.

Он излагает вслед за Дильтеем, Стаутом, Мейнонгом, Гуссерлем идею аналитического метода. Если естественнонаучной психологии присущ индуктивный метод, то описательную психологию характеризует аналитический метод, приводящий к познанию априорных идей. Аналитическая психология есть психология *основная*. Она должна предварять построение детской, зоо- и экспериментально-объективной психологии и лечь в основу всех видов психологического исследования. Как будто не похоже на минералогию и физику, на полное отделение психологии от философии и от идеализма.

Кто хотел бы показать, *какой* скачок сделал в психологических воззрениях с 1922 г. Г. И. Челпанов, должен остановиться не на общефилософских его формулах и случайных фразах, а на его учении об аналитическом методе. Челпанов протестует против смешения задач объяснительной психологии и описательной, разъясняя, что одна находится в решительной противоположности к другой. Чтобы не оставить сомнения, что это за психология, которой он приписывает первенствующее значение, он приводит ее в связь с феноменологией Гуссерля, его учением об идеальных сущностях, и поясняет, что эйдос или сущность Гуссерля — это идеи Платона с некоторыми поправками. Для Гуссерля феноменология относится к описательной психологии так, как математика к физике. Первые, как геометрия, есть наука о сущностях, об идеальных возможностях, вторые — о фактах. Феноменология делает возможной объяснительную и описательную психологию.

Для Челпанова, вопреки мнению Гуссерля, феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, а метод феноменологический вполне тождествен методу аналитическому. Несогласие Гуссерля видеть в эйдетической психологии то же самое, что феноменология, Челпанов объясняет так. Под современной психологией он разумеет только эмпирическую, т. е. индуктивную, между тем как в ней есть и феноменологические истины. Итак, выделять феноменологию из психологии не надо. В основу экспериментально-объективных методов, которые робко защищает Челпанов против Гуссерля, должен быть положен феноменологический. Так было, так будет, заканчивает автор.

Как сопоставить с этим утверждения, что психология только эмпирична, исключает по самой природе своей идеализм и независима от философии?

Мы можем резюмировать: как бы ни называть рассматриваемое разделение, какие бы ни подчеркивать оттенки смысла в каждом термине, основная суть вопроса остается той же везде и сводится к двум положениям.

1. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из идеалистических предпосылок, как естествознание — из материалистических, т. е. эмпирическая психология была идеалистической в основе.

2. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии (о них ниже). Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла: мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии, или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию (Г. Мюнстерберг, 1922, с. 10). Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержаний и психологию актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию.

В сущности, мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее, пронизывающей все ее развитие, и, таким образом, примкнули к бесспорному историческому положению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением *ближайших причин*, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это, в сущности, тот же факт тяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней «психотелеологии» и «психобиологии», которое Дессуар назвал пением в два голоса современной психологии и которое, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.

13

Мы должны теперь кратко остановиться на ближайших причинах кризиса или на его движущих силах.

Что толкает к кризису, к разрыву и что *переживает* его пассивно, только как неизбежное зло? Разумеется, мы остановимся лишь на движущих силах, лежащих *внутри* нашей науки, оставляя все другие в стороне. Мы имеем право так сделать, потому что внешние — социальные и идейные — причины и явления представлены так или иначе, в конечном счете, силами внутри науки и действуют в виде этих последних. Поэтому наше намерение есть анализ ближай-

ших причин, лежащих в науке, и отказ от более глубокого анализа.

Скажем сразу: *развитие прикладной психологии во всем ее объеме — главная движущая сила кризиса в его последней фазе.*

Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии — спору нет; но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, т. е. для методолога, нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии: в ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии; она дает лучшие методологические работы. Представление о смысле происходящего и возможности реальной психологии можно составить себе только из изучения этой области.

Центр в истории науки передвинулся; то, что было на периферии, стало определяющей точкой круга. Как и о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать: камень, который презрели строители, стал во главу угла.

Три момента объясняют сказанное. Первый — *практика.* Здесь (через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию) психология *впервые* столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной, политической, военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой. Она заставляет усвоить и ввести в науку огромные, накопленные тысячелетиями запасы практически-психологического опыта и навыков, потому что и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт. (Всякий психолог испытал на себе перестраивающее влияние прикладной науки.) Она для развития психологии сыграет ту же роль, что медицина для анатомии и физиологии и техника для физических наук. Нельзя преувеличивать значение новой практической психологии для *всей* науки; психолог мог бы сложить ей гимн.

Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы

научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы.

Это переводит нас прямо *ко второму моменту — к методологии*. Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, т. е. методологии науки. Этому нисколько не противоречит то легкомысленное, «беззаботное», по слову Мюнстерберга, отношение психотехники к своим принципам; на деле и практика, и методология психотехники часто поразительно беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских лекарей о медицине; ее методология изобретается всякий раз ad hoc, и ей недостает критического вкуса; ее часто называют дачной психологией, т. е. облегченной, временной, полусерьезной. Все это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создает железную методологию. Как говорит Мюнстерберг, не только в общей части, но и при рассмотрении специальных вопросов мы принуждены будем всякий раз возвращаться к исследованию принципов психотехники (1922, с. 6).

Поэтому я и утверждаю: несмотря на то что она себя не раз компрометировала, *что ее практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно*. Принцип практики и философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла. В этом весь смысл кризиса.

Л. Бинсвангер говорит, что не от логики, гносеологии или метафизики ожидаем мы решения самого общего вопроса — вопроса вопросов всей психологии, проблемы, включающей в себя проблемы психологии,— о субъективирующей и объективирующей психологии,— но от методологии, т. е. учения о научном методе (Бинсвангер). Мы сказали бы: от методологии психотехники, т. е. от *философии практики*. Сколь ни очевидно ничтожна практическая и теоретическая цена измерительной шкалы Бине или других психотехнических испытаний, сколь ни плох сам по себе тест, как идея, как методологический принцип, как задача, как перспектива это огромно. Сложнейшие противоречия психологической методологии переносятся на почву практики и только здесь могут получить свое разрешение. Здесь спор перестает быть бесплодным, он получает конец. Метод — значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.

Третий момент реформирующей роли психотехники может быть понят из двух первых. Это то, что психотехника *есть односторонняя* психология, она толкает к разрыву и оформляет реальную психоло-

гию. За границы идеалистической психологии переходит и психиатрия; чтобы лечить и излечить, нельзя опираться на интроспекцию; едва ли вообще можно до большего абсурда довести эту идею, чем приложив ее к психиатрии. Психотехника, как отметил И. Н. Шпильрейн, тоже осознала, что не может отделить психологических функций от физиологических, и ищет целостного понятия. Я писал об учителях (от которых психологи требуют вдохновения), что едва ли хоть один из них доверил бы управление кораблем вдохновению капитана и руководство фабрикой — воодушевлению инженера; каждый выбрал бы ученого моряка и опытного техника. И вот эти высшие требования, которые вообще только и могут быть предъявлены к науке, высшая серьезность практики будут живительны для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. Для отбора вагоновожатых не годится эйдетическая психология Гуссерля, которой нет дела до истины ее утверждений, для этого не годится и созерцание сущностей, даже ценности ее не интересуют. Все это нимало не страхует ее от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, есть цель такой психологии, но *психотехника — в одном слове*, т. е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением.

И вот Мюнстерберг, этот воинствующий идеалист, закладывает основы психотехники, т. е. материалистической в высшем смысле психологии. Штерн, не меньший энтузиаст идеализма, разрабатывает методологию дифференциальной психологии и с убийственной силой обнаруживает несостоятельность идеалистической психологии.

Как же могло случиться, что крайние идеалисты работают на материализм? Это показывает, как глубоко и объективно необходимо заложены в развитии психологии обе борющиеся тенденции; как мало они совпадают с тем, что психолог сам говорит о себе, т. е. с субъективными философскими убеждениями; как невыразимо сложна картина кризиса; в каких смешанных формах встречаются обе тенденции; какими изломанными, неожиданными, парадоксальными зигзагами проходит линия фронта в психологии, часто *внутри* одной и той же системы, часто *внутри* одного термина — наконец, как *борьба двух психологий не совпадает с борьбой многих воззрений и психологических школ, но стоит за ними и определяет их*; как обманчивы внешние формы кризиса и как надо в них вычитывать стоящий за их спиной истинный смысл.

Обратимся к Мюнстербергу. Вопрос о правомерности каузальной психологии имеет решающее значение для психотехники. Эта односторонняя каузальная психология только теперь вступает в свои права. Сама по себе каузальная психология есть ответ на искусственно поставленные вопросы: душевная жизнь сама по себе требует не объяснения, а понимания. Но психотехника может работать

только с этой «неестественной» постановкой вопроса и свидетельствует о ее необходимости и правомерности. «Так, только в психотехнике выявляется подлинное значение объяснительной психологии, и, таким образом, в ней завершается система психологических наук» (Г. Мюнстерберг, 1922, с. 8—9). Трудно яснее показать объективную силу тенденции и несовпадения убеждений философа с объективным смыслом его работы: материалистическая психология неестественна, говорит идеалист, но *я вынужден* работать именно в *такой психологии.*

Психотехника направлена на действие, на практику — а здесь мы поступаем принципиально иначе, чем при чисто теоретическом понимании и объяснении. Психотехника поэтому *не может* колебаться в выборе той психологии, которая ей нужна (даже если ее разрабатывают последовательные идеалисты), она имеет дело исключительно с каузальной, с психологией объективной; некаузальная психология не играет никакой роли для психотехники.

Именно это положение имеет решающее значение для всех психотехнических наук. Она — сознательно — односторонняя. Только она есть эмпирическая наука в полном смысле слова. Она — неизбежно — наука сравнительная. Связь с физическими процессами для этой науки есть нечто столь основное, что она является физиологической психологией. Она есть экспериментальная наука. И общая формула: «Мы исходили из того, что единственная психология, в которой нуждается психотехника, должна быть описательно-объяснительной наукой. Мы можем теперь прибавить, что эта психология, кроме того, есть наука эмпирическая, сравнительная, наука, пользующаяся данными физиологии, и, наконец, экспериментальная наука» (там же, с. 13). Это значит, что психотехника вносит переворот в развитие науки и обозначает эпоху в ее развитии. С этой точки зрения Мюнстерберг говорит, что эмпирическая психология едва ли *возникла* раньше середины XIX в. Даже в тех школах, где отвергалась метафизика и исследовались факты, изучение руководилось другим интересом. Применение [эксперимента.— *Ред.*] было невозможно, пока психология не стала естественной наукой; но с введением эксперимента создалось парадоксальное положение, немыслимое в естествознании: аппараты, как первая машина или телеграф, были известны лабораториям, но применены к практике. Воспитание и право, торговля и промышленность, социальная жизнь и медицина не были затронуты этим движением. До сих пор считается осквернением исследования его соприкосновение с практикой и советуют ждать, пока психология завершит свою теоретическую систему. Но опыт естественных наук говорит о другом: медицина и техника не ждали, пока анатомия и физика отпразднуют свои последние триумфы. Не только жизнь нуждается в психологии и практикует ее в других формах везде, но и в психологии надо ждать подъема от этого соприкосновения с жизнью.

Конечно, Мюнстерберг не был бы идеалистом, если бы он это положение дел принял так, как оно есть, и не оставил особой области для неограниченных прав идеализма. Он только переносит спор в другую область, признавая несостоятельность идеализма в области каузальной, питающей практику психологии. Он объясняет «гносеологическую терпимость», он выводит ее из идеалистического понимания сущности науки, которая ищет различения не истинных и ложных понятий, но пригодных или непригодных для представлений целей. Он верит, что между психологами может установиться некоторое временное перемирие, как только они покинут поле битвы психологических теорий (там же).

Поразительный пример внутреннего разлада между методологией, определяемой наукой, и философией, определяемой мировоззрением, представляет весь труд Мюнстерберга именно потому, что он до конца последовательный методолог и до конца последовательный философ, т. е. до конца противоречивый мыслитель. Он понимает, что, будучи материалистом в каузальной и идеалистом в телеологической психологии, он приходит к своего рода двойной бухгалтерии, которая необходимо должна быть недобросовестной, потому что записи на одной стороне совсем не те, что записи на другой: ведь в конце концов мыслима все же только одна истина. Но для него ведь истина не сама жизнь, но логическая переработка жизни, а последняя может быть разная, определяемая многими точками зрения (там же, с. 30). Он понимает, что не отказа от гносеологической точки зрения требует эмпирическая наука, а *определенной теории*, но в разных науках применимы разные гносеологические точки зрения. В интересах практики мы выражаем истину на одном языке, в интересах духа — на другом.

Если у естественников есть разногласия во мнениях, то они не касаются основных предпосылок науки. Для ботаники не представляет никаких затруднений сговориться с другим исследователем относительно характера материала, над которым он работает. Ни один ботаник не останавливается на вопросе о том, что, собственно, значит: растения существуют в пространстве и во времени, над ними господствуют законы причинности. Но природа психологического материала не позволяет отделить психологические положения от философских теорий настолько, насколько этого удалось достигнуть в других эмпирических науках. Психолог впадает в принципиальный самообман, воображая, будто лабораторная работа может привести его к решению основных вопросов своей науки; они принадлежат философии. Кто не желает вступать в философское обсуждение принципиальных вопросов, просто-напросто должен молчаливо положить в основу специальных исследований ту или другую гносеологическую теорию (там же). Именно гносеологическая терпимость, а не отказ от гносеологии привели Мюнстерберга к идее двух психологий, из которых одна отрицает другую, но которые обе могут быть

приняты философом. Ведь терпимость не означает атеизма; в мечети он магометанин, а в соборе — христианин.

Может возникнуть только одно существенное недоразумение: что идея двойной психологии приводит к *частичному* признанию прав каузальной психологии, что двойственность переносится в саму психологию, которую разделяют на два этапа; что и *внутри* каузальной психологии Мюнстерберг объявляет терпимость, *но это абсолютно не так.* Вот что он говорит: «Может ли рядом с каузальной психологией существовать телеологически мыслящая, можем ли мы и должны ли в научной психологии трактовать телеологическую апперцепцию или сознание задачи, или аффекты и волю, или мышление? Или эти основные вопросы не занимают психотехника, так как он знает, что, во всяком случае, мы можем овладеть всеми этими процессами и психическими функциями, пользуясь языком каузальной психологии, и что с этим каузальным пониманием только и может иметь дело психотехника?» (там же, с. 11).

Итак, обе психологии нигде не пересекаются друг с другом, нигде не дополняют друг друга — они служат *двум* истинам — одной в интересах практики, другой в интересах духа. Двойная бухгалтерия ведется в мировоззрении Мюнстерберга, но не в психологии. Материалист примет у Мюнстерберга *вполне* его концепцию каузальной психологии и отвергнет двоицу наук; идеалист отвергнет двоицу тоже и примет *вполне* концепцию телеологической психологии; сам Мюнстерберг объявляет гносеологическую терпимость и принимает обе науки, но разрабатывает одну в качестве материалиста, другую — в качестве идеалиста. Таким образом, спор и двойственность совершаются за пределами каузальной психологии; она не составляет ни от чего часть и *сама по себе* не входит членом ни в какую науку.

Этот поучительнейший пример того, как в науке идеализм *вынужден* становиться на почву материализма, всецело подверждается на примере *любого* другого мыслителя.

В. Штерн, приведенный к объективной психологии проблемами дифференциального изучения, которое тоже является одной из главных причин новой психологии, проделал тот же путь. Но мы исследуем не мыслителей, а их судьбу, т. е. стоящие за ними и ведущие их объективные процессы. А они открываются не в индукции, а в анализе. По выражению Энгельса, одна паровая машина не менее убедительно показывает законы превращения энергии, чем 100 000 машин (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 543). В виде курьеза надо только добавить: русские идеалисты-психологи в предисловии к переводу Мюнстерберга отмечают среди его заслуг то, что он отвечает стремлениям психологии поведения и требованиям цельного подхода к человеку, не распыляющего его психофизическую организацию на атомы. Что делают большие идеалисты как трагедию, то повторяют маленькие как фарс.

Мы можем резюмировать. Причину кризиса мы понимаем как его движущую силу, а потому имеющую не только исторический интерес, но и руководящее — методологическое — значение, так как она не только привела к созданию кризиса, но и продолжает определять его дальнейшее течение и судьбу. Причина эта лежит в развитии прикладной психологии, приведшей к перестройке всей методологии науки на основе принципа практики, т. е. к превращению ее в естественную науку. Этот принцип давит на психологию и толкает ее к разрыву на две науки; он обеспечивает в будущем правильное развитие материалистической психологии. Практика и философия становятся во главу угла.

Многие психологи видели в введении эксперимента принципиальную реформу психологии и даже отождествляли экспериментальную и научную психологию. Они предсказывали, что будущее принадлежит только экспериментальной психологии, и видели в этом эпитете важнейший методологический принцип. Но эксперимент остался в психологии на уровне технического приема, не был использован принципиально и привел, например у Н. Аха, к собственному отрицанию. Ныне многие психологи видят исход *в методологии*, в правильном построении принципов; они ждут спасения с другого конца. Но и их работа бесплодна. Только принципиальный отказ от слепого эмпиризма, плетущегося в хвосте непосредственного интроспективного переживания и внутренне расколотого надвое; только эмансипация от интроспекции, выключение ее, как глаза в физике; только разрыв и выбор одной психологии дают выход из кризиса. Диалектическое единство методологии и практики, с двух концов приложенное к психологии,— судьба и удел одной психологии; полный отказ от практики и созерцание идеальных сущностей — удел и судьба другой; полный разрыв и отделение друг от друга — их общий удел и общая судьба. Разрыв этот начался, происходит и закончится по линии *практики*.

14

Сколь ни очевидна после анализа историческая и методологическая догма о растущем разрыве двух психологий как формула динамики кризиса, она оспаривается многими. Само по себе это нас не занимает: найденные нами тенденции потому и кажутся нам выражением истины, что они имеют объективное существование и не зависят от воззрений того или иного автора, наоборот — сами определяют эти воззрения, поскольку становятся психологическими воззрениями и вовлекаются в процесс развития науки.

Поэтому нас не должно удивлять, что существуют различные воззрения на этот счет; мы с самого начала поставили себе за цель не исследование воззрений, а того, на что эти воззрения направлены. Это и отделяет критическое исследование воззрений того или

иного автора от методологического анализа самой проблемы. Но одно должно все же занимать нас; мы не вовсе равнодушны к воззрениям; именно, мы должны уметь *объяснить* их, вскрыть объективную, внутреннюю их логику, проще — представить всякую борьбу воззрений как сложное выражение борьбы двух психологий. В целом это задача критики *на основе* настоящего анализа, и надо доказать на примере важнейших течений психологии, *что* может дать при их понимании найденная нами догма. Однако показать *возможность* этого, установить принципиальный ход анализа входит в наши задачи здесь.

Сделать это проще всего на анализе тех систем, которые откровенно становятся на сторону одной или другой тенденции или даже смешивают их. Но гораздо труднее, а потому привлекательнее другая задача — показать на примере таких систем, которые принципиально ставят себя *вне* борьбы, вне этих двух тенденций, которые ищут выхода в третьем и как будто отрицают нашу догму только о двух путях психологий. Есть еще третий путь, говорят они: обе борющиеся тенденции можно слить, или подчинить одну другой, или устранить вовсе и создать новую, или подчинить обе чему-то третьему и т. д. Принципиально бесконечно важно для утверждения нашей догмы показать, *куда* ведет этот третий путь, потому что с этим она сама стоит и падает.

По принятому нами способу мы рассмотрим, как действуют обе объективные тенденции в системах воззрений сторонников третьего пути; взнузданы ли они или остаются господами положения; короче, кто кого ведет — конь или всадник?

Прежде всего точно выясним разграничение воззрения и тенденции. Воззрение может само отождествлять себя с известной тенденцией и все же не совпадать с ней. Так, бихевиоризм прав, когда утверждает, что научная психология возможна только как естественная наука; однако это не значит, что он *осуществляет* ее как естественную науку, что он не компрометирует эту идею. Тенденция для всякого воззрения есть *задача*, а не данное; сознавать задачу еще не значит уметь решить ее. На почве одной тенденции могут быть разные воззрения, и в одном воззрении могут быть в различной степени представлены обе тенденции.

С этим четким разграничением мы можем перейти к системам третьего пути. Их существует очень много. Однако большинство принадлежит либо слепцам, бессознательно путающим два пути, либо сознательным эклектикам, перебегающим с тропинки на тропинку. Пройдем мимо; нас занимают принципы, а не их извращения. Таких принципиально чистых систем есть три: гештальттеория, персонализм и марксистская психология. Рассмотрим их в нужном нам разрезе. Объединяет все три школы общее убеждение, что психология как наука невозможна ни на основе эмпирической психологии, ни на основе бихевиоризма и что есть третий путь, стоящий над

обоими этими путями и позволяющий осуществить научную психологию, не отказываясь ни от одного из двух подходов, но объединив их в одно целое. Каждая система решает эту задачу по-своему — и у каждой своя судьба, а вместе они исчерпывают *все* логические возможности третьего пути, точно специально оборудованный методологический эксперимент.

Гештальттеория решает этот вопрос, вводя основное понятие структуры (гештальт), которое объединяет и функциональную и дескриптивную стороны поведения, т. е. является *психофизическим* понятием. Объединить то и другое в объекте одной науки возможно, только найдя нечто существенно *общее* у того и другого и сделав предметом изучения именно это *общее*. Ибо, если признать психику и тело за две разные, разделенные пропастью, не совпадающие ни в одном свойстве вещи, то, конечно, невозможна будет одна наука о двух абсолютно разных вещах. Это центр всей методологии новой теории. Принцип гештальта применим *ко всей природе* одинаково. Это не особенность только психики; принцип носит психофизический характер. Он же [гештальт.— *Ред.*] применим к физиологии, физике и вообще ко всем реальным наукам. Психика только *часть* поведения, сознательные процессы являются частичными процессами больших целых (К. Коффка, 1925). Еще яснее говорит об этом М. Вертгаймер. Формула всей гештальттеории сводится к следующему: *то, что происходит в части какого-нибудь целого, определяется внутренними законами структуры этого целого.* «Гештальттеория есть это, не больше и не меньше» (М. Вертгаймер, 1925, с. 7). Психолог В. Келер (1924) показал, что и в физике происходят принципиально те же процессы. И это *методологически* примечательнейший факт и для гештальттеории решающий аргумент. Принцип изучения одинаков для психического, органического и неорганического — это значит, что психология вводится в контекст естественных наук, что психологическое исследование возможно в физических принципах. Вместо бессмысленного соединения абсолютно гетерогенного психического и физического гештальттеория утверждает их связь: они части одного целого. Только европеец поздней культуры может так делить психическое и физическое, как мы это делаем. Человек танцует. Разве на одной стороне — сумма мускульных движений, на другой — радость, воодушевление? То и другое родственно по структуре. Сознание не привносит ничего принципиально нового, требующего других способов изучения. Где границы между материализмом и идеализмом? Есть психологические теории и даже много учебников, которые, несмотря на то что говорят только об элементах сознания, бездушнее, бессмысленнее, тупее, материалистичнее, чем растущее дерево.

Что все это значит? Только то, что гештальттеория осуществляет материалистическую психологию, поскольку она принципиально и методологически последовательно складывает свою систему. *Видимо*

противоречит этому учение гештальттеории о феноменальных реакциях, об интроспекции, но только видимо, потому что психика для этих психологов есть феноменальная *часть поведения*, т. е. принципиально они избирают *один путь из двух*, а не третий.

Другой вопрос: последовательно ли эта теория проводит свой взгляд, не натыкается ли на противоречия в своих воззрениях, верно ли выбраны средства для осуществления этого пути? Но нас интересует не это, а методологическая система принципов. И мы можем еще сказать: все, что в воззрениях гештальттеории не совпадает с этой тенденцией, есть проявление другой тенденции. Если психику описывают в тех же понятиях, что и физику,— это есть путь естественнонаучной психологии.

Легко показать, что В. Штерн (1924) в теории персонализма проделывает обратный путь развития. Желая избежать обоих путей и встать на третий, он фактически становится тоже *на один из двух* — путь идеалистической психологии. Он исходит из того, что мы не имеем психологии, но имеем много психологий. Желая сохранить предмет психологии в аспекте одной и другой тенденций, он вводит понятие психофизически нейтральных актов и функций и приходит к допущению: психическое и физическое проходят одинаковые ступени развития — это разделение есть вторичный факт, оно возникает из того, что личность может являться себе и другим; основной факт — существование психофизически нейтральной личности и ее психофизически нейтральных актов. Итак, единство достигается введением понятия психофизического нейтрального акта.

Посмотрим, что на деле скрывается за этой формулой. Оказывается, Штерн проделывает обратный путь, который знаком нам по гештальттеории. Для него организм и даже неорганические системы суть тоже психофизические нейтральные личности; растения, Солнечная система и человек должны пониматься принципиально одинаково, но путем распространения на непсихический мир телеологического принципа. Перед нами телеологическая психология. Третий путь опять оказался *одним из двух* знакомых путей. Опять речь идет о методологии персонализма: какова была бы идеально построенная по этим принципам психология. Но какова она на деле — это другой вопрос. На деле Штерн, как Мюнстерберг, вынужден быть сторонником каузальной психологии в дифференциальной психологии; на деле он дает материалистическую концепцию сознания, т. е. внутри его системы происходит все та же знакомая нам борьба, по ту сторону которой он хотел — безуспешно — стать.

Третьей системой, пытающейся стать на третий путь, является складывающаяся на наших глазах система марксистской психологии [56]. Анализ ее затруднителен, потому что она не имеет еще своей методологии [57] и пытается найти ее в готовом виде в случайных психологических высказываниях основоположников марксизма [58], не говоря уже о том, что найти готовую формулу психики в чужих

сочинениях — значило бы требовать «науку прежде самой науки». Нужно заметить, что разнородность материала, отрывочность, перемена значения фразы вне контекста, полемический характер большинства высказываний, верных именно в отрицании ложной мысли, но пустых и общих в смысле положительного определения задачи, никак не позволяют ждать от этой работы чего-либо большего, чем более или менее случайный ворох цитат и талмудическое их толкование. Но цитаты, расположенные в лучшем порядке, никогда не дадут системы.

Другой формальный недостаток подобной работы сводится к смешению двух целей в таких исследованиях; ведь одно дело рассматривать марксистское учение с историко-философской точки зрения и совсем другое— исследовать самые проблемы, которые ставили эти мыслители. Если же соединить то и другое вместе, получится двойная невыгода: для решения проблемы привлекается один автор, проблема ставится только в тех размерах и разрезах, в которых она *мимоходом* и совсем по другому поводу затронута у автора; искаженная постановка вопроса касается его случайных сторон, не затрагивая центра, не развертывая *ее так*, как того требует само существо вопроса.

Боязнь словесного противоречия приводит к путанице гносеологических и методологических точек зрения и т. п.

Но и вторая цель — изучение автора — тоже не достигается этим путем, потому что автор волей-неволей модернизируется, втягивается в сегодняшний спор, а главное — грубо искажается произвольным сведéнием в систему надерганных из разных мест цитат. Мы могли бы сказать так: ищут, во-первых, *не там, где надо*; во-вторых, *не то, что нужно*; в-третьих, *не так, как нужно*. Не там — потому что ни у Плеханова, ни у кого другого из марксистов *нет того, чего у них ищут*, у них нет не только законченной методологии психологии, но даже зачатков ее; перед ними не стояла эта проблема и их высказывания на эту тему носят прежде всего непсихологический характер; даже гносеологической доктрины о способе познания психического у них нет [59]. Разве такое простое дело создать хотя бы гипотезу о психофизическом соотношении! Плеханов вписал бы свое имя в историю философии рядом со Спинозой, если бы он сам создал какую-либо психофизическую доктрину. Он не мог этого сделать, потому что и сам никогда не занимался психофизиологией, и наука не могла дать еще повода для построения такой гипотезы.

За гипотезой Спинозы стояла вся физика Галилея: в ней [гипотезе.— *Ред.*] заговорил переведенный на философский язык весь принципиально обобщенный опыт естествознания, впервые познавший единство и закономерность мира. А что в психологии могло породить такую доктрину? Плеханова и других интересовала всегда местная цель: полемическая, разъяснительная, вообще — цель кон-

текста, но не самостоятельная, не обобщенная, не возведенная в ранг доктрины мысль.

Не то, что надо, потому что нужна методологическая система принципов, с которыми можно начать исследование, а ищут *ответа по существу*, того, что лежит в неопределенной конечной научной точке многолетних коллективных исследований. Если бы уже был ответ, незачем было бы строить марксистскую психологию. Внешним критерием искомой формулы должна быть ее методологическая пригодность; вместо этого ищут возможно меньше говорящую, осторожную, воздерживающуюся от решения важнейшую антологическую формулу. Нам нужна формула, которая *бы нам служила* в исследованиях,— ищут формулу, которой мы должны служить, которую мы должны доказать. В результате натыкаются на формулы, которые методологически *парализуют* исследование: таковы отрицательные понятия и т. п. Не показывают, как можно осуществить науку, исходя из этих случайных формул.

Не так, потому что мышление сковано авторитетным принципом; изучают не методы, но догмы; не освобождаются от метода логического наложения двух формул; не принимают критического и свободно-исследовательского подхода к делу.

Но все эти три порока проистекают из одной причины: непонимания исторической задачи психологии и смысла кризиса; этому специально посвящен следующий раздел. Здесь я говорю все это, чтобы яснее сделать границу между воззрениями и системой, чтобы снять с системы ответственность за грехи воззрений; мы будем говорить об ошибочно понимаемой системе. Мы можем это сделать с тем большим правом, что само это понимание не осознало, куда оно ведет.

Новая система кладет в основу третьего пути в психологии понятие реакции, в отличие от рефлекса и психического явления заключающее в себе и субъективный, и объективный момент в целостном акте реакции. Однако, в отличие и от гештальттеории, и от Штерна, новая теория отказывается от методологической посылки, объединяющей обе части реакции в одно понятие. Ни ви́дение в психике принципиально тех же структур, что в физике, ни усмотрение в неорганической природе цели, энтелехии и личности, ни путь гештальттеории, ни путь Штерна не ведут к цели.

Новая теория принимает вслед за Плехановым доктрину психофизического параллелизма и полную несводимость психического к физическому, видя в этом грубый, вульгарный материализм. Но как возможна *одна* наука о *двух* принципиально, качественно разнородных и несводимых категориях бытия? Как возможно их слияние в целостном акте реакции? На эти вопросы мы имеем два ответа. Корнилов видит между ними функциональное отношение, но этим сразу уничтожается всякая *целостность:* в функциональном отношении могут стоять две *разные* величины. Изучать психологию в понятиях реакции нельзя, ибо *внутри* реакции заключены два не-

сводимых к единству, функционально зависимых элемента. Психофизическая проблема этим не решена, но перенесена *внутрь каждого элемента* и поэтому делает невозможным исследование ни в одном шаге, как она в целом связывала всю психологию. Там было неясно отношение всей области психики ко всей области физиологии, здесь в каждой отдельной реакции запутана та же неразрешимость. Что *методологически* предлагает это решение проблемы? Вместо того чтобы решить ее проблематически (гипотетически) в начале исследования — решать ее экспериментально, эмпирически в каждом отдельном случае. Но ведь это невозможно. И как возможна одна наука с двумя принципиально различными методами познания, не способами исследования — в интроспекции видит К. Н. Корнилов не технический прием, а единственно адекватный способ познания психического. Ясно, что методологически цельность реакции остается pia desiderata, а на деле такое понятие ведет к двум наукам, с двумя методами, изучающими две различные стороны бытия.

Другой ответ дает Ю. В. Франкфурт (1926). Вслед за Г. В. Плехановым он запутывается в безнадежном и неразрешимом противоречии, желая доказать материальность нематериальной психики, а для психологии связать два несвязуемых пути науки. Схема его рассуждений такова: идеалисты видят в материи инобытие духа; механистические материалисты — в духе инобытие материи. Диалектический материалист сохраняет оба члена антиномии. Психика для него 1) особое свойство, несводимое к движению, среди *многих* других свойств; 2) внутреннее состояние движущейся материи; 3) субъективная сторона материального процесса. Противоречивость и разнородность этих формул будет вскрыта при систематическом изложении понятий психологии; тогда я надеюсь показать, какое искажение смысла вносят такие сопоставления вырванных из абсолютно разных контекстов мыслей. Здесь занимает нас исключительно *методологическая* сторона вопроса: как же возможна *одна* наука о *двух* принципиально разных родах бытия. Общего у них нет ничего, сведены к единству они быть не могут, но, может быть, между ними есть такая однозначная связь, которая позволяет объединить их? Нет. Плеханов ясно говорит: марксизм не признает «*возможности объяснить или описать один род явлений с помощью представлений или понятий, «развитых» для объяснения или описания другого*» (цит. по: Ю. В. Франкфурт, 1926, с. 51). «Психика,— говорит Франкфурт,— это *особое* свойство, описываемое или объясняемое с помощью своих *особых* понятий или представлений» (там же). Еще раз — то же (с. 52—53) — *разными* понятиями. Но ведь это значит: есть две науки — одна о поведении как своеобразной форме движения человека, другая — о психике как недвижении. Франкфурт и говорит о физиологии в узком и в широком смысле — с учетом психики. Но будет ли это физиология? Достаточно ли захотеть, чтобы наука возникла по-нашему fiat? Пусть нам покажут хоть

один пример *одной* науки о *двух* разных родах бытия, объясняемых и описываемых при помощи разных понятий, или покажут возможность такой науки.

В этом рассуждении есть два пункта, которые категорически показывают *невозможность* такой науки.

1. Психика есть особое качество или свойство материи, но качество не есть часть вещи, а особая способность. Но качеств вещи у материи очень много, психика — одно *из них*. Плеханов сравнивает отношение между психикой и движением с отношениями между растительным свойством и удобосгораемостью, твердостью и блеском льда. Но тогда почему есть только два члена антиномии; их должно быть столько, сколько есть качеств, т. е. много, бесконечно много. Очевидно, вопреки Чернышевскому, между всеми качествами есть нечто общее; есть *общее понятие*, под которое можно подвести все качества материи: и блеск, и твердость льда, и удобосгораемость, и рост дерева. Иначе было бы столько наук, сколько качеств; одна наука о блеске льда, другая — о его твердости. То, что говорит Н. Г. Чернышевский, *просто нелепо* как методологический принцип. Ведь и внутри психики есть свои разные качества: боль так же похожа на сладость, как блеск на твердость — опять особое свойство.

Дело все в том, что Плеханов оперирует *общим понятием психики*, под которое подведено множество разнообразнейших качеств, а таким же *общим понятием*, под которое подводятся *все* другие качества, будет движение. Очевидно, психика к движению стоит принципиально в ином отношении, чем качества друг к другу: и блеск, и твердость, и в конце концов — движение; и боль, и сладость, и в конце концов — психика. Психика не одно из многих свойств, а одно из двух. Но, значит, в конце концов есть *два* начала, а не одно и не много. Методологически это значит, что сохраняется полностью дуализм науки. Это особенно ясно из 2-го пункта.

2. Психическое не влияет на физическое, по Плеханову (1922). Франкфурт (1926) выясняет, что оно влияет само на себя опосредованно, через физиологическое, у него своеобразная действенность. Если мы соединим два прямоугольных треугольника, то их формы образуют новую форму — квадрат. Формы сами по себе не воздействуют, «как вторая, «формальная» сторона соединения наших материальных треугольников». Заметим, что это есть *точная* формулировка знаменитой Schattenteorie — теории теней: два человека подают друг другу руки, их тени делают то же; по Франкфурту, тени «воздействуют» друг на друга через тела.

Но методологическая проблема совсем не в этом. Понимает ли автор [Франкфурт.— *Ред.*], что он пришел к чудовищной для материалиста формулировке природы нашей науки? В самом деле, что это за наука о тенях, формах, зеркальных призраках? Наполовину автор понимает, куда он пришел, но не видит, что это значит. Разве

возможна естественная наука о формах как таковых, наука, пользующаяся индукцией, понятием причинности? Только в геометрии мы изучаем абстрактные формы. Последнее слово сказано: психология возможна, как геометрия. Но именно это есть высшее выражение эйдетической психологии Гуссерля, такова описательная психология Дильтея как математика духа, такова феноменология Челпанова, аналитическая психология Стаута, Мейнонга, Шмидта-Коважика. Их всех объединяет с Франкфуртом вся принципиальная структура; они пользуются той же аналогией.

1. Надо изучать психику, как геометрические формы,— *вне причинности*; два треугольника не родят квадрата, круг ничего не знает о пирамиде; ни одно отношение реального мира нельзя перенести в идеальный мир форм и психических сущностей: их можно только описывать, анализировать и классифицировать, но не объяснять. Основным свойством психики Дильтей считает то, что члены его связаны не по закону причинности: «В представлениях не заключается достаточного основания для перехода их в чувства; можно вообразить существо, обладающее лишь способностью представления, которое в пылу битвы было бы равнодушным и безвольным зрителем собственного своего разрушения. В чувствах не заключается достаточного основания для перехода их в волевые процессы; можно вообразить то же существо взирающим на происходящий вокруг него бой с чувством страха и ужаса, тогда как эти чувства не выливаются в защитные движения» (1924, с. 99).

Именно потому, что эти понятия адетерминистичны, беспричинны и беспространственны, именно потому, что они построены по типу геометрических абстракций, Павлов отвергает их пригодность для науки: они несоединимы с материальной конструкцией мозга. Именно потому что они геометричны, мы вслед за Павловым говорим, что они непригодны для реальной науки.

Но как возможна наука, соединяющая геометрический метод с индуктивно-научным? Дильтей прекрасно понимал, что материализм и *объяснительная* психология предполагают друг друга. «Последний во всех своих оттенках есть объяснительная психология. Всякая теория, полагающая в основу связь физических процессов и лишь включающая в них психические факты, есть материализм» (там же, с. 30).

Именно желание отстоять самостоятельность духа и всех наук о духе, боязнь перенесения на этот мир закономерности и необходимости, царствующей в природе, приводят к боязни объяснительной психологии. «Ни одна... объяснительная психология не может быть положена в основу наук о духе» (там же, с. 64). Это означает: нельзя науки о духе изучать материалистически. О, если бы Франкфурт понимал, что означает на деле его требование психологии как геометрии; его признание особой связи — «действенности» — не физической причинности психики; его отказ от объяснительной пси-

хологии — ни много, ни мало: *отказ от понятий закономерности во всей области духа, об этом идет спор.* Русские идеалисты это прекрасно понимают: тезис Дильтея о психологии — для них тезис, противостоящий механистическому пониманию исторического процесса.

2. Вторая черта той психологии, к которой пришел Франкфурт, заключена в методе, в природе знания этой науки. Если психика не вводится в связь процессов природы, если она внепричинна, то ее нельзя изучать индуктивным путем, наблюдая реальные факты и обобщая их, ее надо изучать умозрительным методом: непосредственным усмотрением истины в этих платоновских идеях или психических сущностях. В геометрии нет места индукции; что доказано для одного треугольника, доказано для всех. Она изучает не реальные треугольники, а идеальные абстракции — отделенные от вещей их отдельные свойства, доведенные до предела и взятые в идеально чистом виде. Для Гуссерля феноменология так относится к психологии, как математика к естествознанию. Но было бы невозможно осуществить геометрию и психологию, по Франкфурту, как естественную науку. Их разделяет метод. Индукция основана на многократном наблюдении фактов и на обобщении, полученном опытным путем; аналитический (феноменологический) метод — на непосредственном однократном усмотрении истины. Об этом стоит подумать: нам надо точно знать, какова та наука, с которой мы хотим нацело порвать. Здесь в учении об индукции и анализе заключено одно существенное недоразумение, которое надо вскрыть.

Анализ вполне планомерно применяется и в каузальной психологии, и в естествознании; и там мы часто *из единичного наблюдения выводим общую закономерность.* В частности, засилие индукции и математической обработки и недоразвитие анализа значительно погубили дело Вундта и всей экспериментальной психологии.

В чем же отличие одного анализа от другого, или, чтобы не впадать в ошибку,— аналитического метода от феноменологического? Если мы узнаем это, мы нанесем на нашу карту последнюю черту, проводящую границу между двумя психологиями.

Метод анализа в естественных науках и в каузальной психологии состоит в изучении *одного* явления, *типичного* представителя целого ряда, и выведении отсюда положения *обо всем ряде.* Челпанов поясняет эту мысль, приводя пример с изучением свойств различных газов. Так, мы утверждаем что-либо о свойствах всех газов, после того как произвели эксперимент над каким-либо одним газом. Делая такого рода заключение, мы подразумеваем, что тому газу, над которым проведен эксперимент, присущи свойства всех других газов. В таком умозаключении, по Челпанову, присутствуют одновременно и индуктивный, и аналитический методы.

Действительно ли это так, т. е. действительно ли возможно смешение, соединение геометрического метода с естественнонаучным

или здесь только смешение терминов и слово *анализ* употребляется Челпановым в двух, совершенно различных смыслах? Вопрос слишком важен, чтобы пройти мимо: кроме того что нам нужно разделить две психологии, надо возможно глубже и дальше рассечь их методы, так как у них *не может быть* общих методов; помимо того что нас интересует та часть метода, которая после рассечения достанется описательной психологии, потому что мы хотим ее точно знать,— помимо всего этого, *мы не хотим при разделе уступить ей ни иоты* принадлежащей нам территории; аналитический метод принципиально слишком важен для построения всей социальной психологии, как увидим ниже, чтобы отдать его без боя.

Наши марксисты, разъясняя гегелевский принцип в марксистской методологии, правильно утверждают, что каждую вещь можно рассматривать как микрокосм, как всеобщую меру, в которой отражен весь большой мир. На этом основании они говорят, что изучить *до конца*, исчерпать одну какую-нибудь вещь, один предмет, одно явление — значит познать весь мир во всех его связях. В этом смысле можно сказать, что каждый человек есть в той или иной степени мера того общества или, скорее, класса, к которому он принадлежит, ибо в нем отражена вся совокупность общественных отношений.

Мы видим уже из этого, что познание от единичного к общему есть ключ ко всей социальной психологии; нам нужно отвоевать для психологии право рассматривать единичное, индивида как социальный микрокосм, как тип, как выражение или меру общества. Но об этом придется говорить только тогда, когда мы останемся один на один с каузальной психологией; здесь же нам надо исчерпать до конца тему о разделении.

В примере Челпанова безусловно верно то, что анализ не отрицает в физике индукции, но именно благодаря ей делает возможным однократное наблюдение, дающее общий вывод. В самом деле, по какому праву мы распространяем наш вывод с одного газа на все? Очевидно, только потому, что путем прежних индуктивных наблюдений мы вообще выработали понятие газа и установили объем и содержание этого понятия. Далее, потому, что мы изучаем данный единичный газ *не как таковой*, а с особой точки зрения, мы изучаем осуществленные в нем общие *свойства газа*: именно этой возможности, т. е. точке зрения, позволяющей отделить в единичном его особенное от общего, мы обязаны анализу.

Итак, анализ принципиально не противоположен индукции, а родствен ей: он есть высшая ее форма, отрицающая ее сущность (многократность). Он опирается на индукцию и ведет ее. Он ставит вопрос; он лежит в *основе всякого эксперимента*; всякий *эксперимент есть анализ в действии, как всякий анализ есть эксперимент в мысли*; поэтому правильно было бы назвать его *экспериментальным методом*. В самом деле, когда я экспериментирую, я изучаю *A*, *B*, *C*..., т. е. ряд конкретных явлений, и распределяю выводы на *разные*

группы: на всех людей, на детей школьного возраста, на деятельность и т. д. Анализ и предлагает объем распространения выводов, т. е. выделение в *A*, *B*, *C* общих для данной группы черт. Но и далее: в эксперименте я наблюдаю всегда один выделенный признак явления, и это опять работа анализа.

Перейдем к индуктивному методу, чтобы пояснить анализ: рассмотрим ряд применений этого метода.

И. П. Павлов изучает фактически деятельность *слюнной железы у собаки*. Что дает ему право назвать свой опыт изучением высшей нервной деятельности *животных*? Быть может, он должен был проверить свои опыты на коне, вороне и т. д.— на всех или, по крайней мере, на большинстве животных, чтобы иметь право сделать выводы? Или, может быть, он должен был свой опыт назвать так: изучение слюноотделения у собаки? Но именно слюноотделения собаки *как такового* Павлов и не изучал, и его опыт ни на иоту не увеличил наших знаний о собаке как таковой и насчет слюноотделения как такового. Он в собаке изучал не собаку, а *животное вообще*, в слюноотделении — *рефлекс вообще*, т. е. у этого животного и в этом явлении он выделил то, что есть общего у них со всеми однородными явлениями. Поэтому его выводы не только касаются всех животных, но и всей биологии: установленный факт выделения слюны у данных павловских собак на данные Павловым сигналы прямо становится общебиологическим принципом — превращения наследственного опыта в личный. Это оказалось возможным, потому что Павлов *максимально абстрагировал* изучаемое явление от специфических условий единичного явления, он гениально *увидел в единичном общность*.

На что же он опирался в расширении своих выводов? Конечно, на следующее: то, на что мы распространяем свои выводы, имеет дело с *теми же элементами*, и мы опираемся на заранее установленные сходства (класс наследственных рефлексов у всех животных, нервная система и т. п.). Павлов открыл *общебиологический* закон, изучив *собак*. Но он в собаке изучал то, что составляет основу животного.

Таков методологический путь всякого объяснительного принципа. В сущности, Павлов не распространил свои выводы, а степень их распространения была заранее дана — она заключалась в самой постановке опыта. То же верно относительно А. А. Ухтомского: он изучил несколько препаратов лягушек; если бы он распространил свои выводы на всех лягушек, это была бы индукция; но он говорит о доминанте как принципе психологии героев «Войны и мира» — и этим он обязан анализу. Ч. Шеррингтон изучил у многих собак и кошек почесывательный и сгибательный рефлексы задних ног, а установил принцип борьбы за двигательное поле, лежащий в основе личности. Но и Ухтомский, и Шеррингтон ничего не прибавили к изучению лягушек и кошек как таковых.

Конечно, это совсем особая задача — практически найти на деле *точные фактические границы* общего принципа и *степень* его приложимости к отдельным видам данного рода: может быть, условный рефлекс имеет высшую границу в поведении человеческого младенца и низшую — в беспозвоночных, а ниже и выше встречается в абсолютно иной форме. Внутри этих границ он больше приложим к собаке, чем к курице, и можно точно установить, в какой мере он приложим к каждой из них. Но это уже все именно индукция, изучение специфически единичного по отношению к принципу и на почве анализа. Это дробимо до бесконечности: мы можем изучить приложение принципа к разным породам, возрастам, полам собак; далее — к индивидуальной собаке, далее — к отдельному ее дню и часу и т. д. То же верно и о доминанте, и об общем поле.

Я попытался ввести подобный метод в сознательную психологию [60], вывести законы психологии искусства на *анализе* одной басни, одной новеллы и одной трагедии. Я исходил при этом из мысли, что развитые формы искусства дают ключ к недоразвитым, как анатомия человека — к анатомии обезьяны; что трагедия Шекспира объяснит нам загадки первобытного искусства, а не наоборот. Далее, я говорю *обо всем искусстве* и не проверяю свои выводы на музыке, живописи и т. д. Еще больше: я не проверяю их на *всех* или большинстве *видов* литературы; я беру *одну* новеллу, *одну* трагедию. По какому праву? Я изучал не басни, не трагедии и еще меньше *данную* басню и *данную* трагедию. Я изучал в них то, что составляет основу всего искусства,— природу и механизм эстетической реакции. Я опирался на общие элементы формы и материала, которые присущи всякому искусству. Я выбрал для анализа самые трудные басни, новеллы и трагедии — именно такие, на которых общие законы особенно видны: я выбрал уродов среди трагедий и т. п. Анализ предполагает абстракцию от конкретных черт басни как таковой, как определенного жанра и сосредоточение силы на сущности эстетической реакции. Поэтому о басне как таковой я *ничего* не говорю. И самый подзаголовок «Анализ эстетической реакции» указывает на то, что задачей исследования является не систематическое изложение психологического учения об искусстве во всем его объеме и во всей широте содержания (все виды искусства, все проблемы и т. д.) и даже не индуктивное исследование определенного множества фактов, а именно *анализ процессов в его сущности*.

Объективно-аналитический метод близок, таким образом, к эксперименту; его значение шире его области наблюдения. Разумеется, и принцип искусства говорит о реакции, которая на деле *никогда не осуществлялась* в чистом виде, но всегда со своим «коэффициентом спецификации».

Найти фактические границы, степени и формы приложимости принципа — дело фактического исследования. История пусть покажет, *какие* чувства, в *какие* эпохи, посредством *каких* форм изжи-

вались в искусстве; мое дело было показать, *как это вообще* происходит. И это общая методологическая позиция современного искусствознания: оно изучает сущность реакции, зная, что в чистом виде она никогда не осуществляется именно так, но этот тип, норма, предел входят всегда в состав конкретной реакции и определяют ее специфический характер. Так, чисто эстетической реакции вообще никогда не бывает в искусстве: на деле она соединяется со сложнейшими и различнейшими формами идеологии (мораль, политика и т. д.); многие даже думают, что эстетические моменты не более существенны в искусстве, чем кокетство в размножении рода: это фасад, Vorlust, заманка, а смысл акта в другом (З. Фрейд и его школа); другие полагают, что исторически и психологически искусство и эстетика — две пересекающиеся окружности, имеющие и общую, и раздельную площади (Утиц). Все верно, но правдивость принципа не меняется от этого, потому что он *абстрагирован* от всего этого. Он говорит только о том, что *эстетическая реакция такова*; другое дело — найти границы и смысл самой эстетической реакции внутри искусства.

Все это делает абстракция и анализ. Сходство с экспериментом сводится к тому, что и в нем мы имеем искусственную комбинацию явлений, в которой действие определенного закона должно проявиться в наиболее чистом виде; это есть как бы ловушка для природы, анализ в действии. Такую же искусственную комбинацию явлений, только путем мысленной абстракции, мы создаем и в анализе. Особенно это ясно в применении тоже к искусственным построениям. Будучи направлены не на научные, а на практические цели, они рассчитаны на действие определенного психологического или физического закона. Таковы машина, анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда. Здесь перед нами практический эксперимент. Анализ таких случаев — эксперимент готовых явлений. По смыслу он близок к патологии — этому эксперименту, оборудованному самой природой,— к ее собственному анализу. Разница в том только, что болезнь дает выпадение, выделение лишних черт, а здесь наличие именно нужных, подбор нужных, но результат тот же.

Каждое лирическое стихотворение есть такой эксперимент. Задача анализа — вскрыть лежащий в основе природного эксперимента закон. Но и там, где анализ имеет дело не с машиной, т. е. практическим экспериментом, а с любым явлением, он принципиально схож с экспериментом. Можно было бы показать, как бесконечно усложняют, утончают наше исследование аппараты, насколько делают нас умнее, сильнее, зорче. То же делает и анализ.

Может показаться, что анализ, как и эксперимент, искажает действительность — создает искусственные условия для наблюдения. Отсюда требование жизненности и естественности эксперимента. Если эта идея идет дальше технического требования — не вспугнуть то, что мы ищем,— она приходит к абсурду. Сила ана-

лиза — в абстракции, как сила эксперимента — в искусственности. Опыт Павлова — лучший образец: для собак он *естественный* эксперимент — их кормят и т. д.; для ученого он верх искусственности: слюна выделяется при почесывании определенного участка — комбинация неестественная. Так же в анализе машины необходима деструкция, мысленное или реальное повреждение механизма, для эстетической формы — деформация.

Если припомнить сказанное выше о косвенном методе, то легко заметить, что анализ и эксперимент предполагают *косвенное* изучение: из анализа стимулов мы заключаем к механизму реакции, от команды — к движениям солдат, от формы басни — к реакциям на нее.

То же, в сущности, говорит Маркс, когда сравнивает силу абстракции с микроскопом и химическими реактивами в естественных науках. Весь «Капитал» написан этим методом: Маркс анализирует «клеточку» буржуазного общества — форму товарной стоимости — и показывает, что развитое тело легче изучить, чем клеточку. В клеточке он прочитывает структуры всего строя и всех экономических формаций. Непосвященному, говорит он, анализ может показаться хитросплетением мелочей; да, это мелочи, но такие, с которыми имеет дело микроскопическая анатомия (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 6). Кто разгадал бы клеточку психологии — механизм одной реакции, нашел бы ключ ко всей психологии.

В методологии анализ поэтому есть могущественнейшее оружие. Энгельс разъясняет «всеиндуктивистам», что «никакая индукция на свете никогда не помогла бы нам уяснить себе *процесс* индукции. Это мог сделать только *анализ* этого процесса» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 542). Далее он приводит ошибки индукции, которые можно встретить на каждом шагу. В другой раз он сопоставляет оба метода и находит в термодинамике пример того, насколько основательны претензии индукции быть единственной или хотя бы основной формой научных открытий. «Паровая машина явилась убедительнейшим доказательством того, что из теплоты можно получить механическое движение. 100 000 паровых машин доказывали это не более убедительно, чем одна машина...» (там же, с. 543). «Сади Карно первый серьезно взялся за это, но не путем индукции. Он изучил паровую машину, проанализировал ее, нашел, что в ней основной процесс не выступает *в чистом виде*, а заслонен всякого рода побочными процессами, устранил эти безразличные для главного процесса побочные обстоятельства и сконструировал идеальную паровую машину... которую, правда, так же нельзя осуществить, как нельзя, например, осуществить геометрическую линию или геометрическую плоскость, но которая оказывает, по-своему такие же услуги, как эти математические абстракции: она представляет рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неискаженном виде» (там же, с. 543—544).

Можно было бы в методике исследования этой прикладной ветви методологии показать, как и где применим такой анализ; но и в общей форме мы можем сказать, что анализ есть применение методологии к познанию факта, т. е. оценка применяемого метода и смысла полученных явлений. В этом смысле можно сказать, что анализ *всегда* присущ исследованию, иначе индукция превратилась бы в регистрацию.

Чем же отличается этот анализ от анализа Челпанова? Четырьмя чертами: 1) аналитический метод направлен на познание реальностей и стремится к той же цели, что и индукция. Феноменологический метод вовсе не предполагает бытия той сущности, на которую он направлен; его предметом может быть чистая фантазия, которая вовсе не содержит бытия; 2) аналитический метод изучает факты и приводит к знанию, имеющему достоверность факта. Феноменологический метод добывает истины аподиктические, абсолютно достоверные и общеобязательные; 3) аналитический метод есть особый случай опытного познания, т. е. фактического познания, по Юму. Феноменологический метод априорен, он не есть вид опыта или фактического познания; 4) аналитический метод, опираясь на изученные и обобщенные прежде факты, через изучение новых единичных фактов приводит в конце концов к новым относительным фактическим обобщениям, имеющим границы, степени приложимости, ограничения и даже исключения. Феноменологический метод приводит к познанию не общего, но идеи — сущности. Общее познается из индукции, сущность — из интуиции. Она вневременна и внереальна и не относится ни к каким временным и реальным вещам.

Мы видим, что разница так велика, как вообще только может быть велика между двумя методами. Один метод — будем его называть аналитическим — есть метод реальных, естественных наук, другой — феноменологический, априорный — есть метод наук математических и чистой науки о духе.

Почему же Челпанов называет его аналитическим, утверждая его тождественность с феноменологическим? Во-первых, в этом заключена прямая методологическая *ошибка*, распутывать которую сам автор пытается несколько раз. Так, он указывает, что аналитический метод не тождествен с обычным анализом в психологии. Он дает знание другой природы, чем индукция,— вспомним четкие отличия; все установлены Челпановым. Итак, есть *два вида анализа*, ничего общего, кроме термина, не имеющих между собой. Общий термин вносит путаницу, и надо различать в нем два смысла.

Далее, ясно, что анализ в случае с газом, который приводит автор в качестве возможного возражения против теории единичного усмотрения как основного признака «аналитического» метода, есть анализ естественнонаучный, а не феноменологический. Автор просто *ошибается*, когда видит здесь комбинацию анализа и индукции: это анализ, да не тот. Ни один из четырех пунктов различия обоих ме-

тодов не оставляет в этом сомнения: 1) он направлен на реальные факты, а не на «идеальные возможности»; 2) он обладает только фактической, а не аподиктической достоверностью; 3) он апостериорен; 4) он приводит к обобщениям, имеющим границы и степени, а не к созерцанию сущности. Вообще он возникает из опыта, из индукции, а не из интуиции.

Что здесь ошибка и смешение терминов, абсолютно ясно из *нелепости* соединения в одном эксперименте феноменологического и индуктивного методов. Это допускает Челпанов в случае с газами: это все равно, как если бы мы отчасти доказали теорему Пифагора, а отчасти дополнили ее изучением действительных треугольников. Это абсурд. Но за ошибкой стоит некоторое измерение: психоаналитики научили нас быть чуткими и подозрительными к ошибкам. Челпанов принадлежит к соглашателям: он видит двойственность психологии, но не разделяет вслед за Гуссерлем полного отрыва психологии от феноменологии; для него психология есть отчасти феноменология; внутри психологии есть феноменологические истины — и они служат основным стержнем науки; но вместе с тем Челпанову жаль и экспериментальной психологии, которую с презрением третирует Гуссерль; Челпанов хочет *соединить несоединимое*, и в истории с газами у него фигурирует единственный раз аналитический (феноменологический) метод в соединении с индукцией в физике при изучении реальных газов. И это смешение у него прикрыто общим термином «аналитический».

Рассечение двуединого аналитического метода на феноменологический и индуктивно-аналитический приводит нас к крайним точкам, в которые упирается расхождение двух психологий,— к их гносеологическим исходным точкам. Этому различению я придаю огромное значение, вижу в нем венец и центр всего анализа, и вместе с тем для меня теперь это так ясно, как простая гамма. Феноменология (описательная психология) исходит из коренного различия между физической природой и психическим бытием. В природе мы различаем явления в бытии. «В психической сфере нет никакого различия между явлением и бытием» (Э. Гуссерль, 1911, с. 25). Если природа есть бытие, которое проявляется в явлениях, то этого совершенно нельзя утверждать относительно психического бытия. Здесь *явление и бытие совпадают друг с другом*. Трудно дать более четкую формулу психологического идеализма. А вот гносеологическая формула психологического материализма: «Разница между *мышлением и бытием* в психологии не уничтожена. Даже относительно мышления ты можешь различать между мышлением мышления и мышлением самим по себе» (Л. Фейербах, 1955, с. 216). *В этих двух формулах сущность всего спора.*

Нужно уметь гносеологическую проблему поставить и *для психики* и так же найти в ней различие между бытием и мышлением, как материализм учит нас сделать это в теории познания внешнего

мира. В признании коренного различия психики от физической природы таится отождествление *явления* и *бытия*, духа и материи внутри *психологии*, решение антиномии путем устранения *в психологическом познании* одного члена — материи, т. е. чистой воды идеализма Гуссерля. В различении явления и бытия внутри психологии и в признании бытия истинным объектом изучения выражен весь материализм Фейербаха.

Я берусь перед целым синклитом философов — как идеалистов, так и материалистов — доказать, что именно в этом заключена суть расхождения идеализма и материализма в психологии и что только формулы Гуссерля и Фейербаха дают последовательное решение проблемы в двух возможных смыслах; что первая есть формула феноменологии, а вторая — материалистической психологии. Я берусь, исходя из этого сопоставления, резать по живому месту психологии, точно рассекая ее на два чужеродных и ошибочно сращенных тела; это единственное, что отвечает объективному положению вещей, и *все* споры, *все* разногласия, *вся* путаница происходят только из-за отсутствия ясной и верной постановки гносеологической проблемы.

Отсюда следует, что, принимая у эмпирической психологии только *формальное* признание психики, Франкфурт принимает и всю ее гносеологию и все ее выводы — он вынужден прийти к феноменологии; что, требуя для изучения психики метода, соответствующего ее качественности, он требует, хотя сам того и не знает, феноменологического метода. Его концепция есть тот материализм, о котором совершенно справедливо говорит Геффдинг, что он есть «дуалистический спиритуализм в миниатюре» (1908, с. 64). Именно в *миниатюре*, т. е. с попыткой уменьшить, количественно умалить действительность нематериальной психики, оставить за ней 0,001 влияния. Но ведь принципиальное решение *нисколько* не зависит от количественной постановки вопроса. Одно из двух: или бог есть, или его нет; или духи мертвых являются, или нет; или душевные явления (для Дж. Уотсона — спиритические) нематериальны, или материальны. Ответы в роде того, что бог есть, но очень маленький; или духи мертвых не приходят, но маленькие частички их очень редко залетают к спиритам; или психика материальна, но отлична от всей прочей материи, анекдотичны. В. И. Ленин писал богостроителям, что он их мало отличает от богоискателей: важно вообще принять или изгнать чертовщину, а принимать синего или желтого черта — не велика разница.

Смешение гносеологической и онтологической проблем путем прямого перенесения в психологию не всего рассуждения, а готовых его выводов приводит к искажению и *той* и *другой*. У нас отождествляют субъективное с психическим, а после доказывают, что психическое не может быть объективным; путают гносеологическое сознание как член антиномии — субъект — объект — с эмпирическим,

психологическим сознанием, а после говорят, что сознание не может быть материальным, что признание этого есть махизм. И в результате приходят к неоплатонизму, в духе непогрешимых сущностей, у которых бытие совпадает с явлением. Бегут от идеализма, чтобы окунуться в него головой. Боятся отождествления бытия и сознания пуще огня — и приходят к полнейшему гуссерлевскому отождествлению их в психологии. Отношение между субъектом и объектом, прекрасно разъясняет Геффдинг, не следует смешивать с отношением между духом и телом. Различие между духом и материей есть различие в содержании нашего познания; но различие между субъектом и объектом обнаруживается независимо от содержания нашего познания. Как дух, так и тело для нас объективны, но если духовные объекты по своему существу сродни с познающим субъектом, то тело для нас *только* объект.

Отношение между субъектом и объектом является «проблемой познания, отношение между духом и материей — проблемой бытия» (Г. Геффдинг, 1908, с. 214).

Точное разделение и обоснование обеих проблем в материалистической психологии должно быть сделано не здесь, но указать на возможность двух решений, на грань между идеализмом и материализмом, на существование материалистической формулы необходимо здесь, ибо раздел, раздел до самого конца — задача психологии сегодня. Ведь многие «марксисты» не сумеют указать разницы между своей и идеалистической теорией психологического познания, потому что *ее нет*. Мы уподобляли вслед за Спинозой нашу науку смертельно больному в поисках за безнадежным лекарством; теперь мы видим, что только нож хирурга может спасти положение. Предстоит кровавая операция; многие учебники придется разодрать надвое, как завесу в храме, многие фразы потеряют голову или ноги, иные теории будут разрезаны как раз по животу. Нас занимает только грань, линия разрыва — черта, которую опишет будущий нож.

И вот мы утверждаем, что эта линия проходит между формулой Гуссерля и Фейербаха. Дело в том, что в марксизме вообще не ставилась проблема гносеологии применительно к психологии и не возникала задача разделения *двух* проблем, о которых говорит Геффдинг; зато идеалисты довели эту идею до отточенной ясности. И мы утверждаем, что точка зрения наших «марксистов» есть *махизм в психологии*: отождествление бытия и сознания. *Одно из двух:* или в интроспекции нам непосредственно дана психика — и тогда мы с Гуссерлем; или в ней надо различать субъект и объект, бытие и мышление — и тогда мы с Фейербахом. Но что это значит? Значит, моя радость и мое интроспективное постижение этой радости — разные вещи.

У нас очень в ходу цитата из Фейербаха: то, что для меня есть духовный, нематериальный, сверхчувственный акт, то само по себе

есть акт материальный, чувственный (Л. Фейербах, 1955, с. 214). Приводят это обычно в подтверждение субъективной психологии. Но ведь это говорит *против нее*. Спрашивается: что же мы должны изучать — этот акт сам по себе таким, как он есть, или таким, каким он является мне? Материалист, как при аналогичном вопросе об объективности мира, не задумываясь, говорит: *сам по себе*, объективный акт. Идеалист скажет: мое восприятие. Но тогда один и тот же акт у меня, пьяного и трезвого, маленького и взрослого, сегодня и вчера, у меня и у вас окажется разным в интроспекции. Больше того, в инстроспекции, оказывается, нельзя непосредственно воспринимать мышление, сравнение — это акты бессознательные; а наше интроспективное постижение их не есть уже функциональное понятие, т. е. выведенное из объективного опыта. Что надо, что можно изучать: мышление само по себе или мышление мышления? Никакого сомнения в ответе на этот вопрос не может быть. Но есть одно затруднение, которое мешает прийти к ясному ответу. На это затруднение наткнулись в свое время *все* философы, пытавшиеся провести разделение психологии. К. Штумпф, отделивший психические функции от явлений, спрашивал: кто же, какая наука будет изучать явления, отвергнутые физикой и психологией? Он допускал возникновение *особой науки* — не психологии, не физики. Другой психолог (А. Пфендер) отказывался признать ощущения предметом психологии только на том основании, что физика отказывается признать их своими. Где же им быть? *Феноменология Гуссерля есть ответ на этот вопрос.*

У нас тоже спрашивают: если вы будете изучать мышление само по себе, а не мышление мышления; акт сам по себе, а не акт для меня; объективное, а не субъективное, то кто же будет изучать само субъективное, субъективное искажение объектов? В физике мы стараемся элиминировать субъективное из того, что воспринимаем как объект; в психологии, изучая восприятие, опять требуют отделить восприятие само по себе, как оно есть, от того, каким оно мне кажется. Кто же будет изучать это элиминирующее оба раза, эту *кажимость?*

Но проблема кажимости есть кажущаяся проблема. Ведь в науке мы хотим узнать *истинную*, а не *кажущуюся* причину кажимости: значит, нам нужно брать явления такими, какими они существуют независимо от меня. Сама же *кажимость* — иллюзия (в основном примере Титченера: мюллер-лайеровские линии физически равны, психологически — одна длиннее). Вот различие точки зрения физики и психологии, не *существующее реально*, а возникающее из двух несовпадений двух реально существующих процессов. Если я буду знать физическую природу двух линий и объективные законы глаза, как они есть, сами по себе, я получу в качестве вывода из них объяснение кажимости, иллюзии. Изучение же субъективного в познании ее есть дело логики и исторической теории познания: как бытие, субъективное есть результат двух объективных самих по себе про-

цессов. Дух не всегда субъект; в интроспекции он расщепляется на объект и на субъект. Спрашивается: в интроспекции явление и бытие совпадают? Стоит только *применить* гносеологическую формулу материализма, данную В. И. Лениным (сходная у Г. В. Плеханова), *к психологическому субъекту — объекту*, чтобы увидеть, в чем дело: «...*единственное* «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство *быть объективной реальностью*, существовать вне нашего сознания» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 275). «...Понятие материи... не означает гносеологически *ничего иного*, кроме как: объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им» (там же, с. 276). В другом месте В. И. Ленин говорит, что это, в сущности, принцип *реализма*, но он избегает этого слова, потому что оно захватано непоследовательными мыслителями.

Итак, *как будто* эта формула говорит против нашей точки зрения: сознание не может не существовать вне нашего сознания. Но, как верно определил Плеханов, самосознание есть сознание сознания. И сознание *может* существовать без самосознания: в этом убеждает нас бессознательное, относительно бессознательное. Я могу видеть, не зная, что вижу. Поэтому прав Павлов, когда говорит, что можно жить субъективными явлениями, но нельзя их изучать.

Ни одна наука невозможна иначе, чем при разделении непосредственного переживания от знания: удивительное дело — только психолог-интроспективист думает, что переживание и знание совпадают. Если бы сущность и форма проявления вещей непосредственно совпадали, говорит Маркс, была бы излишня всякая наука (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 384). Если в психологии явление и бытие — одно и то же, то *каждый есть ученый-психолог* и наука невозможна, возможна только регистрация. Но, очевидно, *одно дело* жить, переживать и *другое* — изучать, как говорит Павлов.

Любопытнейший пример этому мы находим у Э. Титченера. Этот последовательный интроспективист и параллелист приходит к выводу, что душевные явления можно только описывать, но не объяснять. «Но если бы мы попытались ограничиться чисто описательной психологией,— утверждает он,— мы убедились бы, что в таком случае нет никакой надежды на действительную науку о душе. Описательная психология относилась бы к научной психологии точно так же... как относится мировоззрение, которое создает себе мальчик в своей детской лаборатории, к мировоззрению опытного естествоиспытателя... В ней не было бы никакого единства и никакой связи... Чтобы сделать психологию научной, мы должны не только описывать душу, но и объяснять ее. Мы должны отвечать на вопрос «почему?». Но здесь мы встречаемся с затруднением. Мы не можем один душевный процесс рассматривать как причину другого душевного процесса. С другой стороны, и нервные процессы

мы не можем рассматривать как причину душевных процессов... Одна сторона не может быть причиной другой» (1914, с. 32—33).

Вот истинное положение, в которое попадает описательная психология. Выход находит автор в чисто *словесной увертке:* объяснить можно душевные явления только по отношению к телу. Нервная система, говорит Титченер, не обусловливает, а объясняет душу. Она объясняет ее, как карта страны объясняет отрывочные виды гор, рек и городов, которые мы мельком видим, проезжая мимо них. Отношение к телу не прибавляет ни иоты к фактам психологии, оно дает нам в руки только принцип объяснения психологии.

Если отказаться от этого, то есть только два пути преодоления отрывочной психической жизни: или чисто описательный путь, отказ от объяснения; или допустить существование бессознательного. Оба пути испробованы. Но на первом мы никогда не придем к научной психологии, а на втором добровольно перейдем из области фактов в область фикций. Это альтернативы науки. Это прекрасно до ясности. Но возможна ли наука с тем объяснительным принципом, который избрал автор? Возможна ли наука об *отрывочных видах гор, рек и городов*, которым в примере Титченера уподоблена психика? И далее: как, почему карта объясняет эти виды, при помощи карты страны объясняет свои части? Карта есть копия страны, она объясняет, поскольку в ней отражена страна, т. е. однородное объясняет однородное. Наука невозможна на таком принципе. На деле автор сводит все к *причинному объяснению*, так как для него и причинное, и параллелистическое объяснение определяются как указание ближайших обстоятельств или условий, при которых происходит описанное явление. Но ведь и этот путь не приводит к науке: хороши «ближайшие условия» в геологии — ледниковый период, физике — расщепление атома, астрономии — образование планет, биологии — эволюция. Ведь за «ближайшими условиями» в физике идут другие «ближайшие условия» и причинный ряд *принципиально бесконечен*, а при параллелистическом указании дело безнадежно ограничивается только *ближайшими* причинами. Недаром автор ограничивается сравнением своего объяснения с объяснением появления росы в физике. Хороша была бы физика, если бы она не шла дальше указания ближайших условий и подобных объяснений: она просто перестала бы существовать как наука.

Итак, мы видим: для психологии как знания есть два пути: или путь науки, тогда она должна уметь объяснять; или знание об отрывочных ви́дениях, тогда она невозможна как *наука*. Ведь оперирование геометрической аналогией вводит нас в заблуждение. Геометрическая психология абсолютно невозможна, ибо она лишена основного признака: идеальной абстракции, она все же относится к реальным объектам. При этом раньше всего вспоминаешь попытку Спинозы исследовать человеческие пороки и глупости геометриче-

ским путем и рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах. Кроме описательной психологии, ни для какой другой этот путь не годится: ибо от геометрии в нем только словесный стиль и видимость неопровержимости доказательств, а все остальное — и в том числе суть — от ненаучного способа мыслить.

Э. Гуссерль прямо формулирует разницу между феноменологией и математикой: математика есть наука точная, а феноменология — описательная. Ни много ни мало: для аподиктичности феноменологии не хватает такого пустяка, как точность! Но представьте себе неточную математику — и вы получите геометрическую психологию.

В конце концов вопрос сводится, как уже сказано, к разграничению онто- и гносеологической проблемы. В гносеологии *кажимость* есть, и утверждать о ней, что она есть бытие,— ложь. В онтологии *кажимости* нет вовсе. Или психические феномены существуют — тогда они материальны и объективны, или их нет — тогда их *нет* и изучать их нельзя. *Невозможна* никакая наука только о субъективном, о *кажимости*, о призраках, о том, чего нет. Чего нет—*того нет вовсе*, а не полунет, полуесть. Это надо понять. Нельзя сказать: в мире существуют реальные и *нереальные* вещи — нереальное не существует. Нереальное должно быть объяснено как несовпадение, вообще отношение двух реальных вещей; субъективное — как следствие двух объективных процессов. Субъективное есть кажущееся, а потому — его *нет*.

Л. Фейербах к различению субъективного и объективного в психологии делает примечание: «Подобным же образом для *меня* мое тело принадлежит к разряду невесомых, не имеет тяжести, хотя само по себе или для других оно — тяжелое тело» (1955, с. 214).

Отсюда ясно, какую реальность приписывал он субъективному. Он говорит прямо: «В психологии к нам влетают в рот жареные голуби; в наше сознание и чувство попадают только заключения, только результаты, а не посылки, а не процессы организма» (там же, с. 213). Но разве возможна наука о результатах без посылок?

Хорошо выразил это Штерн, говоря вслед за Г. Т. Фехнером, что психическое и физическое — это выпуклое и вогнутое: одна линия представляется то такой, то такой. Но ведь сама по себе она не выпуклая и не вогнутая, а округлая, и именно такой мы хотим ее знать независимо от того, какой она может показаться.

Г. Геффдинг то же сравнивает с одним и тем же содержанием, выраженным на двух языках, которые не удается свести к общему праязыку. Но мы хотим знать *содержание*, а не *язык*, на котором оно выражено. В физике освобождаемся же мы от языка, чтобы изучить содержание. То же должны сделать мы в психологии.

Сравним сознание, как это часто делают, с зеркальным отражением. Пусть предмет A отражен в зеркале, как A_a. Конечно, было бы

ложно сказать, что *а* так же реально, как *А*, но оно *иначе реально*, само по себе. Стол и его отражение в зеркале не одинаково реальны, а по-разному. Отражение как отражение, как образ стола, как второй стол в зеркале нереально, это призрак. Но отражение стола как преломление световых лучей в плоскости зеркала — разве не столь же материальный и реальный предмет, как стол? Было бы чудом все иное. Тогда мы сказали бы: существуют вещи (стол) и их призраки (отражение). Но существуют *только* вещи — (стол) и отражение света от плоскости, а призраки суть *кажущиеся* отношения между вещами. Поэтому никакая наука о зеркальных призраках невозможна. Но это не значит, что мы не сумеем никогда объяснить отражение, призрак: если мы будем знать *вещь* и *законы отражения света*, мы всегда объясним, предскажем, по своей воле вызовем, изменим призрак. Это и делают люди, владеющие зеркалами: они изучают не зеркальные отражения, а движение световых лучей и объясняют отражение. Невозможна наука о зеркальных призраках, но учение о свете и об отбрасываемых и отражающих его вещах вполне объясняет «призраки».

То же и в психологии: субъективное само по себе как призрак должно быть понято как следствие, как результат, как жареный голубь — *двух* объективных процессов. Загадка психики решится, как загадка зеркала, не путем изучения призраков, а путем изучения двух рядов объективных процессов, из взаимодействия которых возникают призраки как кажущиеся отражения *одного в другом*. Само по себе кажущееся не существует.

Вернемся опять к зеркалу. Отождествить *А* и *а*, стол и его зеркальное отражение, было бы идеализмом: *а* вообще нематериально, материально только *А*, и его материальность есть синоним его независимого от *а* существования. Но было бы таким же точно идеализмом отождествить *а* с *X* — с процессами, происходящими сами по себе в зеркале. Было бы ложно сказать: бытие и мышление не совпадают *вне* зеркала, в природе, там *А* не есть *а*, *А* есть вещь, *а* — призрак; но бытие и мышление совпадают в зеркале, здесь *а* есть *X*, *а* есть призрак и *X* тоже призрак. Нельзя сказать: *отражение* стола есть стол, но нельзя сказать также: *отражение* стола есть преломление световых лучей; *а* не есть ни *А*, ни *X*. И *А* и *X* суть реальные процессы, а *а* есть возникающий из них, кажущийся, т. е. нереальный, *результат*. Отражение не существует, но и стол и свет одинаково существуют. Отражение же стола не совпадает с реальными процессами света в зеркале, как и с самим столом.

Не говоря о том, что иначе мы должны были бы допустить существование в мире и вещей, и призраков, вспомним, что ведь само зеркало есть *часть той же природы, что и вещь вне зеркала*, и подчинено всем ее законам. Ведь краеугольным камнем материализма является положение о том, что сознание и мозг есть продукт, часть

природы, отражающая остальную природу. И значит, объективное существование *X* и *A* независимо от *a* есть догма материалистической психологии.

На этом мы можем кончить наше затянувшееся рассуждение. Мы видим, что третий путь гештальтпсихологии и персонализма был, в сущности, оба раза одним из двух известных нам путей. Ныне мы видим, что третий путь, путь так называемой «марксистской психологии», есть попытка соединить оба пути. Эта попытка приводит к их новому разъединению внутри одной и той же научной системы: кто соединит их, тот, как Мюнстерберг, пойдет по двум разным дорогам.

Как в легенде два дерева, соединенных вершинами, разодрали надвое тело древнего князя, так всякая научная система будет разодрана надвое, если она привяжет себя к двум разным стволам. Марксистская психология может быть только естественной наукой, путь Франкфурта ведет его к феноменологии. Правда, он сам в одном месте сознательно возражает против того, что психология может быть естественной наукой (1926). Но, во-первых, он смешивает естественные науки с биологическими, что не верно; психология может быть естественной, но не биологической наукой, а во-вторых, он берет понятие «естественный» в его ближайшем, фактическом значении, как указание на науки об органической и неорганической природе, а не в его принципиально методологическом значении.

В русской литературе В. Н. Ивановский ввел такое употребление этого термина, давно принятое в западной науке. Он говорит, что от математики и реально-математических наук надо строго отличать науки, имеющие дело с вещами, «реальными» предметами и процессами, с тем, что «действительно» существует, *есть*. Эти науки можно поэтому назвать *реальными* или *естественными* (в широком смысле этого слова). У нас обычно термин «науки естественные» употребляется в более узком смысле, обозначая лишь дисциплины, изучающие природу неорганическую и органическую, но не охватывающие природы социальной и сознательной, каковая при таком словоупотреблении оказывается часто отличной от «естества»; чем-то не то «неестественным», не то «сверхъестественным», если не «противоестественным» (В. Н. Ивановский, 1923). Я убежден, что распространение термина «естественный» на все, что реально существует, вполне рационально.

Возможность психологии как науки есть методологическая проблема прежде всего. Ни в одной науке нет стольких трудностей, неразрешимых контроверз, соединения различного в одном, как в психологии. Предмет психологии — самый трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; способ ее познания должен быть полон особых ухищрений и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут.

Я же говорю все время именно об этом последнем — о принципе науки о реальном. В этом смысле Маркс, по его словам, изучает процесс развития экономических формаций как *естественноисторический процесс*.

Ни одна наука не представляет такого разнообразия и полноты методологических проблем, таких туго затянутых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. Поэтому здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв тысячу предварительных расчетов и предостережений.

Итак, все равно осознают, что кризис тяготеет к созданию методологии, что борьба идет за общую психологию. Кто пытается перескочить через эту проблему, перепрыгнуть через методологию, чтобы сразу строить ту или иную частную психологическую науку, тот неизбежно, желая сесть на коня, перепрыгивает через него. Так случилось с гештальттеорией, со Штерном. Нельзя сейчас, исходя из принципов универсальных, равно приложимых к физике и к психологии, не конкретизировав их в методологии, прямо подойти к частному психологическому исследованию: вот почему этих психологов упрекают в том, что они знают одно сказуемое, равно применимое ко всему миру. Нельзя, как то делает Штерн, с понятием, равно охватывающим Солнечную систему, дерево и человека, изучить психологические различия людей между собой: для этого нужен другой масштаб, другая мера. Вся проблема общей и частной науки, с одной стороны, и методологии и философии, с другой, есть проблема масштаба: нельзя в верстах измерить человеческий рост, для этого нужны сантиметры. И если мы видели, что частные науки имеют тенденцию к выходу за свои пределы, к борьбе за общую меру, за более крупный масштаб, то философия переживает обратную тенденцию: чтобы приблизиться к науке, она должна сузить, уменьшить масштаб, конкретизировать свои положения.

Обе тенденции — философии и частной науки — одинаково ведут к методологии, к общей науке. Вот эта идея масштаба, идея общей науки чужда до сих пор «марксистской психологии», и в этом ее слабое место. Она пытается непосредственную меру психологических элементов — реакций — найти в универсальных принципах: закон перехода количества в качество и «забывание оттенков серого цвета» по А. Леману и переход бережливости в скупость; триада Гегеля и психоанализ Фрейда. Здесь ясно сказывается отсутствие меры, масштаба, посредующего звена между одним и другим. Поэтому с роковой неизбежностью диалектический метод попадает в *один ряд* с экспериментом, сравнительным методом и методом тестов и анкет. Чувства иерархии, различия между техническим приемом исследования и методом познания «природы истории и мышления» нет. Вот это — непосредственное сталкивание лбами частных фактических истин с универсальными принципами; попытка рассудить деловой спор Вагнера и Павлова об инстинкте ссыл-

кой на количество — качество; шаг от диалектики к анкете; критика иррадиации с гносеологической точки зрения; оперирование верстами там, где нужны сантиметры; приговоры о Бехтереве и Павлове с высоты Гегеля; эти пушки по воробьям привели к ложной идее третьего пути. Диалектический метод вовсе не един — в биологии, истории, психологии. Нужна методология, т. е. система посредствующих, конкретных, примененных к масштабу данной науки понятий.

Л. Бинсвангер (1922) вспоминает слова Брентано об удивительном искусстве логики, которой *один* шаг вперед имеет следствием 1000 шагов вперед в науке. Вот этой силы логики не хотят у нас знать. По хорошему выражению, методология есть рычаг, посредством которого философия управляет наукой. Попытка осуществить такое управление без методологии, прямое применение силы к точке ее приложения без рычага — от Гегеля к Э. Мейману — приводят к тому, что наука становится невозможной.

Я выставляю тезис: анализ кризиса и структуры психологии непреложно свидетельствует о том, что никакая философская система не может овладеть психологией как наукой непосредственно без помощи методологии, т. е. без создания общей науки; что единственным правомерным приложением марксизма к психологии было бы создание общей психологии — ее понятия формулируются в непосредственной зависимости от общей диалектики, ибо она есть диалектика психологии; всякое приложение марксизма к психологии иными путями и в иных точках, вне этой области, неизбежно приведет к схоластическим, вербальным конструкциям, к растворению диалектики в анкетах и тестах, к суждению о вещах по их внешним, случайным, второстепенным признакам, к полной утрате всякого объективного критерия и к попытке отрицать все исторические тенденции развития психологии, к терминологической революции,— короче, к грубому искажению и марксизма, и психологии. Это есть путь Челпанова.

Не навязывать природе диалектические принципы, а находить их в ней—формула Энгельса (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 387) здесь сменяется обратной: в психологию вводятся принципы диалектики извне. Путь марксистов должен быть иным. *Непосредственное* приложение теории *диалектического материализма* к вопросам естествознания, и в частности к группе наук биологических или к психологии, *невозможно*, как *невозможно непосредственно* приложить ее к истории и социологии. У нас думают, что проблема «психология и марксизм» сводится только к тому, чтобы создать отвечающую марксизму психологию, но на деле она гораздо сложнее. Так же как история, социология нуждается в посредующей *особой теории* исторического материализма, выясняющей *конкретное* значение для данной группы явлений *абстрактных* законов диалектического материализма. Так точно нужна еще не созданная,

но неизбежная теория биологического материализма, психологического материализма как посредующая наука, выясняющая конкретное применение абстрактных положений диалектического материализма к данной области явлений.

Диалектика охватывает природу, мышление, историю — она есть самая общая, предельно универсальная наука; теория психологического материализма или диалектика психологии и есть то, что я называю общей психологией.

Для создания таких опосредующих теорий — методологий, общих наук — надо вскрыть *сущность* данной области явлений, законов их изменения, качественную и количественную характеристику, их причинность, создать свойственные им категории и понятия, одним словом, создать *свой* «Капитал». Стоит только представить себе, что Маркс оперировал бы общими принципами и категориями диалектики, вроде количества — качества, триады, всеобщей связи, узла, скачка и т. п.— без абстрактных и исторических категорий стоимости, класса, товара, капитала, ренты, производительной силы, базиса, надстройки и т. п., чтобы увидеть всю чудовищную нелепость предположения, будто можно непосредственно, минуя «Капитал», создать любую марксистскую науку. Психологии нужен свой «Капитал» — свои понятия класса, базиса, ценности и т. д.,— в которых она могла бы выразить, описать и изучить свой объект, а открывать *в статистике забывания оттенков серого цвета у Лемана* подтверждение закона скачков — значит ни на иоту не изменить ни диалектики, ни психологии. Эта идея о необходимости посредующей теории, без которой невозможно рассматривать в свете марксизма отдельные частные факты, давно осознана, и мне только остается указать на совпадение выводов нашего анализа психологии с этой идеей.

Ту же идею вскрывает В. А. Вишневский в споре со И. И. Степановым (для всех ясно, что исторический материализм не диалектический материализм, а его применение к истории. Поэтому, строго говоря, только общественные науки, имеющие свою общую науку в истории материализма, могут называться марксистскими; других марксистских наук еще нет). «Как *исторический материализм не тождествен диалектическому материализму, так равно последний не тождествен специфически естественнонаучной теории*, каковая еще, к слову сказать, только рождается» (В. А. Вишневский, 1925, с. 262). Степанов же, отождествляя диалектико-материалистическое понимание природы с механическим, считает, что она дана и содержится уже в механистической концепции естественных наук. В качестве примера автор ссылается на спор в психологии по вопросу об интроспекции (1924).

Диалектический материализм есть наука самая абстрактная. Непосредственное приложение диалектического материализма к биологическим наукам и психологии, как это сейчас делается, не

идет дальше формально-логических, схоластических, словесных подведений под общие, абстрактные, *универсальные* категории частных явлений, внутренний смысл и соотношение которых неизвестны. *В лучшем* случае это может повести к накоплению *примеров*, иллюстраций. Но не больше. Вода — пар — лед и натуральное хозяйство — феодализм — капитализм с точки зрения *диалектического материализма* — одно и то же, один и тот же процесс. Но для *исторического материализма* какое *качественное* богатство пропадает при таком обобщении!

К. Маркс назвал «Капитал» критикой политической экономии. Вот такую критику психологии хотят перепрыгнуть ныне. «*Учебник* психологии, изложенный с точки зрения диалектического материализма», в сущности, должно звучать так же, как «учебник минералогии, изложенный с точки зрения формальной логики». Ведь это само собой разумеющаяся вещь — рассуждать логически не есть особенность данного учебника или всей минералогии. Ведь диалектика не есть логика, даже шире. Или: «учебник социологии с точки зрения диалектического материализма» вместо «исторического». Надо создать теорию психологического материализма, и нельзя еще создавать учебники диалектической психологии.

Но и в критическом суждении мы лишаемся при этом главного критерия. То, как сейчас определяют, словно в пробирной палате, согласуется ли данное учение с марксизмом, сводится к методу «логического наложения», т. е. совпадения форм, логических признаков (монизм и пр.). Надо знать, чего можно и должно искать в марксизме. Не человек для субботы, а суббота для человека; надо найти теорию, которая помогла бы познать психику, но отнюдь не решения вопроса психики, не формулы, заключающей и суммирующей итог научной истины. Этого в цитатах Плеханова нельзя найти по одному тому, что ее там нет. Такой истиной не обладали ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов[61]. Отсюда фрагментарность, краткость многих формулировок, их черновой характер, их строго ограниченное контекстом значение. Такая формула вообще не может быть дана наперед, до научного изучения психики, а явится в результате научной вековой работы. Предварительно *можно искать у учителей* марксизма не решение вопроса, даже не рабочую гипотезу (потому что они создаются на почве данной науки), а метод ее [гипотезы.— *Ред.*] построения. Я не хочу узнать на даровщинку, скроив пару цитат, что такое психика, я хочу научиться на *всем* методе Маркса, как строят науку, как подойти к исследованию психики.

Поэтому марксизм не только применяют не там, где надо (в учебниках вместо общей психологии), но и берут из него не то, что надо: не случайные высказывания нужны, а метод: не диалектический материализм, а исторический материализм. «Капитал» должен нас научить многому — и потому, что настоящая социальная

психология начинается *за* «Капиталом», и потому, что психология сейчас есть психология — *до* «Капитала». В. Я. Струминский совершенно прав, когда самую идею о марксистской психологии как синтезе тезиса — эмпиризма с антитезисом — рефлексологией называет схоластическим построением. Когда найден реальный путь, можно для ясности наметить в нем эти три точки, но искать при помощи этой схемы реальных путей — значит становиться на путь спекулятивной комбинации и заниматься диалектикой идей, а не диалектикой фактов — бытия. У психологии нет самостоятельных путей развития, надо за ними искать обусловливающие их реальные исторические процессы. Не прав он только, когда утверждает, что наметить пути психологии из современных течений — *вообще* нельзя — по-марксистски (В. Я. Струминский, 1926).

Что он развивает — верно, но это касается только исторического анализа развития науки, а не методологического. Методолога не интересует, что в процессе развития психологии *реально* произойдет завтра, поэтому он и не обращается к факторам, стоящим вне психологии. Но его интересует: чем больна психология, чего ей недостает, чтобы стать наукой, и т. д. Ведь и внешние факторы толкают психологию по пути *ее* развития и не могут ни отменить в ней вековую работу, ни перескочить на век вперед. Есть известный органический рост логической структуры знания.

Прав Струминский и тогда, когда указывает, что новая психология пришла фактически к откровенному признанию позиций старой субъективной психологии. Но беда здесь не в отсутствии учета внешних, реальных факторов развития науки, которые пытается учесть автор. Беда в неучете методологической природы кризиса. Есть *своя* строгая последовательность в ходе развития каждой науки; внешние факторы могут ускорить или замедлить этот ход, они могут отклонить его в сторону, наконец, они могут определить качественный характер каждого этапа, но изменить последовательность этапов нельзя. Можно объяснить внешними факторами идеалистический или материалистический, религиозный или позитивный, индивидуалистический или социальный, пессимистический или оптимистический характер этапа, но никакие внешние факторы не могут сделать того, чтобы наука, находящаяся в стадии собирания сырого материала, сразу перешла к выделению из себя технических, прикладных дисциплин или наука с развитыми теориями и гипотезами, с развитой техникой и экспериментом занялась собиранием и описанием первичного материала.

Кризис поставил на очередь разделение двух психологий через создание методологии. Каково оно будет — зависит от внешних факторов. Титченер и Уотсон по-американски и социально по-разному, Коффка и Штерн по-немецки и опять социально по-разному, Бехтерев и Корнилов по-русски и опять по-разному *решают одну задачу*. Какая будет эта методология и скоро ли она будет, мы не

знаем, но что психология не двинется дальше, пока не создаст методологии, что первым шагом вперед будет методология, это несомненно.

В сущности, основные камни заложены верно; верно намечен и общий, многодесятилетний путь; верна и цель, верен генеральный план. Даже практическая ориентировка в современных течениях верна, только не полна. Но ближайший путь, ближайшие шаги, деловой план страдают недочетами: в них нет анализа кризиса и верной установки на методологию. Работы Корнилова кладут начало этой методологии, и всякий, кто хочет развивать идеи психологии и марксизма, вынужден будет повторять его и продолжать его путь. Как путь эта идея не имеет себе равной по силе в европейской методологии. Если он не будет загибаться к критике и полемике, не будет переходить в путь брошюрной войны, а будет подниматься к методологии; если он не будет искать готовых ответов; если он осознает задачи современной психологии, он приведет к созданию теории психологического материализма.

16

Мы закончили наше исследование. Нашли ли мы все, что искали? Во всяком случае, мы у берега. Мы подготовили почву для изысканий в области психологии и, чтобы оправдать свои рассуждения, должны испытать наши выводы на деле, построить схему общей психологии. Но до того хотелось бы остановиться еще на одном моменте, имеющем, правда, больше стилистическое значение, чем принципиальное, но и стилистическое завершение какой-либо идеи не вовсе безразлично для ее полного выражения.

Мы рассекли надвое задачи и метод, область исследования и принцип нашей науки. Остается рассечь ее имя. Процессы разделения, наметившиеся в кризисе, сказались и в судьбе имени науки. Отдельные системы наполовину порвали со старым именем, употребляя собственное для обозначения всей области исследования. Так иногда говорят о бихевиоризме как науке о поведении, как синониме всей психологии, а не одного ее направления. Так говорят часто о психоанализе, реактологии. Другие системы порывают окончательно со старым именем, видя в нем следы мифологического происхождения. Такова рефлексология. Эта последняя подчеркивает, что она отказывается от традиции, строит на пустом и новом месте. Нельзя оспаривать, что известная доля истины заключена в таком взгляде, хотя надо очень механически и неисторически смотреть на науку, чтобы не понимать вовсе роли преемственности и традиции, даже при перевороте. Однако Уотсон, когда требует радикального разрыва со старой психологией, когда указывает на астрологию и алхимию, на опасность половинчатой психологии, отчасти прав.

Другие системы остаются пока без имени — такова система Павлова. Иногда он называет свою область физиологией, но озаглавив свой опыт изучением поведения и высшей нервной деятельности, оставил вопрос об имени открытым. В ранних работах Бехтерев прямо отграничивается от физиологии, для Бехтерева рефлексология не физиология. Ученики Павлова излагают его учение под именем «науки о поведении». И действительно, у двух наук, столь разных, должны быть два разных имени. Эту идею давно высказал Мюнстерберг: «Следует ли называть психологией интенциональное понимание внутренней жизни, это, конечно, еще вопрос, по поводу которого можно спорить. В самом деле, многое говорит за то, чтобы удержать название психологии за *описательной* и *объяснительной* наукой, исключив из психологии науку о понимании духовных переживаний и внутренних отношений» (1922, с. 9).

Однако такое знание все же существует под именем психологии; оно редко находится в идее. По большей части она находится в каком-либо внешнем влиянии с элементами каузальной психологии (там же). Но так как мы знаем мнение того же автора, что вся путаница в психологии возникает из смешения, то единственный вывод — избрать другое имя для интенциональной психологии. Отчасти так оно и происходит. Феноменология на наших глазах выделяет из себя психологию, «необходимую для известных логических целей» (там же, с. 10), и вместо разделения двух наук посредством прилагательных, вносящих огромную путаницу 〈. . .〉, начинает вводить разные имена существительные. Челпанов устанавливает, что «аналитический» и «феноменологический» — два имени для одного и того же метода, что феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, что спор относительно того, есть ли феноменология психологии или нет, оказывается вопросом терминологическим; если к нему прибавить, что метод этот и эту часть психологии автор считает основным, то логично было бы назвать аналитическую психологию феноменологией. Сам Гуссерль предпочитает ограничиться прилагательным, чтобы сохранить чистоту своей науки, и говорит об «эйдетической психологии». Но Бинсвангер пишет прямо: надо различать между чистой феноменологией и эмпирической феноменологией («дескриптивной психологией») (1922, с. 135) и видит основание для этого в введенном самим Гуссерлем прилагательном «чистая». Знак равенства выведен на бумаге самым математическим образом. Если вспомнить, что Лотце говорил о психологии как прикладной математике; что Бергсон в своем определении почти приравнял опытную метафизику к психологии; что Гуссерль в чистой феноменологии хочет видеть метафизическое учение о сущностях (Бинсвангер, 1922), то мы поймем, что и сама идеалистическая психология имеет и традицию, и тенденцию к тому, чтобы оставить обветшавшее и скомпрометированное имя. И Дильтей разъясняет, что объяснительная пси-

хология восходит к рациональной психологии Вольфа, а описательная — к эмпирической (1924).

Правда, некоторые идеалисты возражают против присвоения естественнонаучной психологии этого имени. Так, С. Л. Франк, указывая со всей резкостью на то, что под одним именем живут две разные науки, пишет: «Дело тут вообще не в относительной учености двух разных *методов* одной науки, а в простом *вытеснении одной науки совсем другой*, хотя и сохранившей слабые следы родства с первой, но имеющей по существу совсем иной предмет... Нынешняя психология сама себя признает естествознанием... Это значит, что современная так называемая психология есть вообще не *психо-логия*, а *физио-логия*... Прекрасное обозначение «*психология*» — учение о душе — было просто незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что когда теперь размышляешь о природе души... то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение» (1917, с. 3). Но даже нынешнее *искаженное* имя «психология» на три четверти не отвечает ее сути — это психофизика и психофизиология. И новую науку он пытается назвать философской психологией, чтобы «хоть косвенно восстановить истинное значение названия «психология» и вернуть его законному владельцу после упомянутого похищения, непосредственно уже неустранимого» (там же, с. 19).

Мы видим примечательный факт: и рефлексология, стремящаяся порвать с «алхимией», и философия, которая хочет содействовать восстановлению прав *психологии* в старом, буквальном и точном значении этого слова, обе ищут нового обозначения и остаются безымянными. Еще примечательнее, что мотивы у них одинаковы: одни боятся в этом имени следов его материалистического происхождения, другие боятся, что оно утратило свое старое, буквальное и точное значение. Можно ли найти — стилистически — лучшее выражение для двойственности современной психологии? Однако и Франк согласен, что имя похищено естественнонаучной психологией неустранимо и основательно. И мы полагаем, что именно материалистическая ветвь должна называться психологией. За это и против радикализма рефлексологов говорят два важных соображения. Первое: именно она явится завершительницей *всех* истинно научных тенденций, эпох, направлений и авторов, которые были представлены в истории нашей науки, т. е. она и *есть на самом деле по самому существу психология*. Второе: принимая это имя, новая психология нимало не «похищает» его, не искажает его смысла, не связывает себя теми мифологическими следами, которые в нем сохранились, а, напротив, сохраняет живое историческое напоминание обо всем своем пути, от самой исходной точки.

Начнем со второго.

Психологии как науке о душе, в смысле Франка, в точном и старом смысле этого слова, *нет*; это вынужден констатировать и он, когда с изумлением и почти с отчаянием убеждается, что такой литературы *вообще* почти *не существует*. Далее, эмпирической психологии как законченной *науки вообще не существует*. И по существу то, что происходит сейчас, есть не переворот, даже не реформа науки и не завершение в синтезе чужой реформы, а *осуществление* психологии и *высвобождение* в науке того, что способно расти, от того, что не способно к росту. Сама же эмпирическая психология (кстати, скоро исполнится 50 лет, как имя этой науки не употребляется вовсе, так как каждая школа прибавляет свое прилагательное) мертва, как кокон, оставленный умершей бабочкой, как яйцо, покинутое птенцом. «Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать,— говорит Джемс,— что она в настоящее время представляет просто совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете... Даже основные элементы и факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы *обладаем* состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но в психологии нет ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам не известны даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой» (1911, с. 407).

Джемс дает блестящий инвентарь того, что мы получаем в наследство от психологии, опись ее имущества и состояния. Мы принимаем от нее кучу сырого материала и обещание стать в будущем наукой.

Что же связывает нас с мифологией через это имя? Психология, как физика до Галилея или химия до Лавуазье, еще не наука, которая может наложить хоть какую-нибудь тень на будущую науку. Но, может быть, с того времени, как Джемс писал это, обстоятельства существенно переменились? В 1923 г. на VIII конгрессе по экспериментальной психологии Ч. Спирмен повторил определение Джемса и сказал, что и сейчас психология не наука, а надежда на науку. Нужно обладать изрядной долей нижегородского провинциализма, чтобы изображать дело так, как Челпанов: будто

есть незыблемые, всеми признанные, веками испытанные истины и их ни с того ни с сего хотят разрушить.

Другое соображение еще серьезнее. В конце концов надо прямо сказать, что у психологии есть не два, а один наследник, и спор об имени не может и возникнуть серьезно. Вторая психология невозможна как наука. И надо сказать вместе с Павловым, что мы считаем позицию этой психологии с научной точки зрения безнадежной. Как настоящий ученый, Павлов ставит вопрос не так: существует ли психическая сторона, а так: как ее изучить. Он говорит: «Что должен делать физиолог с психическими явлениями? *Оставить их без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяя целостную работу органа.* Если физиолог решается их изучать, то перед ним стоит вопрос: как?» (1950, с. 59). Таким образом, мы при разделе не отказываемся в пользу другой стороны *ни от одного явления*; на нашем пути мы изучим все, что есть, и объясним все, что кажется. «Сколько тысячелетий человечество разрабатывает факты психологические... Миллионы страниц заняты изображением внутреннего мира человека, а результатов этого труда — законов душевной жизни человека — мы до сих пор не имеем» (там же, с. 105).

То, что останется после раздела, уйдет в область искусства; сочинителей романов и теперь Франк называет учителями психологии. Для Дильтея задача психологии — ловить в сети своих описаний то, что скрыто в Лире, Гамлете и Макбете, так как он видел в них «больше психологии, нежели во всех учебниках психологии, вместе взятых» (1924, с. 19). Штерн, правда, зло посмеялся над такой психологией, добываемой из романов; он говорил, что нарисованную корову нельзя доить. Но в опровержение его мысли и во исполнение мысли Дильтея на *деле* описательная психология все больше уходит в роман. Первый же конгресс индивидуальной психологии, которая считает себя именно этой второй психологией, заслушал доклад Оппенгейма, уловившего в сети понятий то, что Шекспир дал в образах,— точно то, чего хотел Дильтей. Вторая психология уйдет в метафизику, как бы она ни называлась. Именно уверенность в невозможности такого знания, *как наука*, обусловливает наш выбор.

Итак, у имени нашей науки только один наследник. Но, может быть, он должен отказаться от наследства? Нисколько. Мы диалектики; мы вовсе не думаем, что путь развития науки идет по прямой линии, и если на нем были зигзаги, возвраты, петли, то мы понимаем их *исторический* смысл и считаем их *необходимыми* звеньями в нашей цепи, неизбежными этапами нашей дороги, как капитализм есть неизбежный этап к социализму. Мы дорожили *каждым шагом к истине*, который когда-либо делала наша наука; мы не думаем, что наша наука началась с нами; мы не уступили никому ни идею

ассоциации Аристотеля, ни его и скептиков учение о субъективных иллюзиях ощущений, ни идею причинности Дж. Милля, ни идею психологической химии Дж. Милля, ни «утонченный материализм» Г. Спенсера, в котором Дильтей видел «не простую основу, а опасность» (В. Дильтей, 1924),— одним словом, всю ту линию материализма в психологии, которую с такой тщательностью отметают от себя идеалисты. Мы знаем, что они правы в одном: «Скрытый материализм объяснительной психологии... разлагающе влиял на политическую экономию, уголовное право, учение о государстве» (там же, с. 30).

Идея динамической и математической психологии Гербарта, труды Фехнера и Гельмгольца, идея И. Тэна о двигательной природе психики, как и учение Бине о психической позе или внутренней мимике, двигательная теория Рибо, периферическая теория эмоций Джемса — Ланге, даже учение вюрцбургской школы о мышлении, внимании как деятельности,— одним словом, каждый шаг к истине в нашей науке принадлежит нам. Ведь мы избрали из двух дорог одну не потому, что она нам нравится, но потому, что мы считаем ее истинной.

Следовательно, в этот путь вполне входит все, что было в психологии как в науке: сама попытка *научно* подойти к душе, усилие свободной мысли овладеть психикой, сколько бы она ни затемнялась и ни парализовалась мифологией, т. е. сама идея *научного* строения о душе содержит в себе весь будущий путь психологии, ибо наука и есть путь к истине, хотя бы ведущий через заблуждения. Но именно такой и дорога нам наша наука: в борьбе, преодолении ошибок, в невероятных затруднениях, нечеловеческой схватке с тысячелетними предрассудками. Мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства; мы не страдаем манией величия, думая, что история начинается с нас; мы не хотим получить от истории чистенькое и плоское имя; мы хотим имя, на которое осела пыль веков. В этом мы видим наше историческое право, указание на нашу историческую роль, претензию на осуществление психологии как науки. Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него.

Могут сказать: имя это в буквальном смысле неприложимо к нашей науке сейчас, оно меняет значение с каждой эпохой. Но укажите хоть одно имя, одно слово, которое не переменило своего значения. Когда мы говорим о синих чернилах или о летном искусстве, разве мы не допускаем логической ошибки? Зато мы верны другой логике — логике языка. Если геометр и сейчас называет свою науку именем, которое означает «землемерие», то психолог может обозначать свою науку именем, которое когда-то значило «учение о душе». Если сейчас понятие землемерия узко для геометрии, то когда-то оно было решающим шагом вперед, которому вся наука обязана своим существованием; если теперь идея души реакцион-

на, то когда-то она была первой научной гипотезой древнего человека, огромным завоеванием мысли, которому мы обязаны сейчас существованием нашей науки. У животных наверное нет идеи души и у них нет психологии. Мы понимаем исторически, что психология как наука должна была начаться с идеи души. Мы так же мало видим в этом просто невежество и ошибку, как не считаем рабство результатом плохого характера. Мы знаем, что наука как путь к истине непременно включает в себя в качестве необходимых моментов заблуждения, ошибки, предрассудки. Существенно для науки не то, что они есть, а то, что, будучи ошибками, они все же ведут к правде, что они преодолеваются. Поэтому мы принимаем имя нашей науки со всеми отложившимися в нем следами вековых заблуждений, как живое указание на их преодоление, как боевые рубцы от ран, как живое свидетельство истины, возникающей в невероятно сложной борьбе с ложью.

В сущности, так поступают все науки. Разве строители будущего все начинают сначала, разве они не являются завершителями и наследниками всего истинного в человеческом опыте, разве в прошлом у них нет союзников и предков? Пусть укажут нам хоть одно слово, хоть одно научное имя, которое можно применить в буквальном смысле. Или математика, философия, диалектика, метафизика означают то, что они означали когда-то? Пусть не говорят, что две ветви знания об одном объекте непременно должны носить одно имя. Пусть вспомнят логику и психологию мышления. Науки классифицируются и обозначаются не по объекту их изучения, а по принципам и целям изучения. Разве в философии марксизм не хочет знать своих предков? *Только неисторические и нетворческие умы* изобретательны на новые имена и науки: марксизму не к лицу такие идеи. Челпанов к делу приводит справку, что в эпоху французской революции термин «психология» был заменен термином «идеология», так как психология для той эпохи — наука о душе; идеология же — часть зоологии и делится на физиологическую и рациональную. Это верно, но какой неисчислимый вред происходит от такого неисторического словоупотребления, можно видеть из того, как часто трудно расшифровать и теперь отдельные места об идеологии в текстах Маркса, как двусмысленно звучит этот термин и дает повод утверждать таким «*исследователям*», как Челпанов, что для Маркса идеология и означала психологию. В этой терминологической реформе лежит *отчасти* причина того, что роль и значение старой психологии недооценена в истории нашей науки. И наконец, в ней живой разрыв с ее истинными потомками, она разрывает живую линию единства: Челпанов, который заявлял, будто психология не имеет ничего общего с физиологией, теперь клянется Великой революцией, что психология всегда была физиологической и что «*современная научная психология есть детище психологии французской революции*» (Г. И. Челпанов, 1924, с. 27). Только *без-*

граничное невежество или расчет на *чужое невежество* могли продиктовать эти строки. Чья *современная* психология? Милля или Спенсера, Бэна и Рибо? Верно. Но Дильтея и Гуссерля; Бергсона и Джемса, Мюнстерберга и Staута, Мейнонга и Липпса, Франка и *Челпанова*? Может ли быть большая неправда: ведь все эти строители новой психологии клали в *основу* науки другую систему, враждебную Миллю и Спенсеру, Бэну и Рибо, *те же имена*, которыми прикрывается Челпанов, третировали, «как мертвую собаку». Но Челпанов прикрывается чужими для него и враждебными именами, спекулируя на двусмысленности термина «современная психология». Да, в современной психологии есть ветвь, которая может себя считать детищем революционной психологии, но Челпанов всю жизнь (и сейчас) только и делал, что стремился загнать эту ветвь в темный угол науки, отделить ее от психологии.

Но еще раз: как опасно общее имя и как неисторично поступили психологи Франции, которые изменили ему!

Это имя, введенное впервые в науку Гоклениусом, профессором в Марбурге, в 1590 г. и принятое его учеником Касманом (1594), а не Хр. Вольфом, т. е. с половины XVIII в., и не впервые у Меланхтона, как ошибочно принято думать, и сообщено у Ивановского как имя для обозначения части антропологии, которая вместе с соматологией образуют одну науку. Приписывание Меланхтону этого термина основывается на предисловии издателя к XIII тому его сочинений, в котором ошибочно указывается на Меланхтона как первого автора психологии. Имя это совершенно правильно оставил Ланге, автор психологии без души. Но разве психология не называется учением о душе? — спрашивает он.— Как же мыслима наука, которая оставляет под сомнением, имеется ли у нее вообще предмет для изучения? Однако он находил педантичным и непрактичным отбросить традиционное название, раз переменился предмет науки, и призывал принять без колебания психологию без души.

Именно с реформы Ланге началась бесконечная канитель с именем психологии. Это имя, взятое само по себе, перестало что-либо означать: к нему надо было прибавлять всякий раз: «без души», «без всякой метафизики», «основанная на опыте», с «эмпирической точки зрения» и т. д. без конца. *Просто* психология перестала существовать. В этом была ошибка Ланге: приняв старое имя, он не завладел им *вполне*, без остатка — не разделил его, не отделил от традиции. Раз психология — без души, то с душой — уже не психология, а нечто другое. Но здесь, конечно, у него не хватило не доброй воли, а силы и срока: раздел еще не назрел.

Этот терминологический вопрос стоит и сейчас перед нами и входит в тему о разделе двух наук.

Как мы будем называть естественнонаучную психологию? Ее теперь называют часто объективной, новой, марксистской, научной,

наукой о поведении. Конечно, мы сохраним за ней имя психологии. Но какой? Чем мы отличим ее от всякой другой системы знаний, пользующейся тем же именем? Стоит только перечесть малую долю из тех определений, которые сейчас применяются к психологии, чтобы увидеть: в основе этих разделений нет логического единства; иной раз эпитет означает школу бихевиоризма, иной раз — гештальтпсихологию, иной раз — метод экспериментальной психологии, психоанализ; иной раз — принцип построения (эйдетическая, аналитическая, описательная, эмпирическая); иной раз — предмет науки (функциональная, структурная, актуальная, интенциональная); иной раз — область исследования (Individual psychologia); иной раз — мировоззрение (персонализм, марксизм, спиритуализм, материализм); иной раз — многое (субъективная — объективная, конструктивная — реконструктивная, физиологическая, биологическая, ассоциативная, диалектическая и еще и еще). Говорят еще об исторической и понимающей, объяснительной и интуитивной, научной (Блонский) и «научной» (в смысле естественнонаучной у идеалистов).

Что же означает после этого слово «психология»? «Скоро наступит время,— говорит Стаут,— когда никому не придет в голову писать книгу по психологии вообще, как не приходит в голову писать по математике вообще» (1923, с. 3). Все термины неустойчивы, логически не исключают один другой, не терминированы, путанны и темны, многосмысленны, случайны и указывают на вторичные признаки, что не только не облегчает ориентировку, но затрудняет ее. Вундт назвал свою психологию физиологической, а после раскаивался и считал это ошибкой, полагая, что ту же работу следует назвать экспериментальной. Вот лучшая иллюстрация того, как мало значат все эти термины. Для одних «экспериментальная» — синоним «научная», для других — лишь обозначение метода. Мы укажем только те употребительнейшие эпитеты, которые прилагаются к психологии, рассматриваемой в свете марксизма.

Я считаю нецелесообразным называть ее объективной. Челпанов справедливо указал, что термин этот в психологии употребляется в иностранной науке в самом разном смысле. И у нас он успел породить много двусмысленностей, способствовал путанице гносеологической и методологической проблемы о духе и материи. Термин помог путанице метода как технического приема и как способа познания, что имело следствием трактование диалектического метода наряду с анкетным как равно объективных, и убеждение, что в естествознании устранено всякое пользование субъективными показаниями, субъективными (в генезисе) понятиями и разделениями. Он часто вульгаризировался и приравнивался к истинному, а субъективный — к ложному (влияние обычного словоупотребления). Далее, он вообще не выражает сути дела: только в условном смысле и в одной части он выражает сущность реформы. Наконец, психо-

логия, которая хочет быть и учением о субъективном или хочет на своих путях разъяснить и субъективное, не должна ложно именовать себя объективной.

Неверно было бы называть нашу науку и психологией поведения. Не говоря уже о том, что, как и предыдущий эпитет, этот новый не разделяет нас с целым рядом направлений и, значит, не достигает своей цели, что он ложен, ибо новая психология хочет знать и психику, термин этот *обывательски житейский*, чем он и мог привлечь к себе американцев. Когда Дж. Уотсон говорит: «представление о личности в науке о поведении и в здравом смысле» (1926, с. 355) — и отождествляет то и другое, когда он ставит себе задачей создать науку, чтобы «обыкновенный человек», «подходя к науке о поведении, не чувствовал перемены метода или какого-либо изменения предмета» (там же, с. IX); науку, которая среди своих проблем занимается и следующей: «Почему Джордж Смит покинул свою жену» (там же, с. 5); науку, которая начинает с изложения житейских методов, которая не может сформулировать различия между ними и научными методами и видит *всю* разницу в изучении и тех случаев, житейски безразличных, не интересующих здравый смысл,— то термин «поведение» наиболее подходящ. Но если мы убедимся, как будет показано ниже, что он логически несостоятелен и не дает критерия, по которому можно отличить, почему перистальтика кишок, выделение мочи и воспаление должны быть исключены из науки; что он многосмыслен и нетерминирован и означает у Блонского и Павлова, у Уотсона и Коффки совершенно разные вещи, мы не колеблясь откинем его.

Неправильным, далее, я считал бы и определение психологии как марксистской. Я говорил уже о недопустимости излагать учебники с точки зрения диалектического материализма (В. Я. Струминский, 1923; К. Н. Корнилов, 1925); но и «очерк марксистской психологии», как в переводе озаглавил Рейснер книжку Джемсона, я считаю неверным словоупотреблением; даже такие словосочетания, как «рефлексология и марксизм», когда речь идет об отдельных деловых течениях внутри физиологии, я считаю неправильными и рискованными. Не потому, чтобы я сомневался в возможности такой оценки, а потому, что берутся несоизмеримые величины, потому что выпадают посредующие члены, которые только и делают такую оценку возможной; утрачивается и искажается масштаб. Автор ведь судит *всю* рефлексологию не с точки зрения *всего* марксизма, а отдельных высказываний группы марксистов-психологов. Было бы неверно, например, ставить проблему: волсовет и марксизм, хотя несомненно, что в теории марксизма есть не меньше ресурсов для освещения вопроса о волсовете, чем о рефлексологии; хотя волсовет есть непосредственно марксистская идея, логически связанная со всем целым. И все же мы употребляем другие масштабы, пользуемся посредствующими, более конкретными

и менее универсальными понятиями: мы говорим о Советской власти и волсовете, о диктатуре пролетариата и волсовете, о классовой борьбе и волсовете. Не все то, что связано с марксизмом, следует называть марксистским; часто это должно подразумеваться само собой. Если прибавить к этому, что психологи в марксизме обычно апеллируют к диалектическому материализму, т. е. к самой универсальной и обобщенной его части, то несоответствие масштаба станет еще яснее.

Наконец, особенная трудность приложения марксизма к новым областям: нынешнее конкретное состояние этой теории; огромная ответственность в употреблении этого термина; политическая и идеологическая спекуляция на нем — все это не позволяет хорошему вкусу сказать сейчас: *«марксистская психология»*. Пусть лучше другие скажут о нашей психологии, что она марксистская, чем нам самим называть ее так; применим ее на деле и повременим на словах. В конце концов марксистской психологии *еще нет*, ее надо понимать как историческую задачу, но не как данное. А при современном положении вещей трудно отделаться от впечатления научной несерьезности и безответственности при этом имени.

Против этого говорит еще то обстоятельство, что синтез психологии и марксизма осуществляется не одной школой и имя это в Европе легко дает повод для путаницы. Едва ли многие знают, что индивидуальная психология Адлера соединяет себя с марксизмом. Чтобы понять, что это за психология, следует вспомнить ее методологические основы. Когда она доказывала свое право на то, чтобы быть наукой, она ссылалась на Риккерта, который говорит, что слово «психолог» в применении к естественнику и историку имеет два различных смысла, и потому различает естественнонаучную и историческую психологию; если этого не сделают, тогда психологию историка и поэта нельзя называть психологией, потому что она ничего общего не имеет с психологией. И теоретики новой школы принимали, что историческая психология Риккерта и индивидуальная психология — одно и то же (Л. Бинсвангер, 1922).

Психология разделилась надвое, и спор идет только об имени и теоретической возможности новой самостоятельной ветви. Психология невозможна как естественная наука, индивидуальное не может быть подведено ни под какой закон; она хочет не объяснять, а понимать (там же). Это разделение в психологию ввел К. Ясперс, но под понимающей психологией он имел в виду феноменологию Гуссерля. Как основа всякой психологии она очень важна, даже незаменима, но она сама не есть и не хочет быть индивидуальной психологией. Понимающая психология может исходить лишь из телеологии. Штерн обосновал такую психологию; персонализм — лишь другое имя для понимающей психологии, но он пытается средствами экспериментальной психологии, естественных наук в дифференциальной психологии изучить личность: объяснение и по-

нимание одинаково остаются неудовлетворенными. Только интуиция, а не дискурсивно-каузальное мышление может привести к цели. Титул «философия «я» она считает для себя почетным. Она вовсе не психология, а философия и такой хочет быть. Так вот *такая* психология, относительно природы которой не может быть никакого сомнения, ссылается в своих построениях, например в теории массовой психологии, на марксизм, на теорию базиса — надстройки как на естественный свой фундамент (В. Штерн, 1924). Она дала лучший и до сих пор самый интересный в *социальной* психологии проект синтеза марксизма и индивидуальной психологии в теории классовой борьбы: марксизм и индивидуальная психология должны и призваны углубить и оплодотворить друг друга. Гегелевская триада применима к душевной жизни, как и к хозяйству (совсем как у нас). Проект этот вызвал интересную полемику, которая показала в защите этой мысли здоровый, критический и вполне марксистский — в ряде вопросов — подход. Если Маркс научил нас понимать экономические основы классовой борьбы, то Адлер сделал то же для ее психологических основ.

Это не только иллюстрирует всю сложность современного положения в психологии, где возможны самые неожиданные и парадоксальные сочетания, но и опасность данного эпитета (кстати, еще из парадоксов: эта же психология оспаривает у русской рефлексологии право на теорию относительности). Если марксистской психологией называют эклектическую и беспринципную, легковесную и полунаучную теорию Джемсона, если большинство влиятельных гештальтпсихологов считают себя марксистами и в научной работе, то имя это теряет определенность применительно к начинающим психологическим школам, еще не завоевавшим права на «марксизм». Я, помню, был крайне удивлен, когда в мирном разговоре узнал об этом. С одним из образованнейших психологов был у меня такой разговор: «Какой психологией занимаетесь вы в России? То, что вы марксисты, ничего еще не говорит о том, какие вы психологи. Зная популярность Фрейда в России, я сначала было подумал об адлерианцах: ведь они тоже марксисты, но у вас — совсем другая психология? Мы тоже социал-демократы и марксисты, но мы также дарвинисты и еще коперникианцы». В том, что он был прав, убеждает меня одно, на мой взгляд, решающее соображение. Ведь мы в самом деле не станем называть «дарвинистской» нашу биологию. Это как бы включается в самое понятие *науки*: в нее входит признание величайших концепций. Марксист-историк никогда не назвал бы: «марксистская история России». Он считал бы, что это видно из самого дела. «Марксистская» для него синоним: «истинная, научная»; иной *истории*, кроме марксистской, он и не признает. И для нас дело должно обстоять так: наша наука в такой мере будет становиться марксистской, в какой мере она будет становиться истинной, научной; и именно над превращением ее в истинную, а не над

согласованием ее с теорией Маркса мы будем работать. По самому смыслу слова и по существу дела мы не можем говорить: «марксистская психология» в том смысле, в каком говорят: ассоциативная, экспериментальная, эмпирическая, эйдетическая психология. Марксистская психология есть не школа среди школ, а единственная истинная психология как наука; другой психологии, кроме этой, не может быть. И обратно: *все*, что было и есть в психологии истинно научного, входит в марксистскую психологию: это понятие шире, чем понятие школы или даже направления. Оно совпадает с понятием *научной* психологии вообще, где бы и кем бы она ни разрабатывалась.

В этом смысле Блонский (1921) употребляет термин «научная психология». И он вполне прав. То, что мы хотели сделать, смысл нашей реформы, суть нашего расхождения с эмпириками, основной характер нашей науки, наша цель и объем нашей задачи, ее содержание и метод выполнения — все выражает этот эпитет. Он бы вполне удовлетворил меня, если бы он не был не нужен. Выраженный в наиболее верной форме, он обнаружил ясно: он не может ничего ровно выразить по сравнению с тем, что содержится в самом определяемом слове. Ведь «психология» и есть название *науки*, а не театральной пьесы или кинофильма. Она только и может быть научной. Никому не придет в голову назвать описание неба в романе астрономией; так же мало подходит имя «психология» для описания мыслей Раскольникова и бреда леди Макбет. Все, что ненаучно описывает психику, есть не психология, а нечто другое — все, что угодно: реклама, рецензия, хроника, беллетристика, лирика, философия, обывательщина, сплетня и еще тысяча разных вещей. Ведь эпитет «научная» приложим не только к очерку Блонского, но и к исследованиям памяти Мюллера, и к опытам над обезьянами Келера, и к учению о порогах Вебера-Фехнера, и к теории игры Грооса, и к учению о дрессировке Торндайка, и к теории ассоциации Аристотеля, т. е. ко *всему* в истории и современности, что принадлежит науке. Я взялся бы спорить, что заведомо ложные, опровергнутые и сомнительные теории, гипотезы и построения тоже могут быть научны, ибо научность не совпадает с достоверностью. Билет в театр может быть абсолютно достоверен и ненаучен; теория Гербарта о чувствах как отношениях между представлениями безусловно неверна, но столь же безусловно научна. Цель и средства определяют научность какой-нибудь теории, и только. Поэтому сказать: «научная психология» — все равно, что ничего не сказать, вернее, просто сказать: «психология».

Нам и остается принять это имя. Оно прекрасно подчеркнет то, что мы хотим,— объем и содержание нашей задачи. А она ведь не в создании школы рядом с другими школами; она охватывает не какую-нибудь часть или сторону, или проблему, или способ истолкования психологии, наряду с другими аналогичными частями, шко-

лами и т. п. Речь идет обо *всей* психологии, *во всем ее объеме*; о единственной психологии, не допускающей никакой другой; речь идет об осуществлении психологии как науки.

Поэтому будем говорить просто: психология. Будем лучше пояснять эпитетами другие направления и школы и отделять в них научное от ненаучного, психологию от эмпиризма, от теологии, от эйдоса и еще от всего, что налипло на нашей науке за века ее существования, как на борту корабля дальнего плавания.

Эпитеты понадобятся нам для другого: для систематического, *выдержанно-логического*, *методологического разделения* дисциплин внутри психологии: так, мы будем говорить об общей и детской, зоо- и патопсихологии, дифференциальной и сравнительной. Психология же будет общим именем целой семьи наук. Ведь наша задача вовсе не в том, чтобы *выделить* свою работу из общей психологической работы в прошлом, но в том, чтобы *объединить* свою работу со всей научной разработкой психологии в одно целое на некоей новой основе. Выделить же мы хотим не свою школу из науки, а науку — из ненауки, психологию — из непсихологии. Этой психологии, о которой мы говорим, еще нет; ее предстоит создать — не одной школе. Много поколений психологов потрудятся над этим, как говорил Джемс; у психологии *будут* свои гении и свои рядовые исследователи; но то, что возникнет из совместной работы поколений, гениев и простых мастеров науки, будет именно психологией. С этим именем войдет наша наука в новое общество, в преддверии которого она начинает оформляться. Наша наука не могла и не может развиться в старом обществе. Овладеть правдой о личности и самой личностью нельзя, пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом. Напротив, в новом обществе наша наука станет в центре жизни. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы» неизбежно поставит на очередь вопрос об овладении нашим собственным существом, о подчинении его себе. В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку последней наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества наукой или в предыстории человечества. Новое общество создаст нового человека. Когда говорят о переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст себя сам...

В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого перспектива марксизма и истории науки была бы не полна. Но и эта наука о новом человеке будет все же психологией; мы теперь держим у себя в руках нить от нее. Нужды нет, что эта психология будет так же мало походить на нынешнюю, как — по словам Спинозы — созвездие Пса походит на собаку, лающее животное (Этика, *теорема 17*, Схолия).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Л. С. Выготский — выдающийся теоретик советской психологии. С его именем ассоциируется прежде всего культурно-историческая теория развития высших психических функций. Но этой теорией отнюдь не ограничивается богатство идейного вклада Выготского в концептуальную ткань организма психологической науки. Для адекватного понимания его воззрений на психику необходимо рассмотреть их в динамике, в развитии, в непрестанном поиске новых решений. Культурно-историческая теория была лишь одним из таких решений. Сила концепций, развитых Выготским, обусловлена их методологической основой и направленностью. Как никто другой из советских психологов его времени, Выготский овладел методологическими принципами марксизма применительно к проблемам одной из конкретных наук. «Психологии,— подчеркивал он,— нужен свой «Капитал». Его установка — не накопление психологических иллюстраций к известным положениям материалистической диалектики, а применение этих положений в качестве орудия, позволяющего изнутри преобразовать исследовательский процесс, открыть в психической реальности такие стороны, перед которыми бессильны другие способы добывания и организации знания.

Эта теоретико-методологическая работа Выготского неотделима от историко-научной. И дело не только в чувстве историзма, которое никогда не покидало его, какими бы предметами он ни занимался. Выготский оставил нам блестящие образцы анализа истории психологической мысли — от XVII в. (анализ учений Декарта и Спинозы) до новейшего периода, где уже невозможно провести грань между ушедшим в прошлое и входящим в состав того, что считается нынешним состоянием науки. К последней категории работ Выготского относятся его предисловия к русским переводам книг крупнейших западных исследователей. Рассматривая современные ему психологические течения, он вышел на позиции, представляющие новый уровень в развитии методологии научного познания сравнительно с позициями тех, чьи воззрения подвергались критическому разбору.

Знакомясь с обширным циклом работ Выготского, в которых дается анализ основных направлений психологии на Западе первой трети нашего века (бихевиоризм, гештальтизм, психоанализ и др.), а также данной им общей характеристикой кризисной ситуации в этой науке, читатель может убедиться (особенно после знакомства с такой работой Выготского, как «Исторический смысл психологического кризиса») в том, что его внимание приковывали такие ключевые для методологии современного научного познания вопросы, как закономерности развития науки, ее кризисные и революционные периоды, ее социальные детерминанты, структурные преобразования, отношение между научными понятиями и фактами, методические процедуры и интеллектуальные операции и т. п. Все, что касалось науки как особой развивающейся системы и формы деятельности, исследовалось Выготским соответственно ее природе в историческом контексте. Благодаря этому знание о науке вырастало из анализа мира исторических реалий, а сам этот мир выступал как внутренне связанное динамичное целое, а не как каталог сменявших друг друга во времени событий. Хотя указанные направления исследований Выготского и трудно отделить одно от другого, ибо его теоретическое слово постоянно соотносилось с историческим, тем не менее они имели — каждое — свои аспекты, что и дало основания сгруппировать различные работы, представляющие эти направления, в два раздела.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Соблюдение хронологии в построении томов позволяет лучше понять движение мысли Выготского, направление и узловые пункты маршрута его научного поиска. Лишь в одном случае мы отступили от хронологического порядка. Исключение сделано для не публиковавшейся прежде работы Выготского «Исторический смысл психологического кризиса». Хотя она и была написана ранее нескольких других критических этюдов, в ней дана общая картина путей развития психологической науки, намечены принципы ориентации в ее основных направлениях и нарождающихся тенденциях. Благодаря этому указанная работа может рассматриваться как синтез основных идей Выготского, касающихся специальной (частной, производной от философской, но не идентичной ей) методологии психологического познания, являющейся верховной организующей инстанцией по отношению ко всему многообразию проявлений и форм этого познания.

В исследовательской деятельности Л. С. Выготского можно выделить несколько периодов. И хотя между ними нет резкой грани, каждый из них отличался характерными особенностями. Сопоставление периодов позволяет не только выявить определенную логику развития психологических идей Выготского. Оно имеет более широкое значение, так как проливает свет на путь развития нашей психологии в целом.

Как известно, первоначально его интересы были отданы психологии искусства. Годы работы над ними запечатлены в произведении «Психология искусства», завершенном в 1925 г. Эта работа не издавалась при жизни автора. Она опубликована впервые через 40 лет после написания. Предполагается, что Выготский не стал ее публиковать из-за того, что ощущал незавершенность, недосказанность своего анализа механизмов художественного творчества и специфических функций искусства (см. предисловие А. Н. Леонтьева к книге Л. С. Выготского «Психология искусства». М., 1968).

Указанная работа, ставя целью решение задач психологии, была и литературоведческой. В ней дается оригинальная трактовка ряда произведений художественной литературы как в плане их построения, так и с точки зрения характера их восприятия, в объяснении которого Выготский исходил из того, что искусство является «общественной техникой чувства» («Психология искусства», с. 17). Свою главную задачу Выготский усматривал в том, чтобы вскрыть психологические механизмы эстетической реакции. Эта цель, по мнению Выготского, не может быть достигнута, когда в роли объяснительного начала процессов создания и восприятия продуктов художественного творчества выступает субъект (автор, читатель) с его своеобразным, непосредственно переживаемым внутренним миром. Внутренний мир субъекта с не отчуждаемыми от него образами, мотивами, стремлениями и т. п. должен быть, по проекту Выготского, элиминирован, подобно тому «как психолог элиминирует чистую реакцию, сенсорную или моторную, выбора или различения и изучает как безразличную» (там же, с. 18).

Таким образом, идея Выготского о союзе искусствоведения с психологией предполагала, согласно исходному замыслу ее автора, коренную реформу психологии; превращение ее из субъективной в объективную, из индивидуальной — в социальную. Заслуживают внимания попытки Выготского по-новому подойти к проблеме «личность и культура», преодолеть воззрения тех, кто рассчитывал решить эту проблему, оставаясь на почве идеалистического понимания включенности человека в мир его творений.

Однако реформа не состоялась.

Создать объективную психологию искусства Выготскому не удалось. Именно это обстоятельство, как мы полагаем, и побудило автора отказаться от публикации труда, содержащего ряд положений, привлекших внимание и в наше время (прежде всего в связи с развитием семиотики).

Мысль об объективной психологии как единственном направлении, которое бы соответствовало критериям научности знания (его точности, свободы от произвольных толкований и т. д.), продолжала жить в сознании Выготского, но обрела совсем иной смысл, когда он обратился от предметов культуры к реальному поведению живых существ, ставшему в ту эпоху объектом исследования в новых

направлениях психологии — американском бихевиоризме и русской рефлексологии.

Второй период в творчестве Выготского намечается в связи с его ориентацией на исследование зависимости явлений психики от биологических механизмов поведения. Работая над проблемами психологии искусства, Выготский видел главную опасность для научного понимания психики в понятиях и объяснительных принципах традиционной эмпирической психологии. Последняя не была единым, гомогенным образованием. В ней уживались элементы и тенденции различных систем — как материалистических, так и идеалистических. Но при всех расхождениях между ее сторонниками их объединяло то, что предметом психологии, сферой, где ей надлежит искать закономерные связи ее явлений, служит область сознания, непосредственно данное субъекту в его внутреннем зрении. И Вундт с его представлениями о психологии как науке, изучающей непосредственный опыт субъекта, и Брентано, который в противовес Вундту утверждал, будто область психологии, в отличие от всех других наук, образует особые интенциональные акты сознания, и сторонники психологии способностей, исходившие из учения о способностях как первичных силах души,— все сходились в том, что факты психической жизни и по своей природе, и по своей познаваемости принципиально отличны от других явлений бытия. Преодолеть эту презумпцию непосредственной данности психического субъекту Выготский и пытался первоначально на почве объективной психологии искусства, а затем в союзе с естественнонаучной психологией.

Вместе с тем в эмпирической психологии, наряду с указанными методологическими установками, имелась сильная стихийноматериалистическая струя, которая обусловила накопление конкретных данных, касающихся своеобразия психического мира людей, а также индивидуальных различий между ними.

Одним из лучших представителей стихийноматериалистического направления был русский психолог А. Ф. Лазурский. Ему принадлежала идея преобразования лабораторного эксперимента в естественный, сближавший научную психологию с жизнью, а также идея создания дифференциальной психологии, которую он трактовал как научную характерологию, имеющую важное практическое значение.

В мировой науке, кроме Лазурского, никто не считал, что изучение индивидуальных особенностей людей может превратить психологию из описательной в объяснительную только тогда, когда будет установлена связь с «различными сторонами деятельности тех или иных нервных центров» (А. Ф. Лазурский, 1908, с. 73). К выводу о необходимости нейродинамического объяснения свойств личности Лазурский пришел под влиянием сотрудничества с В. М. Бехтеревым, создавшим Психоневрологический институт, где Лазурский проводил экспериментально-теоретические исследования.

В 1912 г. Лазурский опубликовал курс лекций «Общая и экспериментальная психология». Эта книга отличалась прогрессивной направленностью, ясно выступающей по сравнению с курсами лекций психологов-идеалистов, таких, например, как Г. И. Челпанов. Курс лекций по психологии Лазурского был переиздан в первые годы Советской власти в качестве учебного пособия. Чем объяснить это обстоятельство? Почему из множества различных курсов и учебников сотрудники Московского психологического института, поставившие задачей «пересмотреть основы и принципы в свете диалектического материализма» (с. 63), остановились на книге Лазурского? Ответ на этот вопрос содержится в написанном к книге предисловии Выготского, подчеркнувшего, что преимущества курса Лазурского определяются отстаиванием общебиологической точки зрения на психику, рассмотрением всех вопросов психологии как проблем биологического порядка.

Казалось бы, такой подход должен был стать основанием союза между представленным Лазурским вариантом эмпирической психологии и достижениями русской рефлексологии, которая ведь так же последовательно придерживалась биологической ориентации. Выготский противопоставляет «естествоведу и реалисту» Лазурскому представителей объективной психологии разных направлений,

прежде всего Павлова и Бехтерева. Психология сознания противопоставляется психологии поведения. Однако и объективная психология Бехтерева и Павлова тоже не может претендовать, как полагал Выготский, на имя научной психологии, которая «не возникнет ни на развалинах эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов» (с. 76). Он считает, что «она придет как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека» (там же). Раздумьями о новой психологии отличается творчество Выготского этого периода.

Стало быть, характерными особенностями второго периода являются признание преимущества объективной психологии рефлексологического типа перед традиционной, эмпирической психологией; уверенность в том, что простым суммированием достижений этих двух направлений невозможно получить целостное учение о человеческой психике, а также в том, что «новая психология будет ветвью общей биологии и вместе с тем основой всех социологических наук» (там же).

Противоречивость позиции Выготского в том, что, с одной стороны, его взгляды близки к бехтеревским, а с другой — он отчетливо видит их ограниченность. Собственное позитивное решение еще не найдено. Слово «сознание» еще не произнесено.

Важной вехой в плане поисков Выготским своеобразия психической регуляции человеческой жизнедеятельности в ее отличие от рефлекторных актов животных явилась его работа «Сознание как проблема психологии поведения» (1925). Просчетом рефлексологии (как в бехтеревском, так и в павловском варианте) Выготский считал игнорирование вопроса о психологической природе сознания. В понимании специфики сознания он исходил из известного положения Маркса о том, что в процессе труда человек, прежде чем получить итоговый продукт, уже обладает образом этого продукта, образом, который в качестве цели определяет способ и характер телесных действий с веществом природы. Эта общая характеристика труда направляла психолога на поиск тех механизмов, посредством которых сознательная цель придает человеческому поведению его уникальные особенности. Выготский, как свидетельствует его первая попытка объяснить психологическую природу сознания, критикуя ряд положений рефлексологии, в то же время оставался в пределах рефлексологических категорий. Он полагал, что сознанию «должно быть найдено место... в одном ряду... со всеми реакциями организма... Сознание есть проблема структуры поведения» (с. 83). Если результат, который получен в процессе труда, имелся перед началом процесса идеально, то это означает, что субъект откуда-то должен был почерпнуть схему будущих действий своих рук с веществом природы. По предположению Выготского, такая схема, или, как он говорил, «модель», рождается в системе взаимодействующих между собой рефлексов. Происходит передача одного рефлекса на другой без непременного вмешательства нового внешнего раздражителя.

В организме человека непрерывно происходит незаметная для объективного наблюдателя смена одного рефлекса другим. Когда эти рефлексы провоцируют друг друга, то неуловимы не только вызывающие их внешние сигналы, но и завершающие исполнительные звенья, поскольку последние оказываются заторможенными.

Не ссылаясь на И. М. Сеченова, Выготский использует его знаменитую формулу о мысли как рефлексе, «оборванном на двух третях». Мысль же неотделима от речи, от сопряженной с ней речедвигательной реакции. Изучение подобных заторможенных реакций с помощью объективных методов представлялось Выготскому в тот период главным путем к раскрытию тайн сознательной регуляции человеческого поведения.

Еще не оторвавшись в то время от рефлексологической почвы, Выготский тем не менее делает ряд шагов в направлении, которое в конце концов привело его к коренному пересмотру прежних воззрений на роль сознания в организации поведения и управления им. Главные из этих шагов были связаны с трактовкой слова как рефлекторного феномена особого порядка, отличающегося от других актов и по характеру вызывающего его стимула, и по характеру влияния эффекторной, исполнительной, части этого акта на дальнейшую деятельность человека.

Слово, по характеристике Выготского, «обратимый рефлекс-раздражитель». Оно первично обращено к другим и лишь вторично — к тому, кто его генерирует. Поскольку же слово является механизмом сознания, то следует вывод о тождестве этого механизма с социальным контактом. Поэтому Выготский и определяет сознание как «социальный контакт с самим собой». Выделение слова в качестве особого раздражителя, играющего роль регулятора человеческого поведения, означало для Выготского, что вместе с речевым сигналом в управление этим поведением включается интеллектуальный, логический момент. Это вносило существенные коррективы не только в традиционную трактовку условнорефлекторных связей на уровне поведения человека, но также в сложившееся в ту эпоху объяснение речевых ассоциаций принципом частоты повторений.

Слова, отмечал Выготский, могут сочетаться по закону ассоциации, но в тех случаях, когда между ними устанавливается логическая связь; результат сочетания слов-рефлексов будет решительно иным. Мы видим, таким образом, что при общей рефлексологической ориентации Выготского он, акцентируя роль слова в его специфических коммуникативных и содержательных характеристиках, продвигался к новым рубежам в объяснении сознания человека как интегрального компонента его поведения.

Первый рубеж обозначился, когда, отъединив слово от производимой организмом непосредственной рефлекторной реакции речевого аппарата, Выготский начал рассматривать слово в качестве особого феномена культуры. Тем самым человеческое поведение включалось в контекст культурно-исторической детерминации.

Общее положение о зависимости поведения от социальных факторов конкретизируется в учении о высших психических функциях (Выготский часто называет их психологическими), которому принято отводить центральное место в наследии Выготского. Подробнее об этом говорится во вступительной статье А. Н. Леонтьева, к которой мы и отсылаем читателя. Здесь же отметим, что разработка культурно-исторической теории базировалась на введении в категориальный аппарат психологии понятия о культурном знаке, играющем решающую роль в переходе от предчеловеческих форм поведения к специфически человеческим. В разряд культурных знаков Выготский включает не только языковые формы, но и различные носители сигнификативной функции — схемы, карты, алгебраические формулы, произведения искусства и т. д. Эти знаки представляют собой особые психологические орудия, посредством которых индивид организует свое поведение, научается произвольно управлять им. Подобно орудиям труда, они выступают в качестве среднего члена между деятельностью человека и внешним предметом, опосредуют отношения между ними. Однако если орудия труда направлены на объект, преобразуя его соответственно сознательно поставленной цели, то знаки ничего не меняют в объекте, а служат средством воздействия субъекта на самого себя, на собственную психику. Благодаря знакам психологическая структура личности радикально преобразуется, приобретает качественно новый характер. То, что в дознаковый период регуляции поведения было непроизвольным (восприятие, внимание, память), становится в процессе использования знаков во всевозрастающей степени произвольным.

Так складываются два уровня организации психических функций. Над натуральными, низшими, непроизвольными (общими для животных и человека) надстраиваются культурные, высшие, произвольные. Появление второго уровня трактовалось Выготским как продукт общественно-исторического развития, создания особой социальной среды, под влиянием которой человеческое существо находится с момента рождения.

Воспитание как специфическая форма социального воздействия детерминирует процесс овладения ребенком психологическими орудиями-знаками; являясь первоначально внешними, независимыми от индивидуального сознания (но непременно социальными), эти знаки усваиваются субъектом, превращаются из внешних во внутренние (интериоризируются), обеспечивая тем самым саморегуляцию, или, говоря языком Выготского, авторегуляцию, поведения.

Л. С. Выготский отчетливо сознавал, сколь велика для психологии, для ее

будущего опасность расщепления изучаемых ею явлений на две сферы, якобы подчиненные принципиально различным закономерностям — естественнонаучным и культурно-историческим. Перед его глазами была картина кризиса психологии, порожденного, как он неоднократно писал, конфронтацией «биотропного» (ориентированного на науки о природе) и «социотропного» (ориентированного на мир культуры) направлений. Перед ним постоянно брезжила проблема синтеза этих направлений.

Сосредоточившись на изучении специфики инструментальных форм и функций поведения (т. е. таких, где организующим началом является психологическое орудие или знак), в работе «Инструментальный метод в психологии» Выготский решительно выступал против их отрыва от естественных, натуральных. «Искусственные (инструментальные) акты не следует представлять себе как сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым, особым законам. Искусственные акты суть те же естественные, они могут быть без остатка, до самого конца разложены и сведены к этим последним, как любая машина (или техническое орудие) может быть без остатка разложена на систему естественных сил и процессов» (с. 104).

Настаивая на том, что искусственное созидается из тех же сил и процессов, что и естественное, Выготский стремился избежать дуализма. И хотя его сравнения не всегда звучат убедительно, нельзя забывать об основном векторе его поиска. Он видел опасность противопоставления высших и низших уровней организации поведения и в то же время чувствовал потребность объяснить качественные различия между этими уровнями. Главную задачу в данном случае он усматривал в том, чтобы проникнуть в механизм возникновения психологических новообразований.

Сначала он искал этот механизм в пределах перестройки отдельных функций, например преобразования непроизвольной памяти в произвольную, механической памяти в логическую и т. д. В дальнейшем он оценивает такой подход как недостаточный для объяснения закономерностей развития психики. Он выдвигает положение о том, что именно благодаря психологическим орудиям в ходе исторического формирования человеческого поведения изменяются межфункциональные связи и отношения, формируются межфункциональные системы.

Выяснение того, как складываются и преобразуются эти системы, выступило в качестве новой задачи психологического исследования, которую Выготский попытался решить прежде всего на наиболее близкой ему проблеме взаимоотношений между мышлением и речью. Но здесь в его психологических воззрениях наметился поворот, связанный с тем, что речь выступила в качестве фактора, который регулирует не только мыслительный процесс, но деятельность сознания в целом как специфически человеческую форму психики.

В новом ракурсе выступил вопрос об отношении сознания к поведению, вопрос, стоящий в центре интересов Выготского с тех пор, как он в поисках путей построения объективной психологии перешел от изучения эстетических реакций к выяснению возможностей, которые открывает в плане научного познания психики рефлексологическое направление.

Сначала он выделил особую роль речевого рефлекса (отличного, как помнит читатель, от остальных рефлекторных реакций и со стороны стимула, и со стороны исполнительного, двигательного, звена). Затем слово, трактуемое в качестве одной из главных разновидностей культурного знака, приобрело значение психологического орудия, вмешательство которого превращает (наряду с другими знаками) натуральный, непроизвольный психический процесс в произвольно управляемый, или, точнее, самоуправляемый. Попытка понять характер взаимодействия различных психических процессов побудила Выготского задуматься над инструментальной ролью слова при формировании функциональных систем. Но по-прежнему оставался загадочным вопрос о носителе, «хозяине», этих систем, едином психическом «субстрате», в котором укоренены восприятие и память, чувство и воля. Предполагалось, что таким «субстратом» на уровне человека является сознание.

Следующий период в научных исканиях Выготского связан с зарождавшейся у него программой изучения сознания как системного и смыслового образования. Теперь он определяет разрабатываемую им область как «вершинную психологию», которая противостоит двум другим: «поверхностной» и «глубинной». Под «поверхностной» подразумевалось все многообразие школ и направлений, исходящих из постулата о непосредственной данности психических феноменов переживающему их субъекту. Тем самым психология выступала в качестве описательной, или, как говорил Выготский, «воззрительной», науки, ограничивающей свой предмет кругом явлений, обнаруживаемых внутренним взором («воззрением») субъекта при скольжении этого взора по поверхности сознания как своего рода калейдоскопа образов, актов, гештальтов и т. п. При таком подходе явление отождествлялось с сущностью. Иначе говоря, психология оказывалась в позиции, противоположной установкам других наук, видящих свою задачу в том, чтобы за поверхностью явлений вскрыть закономерности, которым они подчинены.

В отличие от подобной «поверхностной» психологии так называемая «глубинная» психология (психоанализ) стремилась проникнуть за ширму сознания в сферу действия подспудных иррациональных сил. Она отводила ключевую роль бессознательному. Что касается трактовки сознания как такового, то здесь ее позиция ничем не отличалась от «поверхностной» психологии. Сознание идентифицировалось с «внутренней сценой», на которой сменяют друг друга различные феномены. Поэтому оно оказывалось лишенным собственной качественной характеристики и выступало как нечто неизменное, неразвивающееся.

В противовес «поверхностной» психологии новая концепция сознания, разработка которой стала для Выготского главной задачей, предполагала выход за пределы непосредственно данного, но не в сферу бессознательной психики, а к принципиально иному психическому механизму, который и определяет являющееся «внутреннему взору» субъекта. Выготский называет этот механизм функциональной системой.

Это понятие, появившееся впоследствии в нашей психологии в связи с новыми физиологическими подходами, задолго до того утверждалось Выготским в качестве специально психологического. Оно предполагало коренной пересмотр традиционного понимания функции, понимания, восходящего, как справедливо подчеркивал Выготский, к древней психологии способностей. Психический «организм» мыслился по типу телесного. И подобно телесным функциям представлялись способности души — восприятие, память, мышление и т. п. Слабость функционализма Выготский усматривал в том, что он не мог объяснить характер отношений между функциями (проблема системы), а также отношение функции к внешнему явлению (проблема интенциональности, направленности на внеположный сознанию объект) и к образу этого явления, каким оно переживается субъектом (проблема значения).

Выготский намечает несколько направлений для преодоления слабостей функционализма. Взамен функций сознания он предлагает говорить о его деятельностях. Эти деятельности осуществляются не разрозненно, но во взаимосвязи, которая и образует функциональную систему как динамичное целое. Динамичное — значит изменчивое, развивающееся. Развитие системы, ее история — таков еще один важнейший принцип, выдвинутый Выготским *. Организующим принципом развития сознания выступает его особая структурная единица, которую Выготский обозначил термином «значение». Не образ, не переживание, не акт (как в прежних представлениях о сознании), а значение. Идея, согласно которой органич-

* Понятие о развитии системы было совершенно новым. Его новизну легко уловить, сопоставив с трактовкой системности в гештальтпсихологии, которой принцип развития был чужд. Преимущества подхода Выготского отчетливо видны при сопоставлении с некоторыми современными вариантами «системного подхода», не способного постичь связь системности и историзма. Небезынтересно заметить, что в ту же эпоху в физиологической науке понятия о функциональной системе и об истории системы разрабатывал А. А. Ухтомский. Нет сведений о том, был ли знаком Выготский с этими разработками.

ным компонентом индивидуального сознания является значение, влекла за собой далеко идущие последствия. Перед нами один из тех поворотных пунктов, который отделял предшествующий период творчества Выготского от того, который мы сейчас рассматриваем. «В старых работах, — отмечал он,— мы игнорировали то, что знаку присуще значение... Мы исходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки... Если прежде нашей задачей было показать общее между «узелком» и логической памятью, теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующее между ними различие» («Проблема сознания», с. 158).

«Узелок» — это знак, правда «культурный знак», и в качестве такового отличный от сигнала-раздражителя как регулятора поведения на предчеловеческом уровне. Но функция знака в качестве носителя предметного значения (в системе культуры) в период разработки культурно-исторической теории (по признанию самого автора этой теории) выносилась за скобки. Это, естественно, препятствовало выявлению той специфической качественной характеристики сознания, которую не могли получить его предшествующие исследователи, и тем самым объяснению сознания с позиций системности и историзма.

Такую перспективу открывала идея о том, что ткань сознания построена из значений, что именно в сфере значений, а не знаков действуют факторы, которые изменяют межфункциональные отношения.

Тезис о том, что значения (в отличие от знаков, с одной стороны, от понятий в качестве логических форм — с другой) трансформируются в процессе индивидуального развития субъекта, вносил в психологическую интерпретацию сознания идею чрезвычайной важности. Он намечал новые перспективы исследования сознания соответственно замыслу построения «вершинной» психологии.

Как и в «глубинной» психологии (фрейдизм и др.), в феноменах, непосредственно выступающих перед субъектом (в поле или потоке его сознания), усматривалась не первичная данность, а производное механизмов, в которые можно проникнуть лишь опосредованно, вскрывая недоступные интроспекции пласты. Но если «глубинная» психология искала эти пласты в квазибиологическом подполье, то Выготский исходил из того, что его новый подход обнажает не «глубины», а «вершины» личности, ее интимные связи с надиндивидуальным миром развивающейся человеческой культуры. Ведь значение неотчленимо от слова (хотя и не идентично ему), а слово как компонент языка концентрирует в себе богатства социального развития его творца — народа. Слово живет в общении, и благодаря ему, подчеркивает Выготский в своей новой программе, отвечая на вопрос о том, «что движет значениями, что определяет их развитие», становится возможным «сотрудничество сознаний».

На этом оборвался последний период исканий Выготского в области теоретической психологии; на идеях, огромную перспективность которых ощущаешь через полстолетия с особой остротой, быть может, даже резче, чем в те времена, когда они роились в еще незрелой, незавершенной форме в голове их генератора.

Когда психология заявила о себе как о самостоятельной науке, она претендовала на то, чтобы быть наукой о сознании. Но, как показал Выготский, определяя себя как науку о сознании, психология о сознании почти ничего не знала. Разве можно было считать имеющими серьезное научное значение ее выводы о тождестве, непрерывности, ясности сознания? Эти выводы назывались законами. Но их формальный характер был очевиден. Перед психологией стояла задача объяснить скрытые от самонаблюдения объективные механизмы построения и развития сознания как функциональной системы, содержательными компонентами которой являются особые единицы — значения, соотносящие субъекта с миром культуры и с созидающими этот мир в процессе общения людьми.

II

Нет ни одной теоретической работы Выготского, в которой бы он не соотносил размышления о проблемах психологии с ситуацией в мировой науке. Эти работы— непрерывный диалог с представителями различных течений, направлений, школ.

В ряде случаев критический анализ течений становился для Выготского специальной задачей. И тогда акценты сдвигались. Главный упор делался на прослеживание исторических корней той или иной концепции, а также функции, выполняемой ею в сложном соотношении идейно-научных сил в определенный период развития психологического познания. Теоретические искания Выготского в этих этюдах как бы уходили в подтекст, но они неизменно воздействовали на общий ход критического анализа данного направления.

Указанные критические этюды обычно представляли собой предисловия к трудам западных психологов. С большинством предисловий читателя знакомит вторая часть этого тома. Выготский писал их в различные годы, и на каждом из них, вполне естественно, лежит печать соответствующей фазы его творчества (как уже знает читатель, весьма динамичного). Поэтому и может быть установлено известное соответствие между идеями, которые определяли облик специальных теоретических выступлений и публикаций Выготского, и характером его статей, содержащих анализ и оценку работ западных психологов. Многое в дальнейшем пересматривалось, переоценивалось. Расположив его критические этюды в хронологической последовательности, мы предоставляем читателю возможность убедиться в этом.

Считая, что новая система психологического знания может сложиться не иначе, как в русле объективного анализа поведения, Выготский высоко оценивает концепцию первого лидера американского бихевиоризма — Э. Торндайка (в предисловии к книге последнего «Принципы обучения, основанные на психологии»). Психика в этой концепции не противостояла более остальным явлениям бытия ни по сущности, ни по познаваемости. Торндайк характеризовал ее как складывающуюся в проблемных ситуациях систему телесных реакций организма, доступных объективному наблюдению, управлению и контролю. При этом, следуя откровенно редукционистскому стилю мышления, Торндайк никаких принципиальных различий между реакциями животных и человека не усматривал. Но этой стороне дела Выготский в ту пору значения не придавал. Решающее преимущество торндайковской теории он усматривал в разрушении догматов старой психологии, скованной представлением о том, что единственным «свидетелем» психических феноменов служит субъект, которому они даны непосредственно, во внутреннем воззрении. Тем самым формирование детской психики, о своеобразии которой голос самонаблюдения ничего сказать не может, оказывалось вне научного анализа. С точки же зрения учения о реакциях, возникающих на глазах объективного наблюдателя, способного строить эти реакции по принятой программе, картина радикально менялась. Обнажились механизмы развития детского поведения, и наметилась перспектива управления процессами этого развития с позиций воспитателя, педагога.

В дальнейшем Выготский отвергнет теорию Торндайка как механистическую (сводящую процесс приобретения человеком новых форм поведения к слепым пробам и ошибкам), «атомистическую» (берущую за исходное отдельные элементы, а не целостные структуры), игнорирующую значение биологического созревания организма как фактора психического развития и качественные сдвиги («ступени») в этом развитии. Но такая переоценка Выготским концепции Торндайка произойдет впоследствии под влиянием дискуссии между различными психологическими школами, в особенности критики бихевиоризма сторонниками гештальттеории.

Разбирая торндайковскую концепцию педагогической психологии, Выготский отделял ее педагогическую часть от психологической. Он подчеркивал, что принципиально новое понимание факторов поведения и законов, по которым оно строится, подведено у Торндайка под практику и нужды американской школьной системы с ее индивидуалистическими устоями и чуждыми советской педагогике целями и нормами. Отвергая эту педагогическую доктрину, Выготский считал прогрессивной трактовку Торндайком механизма формирования тех реакций, которых не было в прежнем опыте индивида. Однако сам этот механизм Выготский объясняет не столько по Торндайку, сколько по И. П. Павлову. Он понимает воспитание как процесс накопления и выработки условных реакций, как замыкание новых связей

между организмом и средой. Решающая роль признается за средой, под которой имеется в виду не совокупность биологически значимых раздражителей (как в системе Павлова), а социальная среда. Поскольку она социальная, то и историческая — изменчивая от эпохи к эпохе.

Так, оставаясь на первых порах в пределах поведенческого (рефлексологического) подхода, Выготский уже тогда стремился соединить с понятием о раздражителях среды иное содержание, чем сторонники бихевиоризма и рефлексологии. В этих раздражителях, играющих решающую роль в построении ответных реакций организма, он видел особые детерминанты, а именно детерминанты общественно-исторического порядка.

Другой важной коррективой, внесенной Выготским в условнорефлекторную схему применительно к развитию поведения, являлось акцентирование внутренней динамики рефлексов. В противовес представлению об однозначной детерминации ответного действия организма непосредственными влияниями средовых раздражителей акцент ставился на «непрекращающейся борьбе между миром и человеком», на диалектике внутренних процессов. В изображении Выготского организм менее всего похож на пульт, где происходит автоматическое переключение внешних сигналов с одних каналов на другие и установление в силу построения (ср. законы ассоциации) устойчивых связей между импульсами и ответными реакциями на них.

Удивительно современно звучит тезис Выготского о «сложнейшей стратегии организма» в борьбе с непосредственными воздействиями среды. С этим соединялись представления об активности ребенка, вводящие в характеристику его поведения условия, игнорируемые традиционной условнорефлекторной концепцией. Здесь мы вправе видеть ростки идей, позволившие Выготскому в дальнейшем переосмыслить под новым углом зрения как бихевиоритскую позицию Торндайка, так и павловское учение о высшей нервной деятельности.

Как бихевиоризм, так и рефлексология, хотя и базировались на биологических, а не социально-культурных основаниях, придавали решающую роль формирующему влиянию внешней среды. Выготский же, как мы видели, не ограничивался абстрактным пониманием среды и стремился переосмыслить ее, руководствуясь общей методологической установкой, предполагающей качественное различие между условиями и детерминантами поведения человека и средой обитания других живых существ. Но этим не исчерпывалось своеобразие его попыток объяснить специфически человеческую регуляцию поведения. Он настойчиво искал собственные внутренние закономерности развития, т. е. решение проблемы, которую не ставили ни бихевиористы, ни русские рефлексологи. На Западе в трактовке указанной проблемы главное слово принадлежало сторонникам взгляда, согласно которому основные факторы развития форм поведения не могут быть иными, как биологическими. Этот взгляд распространялся не только на элементарные формы, но также и на высшие психические функции. Таковой, в частности, являлась позиция известного австрийского психолога К. Бюлера, учение которого о психическом развитии Выготский подверг критике в предисловии к русскому переводу работы этого автора «Очерк духовного развития ребенка».

Признавая важной заслугой Бюлера выявление биологических оснований детской психики и установку на то, чтобы понять биологические функции как целое в едином ритме их развития, Выготский видит просчет этого психолога в устранении из поля внимания исследователя социальных функций и социального ритма. Тем самым испарялось различие между природным и культурным, из-за чего понятие о развитии человеческой психики утрачивало содержательность. Оно оказывалось абстрактным, поглощающим любые формы изменения. Не различались высшее и низшее, элементарное и сложно организованное, а в качестве конечной причины всех этих форм выступало биологическое созревание, их развертка, говоря современным языком, по генетической программе. Подобная концепция психического развития сопряжена, как подчеркивал Выготский, с реакционными социальными выводами о предопределенности поведения личности скрытыми в ее генах детерминантами.

Без преувеличения можно сказать, что проблема развития, и прежде всего «драма духовного развития ребенка», перемещается в центр раздумий Выготского на целое десятилетие наиболее напряженного и, к сожалению, последнего десятилетия его творчества. Его критический анализ двух приобретших к тому времени наибольшее влияние на психологической сцене направлений: гештальтпсихологии и учения Ж. Пиаже — сосредоточился в первую очередь именно на этой проблеме.

Конечно, гештальтпсихология, как и бихевиоризм, как и психоанализ (великолепным знатоком которого являлся Выготский), представляла собой общепсихологическую концепцию и направление, а не специальное учение о развитии психики, тем более раннего или школьного детства. Но каждое из указанных направлений широко черпало эмпирический материал в сфере детской психологии и придавало этому материалу интерпретацию, призванную укрепить и подтвердить правоту «большой» теории, претендовавшей на научное объяснение механизмов человеческой деятельности в целом. Выготский, в свою очередь, усматривал в проблемах развития детской психики кардинальный узел: распутав его, удастся проследить, насколько крепки те идейные нити, из которых сплетается методологическая ткань новых направлений западной психологии.

Препарируя эту ткань, он соотносил свой анализ с представлениями, выработанными исходя из марксистской концепции человека. Здесь Выготский ощущал главную точку опоры. Вместе с тем адекватная теоретическая ориентация была важна для тех эмпирических исследований, данные которых могли быть, с одной стороны, противопоставлены фактам западных психологов, с другой — могли укрепить на новых основаниях союз между научным исследованием механизма развития психических функций и практикой воспитания и обучения.

В статье «Проблема развития в структурной психологии» Выготский останавливается прежде всего на критике одним из главных гештальтистов — К. Коффкой двух концепций развития психики, о которых уже шла речь,— концепции Торндайка и концепции К. Бюлера. По Торндайку обучение представляет собой отбор и закрепление реакций соответственно формуле «пробы, ошибки и случайный успех». По Коффке оно заключается в выработке новых структур. Что касается Бюлера, то его схема предполагала три ступени развития: инстинкт, дрессуру (поведение типа навыка) и интеллект. Слабость подобной схемы состояла в ее неспособности охватить различные формы развития психики единым принципом, каковым, согласно Коффке, опять-таки является структура. Механистической «унитарной» торндайковской концепции, игнорирующей диалектику процесса развития, качественные сдвиги и преобразования в этом процессе, Бюлер противопоставил «плюралистическую» идею трех различных, надстраивающихся один над другим психологических аппаратов, лишенных, однако, внутренней связи.

К. Коффка утверждал, что принцип структурности позволяет преодолеть ограниченность этих подходов, в равной степени бессильных перед своеобразием развития психики. Под структурностью понимались целостность и осмысленность поведения. Смысл этих признаков основного объяснительного понятия гештальтпсихологии раскрывается в контексте ее общей методологической направленности против двух способов трактовки поведения: механистического (типа концепции проб и ошибок Торндайка) и виталистического (типа концепции трех ступеней Бюлера).

Принцип проб и ошибок относит возникновение новых действий (а тем самым и развитие) за счет механического перебора множества отдельных реакций, среди которых случайно оказываются удачные. Концепция трех ступеней превращает высшую из ступеней — интеллект (сведенный бихевиористами к случайному сцеплению разрозненных движений) в особую замкнутую в себе психическую форму, лишенную связи с предшествующими уровнями развития. Такой подход можно назвать психовитализмом, поскольку своеобразие психического (интеллекта) объясняется имманентно присущей ему силой, не имеющей оснований ни в чем внешнем по отношению к нему — ни биологическом, ни социальном. Используя критику Коффкой указанных направлений, Выготский вскрывает шаткость позиций самого Коффки и гештальтистской теории в целом.

Универсализация понятия о структуре ведет к утрате возможности объяснить качественно различные фазы развития, к стиранию граней между ними.

Применительно к эволюции психики в фило- и онтогенезе гештальтисты перестают различать своеобразие человеческой психики, идентифицируя ее с зачатками интеллектуальной регуляции поведения у антропоидов. Психологическое своеобразие животных и ребенка ставится в один ряд и подводится под общий знаменатель. Структура выступает как первичный феномен и принцип, который способен все объяснить, но сам в объяснении не нуждается. И поскольку этот принцип распространяется на все психическое развитие человека, то заранее отвергается предположение о том, что в этом процессе могут возникнуть какие-либо качественно новые элементы. Приняв за свое кредо понятие о структуре, гештальтизм не смог объяснить, как одни структуры преобразуются в другие. Тем самым он оказался столь же беспомощен перед проблемой развития, как и учения, которые он подверг критике.

Иное дело — критика гештальттеории самим Выготским. Она велась с позиций уже сложившихся у него представлений о высших психических функциях, представлений, которые, как знает читатель, формировались под влиянием новых диалектико-материалистических установок. Поиски своеобразия этих функций, возникающих в результате коренного преобразования (благодаря особым психологическим орудиям) природных («натуральных») способов взаимодействия индивида с миром обострили чувствительность Выготского к глубоким методологическим изъянам психологических школ на Западе. Это относится и к анализу Выготским новаторских исследований Пиаже, сразу привлекших к себе внимание психологического мира. Подчеркивая преимущества концепции Пиаже, опирающейся на огромный и тщательно выверенный в клинических беседах с маленькими испытуемыми эмпирический материал, Выготский показал, что, раскрыв в ряде важных пунктов качественное своеобразие умственной организации ребенка, эта концепция, если ее рассматривать в целом, не смогла воссоздать адекватную картину развития этой организации.

Истоки неадекватности, как и в случае Торндайка, Бюлера, Коффки, крылись в трудностях разработки проблемы детерминации психического, его обусловленности взаимодействием природных и социальных факторов.

Принцип практики вошел в мышление Выготского из ленинской теории отражения, из «Философских тетрадей» В. И. Ленина, где подчеркивалось, что практика человека строит те «формулы», которые, «миллиарды раз повторяясь, закрепляются в сознании человека фигурами логики» (Полн. собр. соч., т. 29, с. 198). Именно это ленинское положение Выготский приводит в качестве решающего аргумента в критическом анализе концепции Пиаже.

Прослеживая пройденный Выготским путь разработки проблемы психического развития, мы можем выделить в нем несколько узловых пунктов, обращение к которым позволяет соотнести его поиски в области теории с критическим осмыслением систем, определявших в ту эпоху общий облик психологической науки. Первоначально он полагал, что психология сможет превратиться из традиционно-субъективной в объективную, из эмпирически-описательной в объяснительную и истинно детерминистскую, когда положит в основание построений новое учение о поведении. Русская рефлексология (прежде всего исследования Павлова) и американский бихевиоризм типа торндайковского воспринимались как наиболее перспективные варианты этого направления. Их перспективность определялась естественнонаучной ориентацией, которая покончила с воззрением на психику как на особую самодостаточную сущность, данную субъекту в его интроспекции.

Главная задача, над которой бился Выготский,— понять психику как развивающийся процесс — решалась первоначально исходя из принципа взаимодействия организма со средой, выработки в ходе этого взаимодействия новых форм реакций. «Атомизм» (механицизм) бихевиористских и рефлексологических представлений о развитии поведения подвергли острой критике гештальтисты, концепция которых была тщательно изучена и, в свою очередь, критически проанализирована Выготским. Идея структурности, которую отстаивали гештальтисты, ему импони-

ровала. Есть основания полагать, что она была ему созвучна (в качестве отличительной особенности нарождавшегося в начале века общего «системного» стиля мышления) и в ранний — филологический — период научных занятий.

Видя ее преимущества, Выготский вместе с тем показал ее неспособность справиться с проблемой качественных сдвигов в психическом развитии как в плане перехода от интеллекта высших животных к человеческому сознанию, так и в плане преобразований, испытываемых самим этим сознанием (прежде всего мышлением и речью) в различные возрастные периоды. Понятие о гештальте не только утверждало целостность психических (и изоморфных им физических) структур в противовес представлению о психических «атомах», оно содержало идею насыщенности «поля поведения» смысловым (образным) содержанием в противовес представлению о том, что поведение строится путем слепого перебора реакций.

За понятием о гештальте стояла категория образа как непременного регулятора психической активности. Превращая это понятие в универсальный объяснительный принцип, гештальттеория, как показал Выготский, не смогла наметить продуктивный подход к механизму психического развития. С какой бы настойчивостью ни подчеркивалась структурированность и целостность смыслового (образного) содержания психических актов, чтобы понять их генез, развитие, перестройку, требовалось выйти за пределы гештальтов как таковых к детерминирующим умственную организацию человека силам, прежде всего социальным.

Обращение к социальности, предпринятое Ж. Пиаже, вносило новую струю в исследование мышления и речи. Однако трактовка социальности как «общения сознаний» отъединяла субъекта познавательной активности от тех реальных, практических действий, благодаря которым эта активность приобретает направленность и содержание. «Социальная практика» — таково было слово, воспринятое Выготским у Ленина и ставшее для замечательного советского психолога последним в его поисках факторов развития психики.

III

Особое место среди теоретико-исторических работ Выготского принадлежит исследованию кризисной ситуации, охватившей психологическую науку в первой четверти XX в. Тревожные голоса по этому поводу раздавались повсюду, как в России, так и за рубежом. В русской литературе об этом писали Н. Н. Ланге, В. А. Вагнер и другие. Через год после того как Л. С. Выготский завершил рукопись «Исторический смысл психологического кризиса», известный австрийский психолог К. Бюлер выпустил книгу «Кризис психологии». Но первая попытка исследования и научного объяснения этого феномена с марксистских позиций принадлежала Выготскому.

Внешним выражением этого кризиса было появление новых школ и направлений. Понятие о школе многозначно. В данном случае имеется в виду расщепление науки на направления или системы, сторонники которых оперировали разными фактами и идеями, не принимали факты и идеи друг друга.

Фрейдизм, бихевиоризм, гештальтизм, персонализм — каждая из этих систем требовала покончить с прежними представлениями о сознании и методами его изучения. Каждая претендовала на переворот, на открытие новой эры в психологической науке. Перед молодой советской психологией встал вопрос: с кем и по какому пути идти в решении проблем психологии?

Став на почву марксизма, Выготский неизбежно должен был радикально разойтись в своем научно-рефлексивном анализе с теми, кто следовал идеалистической методологической линии. Его расхождения важны и поучительны для теории науки, для решения вопроса о том, как ее строить.

В этом плане особый интерес представляет его полемика со швейцарским психологом Л. Бинсвангером, выступившим с планом «критики психологии», под которым подразумевалось рассмотрение основных понятий науки, ее логики, способов ее внутренней организации. Замысел состоял в том, чтобы создать особую науку о последних основаниях и общих принципах психологического познания,

В атмосфере кризиса этот замысел ассоциировался с надеждой возвыситься над противоречиями школ и систем и утвердить единство науки посредством методологических обобщений. Идеалистический подход придал стремлению к единству психологии ложную направленность.

Общая наука мыслилась Бинсвангером, говоря современным языком, как метатеория, изучающая структуру и связь понятий самих по себе, безотносительно к воспроизводимой ими реальности. Оторванность логического строя науки, ее интеллектуальных структур от объективной действительности означала их оторванность также и от исторического процесса. Ведь только погружаясь в него, только благодаря ему человеческое сознание соединяется с миром. Таким образом, идеализм сочетался с принципиальным аисторизмом. На таких началах и сложилась версия о методологии науки как особой области, не имеющей оснований ни в чем, кроме как в самой себе, предписывающей правила построения теорий и наводящей порядок в конкретных дисциплинах.

Л. С. Выготский же считал, что для психологии создание «общей науки» — важнейшее задание века. В противоположность идеалистическому методу он наметил эскиз этой науки, исходя из марксистской интерпретации теоретического знания, из принципов отражения и историзма. Какой бы высокой ни являлась абстракция, в ней всегда содержится сгусток конкретно-реальной действительности, «хотя бы и в очень слабом растворе»,— писал он (с. 312). Поэтому и «общая наука», синтезируя научное знание, выделяя его основания и регулятивные принципы, имеет дело не с «чистыми» понятиями, а с понятиями, отображающими такие стороны психической реальности, для постижения которых концептуальный аппарат частных психологических дисциплин недостаточен.

Общая наука зарождается, как говорит опыт высокоразвитых дисциплин типа физики и биологии, на стадии зрелости. Психология подошла к историческому моменту, когда ее дальнейшее движение без общей науки стало невозможным *. Этот запрос на общую науку выражает не потребности логики формирования знаний самих по себе, но прежде всего потребности практики. Психология бессильна справиться с обступающими ее со всех сторон практическими задачами, не создав собственной логико-методологической инфраструктуры.

Общую науку можно определить как науку, получающую материал из ряда частных научных дисциплин и производящую дальнейшую обработку и обобщение этого материала, что невозможно произвести внутри каждой отдельной дисциплины. Оперируя фундаментальными понятиями (категориями) и объяснительными принципами, общая наука выполняет роль методологии по отношению к конкретному эмпирическому исследованию. Общая наука остается хотя и высшим, но неотъемлемым разделом конкретно-научного познания. Она критична, но в ином смысле, чем полагали сторонники априоризма.

В противовес Бинсвангеру, для которого критика понятий должна составить особое логико-методологическое направление, Выготский исходил из того, что

* По мнению Выготского, понятие общей психологии не совпадает с понятием теоретической психологии. Теоретическую психологию, «в сущности, психологию взрослого нормального человека, следовало бы рассматривать как одну из специальных дисциплин наряду с зоопсихологией и психопатологией. То, что она играла и до сих пор отчасти продолжает играть роль какого-то обобщающего фактора, формирующего до известной степени строй и систему специальных дисциплин, снабжающего их основными понятиями, приводящего их в соответствие с собственной структурой, объясняется историей развития науки, но не логической необходимостью. Так на деле было, отчасти есть и сейчас, но так вовсе не должно быть и не будет, потому что это не вытекает из самой природы этой науки, а обусловлено внешними, посторонними обстоятельствами; стоит им измениться, как психология нормального человека утратит руководящую роль» (с. 292).

понятия непрерывно критикуются в практике, в повседневном труде ученого, путем их соотнесения с реальными фактами, с эмпирическими данными. Каждый шаг предполагает и критику понятия с точки зрения факта, и критику факта с точки зрения понятия. Выготский полагал, что всякое открытие в науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия.

Такое взаимодействие понятия и факта, теоретических и эмпирических компонентов знания непрестанно совершается в науке. На более высоком уровне, где понятия — факты частных дисциплин — становятся материалом для дальнейшей критики и переработки, благодаря чему создаются наиболее общие, а поскольку в них «сгущается» действительность, то и наиболее содержательные абстракции, это взаимодействие образует предмет общей науки. Ее можно назвать также методологией в смысле учения о способах, путях, приемах конкретно-научного познания, но опять-таки имея в виду, что «орудийность» (способ обработки эмпирического материала) присуща даже самому элементарному понятию.

Общая наука «перенимает», возводит в более высокий ранг это оперирование понятиями, теперь уже — соответственно ее предмету — наиболее общими понятиями (категориями). Она, таким образом, определяет предмет и метод любых форм научно-психологического исследования, на какие бы объекты оно ни распространялось.

Методология конкретной науки складывается под влиянием философии, но имеет собственный статус, определяемый природой предмета этой науки, исторической разверткой ее категориальных структур. Методологическое исследование психологических понятий, методов, объяснительных принципов не является поэтому философской «светелкой», пристроенной к науке. Оно порождается в связи с запросами конкретной науки и составляет ее неотъемлемую часть.

Идея о нераздельности двух способов исследования науки — логического и исторического — стала краеугольным камнем всей теоретической конструкции Выготского.

Научная методология на исторической основе возможна потому, что закономерность, повторяемость, правильность присущи самому процессу познания, его историческому бытию. Из объективной логики развития процесса, логики, скрытой за неповторимостью событий, записанных в памяти науки, извлекаются общие формулы, из которых выводятся и предсказуются эти события. «Закономерность в смене и развитии идей,— замечает Выготский,— возникновение и гибель понятий, даже смена классификаций и т. п.— все это может быть научно объяснено на почве связи данной науки 1) с общей социально-культурной подпочвой эпохи, 2) с общими условиями и законами научного познания, 3) с теми объективными требованиями, которые предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии их исследования, т. е. в конечном счете — с требованиями объективной действительности, изучаемой данной наукой» (с. 302).

Тот факт, что психология уже осознала необходимость общей науки (методологии), но еще не была в состоянии произвести ее на свет, рассматривается Выготским как свидетельство кризиса психологии. Острая потребность в методологии побуждает отдельные структурные звенья науки производить «замещающие действия». Роль, которую по праву должна была сыграть общая психология, и только она, пытаются присвоить частные дисциплины — детская психология, патопсихология, зоопсихология и другие, возводящие свои, действительные лишь для ограниченного круга явлений, понятия-факты в ранг общепсихологических категорий.

Поразительное сходство наблюдается между эволюцией самых различных психологических концепций — от частного открытия в специальной дисциплине к последующему распространению своих идей на всю психологию и затем на человеческое знание в целом. Так обстояло дело с фрейдизмом, рефлексологией, гештальтизмом и персонализмом. Они проделывали этот путь с удивительным однообразием, выражая тем самым в неадекватной форме назревшую потребность в общей науке, придающей благодаря фундаментальным абстракциям единство и

внутреннюю связь понятиям и фактам психологии, определяющей ее предмет в качестве единой науки, а не беспорядочного конгломерата феноменов.

В противовес тем, кто видел в кризисе только распад, только крушение всех устоев, кто чувствовал себя, по словам известного русского психолога Н. Н. Ланге, «в положении Приама на развалинах Трои», Выготский считал, что в кризисе действует не только разрушительное, но и созидательное начало.

Работники, непосредственно связанные с практикой научного человекознания и человекоизменения, с большей остротой, чем кто бы то ни было, осознают потребность критически проанализировать разрозненные факты, гипотезы, эмпирические обобщения, свести «начала и концы знания».

Трудности решения этой задачи усугубляются тем, что в организме науки оказались «сращенными» гетерогенные компоненты — каузальная, естественнонаучная психология и психология индетерминистская, телеологическая. Кризис показал, что их сосуществование нетерпимо, что их необходимо «рассечь», что продуктивное изучение психической регуляции поведения возможно только в качестве каузального. История вынесла свой приговор — она показала нищету и бесперспективность индетерминизма. Нужно было обладать большой зоркостью, чтобы за сонмом больших и малых школ, теснившихся на психологической сцене, увидеть два главных направления — каузальное и индетерминистское и констатировать обреченность второго.

Кризис показал, что никакая иная психология, кроме детерминистской, в качестве научной невозможна. В этом и состоит его глубинный исторический смысл. Ограниченность прежнего детерминизма обусловлена тем, что у него не было ресурсов подняться до уровня естественнонаучной трактовки человеческого сознания — общественно-исторического по природе. Это и оставляло почву для процветания телеологических воззрений, выступавших под именем различных психологий: описательной (В. Дильтей), интенциональной (Ф. Брентано), феноменологической (Э. Гуссерль, А. Пфендер), аксиологической (Г. Мюнстерберг), персоналистической (В. Штерн) и других.

Историзм был чужд и тем концепциям, в которых имелась естественнонаучная струя,— бихевиоризму, гештальтпсихологии, функционализму. Их философская ориентация препятствовала выходу из кризисной ситуации, требовавшей, как отмечалось, создания общей науки в качестве методологии психологического исследования. Такая конкретно-научная методология, будучи единственно законной преемницей одной из двух тенденций, определявших путь психологии во все предшествующие века, а именно естественнонаучной, может быть, по Выготскому, развита только на фундаменте, который «презрели» прежние строители, на фундаменте диалектического материализма.

Марксистскую психологию Выготский рассматривал не как одну из школ (как говорили, например, об ассоцианистской, экспериментальной, эйдетической и других школах), а как единственно научную психологию. В отличие от авторов, которые, утратив чувство историзма, требовали от психологии «покончить с прошлым» и «начинать сначала», Выготский полагал, что преобразование психологии на основе марксизма вовсе не означает отбрасывания всей ее предшествующей работы. Каждое усилие свободной мысли овладеть психикой, каждая попытка детерминистского исследования подготавливали будущую психологию, и потому они необходимо войдут в трансформированном виде в ее состав.

Стихийно развивавшееся под давлением социальной практики естественнонаучное направление в психологии остановилось на пороге детерминистского объяснения человеческой психики, поскольку ее детерминация носит социально-исторический характер. В соответствии с этим объяснительные понятия естественных наук недостаточны для построения новой психологии, в задачу которой входит раскрытие законов, действительных для всех уровней психики, включая ее самые высшие формы, определяемые взаимосвязью человеческой личности с миром исторически развивающейся культуры. В то же время, будучи непосредственной преемницей достижений предшествующей естественнонаучной психологии, психология, базирующаяся на марксизме, может, согласно Выготскому, рассматриваться

в широком смысле как естественная наука. Очевидно, что в данном контексте к естественным явлениям Выготский относит не только явления, изучаемые науками о природе — неорганической и органической. Как развитие общественно-экономической формации в учении Маркса, так и развитие психики должно рассматриваться в качестве естественноисторического процесса. Такой подход позволял, сохраняя органические связи психологии с естествознанием, перевести исследование детерминации явлений психики на новый уровень. Последующее творчество Выготского показало плодотворность такого методологического подхода для выработки конкретно-научных представлений о детерминации истинно человеческих психических актов — внимания, памяти, воображения, мышления. Следует, однако, отметить, что в рассматриваемой работе Выготский лишь поставил вопрос о необходимости переориентации психологии на новые пути, по которым в дальнейшем продвигались многие советские психологи.

Философия марксизма трактуется Выготским как адекватная собственным потребностям психологической науки, ищущей выход из кризиса, а не как нечто привнесенное со стороны по воле лиц, затеявших реформу психологии, исходя из политических или идеологических соображений (таково было, в частности, мнение Г. И. Челпанова). Объяснение Выготским кризиса психологии сложилось под влиянием ленинского анализа кризисной ситуации, назревшей на рубеже века в естественных науках, развитие которых требовало новых методологических решений, диалектико-материалистических по своей сути. В трудах классиков марксизма Выготский видел образец того, как применять это философское учение к конкретной науке, отображающей в своих исторически развивающихся понятиях определенный аспект природного и (или) социального бытия.

Эту задачу невозможно было решить путем прямого распространения универсальных категорий и законов материалистической диалектики на область конкретно-научного познания. Бесплодным был и другой путь, когда в отдельных высказываниях классиков марксизма пытались найти психологию в готовом виде, т. е. решение вопроса о специфике и закономерностях психики. Для применения марксизма к той или иной науке необходимо выработать методологию — такую систему опосредующих, конкретных способов организации знания, которые могут быть применимы к масштабу именно этой науки.

Воспроизвести в познавательных формах объективную диалектику психического призвана диалектика (методология) психологического познания, являющаяся стержнем науки, общей по отношению ко множеству частных психологических дисциплин. Тем самым выступает иерархия уровней исследования: высший уровень представлен философией, за ним выстраивается методология общей психологии. Ее ресурсами питаются на следующем уровне иерархии частные психологические дисциплины. Последние, в свою очередь, непосредственно смыкаются с практикой воздействия на человека и преобразования его, с различными формами воспитания и обучения, выработки трудовых навыков, организации деятельности, лечения и т. д. При этом намечается движение не только «сверху вниз» — от философии через общую науку и частные дисциплины к практике, но и в обратном направлении — «снизу вверх» — от практики, обобщаемой, интегрируемой в частных дисциплинах, к общей психологии, категориальный аппарат которой суммирует их «суверенитеты».

В этом «круговороте» решающим фактором, началом и концом всего процесса является практика. Она непосредственно входит в психологическое познание, а не только выступает в качестве его проверочного средства. При этом само научное исследование трактуется Выготским как особая форма практической деятельности, производная по отношению к другим способам воздействия человека на природу и на другого человека, но вместе с тем способная придать этому, теперь уже «онаученному» воздействию несравненно большую эффективность, чем на преднаучном уровне.

IV

Наука представляет собой, по Выготскому, внутренне связанную систему. Каждый ее компонент (факт, термин, методический прием, теоретический конструкт) получает свой смысл от целого, которое проходит ряд фаз, сменяющих друг друга с неотвратимостью, подобной переходу от одной общественно-экономической формации к другой.

Важное значение в методологических исследованиях, по мнению Выготского, приобретает проблема языка науки, проблема слов, терминологии. «Язык,— писал он,— обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживает наука; он отражает внутренние и неоформившиеся процессы — тенденции развития, реформы и роста» (с. 357). Язык науки — инструмент анализа, орудие мысли. Его может развивать лишь тот, кто занимается исследованием и открывает новое в науке. Открытие новых фактов и возникновение новых точек зрения на факты требуют новых терминов. Таким образом, речь идет не о таком словотворчестве, когда выдумываются новые слова для обозначения уже известных явлений, подобно наклеиванию этикетки на готовый товар, а именно о словах, которые рождаются в процессе научного творчества.

Поскольку психология — экспериментальная наука, то для решения своих задач она использует различные аппараты, приборы, устройства, выполняющие функции орудий. Однако развитие экспериментальной техники таит опасность ее фетишизации и может породить надежду на то, что само по себе применение этой техники способно открыть новые научные факты. Подобное увлечение аппаратной техникой без теоретических предпосылок, без понимания того, что она играет лишь вспомогательную роль, наносит ущерб научному творчеству, порождает, по выражению Выготского, «фельдшеризм в науке». «Фельдшеризм в науке», по Выготскому, это отрыв технической, исполнительской функции исследования (обслуживание аппаратов по известному шаблону) от научного мышления. Такой отрыв отрицательно сказывается и на самом мышлении, поскольку вся тяжесть исследовательской работы переносится с оперирования словами-терминами на бездумное оперирование приборами. В результате слова, не наполняясь новым содержанием, начинают оскудевать, перестают выполнять присущую им роль важнейших инструментов мышления.

Мы видим, что основа анализа методологических проблем научного исследования для Выготского не умозрительные конструкции, а та «молекулярная» работа со словом, понятием, прибором, научным фактом, которая повседневно происходит в процессе лабораторного исследования.

За несколько десятилетий до того, как утвердился современный системный подход, Выготский уже реализует его в своем анализе науки, следуя марксистским принципам, согласно которым системность и историзм неотделимы. Представление о системности науки, позволяющее раскрыть своеобразие ее строения, Выготский соединяет с принципом ее социальной обусловленности.

Развитая Выготским теория кризиса науки представляет не только исторический интерес. Она актуальна и поныне в плане разработки марксистского учения о научном познании как социально детерминированном, диалектически противоречивом процессе с его пиками и спадами, кризисными и революционными ситуациями.

Вопрос о природе кризисных ситуаций и путях их разрешения привлекает в наши дни и методологов науки в капиталистических странах. Широко известна, например, трактовка кризисных явлений в науке американским историком науки Т. Куном. По Куну, кризис разгорается, когда накапливаются факты-аномалии, не совместимые с господствующей парадигмой. Размывая ее, они подготавливают революцию в науке. В конце концов прежняя парадигма рушится, и научное сообщество сплачивается на основе новой парадигмы.

Анализируя развитие психологии, Выготский вскрыл иные детерминанты кризисных явлений. Он отверг позитивистское представление о «чистых» фактах (за которым стояла версия, будто источником познания служат сенсорные данные, а не отображаемая в чувственном опыте и постигаемая посредством сознания

объективная реальность). Ведь научное исследование может оперировать только такими фактами, которые прошли понятийную обработку. Уже называя предмет, мы классифицируем его, выделяем с помощью слова-орудия в бесконечном многообразии признаков существенные в определенном отношении.

Поскольку же «обрабатывающая сила» исходит от мышления, погруженного в независимый от него объект, то понятийная обработка факта не что иное, как более адекватная, более содержательная (чем на допонятийном уровне) познавательная реконструкция этого объекта.

Кризис, по Выготскому, зарождается не при столкновениях новых фактов с господствующей структурой знаний, а при назревании порождаемой и стимулируемой практикой потребности в переходе от частных теоретических схем к более общим, вводящим эти частные схемы в контекст, в котором их понятия — факты обнаруживают глубинный категориальный смысл. В период, когда общая схема еще не сложилась, но время для этого уже созрело, на ее место, как мы видели, устремляются частные концепции. Их противоборством отмечена внешняя картина кризиса, которая прежде всего и бросается в глаза.

По Куну, между парадигмой старой и новой нет ни общности, ни связи. Между ними не может быть отношений включения. Одна исключает другую.

Подход Выготского позволяет понять диалектику эволюционных (кумулятивных) и революционных моментов в развитии позитивного знания. Для понимания природы и смысла кризиса в науке необходимо, согласно Выготскому, выйти за пределы взаимоотношений между теориями и фактами в движении научного знания. Не само по себе рассогласование теоретического и эмпирического стимулирует и направляет это движение. Силы, действующие внутри самой науки, выступают на уровне прикладных исследований, непосредственно связанных с практикой — воспитательной, промышленной, медицинской и т. д. Именно практика требует построения такой методологии, без которой само научно-практическое воздействие на человека не может быть эффективным.

Критика Выготским научных школ, претендовавших на строго эмпирический характер построений, якобы совершенно независимых от каких бы то ни было мировоззренческих, философских предпосылок, не была декларативной. Глубоко и тщательно проанализировав опыт развития этих школ и их историческую судьбу, Выготский убедительно показал, что за мнимой эмпиричностью и беспредпосылочностью школ действовали определенные социально-философские силы, приведшие указанные школы от эмпирических констатаций через установление отношений психологии с другими частными дисциплинами к претензиям на всеохватывающие мировоззрения.

Рассмотренная нами работа запечатлела движение мысли Выготского перед тем, как он развернул конкретно-научную программу своих исследований, в основу которой легла его культурно-историческая, или инструментальная, концепция. Согласно этой концепции, психолог призван изучать инструменты (орудия, знаки), посредством которых «натуральные» психические процессы превращаются в культурные, внешние операции «уходят вовнутрь», интериоризуются, образуя устройство, обычно принимаемое за изначально данный индивиду и не отчуждаемый от него субъективный мир. От этих идей принято вести «психологическую родословную» Выготского. По традиции их заносят на первую страницу летописи его школы.

Обращение к его ранее не напечатанному труду о кризисе в психологии решительно меняет ретроспективу, проливает свет на огромную методологическую работу, предшествовавшую специально научным достижениям, с которыми стало в дальнейшем ассоциироваться имя Выготского. Выготский — философ, методолог, теоретик науки — сказал свое слово до того, как появился Выготский — исследователь высших психических функций, автор культурно-исторической концепции в психологии, лидер одной из главных советских психологических школ. Было ли это слово услышано? Рукопись лежала неопубликованной. Однако нет сомнений, что ее идеи не остались «безработными». Истории известны прецеденты, когда мысли, опережавшие свой век, будучи изложены на бумаге, не поступали в науч-

ный оборот. Неопубликованные записные книжки Леонардо да Винчи и заметки Дидро в опровержение гельвециева трактата «О человеке» представляют интерес как документы большой прогностической ценности. На идейную атмосферу своей эпохи, однако, они не повлияли. Подобный вывод вряд ли правомерен в отношении рукописи Выготского. Автора окружали соратники по борьбе за новую психологию и многочисленные ученики. Нет сомнений, что в общении с ними он развивал положения, ставшие знакомыми нам теперь. Он обучал их своему восприятию и анализу природы научного знания, и это стало методологическим подтекстом последующей деятельности.

Опыт Выготского — это пример, как мы бы сейчас сказали, науковедческой рефлексии, предварявшей построение позитивной системы. Это своеобразная «критика психологического разума», но критика, базирующаяся на «просвечивании» его исторических судеб, на анализе реальных фактов. Вполне понятно, что здесь говорится о фактах в совершенно ином смысле, чем тогда, когда имеется в виду обычная научная эмпирия.

В этом контексте в качестве фактов выступают теоретические концепции, восхождение и падение научных истин и целых систем, кризисные ситуации и т. п. Такие «метафакты» требуют и своих теорий, отличных от конкретно-научных. Это хорошо понимал Выготский, когда писал о научном исследовании самой науки. Не рискуя впасть в преувеличение, скажем: науковедческая рефлексия, исторически ориентированный анализ проблем логики и методологии познания стали необходимой предпосылкой всего последующего творчества Выготского.

Он исходил не из априорных соображений о том, как вообще возможна научная психология, а из проникновенного исследования исторически достоверных форм реализации этой возможности. История являлась для него огромной лабораторией, гигантским экспериментальным устройством, где проходят испытание гипотезы, теории, школы.

Прежде чем заняться экспериментальной психологией, он проник в опыт работы этой лаборатории. Прежде чем сделать своим объектом мышление и речь ребенка, он рассмотрел плоды умственной деятельности людей в ее высшем выражении, каковым является построение научного знания. Его как бы направляло известное марксистское положение о том, что высокоразвитые формы дают ключ к раскрытию тайны элементарных. Вот он говорит, например, о том, что слово представляет «эмбрион науки». Изучает же не эту эмбриональную форму, а функцию научного термина — слова, несущего высшую смысловую нагрузку. Вот он обсуждает вопрос «об обороте понятий и фактов с прибылью понятий» применительно к эволюции науки. Впоследствии масштабы изменяются. Выясненное на макроуровне ведет к объяснению развития понятий у детей.

За системной трактовкой коллективного научного разума последовало учение о системном строении индивидуального сознания. За сравнением научных понятий с орудиями труда, изнашивающимися от употребления, последовала инструментальная психология с ее постулатом об орудиях — средствах освоения мира и построения его внутреннего образа.

Все коренные вопросы познавательной активности человека — соотношение теоретического и эмпирического, слова и понятия, способы оперирования понятием как особым орудием и благодаря этому изменения его предметного содержания, реального практического действия и его интеллектуального коррелята — сначала рассмотрены на материале развивающегося научного знания. Лишь после того как они были выверены на этой особой культуре, Выготский обратился от опыта исторического к опыту психологическому. В ребенке он увидел маленького исследователя, действующего по тем же правилам, что и исследователь взрослый.

Диалектику познания — принципы историзма и отражения Выготский постиг, как мы видели, не умозрительно, а на особой исторической эмпирии, ставшей плацдармом для методологического наступления на твердыни, которыми не смогла овладеть прежняя детерминистская, естественнонаучная психология.

Со времен Выготского советскими психологами проведена огромная работа по теоретической реконструкции психологического знания на началах марксистско-

ленинской философии. Совершенно недостаточно, однако, удовлетворяется потребность в общей психологии, в том ее понимании, которое отстаивал Выготский, т. е. в специальной методологии конкретно-психологических исследований. Будучи неразрывно связана с философией, эта специальная методология должна иметь собственные принципы, задачи, строение и служить интегрирующим центром всего многообразия психологического знания и главным рычагом его построения.

V

В заключение несколько итоговых слов об обстоятельствах, определивших достижения Выготского.

Для каждого, кто общался с ним, сразу же становилась очевидной огромная талантливость этой личности. Но никакие личностные качества не могут сами по себе объяснить появление научного лидера. Центральной для Выготского в его анализе науки и любых ее феноменов являлась идея о том, что за спиной отдельных фигур исторического процесса действуют «с силой стальной пружины» объективные законы. По их велению, а не по прихоти героев исторического процесса рождаются и гибнут, возвышаются и сменяют друг друга концепции, школы и направления.

Этот подход, реализованный Выготским в его реконструкции динамики научных идей, целесообразно распространить и на оценку его собственного творчества. Оно формировалось под воздействием новых социальных условий и нового мировоззрения. Именно эти факторы побудили осмыслить историческую ограниченность психологических школ, рожденных в иной социально-идейной атмосфере, и дать импульс направлению, которое позволило искать новые ответы на запросы логики развития научного познания.

«Наша наука,— писал Выготский,— не могла и не может развиться в старом обществе. Овладеть правдой о личности и самой личностью нельзя, пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом» (с. 436).

Правду об обществе, по выражению Выготского, сказал марксизм. Объяснительные принципы этой философии — историзм и системность, единство теории и практики при определяющей роли последней, первичность бытия по отношению к его психическому образу — направили Выготского, совместно с коллективом советских психологов, на преобразование самих основ изучения человека. И если именно Выготский стал, по свидетельству исторического опыта, авангардной фигурой в этом коллективе, то объяснение этого факта лежит, мы полагаем, в следующем.

Прежде всего, в высокой философской культуре его исследований. Правоту марксизма он воспринял в контексте развития мировой философской мысли. Декарт и Спиноза, Гегель и Фейербах, вся великая философская традиция представлена в подтексте (а порой и в тексте) его исследований человеческой психики с диалектико-материалистических позиций. Ничто ему не было так чуждо, как наивная позитивистская вера в «чистую», беспредпосылочную науку, в способность самих по себе экспериментальных или математических процедур безотносительно к творческой работе теоретической мысли осваивать психическую реальность.

Вместе с тем полет мысли Выготского был бы невозможен вне опоры на традиции, сложившиеся в конкретно-научном изучении психических явлений. Преобразователем этих традиций мог выступить лишь тот, кто их органично воспринял, кто впитал многотрудный опыт прежних поисков.

Перед читателем работ Выготского проходит широкая панорама развития мировой психологии, ее основных направлений, ориентированность в которых стала предпосылкой нового теоретического синтеза. Но не только события на том участке научного фронта, где шла разработка психических явлений, находились под пристальным и проникновенным взором Выготского. Он обладал способностью охватить процессы и тенденции развития в смежных с психологией науках — естественных и гуманитарных. Эта способность мыслить междисциплинарно благотворно сказывалась на специально психологическом анализе, поскольку объекты такого анализа по самой своей природе включены в системы отношений с объектами биологического и социального познания.

К важным особенностям творчества Выготского следует отнести также его неотступное стремление сомкнуть продвижение в психологических проблемах с властными запросами практики. За этим стояло усвоенное им методологическое кредо: практика не только контролирует результаты процесса познания, она конституирует сам этот процесс.

Нельзя понять психологическую концепцию Л. С. Выготского вне ее эволюции.

В литературе о Выготском нередко встречается неадекватная оценка его теоретических позиций. Источник неадекватности скрыт, в частности, в игнорировании эволюции Выготского на природу психического. в смешении его представлений, относящихся к различным периодам творчества.

Марксистская методология, как известно, требует при рассмотрении творчества любого ученого следовать такому способу исторической реконструкции его вклада в основной фонд научных знаний, который бы не допускал ни апологетического, ни нигилистического подхода. К сожаленню, следы таких подходов просматриваются на протяжении всей истории советской психологии и поныне дают о себе знать в оценках некоторых современных авторов. Обращение к подлинному Выготскому подменяется в этих случаях произвольными толкованиями, неизбежно смещающими историческую перспективу.

Творчество Выготского должно быть рассмотрено и оценено в том социально-культурном контексте, которым оно порождено. Его учение формировалось в послереволюционные годы, в эпоху ломки старого мира, коренной перестройки представлений о человеческой личности и перспективах общественного развития. В этой атмосфере психологические воззрения Выготского, как и других передовых советских психологов, были ориентированы на диалектико-материалистическую методологию научного познания. Сквозь призму этой методологии были развиты на новой методологической основе лучшие традиции отечественной психологической мысли: естественнонаучная традиция, восходящая к И. М. Сеченову, и культурно-историческая — восходящая к А. А. Потебне.

Выготский не создал сколько-нибудь завершенной психологической системы. В напряженном поиске он непрерывно генерировал все новые и новые идеи, без сожаления расставаясь с одними, выдвигая другие, порой круто меняя маршрут своей мысли. Он, быть может, самая беспокойная фигура в нашей психологии. И плодотворное влияние этого беспокойства мы ощущаем и поныне.

Многое из того, что он выстрадал, потеряло актуальность. Но многое по-прежнему сохраняет идейный потенциал. Погружаясь в прошлое и реконструируя захватывавшие Выготского проблемы, острую полемику вокруг этих проблем, сложные перипетии борьбы за новую психологию, мы живо ощущаем связь времен, зависимость современных исканий от созданного в ту эпоху.

М. Г. Ярошевский
Г. С. Гургенидзе

КОММЕНТАРИИ

МЕТОДИКА РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Статья написана на основе доклада, сделанного Л. С. Выготским на II Всероссийском съезде по психоневрологии в Ленинграде 6 января 1924 г. Была напечатана в сб. «Проблемы современной психологии» (Под ред. К. Н. Корнилова. М., 1926).

2. Под *рефлексологией* Выготский понимал (в соответствии с принятым в ту эпоху взглядом) учение В. М. Бехтерева о сочетательных рефлексах как вырабатываемых в опыте ответных реакциях организма на внешние стимулы и учение И. П. Павлова об условных рефлексах.

3. Экспериментальная психология — термин, обозначавший первоначально исследования психических явлений посредством экспериментальных методов. Первыми объектами приложения этих методов служили пороги ощущений, время реакции, ассоциации и др. Применение эксперимента сыграло важную роль в обособлении психологии в самостоятельную науку.

4. Протопопов Виктор Павлович (1880—1957) — советский психиатр. Разрабатывал принципы и методы охранительного режима и ряд других методов профилактики и лечения психозов. Исследования Протопопова в области физиологии и патологии ВНД человека способствовали внедрению в психиатрию учения И. П. Павлова об условных рефлексах.

5. Павлов Иван Петрович (1849—1936) — русский и советский физиолог. Создатель учения о высшей нервной деятельности, произведшего коренные преобразования в исследованиях физиологического субстрата и детерминации психических явлений.

6. Вторичный условный рефлекс — особая условная реакция, вызываемая сигналом, замещающим прежний раздражитель.

7. Ассоциативный эксперимент — предложенный К. Юнгом метод выявления неосознаваемых установок личности путем изучения характера ее реакций на серию «нейтральных» слов. Заторможенная или неадекватная реакция рассматривалась как симптом действия бессознательных психических сил.

8. Бехтерев Владимир Михайлович (1867—1927) — русский и советский физиолог, невролог и психолог. Создатель учения о поведении как системе рефлексов, из которых складывается как психическая, так и социальная деятельность людей. Это учение было названо им объективной психологией а затем психорефлексологией и, наконец, рефлексологией. Последняя рассматривалась им как антитеза эмпирической, субъективной психологии.

9. Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — русский физиолог и психолог. Создатель нового направления в исследовании функций высших нервных центров, на котором базировалась программа построения объективной психологии. Оказал огромное влияние на детерминистское изучение поведения посредством естественнонаучных понятий и объективных методов.

10. Заторможенный рефлекс — понятие о рефлекторном акте как «оборванном» в своей завершающей («третьей») части было предложено И. М. Сеченовым. Оно использовалось для объяснения того, каким образом возникает процесс мышления, не получающий выражения во внешнем поведении.

11. Вюрцбургская школа — одно из направлений в экспериментальном изучении высших психических функций (мышления, воли). Исходило из идеалистической посылки о сознании как совокупности особых духовных актов, доступных исследователю посредством контролируемой интроспекции. Выявило качественное своеобразие мышления как процесса, несводимого к чувственным образам и регулируемого заранее принятой субъектом установкой. Вюрцбургская школа возникла в начале XX в. Главные представители О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер, К. Марбе.

12. Кроль Михаил Борисович (1869—1939) — советский невролог.

13. Залкинд Арон Борисович (1888—1936) — советский педагог и психолог.

14. Джемс (James) Уильям (1842—1910) — американский физиолог, психолог и философ. Основоположник функционального направления в психологии, трактующего психические процессы с точки зрения роли (функции), выполняемой ими в процессе приспособления организма к среде.

15. Ланге Николай Николаевич (1858—1921) — русский психолог. Профессор Новороссийского (Одесса) университета. Видный представитель естественнонаучного направления в исследовании психических функций (восприятия, внимания). Отстаивал генетический и биологический подход к этим функциям.

16. Уотсон (Watson) Джон (1878—1958) — американский психолог. Основатель бихевиоризма.

17. Вайс (Weiss) Альберт (1879—1931)— американский психолог, сторонник бихевиоризма. Трактовал психологию как раздел физики.

18. Гештальтпсихология — направление, считающее предметом и основным принципом объяснения сознания и поведения целостные структуры (гештальты) и их преобразования. Гештальт психология возникла перед первой мировой войной, но приобрела известность и влияние в 20-х гг. благодаря работам М. Вертгаймера, В. Келера, К. Коффки и К. Левина. Центром ее разработки стал Берлинский университет, главным печатным органом — журнал «Психологическое исследование».

19. Келер (Köhler) Вольфганг (1887—1967) — немецкий психолог, один из лидеров гештальтпсихологии, автор экспериментальных трудов по изучению восприятия и поведения антропоидов.

20. Коффка (Koffka) Курт (1887—1941) — немецкий психолог. Один из лидеров гештальтпсихологии. Его концепция развития психики была подвергнута Выготским критическому анализу в специальной статье, публикуемой в настоящем томе.

21. Вертгаймер (Wertheimer) Макс (1880—1943) — немецкий психолог. Основные работы в области исследований восприятия и мышления. Один из теоретиков гештальтпсихологии.

22. Эмпирическая психология — ряд направлений, считавших задачей психологии изучение опытным путем различных проявлений психической жизни. Понятие о ней впервые выдвинул немецкий философ Х. Вольф (1679—1754), который в книге «Эмпирическая психология» (1732) противопоставил ее как науку, описывающую факты, рациональной психологии, дедуктивно выводящей эти факты из сущности души. В дальнейшем к эмпирической психологии относились все концепции, стремящиеся построить психологию на данных опыта, причем основное значение придавалось методу самонаблюдения, по отношению к которому другие методы рассматривались как вспомогательные.

23. Бихевиоризм (от англ. behavior — поведение). Представители бихевиоризма, возникшего в начале XX в. в США, считали предметом научной психологии доступные внешнему наблюдению телесные реакции организма на раздражители. Главную задачу видели в изучении процесса научения (learning) как приобретения новых форм реакций. Не проводили различий между закономерностями этого процесса у животных и человека. Отрицали сознание как предмет психологии.

24. Ивановский Владимир Николаевич (1867—1931) — русский философ и психолог. Занимался историей ассоцианизма. Критиковал с позиции ассоцианизма понятие активности духа и апперцепции Г. В. Лейбница, И. Ф. Гербарта и главным образом В. Вундта. Активно участвовал в развитии русской педагогической психологии.

КОММЕНТАРИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. Ф. ЛАЗУРСКОГО «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ»

1. Предисловие к книге А. Ф. Лазурского «Психология общая и экспериментальная» написано в 1924 г. Опубликовано в третьем издании указанной книги (Л., 1925).

2. Лазурский Александр Федорович (1874—1917) — русский психолог. Инициатор разработки учения об индивидуальных психологических различиях, в трактовке которых придерживался естественнонаучной ориентации.

3. Артемов Владимир Александрович (р. 1897) — советский психолог. В 20—30-е гг. один из ведущих сотрудников Психологического института при Московском государственном университете. Основные работы — в области психологии речи.

4. Добрынин Николай Федорович (1890—1981)) — советский психолог. В 20—30-е гг. один из ведущих сотрудников Психологического института при Московском государственном университете. Основные работы — в области психологии внимания.

5. Лурия Александр Романович (1902—1977) — советский психолог. Ближайший сотрудник Л. С. Выготского, опираясь на концепции которого работал в области общей и детской психологии, нейропсихологии, психолингвистики, патопсихологии и др.

6. Торндайк (Thorndike) Эдвард (1874—1949) — американский психолог. Инициатор экспериментального исследования поведения с помощью объективных методов. Его работы стимулировали развитие бихевиоризма.

7. Рациональная психология — направление, исходившее из того, что законы психической жизни устанавливаются путем их выведения из теоретических представлений о душе как особой сущности. Понятие о рациональной психологии как противоположной эмпирической психологии ввел X. Вольф.

8. Локк (Locke) Джон (1632—1704) — английский философ. Основой психического развития считал опыт, приобретенный путем ощущений и рефлексии (наблюдения за деятельностью собственной души). Сыграл важную роль в развитии материалистического направления в психологии своим учением о том, что впечатления, получаемые посредством органов чувств, являются фундаментом умственной работы человека. Ввел в психологию термин «ассоциация».

9. Эббингауз (Ebbinghaus) Герман (1850—1909) — немецкий ученый, один из создателей экспериментальной психологии. Разработал на основе ассоциативной концепции методы изучения памяти.

10. Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий физиолог, философ и психолог. Инициатор разработки экспериментальной психологии (названной им физиологической) в качестве отдельной дисциплины. Организовал (1879) первую лабораторию для изучения элементарнех психических функций (ощущений, времени реакций и др.), по образцу которой создавались лаборатории в других странах. Считал психологию наукой о непосредственном опыте субъекта, а ее основным методом — специально тренируемое самонаблюдение.

11. Штумпф (Stumpf) Карл (1848—1936) — немецкий психолог. Автор экспериментальных работ по психологии слуховых и пространственных ощущений и восприятий. Под влиянием Брентано выдвинул учение о психических функциях в отличие от психических явлений (феноменов).

12. Авенариус (Avenarius) Рихард (1843—1896) — швейцарский философ. Сторонник субъективно-идеалистической концепции об опыте как «нейтрального» по отношению к различию между физическим и психическим. Тем самым, как показал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 18), отклонялось представление о том, что психическое вторично по отношению к внешней реальности и является ее отображением в головном мозгу.

13. Мейнонг (Meinong) Алексиус (1853—1920) — австрийский психолог и философ-идеалист. Возглавил в Граце психологическую школу. Доказывал, что в акте восприятия складываются сенсорные структуры, целостность которых определяется именно этим актом, а не комбинацией ощущений самих по себе. Это положение повлияло на гештальтпсихологию.

14. *Бине* (Binet) Альфред (1857—1911) — французский психолог. Основные исследования — в области психологии мышления и изучения индивидуальннх различий (психометрии, тестологии).
15. *Мюллер* (Müller) Георг Элиас (1850—1934) — немецкий психолог. Основные исследования — в области психофизики и психофизиологии. Выдвинутые им аксиомы о корреляции между психическими и нервными процессами оказали влияние на гештальтпсихологию.
16. *Дарвин* (Darvin) Чарлз (1809—1882) — создатель эволюционного учения в биологии, оказавшего огромное влияние на развитие генетических и объективных методов в психологии и новых представлений о детерминации психических функций.
17. *Лазарев* Петр Петрович (1878—1942) — советский физик, биофизик и геофизик. Разработал физико-химическую теорию возбуждения (так называемую ионную теорию возбуждения) и учение об адаптации центральной нервной системы к внешним раздражителям.

СОЗНАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ

1. Статья написана в 1925 г. Опубликована в сборнике «Психология и марксизм» (Под ред. К. Н. Корнилова. М.; Л., 1925).
2. *Блонский* Павел Петрович (1884—1941) — советский педагог и психолог. Активный участник перестройки психологической науки в СССР на основе методологии диалектического материализма. Основные работы — в области детской психологии и проблем развития памяти и мышления.
3. *Ухтомский* Алексей Алексеевич (1875—1942) — советский физиолог. Разработал учение о доминанте как особой функциональной системе (констелляции процессов в нервных центрах), являющейся физиологическим механизмом организации и регуляции поведения.
4. *Шеррингтон* (Sherrington) Чарлз (1857—1952) — английский физиолог. Создал учение об интегративном характере деятельности центральной нервной системы, в основе которого лежало представление о рефлекторном акте как целостном процессе, выполняющем адаптивную функцию. Однако психика рассматривалась им как особая сущность, не подчиненная общим закономерностям работы мозга.
5. Понятия о *рефлексе цели* и *рефлексе свободы* были введены И. П. Павловым, однако они не укладывались в основную детерминистскую схему образования условного рефлекса. Выготский выступал против универсализации этой схемы, полагая, что тем самым утрачивается ее позитивное значение, которое может быть сохранено лишь при условии ограничения указанной схемы определенным кругом явлений.
6. *Фрейд* (Freud) Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач и психолог. Родоначальник психоанализа.
7. *Вагнер* Владимир Александрович (1889—1934) — основоположник зоопсихологии в России. Исходя из дарвиновского учения, исследовал на основе объективного метода инстинкты у животных. Доказывал, что психическая регуляция поведения раскрывается в ее своеобразии при сравнительно-историческом изучении.
8. *Зеленый* Георгий Павлович (1878—1951) — советский физиолог, ученик И. П. Павлова.
9. *Психоанализ* — направление, исходящее из положения о том, что основу психической жизни составляют ее неосознаваемые силы (влечения, прежде всего сексуальные, агрессивные и т. п. импульсы), которые находятся в конфликте с процессами сознания и способны деформировать эти процессы, придавая поведению неадекватный характер, вызывая неврозы, душевные травмы, расстройства и т. п. Предполагается, что с помощью специальных методов (свободных ассоциаций, клинической беседы, различных психотерапевтических приемов) личность может быть освобождена от давления травмирующих ее неосознаваемых комплексов. Действием указанных психологических механизмов объясняются также

социальные процессы и развитие культуры. Родоначальником психоанализа был Фрейд, идеи которого повлияли на другие разновидности этого направления (А. Адлер, К. Юнг, неофрейдисты и др.).

10. Выдвинутая Вундтом *трехмерная теория чувств* предполагала, что чувства варьируют в системе трех измерений: а) удовольствие — неудовольствие, б) напряжение — релаксация (расслабление), в) возбуждение — успокоение.

11. *Кюльпе* (Külpe) Освальд (1862—1915) — немецкий философ и психолог. Возглавил вюрцбургскую школу. Выдвинул концепцию мышления как процесса, не связанного с чувственными образами и детерминируемого внутренними тенденциями. Единственным методом экспериментального исследования психического считал интроспекцию.

12. *Мюнстерберг* (Münsterberg) Гуго (1863—1916) — немецкий психолог. Один из пионеров разработки прикладной психологии.

13. *Введенский* Александр Иванович (1856—1925) — профессор Петербургского университета, философ-идеалист. Душевная жизнь, по его мнению, никаких объективных признаков не имеет и потому чужая душа непознаваема. Считал, что задача психологии ограничивается описанием душевных явлений, единственным методом постижения которых служит интроспекция.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ К. КОФФКИ «САМОНАБЛЮДЕНИЕ И МЕТОД ПСИХОЛОГИИ» ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

1. Написана в 1926 г. Опубликована как предисловие к работе К. Коффки, напечатанной в сб. «Проблемы современной психологии» (Под ред. К. Н. Корнилова. М., 1926).

2. *Гуссерль* (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, основатель феноменологического направления в философии, имеющего целью построение учения о «чистых» духовных сущностях, постигаемых путем особой установки сознания — интеллектуальной интуиции. Этот взгляд повлиял на появление в немецкой психологии установки на описание феноменов сознания (переживаний субъекта) в их непосредственной данности.

3. Под *дескриптивной*, или описательно-интроспективной, психологией Л. С. Выготский понимает анализ феноменов сознания посредством специально организованного самонаблюдения (интроспекции). Это направление следует отличать от описательной (или «понимающей») психологии в ее трактовке В. Дильтеем. Выготский полагал, что гештальтизм позволит объединить описательно-интроспективный метод изучения психики с функциональным, объективно-реактологическим.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ

1. Тезисы доклада, прочитанного в 1930 г. в Академии Коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской. Из личного архива Л. С. Выготского. Публикуется впервые.

2. *Клапаред* (Clapared) Эдуард (1873—1940) — швейцарский психолог. Основные работы — в области детской и генетической психологии. Оказал влияние на Ж. Пиаже.

3. *Рибо* (Ribot) Теофил (1839—1916) — французский психолог естественнонаучной ориентации. Исследовал проблемы психологии чувств, памяти, мышления, внимания.

4. *Дьюи* (Dewey) Джон (1859—1952) — американский философ, психолог и педагог. В психологии — представитель функциональной школы, полагавшей, что сознание является функцией, которая обслуживает процесс приспособления организма к среде. Противник материалистического объяснения психики.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1. Обработанная стенограмма доклада, прочитанного в клинике нервных болезней I Московского государственного университета 9 октября 1930 г. Из личного архива Л. С. Выготского. Публикуется впервые.

2. Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель. Исследователь проблем зрительного восприятия.

3. Гольдштейн (Goldstein) Курт (1878—1965) — немецкий психиатр и психолог. Близок к гештальтпсихологии, идеи которой распространил на трактовку организма как целого, движимого потребностью в самоактуализации.

4. Иенш (Iaensch) Эрик (1883—1940) — немецкий психолог. Известен работами по изучению эйдетизма.

5. Штерн (Stern) Вильям (1871—1938)— немецкий психолог. Основные работы — в области детской и дифференциальной психологии. Предложил учение о персоне как особой уникальной сущности.

6. Леонтьев Алексей Николаевич (1903—1979) — советский психолог. Ближайший сотрудник Л. С. Выготского. Разрабатывал проблемы происхождения и развития психики, выдвинул положение об общности строения внешней, практической, и внутренней, теоретической, деятельности человека.

7. Занков Леонид Владимирович (1901—1977) — советский дефектолог и психолог.

8. Пиаже (Piaget) Жан (1896—1980) — швейцарский психолог. Автор многих экспериментальных и теоретических работ в области детской и генетической психологии, оказавших большое влияние на развитие этого направления.

9. Гроос (Groos) Карл (1861—1946) — немецкий психолог. Основные работы в области генетической психологии. Автор теории игры, согласно которой игра служит школой подготовки организма к жизненным испытаниям.

10. Морозова Наталья Григорьевна (р. 1906) — советский дефектолог.

11. Леви-Брюль (Levi-Bruhl) Люсьен (1857—1939) — французский философ, социолог и этнограф.

12. Тацит (Tacitus) Корнелий (55—120) — римский историк.

13. Бюлер (Bühler) Шарлотта (р. 1893) — австрийский психолог, занималась проблемами детской и генетической психологии.

14. Гальтон (Halton) Френсис (1822—1911) — английский антрополог и психолог. Внес крупный вклад в разработку экспериментальных и количественных методов в психологии. Решающую роль придавал наследственным факторам, недооценивая влияния социальной среды.

15. Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, завершивший развитие немецкой классической идеалистической философии.

16. Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист. Первоосновой всего сущего считал «чистую» (т. е. нематериальную) длительность, аспектами которой выступают память, инстинкт, сознание, свобода, дух. Постижение длительности осуществляется путем интуиции как противоположного разуму мистического акта непосредственного постижения.

17. Кречмер (Kretschmer) Эрнст (1888—1964) — немецкий психиатр и психолог. Автор исследований о соотношении между строением тела и психическими свойствами человека. Предложил на этом основании типологию характеров.

18. Блейлер (Bleuler) Эйтен (1859—1939) — швейцарский психиатр. Выдвинул понятие об аутизме (или аутическом мышлении) как состоянии, при котором больной субъект (шизофреник) утрачивает контакт с реальностью, целиком сосредоточиваясь на своих внутренних влечениях и идеях.

19. Блондель (Blondel) Шарль (1876—1939) — французский психиатр.

20. Спиноза (Spinosa d'Espinosa) Бенедикт (1633—1677)— голландский философ-материалист. Его труды оказали большое влияние на Выготского.

21. Сапир Исай Давидович (1897—1937) — советский психиатр.

22. Зомбарт (Sombart) Вернер (1863—1941) — немецкий буржуазный экономист и

социолог. Различал «психологическую социологию», анализирующую психобиологические факты — чувства, инстинкты, влечения как основу человеческой культуры, и «зоологическую социологию», изучающую духовные факторы культуры—религию, этику, право и т.п. Под влиянием З. Фрейда разделял основания культуры на биологические и духовные.

23. Левин (Levin) Курт (1890—1947) — немецкий психолог. Разработал близкую к гештальтпсихологии теорию мотивации поведения.

ПСИХИКА, СОЗНАНИЕ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

1. Время написания работы неизвестно. Впервые опубликована в сб. «Элементы общей психологии» (М., 1930).

2. Липпс (Lipps) Теодор (1851—1914) — немецкий философ и психолог. Трактовал психологию как науку о переживаниях, испытываемых осознающим их субъектом. Выдвинул теорию эмпатии (вчувствования), согласно которой личность проецирует свои чувства на воспринимаемый ею объект.

3. Описательная, или понимающая, психология — концепция, согласно которой задачей психологии должно стать не объяснение ее явлений на основе естественнонаучных понятий и методов, а особая реконструкция этих явлений как компонентов целостной души, включенной в систему ценностей культуры. Эта концепция была выдвинута немецким философом В. Дильтеем и развита Э.Шпрангером.

4. Эйдетическая психология. В данном контексте Выготский понимает под эйдетической психологией не изучение близких по яркости и восприятию зрительных представлений, а концепцию Гуссерля о постижении субъектом чистых форм (эйдосов) собственного сознания.

5. Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833—1911) — немецкий философ, предложивший план создания описательной, или понимающей, психологии.

6. Шпрангер (Spranger) Эдуард (1882—1939) — немецкий философ и психолог. Последователь В. Дильтея.

7. Мах (Mach) Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ, субъективный идеалист. Отрицая различие физического и психического, считал, что природа должна описываться в нейтральных «элементах» опыта, под которыми, по существу, понимались ощущения. Воздействие его философии на психологию (В. Вундт, У. Джемс, гештальтпсихология) способствовало углублению в этой науке кризисных явлений. Критика его субъективно-идеалистических воззрений дана в книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

8. Бюлер (Bühler) Карл (1879—1963) — австрийский психолог, основные работы в области психологии мышления и развития психики. Дал анализ кризисной ситуации в психологии 20-х гг.

9. Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — выдающийся теоретик марксизма в России.

10. Северцов Алексей Николаевич (1866—1936) — советский биолог. В работе «Эволюция и психика» (1922) проанализировал способы приспособления организма к среде посредством изменения поведения животных без изменения их организации. Индивидуальные механизмы поведения, достигая высшей степени развития у человека, обеспечивают его приспособление к любым условиям существования и ведут к созданию так называемой искусственной среды — среды культуры и цивилизации.

11. Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист.

12. Брентано (Brentano) Франц (1838—1917) — австрийский философ-идеалист. Выдвинул программу построения психологии как науки об актах сознания. Его учение оказало большое влияние на немецкую и английскую психологию (Штумпф, Гуссерль, Кюльпе, Стаут и др.).

13. Бэн (Bain) Александр (1818—1903) — английский психолог, представитель

ассоциативного направления. Считал, что разработка психологии должна сообразовываться с достижениями физиологии нервной системы.

14. Гербарт (Herbart) Иоганн (1776—1841) — немецкий философ, психолог и педагог. Выступив с критикой психологии способностей и учения Канта, предложил превратить психологию в учение о «статике и динамике» представлений как первичных элементов сознания, взаимодействие которых может быть вычислено с помощью математических методов.

15. Гартман (Hartmann) Эдуард (1848—1906) — немецкий философ-иррационалист, считавший, что основой бытия является бессознательное духовное начало.

16. Бернгейм (Bernheim) Ипполит (1840—1919) — французский врач, исследователь гипнотизма, считавший его основой внушение. Его данные о постгипнотическом внушении оказали влияние на представления Фрейда о бессознательной психике.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. Н. ЛЕОНТЬЕВА «РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ»

1. Написано и опубликовано в 1931 г. (М.; Л.).

2. Геринг (Hering) Эвальд (1834—1918) — немецкий физиолог и психолог. Автор работ в области ощущений и восприятий. В 1870 г. выступил с докладом «Память как общая функция организованной материи».

3. Конт (Conte) Огюст (1798—1857) — французский философ, один из основателей позитивизма и буржуазной социологии. Выдвинул новую классификацию наук, в составе которой психология отсутствовала. Психические явления в качестве объекта позитивного исследования разделялись между физиологией и социологией. Считал, что внутренний мир станет предметом научного анализа только благодаря объективному наблюдению фактов социальной жизни, исходным началом которой является взаимодействие людей.

ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ

1. Первая публикация этого материала в книге «Психология грамматики» (М., 1968). Публикацию предваряли предисловие А. А. Леонтьева и введение А. Н. Леонтьева, Приводим их текст.

Предисловие к публикации

Записи докладов Л.С.Выготского издаются по рукописным тетрадям, хранящимся в личном архиве А. Н. Леонтьева. В них основной текст написан на правых (нечетных) страницах, а вставки и дополнения, в частности сделанные А. В. Запорожцем,— на противоположных левых (четных). Все записи (кроме нескольких явно более поздних, нами не учитывавшихся и лишь суммировавших сказанное Выготским в более современной формулировке) сделаны пером.

Естественно, в нашей публикации использован прежде всего основной текст. Он дополнен соответствующими вставками с четных страниц тетради, которые даны в угловых скобках ⟨ ⟩. Купюры в тексте не делались. Следуя за оригиналом, в середину записей мы вмонтировали запись выступления Л. С. Выготского по докладу А. Р. Лурия, отвечающую по теме соответствующему разделу доклада «Проблема сознания».

Все выделения, сделанные А. Н. Леонтьевым в рукописи, нами сохранены.

Все круглые и квадратные скобки принадлежат оригиналу. Данные в нем в кавычках пассажи представляют собой прямые цитаты из устной речи Л. С. Выготского. В публикуемом отрывке из записей выступлений Л. С. Выготского по тезисам дискуссии 1933—1934 гг. приняты те же принципы оформления с той лишь разницей, что в угловых скобках дана вставка, сделанная теми же чернилами самим А. Н. Леонтьевым.

КОММЕНТАРИИ

Введение

К концу 20-х гг. вокруг Л. С. Выготского объединилась небольшая группа молодых психологов, которая стала работать под его руководством. Наряду с обсуждениями научных вопросов, которые систематически велись на заседаниях кафедр и лабораторий, где шли в то время исследования, и во время частных бесед, Л. С. Выготский иногда собирал ближайших сотрудников и учеников на совещания, которые мы называли внутренними конференциями. Их задача состояла в том, чтобы теоретически осмыслить пройденный участок пути, обсудить проблемы, вызывавшие дискуссии, наметить план дальнейших работ. Обычно такие внутренние конференции проходили в форме свободного обмена мнениями по возникавшим вопросам; в отдельных же случаях на них заслушивались и обсуждались развернутые доклады, которые специально для этого подготавливались. Никаких протоколов ни в первом, ни во втором случае не велось. Поэтому только некоторые выступления Л. С. Выготского сохранились в личных записях участников этих конференций.

Публикуемые записи доклада Л. С. Выготского относятся к моменту, когда возникла внутренняя необходимость подвести итоги проведенных исследований высших психических процессов под углом зрения учения о сознании человека, дать анализ его внутреннего строения. Доклад этот, записанный мною в очень сжатой, тезисообразной форме, опирался на обзор многих проведенных при участии и под руководством Л. С. Выготского исследований. Поэтому в авторском изложении он занял огромное время — с двухчасовым примерно перерывом он продолжался более 7 часов, а его обсуждению был посвящен еще один день.

Насколько я помню, в этой внутренней конференции участвовали кроме А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия также Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Р. Е. Левина, Н. Г. Морозова и Л. С. Славина.

Некоторых пояснений требует запись выступления Л. С. Выготского на внутренней конференции, где обсуждался вопрос о тезисах, которые готовились для открытой дискуссии о работах Л. С. Выготского и его школы. Такая дискуссия ожидалась в 1933 или в 1934 г., но до смерти Выготского она так и не состоялась. Осталась неоконченной и подготовительная работа, которая велась к этой дискуссии. Публикуемые отрывки записей касаются лишь тех вопросов, которые совпадают с освещенными в его докладе о проблеме сознания. *А. Н. Леонтьев*

2. Зельц (Selz) Отто (1881—1944) — немецкий психолог. Исследовал проблемы мышления.

3. Уотт (Watt) Генри (1879—1925) — английский психолог. Представитель вюрцбургской школы.

ПСИХОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

1. Тезисы доклада, представленные на 1-й Всеукраинский съезд по психоневрологии (июнь, 1934). Опубликованы в книге «1-й Всеукраинский съезд невропатологов и психиатров» (Тезисы докладов, Харьков, 1934).

2. Лешли (Lashley) Карл (1890—1958) — американский психолог. Сторонник бихевиоризма. Изучал зависимость поведения от устройства мозга.

3. Хэд (Head) Генри (1861—1940) — английский невролог. Исследовал нейромеханизмы чувствительности и высших психических функций (в частности, речи).

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ КНИГИ Э. ТОРНДАЙКА «ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ПСИХОЛОГИИ»

1. Предисловие написано Л. С. Выготским к русскому переводу книги Э. Торндайка «Принципы обучения, основанные на психологии» (М., 1926).

Высоко оценивая позицию Торндайка как представителя новой объективной

психологии, Выготский высказывает несколько критических замечаний принципиального порядка, прежде всего о том, что Торндайк подводит психологический фундамент под педагогическую практику чуждой советской школе системы, игнорируя социальный момент в воспитании.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ КНИГИ К. БЮЛЕРА «ОЧЕРК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»

1. Русский перевод книги Бюлера «Очерк духовного развития ребенка» был опубликован в 1930 г. (М.).
2. Выготский упоминает о вюрцбургской школе в связи с тем, что Бюлер в свое время был одним из ее видных представителей. Преодолев субъективизм этой школы, Бюлер, однако, продолжал отстаивать ее телеологические установки, приобретшие в его концепции развития детской психики биологическую направленность.
3. Книга Бюлера «Кризис психологии» (1927), дав анализ кризисной ситуации в психологии, ставила целью доказать, что выход из нее в синтезе, включающем позитивные компоненты трех направлений: интроспективной концепции сознания, бихевиористской концепции поведения и учения о воплощении психики в продуктах культуры.
4. Дриш (Drisch) Ганс (1867—1941) —немецкий биолог, основатель неовитализма.
5. Риккерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — немецкий философ-идеалист, один из основателей так называемой баденской школы неокантианства.
6. Пирсон (Pearson) Карл (1857—1936) — английский ученый, разработавший статистические методы исследования психических явлений.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ В. КЕЛЕРА «ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ ОБЕЗЬЯН»

1. Статья написана как предисловие к книге В. Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян», изданной на русском языке в 1930 г.

В книге видного представителя гештальтпсихологии В. Келера развивается, исходя из эволюционных позиций, положение о своеобразии интеллектуального поведения высших животных.

В борьбе против механицизма Торндайка и других бихевиористов Выготский видел преимущества этого подхода.

Вместе с тем Выготский подчеркивал глубокое качественное отличие деятельности человека, носящей сознательный характер, опирающейся на применение орудий и ознаменовавшейся переходом к социально-историческим формам жизни.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Статья Л. С. Выготского «Проблема развития в структурной психологии» впервые напечатана в качестве предисловия к русскому переводу книги К. Коффки «Основы психического развития» (М.; Л., 1934).
2. Толмен (Tolman) Эдвард (1886—1959) — американский психолог, один из основателей необихевиоризма. Ввел понятие промежуточных переменных, под которым понималась совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих между непосредственными стимулами (внешними и внутренними) и ответным поведением.
3. Брунсвик (Brunswik) Эгон (1903—1955) — австрийский психолог.
4. Крис (Kries) Иоганн (1853—1928) — немецкий психофизиолог.
5. Фолькельт (Volkelt) Ганс — немецкий психолог-идеалист,

КОММЕНТАРИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Работа Л. С. Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» (написана в 1927 г.) представляет фундаментальное исследование на материале психологии коренных проблем структуры и закономерностей развития научного знания и путей психологии как науки. Публикуется впервые.

Эпиграф к работе (взятый из «Евангелия от Матфея») указывает ее главную идею: «Камень, который презрели строители, стал во главу угла». Этим камнем является, по мысли Выготского, практика и философия в их единстве.

Опираясь на марксистский принцип историзма, Выготский объясняет кризис как определенный, неизбежно возникший этап в развитии психологического познания, выявляя за пестротой школ конфронтацию магистральных направлений и намечая пути выхода к новой науке о психике человека.

2. *Адлер* (Adler) Альфред (1870—1937) — австрийский психолог. Один из видных представителей психоанализа, назвавший свою концепцию «индивидуальной психологией». В отличие от Фрейда считал, что главным источником бессознательной мотивации служат не сексуальные импульсы, а комплекс неполноценности, ведущий к компенсаторным (и сверхкомпенсаторным) реакциям, к стремлению личности превосходить других.

3. *Бинсвангер* (Binsvanger) Людвиг (1881—1966) — швейцарский психиатр и психолог. В ранний период деятельности — приверженец психоанализа. В дальнейшем — один из лидеров так называемой экзистенциальной (или гуманистической) психологии, считающей личность особой целостностью, познаваемой посредством анализа ее значимых переживаний. Одна из ранних работ Бинсвангера стала отправной точкой для критики Выготским идеалистического объяснения причин психологического кризиса.

4. *Актуалистическая концепция* — теория австрийского философа Ф. Брентано, согласно которой предметом психологии служат не явления сознания, а его акты (представливание, а не представление как образ, суждение, эмоциональная оценка). В акте выражена интенция (направленность) субъекта на объект, который сосуществует в этом акте и потому является имматериальной величиной.

5. *Теория способностей* — под ней подразумевается концепция, выдвинутая в XVIII в. в противовес ассоциативной психологии так называемой шотландской школой. Согласно этой концепции, душа не является «чистой доской», но наделена множеством имманентно присущих ей психических сил или способностей.

6. *Юнг* (Jung) Карл (1875—1961) — швейцарский психолог. Примыкал к психоанализу но отверг его пансексуализм. Выдвинул реакционное учение о коллективном бессознательном и наследуемых личностью «архитипах» мышления.

7. *Персонализм* — направление в психологии, исходящее из понятия о личности (персоне) как уникальной системе, причины активности которой скрыты в ней самой. Главный представитель этого направления — В. Штерн.

8. Имеется в виду работа З. Фрейда «Тотем и табу».

9. З. Фрейд предпринял попытку объяснить с позиций психоанализа творчество великого итальянского художника Леонардо да Винчи (1452—1519).

10. *Дифференциальная психология* — отрасль психологии, изучающая посредством экспериментальных и математических методов индивидуальные и типологические различия между людьми.

11. *Ламарк* (Lamarck) Жан-Батист (1744—1829) — французский биолог.

12. *Эйнштейн* (Einstein) Альберт (1879—1955) — немецкий физик, преобразователь современного естествознания.

13. *Шопенгауэр* (Schopenhauer) Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. Противопоставлял рациональное знание воле как слепой и автономно действующей силе. Это учение оказало влияние на Вундта, Джемса, Бергсона, Фрейда и других.

14. *Психология масс* — одно из направлений социальной психологии, изучающее особенности поведения и сознания больших групп людей.

15. *Щелованов* Николай Матвеевич (р.1892) — советский физиолог, ученик Бехтерева, исследователь поведения детей раннего возраста.

16. *Фехнер* (Fechner) Густав Теодор (1801—1887) — немецкий физик, физиолог и психолог. Основатель психофизики как учения о закономерных соотношениях между физическим и психическим.

17. *Прейер* (Preyer) Вильгельм (1841—1897) — немецкий физиолог. Автор работ по изучению психики ребенка.

18. *Петцольд* (Petzoldt) Йозеф (1862—1929) — немецкий философ-эмпириокритик. Считал внешний мир совокупностью чувственных образов, которые для различных субъектов различны. Сводил гносеологию к психологии, а под субъектом познания понимал изолированного, вырванного из социальннх связей индивида.

19. *Планк* (Planck) Макс (1858—1947) — немецкий физик. Подверг резкой критике идеалистические философские и психологические взгляды Маха, а также его работы по различным вопросам истории и методологии физики.

20. *Челпанов* Георгий Иванович (1862—1936) — русский психолог и философ-идеалист. Основатель (1912) и директор (до 1923) первого в России Московского психологического института. Исходил из принципа так называемого эмпирического параллелизма души и тела. Единственным источником познания психических явлений он считал самонаблюдение, а эксперименту отводил вспомогательную роль, усматривая вслед за Вундтом его основное значение в том, чтобы сделать самонаблюдение более точным.

21. *Кравков* Сергей Васильевич (1893—1951) — советский психолог, специалист в области исследования психофизиологии органов чувств. Л. С. Выготский критиковал его за работу «Самонаблюдение», которая вышла в свет в 1922 г.

22. *Португалов* Юрий Веньяминович (1876—?) — психиатр, психолог.

23. *Щербина* Александр Моисеевич (1887—?) — советский психолог и педагог.

24. *Корнилов* Константин Николаевич (1879—1957) — советский психолог. Инициатор перестройки системы психологических знаний на основе методологии марксизма. Выступал против субъективизма Г. И. Челпанова, рефлексологии В. М. Бехтерева и американского бихевиоризма. Марксистской концепцией в психологии он провозгласил реактологию, призванную снять односторонность субъективной (эмпирической) и объективной (рефлексологии) психологии путем синтеза обоих этих направлений. В дальнейшем отказался от этого положения. Разрабатывал проблемы педагогической психологии и психологии личности.

25. *Ах* (Ach) Нарцисс (1871—1946) — немецкий психолог.

26. *Лейбниц* (Leibniz, Leibnitz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист. В учении о психике выступил как критик ассоцианизма Локка, отстаивал идею активности души, ввел в психологию понятия об апперцепции и бессознательном.

27. *Птолемей Клавдий* (II в. до н. э.) — древнегреческий астроном и географ. Разработал так называемую геоцентрическую систему мира.

28. *Коперник* (Kopernik) Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

29. *Холл* (Hall) Стенли (1844—1924) — американский психолог. Основные работы — в области педагогической психологии. Был сторонником распространения биогенетического закона на развитие поведения детей.

30. *Шпенглер* (Spengler) Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист.

31. *Дюма* (Dumas) Жорж (1866—1946) — французский психолог и патопсихолог, ученик Т. Рибо. Вместе с П. Жанэ в 1904 г. организовал первый французский психологический журнал. Специалист в области психофизиологии эмоций в норме и патологии.

32. *Платон* (428/7—348/7 до н. э.) — древнегреческий философ. Основоположник идеализма.

33. Лихтенберг (Lichtenberg) Георг Кристоф (1742—1799) — немецкий просветитель, физик, художественный критик.

34. Дюгем (Duhem) Пьер (1861—1916) — французский физик-теоретик, философ и историк науки.

35. Вольф (Wolf, Wolff) Христиан (1679—1754) — немецкий философ. Различал рациональную и эмпирическую психологию. Сторонник теории способностей как первичных сил души.

36. Сарабьянов Владимир Николаевич (1886—1952) — советский философ.

37. Декарт (Descartes) Рене (1596—1650) — французский философ. Создатель учений о сознании как непосредственном знании субъекта о своих внутренних психических явлениях и о рефлексе как опосредованной мозгом автоматической реакции организма на внешний раздражитель.

38. Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский философ и психолог. Один из основателей позитивизма. Распространил эволюционное учение на область поведения организма и его психические функции.

39. Паульсен (Paulsen) Фридрих (1846—1908) — немецкий философ-идеалист. Считал телесную систему проявлением внутренней психической жизни, основой которой является волевое начало.

40. Франк Семен Людвигович (1877—1950) — русский религиозный философ.

41. Титченер (Titchener) Эдвард (1867—1927) — американский психолог. Сторонник структуралистской интроспективной психологии как учения об элементах сознания и их связях.

42. Лотце (Lotze) Герман (1817—1881) — немецкий философ и психолог. Стремился использовать достижения нейрофизиологии с целью укрепления идеалистической концепции о душе.

43. Эвклид (ок. III в. до н. э.) — древнегреческий математик.

44. Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — русский математик, один из создателей неэвклидовой геометрии.

45. Риман (Riemann) Георг Фридрих Бернхард (1826—1866) — немецкий математик, один из создателей неэвклидовой геометрии.

46. Линней (Linne, Linnaeues) Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира. Он включил в свою систему и человека, что в дальнейшем стимулировало исследования сходства, различия и связи человека с животным миром.

47. Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832) — французский ученый, зоолог и палеонтолог. Отвергал идею эволюционного развития видов.

48. Наторп (Natorp) Пауль (1854—1924) — немецкий философ, неокантианец. Считал, что предмет познания конструируется активностью субъекта.

49. Интенциональная психология — см. Актуалистская психология.

50. Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ, неокантианец. Делил науки на номотетические (естественные) и идиографические (культурно-исторические). Первые имеют дело с общим, повторяемым, закономерным в явлениях; вторые изучают единичные явления в их неповторимости и исключительности.

51. Галилей (Galilei) Галилео (1564—1642) — итальянский физик, учение которого сыграло выдающуюся роль в научной революции XVII в.

52. Бюффон (Buffon) Жорж (1706—1788) — французский естествоиспытатель, выдвинувший идеи о единстве растительного и животного мира и об изменяемости видов под влиянием условий среды (климат, питание и т. д.). Был тесно связан с французскими материалистами.

53. Стаут (Staut) Георг (1860—1944) — английский психолог идеалистической ориентации. Критиковал естественнонаучные тенденции ассоцианизма.

54. Пфендер (Pfender) Александр (1870—1941) — немецкий психолог и философ-идеалист. Трактовал человека как триединство тела, души и духа, а дух — как возвращающуюся к самой себе душу.

55. Ясперс (Jaspers) Карл (1883—1969) — немецкий философ-экзистенциалист. В психопатологических явлениях видел не выражение распада личности, а обост-

ренные поиски человеком своей индивидуальности. Разрабатывал учение о пограничных ситуациях, согласно которому подлинный смысл бытия открывается человеку в период глубочайших потрясений. Именно в эти моменты человек освобождается от груза повседневных забот и научных представлений о действительности. Перед ним открывается мир его глубоко интимного существования (озарение экзистенции) и его подлинные переживания бога (трансцендентного).

56. Высказывания Выготского о марксистской психологии следует рассматривать в контексте дискуссий в 20-е гг., когда некоторые психологи понимали эту задачу как прямое выведение из законов материалистической диалектики конкретно-научных психологических положений. Против такого подхода полемически заострена работа Выготского.

57. Здесь под методологией Выготский имеет в виду не общефилософский, а конкретно-научный способ организации знания. В разработке методологии психологии как конкретной дисциплины, исходя из принципов марксизма, Выготский видел ключевую задачу советских ученых.

58. Упоминание о якобы «случайных» высказываниях основоположников марксизма по вопросам психологии, с одной стороны, было полемически заострено против попыток свести марксистскую ориентацию в психологии к произвольному подбору цитат; с другой стороны, оно отражало характерный для 20-х гг. уровень освоения богатства психологических идей, содержащихся в диалектико-материалистической философии.

59. Здесь Выготский смешивает разработанную в марксизме философскую теорию познания (гносеологию) с теми средствами, которые вырабатывает психология как конкретная наука для изучения своего предмета.

60. Выготский имеет в виду свой труд «Психология искусства», написанный в 1924 г.

61. В полемике с вульгаризаторами идеи построения марксистской психологии Выготский, акцентируя роль метода, не раскрывает теоретико-мировоззренческое значение выдвинутых марксизмом положений о природе психического.

Именной указатель

Предметный указатель

О

П

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К., Энгельс Ф. Соч.—2-е изд., т. 20, 23, 25, ч. II, 46, ч. II.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, 29.

* * *

Бергсон А. Материя и память. СПб., 1911.
Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921.
Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека. М.; Пг., 1923.
Бехтерев В. М. Работа головного мозга. Л., 1926.
Блонский П. П. Очерк научной психологии. М., 1921.
Блонский П. П. Педология. М., 1925.
Блонский П. П. Психология как наука о поведении.— В кн.: Психология и марксизм. М.; Л., 1925а.
Боровский В. М. Введение в сравнительную психологию. М., 1927.
Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка. М., 1930.
Бэкон Ф. Соч., в 2-х т. М., 1978, т. 2.
Вагнер В. А. Биопсихология и смежные науки. Пг., 1923.
Вагнер В. А. Возникновение и развитие психических способностей. Л., 1928.
Введенский А. И. Психология без всякой метафизики. Пг., 1917.
Вишневский В. А. В защиту материалистической диалектики.— Под знаменем марксизма, 1925, № 8, 9.
Выготский Л. С. Предисловие к кн.: Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. М., 1925.
Выготский Л. С. Генетические корни мышления и речи.— Естествознание и марксизм, 1929, № 1.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956.
Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии.— В кн.: Психология и марксизм. М; Л., 1925а.
Выготский Л. С., Лурия А. Р. Предисловие к кн.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1925.
Геффдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте. СПб., 1908.
Гроос К. Душевная жизнь ребенка. СПб., 1906.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. М., 1911.
Деборин А. М. Введение в философию диалектического материализма. М., 1923.
Деборин А. М. Диалектика и естествознание. М.; Л., 1929.
Дессуар М. История психологии. СПб., 1912.
Джемс В. Психология в беседах с учителями. М., 1905.
Джемс В. Психология. СПб., 1911.
Джемс В. Существует ли сознание? — В кн.: Новые идеи в философии. СПб., 1913, вып. 4.
Джемсон Л. Очерк марксистской психологии. М., 1925.
Дильтей В. Описательная психология. М., 1924.
Дюгем П. Физическая теория: Ее цель и строение. СПб., 1910.
Залкинд А. Б. Очерки культуры революционного времени. М., 1924.
Занков Л. В. Память. М., 1949.
Зеленый Г. П. О ритмических мышечных движениях.— Русский физиологический журнал, 1923, т. 6, вып. 1—3.

ЛИТЕРАТУРА

Ивановский В. Н. Методологическое введение в науку и философию. Минск, 1923.

Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930.

Корнилов К. Н. Учение о реакциях человека. М., 1922.

Корнилов К. Н. Психология и марксизм.— В кн.: Психология и марксизм. М.; Л., 1925.

Коффка К. Против механицизма и витализма в современной психологии.— Психология, 1932.

Коффка К. Самонаблюдение и метод психологии.— В сб.: Проблемы современной психологии. Л., 1926.

Кравков С. В. Самонаблюдение. М., 1922.

Кречмер Э. Строение тела и характер. М.; Пг., 1924.

Кроль М. Б. Мышление и речь.— Труды Белорусского государственного университета. Минск, 1922, т. 11, № 1.

Кюльпе О. Современная психология мышления.— Новые идеи в философии. Пг., 1916, вып. 16.

Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. М., 1925.

Ланге Н. Н. Психология. М., 1914.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.

Лейбниц Г. В. Избранные философские сочинения. М., 1908.

Ленц А. Г. Об основах физиологической теории человеческого поведения.— Природа, 1922, № 6, 7.

Леонтьев А. Н. Развитие памяти. М., 1931.

Лурия А. Р. Психоанализ как система монистической психологии.— В кн.: Психология и марксизм. М.; Л., 1925.

Лурия А. Р. Сопряженная моторная методика в исследовании аффективных реакций.— Труды Государственного института экспериментальной психологии. М., 1928, т. 3.

Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М., 1922, ч. I.

Мюнстерберг Г. Психология и экономическая жизнь. М., 1914.

Наторп П. Логика. СПб., 1909.

Новые идеи в медицине. М., 1924, вып. 4.

Новые идеи в философии. СПб., 1914, сб. 15.

Павлов И. П. XX-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных.— Полн. собр. соч. М.; Л., 1950, т. III, кн. 1.

Павлов И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез.— Полн. собр. соч. М.; Л., 1951, т. III, кн. 2.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1932.

Пирсон К. Грамматика науки. СПб., 1911.

Планк М. Отношение новейшей физики к механическому мировоззрению. СПб., 1911.

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5-ти т. М., 1956, т. I.

Плеханов Г. В. Искусство: Сб. статей. М., 1922.

Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. М., 1922а.

Португалов Ю. В. Как исследовать психику.— В сб.: Детская психология и антропология. Самара, 1925, вып. I.

Протопопов В. П. Методы рефлексологического исследования человека.— Журнал психологии, неврологии и психиатрии, 1923, т. 3, вып. 1—2.

Пфендер А. Введение в психологию. М., 1909.

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. М., 1929.

Северцов А. Н. Эволюция и психика. М., 1922.

Спиноза Б. Трактат об очищении интеллекта. М., 1914.

Спиноза Б. Этика. М., 1911.

Стаут Д. Ф. Аналитическая психология. Пг., 1923, т. I.

Степанов И. И. Исторический материализм и современное естествознание. М., 1924.

ЛИТЕРАТУРА

Струминский В. Я. Марксизм в современной психологии.— Под знаменем марксизма, 1926, № 3, 4, 5.
Струминский В. Я. Психология. Оренбург, 1923.
Титченер Э. Учебник психологии. М., 1914, ч. 1, 2.
Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии. М., 1925.
Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. М., 1926.
Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров.— Русский физиологический журнал, 1923, т. 6, вып. 1—3.
Фейербах Л. Против дуализма души и тела, плоти и духа.— Избранные философские произведения. М., 1955, т. I.
Франк С. Л. Душа человека. М., 1917.
Франкфурт Ю. В. Г. В. Плеханов о психофизиологической проблеме.— Под знаменем марксизма, 1926, № 6.
Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. М., 1923. вып. 1, 2.
Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1925.
Фрейд З. Очерки по теории сексуальности. М.; Пг, 1924.
Фрейд З. Я и оно. Л., 1924.
Фридман Б. Д. Основные психологические воззрения Фрейда и теория исторического материализма.— В кн.: Психология и марксизм. М.; Л., 1925.
Челпанов Г. И. Объективная психология в России и Америке. М., 1925.
Челпанов Г. И. Психология и марксизм. М., 1924.
Челпанов Г. И. Социальная психология или условные рефлексы? М.; Л., 1926.
Шеррингтон Ч. Ассоциация спинномозговых рефлексов и принцип общего поля.— В сб.: Успехи современной биологии. Одесса, 1912.
Штерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста. М., 1922.
Щелованов Н. М. Методика генетической рефлексологии.— В сб.: Новое в рефлексологии и физиологии. М.; Л., 1929.
Щербина А. М. Возможна ли психология без самонаблюдения? — Вопросы философии и психологии, 1908, кн. 4 (94).
Эббингауз Г. Основы психологии. Спб., 1912, т. I, вып. 2.
Эвергетов И. После эмпиризма. Л., 1924.
Binswanger L. Einfuhrung in die Probleme der allgemeinen Psychologie. Berlin, 1922.
Bühler K. Die Krise der Psychologie.— Jena, 1927.
Dumas J. Traite de Psychologie. Paris, 1923—1924, vol. 1—2.
Jaensch E. Über den Aufbau der Wahrnehmungswelt und die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis. Leipzig, 1927, vol. 1.
Köhler W. Intelligenzprüfungen an Anthropoiden. Leipzig, 1917.
Köhler W. Gestalt Psychology. N. Y., 1924.
Köhler W. Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand. Braunschweig, 1920.
Köhler W. Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Berlin, 1921.
Köhler W. Aus Psychologie des Schimpanzen.— Psychologische Forschung, 1921, Bd. I.
Koffka K. Introspection and the Method of Psychology.— The Britisch Journal of Psychology, 1924, v. 15.
Koffka K. Die Grundlagen der psychischen Entwicklung. Osterwieck am Harz, 1925.
Lalande A. Les theories de l'induction et de l'experimentation. Paris, 1929.
Pillsbury W. B. The Fundamentals of Psychology. N. Y., 1917.
Stern W. Methodensammlung zur Intelligentprüfung von Kinder und Jugendlichen. Leipzig, 1924.
Thorndike E. L. Animal Intelligence. N. Y., 1911.
Thorndike E. L. The Elements of Psychology. N. Y., 1920.
Wertheimer M. Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie. Erlangen, 1925.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. С. ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ПСИХОЛОГИИ

Сверил тексты,
подготовил указатели и библиографию
Л. А. Радзиховский

Зав. редакцией А. В. Черепанина
Редактор С. Д. Крекова
Художник А. Т. Троянкер
Художественный редактор Е. В. Гаврилин
Технический редактор Т. Е. Морозова
Корректор В. С. Антонова

ИБ № 589

Сдано 06.01.81. Подписано в печать 25.12.81. А 05907. Формат 60×90[1]/16. Бумага кн.-журнал. Печать высокая. Гарнитура литерат. Усл. печ. л. 30,5. Уч-изд. л. 35,46. Усл. кр.-отт. 30,75. Тираж 30 000 экз. Заказ 689.
Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 107847, Лефортовский пер., 8

Набрано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

Отпечатано в Московской типографии № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
129041, Москва, Б. Переяславская, 46.